

A. Lopez

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

А. П. ЧЕХОВ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*в двенадцати
томах*

Под общей редакцией
*В. В. ЕРМИЛОВА, К. Д. МУРАТОВОЙ,
З. С. ПАПЕРНОГО, А. И. РЕВЯКИНА*

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1960

А. П. ЧЕХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том первый

РАССКАЗЫ

1880 — 1888

*Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1960*

Вступительная статья
В. В. Ермилова

Примечания
И. С. Ежова

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО



А. П. ЧЕХОВ

А. П. ЧЕХОВ

Критико-биографический очерк

Антон Павлович Чехов родился 17 января¹ 1860 года в Таганроге, в семье бывшего приказчика, ставшего хозяином мелочной лавочки.

Павел Егорович, отец Антона Павловича, был «коммерсантом», как он солидно называл себя, по профессии и художником — по душе.

Его одаренность была разносторонней. Он самоучкой выучился играть на скрипке, увлекался живописью. Он писал красками, занимался иконописью. Антон Павлович говорил о себе и о своих братьях и сестре: «Талант в нас со стороны отца, а душа со стороны матери». Пожалуй, самым сильным увлечением Павла Егоровича был созданный им церковный хор, отнимавший у него много времени в ущерб коммерческим делам. С присущей ему настойчивостью и дотошностью он добивался, чтобы его хор был лучшим в городе. Он набрал певчих из кузнецов; партии дискантов и альтов исполняли его сыновья. Именно этот хор, а не торговля, составлял подлинный интерес его жизни.

Когда Антон Павлович говорил: «В детстве у меня не было детства», — то он подразумевал под этим многое. Прежде всего самый

¹ Даты указываются по старому стилю.

режим жизни детей Павла Егоровича был не очень детским,— это был почти каторжный трудовой режим. Лавочка Павла Егоровича торговала с 5 утра до 11 вечера, заботу о ней Павел Егорович нередко целиком возлагал на сыновей. День его детей распределялся между лавочкой, гимназией, опять лавочкой, бесконечными спевками и репетициями и такими же бесконечными церковными и домашними молениями. Кроме того, дети учились ремеслу, Антоша — портняжному. Антоша должен был с малых лет приучаться и к счетному делу, а главное — к искусству торговли, в которое входило и почтительное обращение с покупателями и знание приемов «обмеривания, обвешивания и всякого торгового мелкого плутовства,— как писал в своих воспоминаниях старший брат Антона Павловича — Александр Павлович.— Покойный Антон Павлович прошел из-под палки эту беспощадную подневольную школу целиком и вспоминал о ней с горечью всю свою жизнь. Ребенком он был несчастный человек». Павел Егорович воспитывал своих детей деспотически. Порки были частым явлением в семье.

И, однако, было бы неправильно рисовать жизнь семьи Павла Егоровича только темными красками. Нельзя забывать о смягчающем влиянии матери, Евгении Яковлевны, как нельзя забывать и о том, что влияние Павла Егоровича на своих детей было далеко не только отрицательным.

Павел Егорович хотел сделать своих детей образованными людьми. Он хотел, чтобы дети были счастливее его. Он отдал их всех в гимназию, нанял для них учителя музыки, рано начал учить их языкам; старшие сыновья уже в отроческие годы свободно говорили по-французски.

И тем не менее то положительное, что было и в натуре Павла Егоровича и в его отношении к детям,— все это было страшно искажено мещанством, чудачеством, самодурством, исковеркано тяжестью жизни. В 1889 году, в письме к брату Александру, упрекая его в самовластности, неуравновешенности в отношении к детям и жене, Антон Павлович писал: «Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Деспотизм преступен трижды...»

Действительность, окружавшая Антошу Чехова, была покушением на его свободу.

Еще более сильным врагом его свободы, чем семейный деспотизм, была гимназия. Таганрогская гимназия была идеальной с

точки зрения царского министерства народного просвещения. То была настоящая фабрика рабов.

«Человеки в футляре» держали в своих руках таганрогскую гимназию. Один из них — инспектор Дьяконов — отчасти и послужил прототипом для образа учителя Беликова.

Писатель Тан-Богораз, обучавшийся в таганрогской гимназии, характеризует ее как особый вид тюрьмы. «Таганрогская гимназия, в сущности, представляла арестантские роты особого рода. То был исправительный батальон, только с заменой палок и розог греческими и латинскими экстемпоралями¹». Об атмосфере страха, доносительства, царившей в гимназии, можно судить хотя бы по такому штриху. Учитель латинского языка Урбан в одном из своих доносов попечителю сообщал, что на заседаниях педагогического совета учителя позволяют себе курить, «не обращая внимания, что в учительской комнате висит икона и портрет государя».

Из учащихся нужно было воспитать таких же человек в футляре, какими были сами учителя, — забить учеников до состояния постоянного трепета, угодливости, уничтожить в них сознание собственного достоинства, — такова была цель.

Со всех сторон наступала на Чехова действительность, стремившаяся сделать из него раба, отовсюду надвигалось на него насилие, как будто со своими свинцовыми кулаками шел на него тупой палач, сторож из «Палаты № 6», чтобы смять, подавить его личность. Но чем грубее был натиск действительности, тем сосредоточеннее, сознательнее, упорнее становился юноша Чехов в отстаивании своего человеческого достоинства и внутренней свободы.

Рано началось у Антоши увлечение театром и литературой. Первое известное нам юношеское произведение Чехова написано для театра. Это пьеса «Безотцовщина».

Вместе с увлечением театром шли и первые литературные опыты. Гимназистом четвертого класса Антоша сотрудничал в рукописном журнале, выходившем под редакцией ученика старшего класса. В этом журнале было помещено сатирическое стихотворение Антоши, посвященное инспектору Дьяконову. Так, уже тринадцатилетним мальчиком Чехов начал отравлять существование «человекам в футляре».

¹ Экстемпорале — письменное классное упражнение в переводе русского текста на латинский или греческий язык, производившееся без подготовки.

В 1875 году старшие братья переехали в Москву, стали студентами: Александр — университета, Николай — Училища живописи, ваяния и зодчества. Вскоре в Москву перебралась и вся семья Чеховых, за исключением Антоши. Павел Егорович разорился, его «коммерциозное», как он пышно выражался, предприятие крахнуло, и он вынужден был тайком бежать из Таганрога от кредиторов. Произошло резкое изменение всего строя жизни Чеховых. Из обеспеченной семьи они стали бедняками. В Москве они спали на сыром полу в повалку.

Антоша оставался в Таганроге для того, чтобы окончить гимназию. Трудности новой, взрослой жизни обступили его. Шестнадцатилетний юноша из разорившейся семьи, глава которой спасся бегством от кредиторов, над чем вдоволь насмеялись таганрогские обыватели, — Антоша держал себя с безупречным достоинством.

Привыкший оберегать свою независимость, внутреннюю свободу, он в юношеские годы не сходил особенно близко ни с кем. Все, что казалось ему посягательством на его свободу, вызывало в нем настороженность, подозрительность. Эта черта осталась характерной для него до конца его дней. В молодые годы он с особенной, почти болезненной остротой защищал свою независимость. Слишком тяжелым было подавление его свободы и в семье и в гимназии!

Чехова волновали моральные и эстетические вопросы. Он сознательно вырабатывал свой моральный кодекс человека. В отроческие и юношеские годы Чехов был далек от прямых, непосредственно политических интересов. Глухой город, потерявший к тому времени бывшее экономическое значение, мещанское окружение, отсутствие прочных связей со сверстниками — все это не могло способствовать развитию политических интересов у юноши из купеческо-приказничьей семьи. Влияния аполитичности сказывались у Чехова и в более зрелые годы, когда у него уже выработалось его атеистическое, прогрессивное, материалистическое мировоззрение.

Семидесятые годы, разумеется, отнюдь не были «аполитичными». Народничество еще было революционным; оно начало вырождаться в либерально-кулацкое течение после убийства Александра II в 1881 году. Но Чехов ни в гимназические, ни в студенческие годы не был захвачен революционными настроениями. В семидесятые годы он «не успел» заинтересоваться политикой, а впоследствии, в восьмидесятые годы, как мы увидим, прибавились другие сложные обстоятельства, не способствовавшие росту у Чехова интереса к политическим вопросам. Но в его этическом кодексе сказывались и демо-

кратизм, и влияния передовой русской литературы, особенно любимых им Щедрина и Тургенева, и ненависть к мещанству.

Оставшись один в Таганроге, Антоша распродал остатки домашней обстановки, бегал по урокам и высылал деньги в Москву. Ему пришлось познакомиться с унижительным ожиданием по месяцам заработанных грошей, с косыми взглядами «хозяев», брошенными невзначай на продранные башмаки репетитора, с мучительными мечтами о стакане сладкого чая, который могут подать, а могут и не подать.

И все же, несмотря на всю суровость наступивших для юноши жизненных испытаний, не одна только грусть прощания с прежней жизнью, с родным углом, с детством и отрочеством окрашивала его переживания. Было в его чувствах нечто иное, близкое той радости свободы, которую выражает юная Аня, прощаясь со своим детством, со своим вишневым садом, в красоте которого перед нею уже открылась ложь, рабство. «Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!» В словах Ани звучал голос новой, молодой России, то было прощание не только с прошлым Ани, но и со всей старой жизнью, предчувствие великого обновления всей действительности. У юного же Антоши Чехова сбывалась мечта о свободе от деспотической власти отца, от опостылевшей и, наконец, обанкротившейся лавочки, от всего душного уклада жизни семьи. Правда, пришла к нему свобода в неожиданном виде, смешалась с горем, обидами, унижениями, бедностью. И все же это была свобода!

Пафос свободы — свободы от всех видов деспотизма и рабства, материального и духовного, пафос достоинства и независимости человеческой личности станет главным, всеопределяющим в творчестве Чехова. Эта коренная тема Чехова-художника подготавливалась уже в юные таганрогские годы.

Евгения Яковлевна с надеждой ожидала приезда своего любимца Антона. Материальное положение семьи было мучительно; помощь от старших сыновей являлась ничтожной. Одаренные люди — Александр, из которого, по словам Антона Павловича, мог бы выйти «большущий» писатель, и Николай, талантливый художник, став взрослыми людьми, студентами, москвичами, — тоже отстаивали свою «свободу» и «независимость». Но их свобода оказывалась сомнительной. Это была «свобода» богемы — мещанство навыворот. Александр и Николай пристрастились к вину. Они губили отпущенные им природой богатые дарования.

После окончания гимназии Антоша провел все лето в Таганроге, хлопоча о назначении ему стипендии, которую Таганрогская

городская управа выплачивала одному из таганрожцев, обучавшихся в высших учебных заведениях. Стипендия составляла двадцать пять рублей в месяц. Чехов получил стипендию сразу за четыре месяца; у него было целых сто рублей. Кроме того, он оказал помощь семье и тем, что привез с собою двух пансионеров-нахлебников на поечение Евгении Яковлевны. Так с его приездом положение семьи сразу определилось к лучшему.

Антоша стал студентом-медиком и сотрудником юмористических журналов. Это произошло почти одновременно. И сразу установился строй жизни, наполненной непрерывным трудом.

Антон Павлович любил медицину, благоговел перед профессорами, среди которых были такие ученые, как Захарьин, Склифосовский,— имена, составляющие гордость русской науки. Чехов учился основательно, и совмещать учение с повседневной работой в журналах ему было трудно.

А между тем его сотрудничество в юмористических журналах скоро стало главным источником средств к существованию семьи. Забота о семье требовала много сил и труда. Эта забота вела к многописанию: гонорар был нищенский, надо было писать как можно больше, писать непрерывно, не разгибая спины, не зная отдыха. Изнуряющее многописание было опасным врагом молодого, только еще созревающего таланта. Оно опустошало души многих литераторов.

Опасным для развития таланта было и то, что Чехов в первые годы не придавал серьезного значения своему литературному труду, считая его десятистепенным по сравнению со своими медицинскими, научными интересами.

Но были и еще более грозные опасности, подстерегавшие его талант. Эти опасности были заложены в условиях самой эпохи и в характере тех юмористических журналов, на страницах которых было суждено Антону Павловичу начинать свой литературный путь.

Восьмидесятые годы вошли в историю России как эпоха «безвременья», грубого, циничного торжества реакции. Это было переходное время, когда народничество потерпело окончательный крах, а марксизм и революционное движение рабочего класса созревали, готовясь к предстоявшим трудным боям и победам.

Из всех попыток народников повести за собою крестьянство ничего не вышло; по-настоящему они не знали и не понимали реальной жизни и интересов крестьян. Заранее была обречена на неудачу и попытка народников бороться против самодержавия лишь своими силами, без поддержки народа. 1 марта 1881 года «Народная воля»

убила Александра II. Это явилось и концом революционного народнического движения. Начался период вырождения народничества, превращения его в одну из форм заурядного либерального приспособления к существовавшей действительности. Реакция воспользовалась убийством царя для установления террористического режима в стране. Воплощением кровавой помещичьей диктатуры, злобного подавления какой бы то ни было общественной мысли, отвратительного ханжества явилась зловеющая фигура Победоносцева, управлявшего страной при Александре III.

После казни вождей «Народной воли», а затем после провала покушения на Александра III, подготавливавшегося группой Александра Ульянова, террор реакции становился все более свирепым.

«Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте» — так рисовал впоследствии Чехов в своем «Человеке в футляре» жизнь в победоносцевской России.

Конечно, восьмидесятые годы были далеко не только годами «безвременья». Ленин сравнивал восьмидесятые годы с тюрьмой. И вместе с тем Ленин указывал, что «...в России не было эпохи, про которую бы до такой степени можно было сказать: «наступила очередь мысли и разума», как про эпоху Александра III! ...Именно в эту эпоху всего интенсивнее работала русская революционная мысль, создав основы социал-демократического мирозерцания. Да, мы, революционеры, далеки от мысли отрицать революционную роль реакционных периодов. Мы знаем, что форма общественного движения меняется, что периоды непосредственного политического творчества народных масс сменяются в истории периодами, когда царит внешнее спокойствие, когда молчат или спят (повидимому, спят) забитые и задавленные каторжной работой и нуждой массы, когда революционизируются особенно быстро способы производства, когда мысль передовых представителей человеческого разума подводит итоги прошлому, строит новые системы и новые методы исследования... Одним словом, «очередь мысли и разума» наступает иногда в исторические периоды человечества точно так же, как пребывание политического деятеля в тюрьме содействует его научным работам и занятиям»¹.

Русская передовая общественная мысль, русская наука, русское искусство многим обогатились в восьмидесятые годы.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 10, стр. 230—231.

В 1883 году была создана первая в России марксистская группа — «Освобождение труда»; Плеханов писал свои философские работы. На духовном развитии Чехова не могли не сказываться такие явления эпохи, как труды Менделеева, Тимирязева, гениальные создания русской живописи — картины Сурикова, Репина, бессмертные творения Чайковского, Римского-Корсакова. В полном расцвете был гений Льва Толстого. Все это и составляло характернейшие, важнейшие черты эпохи, воспитавшей Чехова.

Но на поверхности политической жизни все казалось сонным, мрачным, безнадежным, — особенно таким представителям тогдашнего юного поколения разночинной интеллигенции, входившего в жизнь, каким был Чехов, — людям, «разочаровавшимся» в политике, еще не успев «очароваться» ею.

Чехов начинал свой писательский путь в эпоху, небывало тяжелую для печати. Едва ли не главной задачей Победоносцев считал подавление печати, полное «запрещение» общественной мысли. Одним из его преступлений против русской культуры было закрытие «Отечественных записок», передового журнала, возглавлявшегося Салтыковым-Щедриним.

Подлинным знаменем эпохи был необычайный расцвет обывательских юмористических журнальчиков. В Москве и Петербурге они плодились и размножались с поразительной быстротой. Цензура запрещала все то, что напоминало, как выражался Победоносцев, «невообразимую болтовню», вытравляла даже самое ординарное «либеральное» зубоскальство. Всем этим изданиям приходилось пробавляться пьяными купцами, на все лады «обыгрывая» купеческий жаргон, мещанскими свадьбами, дачными мужьями, ветренными женами, кумовьями-пожарными, модницами и франтами и т. п.

Изобилие юмористических журнальчиков объяснялось, с одной стороны, победоносцевской политикой «обуздания» и запрещения серьезной общественной печати, а с другой стороны, сказывались и такие процессы, как рост значения городов в жизни страны, связанный с быстрым ходом ее капиталистического развития. Расширялась среда городского мещанства, разночинной интеллигенции, тех слоев, с которыми уже были связаны знаменитые произведения русской литературы: гоголевская «Шинель», повести Помяловского, «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание» Достоевского, рассказы Гаршина.

Новый, массовый читатель жаждал своей литературы, которая помогла бы ему разобраться в его жизни, взятой не в той исключительной трагической приподнятости положений и переживаний,

трактуемой к тому же в известной мере с тенденциозно-реакционных позиций, в какой она предстала у автора «Преступления и наказания», а в обыкновенном, повседневном облике этой жизни. Вместо того читателю предлагались произведения многообразных Щегловых, Баранцевичей и других современников Чехова, изображавших жизнь этого нового читателя в обывательски-мещанском освещении.

Вместо настоящей литературы, о которой мечтал демократический читатель, ему предлагались пестрые, крикливые обывательские журналчики. Но «хитрость истории» сказала в том, что именно отсюда, из этих невзрачных задворков русской печати, и вышел опасный враг всех и всяких Пришибеевых и Победоносцевых, враг «старой, проклятой, крепостнически-самодержавной рабьей России»¹, обличитель всего строя жизни, унижающего человека. Этим врагом был новый могучий русский писатель, скрывавшийся пока под развлекательным псевдонимом «Антоша Чехонте» и далеко не отдававший самому себе отчета в значении своего новаторского труда. Героем его произведений стал разночинец, мелкий служащий, — «маленький» человек города, а затем и деревни.

Многие читатели и критики на первых порах воспринимали Антошу Чехонте в общем ряду привычных поставщиков увеселительного чтыва. Можно сказать, что повторялась сказка о «гадком утенке»; в этой сказке утки и утята смотрели на подраставшего лебедя, как на *неправильного* утенка. Чехов нередко в своих рассказах внешне оставался как будто в пределах обыкновенного развлекательного рассказа. Но по сути дела он взрывал изнутри этот жанр, наполняя его новым содержанием, вырабатывая новую форму. И читатели более чуткие все яснее начинали понимать, что перед ними нечто новое, только по внешности похожее на обыкновенное.

В маленьких рассказиках Чехов научился передавать всю жизнь человека, течение самого потока жизни. Крошечный рассказик поднялся до высоты эпического повествования. Чехов стал творцом нового вида литературы — маленького рассказа, вбирающего в себя повесть, роман. В его письмах, высказываниях, записях появились по-суворовски лаконичные и выразительные изречения, формулы стиля: «Краткость — сестра таланта», «Искусство писать — это искусство сокращать», «Писать талантливо, то есть коротко», «Умею коротко говорить о длинных вещах». Последняя формула

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 8, стр. 300.

точно определяет сущность достигнутого Чеховым необыкновенного мастерства. Он добился небывалой в литературе емкости, вместительности формы, он научился несколькими штрихами, особенно посредством сгущения типичности, своеобразия языка персонажей, давать исчерпывающие характеристики людей. Чехов отверг такие приемы характеристики персонажей, когда писатель, прежде чем герой начнет действовать, подробно знакомит читателя с его предыдущей биографией, с его родителями, а то и предками. Чеховские герои всегда раскрываются в самом действии, в поступках, в мыслях и чувствах, непосредственно связанных с действием. Можно сказать, что Чехов — один из самых строгих мастеров объективной школы в литературе, изучающей человека по его поведению.

Особенности мастерства и стиля Чехова замечательно проявляются и в его пейзаже. Он ввел новый пейзаж, заменив описание многочисленных подробностей одной, наиболее выпуклой, наиболее характерной деталью. Антон Павлович изложил принцип своего пейзажа в письме к брату Александру: для описания лунной ночи достаточно того, чтобы на плотине блестело горлышко от разбитой бутылки и чернела тень от мельничного колеса. Так он и нарисовал лунную ночь в своем рассказе «Волк». Об этом же говорит в «Чайке» молодой писатель Треплев, завидуя опытному писателю Тригорину: «Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса,— вот и лунная ночь готова...»

Вместе с тем чеховские пейзажи отличаются глубиной лирического подводного течения, они всегда воодушевлены той главной поэтической мыслью автора, которая выражена в словах Тузенбаха («Три сестры»): «Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!»

Изучая рассказы Антоши Чехонте, поражаешься ранней зрелости художника. В три-четыре года Чехов превратился в сложившегося замечательного мастера. Только зрелый, мудрый художник мог создать «Злоумышленника» или «Дочь Альбиона». Ранняя художественная зрелость Чехова может сравниться лишь с ранней художественной зрелостью Пушкина, Лермонтова. Эта зрелость далась писателю ценою упорного труда. Так же как Чехов научился вкладывать огромное содержание в коротенькие рассказы, «прессовать» их, делать предельно емкими, вместительными, точно так же он сумел сделать предельно вместительным время, сократив, сжав до предела путь, отделяющий дебютанта от зрелого мастера. В его рассказах появляется все большее богатство жизненных красок, в

них уже чувствуется глубокая трагическая тема, на которую указывал Горький.

«Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона»,— писал Горький,— смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца... Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины».

Уже в ранних рассказах Чехов выступает как художественный представитель «маленьких людей», их друг и защитник,— стоит вспомнить, например, такой рассказ, как «Баран и барышня» и множество других.

Молодой писатель дарит читателя своим сверкающим, добрым юмором в рассказах, водевилях. Вместе с тем ясно определяется чеховская беспощадная сатира. Начиная с середины восьмидесятых годов появляются рассказы, которые уже нельзя непосредственно отнести ни к жанру юмора, ни к жанру сатиры,— рассказы, в которых писатель стремится как бы не обнаруживать своего авторского отношения к изображаемому, своей поэтической личности, стремится к тому, чтобы сатирическая или юмористическая краска уже не выглядела преобладающей, чтобы читатель получил такую картину русской действительности, в которой были бы представлены все краски жизни. Но наряду с лирическим, драматическим, трагическим началом этих рассказов в них все же очень часто живет и сатирическое, комическое начало,— только оно уходит в глубину, в «подводное течение» произведений.

Демократический, «плебейский» пафос творчества Чехова в первом периоде его творчества с особенной ясностью выступает в сатирических рассказах.

В маленьких рассказах Чехова преобладает диалог, как главное средство характеристики,— вернее, самохарактеристики героев. В этом, конечно, сказывается Чехов-драматург. Нет ни одного другого писателя, рассказы которого так легко представить себе драматическими этюдами, сценами, маленькими пьесами. Нет ни одного другого писателя, в котором прозаик так непосредственно сросся с драматургом. В сатирических рассказах писатель передает в сгущенном виде весь стиль речи своих персонажей, воспроизводит их язык совершенно объективно, и при этом каждое слово, произно-

симое персонажами, смеется над ними. Таков, например, сатирический рассказ «Свистуны», проникнутый глубоким презрением к барам, которые услаждают себя умильными сытыми разглагольствованиями в славянофильском духе о святости русского народа и в то же время с крепостническим свинством унижают этот самый народ. В рассказе «Маска» Чехов смеется над подхалимством служилой «интеллигенции», считающей себя либеральной, «мыслящей» и вместе с тем лакействующей перед диким самодурством пьяного купца-миллионщика. Хамство «сильных мира сего», угодничество перед ними, барство, паразитизм, грубость, пошлость, насилие над «маленьким» человеком, невежество, ложь — таковы были враги Чехова, мишени его великолепной сатиры, вдохновленной беспредельной любовью к простым, рядовым людям.

Такие классические образцы русской сатиры, как «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Справка», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев», по-новому продолжают и развивают лучшие традиции Гоголя и Щедрина. Смерть маленького чиновника от страха из-за того, что он в театре нечаянно чихнул на лысину генерала, представляет собой сатирическое преувеличение, подчеркивая всю печальную, постыдную и жалкую правду жизни.

Вершиной чеховской сатиры восьмидесятых годов являются «Унтер Пришибеев», «Хамелеон», подобно тому как венцом сатиры Чехова девяностых годов явился «Человек в футляре».

С внешней стороны «Унтер Пришибеев» выглядел совсем скромно, он появился на газетной странице с подзаголовком: «Бытовая сценка», и походил в самом деле на одно из обычных шуточных изображений отставного дядьки, любителя поучать «невежественный народ». Но в этой «бытовой сценке» нашел воплощение монументальный сатирический образ, ставший в один ряд с самыми замечательными образами мировой сатирической литературы. Пришибеев — такое же популярное, всем знакомое лицо, как Собакевич, Ноздрев, Сквозник-Дмухановский, Угрюм-Бурчеев, Иудушка Головлев. А ведь унтер Пришибеев — не герой романа или пьесы, он всего лишь персонаж миниатюрной сценки. Но мы знаем его характер, все его обличие. *Пришибеевщина* стала символом наглого и глупого самодовольства, самовлюбленного и самоуверенного невежества, хамского высокомерия, холопского презрения к народу, грубого и нелепого вмешательства не в свое дело, стремления «пресечь», подавить все живое. А для своего времени образ Пришибеева был символом всех реакционных сил эпохи с их стремлением «подморозить», остановить самую жизнь страны, ее движение вперед. Какая же сила

высокого мастерства, достигнутого молодым писателем,— мастерства, вдохновленного стремлением к свободе, отвращением к деспотизму,— нужна была для того, чтобы в крошечном рассказе соорудить такой классический сатирический монумент, создать такой выпуклый, многозначный, своеобразный, необычный и вместе с тем имеющий такое глубокое и широкое обобщающее значение социальный тип! В образе Пришибеева выражен самый дух полицейщины, тирании, реакции. Как всякое большое сатирическое обобщение, образ Пришибеева сохраняет свое значение и для нашего времени. Пережитки пришибеевщины мы можем встретить среди бюрократов, зажимщиков и в нашей действительности. Замечательная черта чеховской сатиры — высмеивание утопичности стремления пришибеевщины, беликовщины «пресечь», подавить, уложить в футляр живую жизнь.

«Хамелеон» также вполне достоин того, чтобы стать в один ряд с созданиями гоголевского и щедринаского гения. Наряду с образом Пришибеева образ Хамелеона был характерен для эпохи, в которой были столь распространены явления ренегатства, «тушинских перелетов», приспособления, подлаживания к действительности. Обыкновенный полицейский надзиратель Очумелов становился фигурой широкого типического значения.

Так в мрачную победоносцевскую эпоху Чехов возрождает славные традиции русской сатирической литературы. В обывательских юмористических журнальчиках он ухитрялся бичевать *уродство общественных форм*, как довольно точно охарактеризовала победоносцевская цензура тему «Унтера Пришибеева».

Образы многих чеховских рассказов вошли в наш повседневный быт, имена персонажей стали нарицательными. Достаточно сказать «Пришибеев», «хамелеон», «душечка», «попрыгунья», «человек в футляре», чтобы сразу стала ясной сущность целых социальных явлений. Это и есть сила *типичности*, которою Чехов овладел еще в своих ранних произведениях.

Уже в 1885 году начали появляться в печати первые зрелые чеховские рассказы нового типа, с тем отличием от прежних, что комическая сторона уже не играет в них господствующей роли. К своему прежнему «чистому» юмору Чехов, начиная с 1887—1888 годов, уже почти не возвращается. Юмор в его произведениях начинает играть новую роль: он или еще больше усиливает, оттеняет трагическое,— как в рассказе «Горе»,— или, наоборот, смягчает трагедию мудрой, светлой улыбкой,— такую роль играет юмор, например, в рассказе «Тоска».

Окончив в 1884 году курс университета, Антон Павлович приехал в тогдашний заштатный город Воскресенск под Москвой (ныне Истра), где его брат Иван Павлович получил должность учителя приходского училища. Антон Павлович вместе с семьей жил под Воскресенском каждое лето, вплоть до 1887 года, снимая дачу в имени Бабкино у Киселевых, интеллигентных помещиков; Киселева была детской писательницей.

Воскресенск и Бабкино сыграли большую роль в жизни писателя. Здесь развилась и его любовь к среднерусской природе, сделавшая его мастером русского пейзажа; здесь познакомился он со множеством людей разнообразнейших званий и профессий. Перед ним открылся целый новый мир — жизнь крестьян, земских врачей, помещиков, чиновников, учителей, офицеров. Все больше расширялся тематический кругозор молодого писателя. Он пристально изучал, исследовал действительность, причем вовсе не в качестве наблюдателя со стороны. Антон Павлович заведовал некоторое время земской лечебницей неподалеку от Воскресенска — в Звенигороде, принимал больных в Чикинской земской больнице, в двух верстах от Воскресенска. Земский врач был фигурой, тесно связанной со всей жизнью крестьянства. Перед Чеховым открылись драмы и трагедии тогдашней русской деревенской жизни, без глубокого знания которых он не мог бы написать такой рассказ, как «Горе». Без своего воскресенско-звенигородского жизненного опыта он не мог бы создать такие вещи, как «Хирургия», «Беглец», «Неприятность» и множество других рассказов, связанных с фигурой врача, с больницей.

В Звенигороде Антон Павлович часто посещал заседания уездных судебных съездов, выступая на суде в качестве эксперта, ездил на вскрытия трупов (вспомним рассказы «Мертвое тело», «На вскрытии» и др.).

В Бабкине началась дружба Чехова с замечательным русским живописцем Левитаном, жившим неподалеку и так же страстно, как и Антон Павлович, влюбленным в подмосковные пейзажи.

В эти же годы Чехов окончательно увидел свое призвание не в медицине, а в литературе.

Чехов становится писателем низовой, разночинной демократической русской интеллигенции, выросшей и оформившейся вместе с ускоренным ходом капиталистического развития России. В его творчестве отразились и лучшие и слабые стороны этой части интеллигенции, с ее демократичностью, отвращением к паразитизму, нежеланием идти на службу к собственническому обществу, к дворян-

ству и буржуазии, недоверием к барскому и буржуазному либерализму, и в то же время с характерной для мелкобуржуазной интеллигенции отдаленностью от революционного пути и с неизбежными поэтому влияниями аполитичности, либеральных предрассудков.

Но, отражая эти слабости тогдашней интеллигенции, Чехов во многом идейно опережал ее. К нему целиком относится замечание Горького о том, что «психология старого русского литератора была шире и выше политических учений, которые тогда принимала интеллигенция».

Вместе с ростом художественного мастерства все более углублялся и образ любимого Чеховым героя его творчества, рядового, обыкновенного русского человека, во имя которого писатель жил и творил, ответственность перед которым так глубоко чувствовал до конца своих дней.

Моральный, общественный, демократический пафос чеховского творчества был скрыт или под покровом светлого, беззаботного, иногда внешне легкомысленного юмора, или — в рассказах более позднего периода — в выработанной Чеховым манере наружно бесстрастного, строго объективного повествования.

Но в каждой строчке, в каждом слове под этим покровом сдержанности и беспристрастия можно различить страстную любовь к трудовому человеку, презрение к его врагам — подлости, пошлости, тунеядству, грубости, эгоизму, насилию над человеком.

Для представления о сущности художественного метода Чехова, с его внешним бесстрашием, и о том, кто был для Чехова другом, любимым героем и кто был для него врагом, чрезвычайно характерен такой рассказ, как «Враги» (1887).

В нем изображаются горе земского врача Кирилова и горе барина Абогина. Пересечение двух несчастий составляет драматический узел рассказа.

У Кирилова, человека сорока четырех лет, умер от дифтерита его единственный ребенок, шестилетний мальчик.

У Абогина сбежала с любовником жена. Она притворилась смертельно больной, услала мужа за врачом, а сама тем временем покинула дом.

Кирилов подавлен, ошеломлен своим несчастьем. Все его мысли, движения автоматичны, он не в состоянии ни думать, ни говорить.

Когда неожиданно появившийся в его квартире Абогин начинает умолять его поехать спасти «умирающую», то Кирилов сначала даже не понимает, о чем идет речь. Затем он объясняет Абогину, что никак не может поехать, потому что умер его мальчик и больная

жена не может остаться одна в квартире. Но Абогин умоляет его «совершить подвиг». Наконец Кирилов соглашается. Когда они приезжают в усадьбу, обнаруживается коварная измена madame Абогиной. Обманутый муж потрясен. Он «вопит»:

«— Низость! Подлость, гадже чего не придумал бы, кажется, сам сатана! Услала затем, чтобы бежать, бежать с шутком, тупым клоуном, альфонсом! О боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу! Не вынесу я!»

Кирилов, все еще находящийся в забытьи, видит, что его не ведут к больной, и до него начинает доходить смысл слов Абогина. Кирилов постепенно, медленно выходит из своего состояния автоматизма.

«Доктор выпрямился. Его глаза замигали, налились слезами...

— Позвольте, как же это? — спросил он, с любопытством оглядываясь.— У меня умер ребенок, жена в тоске, одна на весь дом... сам я едва стою на ногах, три ночи не спал... и что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль бутафорской вещи! Не... не понимаю!»

Абогин не слушает Кирилова, он продолжает вопить, ругать себя «колпаком», посвящает Кирилова в тайны своей любви. И доктор окончательно выходит из оцепенения. Он чувствует себя глубоко и тяжело оскорбленным.

«— Зачем вы все это говорите мне? Не желаю я слушать! Не желаю! — крикнул он и стукнул кулаком по столу.— Не нужны мне ваши пошлые тайны, черт бы их взял! Не смеете вы говорить мне эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять? Да?

Абогин попятился от Кирилова и изумленно уставился на него.

— Зачем вы меня сюда привезли? — продолжал доктор, тряся бородой.— Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? Что у меня общего с вашими романами? Оставьте меня в покое! Упражняйтесь в благородном кулачестве, рисуйте гуманными идеями — играйте (доктор покоился на футляре с виолончелью) — играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплины, но не смейте глумиться над личностью! Не умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего внимания!

— Позвольте, что это все значит? — спросил Абогин краснея».

Теперь уже Абогин, в свою очередь, выходит из того состояния, в котором люди не замечают ничего, кроме своего несчастья.

«— А то значит, что низко и подло играть так людьми! Я врач, вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и моветонами, ну, и считайте, но никто не дал вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь!..

— Вы с ума сошли! — крикнул Абогин. — Не великодушно! Я сам глубоко несчастлив и... и...

— Несчастлив, — презрительно ухмыльнулся доктор. — Не трогайте этого слова, оно вас не касается. Шалопайи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!..

Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гневе продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду, они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого».

Перед нами как будто вполне беспристрастный рассказ о том, как два человека, под влиянием горя, делающего людей эгоистичными, тяжело и незаслуженно оскорбили друг друга. Обе стороны как будто в совершенно равном положении; у обоих героев весомые и, казалось бы, одинаково человеческие причины горя. У одного умер единственный ребенок; другой цинично обманут страстно любимой женщиной, для которой он пожертвовал всем: служебной карьерой, музыкальными способностями, порвал со всей своей родней. Если уже решать, кто из них более несправедлив в грубой ссоре, то, по видимому, неправ Кирилов. У него нет никаких оснований обвинять Абогина в том, что тот привез его для участия в пошлой истории. Приглашая Кирилова, Абогин был искренне убежден в опасной болезни своей жены.

И, однако, все это — лишь поверхность, внешний слой рассказа, как и явная неправота, несправедливость Кирилова — только внешняя, только формальная неправота.

Настоящая поэтическая сущность рассказа становится ясной уже при сопоставлении двух картин горя. Вот картина горя Кирилова:

«Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальне. Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать и которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине; Кирилов и его

жена молчали, не плакали, как будто, кроме тяжести потери, сознавали также и весь лиризм своего положения: как когда-то, в свое время, прошла их молодость, так теперь, вместе с этим мальчиком, уходило навсегда в вечность и их право иметь детей!»

А вот картина горя Абогина. Он убедился в бегстве жены и вернулся в гостиную, где Кирилов ожидает, когда его поведут к больной.

«У порога этой двери стоял Абогин, но не тот, который вышел. Выражение сытости и тонкого изящества исчезло на нем, лицо его, и руки, и поза были исковерканы отвратительным выражением не то ужаса, не то мучительной физической боли».

В горе Абогина нет человеческой красоты, нет «лиризма», нет никакой поэзии. Музыка нечего делать с таким горем. И какой иронией сбрасывается музыкальность Абогина!

Нам сразу становится ясным, что слова Кирилова о том, что Абогину не имеет права на несчастье, потому что и каплун, которого давит лишний жир, тоже «несчастлив», — эти слова выражают самые глубокие, самые заветные чувства самого автора; художник целиком на стороне Кирилова.

Красота человеческих чувств у Кирилова. Абогина же горе только отвратительно исковеркало.

Абогин красив. У него облик не то изящного дилетанта, не то «свободного художника». «В его осанке, в плотно застегнутом сюртуке, в гриве и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное...»

Замечательно, что именно сходство со львом усугубляет впечатление пошлости от Абогина: это сходство только внешнее, только поверхностное, а значит, и претенциозное.

Кирилов и его жена в своем горе «молчали», «не плакали», в то время как Абогин «продолжал вопить». И эта деталь тоже говорит о том, что Чехов, с его сдержанностью и отвращением к крикливому выражению чувств, всеми своими чувствами на стороне Кирилова.

Когда Абогин умоляет Кирилова поехать к нему, «Абогин был искренен, но замечательно, какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми и как будто даже оскорбляли и воздух докторской квартиры...» Слова, которыми рассказывает Абогин об измене жены, тоже неуместно цветистые, затасканные. И мы понимаем, что Кирилов имел полное право сказать, что эти пошлые слова оскорбляют его.

Мы видим, что перед нами не рассказ о том, как два интеллигентных человека под влиянием горя несправедливо оскорбили друг

друга, а рассказ о том, как человеческое горе было оскорблено пошлостью.

Так постепенно разоблачается красота Абогина. Она оказывается только внешней, так же как и его музыкальность. Лишь только дело дошло до кровных, жизненных интересов Абогина, как обнаружилась ничтожность всей его жизни, поверхностность его красоты.

Право на все человеческие чувства имеют только люди, связанные с трудом. Кирилов говорит от имени «всех вообще рабочих»; читатель чувствует за ним массу трудовых русских людей с их чувством человеческого достоинства, врожденным презрением к барству и паразитизму.

Только у людей труда — подлинная поэзия, красота, музыка жизни.

Любовь и ненависть художника, как видим, не выражены прямо и непосредственно в тексте: они живут как бы под текстом, в глубоком подводном течении рассказа. Эта особенность чеховского творчества и была впоследствии охарактеризована К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко как *подтекст* или *подводное течение*.

В своем сознании Чехов был еще далек от тех резких выводов, которые вытекают из художественной правды, раскрытой в его рассказе. Ему казалось, что мысли, которые продумывал доктор по дороге к себе домой от Абогина, были «несправедливы и нечеловечно жестоки. Осудил он и Абогина, и его жену, и Папчинского (любownika Абогиной. — В. Е.), и всех, живущих в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их и презирал до боли в сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях.

Пройдет время, пройдет и горе Кирилова, но это убеждение, несправедливое, недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы.

Так, создав, в сущности, сатирический портрет «благородного», либерального барина, Чехов тут же, в типичном либерально-гуманном духе, пытается смягчить свой плебейский гнев и презрение. Но, несмотря на это, мы понимаем, что то крепкое убеждение, которое сложилось у Кирилова о людях, «живущих в полумраке и пахнущих духами», близко Чехову, что он всем сердцем сочувствует этому убеждению.

Вскоре после «Врагов», в 1889 году, Чехов опубликовал рассказ «Княгиня», чрезвычайно близкий «Врагам» по всему внутреннему содержанию, по положению и характерам действующих лиц. В «Кня-

гине» тоже противопоставлены, с одной стороны, доктор, явно «родной брат» доктора Кирилова по всему своему облику, и, с другой стороны, внешне необычайно привлекательное, изящное, поэтическое существо — княгиня, по всему своему облику «родная сестра» Абогина. Доктор, служивший когда-то в одном из имений княгини и уволенный ею, но все же зависимый от этой аристократки и миллионерши, высказывает ей грубые истины — в духе тех, которые высказывал Кирилов Абогину.

Доктор говорит ей, что «общий дух», который царит в ее имениях, во всей ее жизни,— это «нелюбовь, отвращение к людям, какое чувствовалось положительно во всем. На этом отвращении у вас была построена вся система жизни. Отвращение к человеческому голосу, к лицам, к затылкам, шагам... одним словом, ко всему, что составляет человека... То есть я хочу сказать, что вы глядите на всех людей по-наполеоновски, как на мясо для пушек. Но у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у вас, кроме отвращения, ничего!.. Вам нужны факты? Извольте! В Михальцеве у вас живут милостыней три бывших ваших повара, которые ослепли в ваших кухнях от печного жара. Все, что есть на десятках тысяч ваших десятин здорового, сильного и красивого, все взято вами и вашими прихлебателями в гайдуки, лакеи, в кучера. Все это двуногое живье воспиталось в лакействе, объелось, огрубело, потеряло образ и подобие, одним словом... Молодых медиков, агрономов, учителей, вообще интеллигентных работников, боже мой, отрывают от дела, от честного труда и заставляют из-за куска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях, от которых стыдно делается всякому порядочному человеку! Иной молодой человек не прослужит и трех лет, как становится лицемером, подлипалой, ябедником... Ваши управляющие... эти подлые шпионы... рыщут от утра до ночи по десяткам тысяч десятин и в угоду вам стараются содрать с одного вола три шкуры... Простой народ у вас не считают людьми».

Как и доктор Кирилов, этот доктор тоже говорит от имени всех *простых людей*, независимо от того, занимаются они физическим или интеллигентным трудом. И какая глубина разоблачения не только одной этой княгини, но и всего тунеядческого собственнического мира раскрывается в замечательных словах доктора об отвращении к людям, на котором «построена вся система жизни» в эксплуататорском обществе!

В «Княгине» Чехов снимает всю внешнюю красоту и поэтичность со своего врага еще резче, чем он сделал это во «Врагах». Он внушает читателю такую силу отвращения к красивой паразитке,

что она становится физически отвратительной со всем своим изяществом.

По самой своей природе княгиня просто *не способна* понять доктора: он напрасно мечет бисер перед нею. Она принимает как должное его извинение на другое утро после их разговора.

«—...Нехорошее, мстительное чувство увлекло меня вчера,— говорит ей доктор, — и я наговорил вам... глупостей. Одним словом, я прошу прощения.

Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел».

Она непоколебимо убеждена в своей доброте, очаровательности, в том, что общение с нею доставляет счастье людям; в ее птичьей головке не удержалось ничего из того, что говорил ей доктор, она не способна задуматься над тем, что самое ее существование связано с несчастьями многих людей.

Если во «Врагах» доктор вовсе не склонен был просить прощения у своего врага и за него это делал автор, то в «Княгине» положение как раз обратное: доктор просит прощения у своего врага, но автор отнюдь не сочувствует этому. Нет, Чехов уже не считает мысли доктора «несправедливыми, недостойными человеческого сердца». Враг есть враг — вот ясное, резкое, не знающее никакой пощады настроение рассказа. «Описываю одну поганую бабу»,— писал Антон Павлович о своей работе над «Княгиней».

Как скуп, буквально в одном слове, нам дано понять, что доктор просит прощения у княгини не искренне, а только потому, что он человек зависимый. Это одно слово — «покраснел». Доктор покраснел, целуя у княгини милостиво протянутую руку, покраснел от униженности этой сцены, от стыда за то, что он вынужден назвать «глупостями» те мысли, которые он вынашивал годами,— умные, единственно достойные человеческого сердца, справедливые мысли...

Герой рассказа «Враги», доктор Кирилов, родственен по всему своему внутреннему облику многим и многим героям произведений Чехова, это — один из вариантов главного чеховского образа — труженика, простого человека. Таков герой одного из наиболее характерных для Чехова произведений — рассказа «Попрыгунья» (1892). Доктор Дымов — душевно богатый и сильный человек, чья душевная мягкость, доброта, робкая, всегда немножко виноватая деликатность, простота лишь подчеркивают его волю, неутомимость в труде, настойчивость в достижении цели, преданность своей науке.

Среди знаменитостей, окружающих его жену, Ольгу Ивановну, доктор Дымов представлялся слишком обыкновенным, ordinary,

незначительным. А когда Дымов умирает, заразившись дифтеритом от мальчика, у которого высасывал через трубочку дифтеритную пленку, то один из его коллег, доктор Коростелев, говорит Ольге Ивановне:

«— Умирает, потому что пожертвовал собой... Какая потеря для науки! — сказал он с горечью.— Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек. Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! — продолжал Коростелев, ломая руки.— Господи боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь...

Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.

— А какая нравственная сила! — продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то.— Добрая, чистая, любящая душа — не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти... подлые тряпки!

Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну...»

Дифтерит — не главная причина того, что оборвалась молодая жизнь Дымова. Дифтерит был лишь «сообщником» Ольги Ивановны.

Она не заметила, не поняла, что *великий человек*, поисками которого она занималась всю свою жизнь, жил рядом с нею. Она проглядела, «пропрыгала» главное, не поняла ни красоты, ни силы Дымова, не сумела увидеть *необыкновенное в обыкновенном*.

Во всем облике Дымова читатель угадывал черты большого русского ученого типа Сеченова. Чехов глубоко чувствовал национальный характер людей этого склада, повседневный героизм их исполинского труда, их беспредельную скромность, нравственную силу, негибимое упорство, преданность делу культуры, благородную любовь к родине и народу. Создавая образ Дымова, Чехов вложил в него свое восхищение типом русского ученого.

Характерно для всего творчества Чехова, для его отношения к жизни и к людям, что в самом романе, завязавшемся между художником Рябовским и Ольгой Ивановной, развивается тема *обыкновенности* и *исключительности* личности. Ольга Ивановна, «попрыгунья», ищет величие в необыкновенном, исключительном; в ее понимании великий человек — это избранная личность, высоко возвышающаяся над толпой «обыкновенных», «маленьких» людей. Замечательно и опять-таки в высокой степени характерно для Чехова то, что в самой измене Ольги Ивановны Дымову выразились ее презрение к

«обыкновенным», «маленьким» людям, ее представления о великом человеке, как об избранной личности, возвышающейся над толпой.

Самое начало романа Ольги Ивановны с Рябовским окрашено пошлостью этих представлений.

«В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега... Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник...»

Божий избранник объясняется ей в любви.

«— Не говорите так,— сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза.— Это страшно. А Дымов?»

— Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова...

...У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким...

...Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил,— думала она, закрывая лицо руками...»

Пошлость — все отношение Ольги Ивановны к «великим» и «маленьким» людям, ее представление о том, что особенным, исключительным личностям позволено все; пошлость — самый ее взгляд на «великого» человека, как на избранника, который призван попираť «обыкновенных» людей; пошлость — ее презрение к «маленьким», простым людям, презрение, так ясно сказавшееся в ее мысли о том, что для Дымова, «простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил,— высокомерной, себялюбивой мысли! Именно это представление «попрыгуни» о разделении людей на великих и обыкновенных явилось для нее моральным оправданием ее измены Дымову.

Образ «попрыгуни», всю свою жизнь «прыгающей» в поисках исключительного, великого человека,— в конечном итоге сатирический образ. И если образ чеховской «душечки» дал основание Ленину для политически-сатирического обобщения таких свойств определенной части интеллигенции, как политическая беспринципность, мягкотелость, переменчивость, несамостоятельность взглядов и позиций, то и образ «попрыгуни» мог бы быть применен для характеристики большей части тогдашней интеллигенции, «прыгавшей» от поклонения перед одним «великим человеком» к поклонению

перед другим «избранником», создававшей себе «божков» и менявшей их.

Свой рассказ о докторе Дымове и его жене Чехов сначала назвал «Великий человек». С таким названием он послал его в редакцию журнала «Север». Но название не удовлетворяло его. Он писал редактору журнала В. Тихонову: «Право, не знаю, как быть с заглавием моего рассказа! «Великий человек» мне совсем не нравится. Надо назвать как-нибудь иначе — это непременно. Назовите так — «Попрыгунья»... Не забудьте переменить».

Возможно, что название «Великий человек» казалось Антону Павловичу нескромным, претенциозным. Но оно верно передает все существо дела. Ложному величию Чехов противопоставил в рассказе подлинное величие простого и скромного, «обыкновенного» человека. Любимые герои Чехова — обыкновенные русские люди. В каждом из них мы ясно видим не только отдельного человека, но и всю его среду, целые пласты самой жизни.

Чеховский герой непосредственно принадлежит к довольно широкой, демократической социальной среде. Даже и в самых маленьких чеховских рассказах всегда чувствуется масса, из которой вышел тот или другой персонаж, виден *поток жизни*, движение которого выражает тот или иной герой.

За фигурами чеховских Кириловых и Дымовых мы ясно ощущаем множество трудовых людей.

Одной из наиболее важных, своеобразных особенностей всей чеховской эстетики и было умение найти *красоту обыкновенного*, ту «незаметную», будничную красоту жизни, мимо которой прошла, не поняв ее, «попрыгунья».

Этот эстетический принцип — скрытость красоты в обыкновенном, «незаметном», повседневном — был связан с убеждением Чехова в богатстве, разнообразии, талантливости множества рядовых русских людей — подлинной России. Принцип этот свидетельствовал о глубокой демократичности чеховского творчества, так возвышавшего «маленьких людей», тружеников.

В творчестве Чехова играют исключительно важную роль страстные, упорные, мучительные поиски цельного, ясного мировоззрения, которое основывалось бы на правдивом, точном знании объективной действительности и дало бы ответ в новых исторических условиях на классический вопрос: *что делать?*

Писатель, выразивший переходный период в истории нашей родины, ее общественного движения, когда умерли старые идеалы и рождались новые, — Чехов чувствовал исчерпанность прежних

идеалов, необходимость новых ответов на «проклятые вопросы». Все те ответы, которые давались различными идеологами его эпохи на страницах тогдашних журналов и газет, представлялись ему необоснованными, далекими от знания и понимания реальной русской жизни, неспособными дать программу ясного действия. Консерватизм, либерализм, народничество — все эти лагеря тогдашней политической жизни вызвали у Чехова отрицательное отношение. Прогрессивный и демократический писатель по всему духу и характеру своего творчества и вместе с тем далекий от политической борьбы, Чехов относился с недоверием и скептицизмом к той политической жизни, которую он видел на поверхности своей эпохи. Она отталкивала его мелкотравчатостью, узостью, субъективизмом тогдашних политических направлений. Именно это усиливало в нем в течение длительного периода времени — вплоть до начала девяностых годов — настроения аполитичности. Все известные ему политические группировки казались Чехову «невежественными». И в самом деле, его знание и понимание русской жизни было неизмеримо более глубоким и основательным, чем знание и понимание либеральных и народнических идеологов.

«Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист», — писал он Плещееву в 1888 году, и это было точной самохарактеристикой. Он мог бы добавить: не народник, не толстовец.

Когда Чехов говорил, что у него «нет мировоззрения», то это означало страстность и мучительность его идейных поисков, характерную для него строгость к самому себе. Овладеть определенным мировоззрением, *общей идеей*, как говорит старик профессор, герой «Скучной истории», для Чехова означало обладать ясной *программой социально-политических действий*. Со своим по типу и характеру *научным* мышлением Чехов мечтал именно о *научно обоснованной, конкретной программе действий*. И с горечью он сознавал, что не может в своем творчестве указать читателю ясные пути, ведущие к счастью, свободе, к жизни, достойной величия и красоты родины... Таково объективное значение столь частых и характерных для Чехова жалоб на «отсутствие» у него мировоззрения. Сложившемуся у писателя материалистическому, прогрессивному мировоззрению недоставало социальной действенности, политической активности, вследствие чего и мечта Чехова о светлом будущем неизбежно носила печать отвлеченности, бездейственности. Антон Павлович все острее чувствовал эти недостатки своего мировоззрения.

Он все сильнее стремился к участию в активной политической жизни, в общественной борьбе. Именно это стремление, желание быть полезным народу, родине побудило его поехать на Сахалин (1890), этот остров ужасов, место каторги и ссылки, где царское правительство сосредоточило все возможные виды человеческого унижения и страдания.

Цель этого путешествия была связана прежде всего с поисками ответа все на тот же вопрос: что делать?

В эпоху «малых дел», отсутствия идеалов у интеллигенции, Чехов искал то, к чему всегда стремились русские демократические писатели, — возможность подвига.

Конечно, если бы ему сказали, что его поездка — подвиг, он рассмеялся бы. Он сам всячески старался представить свое путешествие пустяком. И все же поездка была подвигом. И дело тут не столько в его болезни, не в трудностях пути, — по тогдашним условиям поездка на Сахалин являлась труднейшим путешествием, — не в изнурительном, непрерывном полугодовом труде, сколько прежде всего в стремлении прямо, лицом к лицу сойтись с самой ужасной правдой и рассказать о ней всем.

Несмотря на все трудности пути, настроение у путешественника было бодрое. Больше тысячи верст он проехал по Амуру, наслаждаясь величавой красотой пейзажа.

Его чувство родины расширялось. И горько и радостно было ему. Он видел много грубого, тяжелого, его возмущал дикий произвол, насилие чиновников. Но наблюдения его над крестьянами, над простыми русскими людьми с повседневным героизмом их труда были светлыми, радостными. Свои впечатления, выраженные им в очерках о Сибири, он обобщил в письме к сестре: «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!»

Поездка на Сахалин была стремлением писателя выйти из идейного кризиса, мучившего его на рубеже восьмидесятых — девяностых годов. Путешествие оказалось плодотворным. Он много перестрадал на Сахалине, его долго еще преследовали кошмары воспоминаний о мучениях людей на острове. И вместе с тем поездка дала ему уверенность, обозначила новую мощную зрелость. Без своего путешествия он не мог бы написать не только свою книгу о Сахалине, но и «Палату № 6» и такой замечательный рассказ, как «Гусев». Эти произведения, проникнутые новым для чеховского творчества мотивом прямого, открытого протеста против тирании, гнета, произвола, явились непосредственным творческим итогом поездки на Сахалин. Поездка дала новую ноту суровой мужествен-

ности в его творчестве, сыграла большую роль в росте его общественно-политического самосознания. Вскоре после возвращения Чехов порывает с «Новым временем» — «охранительной» газетой, в которой он сотрудничал не потому, что сочувствовал ее направлению, а в силу своей тогдашней аполитичности и личной дружбы с редактором и издателем газеты Сувориным.

Поездка на Сахалин с особенной силой подчеркнула в сознании писателя всю невыносимость, всю тесноту, тюремную духоту тогдашней русской жизни. Эта жизнь со всей ясностью представилась ему жизнью в четырех стенах, с надзирателями, решетками, кандалами.

Так возникла «Палата № 6» — быть может, самое страшное произведение русской литературы. Недаром молодой Владимир Ильич рассказывал своей сестре Анне Ильиничне: «Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6».

Велико было общественное значение этого произведения в деле мобилизации сил протеста, ненависти к деспотизму. «Палата № 6» явилась одним из симптомов начинавшегося общественного подъема, одним из заметных обозначений исторического рубежа между восьмидесятыми и девяностыми годами.

Предельно проста фабула и сюжет рассказа.

В глухом провинциальном городке, вдали от железной дороги, находится больница, которую вот уже двадцать лет заведует доктор Андрей Ефимыч Рагин. Больница находится в полной запущенности: грязь, заброшенность больных, воровство. Когда-то, очень давно, доктор Рагин энергично работал, пробовал добиваться улучшений, но скоро убедился в безнадежности всех попыток упорядочить дело. Столкнувшись с всеобщим равнодушием, он пришел к выводу, что существование такой больницы глубоко безнравственно, но что стену лбом не прошибешь, зло не им придумано и у него, дескать, не остается никакого выхода, кроме чисто формального исполнения своей должности. Он замкнулся в своей квартире и ушел в чтение философских и исторических книг, сопровождаемое графинчиком водки с огурцом.

Исчерпывающая характеристика мягкого, деликатного доктора Рагина, не способного ни на какое проявление воли, дана в следующих словах:

«Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право».

Постепенно он создает себе целую философскую концепцию бездействия. «Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками». Таков его символ веры. «Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом». А поэтому незачем хлопотать, надрываться, бороться, стараться упорядочить, устроить жизнь. «Марк Аврелий сказал: «Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет».

В то время как Андрей Ефимыч предавался таким размышлениям, все дальше уходя от реальной действительности, в больнице полновластно распоряжались грабители, а блюстителем порядка являлся больничный сторож Никита. Это грубый и тупой исполнитель, жестоко избивающий больных, запертых в психиатрической палате — палате № 6.

Как-то случайно зайдя в палату № 6, Андрей Ефимыч обратил внимание на интеллигентного больного и, разговорившись с ним, с радостью обнаружил в нем острый, живой ум. Больной — Иван Дмитрич Громов — держится образа мыслей, резко противоположного образу мыслей Андрея Ефимыча. Громов доказывает необходимость действия, борьбы за свободу, протестует всем своим существом против угнетения, рабства, произвола; его речи представляют собой «попурри из старых, но недопетых песен». Это «песни» шестидесятых — семидесятых годов, песни о свободе. Чехов догадывается о том, что кто-то еще споет их по-новому!

Частые беседы доктора с больным, чудаковатость Андрея Ефимыча, происходящая от одиночества и полной изоляции от жизни, дают основание окружающим заподозрить, что доктор сам сошел с ума. Помощник Рагина, карьерист, претендующий на его место и считающий Андрея Ефимыча, у которого нет ни копейки, пройдохой, ловко использует положение. Андрея Ефимыча признают сумасшедшим и запирают в ту же палату № 6.

И тут терпит жестокий крах вся его философская система. Ему и в голову не приходит теперь вспомнить о том, что ведь можно быть счастливым и за тремя решетками! Напротив, вместе с поддерживающим его Иваном Дмитричем Громовым он устраивает настоящий бунт против насилия и произвола. Никита избивает обоих своими железными кулаками. Андрей Ефимыч падает на койку, «и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать

годами, изо дня в день эти люди» — и Иван Дмитрич и другие заключенные в палате № 6. «Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят».

На другой день доктор Рагин умер от апоплексического удара.

Вся Россия увидела в рассказе символическое изображение грубой и тупой силы самодержавия, угнетения людей, увидела себя самое запертой в палате. Юный Ленин высказал чувство всей страны, потрясенный простой и неотразимой силой чеховских образов. «Палата № 6» звала к борьбе.

И вместе с тем многие и многие Андреи Ефимычи слышали незаглушимый голос совести, грозный удар молота. Совесть в лице Чехова говорила им: — Это вы сами, милые, деликатные, гуманнейшие, честнейшие Андреи Ефимычи, именно вы, а не кто-нибудь другой гноите людей в тюрьме, в гигантской «палате № 6», подобно тому как честнейший доктор Рагин в течение двадцати лет гноил несчастных людей в застенке, сваливая все на других! Это вы, милейшие, либеральнейшие Андреи Ефимычи, виноваты во всех преступлениях царского правительства тем, что не боретесь с ним, услаждая себя различными успокоительными философиями!

Чехов ударил своим молотом не только по самодержавию, но нанес «Палатой № 6» неотразимый удар и по всем видам и формам интеллигентского «прекраснодушия», отказа от борьбы, какими бы рассуждениями это ни прикрывалось, в частности и по толстовскому реакционному учению о «непротивлении злу насилием».

Та правда, которую раскрыл автор «Палаты № 6», была трагической для него самого. Какой же *выход* возможен из тюрьмы? Этого Чехов не знал. Но он уже понял, что насилию нужно противопоставить не вспышки отчаяния и бессильного протеста, а борьбу. Мил и обаятелен Андрей Ефимыч в своей кроткой интеллигентской беспомощности перед грубостью жизни, но какой же толк от всех его прекрасных качеств! Честен, смел, благороден, правдив Иван Дмитрич Громов, но и он оказался слабым. Очутившись вместе с Громовым заключенным в палате, Андрей Ефимыч говорит Ивану Дмитричу: «Слабы мы, дорогой... Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом... простирация... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери воссали благие поры-

вы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели... Слабы, слабы!»

Это стало одною из самых важных, коренных тем всего творчества Чехова девяностых — девяτισотых годов: критика слабости тогдашней интеллигенции.

Несмотря на то, что Чехов не знал и не видел путей, которыми родина должна была прийти к свободе, все же присущая ему общественная чуткость помогала писателю если не сознавать с полной ясностью, то все глубже чувствовать и отражать в своих произведениях тот общественный подъем, который наступил в стране в девяностые годы, подъем, приведший к первой русской революции.

В творчество Чехова входит новый глубокий мотив — предчувствие близости счастья, великой перемены всей жизни родины. И подобно тому, как, живя в приморском городе, мы постоянно чувствуем близость моря, даже когда не видим его,— так, читая Чехова девяностых и девяτισотых годов, мы всегда чувствуем за всей грустью беспредельную широту жизни; где-то в глубине, в интонациях, в самой музыке чеховской поэзии слышится нам «торжество красоты, молодость, расцвет сил», видится образ «прекрасной суровой родины» («Степь»).

Вот проходит перед нами мрачная амбарная жизнь в повести «Три года» (1895); купеческо-приказничье сумрачное Замоскворечье встает перед нами с его страшными картинками. Мы встречаемся со знакомой нам по всему предыдущему творчеству чеховской трезвой, суровой правдой жизни. Но если в «Палате № 6» не было никакого намека на выход из тюрьмы, то в повести «Три года», при всем мраке изображаемой действительности, уже звучит мотив веры в счастье, в изменение всей этой, кажется, безысходной жизни.

Один из героев повести, молодой ученый-химик Ярцев, преподающий в средних учебных заведениях, поэт и художник в душе, высказывает те заветные мысли самого автора, которые затем все сильнее начинают звучать в чеховском творчестве.

Работая чуть ли не круглые сутки, Ярцев сохраняет свое постоянное радостное чувство восхищения одаренностью, творческим богатством русского народа. Он говорит своему приятелю Лаптеву:

«— ...как богата, разнообразна русская жизнь. Ах, как богата! Знаете, я с каждым днем все более убеждаюсь, что мы живем накануне величайшего торжества, и мне хотелось бы дожить, самому участвовать».

Осуждая недостатки тех своих интеллигентских героев, которым он сочувствует: их социальную слабость, беспочвенность, пи-

сатель критиковал при этом, в сущности, и самого себя, недостатки своей собственной социальной позиции, своего мировоззрения. Его постоянная неудовлетворенность собой, своим творчеством имела источником прежде всего идейную неудовлетворенность, страстное желание сказать читателю, что и как нужно делать для того, чтобы не только критиковать действительность, но и изменять ее.

С горечью чувствуя недостатки своего мировоззрения, Чехов, казалось бы, должен был со вниманием прислушиваться к поучениям лидера либерального народничества Михайловского, который сурово осуждал писателя за «отсутствие мировоззрения». Но упреки Михайловского не слишком трогали его. Он чувствовал, что за ними скрывается стремление заставить его исповедовать крохоборческие, отсталые, идущие в разрез с ходом объективной действительности «идеалы». Его особенно отталкивал от либерального народничества именно эпигонский догматизм узкой, мелкой, нетворческой, автоматической мысли, пережевывающей и опошляющей то, что когда-то было новым и живым. Он ясно сознавал фальшь попыток народников восьмидесятых годов представить себя продолжателями идеалов отцов, хранителями наследства шестидесятых годов.

«Шестидесятые годы,— писал Чехов Плещееву в 1888 году,— это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его, значит опошлять его».

Под «глупыми сусликами» он подразумевал либералов и либеральных народников. Типичного народнического «суслика» восьмидесятых — девяностых годов, с его плоскими, скучными, убогими идейками кустарных промыслов и прочими народническими «кустостями», долженствовавшими спасти Россию, Чехов высмеял в рассказе «Соседи» (1892) в образе унылого, нудного Власича. Конечно, Чехов был далек от политической, программной ясности в своем отношении к народничеству, но чутье художника — правдивейшего исследователя русской действительности, знание этой действительности, так великолепно сказавшееся, например, в повестях «Мужики», «В враге», «Новая дача», представлявших по своему объективному значению жесточайшее разоблачение народнических субъективистских рецептов и схем, стремление к широким, большим решениям социальных вопросов, к свободе от предвзятых догм, устремление всего его творчества к будущему, а не прошлому — все это помогало Чехову в понимании неспособности народничества внести в действительность что-то реальное, прогрессивное, облегчающее страдания народа.

К политическим группировкам, представлявшим дворянский и буржуазный либерализм, Чехов относился с иронией, в которой было немало презрительного. В повести «Дом с мезонином» (1896) остро критикуется мелкотравчатость, убожество либерализма и ему противопоставляется далекая от политической ясности, но страстная мечта о том, чтобы разорвать «цепь великую», которою был опутан народ. Сколько в этой повести истинной любви к народу, глубокого сочувствия к страданиям народным! Недаром Некрасов был одним из любимейших поэтов Чехова, и недаром именно Некрасова вспомнил он в том споре, который герой «Дома с мезонином», художник, высказывающий много *чеховских* мыслей, ведет с типичной либеральной земской деятельницей, Лидой Волчаниновой. В своих спорах с Лидой Волчаниновой художник отрицает какую бы то ни было полезность земской деятельности.

«По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья...

...Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада...

Если уж лечить, то не болезни, а причины их... При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать, и не буду...»

Чехов, разумеется, не соглашается с художником, когда тот отвергает необходимость больниц и школ на том основании, что они ничего не могут изменить в общих условиях ужасной действительности. Антон Павлович сам был земским деятелем, сам отдал немало сил всем этим «школам, библиотечкам, аптечкам». Но в самой путанице мыслей художника, в его горечи, в его искренних поисках коренных, а не частных, не мелких решений социальных вопросов, даже в его отвращении к искусству, в его нежелании поддерживать существующий социальный порядок — во всем этом неизмеримо больше правоты, чем в самоудовлетворенной ограниченности Лиды Волчаниновой. Для нее земская деятельность является *футляром*, она не способна увидеть то море народного горя, о котором с такой

страстью говорит художник, ей чуждо, непонятно его стремление — пусть далекое от ясности — разбить проклятую цепь.

Автор повести «Дом с мезонином» *решил* в ней для самого себя и для читателя большую задачу и не мог решить ее. Когда Чехов пишет, ведя свое повествование от имени художника и изображая спор между ним и Лидой Волчаниновой: «...я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль», — то несомненно, что это сам автор старается уяснить самому себе и своему читателю, в чем же заключается правда, какими путями идти к ней. И тем более существенно, что, не оспаривая мнения Лиды Волчаниновой о необходимости школ, аптек, медицинских пунктов, Чехов вместе с тем всей силой художественного, поэтического решения темы осуждает самодовольство Волчаниновой, ее нежелание выйти за пределы своего — нужного, но крошечного дела, жалкого в сравнении с нуждами народа. Вся художественная логика, поэтическая конкретность образов повести, вся ее внутренняя музыка — все это направлено против либерального *футляра*, либеральной мертвенности, догматического, холодного нежелания посмотреть в лицо действительной жизни. Чехов раскрывает непоэтичность, самодовольство столь распространенной в его эпоху философии «малых дел», прикрывающей равнодушие к главным, коренным вопросам жизни.

Нежизненность, уость социальной позиции Лиды Волчаниновой писатель связывает и с черствостью, мертвенностью ее отношения к живым, глубоким, прекрасным, поэтическим человеческим чувствам. Лида Волчанинова становится поперек пути молодости, красоты жизни, любви. Ведь это она убила любовь милой Мисюсь и художника, деспотически разлучила любящих, холодно и самоуверенно разрушила их счастье. Красота повести «Дом с мезонином», ее замечательное идейно-художественное новаторство как раз и заключаются в тонком музыкальном переплетении интимной лирической темы с большой социальной темой, в изумительном поэтическом сочетании грусти об утерянном счастье любви с тоской о всеобщем счастье. Нежный образ Мисюсь становился образом самой красоты, самой молодости и чистоты жизни, отнятых у людей. Большая социальная тема выступала как большая лирическая тема. Социальные темы были для Чехова глубоко личными темами; личное счастье человека, с точки зрения писателя, невозможно без общего счастья, без счастья народа. Счастье — только в будущем! — таков лейтмотив чеховской поэзии. А мелодия, звучащая в словах: «Мисюсь, где ты?», надежда художника на то, что где-то, когда-то он встретится со своей Мисюсь, — эта мелодия заключала в себе и

тоску, и мечту об общем счастье, и надежду на то, что когда-нибудь оно придет ко всем людям.

Герой рассказа «Крыжовник» (1898), ветеринарный врач Иван Иваныч, осуждает свои прежние либерально-постепеновские взгляды.

«Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил Иван Иваныч, сердито глядя на Буркина. — Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам или затынет его илом, в то время как, может быть, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!»

Так входила в сознание Чехова мысль о необходимости не эволюционного, а решительного и коренного изменения всей действительности, догадка о необходимости смелого, большого действия: таков смысл слов о том, что нельзя ждать, когда все «образуется» само собой, нельзя надеяться на постепенное улучшение, можно *перескочить через ров!* Эта мысль возникла у Чехова в несомненной связи с ростом революционного движения рабочего класса, оказывавшим прямое или косвенное влияние на все стороны жизни, в том числе и на творчество великого русского писателя, несмотря на то, что он не был связан с этим движением, был далек от непосредственно политического мышления.

Вместе с созреванием мысли о необходимости коренного изменения действительности оформлялась в сознании Чехова и его догадка о том, что для такого изменения недостаточны усилия одиночек, «избранных личностей», что необходимо воздействие на народные массы. Но в чем же должно выражаться это воздействие, Чехов, конечно, не мог знать, не имея никаких связей с революционным движением, с марксизмом. Так, героиня повести «Моя жизнь», высказав замечательные мысли о необходимости сильных, смелых, скорых способов борьбы за изменение действительности, о необходимости «действия сразу на массу», не может назвать никаких других видов такого действия, кроме искусства. Но все же в этих догадках сказалось упорное, глубокое стремление писателя найти какие-то но-

вые, решительные пути к изменению жизни, связать искусство с борьбой за это изменение.

Эти особенности художественного творчества и мировоззрения Чехова еще более отвращали его от народнических представлений о «героях и толпе», о «критически мыслящих личностях», «избранниках», стоящих над массой. Чехов глубоко чувствовал, что историю не делают одиночки.

«Рассказ неизвестного человека» (1893) представляет собою развенчание народнического героя — террориста. Герой повести — ренегат, переходящий на обывательские позиции «жизни для жизни» (то есть на те позиции, о которых с глубоким презрением Чехов писал в ответе Суворину, защищавшему в письме к Антону Павловичу обывательскую философию «жизни для жизни», отказ от «высших целей»). Легкость ренегатства, перехода от нелегальной деятельности, от профессионального терроризма — к жажде покоя и «обыкновенных радостей», эта удивительная легкость падения, как говорит о происшедшей в нем перемене сам герой повести, была связана с полной изжитостью, исчерпанностью, банкротством всего народнического мировоззрения. Вопрос о причинах легких падений людей, считавших себя передовыми деятелями, вчерашних прогрессистов, народников или просто людей с «идеалами», скатывающихся к обывательщине, к существованию ради существования, — этот вопрос всегда глубоко занимал и волновал Чехова. И действительно, эти явления были весьма характерны для всех тех интеллигентских деятелей восьмидесятых — девяностых годов, которые стояли на позициях культурных, «мыслящих» одиночек, для всех тех, кто считал возможным осветить светом только из *своего* окошка всю окружающую тьму. Чехов не мог ответить на вопрос о причинах легкости этих падений, но он чувствовал, что дело заключается в неглубоком, непрочном, безнадежно устаревшем идейном вооружении этих деятелей его эпохи, в отсутствии у них всеохватывающей *общей идеи*, в их позиции *одиночек*. В этом смысле для Чехова объединялись, при всем их индивидуальном различии, люди типа и бывшего террориста, героя «Рассказа неизвестного человека», и магистра Коврина, героя «Черного монаха», и Иванова, героя одноименной пьесы, и целого ряда других подобных деятелей, приходящих к краху.

Вплотить образ нового героя русской действительности было предназначено Горькому — писателю, выразившему новый, третий период в развитии русского революционно-освободительного движения, характеризовавшийся тем, что к сознательному творчеству

истории вышли народные массы. Если Горький сказал на языке художественных образов, кто является истинным героем истории, то Чехов сказал, кто *не* является героем истории, объяснил читателю, за кем *не надо* идти, выразил мысль о том, что нельзя поклоняться «кумирам», «избранным личностям».

В рассказе «Черный монах» (1894) с полной научной точностью описана мания величия, овладевшая посредственным ученым, который расстроил себе нервы чрезмерными занятиями. Но, кроме точнейшего воспроизведения психического заболевания, в рассказе есть свое глубокое поэтическое подводное течение.

Магистр философии Коврин начал жить не настоящей жизнью, а мечтами, миражами. Он галлюцинирует, его посещает летучее видение — черный монах с ласковым и в то же время лукавым выражением лица. Да, этот черный монах — лукавый льстец. Опасный льстец. Прислушаемся к его речам, соблазнившим магистра философии. Что внушает магистру черный монах, этот «продукт возбужденного воображения» Коврина, как говорит о себе сам черный монах, не скрывающий, что он лишь призрак? Правда, он при этом применяет софистику, хорошо известную магистру философии: «Я существую в твоём воображении, а воображение твоё есть часть природы, значит, я существую и в природе». И Коврин и не верит и верит в реальность своего миража.

«Ты один из тех немногих,— говорит магистру его призрачный собеседник,— которые по справедливости называются избранныками божиими... Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и т. п. могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей... Повышенное настроение, возбуждение, экстаз — все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо.

— Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову,— сказал Коврин.— Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли...»

Окружающие поддерживают в Коврине его веру в свое избранничество. Когда он объясняется в любви Тане, она говорит ему: «...Мы люди маленькие, а вы великий человек». И Таня, чей образ сродни образу Сони из «Дяди Вани», и отец Тани, талантливый садовод, создатель чудеснейшего, редкого сада,— оба они относятся к Коврину, как к избраннику. Они так же обожают магистра философии,

как Соня и дядя Ваня обожали другого «избранника», и так же погибают их жизни во имя кумира.

Да, возник этот черный монах где-то в Сирии или Аравии, тысячу лет назад, а стоит лишь прислушаться к его словам, чтобы убедиться в том, что он повторяет в торжественной, экзальтированной форме типичнейшие модные интеллигентские идеи, столь распространенные в семидесятых — восьмидесятых — девяностых годах: тут и «герой и толпа», «избранники божи и стадо», тут и жертвенность избранных личностей, тут и представление об интеллигенции как об особой касте «служителей высшему началу», «пророков», мудрецов и поэтов, призванных, подобно мессии, вести за собой «стадо» — человечество, тут и такая, тоже бывшая весьма модной в то время, идея, как родственность гения и безумия, и т. д. и т. п. Недаром Коврин говорит черному монаху, что тот *как будто подсмотрел и подслушал его сокровенные мысли*, недаром речи черного монаха льстят *всей душе, всему существу* Коврина.

Лукавые речи черного монаха — это набор ходячих представлений, идей, типичных для многих Ковриных, считавших себя избранниками, призванными осчастливить своим божественным разумом толпу обыкновенных людей. Недаром речи черного монаха напоминают Коврину все то, чему он учился сам и чему учил других, что писалось в тогдашних книгах, брошюрах, статьях, проповедовалось с кафедр.

Неестественный подъем, экстаз, в состоянии которого пребывает психически заболевший Коврин, оканчивается печально и трагично. Какой резкий, сурово насмешливый контраст между вдохновением — ложным! — лучезарностью, окрасившей жизнь Коврина в тот период, когда он верил в свое величие, и реальностью, которую он с особенной остротой и горечью чувствует после пережитого подъема! Все, что написал Коврин в период этого, оказавшегося болезненным, восторга — диссертацию, статьи, — ему пришлось теперь уничтожить, разорвать, потому что «в каждой строчке видел он странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, манию величия, и это производило на него такое впечатление, как будто он читал описание своих пороков...»

Это и в самом деле описание пороков — и не только одного магистра философии, но и некоторой части тогдашней интеллигенции.

В тот период, когда Коврин переживал состояние своего болезненного вдохновения и его иногда пугало сознание, что он галлюцинирует, болен, — его успокаивало соображение: «Но ведь мне

хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного...» Но уход от жизни не может быть безвредным. Коврин сделал много дурного, принес много зла. Он погубил двух хороших, честных — действительно, а не в иллюзорных мечтах,— творческих и ценных людей, людей скромных, *любивших дело больше, чем самих себя*, как говорит отец Тани. Безумие Коврина — лишь крайнее выражение эгоцентризма. Коврин стал виновником болезни и смерти старика, обожавшего его, гибели Тани. Он погубил единственных людей во всем свете, которые любили его, как своего, родного. Он погубил прекрасный сад. Он погубил дружбу, любовь, красоту жизни. Глубока поэтическая мысль рассказа. Ложная красота ложных мечтаний, уводящих от настоящей жизни, не безвредна, как казалось Коврину, а преступна и безобразна, потому что она губит действительную, настоящую красоту — красоту жизни, красоту действительную, а не мнимую. Коврин погубил и самого себя.

Есть и другое произведение Чехова, в котором образ героя, чьи мечтания уходят от действительности, от жизни, окрашивается смертью. Константин Треплев, герой «Чайки», молодой писатель, думал: «Надо изображать жизнь не такую, как она есть, и не такую, как должна быть, а такую, как она представляется в мечтах». Чехов думал совсем по-другому. Он сказал в одном из писем: «Лучшие из них (писателей.—В. Е.) реальны и пишут жизнь такую, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас...» Треплев ушел в мечтания, оторванные от жизни, как она есть, не связанные со стремлением к той жизни, какая должна быть,— и это погубило его. Жизнь мстит за себя.

Реализм означает верность жизни и правде жизни,— и реализм Чехова включает в себя критику лжеучений, уводящих от действительной жизни, лжепророков, пытающихся подняться «над» объективной действительностью, «над» обыкновенными людьми, чтобы силою своего особого, высшего разума вести за собой «толпу». Чехов был убежден в том, что подобное «мессианство» претенциозно и глубоко ненормально. Он был убежден в том, что России нужны не пророки, а деятели, честно, упорно изучающие действительность, как она *есть*, и ищущие вместе со всеми пути к изменению действительности, чтобы она стала такой, какой *должна быть*. В избранничестве, в шумихе о «героях и толпе» Чехов, со своей беспощадной трезвостью правдивейшего диагноста русской жизни и со своей раз-

думчиво-печальной улыбкой сатирика, увидел не что иное, как магию величия...

В начале 1892 года Антон Павлович купил имение Мелихово недалеко от Москвы, в Серпуховском уезде, километрах в пятнадцати от станции Лопасня Московско-Курской железной дороги.

Мелихово было мелкопоместной усадьбой, запущенной прежними владельцами. Семья Чеховых — Павел Егорович, Евгения Яковлевна, Мария Павловна, Антон Павлович, — люди, привыкшие к упорному труду, быстро привели усадьбу в порядок и даже придали ей нарядный вид. Низенький деревянный дом с верандой и цветником в глубине старинной рощи, миниатюрное поэтическое озеро, на высоких деревьях по дороге к дому — скворечники с надписью: «Братья Скворцовы», безупречная чистота повсюду.

От всего стиля жизни Чеховых в Мелихове веяло изяществом, чистотой, трудом.

По своему обыкновению, Антон Павлович работал от раннего утра до позднего вечера. Много времени отнимали у него и крестьянские дела.

С самого утра стекались к дому Чеховых крестьяне за врачебной помощью. Мария Павловна, бывшая душой дома, помогала Антону Павловичу во всем, в том числе и в лечении больных, выдаче лекарств, перевязках.

Чехов жил всю жизнь деревни. Крестьяне его полюбили. Он говорил, что когда он проходит по деревне, то женщины встречают его «приветливо и ласково, как юродивого».

Он вел большую общественную работу как гласный земства, был попечителем сельского училища, строителем школ на свои скромные средства, организатором и участником борьбы с холерой. Антон Павлович был избран в земские гласные. Михаил Павлович рассказывает, что Чехов «охотно посещал земские собрания и участвовал в рассмотрении многих земских вопросов. Но наибольшее внимание его обращали на себя народное здравоохранение и народное просвещение... Он живо интересовался тем, какие намечены к постройке новые дороги, какие предположено открыть новые больницы и школы. Между прочим, ему обязано местное население проведением шоссе от станции Лопасня до Мелихова и постройкой школ в Талеже, Новоселках и Мелихове. Он строил эти школы с увлечением. Он сам составил для них планы, сам покупал материал и сам следил за их постройкой. Эти школы были его детищем. Когда он говорил о них, то глаза его зажигались, и видно было, что если бы ему позволили средства, то он выстроил бы их не три, а множество. Я помню

его видную фигуру на открытии школы в Новоселках, когда мужики подносили ему образ и хлеб-соль... совсем не мастер говорить публично, он конфузливо отвечал на их благодарность, но по лицу его и по блеску его глаз видно было, что он был доволен».

В художественном отношении Мелихово дало Чехову очень много, обогатив его новым знанием жизни.

Чехов девяностых годов предстает перед нами как враг собственничества, ненавистной ему *буржуазности*. Высоко ценя прогресс и культуру, он вместе с тем не верил в благодетельность буржуазной «цивилизации».

Доктор Королев («Случай из практики», 1898) приезжает на подмосковную текстильную фабрику Ляликовой, к больной дочери владелицы фабрики. Дочь Ляликовой больна не столько физической, сколько социальной болезнью, тою самой, которою болеют отпрыски почтенных купеческих родов у Горького: она подавлена сознанием бессмысленности, несправедливости жизни; ее болезнь — голос совести, заглушавшийся у предшествующих поколений ее рода. Она страдает за грехи отцов, и, как понимает доктор Королев, никакими лекарствами тут не поможешь. Подобно самому Чехову, доктор отдает себе ясный отчет в том, что тут нужно лечить «не болезни, а причины болезней».

Точно так же доктор Королев «и все улучшения в жизни фабричных не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней».

Ночью, глядя из окна отведенной ему комнаты на багровые окна фабричного корпуса, доктор раздумывает:

«Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец...»

Когда доктор слышит удары сторожей в металлическую доску, отбивающих часы, ему кажется, что среди ночной тишины этот звук издает «само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами и рабочими...»

И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми...» Он думает

о «какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку... и мало-помалу им овладело настроение, как будто эта неизвестная, таинственная сила в самом деле была близко и смотрела. Между тем восток становился все бледнее, время шло быстро. Пять корпусов и трубы на сером фоне рассвета, когда кругом не было ни души, точно вымерло все, имели особенный вид, не такой, как днем: совсем вышло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но как-то все думалось о свайных постройках, о каменном веке, чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы...»

Только художник, пристальный светлый взгляд которого проникал в глубину общественной жизни, мог создать образы-символы такой всеохватывающей силы, такого широкого значения.

Рабство осталось и в век электричества, паровых двигателей, телефонов, как и в далекие времена,— оно только приняло иные формы.

Безличность, бессознательность, бесчеловечность стихийных сил, господствующих над человеком в буржуазном мире, *оскорбляли* Чехова своей тяжелой, подавляющей грубостью. Он видел дьявольскую насмешку в контрасте электричества, паровых двигателей, телефонов с угнетающим примитивизмом все тех же звериных отношений между людьми, когда сильный пожирал слабого, когда, несмотря на грандиозное торжество человеческого разума в технике и науке, людьми управляют бессознательные силы, как в далекие-далекие времена. Этот контраст представился таким несообразным, невероятным доктору Королеву, что у него «совсем вышли из памяти» телефоны и паровые двигатели. Он почувствовал себя в каменном веке.

Перед нами исключительно глубокое художественное проникновение в сущность законов капиталистического мира, с его чудовищными противоречиями, с его оскорбительной для человеческого разума зависимостью человека от неподвластных ему сил.

Тема убожества, безобразия собственнического счастья с большой силой прозвучала в рассказах «Учитель словесности», «Июнь», «Крыжовник».

В середине девяностых годов Чехов достигает вершин художественного мастерства в области драматургии.

В 1895 году Антон Павлович начал работать над «Чайкой». В октябре 1896 года пьеса была поставлена на сцене петербургского Александринского театра.

Главное в «Чайке» — тема искусства и подвига. В искусстве

побеждает тот, кто способен к подвигу. «Чайка» — итог многолетних раздумий автора о сущности призвания художника.

Искусство казалось героине пьесы Нине Заречной лучезарным путем к славе, прекрасным сном. Но вот она вступила в жизнь. Сколько тяжелых препятствий, заграждений сразу нагромоздила жизнь на ее пути, какой страшный груз упал на ее хрупкие плечи! Ее бросил человек, любимый ею до самозабвения. У нее умер ребенок. Она столкнулась с полным отсутствием помощи, с насмешкой при самых первых шагах ее еще робкого таланта, который, как дитя, не умел ходить и мог погибнуть без поддержки. Любимый человек «не верил в театр, все смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом,— рассказывает Нина влюбленному в нее Константину Треплеву при их последней встрече.— А тут заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького... Я стала мелочною, ничтожною, играла бессмысленно... Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно».

Она столкнулась, мечтательная девушка, с пьяными купцами, с невообразимой пошлостью тогдашнего провинциального театрального мира.

И что же? Она сумела выстоять при столкновении мечты с жизнью. Ценою тяжелых жертв она завоевала ту истину, что «в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни».

Это гордые слова, добытые ценою молодости, ценою всех испытаний, ценою тех страданий, которые известны художнику, не удовлетворенному собой, стыдящемуся за свою неуверенную фигуру на сцене, за свой нищий язык в рассказе. И мы, читатели, зрители, которые проходим вместе с Ниной на протяжении развития пьесы весь скорбный и все же радостный путь побеждающего художника, мы гордимся Ниной, чувствуя всю полновесность ее слов в заключительном акте: «Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы...»

Так, сквозь весь мрак жизни, преодоленный героиней, мы различаем лейтмотив «Чайки» — тему полета, тему победы.

Почему Треплев, который неудачно стрелялся однажды из-за того, что от него ушла Нина, почему он, уже приняв, как неизбежность, потерю Нины, успев пережить это, все же, после встречи с Ниной в четвертом акте, снова стреляется?

Он увидел с беспощадной ясностью, как *переросла* его Нина! Она уже в настоящей жизни, в настоящем искусстве, а он все еще живет в том мире незрелых красивых чувств, в каком он жил когда-то вместе с Ниной. В своем искусстве он все еще «не знает, что делать с руками, не владеет голосом».

Мучения Треплева ничем не отличаются от тех мучений, путь которых уже прошла Нина. Чайка — она улетела уже далеко, далеко от него! В последнем акте Нина предстает перед нами потрясенной, она все еще тяжело страдает, она все еще любит и будет любить Тригорина. Но сквозь все ее муки сияет свет победы.

Этот свет и поразил Треплева. Сознание, что он еще ничего не достиг, пронизывает его с жестокой силой. Он понял теперь причину этого. «Вы нашли свою дорогу, — говорит он Нине, — вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание». Он ничего не может сделать со своим талантом, потому что нет у него ни цели, ни веры, ни знания жизни, ни смелости, ни сил. Так много наговорив о новаторстве, он сам впадает в рутину. Не может существовать новаторство само по себе — оно возможно только как вывод из смелого знания жизни, оно возможно только при богатстве души и ума. А чем обогатился Треплев? Нина сумела и страдание свое претворить в победу. А для него страдание так и осталось только страданием, бесплодным, иссушающим, опустошающим душу.

Думая о Треплеве и его судьбе, мы скажем: «Талант! Как это еще мало!» Думая о Нине и ее судьбе, мы воскликнем: «Талант! Как это много!»

Главная беда Константина Треплева заключается в том, что у него нет высоких целей, которые могли бы вдохновить его талант. Как и герою «Скучной истории», Треплеву «при такой бедности» оказалось достаточным толчка для того, чтобы вся жизнь представилась бессмысленной.

Эта же тема — страшная тяжесть для художника жизни без ясного мировоззрения — связана в «Чайке» и с образом Тригорина. Опытный мастер, Тригорин мучительно чувствует тяжесть таланта, не вдохновляемого большой идейной целью. Ему угрожает опасность творчества без пафоса, без вдохновения, опасность ремесленниче-

ства, вытекающая из отсутствия *общей идеи*. В отношениях, сложившихся у обоих героев пьесы — Треплева и Тригорина — с Ниной, проверяются их характеры, их человеческая и творческая ценность, их слабости. В уста Тригорина Чехов вкладывает немало своих, личных раздумий о долге художника, о необходимости для писателя помогать родине, народу. И вместе с тем в образе Тригорина много таких черт, которые Чехов считал пагубными для художника. Искусство грозит перестать быть радостью и счастьем для Тригорина, оно становится для него только мукой, потому что Тригорин не знает, во имя чего он пишет, его труд не одухотворен сознанием великой цели. Тригорин мучается этим. Возможно, что его страдания более глубоки, чем страдания Треплева, который ищет новые художественные формы, но не думает о великих целях, без которых и поиски новых форм являются бесплодными.

«Чайка» провалилась на сцене петербургского Александринского театра (октябрь 1896 г.). Тогдашний театр еще не был зрелым для новаторской чеховской драматургии.

Чехов создал свой, особый стиль в драматургии. В его пьесах огромную роль играет *внутреннее действие*, которое зритель, читатель чувствует за действием внешним. При кажущемся отсутствии динамичности чеховские пьесы наполнены глубоким внутренним драматизмом. Конфликты здесь не исчерпываются тем, что непосредственно происходит на сцене. Чехов умеет дать ясный, художественно необычайно сильный обобщенный образ той социальной действительности, которая окружает героев его пьес. Вот это глубокое внутреннее действие чеховских пьес тогдашний театр и не мог еще почувствовать и передать.

Тема другого крупного драматургического произведения Чехова — пьесы «Дядя Ваня» — тема «маленьких людей», с их незамысловатыми страданиями и самоотверженным трудом во имя чужого счастья, тема красоты, пропадающей понапрасну.

Из воспоминаний Н. К. Крупской мы знаем, что В. И. Ленин высоко ценил эту пьесу.

Самим названием автор как будто указывает на простоту, повседневность, обыкновенность и своих героев и их страданий.

Дядя Ваня и его племянница Соня всю жизнь свою работают не покладая рук для чужого счастья: для того чтобы создать материальное благополучие отцу Соня, профессору Серебрякову, которого они привыкли считать талантливым, передовым, большим ученым

Дяде Ване сорок семь лет. Он нищий. Он никогда не знал ни радости, ни отдыха.

И вот теперь, под старость, у него открылись глаза на ужасную правду. Он понял, что отдал лучшие годы, молодость, всего себя на служение ничтожеству. Он ясно увидел, что его кумир — просто напыщенная бездарность, набитая претензиями и самомнением, «старый сухарь, ученая вобла». Это стало особенно ясным теперь, когда Серебряков «вышел в отставку, и его не знает ни одна живая душа, он совершенно неизвестен; значит, двадцать пять лет он занимал чужое место». Двадцать пять лет читал он лекции об искусстве, ничего не понимая в искусстве, пережевывая чужие мысли и, следовательно, двадцать пять лет дядя Ваня трудился для того, чтобы профессор Серебряков мог занимать чужое место.

Избалованный легко давшейся ему карьерой, любовью женщин, работой на него дяди Вани и Сони, Серебряков бездушен, эгоистичен.

Дядя Ваня переживает тяжелое состояние человека, которому под старость пришлось убедиться в бессмысленности всей прожитой им жизни. Если бы он не пожертвовал своих сил и способностей на служение бездарности, то он сам мог бы сделать много полезного, заслужить благодарность людей. Быть может, он был бы счастлив, мог любить и быть любимым!

Так приходит дядя Ваня к своему трагически, запоздалому «бунту». Он как будто требует обратно свою загубленную жизнь.

А тут профессор подливает последнюю каплю. Он торжественно созывает всех своих домочадцев и объявляет им свой проект: продать имение, чтобы на вырученные деньги профессор мог жить в столице. Он не переносит жизни в деревне, он привык к городскому шуму.

Дядя Ваня потрясен. Мало того, что он отдал и все свои средства и всю свою жизнь Серебрякову, — теперь, когда он стал стар, его вместе с Соней в благодарность за все гонят на все четыре стороны из родного угла.

Бунт дяди Вани доходит до своего апогея.

«Ты погубил мою жизнь! — кричит он Серебрякову. — Я не жил, не жил! По твоей милости я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни! Ты мой злейший враг!»

Профессор бросает ему в лицо: «Ничтожество».

«Пропала жизнь! — восклицает дядя Ваня в полном отчаянии. — Я талантлив, умен, смел... Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский... Я зарпортовался! Я с ума схожу...»

У нас не возбуждают улыбки недоверия слова дяди Вани о том, что из него мог бы выйти большой человек. За время нашего знаком-

ства с ним на протяжении трех актов мы успели почувствовать и его ум, и одаренность, и способность к самопожертвованию во имя того, что казалось ему *общей идеей*: во имя науки, прогресса, разума, носителем которых представлялся ему Серебряков.

Бунт дяди Вани заканчивается выстрелом в Серебрякова. После этой кульминации дядя Ваня хочет покончить самоубийством, но затем, под влиянием нежной и кроткой Сонни, он возвращается опять к своему труду — все на того же Серебрякова.

Такова история жизни, отданной кумиру. И, конечно, Горький был прав, когда писал в письме Антону Павловичу о философском, символическом значении пьесы. Сколько таких «дядей Ваней», никем не замечаемых тружеников, обманутых жизнью, отдавали свои лучшие силы счастью ложных кумиров, убежденные в том, что служат своим трудом «общей идее»! Сколько душевной красоты, веры, чистоты погибало напрасно!

Тема пропадающей, гибнущей красоты жизни является лейтмотивом пьесы. Она связывается и с образом доктора Астрова.

Что такое *подлинная* и *ложная красота*?

Только труд, творчество, с точки зрения Чехова и его героев, создают человеческую красоту.

Красиво то, что служит творчеству, созиданию. Страстно влюбленный в прелесть родной земли, в ее богатства, леса, страдающий от того, что леса вырубаются хищнически, Астров говорит: «Да, я понимаю, если бы на месте этих истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги, если бы тут были заводы, фабрики, школы,— народ стал бы здоровее, богаче, умнее, но ведь тут ничего подобного! В уезде те же болота, комары, то же бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары... Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего».

Творческий человек большого размаха и вдохновения, Астров скорбит о *разрушении красоты* родной земли, красоты человека.

Лейтмотив пьесы — гибнущая красота — звучит во множестве вариаций. Ведь и сам Астров, тоскующий о разрушении красоты жизни, тоже представляет собою образ гибнущей красоты. В финальном акте он говорит дяде Ване:

«Наше положение, твое и мое, безнадежно... Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно,— те, быть может, найдут средство, как быть счастливыми, а мы...»

Астров — увы! — не ошибается в диагнозе своего положения. Оно и в самом деле было безнадежным. Иначе и не могло быть у че-

ловека, презиравшего либеральное филистерство и вместе с тем далекого от революционного движения рабочего класса, которое добивалось в девяностых годах все больших успехов. Астров, как и его друг дядя Ваня, не сможет найти какую-нибудь спасительную идейку, утешиться «малыми делами», сладкими иллюзиями; не сможет он и обрести высокую цель жизни, будучи далек от тех людей, которые вели борьбу за разумную, чистую, справедливую действительность. Трагедия чеховского героя усиливалась его аполитичностью.

Конечно, Астров *сохранил* бы себя и свою мечту, и в полбеды были бы ему все трудности его жизни, если бы его согревало сознание, что его скромный труд включен в общее дело изменения, созидания жизни. Но этого сознания у него нет.

В финале пьесы звучат слова Сони о «жизни светлой, прекрасной, изящной» — о той жизни, которой *заслуживают* и Соня, и дядя Ваня, и Астров, и множество тружеников, отдающих всю свою жизнь счастьем других... И над всей темной, злой силой разрушения поднимается чеховская мечта о той будущей жизни, когда *все в человеке будет прекрасно!* Как всегда у Чехова, представление о прекрасном сливается с представлением о правде, о творческом труде: *эстетическое сливается с этическим. Правда и труд* — основа, вечный живой источник красоты. И жизнь должна быть такою, чтобы не разрушалась красота людей, чтобы душевная сила, самопожертвование, самоотверженное трудолюбие не расхищались, не служили ложным кумирам, чтобы не Серебряковы задавали тон в жизни, а Астровы, дяди Вани, Сони могли свободно украшать родную землю созидательным, радостным трудом.

Катастрофически отозвался на здоровье Антона Павловича провал «Чайки». «С этого момента его болезнь значительно обострилась», — свидетельствует М. П. Чехов.

До этого еще можно было прогонять болезнь из своих мыслей, отмахиваться от нее. Теперь она ворвалась в жизнь Чехова властно, неумолимо. На весь оставшийся ему срок жизни он переходит на положение тяжело больного. И весь последний период его жизни — все восемь лет — окрашен трагическим противоречием между душевным и физическим самочувствием Антона Павловича: все больше сказывался подъем в его идейном, общественном, художественном самосознании, в его чувстве жизни, в его творчестве, и все быстрее шел роковой ход болезни.

У Чехова нашли верхушечный процесс в легких. Врачи предписали ему изменить образ жизни, отказаться от напряженной

работы, посоветовали поехать на Ривьеру, в Ниццу. Здесь, на юге Франции, он прожил с осени 1897 года до весны 1898 года.

Злобой дня во Франции было тогда прогремевшее на весь мир дело Дрейфуса, начавшееся еще в 1894 году.

Альфред Дрейфус, еврей, артиллерийский капитан при французском генеральном штабе, был обвинен в шпионаже. Обвинение было совершенно бездоказательным. Однако военный суд разжаловал Дрейфуса и приговорил его к пожизненной ссылке. Все дело было грубо состряпано реакцией и черносотенной военщиной. Документы, якобы уличавшие Дрейфуса, представленные военным министром, не были предъявлены ни самому обвиняемому, ни его защитнику. Виновным в государственной измене был не Дрейфус, а майор Эстергази.

Циничный характер судебного процесса, осуждение явно невиновного человека вызвали взрыв возмущения во всей Европе. Борьба вокруг дела Дрейфуса превратилась в острое столкновение двух лагерей — клерикально-реакционного и прогрессивного. В защиту Дрейфуса выступил Золя со статьей «Я обвиняю!». Это было грозное выступление против всей правившей верхушки страны, против всех сил реакции. Золя доказывал, что французский генеральный штаб, военный министр, суд виновны в заведомой лжи и клевете.

Золя был обвинен в оскорблении государственной власти и привлечен к суду. Однако этот суд оказался невыгодным для реакции. На процессе обнаружилось с полной ясностью, что документы, на основании которых был осужден Дрейфус, являлись поддельными. Установлен был даже и виновник подделки документов.

Пришлось пересмотреть дело Дрейфуса. Его привезли из места ссылки, и в конце 1899 года состоялся второй процесс. Для «сохранения лица», реакционный лагерь настоял на том, чтобы Дрейфус снова был признан виновным, но на сей раз «заслуживающим снисхождения». После этого президент республики «помиловал» его.

Антон Павлович не только внимательно следил за ходом всех этих событий, но и со свойственной ему обстоятельностью тщательно изучил стенографический отчет судебного процесса и, разумеется, пришел к выводу о невиновности Дрейфуса. Поведение реакционного лагеря во Франции и в России, поднявшего теперь травлю не только Дрейфуса, но и Золя, внушало Чехову омерзение. Реакционные газеты, в том числе суворинское «Новое время», всячески старались очернить знаменитого французского писателя.

Мужество и честность Золя восхищали Чехова. «Золя вырос на целых три аршина,— писал Антон Павлович из Ниццы,— от его

протестующих писем точно свежим ветром повеяло, и каждый француз почувствовал, что, слава богу, есть еще справедливость на свете и что, если осудят невинного, есть кому вступиться».

Если уже в 1893 году Чехов порвал с суворинской газетой, то теперь пришел конец и личным приятельским отношениям с Сувориным. Суворин никак не мог сделать вид, что он «ни при чем» в той травле Золя и Дрейфуса, которая велась на страницах его газеты, да и Чехов давно уже преодолел то свое политическое безразличие, которое когда-то позволяло ему отделять Суворина от «Нового времени». Суворин перестал быть в глазах Антона Павловича только литератором: он окончательно предстал перед ним в своем настоящем виде, как беспринципный реакционный политикан.

Антон Павлович все более напряженно и взволнованно начинает следить за событиями русской общественной жизни, радостно улавливая все признаки подъема.

Одним из проявлений предреволюционного общественного подъема явилось создание в 1898 году двумя замечательными русскими театральными деятелями, К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко, московского, как он тогда назывался, Художественно-общедоступного театра, которому суждено было произвести переворот в истории русского и мирового театра, стать русской национальной гордостью.

Уже самим названием «Общедоступный» подчеркивались демократические устремления нового театра. Демократичность Художественного театра сказывалась прежде всего в самом стиле его постановок, в самом методе изображения жизни. Удача и счастье исторической встречи Чехова с Художественным театром заключались в том, что этот театр понял важные особенности чеховского стиля, чеховской эстетики, проникновенно разгадал некоторые ее коренные принципы, в том числе *скрытость красоты в обыденном*, «незаметную» красоту.

Тот чеховский принцип, о котором Антон Павлович писал Горькому, что в героях должна чувствоваться *«человеческая масса, из которой они вышли»*, слился с важнейшим творческим принципом Художественного театра, над осуществлением которого так усердно трудились К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко,— с принципом *ансамбля*. Любая роль в спектакле, даже состоящая всего из нескольких слов, должна являться полноценным художественным образом, со своим «подводным течением». Даже если актеру по его роли приходится произнести в спектакле всего несколько слов, он должен вложить в них такую глубину, полновесность, законченность

образа, чтобы зритель мог представить себе всю жизнь этого персонажа, его характер, привычки, его отношение ко всему, происходящему в спектакле.

В этих творческих устремлениях нового театра сказывался, в конечном итоге, тот же демократизм, то же чуткое внимание к рядовому человеку, к внутренней значительности обыденного и повседневного. Принцип ансамбля, «массовости» помогал театру рисовать *движение самой жизни*, а не только создавать яркие отдельные, индивидуальные образы. Художественный театр стремился дать зрителю ощущение самого *потока жизни*, частицами которого являются герои.

Художественный театр возбуждал у Чехова желание работать для сцены и сильно способствовал настроению подъема, которое все глубже охватывало писателя.

Близость Чехова с новым театром началась с того, что театр решился реабилитировать с таким шумом провалившуюся «Чайку». Автор и театр добились блистательной победы.

«Чайка» переплелась с большим событием в личной жизни автора. В сентябре 1898 года, на репетиции «Чайки», Антон Павлович познакомился со своей будущей женой, талантливой артисткой Художественного театра О. Л. Книппер.

Большая любовь входила в жизнь Антона Павловича в общей атмосфере красоты, волнующего ожидания праздника искусства.

И вот надо было покинуть Москву и Мелихово. Врачи решительно требовали переселения Антона Павловича на юг, в Крым.

О переселении в Ялту Чехов думал с тяжелым чувством. Отвращение к ялтинскому «духу», к безвкусице, пошлости буржуазной толпы, тоска по любимому театру, по любимой Москве, Петербургу, чувство отрезанности и одиночества, особенно обидное во время общественного подъема, в котором Чехов хотел лично участвовать, быть в курсе всех событий,— все это делало жизнь в Ялте непереносимой. Антон Павлович называл Ялту своей «теплой Сибирью», «Чертовым островом».

Большой радостью для него был приезд в Крым Художественного театра. До этого Антон Павлович был знаком с театром лишь по спектаклю «Чайка», который был показан специально для него, в чужом помещении, когда Чехов после окончания театрального сезона приехал на короткое время в Москву. Теперь же театр привез для гастролей в Севастополе и Ялте целый репертуар, в котором был и «Дядя Ваня».

Последние годы жизни Антона Павловича были окрашены дружкой с Л. Н. Толстым и Горьким. Осенью 1901 года Толстой, перенеся воспаление легких, жил в Гаспре. Чехов нередко бывал у него. По словам Горького, Чехова Лев Николаевич «любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка... а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед... говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто — чудесный!»

Горький вкладывал в свое чувство к Чехову столько нежной любви, страстного восторга, восхищения всем его духовным обликом, что нельзя иначе назвать это чувство, как благоговейной радостью, что существует такой прекрасный человек на свете. И Чехов любил Горького, одним из первых оценил его и предрек, что из Горького «выйдет большущий писателище». Многое сближало их между собою и, быть может, в первую очередь преклонение перед трудом, разумом, культурой.

Горький писал, что он «не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А. П. ...Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!»

С именем Горького связано было и серьезное общественно-политическое выступление Антона Павловича — протест против изгнания Горького из числа почетных академиков. Горький и драматург А. В. Сухово-Кобылин, автор «Свадьбы Кречинского», «Дела» и «Смерти Тарелкина», в феврале 1902 года были избраны почетными академиками по разряду изящной словесности. Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, В. Г. Короленко, поэт А. М. Жемчужников были избраны почетными академиками еще в апреле 1899 года, когда, по случаю столетия со дня рождения Пушкина, был основан при Академии наук разряд «изящной словесности».

Избрание в почетные академики Горького, с его славой буреви́стика революции, вызвало взрыв недовольства в правящих кругах. На сообщении об избрании Горького Николай II «начертал» резолюцию: «Более чем оригинально».

Президенту Академии, великому князю Константину Константиновичу, было приказано состряпать официальное заявление — от имени Академии — о том, что Академия признает избрание Горького недействительным. В качестве причины недействительности выборов выставлялось то соображение, что Академия, дескать, не знала, что Горький состоит под следствием по политическому обвинению.

Академия, таким образом, публично давала пощечину самой себе. Но нашлись два академика, которые не захотели по-рабски смолчать. Это были Короленко и Чехов. Оба они в знак протеста сложили с себя звание почетных академиков. В своем заявлении на имя президента Академии Антон Павлович ясно дал понять, что обвинение в политическом преступлении он не считает основанием для объявления недействительными выборов.

Имя Чехова все более связывалось в сознании всей передовой России с нарастанием общественного подъема в стране, становилось одним из символов этого подъема.

Чувство близости коренной перемены всей жизни, ожидание революции, — чувство, все глубже овладевавшее Чеховым в конце девяностых — начале девятисотых годов, сказалось в пьесе «Три сестры» (1901).

Один из ее героев говорит явно от имени автора: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку... через какие-нибудь двадцать пять — тридцать лет работать будет уже каждый человек. Каждый!»

Чехов чувствовал дыхание надвигающейся бури.

С. Елпатьевский вспоминает о Чехове девятисотых годов:

«И вот пришло время, не стало прежнего Чехова... И случилось это как-то вдруг, неожиданно для меня. Поднимавшаяся бурная русская волна подняла и понесла с собой и Чехова. Он, отвертывавшийся от политики, весь ушел в политику, по-другому и не то стал читать в газетах, как и что читал раньше. Пессимистически и во всяком случае скептически настроенный Чехов стал верующим. Верующим не в то, что будет хорошая жизнь через двести лет, как говорили персонажи его произведений, а что эта хорошая жизнь для России придвинулась вплотную, что вот-вот сейчас перестроится вся Россия по-новому, светлому, радостному...

И весь он другой стал — оживленный, возбужденный, другие жесты явились у него, новая интонация послышалась в голосе.

...И когда мне, не чрезмерно обольщавшемуся всем, что происходило тогда, приходилось вносить некоторый скептицизм, он волновался и нападал на меня с резкими, не сомневающимися, не чеховскими репликами.

— Как вы можете говорить так! — кипятился он. — Разве вы не видите, что все сдвинулось сверху донизу! И общество и рабочие!..

...Чехов, всегда сдержанный в разговорах о своей литературной работе, неожиданно протянул мне рукопись:

— Вот, только что кончил... Мне хотелось бы, чтобы вы прочитали.

Я прочитал. Это была «Невеста», где звучали новые для Чехова, не хмурые ноты. Для меня стало очевидно, что происходил перелом во всем настроении Чехова, в его художественном восприятии жизни, что начинается новый период его художественного творчества.

Он не успел развернуться, этот период. Чехов скоро умер.

В. Вересаев свидетельствует о том же:

«Для меня очень был неожидан острый интерес, который Чехов проявил к общественным и политическим вопросам. Говорили... что он человек глубоко аполитический... Чего стоила одна его дружба с таким человеком, как А. С. Суворин, издатель газеты «Новое время». Теперь это был совсем другой человек; видимо, революционное электричество, которым в то время был перезаряжен воздух, встряхнуло и душу Чехова».

О настроении Чехова в 1900—1901 годах можно судить по письму Горького к В. Поссе, в котором Горький приводит следующее высказывание Антона Павловича: «Чувствую, что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, для кого-то другого, строгого и честного».

Чем сильнее звучал в его творчестве мотив близкой бури, тем более сурово Чехов иронизировал над слабостями тех своих героев, которые красиво мечтают о том, что жизнь будет лучше через двести лет, но не умеют бороться за то, «чтоб это лучше наступило завтра», как говорил Чехов в беседе с Горьким. Для выражения этой своей и грустной и суровой иронии он избирал неожиданные и разнообразные формы. Смело переплетались в его пьесах с *драматическими* мотивами *комедийные*, вплоть до водевильных. Обе последние его пьесы — «Три сестры» и «Вишневый сад» — характеризуются гениальным по своей новаторской дерзости сочетанием драматического и лирического — с комическим.

Сплетение комедийных и даже водевильных мотивов с драматическими у Чехова было связано с его чувством близости *конца старей*

жизни. Уже идет, близка очистительная буря, которая сметет с пути родины, развеет все проклятие старого! И художник уже чувствует свое историческое право раскрыть и смешное в драмах старой жизни. Они еще остаются тяжелыми драмами. Но поэт уже смотрит на эти драмы глазами будущего: и ему видна нелепость, обреченность, историческая исчерпанность старых форм жизни.

Чехов чувствует обиду за своих героев, которые только *говорят* и о близости бури и о счастливой, прекрасной жизни, но не знают путей борьбы, путей к будущему. Он зовет их искать эти пути, и пусть дружественно, сочувственно, — но все же высмеивает их слабость.

Драматическая тема «Трех сестер», тема напрасно пропадающей красоты, — та самая тема, которая звучит и в «Степи» и в «Дяде Ване». Столько душевного богатства, столько готовности к беззаветному труду, столько отзывчивости ко всему светлому в жизни, в людях, столько чуткости, доброты, тонкого ума, столько страстной жажды чистоты, изящной, человеческой жизни, столько счастья заключено в этих чудесных женщинах, в этих изумительных трех сестрах!

И все это богатство не находит отклика и применения. Пошлая, грубая, безобразная действительность обступает со всех сторон беззащитных сестер; и «труд без поэзии, труд без мыслей» старит Ирину и Ольгу, и порыв к счастью гаснет без ответа. Жизнь, как сорная трава, заглушает красоту.

Но в эту драму вплетаются и иные, иронические, комедийные мотивы.

Много, красиво и разумно мечтают о будущей жизни герои «Трех сестер». Прекрасно говорит о ней Вершинин. Но как противоречит широкому, прекрасному размаху его мечты — его бездействие, весь облик его жизни, стиснутой в кругу мелочных несчастий! От него веет беспомощностью, в нем есть черты чудака; все это мельчит его образ, порою низводит к «двадцати двум несчастьям» Епихова.

Смешное, печально-комическое в «Трех сестрах» и берет свои истоки в этом противоречии между силой и размахом *мечты* и слабостью *мечтателей*. И самое обилие мечтательных разговоров о будущем при отсутствии реальной борьбы за него начинает походить на маниловщину.

Со своим ясным, трезвым умом, со своей любовью к делу и нелюбовью к словам, оторванным от дела, Антон Павлович накануне великой бури с особенной остротой чувствовал оторванность

Вершининых от реальной борьбы за будущее, трагический комизм их положения.

Любовь к своим героям, хорошим, чистым, честным людям, сливалась у него с чувством неловкости за них, за их недостаточную силу и в ненависти и в любви, за то, что они, как сказал о них Вл. И. Немирович-Данченко, «сами своей жизни не строили». Поэтому Чехов как бы сдерживает драматическое начало пьесы грустно-ироническим, он как бы спрашивает, проверяет героев: а достаточно ли вы серьезные люди для *права* на драму?

И застенчивая любовь к своим героям и чеховское постоянное, но особенно острое накануне бури чувство ответственности перед будущим, перед народом — все это сказалось в той скромной сдержанности, с которой драматург разрешал этим своим героям право на драму. Если в отношении Астрова или дяди Вани у Чехова даже не мог встать вопрос, «заслуживают» ли они право на драму, то в отношении Вершининых этот вопрос уже не мог не стоять. Иное время — иные песни. Замкнутой безвыходности уже не могло быть у Вершининых. Чехов чувствовал, что выход есть, что он заключается в *борьбе*. И хотя ни его герои, ни он сам не знали способов борьбы, все же нельзя было прощать бездействие, пассивную мечтательность тогда, когда кто-то, сильный и смелый, уже готовил «здоровую, сильную бурю».

Комическое начало в пьесе переплетается с грустью. Грустна судьба ее героев. Сюжет «Трех сестер» заключается в печальной истории о том, как зловещая, грубая сила мещанства и пошлости, воплощенная в образе Наташи, подобно сорной траве, «заглушает» сестер, вытесняет их из жизни. Сестры беспомощны перед лицом темной силы, враждебной красоте, счастью, правде. Чехов скорбит о том, что его герои не способны к борьбе со злом жизни. И все же в пьесе звучит сильный мотив веры в то, что жизнь изменится к лучшему.

«Вишневый сад», предсмертное гениальное создание Чехова, представляет собой смелое сочетание комедии — «местами даже фарс», как писал Антон Павлович о пьесе, — с нежной и тонкой лирикой.

Смех, свободный и веселый, пронизывает все положения пьесы. Но не менее значительно в ней и лирическое начало. Чехов выступает творцом оригинальнейшего, новаторского жанра лирической комедии, социального водевиля.

У Маркса есть глубокая мысль о том, что человечество *смеясь* прощается со своим прошлым, с отжившими формами жизни.

Прощание новой, молодой, завтрашней России с прошлым, отживающим, обреченным на скорый конец, устремление к завтрашнему дню родины — в этом и заключается содержание «Вишневого сада».

Настолько назрел конец старой жизни, что она представляется уже водевильно-нелепой, «призрачной», нереальной. Вот настроение пьесы.

Призрачны и отжившие типы этой уходящей жизни. Таковы главные герои — Раневская и ее брат Гаев.

Раневская и Гаев — хозяева имения, «прекраснее которого нет ничего на свете», как говорит один из героев пьесы, Лопухин, — восхитительного имения, красота которого заключена в поэтическом вишневом саду. Хозяева довели имение своим легкомыслием, полнейшим непониманием реальных условий до жалкого состояния; предстоит продажа имения с торгов. Разбогатевший крестьянский сын, купец Лопухин, друг семьи, предупреждает хозяев о предстоящей катастрофе, предлагает им свои проекты спасения, призывает думать о грозящей беде. Но Раневская и Гаев живут иллюзорными представлениями. Гаев носит с фантастическими проектами. Оба проливают множество слез о потере своего вишневого сада, без которого, как они уверены, они не смогут жить. Но происходят торги, и Лопухин сам покупает имение. Когда беда свершилась, выясняется, что никакой особенной драмы для Раневской и Гаева не происходит. Раневская возвращается в Париж, к своей старой «любви», к которой она и без того вернулась бы, несмотря на все ее слова о том, что она не может жить без родины и без вишневого сада; Гаев также примиряется с происшедшим. «Ужасная драма» и не оказывается драмой по той простой причине, что эти люди не очень способны к серьезным, глубоким чувствам, — таков один из главных комедийных мотивов пьесы.

Образ вишневого сада играет большую, многостороннюю роль. Прежде всего он символизирует поэзию старой жизни, ту поэзию «дворянских гнезд», исчерпанность, изжитость которой так остро чувствовал Чехов. А законная наследница отжившей поэзии «дворянских гнезд», юная Аня, дочь Раневской, преемница Лизы Калитиной, Татьяны Лариной, весело, по-молодому звонко, бесповоротно прощается со всей этой устаревшей, потерявшей живое содержание, мертвой красотой. Ей помогает в ее духовном развитии, в определении отношения к прошлому, настоящему и будущему родины, студент Петя Трофимов. Он раскрывает Ане глаза на то темное, страшное, что таилось за поэзией дворянской культуры.

«Подумайте, Аня,—говорит он жадно слушающей его девушке,—ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов... Владеть живыми душами — ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней... Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним...»

Конец прошлому! В этом пафос пьесы.

Трофимов зовет Аню к красоте будущего.

«Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его... Вот оно, счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие!»

Вновь мы встречаемся со знакомым чеховским мотивом близости счастья. Но неужели же делец Лопухин несет его с собою? Так представляли тему пьесы вульгаризаторы.

Однако какая же красота может связываться с Лопухиным? Вот он вырубит прекрасный сад и напустит дачников. Пошлая буржуазная проза жизни ворвется сюда вместе с ним, проза, разрушающая всякую красоту, подрубающая ее под корень. Лопухин, как характеризует его общественную функцию Петя Трофимов,— это «хищный зверь, который съедает все, что попадает к нему на пути». Так «съедает» он и красоту вишневого сада. Лопухин нужен для «обмена веществ», как говорит Петя Трофимов: для выполнения короткой социальной роли помочь разрушению, «пожиранию» того, что уже отжило.

Нет, будущее не с Лопухиным!

«Вишневый сад» — это пьеса о прошлом, настоящем и будущем родины. Будущее встает перед нами в образе небывало прекрасного сада.

«Вся Россия наш сад»,— говорит Петя Трофимов во втором действии, и ему вторит Аня: «Мы насадим новый сад, роскошнее этого...»

Образ красоты *самой родины* возникает перед нами.

Придут люди, которые будут достойны всей красоты родной земли. Они очистят, искупят все ее прошлое и превратят всю родину в волшебный сад. И Аня будет вместе с этими людьми.

Таково поэтическое содержание и грустного и самого светлого, оптимистического произведения Чехова.

Чехов хотел, чтобы спектакль Художественного театра прозвучал в том бодром тоне, в каком он написал пьесу. Он хотел, чтобы зритель чувствовал не только элегическую грусть, не только лиризм прощания, но и грустный комизм призрачного мира Гаевых и Раневских, он требовал, чтобы Раневскую обязательно играла комическая старуха, ему хотелось, чтобы зритель ясно чувствовал комическую сторону, недостаточную серьезность страданий слезоточивых героев

Вся пьеса проникнута настроением светлого прощания с уходящей жизнью, со всем плохим и хорошим, что было в ней, настроением радостного привета новому, молодому. Это настроение окрашивает и рассказ «Невеста», написанный в том же 1903 году, что и «Вишневый сад».

«Невеста», как и «Вишневый сад», окрашена мечтой о близком расцвете родины. Герои рассказа, как и герои «Вишневого сада», чувствуют близость того времени, когда не останется на родной земле серых «провинциальных» городов, «все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны, необыкновенные, замечательные люди...»

И каким весенним, бравурным мотивом заканчивается «Невеста»!

После долгой разлуки Надя приезжает на несколько дней в свой родной город. Она «ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей казалось, что в городе все давно уже состарилось, отжило, и все только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет... и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее».

Зрителю и читателю было вполне ясно то, чего Антон Павлович не мог по цензурным условиям договорить: что и Аня и Надя «идут в революцию». В. В. Вересаев вспоминал, что при чтении у Горького «Невесты» произошла даже небольшая полемика: на замечание Вересаева, что «не так девушки уходят в революцию», Чехов ответил: «Туда разные бывают пути».

Читатель не мог не понимать, что перед ним чудесный образ русской девушки, вступившей на путь борьбы за то, чтобы *перевернуть жизнь*, превратить всю родину в цветущий сад. «Главное — перевернуть жизнь, а все остальное не нужно», — говорит Саша.

Чехову самому казалось вместе с его героями, что «все давно уже состарилось, отжило» и все только ждет «начала чего-то молодого, свежего». И он с молодой радостью прощался с прошлым. «Прощай, старая жизнь!» — звенит в финале «Вишневого сада» юный голос Ани, голос молодой России, голос Чехова.

Образы Ани и Нади сливаются в обаятельный образ молодости родины. «Здравствуй, новая жизнь!» — эти слова, прозвучавшие в «Вишневом саду», были последними словами Чехова, словами по-пушкински радостного привета новому дню родины — дню ее свободы, славы и счастья.

Антон Павлович умер 2 июля 1904 года, в немецком курортном городе Баденвейлере.

В Москву тело Чехова было перевезено через несколько дней. Похороны состоялись 9 июля. Могила Антона Павловича — на кладбище Новодевичьего монастыря, недалеко от могилы его отца.

Чехову страстно «хотелось дожить, самому участвовать» в созидательном труде родины, исполинский размах которого он предчувствовал.

Он жил и работал и для своего времени и для будущего, для нас. Он верил в нас, в наш разум, в нашу волю, в наше счастье.

В. Е р м и л о в

РАССКАЗЫ

ПИСЬМО К УЧЕНОМУ СОСЕДУ

Село Блины-Съедены

Дорогой Соседушка.

Максим... (забыл как по батюшке, извените великодушно!) Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человеком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих гиероглифоф познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизация и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градус-

никами и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины сосед мой Герасимов и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с Герасимовым касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металлов, металлоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. Герасимов сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на щот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении го-

рячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана (Маиора). Абат значит католический поп. Извените меня неuka за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую по-своему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам. Герасимов сообщил мне, что вы неправильно мыслите об луне т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне т. е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недостижимости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне Герасимов, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятна, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятна, если и без них можно обойтись? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятна, если они не сгорают? Может быть, по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоз-

дик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце раз в год рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приежайте ко мне дорогой соседушко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня поганенького вычислением различным поучите.

Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученые. И насщот этого мы поговорим. Приежайте, сделайте милость. Приежайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе все у ней дураки только она одна умная. Молодеж теперь я Вам скажу, дает

себя знать. Дай им бог! Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук не любит. Это письмо должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемонится. Если доставит позже то значит в кабаке анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приежайте с машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Известите меня негодника за беспокойство,

Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед

Василий Семи-Булатов.

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ В РОМАНАХ, ПОВЕСТЯХ И Т. П.?

Граф, графиня со следами когда-то бывшей красоты, сосед-барон, литератор-либерал, обеднявший дворянин, музыкант-иностранец, тупоумные лакеи, няни, гувернантки, немец-управляющий, эсквайр и наследник из Америки. Лица некрасивые, но симпатичные и привлекательные. Герой — спасающий героиню от взбешенной лошади, сильный духом и могущий при всяком удобном случае показать силу своих кулаков.

Высь поднебесная, даль непроглядная, необъятная... непонятная, одним словом: природа!!!

Белокурые друзья и рыжие враги.

Богатый дядя, либерал или консерватор, смотря по обстоятельствам. Не так полезны для героя его наставления, как смерть.

Тетка в Тамбове.

Доктор с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис; часто имеет палку с набалдашником и лысину. А где доктор, там ревматизм от трудов праведных, мигрень, воспаление мозга, уход за раненым на дуэли и неизбежный совет ехать на воды.

Слуга — служивший еще старым господам, готовый за господ лезть куда угодно, хоть в огонь. Остряк замечательный.

Собака, не умеющая только говорить, попка и соловей.

Подмосковная дача и заложненное имение на юге.

Электричество, в большинстве случаев ни к селу ни к городу приплетаемое.

Портфель из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, револьвер, не дающий осечки, орден в петличке, ананасы, шампанское, трюфели и устрицы.

Нечаянное подслушивание, как причина великих открытий.

Бесчисленное множество междометий и попыток употребить кстати техническое словцо.

Тонкие намеки на довольно толстые обстоятельства.

Очень часто отсутствие конца.

Семь смертных грехов в начале и свадьба в конце.

Конец.

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ ПОГОНИШЬСЯ, НИ ОДНОГО НЕ ПОЙМАЕШЬ

Пробило двенадцать часов дня, и майор Щелколов, обладатель тысячи десятин земли и молоденькой жены, высунул свою плешивую голову из-под ситцевого одеяла и громко выругался. Вчера, проходя мимо беседки, он слышал, как молодая жена его, майорша Каролина Карловна, более чем милостиво беседовала со своим приезжим кузенком, называла своего супруга — майора Щелколобова, бараном и с женским легкомыслием доказывала, что она своего мужа не любила, не любит и любить не будет за его, Щелколобова, тупоумие, мужицкие манеры и склонность к умопомешательству и хроническому пьянству. Такое отношение жены поразило, возмутило и привело в сильнейшее негодование майора. Он не спал целую ночь и целое утро. В голове у него кипела непривычная работа, лицо горело и было краснее вареного рака; кулаки судорожно сжимались, а в груди происходила такая возня и стукотня, какой майор и под Карсом не видал и не слышал. Выглянув из-под одеяла на свет божий и выругавшись, он спрыгнул с кровати и, потрясая кулаками, зашагал по комнате.— Эй, болваны! — крикнул он.

Затрещала дверь, и пред лицо майора предстал его камердинер, куафер и поломойка Пантелей, в одежонке с барского плеча и с щенком под мышкой. Он уперся о косяк двери и почтительно замигал глазами.

— Послушай, Пантелей,— начал майор,— я хочу с тобой поговорить по-человечески, как с человеком, откровенно. Стой ровней! Выпусти из кулака мух! Вот

так! Будешь ли ты отвечать мне откровенно, от глубины души, или нет?

— Буду-с.

— Не смотри на меня с таким удивлением. На господ нельзя смотреть с удивлением. Закрой рот! Какой же ты бык, братец! Не знаешь, как нужно вести себя в моем присутствии. Отвечай мне прямо, без запинки! Колотишь ли ты свою жену, или нет?

Пантелей закрыл рот рукою и преглупо ухмыльнулся.

— Кажинный вторник, ваше в-е! — пробормотал он и захихикал.

— Очень хорошо. Чего ты смеешься? Над этим шутить нельзя! Закрой рот! Не чешись при мне: я этого не люблю. (Майор подумал.) Я полагаю, братец, что не одни только мужики наказывают своих жен. Как ты думаешь относительно этого?

— Не одни, ваше в-е!

— Пример!

— В городе есть судья Петр Иваныч... Изволите знать? Я у них, годов десять тому назад, в дворниках состоял. Славный барин, в одно слово то есть... а как подвыпимши, то бережись. Бывало, как придут подвыпимши, то и начнут кулачищем в бок барыню подсаживать. Штоб мне провалиться на ентом самом месте, коли не верите! Да и меня за конпанию ни с того ни с сего в бок, бывало, саданут. Бьют барыню, да и говорят: «Ты, говорят, дура, меня не любишь, так я тебя, говорят, за это убить желаю и твоей жисти предел положить...»

— Ну, а она что?

— Простите, говорит.

— Ну? Ей-богу? Да это отлично!

И майор от удовольствия потер себе руки.

— Истинная правда-с, ваше в-е! Да как и не бить, ваше в-е! Вот, например, моя... Как не побить! Гармонийку ногой раздавила да барские пирожки поела... Нешто это возможно? Гм!..

— Да ты, болван, не рассуждай! Чего рассуждаешь? Ведь умного ничего не сумеешь сказать? Не берись не за свое дело! Что барыня делает?

— Спят.

— Ну, что будет, то будет! Поди скажи Марье, чтобы разбудила барыню и просила ее ко мне... Постой!.. Как на твой взгляд? Я похож на мужика?

— Зачем вам походить, ваше в-е? Откуда это видно, чтоб барин на мужика похож был? И вовсе нет!

Пантелей пожал плечами, дверь опять затрещала, и он вышел, а майор с озабоченной миной на лице начал умываться и одеваться.

— Душенька! — сказал одевшийся майор самым что ни на есть разъехидственным тоном вошедшей к нему хорошенькой двадцатилетней майорше, — не можешь ли ты уделить мне часок из твоего столь полезного для нас времени?

— С удовольствием, мой друг! — ответила майорша и подставила свой лоб к губам майора.

— Я, душенька, хочу погулять, по озеру покататься... Не можешь ли ты из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию?

— А не жарко ли будет? Впрочем, изволь, папочка, я с удовольствием. Ты будешь грести, а я рулем править. Не взять ли нам с собой закусок? Я ужасно есть хочу...

— Я уже взял закуску, — ответил майор и ощупал в своем кармане плетку.

Через полчаса после этого разговора майор и майорша плыли на лодке к середине озера. Майор потел над веслами, а майорша управляла рулем. — Какова? Какова? Какова? — бормотал майор, свирепо поглядывая на замечтавшуюся жену и горя от нетерпения. — Стой! — забасил он, когда лодка достигла середины. Лодка остановилась. У майора побагровела физиономия и затряслись поджилки. — Что с тобой, Аполлоша? — спросила майорша, с удивлением глядя на мужа.

— Так я, — забормотал он, — ба-а-а-ран? Так я... я... кто я? Так я тупоумен? Так ты меня не любила и любить не будешь? Так ты... я...

Майор зарычал, простер вверх длани, потряс в воздухе плетью, и в лодке... о tempoга, о mores!..¹ подня-

¹ о времена, о нравы!.. (лат.)

лась страшная возня, такая возня, какую не только описать, но и вообразить едва ли возможно. Произошло то, чего не в состоянии изобразить даже художник, побывавший в Италии и обладающий самым пылким воображением... Не успел майор Щелколов почувствовать отсутствие растительности на голове своей, не успела майорша воспользоваться вырванной из рук супруга плетью, как перевернулась лодка, и...

В это время на берегу озера прогуливался бывший ключник майора, а ныне волостной писарь Иван Павлович и, в ожидании того блаженного времени, когда деревенские молодухи выйдут на озеро купаться, посвистывал, покуривал и размышлял о цели своей прогулки. Вдруг он услышал раздирающий душу крик. В этом крике он узнал голос своих бывших господ.— Помогите! — кричали майор и майорша. Писарь, недолго думая, сбросил с себя пиджак, брюки и сапоги, перекрестился трижды и поплыл на помощь к середине озера. Плавал он лучше, чем писал и разбираал писаное, а потому через какие-нибудь три минуты был уже возле погибавших. Иван Павлович подплыл к погибавшим и стал в тупик. «Кого спасти? — подумал он.— Вот черти!» Двоих спасти ему было совсем не под силу. Для него достаточно было и одного. Он скорчил на лице своем гримасу, выражавшую величайшее недоумение, и начал хвататься то за майора, то за майоршу.

— Кто-нибудь один! — сказал он.— Обоих вас куда мне взять? Что я, кашалот, что ли?

— Ваня, голубчик, спаси меня,— пропищала дрожащая майорша, держась за фалду майора,— меня спаси! Если меня спасешь, то я выйду за тебя замуж! Клянусь всем для меня святым. Ай, ай, я утопаю!

— Иван! Иван Павлович! По-рыцарски!.. того! — забасил, захлебываясь, майор.— Спаси, братец! Рубль на водку! Будь отцом-благодетелем, не дай погибнуть во цвете лет... Озолочу с ног до головы... Да ну же, спасай. Какой же ты, право... Женюсь на твоей сестре Марье... Ей-богу, женюсь! Она у тебя красавица. Майоршу не спасай, черт с ней! Не спасешь меня — убую, жить не позволю!

У Ивана Павловича закружилась голова, и он чуть-чуть не пошел ко дну. Оба обещания казались ему одинаково выгодными — одно другого лучше. Что выбрать? А время не терпит! «Спасу-ка обоих! — порешил он. — С двоих получать лучше, чем с одного. Вот это так, ей-богу. Бог не выдаст, свинья не съест. Господи, благослови!» Иван Павлович перекрестился, схватил под правую руку майоршу, а указательным пальцем той же руки за галстук майора и поплыл, кряхтя, к берегу. — Ногами болтайте! — командовал он, гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей будущности. «Барыня — жена, майор — зять... Шик! Гуляй, Ваня! Вот когда пирожных наемся, да дорогие сигары курить будем! Слава тебе, господи!» Трудно было Ивану Павловичу тянуть одной рукой двойную ношу и плыть против ветра, но мысль о блестящей будущности поддержала его. Он, улыбаясь и хихикая от счастья, доставил майора и майоршу на сушу. Велика была его радость. Но, увидев майора и майоршу дружно вцепившихся друг в друга, он... вдруг побледнел, ударил себя кулаком по лбу, зарыдал и не обратил внимания на девок, которые, вылезши из воды, густою толпой окружали майора и майоршу и с удивлением посматривали на храброго писаря.

На другой день Иван Павлович, по проискам майора, был удален из волостного правления, а майорша изгнала из своих апартаментов Марью с приказом отправляться ей «к своему милому барину».

— О люди, люди! — вслух произносил Иван Павлович, гуляя по берегу рокового пруда, — что благодарностью вы именуете?

МОЙ ЮБИЛЕЙ

Юноши и девы!

Три года тому назад я почувствовал присутствие того священного пламени, за которое был прикован к скале Прометей... И вот три года я щедрою рукою рассылаю во все концы моего обширного отечества свои произведения, прошедшие сквозь чистилище упомянутого пламени. Писал я прозой, писал стихами, писал на всякие меры, манеры и размеры, задаром и за деньги, писал во все журналы, но... увы!!! мои завистники находили нужным не печатать моих произведений, а если и печатать, то непременно в «почтовых ящиках». Полсотни почтовых марок посеял я на «Ниве», сотню утопил в «Неве», с десяток пропали на «Огоньке», пять сотен просадил на «Стрекозе». Короче: всех ответов из всех редакций получил я от начала моей литературной деятельности до сего дня ровно *две тысячи!* Вчера я получил последний из них, подобный по содержанию всем остальным. Ни в одном ответе не было даже и намек на «да». Юноши и девы! Материальная сторона каждой моей посылки в редакцию обходилась мне по меньшей мере в гривенник; следовательно, на литературное препровождение времени просадил я 200 руб. А ведь за 200 руб. можно купить лошады! Доходов в год я имею 800 франков, только... Поймите!!! И я должен был голодать за то, что воспевал природу, любовь, женские глазки, за то, что пускал ядовитые стрелы в корыстолюбие надмен-

ного Альбиона; за то, что делился своим пламенем с... гг., писавшими мне ответы... Две тысячи ответов — двести с лишним рублей, и ни одного «да»! Тьфу! и вместе с тем поучительная материя. Юноши и девы! Праздную сегодня свой юбилей получения двухтысячного ответа, поднимаю бокал за окончание моей литературной деятельности и почиваю на лаврах. Или укажите мне на другого, получившего в три года столько же «нет», или становите меня на незыблемый пьедестал!

КАНИКУЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ИНСТИТУТЕИ НАДЕНЬЕИ N.

По русскому языку

а) Пять примеров на «Сочетание предложений»

1) «Недавно Россия воевала с Заграницей, при чем много было убито Турков».

2) «Железная дорога шипит, везет людей и зделана из железа и матерьялов».

3) «Говядина делается из быков и коров, баранина из овечек и баранчиков».

4) «Папу обошли на службе и не дали ему ордена, а он рассердился и вышел в отставку по домашним обстоятельствам».

5) «Я обожаю свою подругу Дуню Пешеморепереходященскую за то, что она прилежна и внимательна во время уроков и умеет представлять гусара Николая Спиридоныча».

б) Примеры на «Согласование слов»

1) «В великий пост священники и дьяконы не хотят венчать новобрачных».

2) «Мужики живут на даче зиму и лето, бьют лошадей, но ужасно не чисты, потому что закапаны дегтем и не нанимают горничных и швейцаров».

3) «Родители выдают девиц замуж за военных, которые имеют состояние и свой дом».

4) «Мальчик, почитай своих папу и маму — и за это ты будешь хорошеньким и будешь любим всеми людьми на свете».

5) «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел».

в) Сочинение

«Как я провела каникулы?»

Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом Иоанном, учеником третьего класса гимназии, на дачу. К нам съехались: Катя Кузевич с мамой и папой, Зина, маленький Егорushка, Наташа и много других моих подруг, которые со мной гуляли и вышивали на свежем воздухе. Было много мужчин, но мы, девицы, держали себя в стороне и не обращали на них никакого внимания. Я прочла много книг и между прочим Мещерского, Майкова, Дюму, Ливанова, Тургенева и Ломоносова. Природа была в великолепии. Молодые деревья росли очень тесно, ничей топор еще не коснулся до их стройных стволов, не густая, но почти сплошная тень ложилась от мелких листьев на мягкую и тонкую траву, всю испещренную золотыми головками куриной слепоты, белыми точками лесных колокольчиков и малиновыми крестиками гвоздики (похищено из «Затишья» Тургенева). Солнце то восходило, то заходило. На том месте, где была заря, летела стая птиц. Где-то пастух пас свой стада, и какие-то облака носились немножко ниже неба. Я ужасно люблю природу. Мой папа все лето был озабочен: негодный банк ни с того ни с сего хотел продать наш дом, а мама все ходила за папой и боялась, чтобы он на себя рук не наложил. А если же я и провела хорошо каникулы, так это потому, что занималась наукой и вела себя хорошо. Конец».

А р и ф м е т и к а

Задача. Три купца внесли для одного торгового предприятия капитал, на который, через год, было получено 8 000 руб. прибыли. Спрашивается: сколько

получил каждый из них, если первый внес 35 000, второй 50 000, а третий 70 000?

Решение. Чтобы решить эту задачу, нужно сперва узнать, кто из них больше всех внес, а для этого нужно все три числа повысить одно из другого, и получим, следовательно, что третий купец внес больше всех, потому что он внес не 35 000 и не 50 000, а 70 000. Хорошо. Теперь узнаем, сколько из них каждый получил, а для этого разделим 8 000 на три части так, чтобы самая большая часть пришлась третьему. Делим: 3 в восьми содержится 2 раза $3 \times 2 = 6$. Хорошо. Вычтем 6 из восьми и получим 2. Сносим нолик. Вычтем 18 из 20 и получим еще раз 2. Сносим нолик и так далее до самого конца. Выйдет то, что мы получим $2,666\frac{2}{3}$, которая и есть то, что требуется доказать, то есть каждый купец получил $2,666\frac{2}{3}$ руб., а третий, должно быть, немножко больше».

Подлинность удостоверяет — *Чехонте*

ПАПАША

Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше и кашлянула. При входе ее с колен папаши спорхнула горничная и шмыгнула за портьеру; мамаша не обратила на это ни малейшего внимания, потому что успела уже привыкнуть к маленьким слабостям папаши и смотрела на них с точки зрения умной жены, понимающей своего цивилизованного мужа.

— Пампушка,— сказала она, садясь на папашины колени,— я пришла к тебе, мой родной, посоветоваться. Утри свои губы, я хочу поцеловать тебя.

Папаша замигал глазами и вытер рукавом губы.

— Что тебе? — спросил он.

— Вот что, папочка. Что нам делать с нашим сыном?

— А что такое?

— А ты не знаешь? Боже мой! Как вы все, отцы, беспечны. Это ужасно! Пампушка, да будь же хоть отцом наконец, если не хочешь... не можешь быть мужем!

— Опять свое. Слышал тысячу раз уж!

Папаша сделал нетерпеливое движение, и мамаша чуть было не упала с колен папаши.

— Все вы, мужчины, таковы, не любите слушать правды.

— Ты про правду пришла рассказывать или про сына?

— Ну, ну, не буду... Пампуша, сын наш опять нехорошие отметки из гимназии принес.

— Ну, так что ж?

— Как что ж? Ведь его не допустят к экзамену! Он не перейдет в четвертый класс!

— Пускай не переходит. Не велика беда. Лишь бы учился да дома не баловался.

— Ведь ему, папочка, пятнадцать лет! Можно ли в таких летах быть в третьем классе? Представь, этот негодный арифметик опять ему вывел двойку... Ну, на что это похоже?

— Выпороть нужно, вот на что похоже.

Мамаша мизинчиком провела по жирным губам папаши, и ей показалось, что она кокетливо нахмурила бровки.

— Нет, пампушка, о наказаниях мне не говори... Сын наш не виноват... Тут интрига... Сын наш, нечего скромничать, так развит, что невероятно, чтобы он не знал какой-нибудь глупой арифметики. Он все прекрасно знает, в этом я уверена!

— Шарлатан он, вот что-с! Ежели б поменьше баловался да побольше учился... Сядь-ка, мать моя, на стул... Не думаю, чтоб тебе удобно было сидеть на моих коленях.

Мамаша спорхнула с колен папаши, и ей показалось, что она лебединым шагом направилась к креслу.

— Боже, какое бесчувствие! — прошептала она, усевшись и закрыв глаза.— Нет, ты не любишь сына! Наш сын так хорош, так умен, так красив... Интрига, интрига! Нет, он не должен оставаться на второй год, я этого не допущу!

— Допустишь, коли негодяй скверно учится... Эх вы, матери!.. Ну, иди с богом, а я тут кое-чем должен... позаняться...

Папаша повернулся к столу, нагнулся к какой-то бумажке и искоса, как собака на тарелку, посмотрел на портьеру.

— Папочка, я не уйду... я не уйду! Я вижу, что я тебе в тягость, но потерпи... Папочка, ты должен сходить к учителю арифметики и приказать ему поставить нашему сыну хорошую отметку... Ты ему должен сказать, что сын наш хорошо знает арифметику, что он слаб здоровьем, а потому и не может угождать вся-

кому. Ты принудь учителя. Можно ли мужчине сидеть в третьем классе? Постарайся, пампуша! Представь, Софья Николаевна нашла, что сын наш похож на Париса!

— Для меня это очень лестно, но не пойду! Некогда мне шлаться.

— Нет, пойдешь, папочка!

— Не пойду... Слово твердо... Ну, уходи с богом, душенька... Мне бы заняться нужно вот тут кое-чем...

— Пойдешь!

Мамаша поднялась и возвысила голос.

— Не пойду!

— Пойдешь!! — крикнула мамаша, — а если не пойдешь, если не захочешь пожалеть своего единственного сына, то... — Мамаша взвизгнула и жестом взбешенного трагика указала на портьеру... Папаша сконфузился, растерялся, ни к селу ни к городу запел какую-то песню и сбросил с себя сюртук... Он всегда терялся и становился совершенным идиотом, когда мамаша указывала ему на его портьеру. Он сдался. Позвали сына и потребовали от него слова. Сынок рассердился, нахмурился, насупился и сказал, что он арифметику знает лучше самого учителя и что он не виноват в том, что на этом свете пятерки получают одними только гимназистками, богачами да подлипалами. Он разрыдался и сообщил адрес учителя арифметики во всех подробностях. Папаша побрился, поводит у себя по лысине гребнем, оделся поприличнее и отправился «пожалеть единственного сына».

По обыкновению большинства папаш, он вошел к учителю арифметики без доклада. Каких только вещей не увидишь и не услышишь, вошедши без доклада! Он слышал, как учитель сказал своей жене: «Дорого ты стоишь мне, Ариадна!.. Прихоти твои не имеют пределов!» И видел, как учительша бросилась на шею к учителю и сказала: «Прости меня! Ты мне дешево стоишь, но я тебя дорого ценю!» Папаша нашел, что учительша очень хороша собой и что будь она совершенно одета, она не была бы так прелестна.

— Здравствуйте! — сказал он, развязно подходя к супругам и шаркая ножкой. Учитель на минуту расте-

рлся, а учительша вспыхнула и с быстротою молнии шмыгнула в соседнюю комнату.

— Извините,— начал папаша с улыбочкой,— я, может быть, того... вас в некотором роде обеспокоил... Очень хорошо понимаю... Здоровы-с? Честь имею рекомендоваться... Не из безызвестных, как видите... Тоже служака... Ха-ха-ха! Да вы не беспокойтесь!

Господин учитель чуточку, приличия ради, улыбнулся и указал на стул. Папаша повернулся на одной ножке и сел.

— Я, — продолжал он, показывая г. учителю свои золотые часы,— пришел с вами поговорить-с... Мм-да... Вы, конечно, меня извините... Я по-ученому выражаться не мастер. Наш брат, знаете ли, все спроста. Ха-ха-ха. Вы в университете обучались?

— Да, в университете.

— Так-ссс!.. Н-ну, да... А сегодня тепло-с... Вы, Иван Федорыч, моему сынишке двоек там наставили... Мм... да... Но это ничего, знаете... Кто чего достоин... Ему же дань — дань, ему же урок — урок... Хе-хе-хе!.. Но, знаете ли, неприятно. Неужели мой сын плохо арифметику понимает?

— Как вам сказать? Не то чтобы плохо, но, знаете ли, не занимается. Да, он плохо знает.

— Почему же он плохо знает?

Учитель сделал большие глаза.

— Как почему? — сказал он. — Потому, что плохо знает и не занимается.

— Помилуйте, Иван Федорыч! Сын мой превосходно занимается. Я сам с ним занимаюсь... Он ночи сидит... Он все отлично знает... Ну, а что пошаливает... Ну, да ведь это молодость... Кто из нас не был молод? Я вас не обеспокоил?

— Помилуйте, что вы?.. Очень вам благодарен даже... Вы, отцы, такие редкие гости у нас, педагогов... Впрочем, это показывает на то, как вы сильно нам доверяете; а главное во всем — это доверие.

— Разумеется... Главное — не вмешиваемся... Значит, сын мой не перейдет в четвертый класс?

— Да. У него ведь не по одной только арифметике годовая двойка.

— Можно будет и к другим съездить. Ну, а насчет арифметики? Хххе!.. Исправите?

— Не могу-с! (Учитель улыбнулся.) Не могу-с!.. Я желал, чтобы сын ваш перешел, я старался всеми силами, но ваш сын не занимается, говорит дерзости... Мне несколько раз приходилось иметь с ним неприятности.

— М-молод. Что поделаешь? Да вы уж переправьте на троечку.

— Не могу!

— Да ну, пустяки!.. Что вы мне рассказываете? Как будто бы я не знаю, что можно, чего нельзя. Можно, Иван Федорыч!

— Не могу! Что скажут другие двоечники! Несправедливо, как ни поверните дело. Ей-ей, не могу.

Папаша мигнул одним глазом.

— Можете, Иван Федорыч! Иван Федорыч! Не будем долго рассказывать! Не таково дело, чтобы о нем три часа балясы точить... Вы скажите мне, что вы по-своему, по-ученому, считаете справедливым? Ведь мы знаем, что такое ваша справедливость. Хе-хе-хе! Говорили бы прямо, Иван Федорыч, без экивок. Вы ведь с намерением поставили двойку... Где же тут справедливость?

Учитель сделал большие глаза и... только; а почему он не обиделся — это останется для меня навсегда тайною учительского сердца.

— С намерением,— продолжал папаша.— Вы гостя ожидали-с. Ха-хе-ха-хе!.. Что ж? Извольте-с!.. Я согласен... Ему же дань — дань... Понимаю службу, как видите... Как не прогрессируйте там, а ... все-таки, знаете... ммда... старые обычаи лучше всего, полезнее... Чем богат, тем и рад.

Папаша с сопеньем вытащил из кармана бумажник, и двадцатипятирублевка потянулась к кулаку учителя.

— Извольте-с!

Учитель покраснел, съезжился и... только. Почему он не указал папаше на дверь — для меня останется навсегда тайной учительского сердца...

— Вы,— продолжал папаша,— не конфузьтесь... Ведь я понимаю... Кто говорит, что не берет,— тот бе-

рет... Кто теперь не берет? Нельзя, батенька, не брать... Не привыкли еще, значит? Пожалуйте-с!

— Нет, ради бога...

— Мало? Ну, больше дать не могу... Не возьмете?

— Помилуйте!..

— Как прикажете... Ну, а уж двоечку исправьте!.. Не так я прошу, как мать... Плачет, знаете ли... Сердцебиение там и прочее.

— Вполне сочувствую вашей супруге, но не могу.

— Если сын не перейдет в четвертый класс, то... что же будет?.. Ммда... Нет, уж вы переведите его!

— Рад бы, но не могу... Прикажете папиросу?

— Гранд мерси...¹ Перевести бы не мешало... А в каком чине состоите?

— Титулярный... Впрочем, по должности восьмого класса. Кгм!..

— Так-ссс... Ну, да мы с вами поладим... Единым почерком пера, а? Идет? Хе-хе!..

— Не могу-с, хоть убейте, не могу!

Папаша немного помолчал, подумал и опять наступил на г. учителя. Наступление продолжалось еще очень долго. Учителю пришлось раз двадцать повторить свое неизменное «не могу-с». Наконец папаша надоел учителю и стал больно невыносим. Он начал лезть целоваться, просил проэкзаменовать *его* по арифметике, рассказал несколько сальных анекдотов и зафамильярничал. Учителя затошнило.

— Ваня, тебе пора ехать! — крикнула из другой комнаты учительша. Папаша понял, в чем дело, и своею широкою фигурой загородил г. учителю дверь. Учитель выбился из сил и начал ныть. Наконец ему показалось, что он придумал гениальнейшую вещь.

— Вот что,— сказал он папаше.— Я тогда только исправлю вашему сыну годовую отметку, когда и другие мои товарищи поставят ему по тройке по своим предметам.

— Честное слово?

— Да, я исправлю, если они исправят.

— Дело! Руку вашу! Вы не человек, а — шик! Я им

¹ Весьма благодарен (франц.).

скажу, что вы уже исправили. Идет девка за парубка! Бутылка шампанского за мной. Ну, а когда их можно застать у себя?

— Хоть сейчас.

— Ну, а мы, разумеется, будем знакомы? Заедете когда-нибудь на часок попросту?

— С удовольствием. Будьте здоровы!

— Оревуар!¹ Хе-хе-хе-хмы!.. Ох, молодой человек, молодой человек! Прощайте!.. Вашим господам товарищам, разумеется, от вас поклон? Передам. Вашей супруге от меня почтительное резюме... Заходите же!

Папаша шаркнул ножкой, надел шляпу и улетучился.

«Славный малый,— подумал г. учитель, глядя вслед уходившему папаше.— Славный малый! Что у него на душе, то и на языке. Прост и добр, как видно... Люблю таких людей».

В тот же день вечером у папаша на коленях опять сидела мамаша (а уж после нее сидела горничная). Папаша уверял ее, что «сын наш» перейдет и что ученых людей не так уломаешь деньгами, как приятным обхождением и вежливеньким наступлением на горло.

¹ До свидания! (от франц. — *aurevoir.*)

ТЫСЯЧА ОДНА СТРАСТЬ,
или
СТРАШНАЯ НОЧЬ

Роман в одной части с эпилогом

Посвящая Виктору Гюго

На башне св. Ста сорока шести мучеников пробила полночь. Я задрожал. Настало время. Я судорожно схватил Теодора за руку и вышел с ним на улицу. Небо было темно, как типографская тушь. Было темно, как в шляпе, надетой на голову. Темная ночь — это день в ореховой скорлупе. Мы закутались в плащи и отправились. Сильный ветер продувал нас насквозь. Дождь и снег — эти мокрые братья — страшно били в наши физиономии. Молния, несмотря на зимнее время, бороздила небо по всем направлениям. Гром, грозный, величественный спутник прелестной, как миганье голубых глаз, быстрой, как мысль, молнии, ужасающе потрясал воздух. Уши Теодора засветились электричеством. Огни св. Эльма с треском пролетали над нашими головами. Я взглянул наверх. Я затрепетал. Кто не трепещет перед величием природы? По небу пролетело несколько блестящих метеоров. Я начал считать их и насчитал двадцать восемь. Я указал на них Теодору. «Нехорошее предзнаменование!» — пробормотал он, бледный, как изваяние из каррарского мрамора. Ветер стонал, рыдал... Стон ветра — стон совести, утонувшей в страшных преступлениях. Возле нас громом разрушило и зажгло восьмизэтажный дом. Я слышал вопли, вылетавшие из него. Мы прошли мимо. До горевшего ли дома мне было, когда у меня в груди горело полтора ста домов? Где-то в пространстве заунывно, медленно, монотонно звонил колокол. Была борьба стихий. Какие-то

неведомые силы, казалось, трудились над ужасающею гармониею стихий. Кто эти силы? Узнает ли их когда-нибудь человек?

Пугливая, но дерзкая мечта!!!

Мы крикнули кошэ¹. Мы сели в карету и помчались. Кошэ — брат ветра. Мы мчались, как смелая мысль мчится в таинственных извилинах мозга. Я всунул в руку кошэ кошелек с золотом. Золото помогло бичу удвоить быстроту лошадиных ног.

— Антонио, куда ты меня везешь? — простонал Теодор. — Ты смотришь злым гением... В твоих черных глазах светится ад... Я начинаю бояться...

Жалкий трус! Я промолчал. Он любил ее. Она любила страстно его... Я должен был убить его, потому что любил больше жизни ее. Я любил ее и ненавидел его. Он должен был умереть в эту страшную ночь и заплатить смертью за свою любовь. Во мне кипели любовь и ненависть. Они были вторым моим бытием. Эти две сестры, живя в одной оболочке, производят опустошение: они — духовные вандалы.

— Стой! — сказал я кошэ, когда карета подкатила к цели. Я и Теодор выскочили. Из-за туч холодно выглянула на нас луна. Луна — беспристрастный, молчаливый свидетель сладостных мгновений любви и мщения. Она должна была быть свидетелем смерти одного из нас. Пред нами была пропасть, бездна без дна, как бочка преступных дочерей Даная. Мы стояли у края жерла потухшего вулкана. Об этом вулкане ходят в народе страшные легенды. Я сделал движение коленом, и Теодор полетел вниз, в страшную пропасть. Жерло вулкана — пасть земли.

— Проклятие!!! — закричал он в ответ на мое проклятие. Сильный муж, ниспровергающий своего врага в кратер вулкана из-за прекрасных глаз женщины — величественная, грандиозная и поучительная картина! Недоставало только лавы!

Кошэ. Кошэ — статуя, поставленная роком невежеству. Прочь рутина! Кошэ последовал за Теодором. Я почувствовал, что в груди у меня осталась одна толь-

¹ извозчика (от франц. — cocher).

ко любовь. Я пал лицом на землю и заплакал от восторга. Слезы восторга — результат божественной реакции, производимой в недрах любящего сердца. Лошади весело заржали. Как тягостно быть не человеком! Я освободил их от животной, страдальческой жизни. Я убил их. Смерть есть и оковы и освобождение от оков.

Я зашел в гостиницу «Фиолетового Гиппопотама» и выпил пять стаканов доброго вина.

Через три часа после мщения я был у дверей ее квартиры. Кинжал, друг смерти, помог мне по трупам добраться до ее дверей. Я стал прислушиваться. Она не спала. Она мечтала. Я слушал. Она молчала. Молчание длилось часа четыре. Четыре часа для влюбленного — четыре девятнадцатых столетия! Наконец она позвала горничную. Горничная прошла мимо меня. Я демонически взглянул на нее. Она уловила мой взгляд. Рассудок оставил ее. Я убил ее. Лучше умереть, чем жить без рассудка.— Анета! — крикнула она.— Что это Теодор нейдет? Тоска грызет мое сердце. Меня душит какое-то тяжелое предчувствие. О Анета! Сходи за ним. Он, наверно, кутит теперь вместе с безбожным, ужасным Антонио!.. Боже, кого я вижу?! Антонио!

Я вошел к ней. Она побледнела...

— Подите прочь! — закричала она, и ужас исказил ее благородные, прекрасные черты.

Я взглянул на нее. Взгляд есть меч души. Она пошатнулась. В моем взгляде она увидела все: и смерть Теодора, и демоническую страсть, и тысячу человеческих желаний... Поза моя — было величие. В глазах моих светилось электричество. Волосы мои шевелились и стояли дыбом. Она видела пред собою демона в земной оболочке. Я видел, что она залюбовалась мной. Часа четыре продолжалось гробовое молчание и созерцание друг друга. Загремел гром, и она пала мне на грудь. Грудь мужчины — крепость женщины. Я сжал ее в своих объятиях. Оба мы крикнули. Кости ее затрепали. Гальванический ток пробежал по нашим телам. Горячий поцелуй...

Она полюбила во мне демона. Я хотел, чтобы она полюбила во мне ангела. «Полтора миллиона франков отдаю бедным!» — сказал я. Она полюбила во мне ан-

гела и заплакала. Я тоже заплакал. Что это были за слезы!!! Через месяц в церкви св. Тита и Гортензии происходило торжественное венчание. Я венчался с *ней*. Она венчалась со мной. Бедные нас благословляли! Она упросила меня простить врагов моих, которых я ранее убил. Я простил. С молодой женой я уехал в Америку. Молодая, любящая жена была ангелом в девственных лесах Америки, ангелом, пред которым склонялись львы и тигры. Я был молодым тигром. Через три года после нашей свадьбы старый Сам носился уже с курчавым мальчишкой. Мальчишка был более похож на мать, чем на меня. Это меня злило. Вчера у меня родился второй сын... и сам я от радости повесился... Второй мой мальчишка протягивает ручки к читателям и просит их не верить его папаше, потому что у его папаши не было не только детей, но даже и жены. Папаша его боится женитьбы, как огня. Мальчишка мой не лжет. Он младенец. Ему верьте. Детский возраст — святой возраст. Ничего этого никогда не было... Спокойной ночи.

Между Понтом Эвксинским и Соловками, под ответственным градусом долготы и широты, на своем черноземе с давних пор обитает помещичек Трифон Семенович. Фамилия Трифона Семеновича длинна, как слово «естествоиспытатель», и происходит от очень звучного латинского слова, обозначающего единую из многочисленнейших человеческих добродетелей. Число десятин его чернозема есть 3000. Имение его, потому что оно имение, а он — помещик, заложено и продается. Продажа его началась еще тогда, когда у Трифона Семеновича лысины не было, тянется до сих пор и, благодаря банковскому легковерию да Трифона Семеновича изворотливости, ужасно плохо клеится. Банк этот когда-нибудь да лопнет, потому что Трифон Семенович, подобно себе подобным, имя коим легион, рубли взял, а процентов не платит, а если и платит кое-когда, то платит с такими церемониями, с какими добрые люди подают копеечку за упокой души и на построение храма. Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном Семеновичем, а иначе; звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров. Говоря откровенно, Трифон Семенович — порядочная-таки скотина. Приглашаю его самого согласиться с этим. Если до него дойдет это приглашение (он иногда почитывает «Стрекозу»), то он, наверно, не рассердится, ибо он, будучи человеком понимающим, согласится со мною

вполне, да, пожалуй, еще придет мне осенью от щедрот своих десятков антоновских яблочков за то, что я его длинной фамилии по миру не пустил, а ограничился на этот раз одними только именем и отчеством. Описывать все добродетели Трифона Семеновича я не стану: материя длинная. Чтобы вместить всего Трифона Семеновича с руками и ногами, нужно просидеть над писанием по крайней мере столько, сколько просидел Евгений Сю над своим толстым и длинным «Вечным Жидом». Я не коснусь ни его плутней в преферансе, ни политики его, в силу которой он не платит ни долгов, ни процентов, ни его проделок над батюшкой и дьячком, ниже прогулок его верхом по деревне в костюме времен Каина и Авеля, а ограничусь одной только сценкой, характеризующей его отношения к людям, в похвалу которых его тричетвертывековой опыт сочинил следующую скороговорку: «Мужички, простачки, чудачки, дурачки проигрались в «дурачки».

В одно прекрасное во всех отношениях утро (дело происходило в конце лета) Трифон Семенович прогуливался по длинным и коротким аллеям своего роскошного сада. Все, что вдохновляет господ поэтов, было рассыпано вокруг него щедрою рукою в огромном количестве и, казалось, говорило и пело: «На, бери, человек! Наслаждайся, пока еще не явилась осень!» Но Трифон Семенович не наслаждался, потому что он далеко не поэт, да и к тому же в это утро душа его с особенною жадностью вкушала хладный сон, как это делала она всегда, когда хозяин ее чувствовал себя в проигрыше. Позади Трифона Семеновича шествовал его верный вольнонаемник, Карпушка, старикашка лет шестидесяти, и посматривал по сторонам. Этот Карпушка своими добродетелями чуть ли не превосходит самого Трифона Семеновича. Он прекрасно чистит сапоги, еще лучше вешает лишних собак, обворовывает всех и вся и бесподобно шпионит. Вся деревня, с легкой руки писаря, величает его «опричником». Редкий день проходит без того, чтобы мужики и соседи не жаловались Трифону Семеновичу на нравы и обычаи Карпушки; но жалобы эти оставляются втуне, потому что Карпушка пезаменим в хозяйстве Трифона Семеновича.

Трифон Семенович, когда идет гулять, всегда берет с собой верного своего Карпа: и безопаснее и веселее. Карпушка носит в себе неистощимый источник разного рода рассказней, прибауток, побасенок и обладает неумением молчать. Он всегда рассказывает что-нибудь и молчит только тогда, когда слушает что-нибудь интересное. В описываемое утро шел он позади своего барина и рассказывал ему длинную историю о том, как какие-то два гимназиста в белых картузах ехали с ружьями мимо сада и умоляли его, Карпушку, пустить их в сад поохотиться, как прельщали его эти два гимназиста полтинником и как он, очень хорошо зная, кому служит, с негодованием отверг полтинник и спустил на гимназистов Каштана и Серка. Кончив эту историю, он начал было в ярких красках изображать возмутительный образ жизни деревенского фельдшера, но изображение не удалось, потому что до ушей Карпушки из чащи яблонь и груш донесся подозрительный шорох. Услышав шорох, Карпушка удержал свой язык, наострил уши и стал прислушиваться. Убедившись в том, что шорох есть и что этот шорох подозрителен, он дернул своего барина за полу и стрелой помчался по направлению к шороху. Трифон Семенович, предчувствуя скандалчик, встрепенулся, засеменял своими старческими ножками и побежал вслед за Карпушкой. И было за чем бежать...

На окраине сада, под старой, ветвистой яблоней стояла крестьянская девка и жевала; подле нее на коленях ползал молодой, широкоплечий парень и собирал на земле сбитые ветром яблоки; незрелые он бросал в кусты, а спелые любовно подносил на широкой, серой ладони своей Дульцинее. Дульцинея, по-видимому, не боялась за свой желудок и ела яблочки не переставая и с большим аппетитом, а парень, ползая и собирая, совершенно забыл про себя и имел в виду исключительно одну только Дульцинею.

— Даты с дерева сорви! — подзадоривала шепотом девка.

— Страшно.

— Чего страшно?! Опришник небось в кабаке...

Парень приподнялся, подпрыгнул, сорвал с дерева одно яблоко и подал его девке. Но парню и его девке,

как и древле Адаму и Еве, не посчастливилось с этим яблочком. Только что девка откусила кусочек и подала этот кусочек парню, только что они оба почувствовали на языках своих жестокою кислоту, как лица их искривились, потом вытянулись, побледнели... не потому, что яблоко было кисло, а потому, что они увидели перед собою строгую физиономию Трифона Семеновича и злорадно ухмыляющуюся рожицу Карпушки.

— Здравствуйте, голубчики! — сказал Трифон Семенович, подходя к ним.— Что, яблочки кушаете? Я, бывает, вам не помешал?

Парень снял шапку и опустил голову. Девка начала рассматривать свой передник.

— Ну, как твое здоровье, Григорий? — обратился Трифон Семенович к парню.— Как живешь-можешь, паренек?

— Я только один,— пробормотал парень,— да и то с земли...

— Ну, а как твое здоровье, дуся? — спросил Трифон Семенович девуку.

Девка еще усерднее принялась за обзор своего передника.

— Ну, а свадьбы вашей еще не было?

— Нет еще... Да мы, барин, ей-богу, только один, да и то... так...

— Хорошо, хорошо. Молодец. Ты читать умеешь?

— Не... Да, ей-богу ж, барин, мы только вот один, да и то с земли.

— Читать ты не умеешь, а воровать умеешь. Что ж, и то слава богу. Знания за плечами не носить. А давно ты воровать начал?

— Да разве я воровал, што ли?

— Ну, а милая невеста твоя,— обратился к парню Карпушка,— чего это так жалостно призадумалась? Плохо любишь нешто?

— Молчи, Карп! — сказал Трифон Семенович.— А ну-ка, Григорий, расскажи нам сказку...

Григорий кашлянул и улыбнулся.

— Я, барин, сказок не знаю,— сказал он.— Да нешто мне яблоки ваши нужны, што ли? Коли я захочу, так и купить могу.

— Очень рад, милый, что у тебя денег много. Ну, расскажи же нам какую-нибудь сказку. Я послушаю, Карп послушает, вот твоя красавица невеста послушает. Не конфузься, будь посмелей! Воровская душа должна быть смела. Не правда ли, мой друг?

И Трифон Семенович уставил свои ехидные глаза на попавшегося парня... У парня на лбу выступил пот.

— Вы, барин, заставьте-ка его лучше песню спеть. Где ему, дураку, сказки рассказывать? — продребезжал своим гаденьким тенорком Карпушка.

— Молчи, Карп, пусть сперва сказку расскажет. Ну, рассказывай же, милый!

— Не знаю.

— Неужели не знаешь? А воровать знаешь? Как читается восьмая заповедь?

— Да что вы меня спрашиваете? Разве я знаю? Да ей-богу-с, барин, мы только один яблоч съели, да и то с земли...

— Читай сказку!

Карпушка начал рвать крапиву. Парень очень хорошо знал, для чего это готовилась крапива. Трифон Семенович, подобно ему подобным, красиво самоуправничает. Вора он или запирает на сутки в погреб, или сечет крапивой, или же отпускает на свою волю, предварительно только раздев его донага... Это для вас ново? Но есть люди и места, для которых это обыденно и старо, как телега. Григорий косо посмотрел на крапиву, помялся, покашлял и начал не рассказывать сказку, а молоть сказку. Кряхтя, потя, кашляя, поминутно сморкаясь, начал он повествовать о том, как во время оно богатыри русские кощеев колотили да на красавицах женились. Трифон Семенович стоял, слушал и не спускал глаз с повествователя.

— Довольно! — сказал он, когда парень под конец уж совершенно замолелся и понес чепуху.— Славно рассказываешь, но воруешь еще лучше. А ну-ка ты, красавица...— обратился он к девке,— прочти-ка «Отче наш»!

Красавица покраснела и едва слышно, чуть дыша, прочла «Отче наш».

— Ну, а как же читается восьмая заповедь?

— Да вы думаете, мы много брали, што ли? — ответил парень и отчаянно махнул рукой.— Вот вам крест, коли не верите!..

— Плохо, родимые, что вы заповедей не знаете. Надо вас поучить. Красавица, это он тебя научил воровать? Чего же ты молчишь, херувимчик? Ты должна отвечать. Говори же! Молчишь? Молчание — знак согласия. Ну, красавица, бей же своего красавца за то, что он тебя воровать научил!

— Не стану,— прошептала девка.

— Побей немножко. Дураков надо учить. Побей его, моя дуся! Не хочешь? Ну, так я прикажу Карпу да Матвею тебя немножко крапивой... Не хочешь?

— Не стану.

— Карп, подойди сюда!

Девка опрометью подлетела к парню и дала ему пощечину. Парень преглупо улыбнулся и заплакал.

— Молодец, красавица! А ну-ка еще за волоса! Возьмись-ка, моя дуся! Не хочешь? Карп, подойди сюда!

Девка взяла своего жениха за волосы.

— Ты не держись, ему так больней! Ты потаскай его!

Девка начала таскать. Карпушка обезумел от восторга, заливался и дребезжал.

— Довольно,— сказал Трифон Семенович.— Спасибо тебе, дуся, за то, что зло покарала. А ну-ка,— обратился он к парню,— поучи-ка свою молодайку... То она тебя, а теперь ты ее...

— Выдумываете, барин, ей-богу... За что я ее буду бить?

— Как за что? Ведь она тебя била? И ты ее побей! Это ей принесет свою пользу. Не хочешь? Напрасно. Карп, крикни Матвея!

Парень плюнул, крикнул, взял в кулак косу своей невесты и начал карать зло. Карая зло, он, незаметно для самого себя, пришел в экстаз, увлекся и забыл, что он бьет не Трифона Семеновича, а свою невесту. Девка заголосила. Долго он ее бил. Не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы из-за кустов не выскочила хорошенькая дочка Трифона Семеновича, Сашенька.

— Папочка, иди чай пить! — крикнула Сашенька и, увидав папочкину выходку, звонко захохотала.

— Довольно! — сказал Трифон Семенович. — Можете теперь идти, голубчики. Прощайте! К свадьбе яблочков пришло.

И Трифон Семенович низко поклонился наказанным.

Парень и девка оправились и пошли. Парень пошел направо, а девка налево, и... по сей день более не встречались. А не явись Сашенька, парню и девке, чего доброго, пришлось бы попробовать и крапивы... Вот как забавляет себя на старости лет Трифон Семенович. И семейка его тоже недалеко ушла от него. Его дочери имеют обыкновение гостям «низкого звания» пришивать к шапкам луковицы, а пьяным гостям того же звания — писать на спинах мелом крупными буквами: «асел» и «дурак». Сыночек же его, отставной подпоручик, Митя, как-то зимою превзошел и самого папашу: он вкупе с Карпушкой вымазал дегтем ворота одного отставного солдата за то, что этот солдатик не захотел Мите подарить волчонка, и за то, что этот солдатик вооружает якобы своих дочек против пряников и конфет господина отставного подпоручика...

Называй после этого Трифона Семеновича Трифоном Семеновичем!

ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

В четверг на прошлой неделе девица Подзатылкина в доме своих почтенных родителей была объявлена невестой коллежского регистратора Назарьева. Сговор сошел как нельзя лучше. Выпито было две бутылки ланинского шампанского, полтора ведра водки; барышни выпили бутылку лафита. Папаши и мамыши жениха и невесты плакали вовремя, жених и невеста целовались охотно; гимназист восьмого класса произнес тост со словами: «O tempora, o mores!»¹ и «Salvete, boni futuri conjuges!»²— произнес с шиком; рыжий Ванька Смысломалов, в ожидании вынужения жребия ровно ничего не делающий, в самый подходящий момент, в «самый раз» ударился в страшный трагизм, взъерошил волосы на своей большой голове, трахнул кулаком себя по колену и воскликнул: «Черт возьми, я любил и люблю ее!» — чем и доставил невыразимое удовольствие девицам.

Девица Подзатылкина замечательна только тем, что ничем не замечательна. Ума ее никто не видал и не знает, а потому о нем — ни слова. Наружность у нее самая обыкновенная: нос папашин, подбородок мамашин, глаза кошачьи, бюстик посредственный. Играть на фортепьяне умеет, но без нот; мамаше на кухне помогает, без корсета не ходит, постного кушать не может, в уразумении буквы «Ѣ» видит начало и конец всех

¹ О времена, о нравы! (лат.)

² Да здравствуют будущие добрые супруги! (лат.)

премудростей и больше всего на свете любит статных мужчин и имя Роланд.

Господин Назарьев — мужчина роста среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоский. Где-то служит, жалованье получает щедедушное, едва на табак хватяющее; вечно пахнет яичным мылом и карболкой, считает себя страшным волокитой, говорит громко, день и ночь удивляется; когда говорит — брызжет. Франтит, на родителей смотрит свысока и ни одну барышню не пропустит, чтобы не сказать ей: «Как вы наивны! Вы бы читали литературу!» Любит больше всего на свете свой почерк, журнал «Развлечение» и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя и в особенности в ту минуту, когда сидит в обществе девиц, пьет чай внакладку и с остервенением отрицает чертей.

Вот каковы девица Подзатылкина и господин Назарьев!

На другой день после сговора, утром, девица Подзатылкина, восстав от сна, была позвана кухаркой к мамаше. Мамаша, лежа на кровати, прочла ей следующую нотацию:

— С какой это стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье? Могла бы нонче и в барежевом походить. Голова-то как болит, ужась! Вчера лысая образина, твой отец то есть, изволил пошутить. Нужны мне его шутки дурацкие. Подносит это мне что-то в рюмке... «Выпей», говорит. Думала, что в рюмке вино,— ну и выпила, а в рюмке-то был уксус с маслом из-под селедок. Это он пошутил, пьяная образина! Срамить только, слюнявый, умеет! Меня сильно изумляет и удивляет, что ты вчера веселая была и не плакала. Чему рада была? Деньги нашла, что ли? Удивляюсь! Всякий и подумал, что ты рада родительский дом оставить. Оно, должно быть, так и выходит. Что? Любовь? Какая там любовь? И вовсе ты не по любви идешь за своего, а так, за чином его погналась! Что, разве не правда? То-то, что правда. А мне, мать моя, твой не нравится. Уж больно занослив и горделив. Ты его осади... Что-о-о-о? И не думай!.. Через месяц же драться будете: и он таковский и ты таковская. Замужество

только девицам одним нравится, а в нем ничего нет хорошего. Сама испытала, знаю. Поживешь — узнаешь. Не вертись так, у меня и без того голова кружится. Мужчины все дураки, с ними жить не очень-то сладко. И твой тоже дурак, хоть и высоко голову держит. Ты его не больно-то слушайся, не потакай ему во всем и не очень-то уважай: не за что. Обо всем мать спрашивай. Чуть что случится, так и иди ко мне. Сама без матери ничего не делай, боже тебя сохрани! Муж ничего доброго не посоветует, добру не научит, а все норовит в свою пользу. Ты это знай! Отца также не больно слушай. К себе в дом не приглашай жить, а то ты, пожалуй, чего доброго, сдуру... и ляпнешь. Он так и норовит с вас стянуть что-нибудь. Будет у вас сидеть по целым дням, а на что он вам сдался? Водки будет просить да мужнин табак курить. Он скверный и вредный человек, хоть и отец тебе. Лицо-то у него, негодника, доброе, ну а душа зато страсть какая ехидная! Занимать денег станет — не давайте, потому что он жулик, хоть и тютюлярный советник. Вон он кричит, тебя зовет! Ступай к нему, да не говори ему того, что я тебе сейчас про него говорила. А то сейчас пристанет, изверг рода христианского, горой его положь! Ступай, покедова у меня сердце на месте!.. Враги вы мои! Умру, так попомните слова мои! Мучители!

Девушка Подзатылкина оставила мать свою и отправилась к папаше, который сидел в это время у себя на кровати и посыпал свою подушку персидским порошком.

— Дочь моя! — сказал ей папаша. — Я очень рад, что ты намерена сочетаться с таким умным господином, как господин Назарьев. Очень рад и вполне одобряю сей брак. Выходи, дочь моя, и не страшись! Брак — это такой торжественный факт, что... ну, да что там говорить? Живи, плодись и размножайся. Бог тебя благословит! Я... я... плачу. Впрочем, слезы ни к чему не ведут. Что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия и больше ничего! Выслушай же, дочь моя, совет мой! Не забывай родителей своих! Муж для тебя не будет лучше родителей, право не будет! Мужу нравится одна только твоя материальная красота, а нам ты вся нравишься. За что тебя будет лю-

бить муж твой? За характер? За доброту? За эмблему чувств? Нет-с! Он будет любить тебя за приданое твое. Ведь мы даем за тобой, душенька, не копейку какую-нибудь, а ровно тысячу рублей! Ты это понять должна! Господин Назарьев весьма хороший господин, но ты его не уважай паче отца. Он прилепится к тебе, но не будет истинным другом твоим. Будут моменты, когда он... Нет, умолчу лучше, дочь моя. Мать, душенька, слушай, но с осторожностью. Женщина она добрая, но двулично-вольнодумствующая, легкомысленная, жеманственная. Она благородная, честная особа, но... шут с ней! Она тебе того посоветовать не может, что советует тебе отец твой, бытия твоего виновник. В дом свой ее не бери. Мужья тещей не обожают. Я сам не любил своей тещи, так не любил, что неоднократно позволял себе подсыпать в ее кофей жженой пробочки, отчего выходили весьма презентабельные преферансы. Подпоручик Зюмбумбунчиков военным судом за тещу судился. Разве не помнишь сего факта? Впрочем, тебя еще тогда на свете не существовало. Главное, во всем и везде отец. Это ты знай и одного его только и слушай. Потом, дочь моя... Европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь! Баллада! Чем больше у родителей детей, тем лучше. Впрочем, нет! Не то! Совсем наоборот! Я ошибся, душенька. Чем меньше детей, тем лучше. Это я вчера читал в одной журналистике. Какой-то Мальтус сочинил. Так-то. Кто-то подъехал... Ба! Да это жених твой! С шиком, канашка, шельмец этакой! Ай да мужчина! Настоящий Вальтер Скотт! Пойди, душенька, прими его, а я пока оденусь.

Прикатил господин Назарьев. Невеста встретила его и сказала:

— Прошу садиться без церемоний!

Он шаркнул два раза правой ногой и сел возле невесты.

— Как вы поживаете? — начал он с обычною развязностью. — Как вам спалось? А я, знаете ли, всю ночь напролет не спал. Зола читал да о вас мечтал. Вы читали Зола? Неужели нет? Ай-я-яй! Да это преступление!

Мне один чиновник дал. Шикарно пишет! Я вам прочитать дам. Ах! Когда бы вы могли понять! Я такие чувствую чувства, каких вы никогда не чувствовали! Позвольте вас чмокнуть!

Господин Назарьев привстал и поцеловал нижнюю губу девице Подзатылкиной.

— А где ваши? — продолжал он еще развязнее.— Мне их повидать надо. Я на них, признаться, немножко сердит. Они меня здорово надули. Вы заметьте... Ваш папаша говорили мне, что она надворный советник, а оказывается теперь, что она всего только титулярный. Гм!.. Разве так можно? Потом-с... Она обещали дать за вами полторы тысячи, а маменька ваша вчера сказали мне, что больше тысячи я не получу. Разве это не свинство? Черкесы — кровожадный народ, да и то так не делают. Я не позволю себя надувать! Все делай, но самолюбия и самозабвения моих не трогай! Это не гуманно! Это не рационально! Я честный человек, а потому не люблю нечестных! У меня все можно, но не хитри, не язви, а делай так, как совесть у человека! Так-то! У них и лица какие-то невежественные! Что это за лица? Это не лица! Вы меня извините, но родственных чувств я к ним не чувствую. Вот как повенчаемся, так мы их приструним. Начальства и варварства не люблю! Я хоть и не скептик и не циник, а все-таки в образовании толк понимаю. Мы их приструним! Мои родители у меня давно уж ни гу-гу. Что, вы уж пили кофей? Нет? Ну, так и я с вами напьюсь. Пойдите мне на папироску принесите, а то я свой табак дома забыл.

Невеста вышла.

Это перед свадьбой... А что будет после свадьбы, я полагаю, известно не одним только пророкам да сомнамбулам.

ПЕТРОВ ДЕНЬ

Наступило утро желанного, давно снившегося дня, наступило — урааа, господа охотники!! — 29 июня... Наступил день, в который забываются долги, жучки, дорогие харчи, тещи и даже молодые жены, — день, в который г. уряднику, запрещающему стрелять, можно показать двадцать кукишей...

Побледнели и затуманились звезды... Кое-где слышались голоса... Из деревенских труб повалил сизый, едкий дым. На серой колокольне показался не совсем еще проснувшийся пономарь и ударил к обедне... Послышалось храпенье растянувшегося под деревом ночного сторожа. Проснулись щуры, закопошились, залетали с одного конца сада на другой и подняли свое невыносимое, надоедливое чириканье... В терновнике запела иволга... Над людской кухней засуетились скворцы и удоды. Начался даровой утренний концерт...

К развалившемуся, живописно обросшему колючей крапивой крыльцу дома отставного гвардии корнета Егора Егорыча Обтеперанского подъехали две тройки. В доме и во дворе поднялась страшная кутерьма. Все живущее вокруг Егора Егорыча заходило, забегало и застучало по всем лестницам, сараям и конюшням... Переменили одного коренного. У кучеров слетели с голов картузы, у лакея, Катькина прихвостня, засиял под носом красный фонарик, кухарок назвали «стервозами», слышалось имя сатаны и аггелов его... В пять

минут тарантасы наполнились коврами, полостями, кульками с провизией, ружейными чехлами.

— Готово-с! — пробасил Аввакум.

— Пожалуйте! Готово! — крикнул сладеньким голоском Егор Егорыч, и на крыльце показалась многочисленная публика. Первый вскочил в тарантас молодой доктор. За ним вполз архангельский мещанин Кузьма Больва, старичок в сапогах без каблуков, в рыжем цилиндре, с двадцатипятифунтовой двустволкой и с желто-зелеными пятнами на шее. Больва — плебей, но гг. помещики из уважения к его преклонным летам (он родился в конце прошлого столетия) и уменью попадать в подброшенный двугривенный не брезгают его плебейством и берут с собой на охоту.

— Пожалуйте, ваше превосходительство! — обратился Егор Егорыч к маленькому седому толстячку в белом со светлыми пуговицами кителе и с аннинским крестом на шее.— Подвиньтесь, доктор!

Отставной генерал крикнул, стал одной ногой на подножку и, поддерживаемый Егором Егорычем, толкнул животом доктора и грузно уселся возле Больвы. За генералом вскочили генеральский щенок Тщетный и легавый Егора Егорыча, Музыкант.

— М-м-м... того, братец... Ваня! — обратился генерал к своему племяннику, юноше-гимназисту с длинной одностволкой через спину.— Ты можешь сесть здесь, возле меня. Иди сюда! Н-да... Вот здесь. Не шали, мой друг! Лошадь может испугаться!

Пустив еще раз в нос коренному табачного дыма, Ваня вскочил в тарантас, отодвинул Больву от генерала и, повертевшись, сел. Егор Егорыч перекрестился и сел рядом с доктором. На козлах, рядом с Аввакумом, примостился длинный и сухой преподаватель математики и физики в Ваниной гимназии, г. Манже.

Первый тарантас наполнился. Началась нагрузка второго тарантаса.

— Готово! — крикнул Егор Егорыч, когда во второй тарантас, после долгих споров и беганья вокруг и около, поместились остальные восемь человек и три собаки.

— Готово! — крикнули гости.

— Ну? Итак, значит, трогать, ваше превосходительство? Господи, благослови,— трогай, Аввакумка!

Первый тарантас покачулся и тронулся с места. Второй, вмещавший в себе самых ярых охотников, покачулся, отчаянно скрипнул, взял немного в сторону и, очутившись впереди первого, покатил к воротам. Охотники улыбнулись все разом и захлопали от восторга в ладоши. Все почувствовали себя на седьмом небе, но... злая судьба!.. не успели они выехать со двора, как случился скандал...

— Стой! Подожди! Стой!!! — раздался сзади троек пронзительный тенор.

Охотники оглянулись и побледнели. За тройками гнался невыносимейший в мире человек, известный всей губернии скандалист, брат Егора Егорыча, отставной капитан 2-го ранга Михай Егорыч... Он отчаянно махал руками. Тройки остановились.

— Что тебе? — спросил Егор Егорыч.

Михай Егорыч подбежал к тарантасу, стал на подножку и замахнулся на Егора Егорыча. Охотники зашумели.

— Что такое? — спросил покрасневший Егор Егорыч.

— То такое,— закричал Михай Егорыч,— что ты Иуда, скотина, свинья!.. Свинья, ваше превосходительство! Ты отчего не разбудил меня? Отчего ты не разбудил меня, осел, я тебя спрашиваю, подлеца такого? Позвольте, господа... Я ничего... Я его только поучить хочу! Ты почему не разбудил меня? Не хочешь брать с собой? Я помешаю тебе? Напоил меня вчера вечером нарочно и думал, что я просплю до двенадцати часов! Каков молодец? Позвольте, ваше превосходительство... Я его только раз... смажу... Позвольте!

— Чего вы лезете? — крикнул генерал, растопыривая руки.— Разве не видите, что нет места? Вы уж слишком... позволяете...

— Напрасно ты бранишься, Михай! — сказал Егор Егорыч.— Я не разбудил тебя потому, что тебе незачем ехать с нами... Ты не умеешь стрелять. Зачем тебе ехать? Мешать? Ведь ты не умеешь стрелять.

— Не умею? Не умею я стрелять? — закричал Михай Егорыч так громко, что даже Больва заткнул уши.—

Но, в таком случае, за каким чертом доктор едет? Он тоже не умеет стрелять! Он лучше меня стреляет?

— Он прав, господа! — сказал доктор. — Я не умею стрелять, не умею ружья даже держать... Я терпеть не могу стрельбы... Я не знаю, зачем вы берете меня с собой... За каким дьяволом? Пусть он садится на мое место! Я остаюсь! Есть место, Михей Егорыч!

— Слышишь, слышишь? Зачем же ты его берешь?

Доктор поднялся с явным намерением вылезти из тарантаса. Егор Егорыч схватил доктора за фалду и потянул его вниз.

— Но... не рвите сюртука! Он тридцать рублей стоит... Пустите! И вообще, господа, я просил бы вас не беседовать со мной сегодня... Я не в духе и могу неприятностей наделать, сам того не желая. Пустите, Егор Егорыч! Садитесь на мое место, Михей Егорыч! Я спать пойду!

— Вы должны ехать, доктор! — сказал Егор Егорыч, не выпуская фалды. — Вы дали честное слово, что поедете!

— Это было вынужденное честное слово. Ну, для чего мне ехать, для чего?

— А для того, — запищал Михей Егорыч, — чтобы вы не остались с его женой! Вот для чего! Он ревнует к вам, доктор! Не езжайте, голубчик! Назло не езжайте! Ревнует, ей-богу ревнует!

Егор Егорыч густо покраснел и сжал кулаки.

— Эй, вы! — крикнули с другого тарантаса. — Михей Егорыч, будет вам ерундить! Идите сюда, нашлось место!

Михей Егорыч ехидно улыбнулся.

— А что, акула? — сказал он. — Чья взяла? Слышал? Нашлось место! Назло поеду! Поеду и буду мешать! Честное слово, буду мешать! Ни черта не убьешь! А вы, доктор, не езжайте. Пусть лопнет от ревности.

Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками. Глаза его налились кровью.

— Негодяй! — сказал он, обращаясь к брату. — Ты не брат мне! Недаром прокляла тебя матушка покойница! Батюшка скончался во цвете лет чрез твое безнравственное поведение!

— Господа...— вмешался генерал.— Я полагаю... достаточно. Братья, родные братья!

— Он родной осел, ваше превосходительство, а не брат! Не езжайте, доктор! Не езжайте!

— Трогай, чтобы черт побрал вас... А-а-а... Черт знает что такое! Трогай! — крикнул генерал и ударил кулаком в спину Аввакума.— Трогай!

Аввакум ударил по лошадям, и тройка тронулась с места. Во втором тарантасе писатель, капитан Кардамонов, взял себе на колени двух собак, а на их место усадил ретивого Михея Егорыча.

— Счастье его, что нашлось место! — сказал Михей Егорыч, усаживаясь в тарантасе,— а то бы я его... Опишите-ка этого разбойника, Кардамонов!

Кардамонов послал в прошлом году в «Ниву» статью под заглавием: «Интересный случай многоплодия среди крестьянского народонаселения», прочел в почтовом ящике неприятный для авторского самолюбия ответ, пожаловался соседям и прослыл писателем.

Согласно предначертанному плану действий, решено было ехать прежде всего на крестьянский сенокос, находящийся в семи верстах от имения Егора Егорыча,— ехать на перепелов. Приехавши на сенокос, охотники вылезли из тарантасов и разделились на две группы. Одна группа, имея во главе генерала и Егора Егорыча, направилась направо; другая, с Кардамоновым во главе, пошла налево. Большва отстал и пошел сам по себе. На охоте он любил тишину и молчание. Музыкант с лаем побежал вперед и через минуту согнал перепела. Ваня выстрелил и не попал.

— Высоко взял, черт возьми! — проворчал он.

Щенок Тщетный, взятый «приучаться», услышав первый раз в жизни выстрел, залаял и, поджав хвост, побежал к тарантасам. Манже выстрелил в жаворонка и попал.

— Нравится мне эта птичка! — сказал он, показывая доктору жаворонка.

— Проваливайте...— сказал тот.— Вообще я просил бы вас не беседовать со мною... Я сегодня не в духе. Отойдите от меня!

— Вы скептик, доктор.

— Я-то? Гм... А что значит скептик?

Манже задумался.

— Скептик — значит человеко... человеко... нелюбец, — сказал он.

— Врете. Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете. Отойдите от меня! Я могу наделать неприятностей, сам того не желая... Я не в духе...

Музыкант сделал стойку. Генерал и Егор Егорыч побледнели и притаили дыхание.

— Я выстрелю! — прошептал генерал. — Я... я... позвольте! Вы во второй раз уж того...

Но не удалась стойка. Доктор от нечего делать пустил камешком в Музыканта и попал между ушей... Музыкант взвизгнул и подскочил. Генерал и Егор Егорыч оглянулись. В траве послышался шорох, и взлетел крупный стрепет. Во второй группе зашумели и указали на стрепета. Генерал, Манже и Ваня прицелились. Ваня выстрелил, у Манже осеклось... Поздно было! Стрепет полетел за курган и опустился в рожь.

— Полагаю, доктор, что... не время теперь шутить! — обратился генерал к доктору. — Не время-с!

— А?

— Не время теперь шутить!

— Я не шучу.

— Неловко, доктор! — заметил Егор Егорыч.

— Не брали бы... Кто вас просил брать меня? Впрочем... не желаю объясняться... Я не в духе сегодня...

Манже убил другого жаворонка. Ваня согнал молодого грача, выстрелил и не попал.

— Высоко взял, черт возьми! — проворчал он.

Послышались два подряд выстрела: Больва уложил за курганом своей тяжелой двустволкой двух перепелов и положил их в карман. Егор Егорыч согнал перепела и выстрелил. Подстреленная перепелка упала в траву. Торжествующий Егор Егорыч поднял ее и поднес генералу.

— В крылышко, ваше превосходительство! Жива еще-с!

— Н-да... Жива... Надо предать скорой смерти.

Сказавши это, генерал поднес перепелку ко рту и клыками перегрыз ей горло. Манже убил третьего жаворонка. Музыкант сделал другую стойку. Генерал

сбросил с головы фуражку, навел ружье... «Пиль!» Взлетел крупный перепел, но... мерзавец доктор торчал как раз в области выстрела, почти перед дулом.

— Прочь! — крикнул генерал.

Доктор отскочил, генерал выстрелил, и, разумеется, дробь опоздала.

— Это низко, молодой человек! — крикнул генерал.

— Что такое? — спросил доктор.

— Вы мешаете! Черт вас просит мешать! По вашей милости я промахнулся! Черт знает что такое,— из рук вон!

— Да вы-то чего кричите? Пфф... не боюсь! Я генералов не боюсь, ваше превосходительство, а в особенности отставных. Потише, пожалуйста!

— Удивительный человек! Ходит и мешает, ходит и мешает,— ангел выйдет из терпения!

— Не кричите, пожалуйста, генерал! Кричите вот на Манже! Он, кстати, боится генералов. Хорошему охотнику никто не помешает. Скажите лучше, что стрелять не умеете!

— Довольно-с! Вам слово — вы мне десять... Ванечка, дай-ка сюда пороховницу! — обратился генерал к Ване.

— Для чего ты пригласил на охоту этого бурбона? — спросил доктор Егора Егорыча.

— Нельзя, брат! — ответил Егор Егорыч.— Нельзя было не взять. Ведь я ему того... восемь тысяч... Э-хе-хе, братец! Не будь этих проклятых долгов...

Егор Егорыч не договорил и махнул рукою.

— Правда, что ты ревнуешь?

Егор Егорыч отвернулся и прицелился в высоко летевшего коршуна.

— Ты его потерял, молокосос! — раздался громовый голос генерала.— Ты потерял его! Он сто рублей стоит, поросенок!

Егор Егорыч подошел к генералу и осведомился, в чем дело. Оказалось, что Ваня потерял генеральский патронташ. Начались поиски за патронташем, и охота была прервана. Поиски продолжались час с четвертью и увенчались успехом. Нашедши патронташ, охотники сели отдохнуть.

Во второй группе перепелиная охота была тоже не совсем удачна. В этой группе Михай Егорыч был тем же, чем доктор в первой, даже хуже. Он выбивал из рук ружья, бранился, бил собак, рассыпал порох, словом — выделял черт знает что... После неудачных выстрелов по перепелам Кардамонов со своими собаками погнался за молодым коршуном. Коршуна подстрелили и не нашли. Капитан 2-го ранга убил камнем суслика.

— Господа, давайте анатомировать суслика! — предложил письмоводитель предводителя дворянства Некричхвостов.

Охотники сели на траву, вынули перочинные ножи и занялись анатомией.

— Я в этом суслике ничего не нахожу, — сказал Некричхвостов, когда суслик был изрезан на мелкие кусочки. — Даже сердца нет. Вот кишки так есть. Знаете что, господа? Поедемте-ка на болота! Что мы тут можем убить? Перепела — не дичь; то ли дело кулички, бекасы... А? Едем!

Охотники поднялись и лениво направились к тарантасам. Приближаясь к тарантасам, они сделали залп по свойским голубям и убили одного.

— Ваше превосх... Егорыгорч! Ваше... Егорч... — закричала вторая группа, увидев отдыхающую первую. — Ау, ау!

Генерал и Егор Егорыч оглянулись. Вторая группа замахала фуражками.

— Зачем? — крикнул Егор Егорыч.

— Дело есть! Дрохву убили! Скорей сюда!

Первая группа дрохве не поверила, но к тарантасам пошла. Усевшись в тарантасы, охотники порешили оставить перепелов в покое и, согласно маршруту, проехать еще пять верст — к болотам.

— Я ужасно горяч на охоте, — обратился генерал к доктору, когда тройки отъехали версты на две от сенокоса. — Ужасно! Отца родного не пощажу. Уж вы того... извините старику!

— Гм...

— Каким добряком, шельмец, стал! — шепнул Егор Егорыч доктору на ухо. — Что значит мода пошла дочек

за докторов отдавать! Хитер его превосходительство! Хе-хе-хе...

— А просторней стало! — заметил Ваня.

— Да.

— Отчего бы это? Совсем просторно.

— Господа, а Больва где? — хватился Манже.

Охотники посмотрели друга на друга.

— Где Больва? — повторил Манже.

— Должно быть, на той тройке. Господа, — крикнул Егор Егорыч, — Больва с вами?

— Нету, нету! — крикнул Кардамонов.

Охотники задумались.

— Ну, черт с ним! — порешил генерал. — Не воротиться же за ним!

— Надо бы, ваше превосходительство, воротиться. Слаб уж очень. Без воды умрет. Не дойдет.

— Захочет, так дойдет.

— Умрет старичок. Ведь ему девяносто!

— Пустяки.

Подъехав к болотам, наши охотники вытянули физиономии... Болота были запружены охотниками, и вылезать из таранасов поэтому не стоило. Немного подумав, охотники порешили проехать еще пять верст, к казенным лесам.

— Кого же вы там стрелять будете? — спросил доктор.

— Дроздов, орлиц... Ну, тетеревов.

— Так-с. Ну, а что подельвают теперь мои несчастные больные? И зачем вы меня взяли с собой, Егор Егорыч? Эх!

Доктор вздохнул и почесал затылок. Подъехав к первому попавшемуся леску, охотники повывлезли из таранасов и начали совещаться: кому идти направо и кому налево?

— Знаете что, господа? — предложил Некричихвостов. — В силу того закона, так сказать, в некотором роде природы, что дичь от нас не уйдет... Гм... Дичь от нас не уйдет, господа! Давайте-ка прежде всего подкрепимся! Винца, водочки, икорки... балычка... Вот тут на травке! Вы какого мнения, доктор? Вам лучше это знать: вы — доктор. Ведь нужно подкрепиться?

Предложение Некричхвостова было принято. Аввакум и Фирс разостлали два ковра и разложили вокруг них кульки со свертками и бутылками. Егор Егорыч порезал колбасу, сыр, балык, Некричхвостов раскупорил бутылки, Манже нарезал хлеба... Охотники облизнулись и возлегли.

— Ну-с, ваше превосходительство! По маленькой... Охотники выпили и закусили. Доктор тотчас же налил себе другую и выпил. Ваня последовал его примеру.

— А ведь тут, надо полагать, и волки есть,— глубокомысленно заметил Кардамонов, поглядывая искоса на деревья.

Охотники подумали, поговорили и минут через десять порешили, что волков, надо полагать, нет.

— Ну-с? По другой? Пропустим-ка! Егор Егорыч, вы чего смотрите?

Выпили по другой.

— Молодой человек! — обратился Егор Егорыч к Ване.— Вы-то чего думаете?

Ваня замотал головой.

— Но при мне можешь,— сказал генерал.— Без меня не пей, но при мне... Выпей немножко!

Ваня налил рюмку и выпил.

— Ну-с? По третьей? Ваше превосходительство...

Выпили по третьей. Доктор выпил шестую.

— Молодой человек!

Ваня замотал головой.

— Пейте, Амфитеатров! — сказал покровительственным тоном Манже.

— При мне можешь, но без меня... Выпей немного!

Ваня выпил.

— Чего это небо сегодня такое синее? — спросил Кардамонов.

Охотники подумали, потолковали и через четверть часа порешили, что неизвестно, отчего это небо сегодня такое синее.

— Заяц... заяц... заяц!!! Держи!!!

За бугром показался заяц. За ним гнались две дворняги. Охотники повскакали и ухватились за ружья. Заяц пролетел мимо, помчался в лес, увлекая за собой дворняг, Музыканта и других собак. Тщетный подумал,

посмотрел подозрительно на генерала и тоже помчался за зайцем.

— Крупный!.. Вотегобы того... Как это мы... прозевали?

— Да. Чего же эта бутылка тут того... Это вы не выпили, ваше превосходительство? Э-э-э-э... Так вот вы как? Хо-ро-шо-с!

Выпили по четвертой. Доктор выпил девятую, с остервенением крикнул и отправился в лес. Выбрав самую широкую тень, он лег на травку, подложил под голову сюртук и тотчас же захрапел. Ваню развезло. Он выпил еще рюмочку, принялся за пиво, и в нем разыгралась душа. Он стал на колени и продекламировал двадцать стихов из Овидия.

Генерал заметил, что латинский язык очень похож на французский... Егор Егорыч согласился с ним и добавил, что при изучении французского языка необходимо знать похожий на него латинский. Манже не согласился с Егором Егорычем, заметив, что не место толковать там про языки, где сидит физико-математик и стоит так много бутылок, добавив, что ружье его прежде дорого стоило, что теперь нельзя найти хорошего ружья, что...

— По восьмой, господа?

— Не много ли будет?

— Ну-у-у! Что вы! Восемь — и много?! Вы, значит, не пили никогда!

Выпили по восьмой.

— Молодой человек!

Ваня замотал головой.

— Полно! Ну-ка, по-военному! Вы так хорошо стреляете...

— Выпейте, Амфитеатров! — сказал Манже.

— При мне пей, но без меня... Выпей немного!

Ваня отставил в сторону пиво и выпил еще рюмочку.

— По девятой, господа, а? Какого мнения? Терпеть не могу числа восемь. Восьмого числа у меня умер отец... Федор... то есть Иван... Егор Егорыч! Наливайте!

Выпили по девятой.

— Жарко однако.

— Да, жарко, но это не мешает нам выпить по десятой!

— Но...

— Плевать на жару! Докажем, господа, стихиям, что мы их не боимся! Молодой человек! Покажите-ка пример... Пристыдите вашего дядюшку! Не боимся ни хлада, ни жары...

Ваня выпил рюмочку. Охотники крикнули «ура» и последовали его примеру.

— Солнечный удар может приключиться,— сказал генерал.

— Не может.

— Не может... при нашем климате? Гм...

— Однако бывали же случаи... Мой крестный умер от солнечного удара...

— Вы, доктор, как думаете? Может ли при нашем климате удар приключиться... солнечный, а? Доктор!

Ответа не последовало.

— Вам не приходилось лечить, а? Мы про солнечный... Доктор! Где же доктор?

— Где доктор? Доктор!

Охотники посмотрели вокруг себя: доктора не было.

— Где же доктор? Исчезоша? Яко воск от лица огня! Ха-ха-ха...

— К Егоровой жене отправился! — ляпнул Михай Егорыч.

Егор Егорыч побледнел и уронил бутылку.

— К жене его отправился! — продолжал Михай Егорыч, кушая балык.

— Чего же вы врите? — спросил Манже.— Вы видели?

— Видел. Ехал мимо мужик на таратайке... ну, а он сел и уехал. Ей-богу. По одиннадцатой, господа?

Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками.

— Я спрашиваю: куда вы едете? — продолжал Михай Егорыч.— За клубникой, говорит. Рожки шлифовать. Я, говорит, уж наставил рожки, а теперь шлифовать еду. Прощайте, говорит, милый Михай Егорыч! Кланяйтесь, говорит, свояку Егору Егорычу! И этак еще глазом сделал. На здоровье... хе-хе-хе.

— Лошадей!! — крикнул Егор Егорыч и, покачиваясь, побежал к тарантасу.

— Скорей, а то опоздаешь! — крикнул Михай Егорыч.

Егор Егорыч втащил на козлы Аввакума, вскочил в тарантас и, погрозив охотникам кулаком, покатил домой...

— Что же все это значит, господа? — спросил генерал, когда скрылась с глаз белая фуражка Егора Егорыча. — Он уехал... На чем же, черт возьми, я уеду? Он на моем тарантасе уехал! То есть не на моем, а на том, на котором мне нужно уехать... Это странно... Гм... Дерзко с его стороны...

С Ваней сделалось дурно. Водка, смешанная с пивом, подействовала как рвотное... Нужно было везти Ваню домой. После пятнадцатой охотники порешили тройку уступить генералу, с тем только условием, чтобы он, приехавши домой, немедленно выслал свежих лошадей за остальной компанией.

Генерал стал прощаться.

— Передайте ему, господа, — сказал он, — что... что так делают одни только свиньи.

— Вы, ваше превосходительство, векселя его протестуйте! — посоветовал Михай Егорыч.

— А? Векселя? Нда-с... Пора уже ему... Нужно честь знать... Я ждал, ждал и наконец утомился ждать... Скажите ему, что протест... Прощайте, господа! Прощу ко мне! А он свинья-с!

Охотники простились с генералом и положили его в тарантас рядом с заболевшим Ваней.

— Трогай!

Ваня и генерал уехали.

После восемнадцатой охотники отправились в лес и, постреляв немного в цель, улеглись спать. Перед вечером приехали за ними генеральские лошади. Фирс вручил Михай Егорычу письмо с передачей «братцу». В этом письме была просьба, за неисполнение которой грозилось судебным приставом. После третьей (проснувшись, охотники повели новый счет) генеральские кучера уложили охотников в тарантасы и развезли их по домам.

Егор Егорыч, приехавши домой, был встречен Музыкантом и Тщетным, для которых заяц был только предлогом, чтобы удрать домой. Посмотрев грозно на свою

жену, Егор Егорыч принялся за поиски. Были обысканы все кладовые, шкафы, сундуки, комоды,— доктора не нашел Егор Егорыч. Он нашел другого: под жениной кроватью обрел он псаломщика Фортунатова...

Было уже темно, когда проснулся доктор... Поблуждав немного по лесу и вспомнивши, что он на охоте, доктор громко выругался и принялся аукать. Ответа на ауканье, разумеется, не последовало, и он порешил отправиться домой пешечком. Дорога была хорошая, безопасная, светлая. Двадцать четыре версты он отмахал в какие-нибудь четыре часа и к утру был уже в земской больнице. Побранившись всласть с фельдшерами, акушеркой и больными, он принялся сочинять огромное письмо к Егору Егорычу. В этом письме требовалось «объяснение неблагоприятных поступков», бранились ревнивые мужья и давалась клятва не ходить никогда более на охоту,— никогда! даже и двадцать девятого июня.

ТЕМПЕРАМЕНТЫ

По последним выводам науки

Сангвиник. Все впечатления действуют на него легко и быстро: отсюда, говорит Гуфеланд, происходит легкомыслие... В молодости он bébé¹ и Spitzbube². Грубит учителям, не стрижется, не бреется, носит очки и пачкает стены. Учится скверно, но курсы оканчивает. Родителей не почитает. Когда богат, франтит; будучи же убогим, живет по-свински. Спит до двенадцати часов, ложится в неопределенное время. Пишет с ошибками. Для любви одной природа его на свет произвела: только тем и занимается, что любит. Всегда не прочь нализаться до положения риз; напившись вечером до зеленых чертиков, утром встает как встрепанный, с чуть заметной тяжестью в голове, не нуждаясь в «*similia similibus curantur*»³. Женится нечаянно. Вечно воюет с тещей. С родней в ссоре. Врет напрапалую. Ужасно любит скандалы и любительские спектакли. В оркестре он — первая скрипка. Будучи легкомысленен, либерален, или вовсе никогда ничего не читает, или же читает запоем. Газеты любит и сам не прочь погазетничать. Почтовый ящик юмористических журналов выдуман исключительно для одних только сангвиников. Постоянен в своем непостоянстве. На службе он чиновник особых поручений или что-либо подобное. В гимназии преподает словесность. Редко дослуживается

¹ малыш (франц.).

² плутишка (нем.).

³ подобное излечивается подобным (лат.).

до действительного статского советника; дослужившись, делается флегматиком и иногда холериком. Шалопай, прохвосты и брандахлысты — сангвиники. Спать в одной комнате с сангвиником не рекомендуется: всю ночь анекдоты рассказывает, а за неимением анекдотов, ближних осуждает или врет. Умирает от болезней органов пищеварения и преждевременного истощения.

Женщина-сангвиник — самая сносная женщина, если она не глупа.

Холерик. Желчен и лицом желто-сер. Нос несколько крив, и глаза ворочаются в орбитах, как голодные волки в тесной клетке. Раздражителен. За укушение блохи или укол булавкой готов разорвать на клочки весь свет. Когда говорит, брызжет и показывает свои коричневые или очень белые зубы. Глубоко убежден, что зимой «черт знает как холодно», а летом «черт знает как жарко»... Ежедневно меняет кухарок. Обедая, чувствует себя очень скверно, потому что все бывает пережарено, пересолено... Большею частью холостяк, а если женат, то запирает жену на замок. Ревнив до чертиков. Шуток не понимает. Все терпеть не может. Газеты читает только для того, чтобы ругнуть газетчиков. Еще во чреве матери был убежден в том, что все газеты врут... Как муж и приятель — невозможен; как подчиненный — едва ли мыслим; как начальник — невыносим и весьма нежелателен. Нередко, к несчастью, он педагог; преподает математику и греческий язык. В одной комнате спать с ним не советую: всю ночь кашляет, харкает и громко бранит блох. Услышав ночью пение котов или петухов, кашляет и дребезжащим голосом посылает лакея на крышу поймать и во что бы то ни стало задушить певца. Умирает от чахотки или болезней печени.

Женщина-холерик — черт в юбке, крокодил.

Флегматик. Милый человек (я говорю, разумеется, не про англичанина, а про русского флегматика). Наружность самая обыкновенная, топорная. Вечно серьезен, потому что лень смеяться. Ест когда и что угодно, не пьет, потому что боится кондрашки, спит двадцать часов в сутки. Непременный член всевозможных комиссий, заседаний и экстренных собраний, на которых ничего не понимает, дремлет без зазрения совести и терпеливо

ожидает конца. Женится в тридцать лет при помощи дядюшек и тетушек. Самый удобный для женитьбы человек: на все согласен, не ропщет и покладист. Жену величает душенькой. Любит поросеночка с хреном, певчих, все кисленькое и холодок. Фраза «vanitas vanitatum et omnia vanitas»¹ (чепуха чепух и всяческая чепуха) выдумана флегматиком. Бывает болен только тогда, когда его избирают в присяжные заседатели. Завидев толстую бабу, крихтит, шевелит пальцами и старается улыбнуться. Выписывает «Ниву» и сердится, что в ней не раскрашивают картинок и не пишут смешного. Пишущих считает людьми умнейшими и в то же время вреднейшими. Жалует, что его детей не секут в гимназии, и сам иногда не прочь посечь. На службе счастлив. В оркестре он — контрабас, фагот, тромбон. В театре — кассир, лакей, суфлер и иногда *roue manger*² актер. Умирает от паралича или водянки.

Женщина-флегматик — это слезливая, пучеглазая, толстая, крупичатая, сдобная немка. Похожа на куль с мукой. Родится, чтобы со временем стать тещей. Быть тещей — ее идеал.

Меланхолик. Глаза серо-голубые, готовые прослезиться. На лбу и около носа морщинки. Рот несколько крив. Зубы черные. Склонен к ипохондрии. Вечно жалуется на боль под ложечкой, колотье в боку и плохое пищеварение. Любимое занятие — стоять перед зеркалом и рассматривать свой вялый язык. Думает, что слаб грудью и нервен, а потому ежедневно пьет вместо чая декокт и вместо водки — жизненный эликсир. С прискорбием и со слезами в голосе уведомляет своих ближних, что лавровишневые и валериановые капли ему уже не помогают... Полагает, что раз в неделю не мешало бы принимать слабительное. Давно уже порешил, что его не понимают доктора. Знахари, знахарки, шептуны, пьяные фельдшера, иногда повивальные бабки — первые его благодетели. Шубу надевает в сентябре, снимает в мае. В каждой собаке подозревает водобоязнь, а с тех пор, как его приятель сообщил ему, что кошка в состоянии задушить спящего человека, видит в кош-

¹ суета сует и всяческая суета (лат.).

² ради куска хлеба (франц.).

ках непримиримых врагов человечества. Духовное завещание у него давно уже готово. Божится и клянется, что ничего не пьет. Изредка пьет теплое пиво. Женится на сиротке. Тещу, если она у него есть, величает прекраснейшей и мудрейшей особой; наставления ее выслушивает молча, склонив голову набок; целовать ее пухлые, потные, пахнущие огуречным рассолом руки считает своей священнейшей обязанностью. Ведет деятельную переписку с дяденьками, тетеньками, крестной мамашей и друзьями детства. Газет не читает. Втихомолку читает Дебе и Жозана. Во время ветлянской чумы пять раз говел. Страдает слезотечением и кошмарами. На службе не особенно счастлив: далее помощника столоначальника не дотянет. Любит «Лучинушку». В оркестре он — флейта и виолончель. Вздыхает день и ночь, а потому спать с ним в одной комнате не советую. Предчувствует потопа, землетрясение, войну, конечное падение нравственности и собственную смерть от какой-нибудь ужасной болезни. Умирает от пороков сердца, лечения знахарей и зачастую от ипохондрии.

Женщина-меланхолик — невыносимейшее, беспокойнейшее существо. Как жена — доводит до оупения, до отчаяния и самоубийства. Тем только и хороша, что от нее избавиться нетрудно: дайте ей денег и спровадьте ее на богомолье.

Почтовый поезд номер такой-то мчится на всех парах от станции Веселый Трах-Тарарах до станции Спасайся, кто может! Локомотив свистит, шипит, пыхтит, сопит... Вагоны дрожат и своими неподмазанными колесами воют волками и кричат совами! На небе, на земле и в вагонах тьма... «Что-то будет, что-то будет!» — стучат дрожащие от старости лет вагоны... «Огого-гого-о-о!» — подхватывает локомотив... По вагонам вместе с карманолюбцами гуляют сквозные ветры. Страшно... Я высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые: скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска и станционных огней не видно... Тьма, тоска, мысль о смерти, воспоминания детства... Боже мой!

«Грешен!! — шепчу я. — Ох, как грешен!..»

Кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего, но все-таки ужасно... Я оборачиваюсь. Предо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и темно-серая блуза.

— Что вам угодно? — спрашиваю я его, ощупывая свои карманы.

— Ничего-с! Я в окно смотрю-с! — отвечает он, отдергивая руку и налегая мне на спину.

Слышен сильный пронзительный свист... Поезд начинает идти все тише и тише и наконец останавливается. Выхожу из вагона и иду к буфету выпить для храбрости. У буфета теснится публика и поездная бригада.

— Гм... Водка, а не горько! — говорит солидный обер-кондуктор, обращаясь к толстому господину. Толстый господин хочет что-то сказать и не может: поперек горла остановился у него годовалый бутерброд.

— Жиндаррр!!! Жиндаррр!!! — кричит кто-то на платформе таким голосом, каким во время дождя, до пота, кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры... Иду посмотреть, в чем дело... У одного из вагонов первого класса стоит господин с кокардой и указывает публике на свои ноги. С несчастного, в то время когда он спал, стащили сапоги и чулки...

— В чем же я поеду теперь? — кричит он. — Мне до Ррревели ехать! Вы должны смотреть!

Перед ним стоит жандарм и уверяет его, что «здесь кричать не приходится»... Иду в свой вагон № 224. В моем вагоне все то же: тьма, храп, табачный и сивушный запахи, пахнет русским духом. Возле меня храпит рыженький судебный следователь, едущий в Киев из Рязани... В двух-трех шагах от следователя дремлет хорошенькая... Крестьянин, в соломенной шляпе, сопит, пыхтит, переворачивается на все бока и не знает, куда положить свои длинные ноги... Кто-то в углу закусывает и чамкает во всеуслышание... Под скамьями спит богатырским сном народ. Скрипит дверь. Входят две сморщенные старушонки с котомками на спинах...

— Сядем сюда, мать моя! — говорит одна. — Темень-то какая! Искушение, да и только... Никак, наступила на кого... А где Пахом?

— Пахом? Ах, батюшти! Где ж это он? Ах, батюшти! Старушонка суетится, отворяет окно и осматривает платформу.

— Пахо-ом! — дребезжит она. — Где ты? Пахом! Мы тутотко!

— У меня беда-а! — кричит голос за окном. — В машину не пускают!

— Не пускают? Который это не пускает? Плюнь! Не может тебя никто не пустить, ежели у тебя настоящий билет есть!

— Билеты уже не продают! Касс заперли!

По платформе кто-то ведет лошадь. Топот и фыркание.

— Сдай назад! — кричит жандарм. — Куда лезешь? Чего скандалишь?

— Петровна! — стонет Пахом.

Петровна сбрасывает с себя узел, хватается в руки большой жестяной чайник и выбегает из вагона. Бьет второй звонок. Входит маленький кондуктор с черными усиками.

— Вы бы взяли билет! — обращается он к старцу, сидящему против меня. — Контролер здесь!

— Да? Гм... Это нехорошо... Какой?.. Князь?

— Ну... Князя сюда и палками не загонишь...

— Так кто же? С бородой?

— Да, с бородой...

— Ну, коли этот, то ничего. Он добрый человек.

— Как хотите.

— А много зайцев едет?

— Душ сорок будет.

— Ннно? Молллодцы! Ай да коммерсанты!

Сердце у меня сжимается. Я тоже зайцем еду. Я всегда езжу зайцем. На железных дорогах зайцами называются господа пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов. Хорошо, читатель, ездить зайцем! Зайцам полагается, по нигде еще не напечатанному тарифу, 75% уступки, им не нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет, с ними кондуктора вежливее и... все что хотите, одним словом!

— Чтоб я заплатил когда-нибудь и что-нибудь? — бормочет старец. — Да никогда! Я плачу кондуктору. У кондуктора меньше денег, чем у Полякова!

Дребезжит третий звонок.

— Ах, матушки! — хлопочет старушонка, — где ж это Петровна? Ведь вот уж и третий звонок! Наказанье божие... Осталась! Осталась, бедная... А вещи ее тут... Што с вещами-то делать, с сумочкой? Родимые мои, ведь она осталась!

Старушонка на минуту задумывается.

— Пущай с вещами остается! — говорит она и бросает сумочку Петровны в окно.

Едем к станции Халдеево, а по путеводителю Фрум—

Общая могила. Входят контролер и обер-кондуктор со свечой.

— Вашшш... билеты! — кричит обер-кондуктор.

— Ваш билет! — обращается контролер ко мне и к старцу.

Мы ежимся, сжимаемся, прячем руки и впиваемся глазами в ободряющее лицо обер-кондуктора.

— Получите! — говорит контролер своему спутнику и отходит. Мы спасены.

— Ваш билет! Ты! Ваш билет! — толкает обер-кондуктор спящего парня. Парень просыпается и вынимает из шапки желтый билетик.

— Куда же ты едешь? — говорит контролер, вертя между пальцами билет. — Ты не туда едешь!

— Ты, дуб, не туда едешь! — говорит обер-кондуктор. — Ты не на тот поезд сел, голова! Тебе нужно на Живодерово, а мы едем на Халдеево! Вааазьми! Вот не нужно быть никогда дураком!

Парень усиленно моргает глазами, тупо смотрит на улыбающуюся публику и начинает тереть рукавом глаза.

— Ты не плачь! — советует публика. — Ты лучше попроси! Такой здоровый болван, а ревешь! Женат небось, детей имеешь.

— Вашшш... билет!.. — обращается обер-кондуктор к косарю в цилиндре.

— Га?

— Вашшш... билеты! Поворачивайся!

— Билет? Нешто нужно?

— Билет!!!

— Понимаем... Огчего не дать, коли нужно? Дадим! — Косарь в цилиндре лезет за пазуху и со скоростью двух с половиною вершков в час вытаскивает оттуда засаленную бумагу и подает ее контролеру.

— Кого даешь! Это паспорт! Ты давай билет!

— Другого у меня билета нету! — говорит косарь, видимо встревоженный.

— Как же ты едешь, когда у тебя нет билета?

— Да я заплатил.

— Кому ты заплатил? Что врешь?

— Кондухтырю.

— Какому?

— А шут его знает какому! Кондухтырю, вот и все... Не бери, говорит, билета, мы тебя и так провезем... Ну, я и не взял...

— А вот мы с тобой на станции поговорим! Мадам, ваш билет!

Дверь скрипит, отворяется, и, ко всеобщему нашему удивлению, входит Петровна.

— Насилу, мать моя, нашла свой вагон... Кто их разберет, все одинаковые... А Пахома так и не пропустили, аспиды... Где моя сумочка?

— Гм... Искушение... Я тебе ее в окошко выбросила! Я думала, что ты осталась!

— Куда бросила?

— В окно... Кто ж тебя знал?

— Спасибо... Кто тебя просил? Ну да и ведьма, прости господи! Что теперь делать? Своей не бросила, паскуда... Морду бы свою ты лучше выбросила! Аааа... штоб тебе повылазило!

— Нужно будет со следующей станции телеграфировать! — советует смеющаяся публика.

Петровна начинает голосить и нечестиво браниться. Ее подруга держится за свою суму и также плачет. Входит кондуктор.

— Чьи веш-ш-ш... чи? — выкрикивает он, держа в руках вещи Петровны.

— Хоррошенькая! — шепчет мне мой vis-à-vis¹ старец, кивая на хорошенькую... — Г-м-м... хоррошенькая... Черт подери, хлороформу нет! Дал бы ей понюхать, да и целуй во все лопатки! Благо все спят...

Соломенная шляпа ворочается и во всеуслышание сердится на свои непослушные ноги.

— Ученые... — бормочет он. — Ученые... Небось против естества вещей и предметов не пойдешь... Ученые... гм... Небось не сделают так, штоб ноги можно было отвинчивать и привинчивать по произволению!

— Я тут ни при чем... Спросите товарища прокурора! — бредит мой сосед-следователь.

В дальнем углу два гимназиста, унтер-офицер и мо-

¹ сидящий напротив (франц.).

Лодой человек в синих очках при свете четырех папирос жарят в картеж.

Направо от меня сидит высокая барыня из породы «само собою разумеется». От нее разит пудрой и пачулями.

— Ах, что за прелесть эта дорога! — шепчет над ее ухом какой-то гусь, шепчет приторно до... до отворачивания, как-то французисто выговаривая буквы «г», «н» и «р». — Нигде так быстро и приятно не бывает сближение, как в дороге! Люблю тебя, дорога!

Поцелуй... Другой... Черт знает что! Хорошенькая просыпается, обводит глазами публику и... бессознательно кладет голову на плечо соседа, жреца Фемиды... а он, дурак, спит!!

Поезд останавливается. Полустанок. «Поезд стоит две минуты...» — бормочет сиплый, надтреснутый бас вне вагона. Проходят две минуты, проходят еще две... Проходят пять, десять, двадцать, а поезд все еще стоит. Что за черт? Выхожу из вагона и направляюсь к локомотиву.

— Иван Матвевич! Скоро ж ты, наконец? Черт! — кричит обер-кондуктор под локомотив.

Из-под локомотива выползает на брюхе машинист, красный, мокрый, с куском сажки на носу...

— У тебя есть бог или нет? — обращается он к обер-кондуктору. — Ты человек или нет? Что подгоняешь? Не видишь, что ли? Ааа... чтоб вам всем повылазило!.. Разве это локомотив? Это не локомотив, а тряпка! Не могу я везти на нем!

— Что же делать?

— Делай, что хочешь! Давай другой, а на этом не поеду! Да ты войди в положение...

Помощники машиниста бегают вокруг неисправного локомотива, стучат, кричат... Начальник станции в красной фуражке стоит возле и рассказывает своему помощнику анекдоты из пресветлого еврейского быта... Идет дождь... Направляюсь в вагон... Мимо мчится незнакомец в соломенной шляпе и темно-серой блузе... В его руках чемодан. Чемодан этот мой... Боже мой!

Изба Кузьмы Егорова, лавочника. Душно, жарко. Проклятые комары и мухи толпятся около глаз и ушей, надоедают... Облака табачного дыму, но пахнет не табаком, а соленой рыбой. В воздухе, на лицах, в пении комаров тоска.

Большой стол; на нем блюдечко с ореховой скорлупой, ножницы, баночка с зеленой мазью, картузы, пустые штофы. За столом восседают: сам Кузьма Егоров, староста, фельдшер Иванов, дьячок Феофан Манафуилов, бас Михайло, кум Парфентий Иванович и, приехавший из города в гости к тетке Анисье, жандарм Фортунатов. В почтительном отдалении от стола стоит сын Кузьмы Егорова, Серапион, служащий в городе в парикмахерской и теперь приехавший к отцу на праздники. Он чувствует себя очень неловко и дрожащей рукой теребит свои усики. Избу Кузьмы Егорова временно нанимают для медицинского «пункта», и теперь в передней ожидают расслабленные. Сейчас только привезли откуда-то бабу с поломанным ребром... Она лежит, стонет и ждет, когда наконец фельдшер обратит на нее свое благосклонное внимание. Под окнами толпится народ, пришедший посмотреть, как Кузьма Егоров своего сына пороть будет.

— Вы все говорите, что я вру, — говорит Серапион, — а потому я с вами говорить долго не намерен. Словами, папаша, в девятнадцатом столетии ничего не возьмешь, потому что теория, как вам самим неизвестно, без практики существовать не может.

— Молчи! — говорит строго Кузьма Егоров. — Материй ты не разводи, а говори нам толком: куда деньги мои девал?

— Деньги? Гм... Вы настолько умный человек, что сами должны понимать, что я ваших денег не трогал. Бумажки свои вы не для меня копите... Грешить нечего...

— Вы, Серапион Косьмич, будьте откровенны, — говорит дьячок. — Ведь мы вас для чего это спрашиваем? Мы вас убедить желаем, на путь наставить благой... Папашенька ваш ничего вам, кроме пользы вашей... И нас вот попросил... Вы откровенно... Кто не грешен? Вы взяли у вашего папаша двадцать пять рублей, что у них в комод лежали, или не вы?

Серапион сплевывает в сторону и молчит.

— Говори же! — кричит Кузьма Егоров и стучит кулаком о стол. — Говори: ты или не ты?

— Как вам угодно-с... Пускай...

— Пущай, — поправляет жандарм.

— Пущай, это я взял... Пущай! Только напрасно вы, папаша, на меня кричите! Стучать тоже не для чего. Как ни стучите, а стола сквозь землю не провалите. Денег ваших я никогда у вас не брал, а ежели брал когда-нибудь, то по надобности... Я живой человек, одушевленное имя существительное, и мне деньги нужны. Не камень!..

— Поди да заработай, коли деньги нужны, а меня обирать нечего. Ты у меня не один, у меня вас семь человек!

— Это я и без вашего наставления понимаю, только по слабости здоровья, как вам самим это известно, заработать, следовательно, не могу. А что вы меня сейчас куском хлеба попрекнули, так за это самое вы перед господом богом отвечать станете...

— Здоровьем слаб!.. Дело у тебя небольшое, знай себе стриги да стриги, а ты и от этого дела бегаешь.

— Какое у меня дело? Разве это дело? Это не дело, а одно только поползновение. И образование мое не такое, чтоб я этим делом мог существовать.

— Неправильно вы рассуждаете, Серапион Косьмич, — говорит дьячок. — Ваше дело почтенное, ум-

ственное, потому вы служите в губернском городе, стрижете и бреете людей умственных, благородных. Даже генералы, и те не чуждаются вашего ремесла.

— Про генералов, ежели угодно, я и сам могу вам объяснить.

Фельдшер Иванов слегка выпивши.

— По нашему медицинскому рассуждению, — говорит он, — ты скипидар и больше ничего.

— Мы вашу медицину понимаем... Кто, позвольте вас спросить, в прошлом годе пьяного плотника, вместо мертвого тела, чуть не вскрыл? Не проснись он, так вы бы ему живот распорол. А кто касторку вместе с конопляным маслом мешает?

— В медицине без этого нельзя.

— А кто Маланью на тот свет отправил? Вы дали ей слабительного, потом крепительного, а потом опять слабительного, она и не выдержала. Вам не людей лечить, а, извините, собак.

— Маланье царство небесное, — говорит Кузьма Егоров. — Ей царство небесное. Не она деньги взяла, не про нее и разговор... А вот ты скажи... Алене отнес?

— Гм... Алене!.. Постыдились бы хоть при духовенстве и при господине жандарме.

— А вот ты говори: ты взял деньги или не ты?

Староста вылезает из-за стола, зажигает о колено спичку и почтительно подносит ее к трубке жандарма.

— Ффф... — сердится жандарм. — Серы полный нос напустил!

Закурив трубку, жандарм встает из-за стола, подходит к Серапиону и, глядя на него со злобой и в упор, кричит пронзительным голосом:

— Ты кто таков? Ты что же это? Почему так? А? Что же это значит? Почему не отвечаешь? Неповиновение? Чужие деньги брать? Молчать! Отвечай! Говори! Отвечай!

— Ежели...

— Молчать!

— Ежели... Вы потише-с! Ежели... Не боюсь! Много вы об себе понимаете! А вы — дурак, больше ничего! Ежели папаше хочется меня на растерзание отдать, то я готов... Терзайте! Бейте!

— Молчать! Не ра-а-азговаривать! Знаю твои мысли! Ты вор? Кто таков? Молчать! Перед кем стоишь? Не рассуждать!

— Наказать-с необходимо,—говорит дьячок и вздыхает.— Ежели они не желают облегчить вину свою сознанием, то необходимо, Кузьма Егорыч, посечь. Так я полагаю: необходимо!

— Влепить! — говорит бас Михайло таким низким голосом, что все пугаются.

— В последний раз: ты или нет? — спрашивает Кузьма Егоров.

— Как вам угодно-с... Пущай... Терзайте! Я готов...

— Выпороть! — решает Кузьма Егоров и, побагровев, вылезает из-за стола.

Публика нависает на окна. Расслабленные толпятся у дверей и поднимают головы. Даже баба с переломленным ребром, и та поднимает голову...

— Ложись! — говорит Кузьма Егоров.

Серапион сбрасывает с себя пиджачок, крестится и со смирением ложится на скамью.

— Терзайте,—говорит он.

Кузьма Егоров снимает ремень, некоторое время глядит на публику, как бы выжидая, не поможет ли кто, потом начинает...

— Раз! Два! Три! — считает Михайло низким басом.— Восемь! Девять!

Дьячок стоит в углу и, опустив глазки, перелистывает книжку...

— Двадцать! Двадцать один!

— Довольно! — говорит Кузьма Егоров.

— Еще-с! — шепчет жандарм Фортунатов.— Еще! Еще! Так его!

— Я полагаю: необходимо еще немного! — говорит дьячок, отрываясь от книжки.

— И хоть бы пискнул! — удивляется публика.

Больные расступаются, и в комнату, треща накрахмаленными юбками, входит жена Кузьмы Егорова.

— Кузьма! — обращается она к мужу.— Что это у тебя за деньги я нашла в кармане? Это не те, что ты давеча искал?

— Они самые и есть... Вставай, Серапион! Нашлись деньги! Я положил их вчерась в карман и забыл...

— Еще-с! — бормочет Фортунатов. — Влепیتی! Так его!

— Нашлись деньги! Вставай!

Серапион поднимается, надевает пиджачок и садится за стол. Продолжительное молчание. Дьячок конфузится и сморкается в платочек.

— Ты извини, — бормочет Кузьма Егоров, обращаясь к сыну. — Ты не того... Черт же его знал, что они найдутся! Извини...

— Ничего-с. Нам не впервой-с... Не беспокойтесь. Я на всякие мучения всегда готов.

— Ты выпей... Перегорит...

Серапион выпивает, поднимает вверх свой синий носик и богатырем выходит из избы. А жандарм Фортунатов долго потом ходит по двору, красный, выпуча глаза, и говорит:

— Еще! Еще! Так его!

ЖЕНЫ АРТИСТОВ

Перевод... с португальского

Свободнейший гражданин столичного города Лиссабона, Альфонсо Зинзага, молодой романист, столь известный... только самому себе и подающий великие надежды... тоже самому себе, утомленный целодневным хождением по бульварам и редакциям и голодный, как самая голодная собака, пришел к себе домой. Обитал он в 147 номере гостиницы, известной в одном из его романов под именем гостиницы «Ядовитого лебедя». Вошедши в 147 номер, он окинул взглядом свое коротенькое, узенькое и невысокое жилище, покрутил носом и зажег свечу, после чего взорам его представилась умильная картина. Среди массы бумаг, книг, прошлогодних газет, ветхих стульев, сапог, халатов, кинжалов и колпаков, на маленькой, обитой сизым коленкором кушетке спала его хорошенькая жена, Амаранта. Умиленный Зинзага подошел к ней и, после некоторого размышления, дернул ее за руку. Она не проснулась. Он дернул ее за другую руку. Она глубоко вздохнула, но не проснулась. Он похлопал ее по плечу, постукал пальцем по ее мраморному лбу, потрогал за башмак, рванул за платье, чхнул на всю гостиницу, а она... даже и не пошевелилась.

«Вот спит-то! — подумал Зинзага. — Что за черт? Не приняла ли она яду? Моя неудача с последним романом могла сильно повлиять на нее...»

И Зинзага, сделав большие глаза, потряс кушетку. С Амаранты медленно сползла какая-то книга и, шелестя, шлепнулась об пол. Романист поднял книгу, раскрыл ее, взглянул и побледнел. Это была не какая-то

и отнюдь не какая-нибудь книга, а его последний роман, напечатанный на средства графа дон Барабанта-Алимонда, — роман «Колесование в Санкт-Московске со рока четырех двадцатиженцев», роман, как видите, из русской, значит самой интересной жизни, — и вдруг...

— Она уснула, читая мой роман!?! — прошептал Зинзага. — Какое неуважение к изданию графа Барабанта-Алимонда и к трудам Альфонсо Зинзаги, давшего ей славное имя Зинзаги!

— Женщина! — гаркнул Зинзага во все свое португальское горло и стукнул кулаком о край кушетки.

Амаранта глубоко вздохнула, открыла свои черные глаза и улыбнулась.

— Это ты, Альфонсо? — сказала она, протягивая руки.

— Да, это я!.. Ты спишь? Ты... спишь?.. — забормотал Альфонсо, садясь на дрябло-хилый стул. — Что ты делала перед тем, как уснула?

— Ходила к матери просить денег.

— А потом?

— Читала твой роман.

— И уснула? Говори! И уснула?

— И уснула... Ну, чего сердишься, Альфонсо?

— Я не сержусь, но мне кажется оскорбительным, что ты так легкомысленно относишься к тому, что если еще и не дало, то даст мне славу! Ты уснула, потому что читала мой роман! Я так понимаю этот сон!

— Полно, Альфонсо! Твой роман я читала с большим наслаждением... Я приковалась к твоему роману. Я... я... Меня особенно поразила сцена, где молодой писатель, Альфонсо Зензига, застреливается из пистолета...

— Это сцена не из этого романа, а из «Тысячи огней»!

— Да? Так какая же сцена поразила меня в этом романе? Ах, да... Я плакала на том месте, где русский маркиз Иван Иванович бросается из ее окна в реку... реку... Волгу.

— Ааааа... Гм!

— И утопает, благословляя виконтессу Ксению Петровну... Я была поражена...

— Почему же ты уснула, если была поражена?

— Мне так хотелось спать! Я ведь всю ночь прошлую не спала. Всю ночь напролет ты был так мил, что читал мне свой новый, хороший роман, а удовольствие слушать тебя я не могла променять на сон...

— Аааа... Гм! Понимаю. Дай мне есть!

— А разве ты еще не обедал?

— Нет.

— Ты же, уходя утром, сказал мне, что будешь сегодня обедать у редактора «Лиссабонских губернских ведомостей»?

— Да, я полагал, что мое стихотворение будет помещено в этих «Ведомостях», чтобы черт их взял!

— Неужели же не помещено?

— Нет...

— Это несчастие! С тех пор как я стала твоей, я всей душой ненавижу редакторов! И ты голоден?

— Голоден.

— Бедняжка Альфонсо! И денег у тебя нет?

— Гм... Что за вопрос?! Ничего нет поесть?

— Нет, мой друг! Мать меня только покормила, а денег мне не дала.

— Гм...

Стул затрещал. Зинзага поднялся и зашагал... Пошагав немного и подумав, он почувствовал сильнейшее желание во что бы то ни стало убедить себя в том, что голод есть малодушие, что человек создан для борьбы с природой, что не единым хлебом сыт будет человек, что тот не артист, кто не голоден, и т. д. и, наверное, убедил бы себя, если бы, размышляя, не вспомнил, что рядом с ним, в 148 номере «Ядовитого лебеда», обитает художник-жанрист, итальянец, Франческо-Бутронца, человек талантливый, кое-кому известный и, что так немаловажно под луной, обладающий умением, которого никогда не знал за собой Зинзага, — ежедневно обедать.

— Пойду к нему! — решил Зинзага и отправился к соседу.

Вошедши в 148 номер, Зинзага увидел сцену, которая привела его в восторг, как романиста, и ущемила за сердце, как голодного. Надежда пообедать в обществе

Франческо-Бутронца канула в воду, когда романист среди рамок, подрамников, безруких манекенов, мольбертов и стульев, увешанных полинялыми костюмами всех родов и веков, усмотрел своего друга, Франческо-Бутронца... Франческо-Бутронца, в шляпе à la Vandic и в костюме Петра Амьенского, стоял на табурете, неистово махал муштабелем и гремел. Он был более чем ужасен. Одна нога его стояла на табурете, другая на столе. Лицо его горело, глаза блестели, эспаньолка дрожала, волосы его стояли дыбом и каждую минуту, казалось, готовы были поднять его шляпу на воздух. В углу, прижавшись к статуе, изображающей безрукого, безносого, с большим угловатым отверстием на груди Аполлона, стояла жена горячего Франческо-Бутронца, немочка Каролина, и с ужасом смотрела на лампу. Она была бледна и дрожала всем телом.

— Варвары! — гремел Бутронца. — Вы не любите, а душите искусство, чтобы черт вас взял! И я мог жениться на тебе, немецкая холодная кровь?! И я мог, глупец, свободного, как ветер, человека, орла, серну, одним словом артиста, привязать к этому куску льда, сотканному из предрассудков и мелочей... Diabolo!!!¹ Ты — лед! Ты — деревянная, каменная говядина! Ты... ты дура! Плачь, несчастная, переваренная немецкая колбаса! Муж твой — артист, а не торгаш! Плачь, пивная бутылка! Это вы, Зинзага? Не уходите! Подождите! Я рад, что вы пришли... Посмотрите на эту женщину!

И Бутронца левой ногой указал на Каролину. Каролина заплакала.

— Полноте! — начал Зинзага. — Что вы ссоритесь, дон Бутронца? Что сделала вам донна Бутронца? Зачем вы доводите ее до слез? Вспомните вашу великую родину, дон Бутронца, вашу родину, страну, в которой поклонение красоте тесно связано с поклонением женщине! Вспомните!

— Я возмущен! — закричал Бутронца. — Вы войдите в мое положение! Я, как вам известно, принялся по предложению графа Барабанта-Алимонда за грандиозную картину... Граф просил меня изобразить ветхоза-

¹ Дьявол! (итал.)

ветную Сусанну... Я прошу ее, вот эту толстую немку, раздеться и стать мне на натуру, прошу с самого утра, ползаю на коленях, выхожу из себя, а она не хочет! Вы войдите в мое положение! Могу ли я писать без натуре?

— Я не могу! — зарыдала Каролина.— Ведь это неприлично!

— Видите? Видите? Это — оправдание, черт возьми!

— Я не могу! Честное слово, не могу! Велит мне раздеться, да еще стать у окошка...

— Мне так нужно! Я хочу изобразить при лунном свете! Лунный свет падает ей на грудь... Свет от факелов сбежавшихся фарисеев бьет ей в спину... Игра цветов! Я не могу иначе!

— Ради искусства, донна,— сказал Зинзага,— вы должны забыть не только стыдливость, но и все... чувства!..

— Не могу же я пересилить себя, дон Зинзага! Не могу же я стать у окна напоказ!

— Напоказ... Право, можно подумать, донна Бутронца, что вы боитесь глаз толпы, которая, так сказать, если смотреть на нее... Точка зрения искусства и разума, донна... такова, что...

И Зинзага сказал что-то такое, чего умному человеку нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать,— что-то весьма приличное, но крайне непонятное.

Каролина замахала руками и забегала по комнате, как бы боясь, чтобы ее насильно не раздели.

— Я мою его кисти, палитры и тряпки, я пачкаю свои платья о его картины, я хожу на уроки, чтобы прокормить его, я шью для него костюмы, я выношу запах конопляного масла, стою по целым дням на натуре, все делаю, но... голый? голый? — не могу!!!

— Я разведусь с тобой, рыжеволосая гарпигия! — крикнул Бутронца.

— Куда же мне деваться? — ахнула Каролина.— Дай мне денег, чтобы я могла доехать до Берлина, откуда ты увез меня, тогда и разведись!

— Хорошо! Кончу Сусанну и отправлю тебя в твою Пруссию, страну тараканов, испорченных колбас и трихины! — крикнул Бутронца, незаметно для самого себя толкая локтем в грудь Зинзагу.— Ты не можешь быть

моей женой, если не можешь жертвовать собою для искусства! Вввв... Ррр... Дьябло!

Каролина зарыдала, схватилась за голову и опустилась на стул.

— Что ты делаешь?! — заорал Бутронца. — Ты села на мою палитру!!

Каролина поднялась. Под ней действительно была палитра со свежеразведенными красками... О боги! Зачем я не художник? Будь я художником, я дал бы Португалии великую картину! Зинзага махнул рукой и выскочил из 148 номера, радуясь, что он не художник, и скорбя всем сердцем, что он романист, которому не удалось пообедать у художника.

У дверей 147 номера встретила его бледная, встревоженная, дрожащая жилица 113 номера, жена будущего артиста королевских театров, Петра Петрученца-Петрурио.

— Что с вами? — спросил ее Зинзага.

— Ах, дон Зинзага! У нас несчастье! Что мне делать? Мой Петр ушибся!

— Как ушибся?

— Учился падать и ударился виском о сундук.

— Несчастный!

— Он умирает! Что мне делать?

— К доктору, донна!

— Но он не хочет доктора! Он не верит в медицину, к тому же... он всем докторам должен.

— В таком случае, сходите в аптеку и купите свинцовой примочки. Эта примочка очень помогает при ушибах.

— А сколько стоит эта примочка?

— Дешево, очень дешево, донна.

— Благодарю вас. Вы всегда были хорошим другом моего Петра! У нас осталось еще немного денег, которые выручил он на любительском спектакле у графа Барабанта-Алимонда... Не знаю, хватит ли?.. Вы... вы не можете дать немного взаймы на эту оловянную примочку?

— Свинцовую, донна.

— Мы вам скоро отдадим.

— Не могу, донна. Я истратил свои последние деньги на покупку трех стоп бумаги.

— Прощайте!

— Будьте здоровы! — сказал Зинзага и поклонился.

Не успела отойти от него жена будущего артиста королевских театров, как он увидел перед собою жилищу 101 номера, супругу опереточного певца, будущего португальского Оффенбаха, виолончелиста и флейтиста Фердинанда Лай.

— Что вам угодно? — спросил он ее.

— Дон Зинзага, — сказала супруга певца и музыканта, ломая руки. — Будьте так любезны, уймите моего буяна! Вы друг его... Может быть, вам удастся остановить его. С самого утра бессовестный человек дерет горло и своим пением жить мне не дает! Ребенку спать нельзя, а меня он просто на клочки рвет своим баритоном! Ради бога, дон Зинзага! Мне соседей даже стыдно за него... Верите ли? И соседские дети не спят по его милости. Пойдемте, пожалуйста! Может быть, вам удастся унять его как-нибудь.

— К вашим услугам, донна!

Зинзага подал жене певца и музыканта руку и отправился в 101 номер. В 101 номере между кроватью, занимающею половину, и колыбелью, занимающею четверть номера, стоял пюпитр. На пюпитре лежали пожелтевшие ноты, а в ноты глядел будущий португальский Оффенбах и пел. Трудно было сразу понять, что и как он пел. Только по вспотевшему, красному лицу его и по впечатлению, которое производил он на свои и чужие уши, можно было догадаться, что он пел и ужасно, и мучительно, и с остервенением. Видно было, что он пел и в то же время страдал. Он отбивал правой ногой и кулаком такт, причем поднимал высоко руку и ногу, постоянно сбивал с пюпитра ноты, вытягивал шею, щурил глаза, кривил рот, бил кулаком себя по животу... В колыбели лежал маленький человек, который криком, визгом и писком аккомпанировал своему расходившемуся папаше.

— Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? — спросил Лая вошедший Зинзага.

Лай не слышал.

— Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? — повторил Зинзага.

— Уберите его отсюда! — пропел Лай и указал подбородком на колыбель.

— Что это вы разучиваете? — спросил Зинзага, стараясь перекричать Лая.— Что вы разу-чи-ва-ете?

Лай поперхнулся, замолк и уставил глаза на Зинзагу.

— Вам что угодно? — спросил он.

— Мне? Гм... Я... то есть... не пора ли вам отдохнуть?

— А вам какое дело?

— Но вы утомились, дон Лай! Что это вы разучиваете?

— Кантату, посвященную ее сиятельству графине Барабанта-Алимонда. Впрочем, вам какое дело?

— Но уже ночь... Пора, некоторым образом, спать...

— Я должен петь до десяти часов завтрашнего утра. Сон нам ничего не даст. Пусть спят те, кому угодно, а я для блага Португалии, а может быть и всего света, не должен спать.

— Но, мой друг,— вмешалась жена,— мне и ребенку нашему хочется спать! Ты так громко кричишь, что нет возможности не только спать, но даже сидеть в комнате!

— Коли захочешь, так заснешь!

Сказавши это, Лай ударил ногой такт и запел.

Зинзага заткнул уши и как сумасшедший выскочил из 101 номера. Пришедши в свой номер, он увидел умильную картину. Его Амаранта сидела за столом и переписывала начисто одну из его повестей. Из ее больших глаз капали на черновую тетрадку крупные слезы.

— Амаранта! — крикнул он, хватая жену за руку.— Неужели жалкий герой моей жалкой повести мог тронуть тебя до слез? Неужели, Амаранта?

— Нет, я плачу не над твоим героем...

— Чего же? — спросил разочарованный Зинзага.

— Моя подруга, жена твоего друга-скульптора, Софья Фердрабантеро-Неракруц-Розга, разбила статую, которую готовил ее муж для поднесения графу Барабанта-Алимонда, и... не перенесла горя мужа... Отравилась спичками!

— Несчастная... статуя! О жены, чтобы черт вас взял, вместе с вашими всезацепляющими шлейфами! Она отравилась? Черт возьми, тема для романа!!! Впро-

чем, мелка!.. Все смертно на этом свете, мой друг... Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, твоя подруга все одно должна была умереть... Утри свои слезы и лучше, чем плакать, выслушай меня...

— Тема для нового романа? — спросила тихо Амаранта.

— Да...

— Не лучше ли будет, мой друг, если я выслушаю тебя завтра утром? Утром мозги свежей как-то...

— Нет, сегодня выслушай. Завтра мне будет некогда. Приехал в Лиссабон русский писатель Державин, и мне нужно будет завтра утром сделать ему визит. Он приехал вместе с твоим любимым... к сожалению, любимым, Виктором Гюго.

— Да?

— Да... Выслушай же меня!

Зинзага сел против Амаранты, откинул назад голову и начал:

— Место действия весь свет... Португалия, Испания, Франция, Россия, Бразилия и так далее. Герой в Лиссабоне узнает из газет о несчастье с героиней в Нью-Йорке. Едет. Его хватают пираты, подкупленные агентами Бисмарка. Героиня — агент Франции. В газетах намеки... Англичане. Секта поляков в Австрии и цыган в Индии. Интриги. Герой в тюрьме. Его хотят подкупить. Понимаешь? Далее...

Зинзага говорил увлекательно, горячо, махая руками, сверкая глазами... говорил долго, долго... ужасно долго!

Амаранта два раза засыпала и два раза просыпалась, на улицах потушили фонари и взошло солнце, а он все говорил. Пробило шесть часов, желудок Амаранты ущемила тоска по утреннему чаю, а он все говорил.

— Бисмарк подает в отставку, и герой, не желая далее скрывать своего имени, называет себя Альфонсо Зунзуга и умирает в страшных муках. Тихий ангел уносит в голубое небо его тихую душу...

Так кончил Зинзага, когда пробило семь часов.

— Ну? — спросил он Амаранту. — Что скажешь? Не находишь ли ты, что сцену между Альфонсо и Марией не пропустит цензура? А?

— Нет, сценка мила!

— Вообще хорошо? Ты говори откровенно. Ты женщина, а большинство моих читателей — женщины, поэтому мне необходимо знать твое мнение.

— Как тебе сказать? Мне кажется, что я твоего героя где-то уже встречала, не помню только, где именно...

— Не может быть!

— Право. С твоим героем я встречалась в одном романе и, надо тебе сказать, в глупейшем романе! Когда читала этот роман, я удивлялась, как это могут печатать подобную чушь, а когда прочла его, то решила, что автор должен быть по меньшей мере глуп как пробка... Чушь печатают, а тебя мало печатают. Удивительно!

— Не припомнишь ли хотя название этого романа?

— Названия не помню, но имя героя помню... Это имя врезалось мне в памяти, потому что имеет в себе четыре «р» подряд... Глупое имя... Карррро!

— Не в романе ли «Сомнамбула среди океана»?

— Да, да, да, в этом самом. Как хорошо ты помнишь нашу литературу! В этом самом... Твой герой похож на Карррро, но твой, разумеется, умней. Что с тобой, Альфонсо?

Альфонсо вскочил.

— «Сомнамбула среди океана» — мой роман!!! — крикнул он.

Амаранта покраснела.

— Значит, это мой роман глупейший, мой? — крикнул он так громко, что даже у Амаранты заболело горло. — Ах ты, безмозглая утка! Так-то вы, сударыня, смотрите на мои произведения? Так-то, ослица? Проговорились? Больше меня уж вы не увидите! Прощайте! Гм... бррр... идиотка! Мой роман глупейший?! Граф Барабанта-Алимонда знал, что издавал!

Бросив презрительный взгляд на жену, Зинзага хлопучил на глаза шляпу, хлопнул дверью и вышел из 147 номера.

Амаранта вздохнула, но не заплакала и в обморок не упала. Она знала, что Альфонсо Зинзага воротится в 147 номер, как бы сильно ни был сердит... Оставить навсегда 147 номер для романиста значит то же самое,

что начать жить, а следовательно и писать и иметь даровую переписчицу на лиссабонских бульварах, под голубым португальским небом. Это знала Амаранта и не сильно волновалась по уходе супруга. Она только вздохнула и принялась утешать себя. Обыкновенно после частых ссор с мужем она утешала себя чтением старого газетного листка, который хранился у нее в жестяной коробочке из-под монпансье, рядом с крошечной бутылочкой из-под духов. Старый газетный листок между объявлениями, телеграммами, политикой, хроникой и другими рук человеческих делами заключал в себе перл, известный в газетах под именем смеси. В этой смеси, под рассказом о том, как американец перехитрил американца и как известная певица мисс Дубадолла Свист съела бочку устриц и прошла, не замочив ботинок, Анды, помещался рассказец, весьма годный для утешения Амаранты и других жен артистов. Привожу дословно этот рассказ:

«Вниманию португальцев и их дочерей. В одном из городов Америки, открытой Христофором Колумбом, человеком крайне энергичным и отважным, жил-был себе доктор Таннер. Этот Таннер был более артистом в своем роде, чем ученым, а потому известен земному шару и Португалии не как ученый, а как артист в своем роде. Будучи американцем, он в то же самое время был и человеком, а если он был человеком, то рано или поздно он должен был влюбиться, что и сделал он однажды. Влюбился он в одну прекрасную американку, влюбился до безумия, как артист, влюбился до того, что однажды вместо aquae distillatae¹ прописал argentum nitricum², влюбился, предложил руку и женился. Жил он с прекрасной американкой на первых порах весьма счастливо, так счастливо, что медовый месяц³ тянулся, вопреки естеству этого месяца, не месяц, а шесть месяцев⁴. Нет сомнения, что Таннер, бу-

¹ дистиллированной воды (лат.).

² ляпис (лат.).

³ Медовый месяц меньше лунного. Содержит он в себе 20 дней, 5 часов, 15 минут, 16 секунд. (Примеч. переводчика.)

⁴ Невероятно! (Примеч. переводчика.)

[3 и 4 примечания — А. П. Чехова.]

дучи человеком ученым, а следовательно и самым уживчивым, прожил бы с женой счастливо до самой могилы, если бы не усмотрел за нею одного страшного порока. Порок madame Таннер заключался в том, что она ела по-человечески. Этот порок жены кольнул Таннера в самое сердце. «Я перевоспитаю ее!» — задал он себе задачу и начал развивать m-me Таннер. Сперва отучил он ее завтракать и ужинать, потом чай пить. Через год после свадьбы m-me Таннер приготавлила к обеду уже не четыре, а только одно блюдо, через два же года после подписания свадебного контракта она умела уже довольствоваться баснословным количеством пищи. А именно, в одни сутки поедала и выпивала она следующее количество питательных веществ:

- 1 gr. солей.
- 5 gr. белковых веществ.
- 2 gr. жира.
- 7 gr. воды (дистиллированной).
- 1 $\frac{1}{23}$ gr. венгерского вина.

Итого — 16 $\frac{1}{23}$ гран.

Газов мы не считаем, потому что наука еще не в состоянии точно определять количества потребляемых нами газов. Таннер торжествовал, но не долго. На четвертый год его брачной жизни его начала терзать мысль, что m-me Таннер поедает много белковых веществ. Он еще с большей энергией принялся за дрессировку и, пожалуй, достиг бы сокращения 5 гран до одного или нуля, если бы не почувствовал, что он разлюбил свою жену. Будучи эстетиком, он не мог не разлюбить своей жены. M-me Таннер, вместо того чтобы до глубокой старости быть американской красавицей, вздумала ни с того ни с сего обратиться в подобие американской щепки, лишиться своих прекрасных форм и умственных способностей, чем и показала, что она хотя и годится еще для дальнейших дрессировок, но стала уже совершенно негодной для супружеской жизни.

Д-г Таннер потребовал развода. Явились в его дом ученые эксперты, осмотрели со всех сторон м-ше Таннер, посоветовали ей ехать на воды, делать гимнастику, прописали ей диету и нашли требование своего уважаемого коллеги вполне законным. Д-г Таннер дал своим коллегам-экспертам по доллару, угостил их хорошим завтраком, и... с этих пор Таннер живет в одном месте, а жена его в другом. Печальная история! Женщины, как часто вы бываете причиною несчастий великих людей. Женщины, не вы ли виновницы того, что великие люди очень часто не оставляют после себя потомства? Португальцы, на вашей совести лежит воспитание ваших дочерей! Не делайте из ваших дочерей разорительниц домашних очагов и гнезд!! Мы кончили. Завтрашний номер по случаю дня рождения редактора не выйдет. Португальцы! Кто из вас не взнес подписных денег сполна, тот пусть поспешит доплатить!»

— Бедная madame Таннер! — прошептала Амаранта, пробежав этот рассказ.— Бедная! Как она несчастлива! О, как я счастлива сравнительно с нею! Как я счастлива!

Амаранта, обрадованная тем, что есть на этом свете люди несчастнее ее, старательно сложила газетный лист, положила его в коробочку и, радуясь, что она не м-ше Таннер, разделась и легла спать.

Спала она до тех пор, пока не разбудил ее ужаснейший голод в лице Альфонсо Зинзаги.

— Я хочу есть! — сказал Зинзага.— Оденься, моя дорогая, и ступай к своей madge¹ за деньгами. А гро-роз: ² я извиняюсь перед тобой. Я был неправ. Я сейчас только узнал от русского писателя Державина, который приехал вместе с Лермантофф, другим русским писателем, что есть два романа, совершенно непохожие друг на друга и носящие одно и то же имя: «Сомнамбула среди океана». Иди, мой друг!

И Зинзага рассказал Амаранте, пока она одевалась, один случай, который он намерен описать, сказав между прочим, мимоходом, что описание этого, трогаю-

¹ матери (испанск.).

² Кстати (франц.).

щего за душу и тело, случая потребует у нее некоторой жертвы.

— Жертва, мой друг, будет невелика! — сказал он.— Ты должна будешь писать это описание под мою диктовку, что отнимет у тебя не более семи-восьми часов, и переписать его начисто и между прочим, этак мимоходом, изложить на бумаге и свое мнение относительно всех моих произведений... Ты женщина, а большинство моих читателей составляют женщины...

Зинзага немножко солгал. Не большинство, а всех его читателей составляла одна только женщина, потому что Амаранта была не «женщины», а только всего «женщина».

— Согласна?

— Да,— сказала тихо Амаранта, побледнела и упала без чувств на растрепанный, вечно валяющийся, пыльный энциклопедический словарь...

— Удивительный народ эти женщины! — воскликнул Зинзага.— Прав был я, когда назвал женщину в «Тысяче огней» существом, которое вечно будет загадкой и удивлением для рода человеческого! Малейшая радость способна повалить ее на пол! О, женские нравы!

И счастливый Зинзага опустил на колено перед несчастной Амарантой и поцеловал ее в лоб...

Такие-то дела, читательницы!

Знаете что, девицы и вдовы? Не выходите вы замуж за этих артистов! «Цур им и пек этим артистам!», как говорят хохлы. Лучше, девицы и вдовы, жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре, чем жить в самом лучшем номере «Ядовитого лебедя», с самым лучшим протеже графа Барабанта-Алимонда.

Право, лучше!

ГРЕШНИК ИЗ ТОЛЕДО

Перевод с испанского

«Кто укажет место, в котором находится теперь ведьма, именуемая себя Марией Спаланцо, или кто доставит ее в заседание судей живой или мертвой, тот получит отпущение грехов».

Это объявление было подписано епископом Барцелоны и четырьмя судьями в один из тех давно минувших дней, которые навсегда останутся неизгладимыми пятнами в истории Испании и, пожалуй, человечества.

Объявление прочла вся Барселона. Начались поиски. Было задержано шестьдесят женщин, походивших на искомую ведьму, были пытаемы ее родственники... Существовало смешное и в то же время глубокое убеждение, что ведьмы обладают способностью обращаться в кошек, собак или других животных и непременно в черных. Рассказывали, что очень часто охотник, отрезав лапу у нападавшего животного, уносил ее как трофей, но, открывая свою сумку, находил в ней только окровавленную руку, в которой узнавал руку своей жены. Жители Барцелоны убили всех черных кошек и собак, но не узнали в этих ненужных жертвах Марии Спаланцо.

Мария Спаланцо была дочерью одного крупного барцелонского торговца. Отец ее был французом; мать испанкой. От отца получила она в наследство галльскую беспечность и ту безграничную веселость, которая так привлекательна во француженках, от матери же — чисто испанское тело. Прекрасная, вечно веселая,

умная, посвятившая свою жизнь веселому испанскому ничегонеделанию и искусствам, она до двадцати лет не пролила ни одной слезы... Она была счастлива, как ребенок... В тот день, когда ей исполнилось ровно двадцать лет, она выходила замуж за известного всей Барселоне моряка Спаланцо, очень красивого и, как говорили, ученейшего испанца. Выходила она замуж по любви. Муж поклялся ей, что он убьет себя, если она не будет с ним счастлива. Он любил ее без памяти.

На второй день свадьбы участь ее была решена.

Под вечер отправилась она из дома мужа к матери и заблудилась. Барселона велика, и не всякая испанка сумеет указать вам кратчайшую дорогу от одного конца города до другого. Ей встретился молодой монах.

— Как пройти на улицу святого Марка? — обратилась она к монаху.

Монах остановился и, о чем-то думая, начал смотреть на нее... Солнце уже успело зайти. Взошла луна и бросала свои холодные лучи на прекрасное лицо Марии. Недаром поэты, воспевая женщин, упоминают о луне! При луне женщина во сто крат прекраснее. Прекрасные черные волосы Марии благодаря быстрой походке рассыпались по плечам и по глубоко дышавшей, вздымавшейся груди... Поддерживая на шее косынку, она обнажила руки до локтей...

— Клянусь кровью святого Януария, что ты ведьма! — сказал вдруг ни с того ни с сего молодой монах.

— Если бы ты не был монахом, то я подумала бы, что ты пьян! — сказала она.

— Ты ведьма!!

Монах сквозь зубы пробормотал какое-то заклинание.

— Где собака, которая бежала сейчас впереди меня? Собака эта обратилась в тебя! Я видел!.. Я знаю... Я не прожил еще и двадцати пяти лет, а уже уличил пятьдесят ведьм. Ты пятьдесят первая! Я — Августин...

Сказавши это, монах перекрестился, повернул назад и скрылся.

Мария знала Августина... Она многое слышала о нем от родителей... Она знала его как ревностнейшего истребителя ведьм и как автора одной ученой книги.

В этой книге он проклинал женщин и ненавидел мужчину за то, что тот родился от женщины. Пройдя полверсты, Мария еще раз встретила с Августином. Из ворот одного большого дома с длинной латинской надписью вышли четыре черные фигуры. Эти четыре фигуры пропустили ее мимо себя и последовали за ней. В одной из них она узнала того же Августина. Они проводили ее до самого дома.

Через три дня после встречи с Августином к Спаланцо явился человек в черном, с опухшим бритым лицом, по всем признакам судья. Этот человек приказал Спаланцо идти немедленно к епископу.

— Твоя жена ведьма! — объявил епископ Спаланцо. Спаланцо побледнел.

— Поблагодари бога! — продолжал епископ. — Человек, имеющий от бога драгоценный дар открывать в людях нечистого духа, открыл нам и тебе глаза. Видели, как она обратилась в черную собаку и как черная собака обратилась в твою жену...

— Она не ведьма, а... моя жена! — пробормотал ошеломленный Спаланцо.

— Она не может быть женою католика! Она жена сатаны! Неужели ты до сих пор не замечал, несчастный, что она не раз уже изменяла тебе для нечистого духа? Иди домой и приведи ее сейчас сюда...

Епископ был очень ученый человек. Слово «femina» производил он от двух слов: «fe» и «mipus», на том якобы законном основании, что женщина имеет меньше веры...

Спаланцо стал бледнее мертвеца. Он вышел из епископских покоев и схватил себя за голову. Где и кому сказать теперь, что Мария не ведьма? Кто не поверит тому, во что верят монахи? Теперь вся Барселона убеждена в том, что его жена ведьма! Вся! Нет ничего легче, как убедить в какой-нибудь небывальщине глупого человека, а испанцы все глупы!

— Нет народа глупее испанцев! — сказал когда-то Спаланцо его умирающий отец, лекарь. — Презирай испанцев и не верь в то, во что верят они!

Спаланцо верил в то, во что верят испанцы, но не поверил словам епископа. Он хорошо знал свою жену

и был убежден в том, что женщины делаются ведьмами только под старость...

— Тебя хотят монахи сжечь, Мария! — сказал он жене, пришедши домой от епископа. — Они говорят, что ты ведьма, и приказали мне привести тебя *туда*... Послушай, жена! Если ты на самом деле ведьма, то бог с тобой! — обратись в черную кошку и убеги куда-нибудь; если же в тебе нет нечистого духа, то я не отдам тебя монахам... Они наденут на тебя ошейник и не дадут тебе спать до тех пор, пока ты не наврешь на себя. Убегай же, если ты ведьма!

Мария в черную кошку не обратилась и не убежала... Она только заплакала и стала молиться богу.

— Послушай! — сказал Спаланцо плачущей жене. — Мой покойный отец говорил мне, что скоро настанет время, когда будут смеяться над теми, которые веруют в существование ведьм. Мой отец был безбожник, но всегда говорил правду. Нужно, значит, спрятаться куда-нибудь и выждать то время... Очень просто! В гавани починяется корабль моего брата Христофора. Я спрячу тебя в этот корабль, и ты не выйдешь из него до тех пор, пока не настанет время, о котором говорил мой отец... Время это, по его словам, настанет скоро...

Вечером Мария сидела уже на самом дне корабля и, дрожа от холода и страха, прислушивалась к шуму волн и с нетерпением ожидала того невозможного времени, о котором говорил отец Спаланцо.

— Где твоя жена? — спросил Спаланцо епископ.

— Она обратилась в черную кошку и бежала от меня! — соврал Спаланцо.

— Я ожидал, предвидел это! Но ничего. Мы найдем ее... Великий дар у Августина! О, чудный дар! Иди с миром и другой раз не женись на ведьмах! Были примеры, что нечистые духи переселялись из жен в мужей... В прошлом году я сжег одного благочестивого католика, который через прикосновение к нечистой женщине против воли отдал душу свою сатане... Ступай!

Мария долго просидела в корабле, Спаланцо посещал ее каждую ночь и приносил ей все необходимое. Просидела она месяц, другой, просидела третий, но не наступало желаемое время. Прав был отец Спаланцо,

но месяцев мало для предрассудков. Они живучи, как рыбы, и им нужны целые столетия... Мария привыкла к своему новому житью-бытью и уже начала посмеиваться над монахами, которых называла вóронами... Она прожила бы еще долго и, пожалуй, уплыла бы вместе с починенным кораблем, как говорил Христофор, в далекие страны, подальше от глупой Испании, если бы не случилось одного страшного, непоправимого несчастья.

Объявление епископа, ходившее по рукам барселонцев и наклеенное на всех площадях и рынках, попало и в руки Спаланцо. Спаланцо прочел это объявление и задумался. Его заняло отпущение грехов, обещанное в конце объявления.

— Хорошо бы получить отпущение грехов! — вздохнул Спаланцо.

Спаланцо считал себя страшным грешником. На его совести лежала масса таких грехов, за которые пошло на костер и умерло на пытке много католиков. В юности Спаланцо жил в Толедо. Толедо в то время был сборным пунктом магиков и волшебников... В XII и XIII столетиях там, больше чем где-либо в Европе, процветала математика. От математики в испанских городах до магии один только шаг... Спаланцо под руководством отца тоже занимался магией. Он вскрывал внутренности животных и собирал необыкновенные травы... Однажды он толоч что-то в железной ступе, и из ступы с страшным треском вышел нечистый дух в виде синеватого пламени. Жизнь в Толедо состояла сплошную из подобных грехов. Оставив Толедо после смерти отца, Спаланцо почувствовал вскоре страшные угрызения совести. Один старый, очень ученый монах-доктор сказал ему, что его грехи не простятся ему, если он не получит отпущения грехов за какой-нибудь недюжинный подвиг. За отпущение грехов Спаланцо готов был отдать все, лишь бы только освободить свою душу от воспоминаний о позорном толедском житье и избежать ада. Он отдал бы половину своего состояния, если бы тогда продавались в Испании индульгенции... Он отправился бы пешком в святые места, если бы его не удерживали его дела.

«Не будь я ее мужем, я выдал бы ее...» — подумал он, прочитав объявление епископа.

Мысль, что ему стоит только сказать одно слово, чтобы получить отпущение, застряла в его голове и не давала ему покоя ни днем, ни ночью... Он любил свою жену, сильно любил... Не будь этой любви, этой слабости, которую так презирают монахи и даже толедские доктора, пожалуй можно было бы... Он показал объявление брату Христофору...

— Я выдал бы ее,— сказал брат,— если бы она была ведьма и не была бы такой красивой... Отпущение вещь хорошая... Впрочем, мы не будем в убытке, если подождем смерти Марии и выдадим ее тем воронам мертвую... Пусть сожгут мертвую... Мертвым не больно. Она умрет, когда мы будем стары, а в старости-то нам и понадобится отпущение...

Сказавши это, Христофор захохотал и ударил брата по плечу.

— Я могу умереть раньше ее,— заметил Спаланцо.— Но, клянусь богом, я выдал бы ее, если бы не был ее мужем!

Через неделю после этой беседы Спаланцо ходил по палубе корабля и бормотал:

— О, если б она была мертвой! Живую я ее не выдам, нет! Но я выдал бы ее мертвой! Я обманул бы тех старых проклятых ворон и получил бы от них отпущение!

И глупый Спаланцо отравил свою бедную жену...

Труп Марии был отнесен Спаланцо в заседание судей и предан сожжению.

Спаланцо получил отпущение толедских грехов... Его простили за то, что он учился лечить людей и занимался наукой, которая впоследствии стала называться химией. Епископ похвалил его и подарил ему книгу собственного сочинения... В этой книге ученый епископ писал, что бесы чаще всего вселяются в женщин с черными волосами, потому что черные волосы имеют цвет бесов.

ЗАБЫЛ!!

Когда-то ловкий поручик, танцор и волокита, а ныне толстенный, коротенький и уже дважды разбитый параличом помещик, Иван Прохорыч Гауптвахтов, утомленный и замученный жениными покупками, зашел в большой музыкальный магазин купить нот.

— Здравствуйте-с!..— сказал он, входя в магазин.— Позвольте мне-с...

Маленький немец, стоявший за стойкой, вытянул ему навстречу свою шею и соорил на лице улыбающийся вопросительный знак.

— Что прикажете-с?

— Позвольте мне-с... Жарко! Климат такой, что ничего не поделаешь! Позвольте мне-с... Мммм... мне-е... Мм... Позвольте... Забыл!!

— Припомните-с!

Гауптвахтов положил верхнюю губу на нижнюю, сморщил в три погребели свой маленький лоб, поднял вверх глаза и задумался.

— Забыл!! Экая, прости господи, память демонская! Да вот... вот... Позвольте-с... Мм... Забыл!!

— Припомните-с...

— Говорил ей: запиши! Так нет... Почему она не написала? Не могу же я все помнить... Да, может быть, вы сами знаете? Пьеса заграничная, громко так играется... А?

— У нас так много, знаете ли, что...

— Ну да... Понятно! Мм... Мм... Дайте припомнить... Ну как же быть? А без пьесы и ехать нельзя; загрызет Надя, дочь то есть; играет ее без нот, знаете ли, неловко... не то выходит! Были у ней ноты, да я, признаться, нечаянно керосином их облил и, чтоб крику не было, за комод бросил... Не люблю бабьего крику! Велела купить... Ну да... Ффф... Какой кот важный!— И Гауптвахтов погладил большого серого кота, валявшегося на стойке... Кот замурлыкал и аппетитно потянулся.

— Славный... Сибирский, знать, подлец!.. Породистый, шельма... Это кот или кошка?

— Кот.

— Ну, чего глядишь? Рожа! Дурак! Тигра! Мышей ловишь? Мяу, мяу?.. Экая память анафемская!.. Жирный, шельмец! Котеночка у вас от него нельзя достать?

— Нет... Гм...

— А то бы я взял... Жена страсть как любит ихнего брата — котов!.. Как же быть теперь? Всю дорогу помнил, а теперь забыл... Потерял память, шабаш! Стар стал, прошло мое время... Помирать пора... Громко так играется, с фокусами, торжественно... Позвольте-с... Кгм... Спою, может быть...

— Спойте... одег... ¹ одег... или посвистайте!..

— Свистеть в комнате грех... Вон у нас Седельников свистел, свистел, да и просвистелся... Вы немец или француз?

— Немец.

— То-то я по облику замечаю... Хорошо, что не француз... Не люблю французов... Хрю, хрю, хрю... свинство! Во время войны мышей ели... Свистел в своей лавке от утра до вечера и просвистел всю свою бакалею в трубу! Весь в долгах теперь... И мне двести рублей должен... Я иногда певал себе под нос. Гм... Позвольте-с... Я спою... Стойте. Сейчас... Кгм... Кашель... В горле свербит...

Гауптвахтов, щелкнув три раза пальцами, закрыл глаза и запел фистулой:

¹ или (нем.),

— Тото-ти-то-том... Хо-хо-хо... У меня тенор... Дома я больше все дишкантом... Позвольте-с... Три-ра-ра... Кгррм... В зубах что-то застряло... Тьфу! Семечко... О-то-о-о-уу... Кгррм... Простудился, должно быть... Пива холодного выпил в биргалке... Тру-ру-ру... Все этак вверх... а потом, знаете ли, вниз, вниз. Заходит этак бочком, а потом берется верхняя нота, такая рассыпчатая... то-то-ти... рууу... Понимаете? А тут в это время басы берут: гу-гу-гу-туту... Понимаете?

— Не понимаю...

Кот посмотрел с удивлением на Гауптвахтова, засмеялся, должно быть, и лениво соскочил со стойки.

— Не понимаете? Жаль... Впрочем, я не так пою... Забыл совсем, экая досада!

— Вы сыграйте на рояле... Вы играете?

— Нет, не играю... Играл когда-то на скрипке на одной струне, да и то так... сдуру... Меня не учили... Брат мой Назар играет. Того учили... Француз Рокат, может быть знаете, Венедикт Францыч учил... Такой потешный французишка... Мы его Буонапартом дразнили. Сердился... «Я, говорит, не Буонапарт... Я республик Франце»... И рожа у него, по правде сказать, была республиканская... Совсем собачья рожа... Меня покойный мой родитель ничему не учил... Деда, говорил, твоего Иваном звали, и ты Иван, а потому ты должен быть подобен деду своему во всех своих поступках: на военную, прохвост! Пороху!! Нежностей, брат... брат... Я, брат... Я, брат, нежностей тебе не дозволяю! Дед, в некотором роде, кониной питался, и ты оной питайся! Седло под головы себе клади вместо подушки!.. Будет мне теперь дома! Заедят! Без нот и приезжать не велено... Прощайте-с, в таком случае! Извините за беспокойство!.. Сколько эта рояля стоит?

— Восемьсот рублей!

— Фу-фу-фу... Батюшки! Это называется: купи себе роялю и без штанов ходи! Хо-хо-хо! Восемьсот рублей!!! Губа не дура! Прощайте-с! Шпрехензи! Гебензи!..¹

¹ Говорите! Дайте! (нем.)

Обедал я, знаете ли, однажды у одного немца... После обеда спрашиваю я у одного господина, тоже немчуры, как сказать по-немецки: «Покорнейше вас благодарю за хлеб, за соль»? А он мне и говорит... и говорит... Позвольте-с!.. И говорит: «Их либе дих фон ганцен герцен!» А это что значит?

— Я... я люблю тебя, — перевел немец, стоявший за стойкой, — от всей сердца!

— Ну вот! Я подошел к хозяйской дочке да так прямо и сказал... С ней конфуз... Чуть до истерики дело не дошло... Комиссия!.. Прощайте-с! За дурной головой и ногам больно... Так и мне... С дурацкой памятью беда: раз двадцать сходишь! Будьте здоровы-с!

Гауптвахтов отворил осторожно дверь, вышел на улицу и, прошедши пять шагов, надел шляпу.

Он ругнул свою память и задумался...

Задумался он о том, как приедет он домой, как выскочат к нему навстречу жена, дочь, детишки... Жена осмотрит покупки, ругнет его, назовет каким-нибудь животным, ослом или быком... Детишки набросятся на сладости и начнут с остервенением портить свои уже попорченные желудки... Выйдет навстречу Надя в голубом платье с розовым галстуком и спросит: «Купил ноты?» Услышавши «нет», она ругнет своего старого отца, запрется в свою комнатку, разревется и не выйдет обедать... Потом выйдет из своей комнаты и, заплаканная, убитая горем, сядет за рояль. Сыграет сначала что-нибудь жалостное, пропоет что-нибудь, глотая слезы... Под вечер Надя станет веселей, и наконец, глубоко и в последний раз вздохнувши, она сыграет это любимое: то-то-ти-то-то...

Гауптвахтов треснул себя по лбу и как сумасшедший побежал обратно к магазину.

— То-то-ти-то-то, огого! — заголосил он, вбежав в магазин. — Вспомнил! Вот самое! То-то-ти-то-то!

— Ах... Ну, теперь понятно. Это рапсодия Листа, номер второй... Hongroise...¹

— Да, да, да... Лист, Лист! Побей меня бог, Лист!

¹ Венгерская (франц.).

Номер второй! Да, да, да... Голубчик! Оно самое и есть! Родненький!

— Да, Листа трудно спеть... Вам какую же, original¹ или facilité?²

— Какую-нибудь! Лишь бы номер второй, Лист! Бедовый этот Лист! То-то-ти-то... Ха-ха-ха! Насилу вспомнил! Точно так!

Немец достал с полки тетрадку, завернул ее с массой каталогов и объявлений и подал сверток просиявшему Гауптвахтову. Гауптвахтов заплатил восемьдесят пять копеек и вышел, посвистывая.

¹ оригинальную (как написано автором) (франц.).

² облегченную (франц.).

Детство. Кого бог дал, сына или дочь? Крестить скоро? Крупный мальчик! Не урони, мамка! Ах, ах! Упадет!! Зубки прорезались? Это у него золотуха? Возьмите у него кошку, а то она его оцарапает! Потяни дядю за ус! Так! Не плачь! Домовой идет! Он уже и ходить умеет! Унесите его отсюда, — он невежлив! Что он вам наделал?! Бедный сюртук! Ну, ничего, мы высушим! Чернила опрокинул! Спи, пузыры! Он уже говорит! Ах, какая радость! А ну-ка, скажи что-нибудь! Чуть извозчики не задавили!! Прогнать няньку! Не стой на сквозном ветре! Постыдитесь, можно ли бить такого маленького? Не плачь! Дайте ему пряника!

Отрочество. Иди-ка сюда, я тебя высеку! Где это ты себе нос разбил? Не беспокой мамашу! Ты не маленький! Не подходи к столу, тебе после! Читайте! Не знаешь? Пошел в угол! Единица! Не клади в карман гвоздей! Почему ты мамаша не слушаешься? Ешь как следует! Не ковырай в носу! Это ты ударил Митю? Пострел! Читайте мне «Демьянову уху»! Как будет именительный падеж множественного числа? Сложи и вычти! Вон из класса! Без обеда! Спать, пора! Уже девять часов! Он только при гостях шалит! Врешь! Причешись! Вон из-за стола! А ну-ка, покажи свои отметки! Уже порвал сапоги?! Стыдно реветь такому большому! Где это ты мундир запачкал? На вас не напасешься! Опять единица? Когда, наконец, я перестану тебя пороть? Если ты будешь курить, то я тебя из дома выгоню! Как будет превосходная степень от *facilis*? ¹

¹ легкий (*лат.*).

Facilissimus? Врете! Кто это вино выпил? Дети, обезьяну на двор привели! За что вы моего сына на второй год оставили?

Юношество. Тебе еще рано водку пить! Скажите о последовательности времен! Рано, рано, молодой человек! В ваши лета я еще ничего такого не знал! Ты еще боишься при отце курить? Ах, какой срам! Тебе кланялась Ниночка! Возьмемте Юлия Цезаря! Здесь ut consecutivum? ¹ Ах, душка! Оставьте, барин, а то я... папеньке скажу! Ну, ну... шельма! Bravo, у меня уже усы растут! Где? Это ты нарисовал, а не растут! У Nadine прелестный подбородок! Вы в каком теперь классе? Согласитесь же, папа, что мне нельзя не иметь карманных денег! Наташа? Знаю! Я был у нее! Так это ты? Ах ты, скромник! Дайте покурить! О, если б ты знал, как я ее люблю! Она божество! Кончу курс в гимназии и женюсь на ней! Не ваше дело, папан! Посвящаю вам свои стихи! Оставьте покурить! Я пьянею уже после трех рюмок! Bis! bis! Браааво! Неужели ты не читал Борна? Не косинус, а синус! Где тангенс? У Соньки плохие ноги! Можно поцеловать? Выпьем? Ураааа, кончил курс! Запишите за мной! Займите четвертую! Я женюсь, отец! Но я дал слово! Ты где ночевал?

Между 20 и 30 годами. Займите мне сто рублей! Какой факультет? Мне все одно! Почем лекция? Дешево однако! В «Стрельну» и обратно! Бис, бис! Сколько я вам должен? Завтра придете! Что сегодня в театре? О, если бы вы знали, как я вас люблю! Да или нет? Да? О моя прелесть! В шею! Челаэк! Вы херес пьете? Марья, дай-ка огуречного рассольцу! Редактор дома? У меня нет таланта? Странно! Чем же я жить буду? Займите пять рублей! В Salon! Господа, светает! Я ее бросил! Займите фрак! Желтого в угол! Я и так уже пьян! Умираю, доктор! Займи на лекарство! Чуть не умер!! Я похудел? К Яру, что ли? Стоит того! Дайте же работы! Пожалуйста! Эээ... да вы лентяй! Можно ли так опаздывать? Суть не в деньгах! Нет-с, в деньгах! Стреляюсь! Шабаш! Черт с ним со всем! Прощай, паскудная жизнь! Впрочем... нет! Это ты, Лиза? Песнь моя уже спета,

¹ глагольный оборот (лат.).

татан! Я уже отжил свое! Дайте мне место, дядя! Ma tante ¹, карета подана! Merci, mon oncle! ² Не правда ли, я изменился, mon oncle! Пересобачился? Ха-ха! Напишите эту бумагу! Жениться? Никогда! Она — увы! — замужем! Ваше превосходительство! Представь меня своей бабушке, Серж! Вы очаровательны, княжна! Стары? Полноте! Вы напрашиваетесь на комплименты! Позвольте мне кресло во второй ряд!

Между 30—50 годами. Сорвалось! Есть ваканция? Деять без козырей! Семь червей! Вам сдавать, дядюшка! Вы ужасны, доктор! У меня ожирение печени? Чуть! Как много берут эти доктора! А сколько за ней приданого? Теперь не любите, со временем полюбите! С законным браком! Не могу я, душа моя, не играть! Катар желудка? Сын или дочь? Весь в отца! Хе-хе-хе... не знал-с! Выиграл, душа моя! Опять, черт возьми, проиграл! Сына или дочь? Весь в... отца! Уверяю тебя, что я ее не знаю! Перестань ревновать! Едем, Фанни! Браслет? Шампанского! С чином! Merci! Что нужно делать, чтобы похудеть? Я лыс?! Не зудите, теща! Сына или дочь? Я пьян, Каролинхен! Дай я тебя поцелую, немочка! Опять этот каналья у жены! Сколько у вас детей? Помогите бедному человеку! Какая у вас дочь миленькая! В газетах, дьяволы, пропечатали!! Иди, я тебя высеку, скверный мальчишка! Это ты измял мой парик?

Старость. Едем на воды? Выходи за него, дочь моя! Глуп? Полно! Плохо пляшет, но ноги прелестны! Сто рублей за... поцелуй?! Ах ты, чертенок! Хе-хе-хе! Рябчика хочешь, девочка? Ты, сын, того... безнравствен! Вы забываетесь, молодой человек! Пст! пст! пст! Ллюблю музыку! Шям... Шям... панского! «Шута» читаешь? Хе-хе-хе! Внучатам конфеток несу! Сын мой хорош, но я был лучше! Где ты, то время? Я и тебя, Эмочка, в завещании не забыл! Ишь я какой! Папашка, дай часы! Водянка? Неужели? Царство небесное! Родня плачет? А к ней идет траур! От него пахнет! Мир праху твоему, честный труженик!

¹ Тетя (франц.).

² Благодарю, дядя! (франц.)

И СПОВЕДЬ, ИЛИ ОЛЯ, ЖЕНЯ, ЗОЯ

Письмо

Вы, та chère¹, мой дорогой, незабвенный друг, в своем милом письме спрашиваете меня, между прочим, почему я до сих пор не женат, несмотря на свои тридцать девять лет?

Моя дорогая! Я всей душой люблю семейную жизнь и не женат потому только, что каналье судьбе не угодно было, чтобы я женился. Жениться собирался я раз пятнадцать и не женился потому, что все на этом свете, в особенности же моя жизнь, подчиняется случаю, все зависит от него! Случай — деспот. Привожу несколько случаев, благодаря которым я до сих пор провожу свою жизнь в презренном одиночестве...

СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ

Было восхитительное июньское утро. Небо было чисто, как самая чистая берлинская лазурь. Солнце играло в реке и скользило своими лучами по росистой траве. Река и зелень, казалось, были осыпаны дорогими алмазами. Птицы пели, как по нотам... Мы шли по аллейке, усыпанной желтым песочком, и счастливыми грудями вдыхали в себя ароматы июньского утра. Деревья смотрели на нас так ласково, шептали нам что-то такое, должно быть, очень хорошее, нежное... Рука Оли Груздовской (которая теперь за сыном вашего исправника) покоилась на моей руке, и ее крошечный мизин.

¹ моя милая (*франц.*).

чик дрожал на моем большом пальце... Щечки ее горели, а глаза... О та chère, это были чудные глаза! Сколько прелести, правды, невинности, веселости, детской наивности светилось в этих голубых глазах! Я любовался ее белокурыми косами и маленькими следами, которые оставляли на песке ее крошечные ножки...

— Жизнь свою, Ольга Максимовна, посвятил я науке,— шептал я, боясь, чтобы ее мизинчик не сполз с моего большого пальца.— В будущем ожидает меня профессорская кафедра... На моей совести вопросы... научные... Жизнь трудовая, полная забот, высоких... как их... Ну, одним словом, я буду профессором... Я честен, Ольга Максимовна... Я не богат, но... Мне нужна подруга, которая бы своим присутствием... (Оля сконфузилась и опустила глазки; мизинчик задрожал) которая бы своим присутствием... Оля! Взгляните на небо! Оно чисто... но и жизнь моя так же чиста, беспредельна...

Не успел мой язык выкарабкаться из этой чуши, как Оля подняла голову, рванула от меня свою руку и захлопала в ладоши. Навстречу нам шли гуси и гусята. Оля подбежала к гусям и, звонко хохоча, протянула к ним свои ручки... О, что это были за ручки, та chère!

— Тер... тер... тер...— заговорили гуси, поднимая шею и искоса поглядывая на Олю.

— Гуся, гуся, гуся! — закричала Оля и протянула руку за гусенком.

Гусенок был умен не по летам. Он побежал от Олиной руки к своему папаше, очень большому и глупому гусаку, и, по-видимому, пожаловался ему. Гусак растопырил крылья. Шалунья Оля потянулась за другим гусенком. В это время случилось нечто ужасное. Гусак пригнул шею к земле и, шипя, как змея, грозно зашагал к Оле. Оля взвизгнула и побежала назад. Гусак за ней. Оля оглянулась, взвизгнула сильнее и побледнела. Ее красивое девичье личико исказилось ужасом и отчаянием. Казалось, что за ней гналось триста чертей.

Я поспешил к ней на помощь и ударил по голове гусака тростью. Негодяю-гусаку удалось-таки ущипнуть ее за кончик платья. Оля с большими глазами, с искаженным лицом, дрожа всем телом, упала мне на грудь...

— Какая вы трусиха! — сказал я.

— Побейте гуску! — сказала она и заплакала... Сколько не наивного, не детского, а идиотского было в этом испугавшемся личике! Не терплю, та chère, малодушная! Не могу вообразить себя женатым на малодушной, трусливой женщине!

Гусак испортил все дело... Успокоивши Олю, я ушел домой, и малодушное до идиотства личико застряло в моей голове... Оля потеряла для меня всю прелесть. Я отказался от нее.

случай другой

Вы, конечно, знаете, мой друг, что я писатель. Боги зажгли в моей груди священный огонь, и я считаю себя не вправе не браться за перо. Я жрец Аполлона... Все до единого биения сердца моего, все вздохи мои, короче — всего себя я отдал на алтарь муз. Я пишу, пишу, пишу... Отнимите у меня перо — и я помер. Вы смеетесь, не верите... Клянусь, что так!

Но вы, конечно, знаете, та chère, что земной шар — плохое место для искусства. Земля велика и обильна, но писателю жить в ней негде. Писатель — это вечный сирота, изгнанник, козел отпущения, незащитное дитя... Человечество разделяю я на две части: на писателей и завистников. Первые пишут, а вторые умирают от зависти и строят разные пакости первым. Я погиб, погибаю и буду погибать от завистников. Они испортили мою жизнь. Они забрали в руки бразды правления в писательском деле, именуют себя редакторами, издателями и всеми силами стараются утопить нашу братию. Проклятие им!

Слушайте...

Некоторое время я ухаживал за Женей Пшиковой. Вы, конечно, помните это милое, черноволосое, мечтательное дитя... Она теперь замужем за вашим соседом Карлом Ивановичем Ванце (à propos: по-немецки Ванце значит... клоп. Не говорите этого Жене, она обидится). Женя любила во мне писателя. Она так же глубоко, как и я, верила в мое назначение. Она жила моими надеждами. Но она была молода! Она не могла понимать еще упомянутого разделения человечества на

две части! Она не верила в это разделение! Не верила, и мы в один прекрасный день... погибли.

Я жил на даче у Пшиковых. Меня считали женихом, Женю — невестой. Я писал — она читала. Что это за критик, та сhège. Она была справедлива, как Аристид, и строга, как Катон. Произведения свои посвящал я ей... Одно из этих произведений сильно понравилось Жене. Женя захотела видеть его в печати. Я послал его в один из юмористических журналов. Послал первого июля и ответа ожидал через две недели. Наступило пятнадцатое июля. Мы с Женей получили желанный номер. Поспешно распечатали его и прочли в почтовом ящике ответ. Она покраснела, я побледнел. В почтовом ящике напечатано было по моему адресу следующее: «Село Шлендово. Г. М. Б — у. Таланта у вас ни капельки. Черт знает что нагородили! Не тратьте марок понапрасну и оставьте нас в покое. Займитесь чем-нибудь другим».

Ну, и глупо... Сейчас видно, что дураки писали.

— Ммммм... — промычала Женя.

— Как-кие мерр-зав-цы!!! — пробормотал я. — Как-ково? И вы, Евгения Марковна, станете теперь улыбаться моему разделению?

Женя задумалась и зевнула.

— Что ж? — сказала она, — может быть, у вас и на самом-таки деле нет таланта! Им это лучше знать. В прошлом году Федор Федосеевич со мной целое лето рыбу удил, а вы все пишете, пишете... Как это скучно!..

Каково? И это после бессонных ночей, проведенных вместе над писаньем и читаньем! После обоюдного жертвоприношения музам... А?

Женя охладела к моему писательству, а следовательно и ко мне. Мы разошлись. Иначе и быть не могло...

СЛУЧАЙ ТРЕТИЙ

Вы, конечно, знаете, мой незабвенный друг, что я страшно люблю музыку. Музыка моя страсть, стихия... Имена Моцарта, Бетховена, Шопена, Мендельсона, Гуно — имена не людей, а гигантов! Я люблю классиче-

скую музыку. Оперетку я отрицаю, как отрицаю водевиль. Я один из постояннейших посетителей оперы. Хохлов, Кочетова, Барцал, Усатов, Корсов... дивные люди! Как я жалею, что я незнаком с певцами! Будь я знаком с ними, я в благодарностях излил бы пред ними свою душу. В прошлую зиму я особенно часто ходил на оперу. Ходил я не один, а с семейством Пепсиновых. Жаль, что вы незнакомы с этим милым семейством! Пепсиновы каждую зиму абонируют ложу. Они преданы музыке всей душой... Украшением этого милого семейства служит дочь полковника Пепсинова — Зоя. Что за девушка, моя дорогая! Одни ее розовые губки способны свести с ума такого человека, как я! Стройна, красива, умна... Я любил ее... Любил бешено, страстно, ужасно! Кровь моя кипела, когда я сидел с нею рядом. Вы улыбаетесь, та снѣге... Улыбайтесь! Вам незнакома, чужда любовь писателя... Любовь писателя — Этна плюс Везувий. Зоя любила меня. Ее глаза всегда покоились на моих глазах, которые постоянно были устремлены на ее глаза... Мы были счастливы... До свадьбы был один только шаг...

Но мы погибли.

Давали «Фауста». «Фауста», моя дорогая, написал Гуно, а Гуно — величайший музыкант. Идя в театр, я порешил дорогой объяснить с Зоей в любви во время первого действия, которого я не понимаю... Великий Гуно напрасно написал первое действие!

Спектакль начался. Я и Зоя уединились в фойе. Она сидела возле меня и, дрожа от ожидания и счастья, машинально играла веером. При вечернем освещении, та снѣге, она прекрасна, ужасно прекрасна!

— Увертюра, — объяснялся я в любви, — навела меня на некоторые размышления, Зоя Егоровна... Столько чувства, столько... Слушаешь и жаждешь... Жаждешь чего-то такого и слушаешь...

Я икнул и продолжал:

— Чего-то такого особенного. Жаждешь неземного... Любви? Страсти? Да, должно быть... любви... (Я икнул.) Да, любви...

Зоя улыбнулась, сконфузилась и усиленно замахала веером. Я икнул. Терпеть не могу икоты!

— Зоя Егоровна! Скажите, умоляю вас! Вам знакомо это чувство? (Я икнул.) Зоя Егоровна! Я жду ответа!

— Я... я... вас не понимаю...

— На меня напала икота... Пройдет... Я говорю о том всеобъемлющем чувстве, которое... Черт знает что!

— Вы выпейте воды!

«Объяснюсь, да тогда уж и схожу в буфет», — подумал я и продолжал: — Скажу коротко. Зоя Егоровна... Вы, конечно, уж заметили...

Я икнул и с досады на икоту укусил себя за язык.

— Вы, конечно, заметили (я икнул)... Вы меня знаете около года... Гм... Я честный человек, Зоя Егоровна! Я труженик! Я не богат, это правда, но...

Я икнул и вскочил.

— Вы выпейте воды! — посоветовала Зоя.

Я сделал несколько шагов около дивана, подавил себе пальцем горло и опять икнул. Ма сèге, я был в ужаснейшем положении! Зоя поднялась и направилась к ложе. Я за ней. Впуская ее в ложу, я икнул и побежал в буфет. Выпил я воды стаканов пять, и икота как будто бы немножко утихла. Я выкурил папиросу и отправился в ложу. Брат Зои поднялся и уступил мне свое место, место около моей Зои. Я сел и тотчас же... икнул. Прошло минут пять — я икнул, икнул как-то особенно, с хрипом. Я поднялся и стал у дверей ложи. Лучше, та сèге, икать у дверей, чем над ухом любимой женщины! Икнул. Гимназист из соседней ложи посмотрел на меня и громко засмеялся... С каким наслаждением он, каналья, засмеялся! С каким наслаждением я оторвал бы ухо с корнем у этого молокососа-мерзавца! Смеется в то время, когда на сцене поют великого «Фауста»! Кошунство! Нет, та сèге, когда мы были детьми, мы были много лучше. Кляня дерзкого гимназиста, я еще раз икнул... В соседних ложах засмеялись.

— Bis! — прошипел гимназист.

— Черт знает что! — пробормотал полковник Пепинов мне на ухо. — Могли бы и дома поикать, сударь!

Зоя покраснела. Я еще раз икнул и, бешено стиснув кулаки, выбежал из ложи. Начал я ходить по коридору. Хожу, хожу, хожу — и все икаю. Чего я только не ел, чего не пил! В начале четвертого акта я плюнул и

уехал домой. Приехавши домой, я, как назло, перестал икать... Я ударил себя по затылку и воскликнул:

— Икай теперь! Теперь можешь икать, освистанный жених! Нет, ты не освистанный! Ты не освистал себя, а... обыкал!

На другой день отправился я, по обыкновению, к Пепсиновым. Зоя не вышла обедать и велела передать мне, что видеться со мною по болезни не может, а Пепсинов тянул речь о том, что некоторые молодые люди не умеют держать себя прилично в обществе... Болван! Он не знает того, что органы, производящие икоту, не находятся в зависимости от волевых стимулов. Стимул, та сhère, значит двигатель.

— Вы отдали бы свою дочь, если бы таковая имелась у вас, — обратился ко мне Пепсинов после обеда, — за человека, который позволяет себе в обществе заниматься отрыжкой? А? Что-с?

— Отдал бы... — пробормотал я.

— Напрасно-с!

Зоя для меня погибла. Она не сумела простить мне икоты. Я погиб.

Не описать ли вам еще и остальные двенадцать случаев?

Описал бы, но... довольно! Жилы надулись на моих висках, слезы брызжут, и ворочается печень... Братья писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое! Позвольте, та сhère, пожелать вам всего лучшего! Жму вашу руку и шлю поклон вашему Полю. Он, я слышал, хороший муж и хороший отец... Хвала ему! Жаль только, что он пьет горькую (это не упрек, та сhère!). Будьте здоровы, та сhère, счастливы и не забывайте, что у вас есть покорнейший слуга

Макар Балдастов.

ЗЕЛЕНАЯ КОСА

Маленький роман

ГЛАВА I

На берегу Черного моря, на местечке, которое в моем дневнике и в дневниках моих героев и героинь значится «Зеленой Косой», стоит прелестная дача. С точки зрения архитектора, любителей всего строгого, законченного, имеющего стиль, может быть эта дача никуда не годится, но с точки зрения поэта, художника она дивная прелесть. Она мне нравится за свою смиренную красоту, за то, что она своей красотой не давит окружающей красоты, за то, что от нее не веет ни холодом мрамора, ни важностью колонн. Она глядит приветливо, тепло, романтично... Из-за стройных, серебристых тополей, со своими башенками, шпицами, зазубринами, шестами, выглядывает она чем-то средневековым. Когда смотрю на нее, я припоминаю сентиментальные немецкие романы с их рыцарями, замками, докторами философии, с таинственными графинями... Эта дача стоит на горе; вокруг дачи густой-прегустой сад с аллеями, фонтанчиками, оранжереями, а внизу, под горой — суровое голубое море... Воздух, сквозь который то и дело пробегает влажный кокетливый ветерок, всевозможные птичьи голоса, вечно ясное небо, прозрачная вода — чудное местечко!

Хозяйка дачи — жена не то грузина, не то черкескнязька, Марья Егоровна Микшадзе, дама лет пятидесяти, высокая, полная и во время оно несомненно слышавшая красавицей. Дама она добрая, милая, гостеприим-

ная, но слишком уж строгая. Впрочем, не строгая, а капризная... Она нас отлично кормила, превосходно поила, занимала нас во все лопатки деньги и в то же время ужасно терзала. Этикет — ее конек. Что она жена князя — это ее другой конек. Катаясь на этих двух коньках, она вечно и ужасно пересаливает. Она никогда, например, не улыбается, вероятно потому, что считает это для себя и вообще для *grandes-dames*¹ неприличным. Кто моложе ее хоть на один год, тот молокосос. Знатность, по ее мнению, — добродетель, перед которой все остальное — самая ерундистая чепуха. Она враг ветрености и легкомыслия, любит молчание и т. д. и т. д. Иногда мы едва умели выносить эту барыню. Если бы не дочь ее, то, пожалуй, едва ли мы услаждали бы себя теперь воспоминаниями о Зеленой Косе. Хорошая женщина составляет самое серое пятно в наших воспоминаниях. Украшение Зеленой Косы — дочь Марьи Егоровны, Оля. Оля — маленькая, стройная, хорошенькая блондиночка лет девятнадцати. Она бойка и не глупа. Хорошо рисует, занимается ботаникой, отлично говорит по-французски, плохо по-немецки, много читает и пляшет, как сама Терпсихора. Музыке училась в консерватории и играет очень недурно. Мы, мужчины, любили эту голубоглазую девочку, не «влюбились», а любили. Она для нас всех была что-то родное, свое... Зеленая Коса без нее для нас невысказана. Без нее поэзия Зеленой Косы была бы неполной. Она — хорошенькая женская фигурка на прелестном ландшафте, а я не люблю картин без людских фигур. Плеск моря и шепот деревьев сами по себе хороши, но если к ним присоединяется еще сопрано Оли с аккомпанементом наших басов, теноров и рояля, то море и сад делаются земным раем... Мы любили княжну; иначе и быть не могло. Мы величали ее дочерью нашего полка. И Оля любила нас. Она тяготела к нашей мужской компании и только среди нас чувствовала себя в своей родной стихии. Когда нас не было возле нее, она худела и переставала петь. Наша компания состоит из гостей, летних обитателей Зеленой Косы, и соседей. К первым принадлежат:

¹ благородных дам (франц.).

доктор Яковкин, одесский газетчик Мухин, магистр физики (ныне доцент) Фивейский, три студента, художник Чехов, один харьковский барон-юрист и я, бывший репетитор Оли (научивший ее плохо говорить по-немецки и ловить щеглят). Мы ежегодно в мае съезжались на Зеленой Косе и захватывали на целое лето лишние комнаты средневекового замка и все флигеля. Каждый март нас приглашали на Зеленую Косу два письма: одно важное, строгое, полное нотаций — от княгини, другое очень длинное, веселое, полное всевозможных проектов — от соскучившейся об нас княжны. Мы приезжали и гостили до сентября. Соседями, ежедневно приезжавшими к нам, были отставной поручик-артиллерист Егоров, молодой человек, два раза державший экзамен в Академию и два раза провалившийся, очень развитой, начитанный малый; студент-медик Коробов с женой Екатериной Ивановной; помещик Алеутов и многое множество помещиков, отставных, неотставных, веселых и скучных, шалопаев и брандахлыстов... Вся эта банда бесконечно, день и ночь, круглое лето, ела, пила, играла, пела, пускала фейерверки, острила... Оля любила эту банду без памяти. Она кричала, вертелась и шумела больше всех. Она была душой компании.

Каждый вечер княгиня собирала нас в гостиную и с багровым лицом упрекала нас в «бессовестном» поведении, стыдила нас и клялась, что по нашей милости у нее голова болит. Она любила читать нотации; читала их искренно и глубоко была убеждена в том, что ее нотации послужат нам в пользу. Больше всех доставалось от нее Оле. По ее мнению, во всем была виновата Оля. Оля боялась матери. Она ее боготворила и выслушивала ее нотации стоя, молча, покраснев. Княгиня считала Олю дитятей. Она ставила ее в угол, оставляла без завтрака, без обеда. Заступаться за Олю значило подливать масло в огонь. Если бы можно было, то она и нас бы ставила в угол. Она посылала нас ко всенощной, приказывала вслух читать четьи минеи, считала наше белье, вмешивалась в наши дела... Мы то и дело заносили куда-нибудь ее ножницы, забывали, где ее спирт, не умели найти ей наперстка.

— Разиня! — то и дело кричала она. — Прошел

мимо, уронил и не поднимаешь! Подними! Сейчас подними! Наказал меня господь вами... Отойди от меня! Не стой на сквозном ветру!

Иногда для потехи кто-нибудь из нас провинится в чем-нибудь и по донесении призывается к старухе.

— Это ты на грядку наступил? — начинается суд. — Как ты смел?

— Я нечаянно...

— Молчи! Как ты смел, я тебя спрашиваю?

Суд оканчивался помилованием, целованием руки и, по выходе из комнаты судьи, гомерическим смехом. Ласкова с нами княгиня никогда не была. Ласковые слова говорит она только старухам и маленьким детям.

Я ни разу не видал ее улыбки. Старичка генерала, который по воскресеньям приезжал к ней играть в пикет, она шепотом уверяла, что мы, доктора, магистры, частью бароны, художники, писатели, погибли бы без ее ума-разума... Мы и не старались разубеждать ее... Пусть, думали, тешится... Княгиня была бы сносна, если бы не требовала от нас, чтобы мы вставали не позже восьми часов и ложились не позже двенадцати. Бедная Оля шла ложиться спать в одиннадцать часов. Прекословить нельзя было. Да и издевались же мы над старухой за это незаконное посягательство на нашу свободу! Мы гурьбой ходили просить у нее прощения, сочиняли ей поздравительные стихи ломоносовского пошиба, рисовали геральдическое древо князей Микшадзе и т. д. Княгиня принимала все это за чистую монету, а мы хохотали. Княгиня любила нас. Она глубоко, очень искренно вздыхала, когда выражала нам сожаление, что мы не князья. Она привыкла к нам, как к детям...

Не любила она одного только поручика Егорова. Она его ненавидела всей душой, питала к нему невозможнейшую антипатию. Принимала его только потому, что имела с ним денежные дела и этикетничала. Поручик прежде был ее любимцем. Он красив, удачно острит, много молчит и военный (это княгиня высоко ценила). Но иногда на Егорова что-то находит... Он садится, подпирает кулаками голову и начинает ужасно злословить. Злословит всех и все, не щадя ни живых, ни мертвых. Княгиня выходила из себя и прогоняла из

комнат всех нас, когда он начинал говорить злые слова.

Однажды за обедом Егоров подпер голову кулаком и завел ни к селу ни к городу речь о кавказских князьях, потом вытащил из кармана «Стрекозу» и имел дерзость в присутствии княгини Микшадзе прочесть следующее: «Тифлис хороший город. К числу достоинств прекрасного города — в котором «князья» даже улицы метут и сапоги в гостиницах чистят — принадлежит...» и т. д. Княгиня встала из-за стола и молча вышла. Она возненавидела Егорова еще сильнее, когда он в ее поминальнике около наших имен написал наши фамилии. Эта ненависть была тем более не желательна и не кстати, что поручик мечтал о женитьбе на Оле, а Оля была влюблена в поручика. Поручик ужасно мечтал, хоть и плохо верил в исполнение своих мечтаний. Оля любила тайком, украдкой, про себя, робко, чуть заметно... Любовь для нее была контрабандой, чувством, на которое было наложено жестокое veto¹. Ей не позволено было любить.

Г Л А В А П

В средневековом замке чуть было не разыгралась одна из глупых средневековых историй.

Лет семь тому назад, когда еще был жив князь Микшадзе, на Зеленую Косу приехал погостить князь Чайхидзев, екатеринославский помещик, друг и приятель Микшадзе. Это был очень богатый человек. Он всю жизнь свою кутил, бешено кутил и, несмотря на это, до конца дней своих был богачом. Микшадзе во время оно был его собутыльником. Вместе с Микшадзе он увез из родительского дома девушку, которая впоследствии стала княгиней Чайхидзевой. Это обстоятельство связало обоих князей прочнейшими узами дружбы. Чайхидзев приехал погостить вместе со своим сыном, пучеглазым, узкогрудым, черноволосым юношей, гимназистом. Чайхидзев первым долгом вспомнил старину

¹ запрещение (лат.).

и закутил с Микшадзе, а юноша заухаживал за Олей, тринадцатилетней девочкой. Ухаживание было замечено. Родители подмигнули и заметили, что из юноши и Оли вышла бы недурная парочка. Пьяные князья приказали детям поцеловаться, пожали друг другу руки и сами поцеловались. Микшадзе даже заплакал от умиления. «Так богу угодно! — сказал Чайхидзев. — У тебя дочь, у меня сын... Так богу угодно!»

Детям дали по кольцу и сняли их на одной карточке. Эта карточка висела в зале и долгое время не давала покоя Егорову. Она была мишенью для бесчисленного множества острот. Княгиня Марья Егоровна важно благословила будущих супругов. Ей понравилась от скуки идея отцов. Через месяц после отъезда Чайхидзевых Оля получила по почте роскошный подарок. Такие подарки она получала потом ежегодно. Молодой Чайхидзев взглянул на дело, сверх ожидания, серьезно. Это был довольно ограниченный малый. Он ежегодно приезжал на Зеленую Косу и гостил целую неделю, причем все время молчал и посылал из своей комнаты Оле любовные письма. Оля прочитывала письма и конфузилась. Умная девочка удивлялась, как это может такой большой человек писать такие глупости! А он писал глупости... Два года тому назад умер Микшадзе. Умирая, он сказал Оле следующее: «Смотри, не выйди замуж за какого-нибудь дурака! Выходи за Чайхидзева. Он умный и достойный человек». Оля знала ум Чайхидзева, но отцу не противоречила. Она дала ему слово, что выйдет за Чайхидзева.

— И это воля папы! — говорила она нам, и говорила с некоторою гордостью, как будто бы совершала какой-нибудь громаднейший подвиг. Она гордилась тем, что отец унес с собой в могилу ее обещание. Это обещание было так необыкновенно, романично!

Но природа и рассудок брали свое: отставной поручик Егоров вертелся перед глазами, а Чайхидзев с каждым годом в ее глазах становился все глупее и глупее...

Когда однажды поручик осмелился намекнуть ей про свою любовь, она попросила его не говорить ей более о любви, напоминала об обещании, данном отцу, и всю ночь проплакала. Княгиня каждую неделю пи-

сала письма Чайхидзеву в Москву, где он учился в университете, и приказывала ему поскорей оканчивать курс. «У меня гостят не такие бородатые, как ты, а давно уже курс покончили», — писала она ему. Чайхидзев отвечал ей почтительнейше на розовой бумаге и на двух листах доказывал, что курса ранее определенного срока кончить нельзя. Ему писала и Оля. Письма Оли ко мне далеко лучше писем ее к этому жениху. Княгиня верила в то, что Оля будет женой Чайхидзева, иначе же не пускала бы свою дочь гулять и «заниматься пустяками» в компании забияк, ветреников, безбожников и «не князей»... Она не могла допустить и сомнения... Воля мужа для нее — священная воля... Оля тоже верила в то, что она со временем будет расписываться Чайхидзевой...

Но не тут-то было. Идея двух отцов порвалась у самого исполнения. Роман Чайхидзева не удался. Этому роману суждено было окончиться водевилем.

В прошлом году Чайхидзев приехал на Зеленую Косу в конце июня. Он приехал на этот раз уже не студентом, а действительным студентом. Княгиня встретила его важными, торжественными объятиями и длиннейшей нотацией. Оля оделась в дорогое платье, сшитое специально для встречи жениха. Из города привезли шампанского, зажгли фейерверк, а на другой день утром вся Зеленая Коса в один голос толковала о свадьбе, назначенной якобы в конце июля. «Бедная Оля! — шептали мы, слоняясь из угла в угол, злобно поглядывая на окна, которые выходили в сад из комнаты ненавистного нам восточного человека. — Бедная Оля!» Оля ходила по саду бледная, худая, полумертвая. «Так угодно папе и маме!» — говорила она, когда мы начинали приставать к ней с дружескими советами. «Да ведь это глупо! Дико!» — кричали мы ей. Она пожимала плечами и отворачивала от нас свое полное скорби лицо; жених сидел в своей комнате, посылал Оле с лакеями нежные письма и, глядя в окно, удивлялся смелости, с которой мы говорили и держали себя с Олей. Выходил он из своей комнаты только затем, чтобы пообедать. Обедал он молча, ни на кого не глядя, сухо отвечая на наши вопросы. Раз только он осмелился рассказать анекдот, да и тот оказался до пошлости старым.

После обеда княгиня усаживала его рядом с собой и учила его играть в пикет. Чайхидзев играл серьезно, много думая, опустив нижнюю губу и вспотев... Такое отношение к пикету нравилось княгине.

Однажды после обеда Чайхидзев улизнул от пикета и побежал за Олей, которая отправилась в сад.

— Ольга Андреевна! — начал он. — Я знаю, вы меня не любите. Сватовство наше, правда, странно глупо. Но я, но я надеюсь, что вы меня полюбите...

Он сказал это, сильно сконфузился и пошел боком из сада в свою комнату.

Поручик Егоров сидел у себя в имении и никуда не показывался. Он не мог переварить Чайхидзева.

В воскресенье (второе после приезда Чайхидзева), кажется 5 июля, рано утром явился в наш флигель студент, племянник княгини, и передал нам приказ. Приказ княгини состоял в том, чтобы мы к вечеру были все в порядке: одеты во все черное, белые галстуки, перчатки; были бы серьезны, умны, остроумны, послушны и завиты, как пудели; чтобы мы не шумели; чтобы в комнатах у нас было благоприлично. На Зеленой Косе затевалось нечто вроде сговора. Из города привезли вин, водок, закусок... Наши прислужники были взяты от нас на кухню. После обеда начали съезжаться гости и съезжались до позднего вечера. В восемь часов, после катанья на лодках, начался бал.

До бала у нас, мужчин, была сходка. На этой сходке мы единогласно порешили во что бы то ни стало избавить Олю от Чайхидзева, избавить, хотя бы даже стоило это нам крупнейшего скандала. После сходки я бросился искать поручика Егорова. Он жил в своем именье, в двадцати верстах от Зеленой Косы. Я помчался к нему и застал его, но как застал! Поручик был пьян как стелька и спал мертвецки. Я растолкал поручика, умыл, одел его и, несмотря на его брыкательства и ругань, повез его на Зеленую Косу.

В десять часов бал был в разгаре. Танцевали в четырех комнатах под игру двух прекрасных роялей. В антрактах в саду на горке играл третий рояль. Даже сама княжна восхищалась нашими фейерверками. Фейерверки мы сжигали в саду, на берегу и далеко в море

на лодках. На крыше замка разноцветные бенгальские огни сменяли друг друга и освещали всю Косу. Пьянствовали в двух буфетах: один буфет был в беседке в саду, другой в доме. Героем вечера, по-видимому, был Чайхидзев. С розовыми пятнышками на щеках, с вспотевшим носом, затянутый в тесный фрак, он плясал с Олей, болезненно улыбался и чувствовал, что он неловок. Он плясал и следил за каждым своим «па». Ему страстно хотелось блеснуть хоть чем-нибудь, но не сумел он блеснуть ничем. Оля говорила мне впоследствии, что ей в этот вечер было очень жаль бедного князька. Он казался ей жалким. Он как будто бы предчувствовал, что у него отнимут невесту, о которой он, бывало, думал во время каждой лекции, ложась и просыпаясь... когда он глядел на нас, глаза его были полны мольбы. Он предчувствовал в нас сильных и безжалостных соперников.

По приготовлениям высоких бокалов и по поглядываниям княгини на часы мы заключили, что торжественно-официальная минута приближается, что, по всей вероятности, Чайхидзев в двенадцать часов получит позволение поцеловать Олю. Нужно было действовать. В половине двенадцатого я попудрился, чтоб казаться бледным, своротил в сторону галстук и с озабоченным лицом и с всклокоченными волосами подошел к Оле.

— Ольга Андреевна,— начал я, схватив ее за руку,— ради бога!

— Что такое?

— Ради бога... Вы не пугайтесь, Ольга Андреевна... Иначе и быть не могло. Это и нужно было ожидать...

— В чем дело?

— Вы не пугайтесь... Того... Ради бога, моя дорогая! Евграф...

— Что с ним?

Оля побледнела и вскинула на меня свои большие, доверчивые, дружеские глаза...

— Евграф умирает...

Оля пошатнулась и пальцами провела по побледневшему лбу.

— Случилось то, чего я ожидал,— продолжал я.— Он умирает... Спасите его, Ольга Андреевна!

Оля схватила меня за руку.

— Он... он... Где?

— Здесь в саду, в беседке. Ужасно, моя дорогая! Но... на нас смотрят. Пойдемте на террасу... Он не обвиняет вас... Он знал, что вы его...

— Что... что с ним?

— Худо, очень худо!!

— Пойдемте... Я пойду к нему... Я не хочу, чтоб он благодаря мне... благодаря мне...

Мы вышли на террасу. У Оли подгибались колени. Я сделал вид, что отер слезу... Мимо нас по террасе то и дело пробегали бледные, встревоженные члены нашей банды с озабоченными, испуганными лицами.

— Кровь остановилась...— шепнул мне магистр физики так, чтобы услышала Оля.

— Идемте! — шепнула Оля и взяла меня под руку.

Мы спустились вниз по террасе... Ночь была тихая, светлая... Звуки рояля, шепот темных деревьев, трещанье кузнечиков ласкали слух; внизу тихо плескалось море.

Оля едва шла... Ноги ее подгибались и путались в тяжелом платье. Она дрожала и со страха жалась к моему плечу.

— Но ведь я же не виновата...— шептала она.— Клянусь вам, что я не виновата. Так угодно было папе... Он должен это понять... Опасно?

— Не знаю... Михаил Павлович сделал все возможное. Он хороший доктор и любит Егорова... Мы подходим, Ольга Андреевна...

— Я... я не увижу ничего ужасного? Я боюсь... Я не могу видеть. И для чего это он вздумал?

Оля залилась слезами.

— Я не виновата... он должен был понять. Я ему объясню.

Мы подошли к беседке.

— Здесь,— сказал я.

Оля закрыла глаза и обеими руками ухватилась за меня.

— Я не могу...

— Не пугайтесь... Егоров, ты еще не умер? — крикнул я, обращаясь к беседке.

— Пока еще нет... А что?

У входа в беседку показался освещенный луною поручик, растрепанный, бледный от перепоя, с расстегнутым жилетом...

— А что? — повторил он.

Оля подняла голову и увидала Егорова... Она посмотрела на меня, потом на Егорова, потом опять на меня... Я засмеялся... Лицо ее просияло. Она вскрикнула от радости, сделала шаг вперед... Я думал, что она на нас рассердится... Но эта девочка не умела сердиться... Она сделала шаг вперед, подумала и бросилась к Егорову. Егоров быстро застегнул жилет и растопырил руки. Оля упала ему на грудь. Егоров засмеялся от удовольствия, повернул в сторону голову, чтоб не дышать на Олю, и забормотал какую-то чепуху.

— Вы не имеете права... Я не виновата, — залепетала Оля. — Так угодно папе, маме, — и т. д.

Я повернул назад и быстро зашагал к освещенному замку.

В замке между тем публика готовилась к поздравлению жениха и невесты и нетерпеливо поглядывала на часы... В передних толпились лакеи с подносами; на подносах стояли бутылки и бокалы. Чайхидзев нетерпеливо мям правую руку в левой и глазами искал Олю. Княгиня ходила по комнатам и искала Олю, чтоб дать ей наставление, как держать себя, чтоб ответить матери и т. д. Наши улыбались.

— Не знаешь, где Оля? — спросила меня княгиня.

— Не знаю.

— Поди поищи.

Я сошел в сад и, заложив руки назад, обошел раза два вокруг дома. Наш художник заиграл на трубе. Это значило: «Держи, не выпускай!» Егоров отвечал из беседки криком совы. Это значило: «Хорошо! Держу!»

Походив немного, я вошел в дом. В передних лакеи поставили подносы на столы и, стоя с пустыми руками, тупо поглядывали на публику. Публика, в свою очередь, с недоумением поглядывала на часы, на которых большая стрелка показывала уже четверть. Рояли замолкли. Во всех комнатах царила глубокая, томительная, глухая тишина.

— Где Оля? — спросила меня багровая княгиня.

— Не знаю... В саду нет.

Княгиня пожалала плечами.

— Разве она не знает, что уже давно пора? — спросила она, дернув меня за рукав.

Я пожал плечами. Княгиня отошла от меня и зашептала что-то Чайхидзеву. Чайхидзев тоже пожал плечами. Княгиня и его дернула за рукав.

— Дурралей! — заворчала она и забегала по всему дому. Горничные и гимназисты, родственники княжны, с шумом сбежали по лестнице и отправились в глубину сада искать исчезнувшую невесту. Я тоже пошел в сад. Я боялся, что Егоров не сумеет задержать Олю и испортит задуманный нами скандал. Я направился к беседке. Напрасно я боялся! Оля сидела возле Егорова, водила перед его глазами своими пальчиками и шептала, шептала... Когда Оля переставала шептать, начинал бормотать Егоров. Он внушал ей то, что княгиня называет «идеями»... Каждое свое слово он подслащивал поцелуем. Он говорил, лез ежесекундно целоваться и в то же время отворачивал в сторону свой рот, боясь, чтобы Оля не почуяла водочного запаха. Оба они были счастливы, забыли, по-видимому, все на свете и не замечали времени. Я постоял немного у входа в беседку, возрадовался духом и, не желая нарушать счастливого покоя, пошел к замку.

Княгиня выходила из себя и нюхала спирт. Она терялась в догадках, сердилась, стыдилась гостей, жениха... Она никогда не дерется, но дала горничной пощечину, когда та доложила ей, что княжны нет нигде. Гости, не дождавшись шампанского и поздравлений, заулыбались, зашплетничали и опять взялись за танцы.

Пробил час, Оля не показывалась. Княгиню разбирало бешенство.

— Это все ваши штуки! — шипела она, проходя мимо кого-либо из нас.— Будет ей на орехи! Где она?

Наконец нашелся благодетель, который сообщил ей, где Оля... Этим благодетелем оказался маленький пузатый гимназистик, племянник княгини. Гимназистик прибежал из сада, как угорелый, подскочил к княгине, сел ей на колено, пригнул к себе ее голову и зашептал

ей на ухо... Княгиня побледнела и до крови укусила себя за губу.

— В беседке? — спросила она.

— Да.

Княгиня поднялась и с гримасой, похожей на официальную улыбку, объявила гостям, что у Оли болит голова, что она просит извинить и т. д. Гости изъявили сожаление, наскоро поужинали и начали разъезжаться.

В два часа (Егоров поусердствовал и задержал Олю до двух) я стоял у входа на террасу за стеной из олеандровых деревьев и ждал возвращения Оли. Мне хотелось посмотреть на Олино лицо. Я люблю женские счастливые лица. Мне хотелось посмотреть, как любовь к Егорову и в то же время страх перед матерью совместятся на одном и том же лице; и что сильнее, любовь или страх? Я не долго дышал запахом олеандр. Оля скоро показалась. Я впился глазами в лицо ее. Она шла медленно, приподняв немного платье и показывая свои маленькие башмачки. Лицо ее было хорошо освещено луной и фонариками, висевшими на деревьях и своим мельканьем портившими лунный свет. Лицо было серьезно, бледно. Чуть-чуть улыбались одни только губы. Глаза задумчиво смотрели в землю; с такими глазами решают обыкновенно трудные задачи. Когда Оля ступила на первую ступень, ее глаза засуетились, забегали: она вспомнила мать. Оля слегка коснулась рукой помятой прически, некоторое время постояла нерешительно на первой ступени и, тряхнув головой, смело пошла к двери... Но тут суждено было мне увидеть картину... Распахнулась дверь, и бледное лицо Оли осветилось ярким светом. Оля вздрогнула, сделала шаг назад и слегка присела... Ее как будто что-то приплюснуло... *На пороге, подняв голову, стояла княгиня, красная, дрожащая от гнева и стыда... Минуты две длилось молчание.*

— *Дочь князя, — заговорила княгиня, — и невеста князя ходит на свидания с поручиком?! С Евграшкой! Мерзкая!*

Оля съежилась в три погибели и, трепещущая, змейкой проскользнула мимо княгини и полетела в свою комнату. Она села на свою постель, и глаза, полные ужаса

и тревоги, не спускала с окна в продолжение всей ночи... В третьем часу ночи у нас опять была сходка. На этой сходке мы посмеялись над опьяневшим от счастья Егоровым и снарядили харьковского барона-юриста к Чайхидзеву. Князь еще не спал. Харьковский барон-юрист должен был «дружески» указать Чайхидзеву на неловкость его, Чайхидзева, положения, попросить его, чтоб он, князь, как развитой человек, взял бы на себя труд уяснить себе эту неловкость, и попросить его, между прочим, чтоб он извинил нас за наше вмешательство, извинил бы «по-дружески», как развитой человек... Чайхидзев ответил барону, что он «все это хорошо понимает», что он не придает значения отцовскому завещанию, но любит Олю, а потому и был так настойчив... Он с чувством пожал барону руку и обещал завтра же уехать.

На следующее утро Оля явилась к чаю бледная, разбитая, полная самых отчаянных ожиданий, ей было и страшно и стыдно... Но лицо ее просияло, когда она в столовой увидела и услышала нас. Мы всей компанией стояли перед княгиней и кричали. Кричали все разом. Мы сбросили наши маленькие маски и громко внушали старой хнягине «идеи», очень похожие на те, которые внушал вчера Оле Егоров. Мы говорили о личности женщины, о законности свободного выбора и т. д. Княгиня молча, угрюмо слушала нас и читала письмо, присланное ей Егоровым,— это письмо было сочинено всей компанией и было переполнено словами: «по малолетству», «по неопытности», «вашими благословениями» и т. д. Княгиня выслушала нас до конца, до конца прочла длинное письмо Егорова и сказала:

— Не вам, молокососам, учить меня, старуху. Знаю, что делаю. Выпивайте чай и поезжайте отсюда кружить другие головы. Вам не жить со мной, со старухой... Вы люди умные, а я дура... С богом, сударики!.. Век вам буду благодарна!

Княгиня нас гнала. Мы написали ей благодарственное письмо, приложились к ее руке и скрепя сердце выехали в тот же день в имение Егорова. С нами выехал и Чайхидзев. У Егорова мы занимались только тем, что кутили, скучали об Оле и утешали Егорова. Про-

жили мы у него недели две. На третьей неделе наш барон-юрист получил от княгини письмо. Княгиня просила барона приехать на Зеленую Косу и написать ей какую-то бумагу. Барон поехал. Дня через три после отъезда поехали и мы туда же, якобы за бароном. На Зеленую Косу приехали мы перед обедом. В дом мы не входили, а слонялись по саду, поглядывая на окна. Княгиня увидала нас в окно.

— Это вы приехали? — крикнула она.

— Мы.

— Дело есть, что ли?

— За бароном.

— Барону некогда с вами, висельниками, фордыбасничать! Он пишет.

Мы сняли шляпы и подошли к окну.

— Как ваше здоровье, княгиня? — спросил я.

— Чего слоняетесь? — ответила княгиня.— Идите в комнаты.

Мы вошли в комнаты и смиренно расселись по стульям. Княгине, страшно соскучившейся об нашей компании, понравилось это смирение. Она нас оставила обедать. За обедом одного из нас, уронившего ложку, она выбрала разиней и упрекнула нас, что мы не умеем держать себя за столом. Мы погуляли с Олей, остались переночевать... Переночевали и другую ночь и застряли на Зеленой Косе до самого сентября. Мир склеился сам собой.

Вчера получил письмо от Егорова. Поручик пишет, что всю зиму он «подмазывался» к княгине и успел гнев княгини переложить на милость. Она уверяет, что летом будет его свадьба.

Вскоре я должен получить два письма: одно строгое, официальное от княгини, другое длинное, веселое, полное проектов от Оли. В мае я еду опять на Зеленую Косу.

«СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО...»

Выдержав экзамен, Гвоздиков сел на конку и за шесть копеек (он ездил всегда «на верхотуре») доехал до заставы. От заставы до дачи, версты три, он пропер пехтурой. У ворот встретила его хозяйка дачи, молодая дамочка. Сынка этой дамочки он обучал арифметике, за что и получал стол, квартиру на даче и пять рублей в месяц деньгами.

— Ну что, как? — спросила его хозяйка, протягивая руку. — Благополучно? выдержали экзамен?

— Выдержал.

— Bravo, Егор Андреевич! Много получили?

— По обыкновению... Пять... Гм...

Гвоздиков получил не пять, а только три с плюсом, но... но почему же не соврать, если можно? Экзаменующиеся так же охотно врут, как и охотники. Войдя к себе в комнату, Гвоздиков на своем столе нашел маленькое письмецо с розовой облаточкой. Письмецо пахло резедой. Гвоздиков разорвал конверт, скушал облатку и прочел следующее:

«Так и быть. Будьте ровно в восемь часов около канавы, в которую вчера упала с головы ваша шляпа. Я буду сидеть под деревом на скамеечке. И я вас люблю, только не будьте таким неповоротливым. Надо быть бойким. Жду вечера с нетерпением. Я вас ужасно люблю. Ваша С.

Р. S. Матан уехала, и мы будем гулять до полночи. Ах, как я счастлива! Бабушка будет спать, не заметит».

Прочитав это письмо, Гвоздиков широко улыбнулся, высоко подпрыгнул и, торжествующий, зашагал по комнате.

— Любим! Любим!! Любим!!! Как я счастлив, черт возьми! О-о-о! Тру-ля-ля!

Гвоздиков прочитал письмо еще раз, поцеловал его, бережно сложил и спрятал в анатомический стол. Ему принесли обедать. Он, отуманенный письмом и забывший все на свете, съел все, что ему принесли: и суп, и мясо, и хлеб. Пообедав, он лег и замечтал о всякой всячине: о дружбе, о любви, о службе... Образ Сони носился перед его глазами.

«Как жаль, что у меня часов нет! — думал он.— Будь у меня часы, я мог бы высчитать, сколько осталось до вечера. Время, как назло, протянется чертовски медленно».

Когда ему надоело лежать и мечтать, он поднялся, пошагал и послал кухарку за пивом.

«Пока суть да дело,— подумал он,— а мы выпьем. Время быстрее покажется».

Принесли пиво. Гвоздиков сел, поставил перед собой рядом все шесть бутылок и, любовно поглядывая на них, принялся пить. Выпив три стакана, он почувствовал, что в его груди и голове зажгли по лампе: стало так тепло, светло, хорошо.

«Она составит мне мое счастье! — подумал он, принимаясь за другую бутылку.— Она... она именно та, о которой я мечтал... О да!»

После второй бутылки он почувствовал, что в его голове потушили лампу, и стало темновато. Но зато как весело стало! Хорошо жить на этом свете после второй бутылки! Принимаясь за третью бутылку, Гвоздиков махал перед своим носом рукой и клялся, что счастливее его никого нет на этом свете. Клятву давал он самому себе и верил этой клятве безапелляционно.

— Я знаю, что она во мне полюбила! — забормотал он.— Знаю-с! Она полюбила во мне недюжинного человека! Так-то! Знает, кого полюбить и за что полюбить... Недюжинного человека! Я не какой-нибудь там... этакий... Я Гвозд... Я...

Принимаясь за четвертую бутылку, он воскликнул:

— Да-с! Не какой-нибудь! Полюбила она во мне... Гения! Ге-ни-я! Мирового гения! Кто я! И что я? Вы думаете — Гвоздиков? Да, я Гвоздиков, но какой Гвоздиков? Как вы думаете?

Дойдя до половины четвертой бутылки, он ударил кулаком по столу, взъерошил волосы и сказал:

— Я им покажу, кто я таков! Пусть только кончу курс! Дайте мне только позаниматься! Я жрец науки... Она полюбила во мне жреца науки. И я докажу, что она права! Вы мне не верите? Прочь! И она не верит? Она? Соня? Прочь и ее в таком случае! Я докажу! Сейчас же начну заниматься!.. Долью только стакан... Все вы подлецы!

Гвоздиков рассердился, допил стакан, достал с полки лекции, открыл и начал читать с середины:

— «При... причиной вывиха нижней челюсти может также служить па... падение, удар при открытом рте...»

— Чепуха! Челюсть... Удар... То да се... Чепуха!

Гвоздиков закрыл лекции и принялся за пятую бутылку. Выпив наконец пятую и шестую, он пригорюнился и задумался о ничтожестве вселенной вообще и человека в частности... Думая, он машинально ставил пробку на горлышко бутылки и целился в нее щелчком, стараясь ударить ею в зеленое пятнышко, мелькавшее перед его глазами. Черные, зеленые и синие пятнышки забегали перед его глазами, когда он попал пробкой в зеленое пятно. Одно из пятен, буро-красное, с зелеными иглами, улыбаясь, полетело к его глазам и испустило из себя что-то вроде клея... Гвоздиков почувствовал, что у него слипаются глаза...

«У меня в глазах кто-то... пищит! — подумал он.— Надо выйти на воздух, а то я ослепну. Надо по... погулять... Здесь душно. Печи всё топят... О, о-ослы! Пищат и печи топят! Дураки!» Гвоздиков надел шляпу и вышел из комнаты. На дворе уже стемнело. Был десятый час. На небе мерцали звездочки. Луны не было, и ночь обещала быть темна. На Гвоздикова пахнуло майской свежестью леса. Встретили его все атрибуты любовного rendez-vous: ¹ и шепот листьев, и песнь соловья, и...

¹ свидания (франц.).

даже задумчивая, белеющая во мраке «она». Он, сам того не замечая, дошел до места, о котором упоминалось в письме.

Она поднялась со скамьи и пошла к нему навстречу.

— Жорж! — сказала она, чуть дыша. — Я здесь.

Гвоздиков остановился, прислушался и начал смотреть вверх, на верхушки деревьев. Ему показалось, что его имя произнесли где-то вверху.

— Жорж, это я! — повторила она, ближе подойдя к нему.

— А?

— Это я.

— Что? Кто тут? Кого?

— Это я, Жорж... Идите... Сядемте.

Жорж протер глаза и устался на нее...

— Чего надо?

— Смешной! Не узнаете, что ли? Неужели вы ничего не видите?

— Аааа... Позвольте... Вы какое же имеете пра... пра... вво в ночное время ходить по чужому саду? Милостивый государь! Отвечайте, милостивый государь, в противном же случае я вввам... дам... в мор... мор...

Жорж протянул вперед руку и схватил ее за плечо. Она захохотала.

— Какой вы смешной! Ха-ха-ха... Как вы хорошо представлять умеете! Ну, пойдете... Давайте болтать...

— Кого болтать? Что? Вы почему? А я почему? Смеетесь?

Она громче захохотала, взяла его под руку и потянулась вперед. Он попятился назад. Он изображал из себя упрямого коренника, а она быющуюся вперед пристяжную.

— Мне... мне спать хочется... Пустите, — забормотал он. — Я не желаю заниматься пустяками...

— Ну, будет, будет... Отчего вы опоздали на полчаса? Занимались?

— Занимался... Я всегда занимаюсь... При... чинной вывиха нижней челюсти может быть падение, удар

при открытом рте. Челюсти вышибают все больше в трактирах, в кабаках. Я хочу пива... Трехгорного.

Он и она дотащились до скамьи и сели. Он подпер лицо кулаками, уперся локтями в колена и зафыркал. Шляпа сползла с его головы и упала на ее руки. Она нагнулась и посмотрела ему в лицо.

— Что с вами? — тихо спросила она.

— И не ваше, не ваше дело... Никто не имеет права вмешиваться в мои дела... Все они дураки, и вы... дураки.

Немного помолчав, Гвоздиков прибавил:

— И я дурак...

— Вы получили письмо? — спросила она.

— Получил... От Сонь...ки... От Сони... Вы — Соня? Ну и что ж? Глупо... Слово «нетерпение» в слогe «не» пишется не чрез «ять», а чрез «е». Грамотеи! Черт бы вас взял совсем!..

— Вы пьяны, что ли?

— Нннет... но я справедлив! Какое вы имеете пра... пр... пр... От пива нельзя быть пьяным... А? Который?

— А зачем же вы, бессовестный, челуху мелете, если вы не пьяный?

— Ннет. Именительный — меня, родительный — тебя, дательный, именительный... *Processus condii loideus et musculus sterno-cleido-mastoideus*¹.

Гвоздиков захохотал, свесив голову к коленям...

— Вы спите? — спросила она.

Ответа не последовало. Она заплакала и начала ломать руки.

— Вы спите, Егор Андреевич? — повторила она.

В ответ на это послышался громкий, сиплый храп. Соня поднялась.

— Мер-р-зкий!! — проворчала она. — Негодный! Так вот ты какой! Так на же, вот тебе! На тебе! На тебе!

И Соня своей маленькой ручкой раз пять коснулась до затылка Гвоздикова, и как коснулась! Ноги ее заходили по его шляпе. Мстительны женщины!

¹ Яремный отросток (скрепляющий нижнюю челюсть с верхней) и грудно-ключично-сосковая мышца (*лат.*).

На другой день Гвоздиков послал Соне письмо следующего содержания: «Прошу прощения. Не мог вчера явиться, потому что был ужасно болен. Назначьте другое время, хоть сегодняшней вечер, например. Любящий Егор Гвоздиков».

Ответ на это письмо был таков: «Шляпа ваша валяется около беседки. Можете ее взять там. Пиво пить приятнее, чем любить, а потому пейте пиво. Не хочу вам мешать. Уже не ваша С...

P. S. Не отвечайте мне. Я вас ненавижу».

КОРРЕСПОНДЕНТ

Музыкантов было восемь человек. Главе их, Гурию Максиму, было заявлено, что если музыка не будет играть неумолкаемо, то музыканты не увидят ни одной рюмки водки и благодарность за труд получат с великой натяжкой. Танцы начались ровно в восемь часов вечера. В час ночи барышни обиделись на кавалеров; полупьяные кавалеры обиделись на барышень, и танцы расстроились. Гости разделились на группы. Старички заняли гостиную, в которой стоял стол с сорока четырьмя бутылками и со столькими же тарелками; барышни забились в уголок, зашептали о безобразиях кавалеров и стали решать вопрос: как это так выходит, что невеста с первого же раза начинает говорить на жениха «ты»? Кавалеры заняли другой угол и заговорили все разом, каждый про свое. Гурий, первая и плохая скрипка и дирижер, заиграл со своими семью Черняевский марш... Играл он неумолкаемо и останавливался лишь только тогда, когда хотел выпить водки или подтянуть брюки. Он был сердит: вторая и самая плохая скрипка была донельзя пьяна и чертовски фантазировала, а флейтист ежеминутно ронял на пол флейту, не смотрел в ноты и без причины смеялся. Шум поднялся страшный. С маленького столика попадали бутылки... Кто-то ударил по спине немца Карла Карловича Фюнф... С криком и со смехом выскочило несколько человек с красными физиономиями из спальни;

за ними погнался встревоженный лакей. Дьякон Манафуилов, желая блеснуть перед пьяной и почтеннейшей публикой своим остроумием, наступил кошке на хвост и держал ее до тех пор, пока лакей не вырвал из-под его ног охрипшей кошки и не заметил ему, что «это одна только глупость». Городской голова вообразил, что у него пропали часы; он страшно перепугался, вспотел и начал браниться, доказывая, что его часы стоят сто рублей. У невесты разболелась голова... В прихожей уронили что-то тяжелое, раздался треск. В гостиной, около бутылок, старички вели себя не постарчески. Они вспоминали свою молодость и болтали черт знает что. Рассказывали анекдоты, прохаживались насчет любовных походов хозяина, острили, хихикали, причем хозяин, видимо довольный, сидел, развалясь на кресле, и говорил: «И вы тоже хороши, сукины сыны; знаю я вас хорошо и любашкам вашим не раз подарки подносил»... Пробыло два часа. Гурий в седьмой раз заиграл испанскую серенаду. Старички вошли в азарт.

— Погляди, Егорий! — зашамкал один старичок, обращаясь к хозяину и указывая в угол. — Что это там за егоза сидит?

В углу, возле этажерки с книгами, смиренно, поджав ноги под себя, сидел маленький старичок в темно-зеленом поношенном сюртуке со светлыми пуговицами и от нечего делать перелистывал какую-то книжку. Хозяин посмотрел в угол, подумал и усмехнулся.

— Это, братцы мои, — сказал он, — газетчик. Нешто вы его не знаете? Великолепный человек! Иван Никитич, — обратился он к старичку со светлыми пуговицами, — что же ты там сидишь? Подходи сюда!

Иван Никитич встрепенулся, поднял свои голубые глазки и страшно сконфузился.

— Это, господа, сам писатель, журналист! — продолжал хозяин. — Мы пьем, а они, видите ли, сидят в уголку, по-умному думают да на нас с усмешкой посматривают. Стыдно, брат. Иди выпей, — грех ведь!

Иван Никитич поднялся, смиренно подошел к столу и налил себе рюмочку водки.

— Дай бог вам... — пробормотал он, медленно выпивая рюмку, — чтоб всё... этак хорошо... обстоятельно.

— Закуси, брат! Кушай!

Иван Никитич замигал глазками и скушал сардинку. Толстяк, с серебряною медалью на шее, подошел к нему сзади и высыпал на его голову горсть соли.

— Солоней будет, червячки не заведутся! — сказал он.

Публика захохотала. Иван Никитич замотал головой и густо покраснел.

— Да ты не обижайся! — сказал толстяк. — Зачем обижаться? Это шутка с моей стороны. Чудак ты этакой! Смотри, я и себе насыплю! — Толстяк взял со стола солонку и сыпнул себе соли на голову.

— И ему, ежели хочешь, посыплю. Чего обижаться? — сказал он и посолил хозяйскую голову. Публика захохотала. Иван Никитич тоже улыбнулся и скушал другую сардинку.

— Что ж ты, политикан, не пьешь? — сказал хозяин. — Пей! Давай пить со мной! Нет, со всеми выпьем!

Старички поднялись и окружили стол. Рюмки наполнились коньяком. Иван Никитич кашлянул и осторожно взялся за рюмку.

— С меня бы довольно, — проговорил он, обращаясь к хозяину. — Я уже и так пьян-с. Ну, дай бог вам, Егор Никифoryч, чтобы... всё... хорошо и благополучно. Да чего вы все на меня так смотрите? Чудной нешто я человек? Хи-хи-хи-с. Ну, дай бог вам! Егор Никифoryч, батюшка, будьте столь достолюбезны и снисходительны, прикажите Гурию, чтоб Григорий барабанить перестал. Замучил совсем, хам. Так барабанит, что в животе бурлит... За ваше здорovье!

— Пуцай барабанит, — сказал хозяин. — Нешто музыка без барабана может существовать? И того не понимаешь, а еще сочинения сочиняешь. Ну, теперь со мной выпей!

Иван Никитич икнул и засеменил ножками. Хозяин налил два стакана.

— Пей, приятель, — сказал он, — а прятаться не смей. Будешь писать, что у Л—ва все пьяны были, так про себя пропишешь. Ну? Желаю здравствовать. Да

ну же, умница! Экой ты ведь конфузный какой! Пей!

Иван Никитич кашлянул, высморкнулся и чокнулся с хозяином.

— Желая вам зла-погибели и бед всяческих... избежать! — сострил купчик; старший зять хозяина захохотал.

— Ура-а-а газетнику! — крикнул толстяк, обхватил Ивана Никитича и поднял его на воздух. Подскочили другие старички, и Иван Никитич очутился выше своей головы, на руках, головах и плечах почтеннейшей и пьяной т — ей интеллигенции.

— Кач... ка-ча-а-ай! Качай его, шельмеца! Неси егозу! Тащи его, темно-зеленого прохвоста! — закричали старички и понесли Ивана Никитича в залу. В зале к старичкам присоединились кавалеры и начали подбрасывать под самый потолок бедного газетчика. Барышни захлопали в ладоши, музыканты замолкли и положили свои инструменты, лакеи, взятые шика ради из клуба, заудивлялись «безобразности» и преглупо захихикали в свои аристократические кулаки. У Ивана Никитича отскочили от сюртука две пуговицы и развязался ремень. Он пыхтел, кряхтел, пищал, страдал, но... блаженно улыбался. Он ни в каком случае не ожидал такой чести для себя, «нолика», как он выражался, «между человеками еле видимого и едва заметного...»

— Гаа-га-га-га! — заорал жених и, пьяный как стелька, вцепился в ноги Ивана Никитича. Иван Никитич закачался, выскользнул из рук т — ей интеллигенции и ухватился за шею толстяка с серебряною медалью.

— Убьюсь, — забормотал он, — убьюсь! Позвольте-с! Чуточку-с! Вот так-с... Ох, нет, не так-с!

Жених выпустил ноги, и он повис на шее толстяка. Толстяк мотнул головой, и Иван Никитич упал на пол, застонал и с хихиканьем поднялся на ноги. Все хохотали, даже цивилизованные лакеи из нецивилизованного клуба снисходительно морщили носы и улыбались. Лицо Ивана Никитича сильно поморщилось от блаженной улыбки, из влажных голубых глаз его

посыпались искорки, а рот покривился набок, причем верхняя губа покривилась направо, а нижняя вытянулась и искривилась налево.

— Господа почтенные! — заговорил он слабым тенорком, расставя руки и поправляя ремешок, — господа почтенные! Дай бог вам всего того, чего вы от бога желаете. Спасибо ему, благодетелю, ему... вот ему, Егору Никифоровичу... Не пренебрег мелким человеком. Встретились это мне позавчера в Грязном переулке, да и говорят: «Приходи же, Иван Никитич. Смотри же, непременно приходи. Весь город будет, ну и ты, сплетня всероссийская, приходи!» Не пренебрегли, дай бог им здоровья. Осчастливили вы меня своею лаской искреннею, не забыли газетчика, старикашку рваного. Спасибо вам. И не забывайте, господа почтенные, нашего брата. Наш брат человек маленький, это действительно, но душа у него не вредная. Не пренебрегайте, не брезгуйте, он чувствовать будет! Между людьми мы маленькие, бедненькие, а между тем соль мира есмы, и богом для полезности отечественной созданы, и всю вселенную поучаем, добро превозносим, зло человеческое поносим...

— Чего мелешь-то? — закричал хозяин. — Замолол, шут Иванович! Ты речь читай!

— Речь, речь! — заголосили гости.

— Речь? Эк-эк-гем. Слушаю-с. Позвольте подумать-с!

Иван Никитич начал думать. Кто-то всучил ему в руки бокал шампанского. Немного подумав, он вытянул шею, поднял вдруг бокал и начал тенорком, обращаясь к Егору Никифоровичу:

— Речь моя, милостивые государыни и милостивые государи, будет коротка и длиннотою своею не будет соответствовать настоящему, весьма трогательному для нас, событию. Эк-эк-гм. Великий поэт сказал: блажен, кто смолоду был молод! В истине сего я не сомневаюсь и даже полагаю, что не ошибусь, если прибавлю к нему в мыслях еще кое-что и языком воспроизведу следующее обращение к молодым виновникам сего торжества и события: да будут наши молодые молоды не только теперь, когда они по естеству своему физическому

молоды еще, но и в старости своей, ибо блажен тот, кто смолоду был молод, но в стократ блаженнее тот, кто молодость свою сохранил до самой могилы. Да будут они, виновники настоящего словоблудия моего, в старости своей стары телом, но молоды душою, то есть живопарящим духом. Да не оскудевают до самой доски гробовой идеалы их, в чем истинное блаженство человеков и состоит. Жизнь их обоюдная да сольется воедино чистое, доброе и высококачественное, и да послужит, нежно любящая... хи-хи-хи-с... так сказать, октавой для своего мужа, мужа крепкого в мыслях, и да составят они собою сладкозвучную гармонию! Виват, живио и ура-а-а!

Иван Никитич выпил шампанского, стукнул каблучком об пол и победителем посмотрел на окружающих.

— Ловко, ловко, Иван Никитич! — закричали гости.

Жених подошел, шатаясь, к Ивану Никитичу, попытался расшаркаться, но не расшаркался, чуть не упал, схватил оратора за руку и сказал:

— Боку... боку мерси ¹. Ваша речь очен-н-но очень хороша и не лишена некоторой тен-тенденции.

Иван Никитич подпрыгнул, обнял жениха и поцеловал его в шею. Жених страшно сконфузился и, чтобы скрыть замешательство, начал обнимать тестя.

— Ловко вы объяснять чувства можете! — сказал толстяк с медалью. — У вас такая фигура, что... никак не ожидал! Право... извините-с!

— Ловко? — запищал Иван Никитич. — Ловко? Хе-хе-хе. То-то. Сам знаю, что ловко! Огня только мало, ну да где его взять, огня-то этого? Время уж не то, господа почтенные! Прежде, бывало, как скажешь что иль напишешь, так сам в умиленное состояние души приходишь и удивляешься таланту своему. Эх, было времечко! Выпить бы нужно, фра-дьяволо, за это времечко! Давайте, други, выпьем! Времечко было страсть какое авантажное!

Гости подошли к столу и взяли по рюмке. Иван Никитич преобразился. Он налил себе не рюмку, а стакан.

¹ Премного благодарен (от *франц.* — merci beaucoup).

— Выпьем, господа почтенные, — продолжал он. — Обласкали вы меня, старика, почтите уж и время, в которое я великим человеком был! Славное было времечко! Mesdames ¹, красоточки мои, чокнитесь с аспи́дом и василиском, который красоте вашей изумляется! Цок! Хе-хе-хе. Амурчики мои. Было время, сакраменто!.. ² Любил и страдал, побеждал и побеждаем неоднократно был. Ура-а-а!

— Было время, — продолжал вспотевший и встревоженный Иван Никитич, — было время, сударики! И теперь время хорошее, но для нашего брата, газетчика, то время лучше было, по той самой причине, что огня и правды в людях больше было. Прежде что́ ни писака был, то и богатырь, рыцарь без страха и упрека, мученик, страдалец и правдивый человек. А теперь? Взгляни, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдися! Где вы, истинные писатели, публицисты и другие ратоборцы и труженики на поприще... эк... эк... гм... гласности? Ниг-де!!! Теперь все пишут. Кто хочет, тот и пишет. У кого душа грязнее и чернее сапога моего, у кого сердце не в утробе матери, а в кузнице фабриковалось, у кого правды столько имеется, сколько у меня домов собственных, и тот дерзает теперь ступить на путь славных — путь, принадлежащий пророкам, правдолюбцам да среброненавистникам. Судари вы мои дорогие! Путь этот нонче шире стал, да ходить по нем некому. Где таланты истинные? Поди ищи: ей-богу, не сыщешь!.. Все ветхо стало да обнищало. Кто из прежних удальцов и молодцов жив остался, и тот теперь обнищал духом да зарпортовался. Прежде гнались за правдой, а нонче пошла погоня за словом красным да за копейкой, чтоб ей пусто было! Дух странный повеял! Горе, друзья мои! И я тоже, окаянный, не устыдился седин своих и тоже стал за красным словом гоняться! Нет, нет, да и норовлю в корреспонденцию что-нибудь этакое вковырнуть. Благодарю господа, творца неба и земли, не корыстолюбив я и от голода не дерзаю писать. Теперь кому кушать хочется,

¹ Сударыни (франц.).

² клянусь!.. (от *итал.* — *sacramento*).

тот и пишет, а пишет, что хочет, лишь бы сбоку на правду похоже было. Хотите денежки из редакции получить? Желаете? Ну, коли хотите, то и валяйте, что в нашей Т. такого-то числа землетрясение было да баба Акулина, извините меня, mesdames, бесстыдника, намедни единым махом шестерых ребят родила... Сконфузились, красоточки! Простите великодушно невежду! Доктор сквернословия есмь и в древности по сему предмету неоднократно в трактирах диссертации защищал да на диспутах разнородных прощелыг побеждал. Простите, родные! Ох-хо-хо... так-то, пиши, что хочешь, все с рук сойдет. Прежде не то было! Мы если и писали ложь, так по тупоумию и глупости своей, а орудием ложь не имели, потому что то, чему работали, святыней почитали и оной поклонялись!

— Зачем это вы светлые пуговицы носите? — перебил Ивана Никитича какой-то франт с четырьмя хохлами на голове.

— Светлые пуговицы? Действительно, что они светлые... По привычке-с... В древности, лет двадцать тому назад, я заказал портному сюртучишко; ну а он, портной-то, по ошибке пришил вместо черных пуговок светлые. Я и привык к светлым пуговкам, потому что тот сюртучишко лет семь таскал... Ну, так вот-с, сударики мои, как прежде было... Слушают красоточки, голубчики, слушают меня, старикашку, родненькие... Хи-хи-хи-с... Дай бог вам здоровья! Красавицы мои неземные! Жить бы вам сорок лет тому назад, когда молод был и пламенем огненным сердца зажигать в состоянии был. Рабом был бы, девицы, и на коленях дырки бы себе... Смеются, цветики!.. Ох, вы, мои... Почтили старца вниманием своим.

— Вы теперь пишете что-нибудь? — перебила расходившегося Ивана Никитича курносенькая барышня.

— Пишу ли? Как не писать? Не зарюю, царица души моя, таланта своего до самой могилы! Пишу! Разве не читали? А кто, позвольте вас спросить, в семьдесят шестом году корреспонденцию в «Голосе» поместил? Кто? Не читали разве? Славная корреспонденция! В семьдесят седьмом году писал в тот же «Голос», — редакция уважаемой газеты нашла статью мою

для печатания неудобной... Хе-хе-хе... Неудобной... Экася!.. Статья моя с душком была, знаете ли, с душком некоторым. «У нас, — пишу, — есть патриоты видимые, но темна вода во облацех касательно того, где патриотизм их помещается: или в сердцах, или в карманах?» Хе-хе-хе... Душок-с... Далее: «Вчера, — пишу, — была отслужена соборная панихида по под Плевной убиенным. На панихиде присутствовали все начальствующие лица и граждане за исключением господина исправляющего должность т — го полицеймейстера, который блистал своим отсутствием, потому что окончание преферанса нашел для себя более интересным, чем разделение с гражданами общероссийской радости». Не в бровь, а в глаз! Хо-хо-хо! Не поместили! А я уж постарался тогда, друзья мои! В прошедшем, семьдесят девятом году посылал корреспонденцию в газету ежедневную «Русский курьер», в Москве издающуюся. Писал я, други мои, в Москву о школах уезда нашего, и корреспонденция моя была помещена, и теперь я даром «Курьера русского» получаю. Вона как! Удивляетесь? Гениям удивляйтесь, а не нолям! Нолик есмь! Эхе-хе-х! Пишу редко, господа почтенные, очень редко! Бедна наша Т. событиями, кои бы описать я мог, а ерундистики писать не хочется, самолюбив больно, да и совести своей опасаясь. Газеты вся Россия читает, а для чего России Т.? Для чего ей мелочами надоедать? Для чего ей знать, что в нашем трактире мертвое тело нашли? А прежде-то как я писал, прежде-то, во времена бны, во времена... Писал я тогда в «Северную пчелу», в «Сын отечества», в «Московские»... Белинского современником был, Булгарина единожды в скобочках ущипнул... Хе-хе-хе... Не верите? Ей-богу! Однажды стихотворение насчет воинственной доблести написал... А что я, други мои, потерпел в то время, так это одному только богу Саваофу известно... Вспоминаю себя тогдашнего и в умиление прихожу. Молодцом и удалцом был! Страдал и мучился за идеи и мысли свои; за поползновение к труду благородному мучения принимал. В сорок шестом году за корреспонденцию, помещенную мною в «Московских ведомостях», здешними мещанами так избит был, что три

месяца после того в больнице на черных хлебах пролежал. Надо полагать, враг мой дорого мещанам за жестокосердие заплатил: так отдубасили раба божия, что даже и теперь последствия указать могу. А однажды это призывает меня, в пятьдесят третьем году, городничий здешний, Сысой Петрович... Вы его не помните, и радуйтесь, что не помните. Воспоминание о сем человеке есть горчайшее из всех воспоминаний. Призывает он меня и говорит: «Что это ты там в «Пчеле» наклеузничал, а?» А как я там наклеузничал? Писал я, знаете ли, просто, что у нас шайка мошенников завелась и притоном своим трактирчик Гуськова имеет... Трактирчика этого теперь и следа уже нет; в шестьдесят пятом году снят был и место свое бакалейному магазину господина Лубцоватского уступил. В конце корреспонденции я чуточку душкá подпустил. Взял да и написал, знаете ли: «Не мешало бы, в силу упомянутых причин, полиции обратить внимание на трактир г. Г.». Заорал на меня и затоптал ногами Сысой Петрович. «Без тебя не знаю, что ли? Указывать ты мне, морда, станешь? Наставник ты мой, а?» Кричал, кричал, да и засадил меня, трепещущего, в холодную. Три дня и три ночи в холодной просидел, Иону с китом припоминая, унижения всяческие претерпевая... Не забыть мне сего до помрачения памяти моей! Ни один клоп, никакая, с позволения, вошка — никакое насекомое, еле видимое, не было никогда так уничижено, как унизил меня Сысой Петрович, царство ему небесное! А то как отец благочинный, отец Панкратий, коего я юмористически в мыслях своих отцом перочинным называл, где-то по складам прочел про какого-то благочинного и вообразить изволил, что будто это про него написано и будто я по легкомыслию своему написал; а то вовсе не про него было написано и не я написал. Иду я однажды мимо собора, вдруг как свиснет меня кто-то сзади по спине да по затылку палкой, знаете ли; раз свиснет, да в другой раз, да и в третий... Тьфу ты пропасть, что за комиссия? Оглядываюсь, а это отец Панкратий, духовник мой... Публично!! За что? За какую вину? И это перенес я со смирением... Много терпел я, друзья мои!

Стоявший возле именитый купец Грыжев усмехнулся и похлопал по плечу Ивана Никитича.

— Пиши,— сказал он,— пиши! Почему не писать, коли можешь? А в какую газету писать станешь?

— В «Голос», Иван Петрович!

— Прочесть дашь?

— Хе-хе-хе... Всенепременно-с.

— Увидим, каких делов ты мастер. Ну, а что же ты писать станешь?

— А вот если Иван Степанович что-нибудь на прогимназию пожертвует, то и про них напишу!

Иван Степанович, бритый и совсем не длиннополый купец, усмехнулся и покраснел.

— Что ж, напиши! — сказал он. — Я пожертвую. Отчего не пожертвовать? Тысячу рублей могу...

— Ну те?

— Могу.

— Да нет?

— Ну вот еще... Разумеется, могу.

— Вы не шутите?.. Иван Степанович!

— Могу... Только вот что... Ммм... А если я пожертвую, да ты не напишешь?

— Как это можно-с? Слово твердо, Иван Степаныч?

— Оно-то так... Гм... Ну, а когда же ты напишешь?

— Очень скоро-с, даже очень скоро-с... Вы не шутите, Иван Степаныч?

— Зачем шутить? Ведь за шутки ты мне денег не заплатишь? Гм... Ну, а если ты не напишешь?

— Напишу-с, Иван Степаныч! Побей меня бог, напишу-с!

Иван Степанович наморщил свой большой, лоснящийся лоб и начал думать. Иван Никитич засеменял ножками, заикал и впился своими сияющими глазками в Ивана Степановича.

— Вот что, Никита... Никитич... Иван, что ля? Вот что... Я дам... дам две тысячи серебра, и потом, может быть, еще что-нибудь... этакое. Только с таким условием, братец ты мой, чтоб ты взаправду написал...

— Да ей-богу же напишу! — запищал Иван Никитич.

— Ты напиши, да прежде чем посылать в газету — дашь мне прочитать, а тогда я и две тысячи выложу, ежели хорошо будет написано...

— Слушаю-с... Эх... Эх-гм... Слушаю и понимаю, благородный и великодушный человек! Иван Степанович! Будьте столь достолюбезны и снисходительны, не оставьте ваше обещание без последствий, да не будет оно одним только звуком! Иван Степанович! Благодаритель! Господа почтенные! Пьяный я человек, но постигаю умом своим! Гуманнейший филантроп! Кланяюсь вам! Потщитесь! Послужите образованию народному, излейте от щедрот своих... Ох, господи!

— Ладно, ладно... Увидишь там...

Иван Никитич вцепился в полу Ивана Степановича.

— Великодушнейший! — завизжал он. — Присоедините длань свою к дланям великих... Подлейте масла в светильник, вселенную озаряющий! Позвольте выпить за ваше здоровье. Выпью, милостивый, выпью! Да здравств...

Иван Никитич раскашлялся и выпил рюмку водки. Иван Степанович посмотрел на окружающих, мигнул глазами на Ивана Никитича и вышел из гостиной в залу. Иван Никитич постоял, немного подумал, погладил себя по лысине и чинно прошел между танцующими в гостиную.

— Оставайтесь здоровы, — обратился он к хозяину, расшаркиваясь. — Спасибо за ласки, Егор Никифорович! Век не забуду!

— Прощай, братец! Заходи и вдругорядь. В магазин заходи, коли время: с молодцами чайку попьешь. На женины именины приходи, коли желаешь, — речь скажешь. Ну, прощай, дружок!

Иван Никитич с чувством пожал протянутую руку, низко поклонился гостям и засеменял в прихожую, где среди множества шуб и шинелей терялась и его маленькая поношенная шинелька.

— На чаек бы с вашего благородия! — предложил ему любезно лакей, отыскивая его шинель.

— Голубчик ты мой! Мне и самому-то в пору на чаек просить, а не токмо, что давать...

— Вот она, ваша шинель! Это она, ваше полублагородие? Хоть муку сей! В этой самой шинели не по гостям ходить, а в свинюшнике препровождение иметь.

Сконфузившись и надевши шинель, Иван Никитич подсушил брюки, вышел из дома т—го богача и туза, Егора Л—ва, и направился, шлепая по грязи, к своей квартире.

Квартировал он на самой главной улице, во флигеле, за который платил шестьдесят рублей в год наследникам какой-то купчихи. Флигель стоял в углу огромнейшего, поросшего репейником двора и выглядывал из-за деревьев так смиренно, как мог выглядеть... один только Иван Никитич. Он запер на щеколду ворота и, старательно обходя репейник, направился к своему серому флигелю. Откуда-то заворчала и лениво гавкнула на него собака.

— Стамеска, Стамеска, это я... свой! — пробормотал он. Дверь во флигеле была не заперта. Вычистивши щеточкой сапоги, Иван Никитич отворил дверь и вступил в свое логовище. Крякнув и снявши шинель, он помолился на икону и пошел по своим, освещенным лампадкою, комнатам. Во второй и последней комнате он опять помолился иконе и на цыпочках подошел к кровати. На кровати спала хорошенькая девушка лет двадцати пяти.

— Манечка, — начал будить ее Иван Никитич, — Манечка!

— Ввввв...

— Проснись, дочь моя!

— А ня... ня... ня... ня...

— Манечка, а Манечка! Пробудись от сна!

— Кого там? Че... го, а? а?

— Проснись, ангел мой! Поднимись, кормилица моя, музыкантша моя... Дочь моя! Манечка!

Манечка повернулась на другой бок и открыла глаза.

— Чего вам? — спросила она.

— Дай мне, дружок, пожалуйста, два листика бумаги!

— Ложитесь спать!

— Дочь моя, не откажи в просьбе!

— Для чего вам?
— Корреспонденцию в «Голос» писать.
— Оставьте... Ложитесь спать! Там я вам ужинать оставила!

— Друг мой единственный!
— Вы пьяны? Прекрасно... Не мешайте спать!
— Дай бумаги! Ну что тебе стоит встать и уважить отца? Друг мой! Что же мне, на колена становиться, что ли?

— Аааа... черррт! Сейчас! Уходите отсюда!

— Слушаю.

Иван Никитич сделал два шага назад и спрятал свою голову за ширмы. Манечка спрыгнула с кровати и плотно укуталась в одеяло.

— Шляется! — проворчала она.— Вот еще наказание-то! Матерь божия, скоро ли это кончится наконец! Ни днем, ни ночью покоя! Ну, да и бессовестный же вы!..

— Дочь, не оскорбляй отца!

— Вас никто не оскорбляет! Нате!

Манечка вынула из своего портфеля два листа бумаги и швырнула их на стол.

— Мерси, Манечка! Извини, что беспокоил!

— Хорошо!

Манечка упала на кровать, укрылась одеялом, съежилась и тотчас же заснула.

Иван Никитич зажег свечу и сел у стола. Немного подумав, он обмакнул перо в чернила, перекрестился и начал писать.

На другой день, в восемь часов утра, Иван Никитич стоял уже у парадных дверей Ивана Степановича и дрожащей рукой дергал за звонок. Дергал он целых десять минут и в эти десять минут чуть не умер от страха за свою смелость.

— Чево надоть? Звонишь! — спросил его лакей Ивана Степановича, отворяя дверь и протирая фалдой поношенного коричневого сюртука свои заспанные и распухшие глаза.

— Иван Степанович дома?

— Барин? А где ему быть-то? А чево надоть?

— Вот... я к нему.

— Из почты, что ль? Спит он!

— Нет, от себя... Собственно говоря...

— Из чиновников?

— Нет... но... можно обождать?

— Отчего не можно? Можно! Идите в переднюю!

Иван Никитич бочком вошел в переднюю и сел на диван, на котором валялись лакейские лохмотья.

— Аукрррмм... Кгмбрррр... Кто там? — раздалось в спальне Ивана Степановича. — Сережка! Пошел сюда!

Сережка вскочил и как сумасшедший побежал в хозяйскую спальню, а Иван Никитич испугался и начал застегиваться на все пуговицы.

— А? Кто? — доносилось до его ушей из спальни. — Кого? Языка у тебя, скотины, нету? Как? Из банка? Да говори же! Старик?

У Ивана Никитича застучало в сердце, помутилось в глазах и похолодело в ногах. Приближалась важная минута!

— Зови его! — послышалось из спальни.

Явился вспотевший Сережка и, держась за ухо, повел Ивана Никитича к Ивану Степановичу. Иван Степаныч только что проснулся: он лежал на своей двуспальной кровати и выглядывал из-под ситцевого одеяла. Возле него, под тем же самым одеялом, храпел толстяк с серебряною медалью. Ложась спать, толстяк не нашел нужным раздеться: кончики его сапогов выглядывали из-под одеяла, а серебряная медаль сползла с шеи на подушку. В спальне было и душно, и жарко, и накурено. На полу красовались осколки разбитой лампы, лужа керосина и клочья женской юбки.

— Чего тебе? — спросил Иван Степанович, глядя в лицо Ивана Никитича и морща лоб.

— Извиняюсь за причиненное беспокойство, — отчеканил Иван Никитич, вынимая из кармана бумагу. — Высокопочтенный Иван Степанович, позвольте...

— Да ты, послушай, соловьев не разводи, у меня им есть нечего: говори дело. Чего тебе?

— Я вот с тою целью, чтоб эк... эк-гм, почтительнейше преподнести...

— Да ты кто таков?

— Я-с? Эх... эх... гм... Я-с? Забыли-с? Я корреспондент.

— Ты? Ах да. Теперь помню. Зачем же ты?

— Корреспонденцию обещанную на прочтение преподнести пожелал...

— Уж и написал?

— Написал-с.

— Чего так скоро?

— Скоро-с? Я до самой сей поры писал.

— Гм... Да нет, ты... не так... Ты бы подольше пописал. Зачем спешить? Поди, братец, еще попиши.

— Иван Степанович! Ни место, ни время стеснить таланта не могут... Хоть год целый дайте мне — и то, ей-богу, лучше не напишу!

— А ну-ка, дай сюда!

Иван Никитич раскрыл лист и обеими руками поднес его к голове Ивана Степановича.

Иван Степанович взял лист, прищурил глаза и начал читать: «У нас, в Т..., ежегодно воздвигается по нескольку зданий, для чего выписываются столичные архитекторы, получаютя из-за границы строительные материалы, затрачиваются громадные капиталы — и все это, надо признаться, с целями меркантильными... Жалко! Жителей у нас 20 тысяч с лишком, Т. существует уже несколько столетий, здания воздвигаются; а нет даже и хижины, в которой могла бы приютиться сила, отрезающая корни, глубоко пускаемые невежеством... Невежество...» Что это написано?

— Это-с? *Horribile dictu...*¹

— А что это значит?..

— Бог его знает, что это значит, Иван Степанович! Если пишется что-нибудь нехорошее или ужасное, то возле него и пишется в скобочках это выражение.

— «Невежество...» Ммм... «залегает у нас толстыми слоями и пользуется во всех слоях нашего общества полнейшим правом гражданства. Наконец-таки и на нас повеяло воздухом, которым дышит вся образо-

¹ Страшно сказать (лат.).

ванная Россия. Месяц тому назад мы получили от господина министра разрешение открыть в нашем городе прогимназию. Разрешение это было встречено у нас с неподдельным восторгом. Нашлись люди, которые не ограничились одним только изъявлением восторга, а пожелали еще также выказать свою любовь и на деле. Наше купечество, никогда не отвечающее отказом на приглашения — поддержать денежно какое-либо доброе начинание, и теперь также не кивнуло отрицательно головою...» Черррт! Скоро написал, а как важно! Ай да ты! Ишь! «Считаю нужным назвать здесь имена главных жертвователей. Вот их имена: Гурий Петрович Грыжев (2000), Петр Семенович Алебастров (1500), Авив Инокентьевич Потрошилов (1000) и Иван Степанович Трамбонов (2000). Последний обещал...» Кто это последний?

— Последний-с? Это вы-с!

— Так, я по-твоему, значит, последний?

— Последний-с... То есть... эк...эк... гм... в смысле...

— Так я последний?

Иван Степанович поднялся и побагровел.

— Кто последний? Я?

— Вы-с, только в каком смысле?

— В таком смысле, что ты дурак! Понимаешь? Дурак! На тебе твою корреспонденцию!

— Ваше высокостеп... Батюшка Иван... Иван...

— Так я последний? Ах ты... прыщ ты этакой! Гусь! — Из уст Ивана Степановича посыпались роскошные выражения, одно другого непечатнее. Иван Никитич обезумел от страха, упал на стул и завертелся.

— Ах ты ссвинья! Последний?!? Иван Степанов Трамбонов последним никогда не был и не будет! Ты последний! Вон отсюда, чтобы и ноги твоей здесь не было!

Иван Степанович с остервенением скомкал корреспонденцию и швырнул комком в лицо корреспондента газет московских и санкт-петербургских... Иван Никитич покраснел, поднялся и, махая руками, засемячил из спальни. В передней встретил его Сережка:

с глупейшей улыбкой на глупом лице он отворил ему дверь. Очутившись на улице, бледный, как бумага, Иван Никитич побрел по грязи на свою квартиру. Часа через два Иван Степанович, уходя из дома, увидел в передней, на окне, фуражку, забытую Иваном Никитичем.

— Чья это шапка? — спросил он Сережку.

— Да того миздрюшки, что наемдни прогнать изволили.

— Выбрось ее! Чево ей здесь валяться?

Сережка взял фуражку и, вышедши на улицу, бросил ее в самую жидкую грязь.

СЕЛЬСКИЕ ЭСКУЛАПЫ

Земская больница. Утро.

За отсутствием доктора, уехавшего с становым на охоту, больных принимают фельдшера: Кузьма Егоров и Глеб Глебыч. Больных человек тридцать. Кузьма Егоров, в ожидании, пока запишутся больные, сидит в приемной и пьет цикорный кофе. Глеб Глебыч, не умывавшийся и не чесавшийся со дня своего рождения, лежит грудью и животом на столе, сердится и записывает больных. Записывание ведется ради статистики. Записывают имя, отчество, фамилию, звание, место жительства, грамотен ли, лета и потом, после приемки, род болезни и выданное лекарство.

— Черт знает что за перья! — сердится Глеб Глебыч, выводя в большой книге и на маленьких листочках чудовищные мыслете и азы.— Что это за чернила? Это деготь, а не чернила! Удивляюсь я этому земству! Велит больных записывать, а денег на чернила две копейки в год дает! — Подходи! — кричит он.

Подходят мужик с закутанным лицом и «бас» Михайло.

— Кто таков?

— Иван Микулов.

— А? Как? Говори по-русски!

— Иван Микулов.

— Иван Микулов! Не тебя спрашиваю! Отойди! Ты! Звать как?

Михайло улыбається.

— Нешто не знаєшь? — спрашиваєт он.

— Чего же смеєшься? Черт их знаєт! Тут некогда, время дорого, а они с шутками! Звать как?

— Нешто не знаєшь? угорел?

— Знаю, но должен спросить, потому что форма такая... А угореть не отчего... Не такой пьяница, как ваша милость. Не запоем пьем... Имя и фамилия?

— Зачем же я стану тебе говорить, ежели ты сам знаєшь? Пять лет знаєшь... Аль забыл на шестой?

— Не забыл, но форма! Понимаєшь? Или ты не понимаєшь русского языка? Форма!

— Ну, коли форма, так черт с тобой! Пиши! Михайло Федотыч Измученко...

— Не Измученко, а Измученков.

— Пушай будет Измученков... Как хочешь, лишь бы вылечил... Хоть Шут Иваныч... Все одно...

— Сословия какого?

— Бас.

— Лет сколько?

— А кто ж его знаєт! На крестинах не был, не знаю.

— Сорок будет?

— Может, и будет, а может, и не будет. Пиши как знаєшь.

Глеб Глебыч смотрит некоторое время на Михайлу, думает и пишет 37. Потом, подумав, зачеркивает 37 и пишет 41.

— Грамотен?

— А нешто певчий может быть неграмотный? Голова!

— При людях ты должен мне «вы» говорить, а не кричать так. Следующий! Кто таков? Как звать?

— Микифор Пуголова, из Хапловой.

— Хапловских не лечим! Следующий!

— Сделайте такую божескую милость... Ваше высокоблагородие. Верстов двадцать пешком шел...

— Хапловских не лечим! Следующий! Отойти! Не курить здесь!

— Я не курю, Глеб Глебыч!

— А что это у тебя в руке?

— Это у меня палец завязан, Глеб Глебыч!

— А не цигарка? Хапловских не лечим! Следующий!..

Глеб Глебыч оканчивает записывание. Кузьма Егоров напивается кофе, и начинается прием. Первый берет на себя фармацевтическую часть — и идет в аптеку, второй — терапевтическую — и надевает клеенчатый фартук.

— Марья Заплаксина! — вызывает по книге Кузьма Егоров.

— Здесь, батюшка!

В приемную входит маленькая, в три погибели сморщенная, как бы злым роком приплюснутая, старушонка. Она крестится и почтительно кланяется эскулапствующему.

— Кгм... Затвори дверь!.. Что болит?

— Голова, батюшка.

— Так... Вся или только половина?

— Вся, батюшка... как есть вся...

Головы так не кутай... Сними эту тряпку! Голова должна быть в холоде, ноги в тепле, корпус в посредственном климате... Животом страдаешь?

— Страдаю, батюшка...

— Так... А ну-ка потяни себя за нижнюю веку! Хорошо, довольно. У тебя малокровие... Я тебе капель дам... По десяти капель утром, в обед и вечером.

Кузьма Егоров садится и пишет рецепт.

«Rp. Liquor ferri ¹ 3 гр. того, что на окне стоит, а то, что на полке, Иван Якавлич не велели без него распечатывать по десяти капель три раза в день Марьи Заплаксиной».

Старуха спрашивает, на чем принимать капли, кланяется и уходит. Кузьма Егоров бросает рецепт в аптеку через окошечко, сделанное в стене, и вызывает следующего больного.

— Тимофей Стукотей!

— Здесь!

¹ Раствор железа (лат.).

В приемную входит Стукотей, тонкий и высокий, с большой головой, очень похожий издалика на палкус набалдашником.

— Что болит?

— Сердце, Кузьма Егорыч.

— В каком месте?

Стукотей показывает под ложечку.

— Так... Давно?

— С самой святой... Давеча пешком шел, так разов десять садился... Знобит, Кузьма Егорыч... В жар бросает, Кузьма Егорыч.

— Гм... Еще что болит?

— Признаться сказать, Кузьма Егорыч, все болит, ну, а уж вы лечите одно сердце, а насчет другого прочего — не беспокойтесь... Другое пусть бабы лечат... Вы мне спиртику какого-нибудь дайте, чтоб к сердцу не подкатывало. К сердцу все это так подкатывает, подкатывает, а потом как подхватит, значит, вот в это самое место, как подхватит, так и... того... Спину дерет... В голове точно камень... И кашель тоже.

— Appetit есть?

— Ни боже мой...

Кузьма Егоров подходит к Стукотею, нагиная его и давит ему кулаком под ложечку.

— Этак больно?

— Ой... ой... ввв... Больно!

— А этак больно?

— Ввв... Смерть!!

Кузьма Егоров задает ему несколько вопросов, думает и зовет на помощь Глеба Глебыча. Начинается консилиум.

— Покажи язык! — обращается Глеб Глебыч к больному.

Больной широко раскрывает рот и вываливает язык.

— Высунь больше!

— Больше невозможно, Глеб Глебыч.

— На этом свете все возможно.

Глеб Глебыч смотрит некоторое время на больного, о чем-то мучительно думает, пожимает плечами и молча выходит из приемной.

— Должно быть, катар! — кричит он из аптеки.

— Дайте ему olei ricini¹ и ammonii caustici!² — кричит Кузьма Егоров.— Растирать живот утром и вечером! Следующий!

Больной выходит из приемной и идет к окошечку, ведущему из коридора в аптеку. Глеб Глебыч наливает треть чайного стакана касторки и подает Стукотею. Стукотей медленно выпивает, облизывается, закрывает глаза и трет палец о палец, то есть просит заесть чемнибудь.

— Это тебе спирт! — кричит Глеб Глебыч, подавая ему стлянку с нашатырным спиртом.— Растирать живот суконной тряпкой утром и вечером... Посуду вернуть! Не облакачиваться! Отойди!

К окошечку, закрывая рот шалью и ухмыляясь, подходит кухарка отца Григория, Пелагея.

— Что вам угодно-с,— спрашивает ее Глеб Глебыч.

— Кланялись вам, Глеб Глебыч, Лизавета Григорьевна и просили у вас мятных лепешек.

— С удовольствием-ссс... Для прекрасных особ женского пола на все готов-с!

Глеб Глебыч достает с полки банку с мятными лепешками и полбанки высыпает в платок Пелагее.

— Скажите им,— говорит он,— что Глеб Глебыч улыбался от чувств, когда лепешки давал. Письмо мое получили?

— Получили и порвали. Лизавета Григорьевна любовью не занимается.

— Какая же она гризетка! Скажите ей, что она гризетка!

— Михайло Измученков! — вызывает Кузьма Егоров. В приемную входит «бас» Михайло.

— Михайлу Федотычу! Наше глубочайшее! Что болит?

— Горло, Кузьма Егорыч! Пришел к вам, собственно говоря, чтоб вы, с вашего позволения, относительно моего здоровья того... Не так больно, как убыточно... Через болезнь петь не могу, а регент за

¹ касторового масла (лат.).

² нашатырного спирта (лат.).

каждую обедню сорок копеек вычитает. За всюнощную вчера четвертак вычел. Нонче у господ панихида была, певчим дадено было три рубля, и на мою долю чрез болезнь ничего не досталось. И, с вашего позволения, относительно глотки могу вам предположить, что очень уж дерет и хрипит. Точно у тебя в горле какой-то кот сидит и лапами того... Кгм... Кгм...

— От горячих напитков, стало быть?

— Не могу сказать, отчего, собственно, болезнь моя произошла, но могу выразиться вам, что, с вашего позволения, горячие напитки на теноров действуют, а на басов нисколько. Бас от напитков, Кузьма Егорыч, гуще делается и представительнее... На бас действует простуда больше.

Из окошечка высовывается голова Глеба Глебыча.

— Чего старухе-то дать? — спрашивает Глеб Глебыч.— Железо, что на окне стояло, вышло. Я распечатаю то, что на полке.

— Нет, нет! Не приказывал Иван Яковлич! Сердиться будет.

— Чего же ей дать?

— Чего-нибудь!

«Дать чего-нибудь» на языке Глеба Глебыча значит «дать соды».

— Горячих напитков употреблять не следует.

— Я и так уже три дня не употребляю... У меня от простуды... Действительно, водка хрипоту придает басу, но от хрипоты октава, Кузьма Егорыч, как вам известно, лучше... Без водки нельзя нашему брату... Что за певчий, ежели он водки не употребляет? Не певчий, а одна только, с вашего позволения, ирония!.. Не будь у меня такой должности, я и в рот бы ее, проклятой, не взял. Водка есть кровь сатаны...

— Вот что... Я дам вам порошок... Вы разведите его в бутылке и полощите себе горло утром и вечером.

— Глотать можно?

— Можно.

— Очень хорошо... Досадно бывает, ежели глотать нельзя. Полощешь, полощешь, да и выплюнешь — жалко! И вот о чем я хотел вас, собственно говоря,

спросить... А к тому, как я животом слаб, и по этой самой причине, с вашего позволения, каждый месяц кровь себе пущаю и травку пью, то можно ли мне в законный брак вступить?

Кузьма Егоров некоторое время думает и говорит:

— Нет, не советую!

— Чувствительно вам благодарен... Славный вы у нас целитель, Кузьма Егорыч! Лучше докторов всяких! Ей-богу! Сколько душ за вас богу молится! И-и-и!.. Страасть!

Кузьма Егоров скромно опускает глазки и храбро прописывает *Natri bicarbonici*, то есть соды.

НЕ НУЖНАЯ ПОБЕДА

Рассказ

I

Солнце было на полдороге к западу, когда Цвибуш и Илька-Собачьи Зубки свернули с большой дороги и направились к саду графов Гольдауген. Было жарко и душно.

В июне венгерская степь дает себя знать. Земля трескается, и дорога обращается в реку, в которой вместо воды волнуется серая пыль. Ветер, если он и есть, горяч и сушит кожу. В воздухе тишина от утра до вечера. Тишина эта наводит на путника тоску. Одни только роскошные, всему свету известные венгерские сады и виноградники не блекнут, не желтеют и не сохнут под жгучими лучами степного солнца. Они, разбросанные рукою культурного человека по сторонам многочисленных рек и речек, от ранней весны до середины осени щеголяют своею зеленью, манят к себе прохожего и служат убежищем всего живого, бегущего от солнца. В них царят тень, прохлада и чудный воздух.

Цвибуш и Илька пошли по длинной аллее. Эта аллея была кратчайшее расстояние между калиткой, выходящей в степь, и калиткой, глядящей в графский сад. Она пересекала сад на две равные части.

— Эта аллея напоминает мне линейку, которой во время оно, в школе, хлопали твоего отца по рукам, — сказал Цвибуш, стараясь увидеть конец аллеи. Конец ее пропадал и сливался с зеленою далью. Солнце не касалось ее. Она была шириною не более сажени, а де-

ревья, стоящие по ее сторонам, посылали свои ветви навстречу друг другу. Это был туннель, устроенный природой из масличных, дубовых, липовых и ольховых ветвей. Цвибуш и Илька вошли как под крышу. Толстый и коротконогий Цвибуш обливался потом. Лицо его было багрово, как вареная свекла. Он то и дело утирал полую короткой куртки свой влажный подбородок. Он пыхтел и сопел, как плохо смазанный молотильный паровик.

— Это — божественная прохлада, мой зяблик! — бормотал он, расстегивая своими жирными пальцами жилетку и сорочку. — Клянусь моей скрипкой. Не находишь ли ты, что мы из ада попали в рай?

Лицо Ильки было не бледней ее розовых губок. На ее большом лбу и горбинке носа светились капельки пота. Бедная девочка страшно утомилась и едва держалась на ногах. Ремень от арфы давил ей плечо, а острый край педеликатно ерзал по боку. Тень заставила ее несколько раз улыбнуться и глубже вздохнуть. Она сняла башмаки и пошла босиком. Маленькие красивые босые ноги с удовольствием зашлепали по холодному песку.

— Не посидеть ли нам? — предложил Цвибуш. — Аллея длинна, как язык старой девки. Она тянется версты на три!

— Нет, папа! Если мы сядем, то трудно будет потом вставать. Лучше дойдем до конца и там уже отдохнем.

— Так... Сегодня, мой зяблик, день твоего рождения. Что-то подарит тебе судьба, какой подарочек?

— Я желала бы, чтобы судьба подарила мне сегодня обед...

— Ишь чего захотела! Ха-ха! Много захотела! А не жирно ли будет, моя девочка? Не хочешь ли еще и поужинать?

— Давно уж я не ела ничего горячего... Ты не можешь вообразить себе, папа, как у меня пересохло в горле от сухого хлеба и копченой колбасы! Если бы судьба предложила сегодня мне в подарок что-нибудь на выбор: десять лишних лет жизни или чашку бульона, — я, не задумываясь, выбрала бы второе.

— И отлично бы сделала. Самый плохой бульон во много раз лучше нашей дурацкой жизни.

— Я выбрала бы второе и съела бы, и с каким аппетитом! Мне ужасно есть хочется.

Цвибуш с участием поглядел на Ильку и издал своими толстыми губами свистящий звук. Он всегда издавал отрывистые, свистящие звуки, когда его что-нибудь тревожило или заставляло задумываться. Помолчав немного, он обратил на Ильку свои густые отвисшие брови, из-за которых выглядывали улыбающиеся глаза, и сказал:

— Ну, подожди, потерпи... Я предчувствую, что подарок, который поднесет тебе сегодня судьба, будет достоин нашего внимания... Хе-хе... Я предчувствую, что мы недаром плетемся ко двору благородных графов Гольдаугенов! Хе-хе... Когда мы войдем во двор и заиграем, нас засыпят презренным металлом. Мы набьем наши карманы монетой. Ильку угостят обедом... Хе-хе... Мечтай, Илька! Чего не бывает на свете? Авось все, что я говорю, правда!

Илька поправила на плече ремень от арфы и засмеялась.

— Нас послушает сам граф! — продолжал Цвибуш. — И вдруг, душа моя, ему, графу, залезет в голову мысль, что нас не следует гнать со двора! И вдруг Гольдауген послушает тебя, улыбнется... А если он пьян, то, клянусь тебе моей скрипкой, он бросит к твоим ногам золотую монету! Золотую! Хе-хе-хе. И вдруг, на наше счастье, он сидит теперь у окна и пьян, как сорок тысяч братьев! Золотая монета принадлежит тебе, Илька! Хо-хо-хо...

— Почему же непременно пьяный? — спросила Илька.

— Потому, что пьяный добрей и умней трезвого. Пьяный больше любит музыку, чем трезвый. О моя сладкоголосая квинта! Не будь на этом свете пьяных, недалеко бы ушло искусство! Молись же, чтобы те, которые будут нас слушать, были пьяны!

Илька задумалась. Да, Цвибуш немножко прав! До сих пор монеты бросали ей большею частью одни пьяные. Не будь пьяных, ей и ее отцу пришлось бы голодать чаще, много чаще. Играть им чаще всего приходилось у трактиров и у кабаков, а не перед чистень-

ними крылечками трезвых бургеров. Слушали их больше мужчины, отличительной чертой которых служат обрюзгшее лицо, большой красный нос и бессвязные, пошлые слова. Илька задумалась на эту невеселую тему, и ей стало горько, досадно. Ей стало понятно теперь, почему на козлиное пение и пошлые шуточки ее отца обращается больше внимания, чем на ее песни, почему очень часто просят ее пение заменить пляской. Нередко песня ее прерывалась на середине и заменялась бессмысленной пляской под визжанье отцовской скрипки. До сих пор еще ни один слушатель не поинтересовался узнать, кто сочинил те песни, которые она поет с таким чувством? «Песня о трех рыцарях» и бессодержательная плясовая выслушивались с одинаковым интересом.

— Трезвые презирают нас с тобой, потому что видят в нас попрошаек, а пьяные допускают нас к себе, потому что мы своей музыкой заглушаем несколько их головную боль.

Этими словами Цвибуш довел досадующую Ильку до уныния. Ей захотелось заплакать и поломать себе что-нибудь... хоть пальцы, например. Но не ломаются пальцы, как ни крути и не верти их; пришлось ограничиться одними только слезами.

— Приветствую дом почтенных графов Гольдау-генов! — пробормотал Цвибуш.

Он увидел калитку, сотканную из тонкой проволоки, увитой цветущим горошком.

— Приветствую! Человек, не имеющий предков, вступает в логовище людей, имеющих предков, предков-негодяев! Лучше ничто, чем подлое! В семнадцатом столетии граф Карл Гольдауген, женившись не на дворянке, умер от угрызения совести, а его брат, Мориц, плясал целый месяц от радости после того, как святой отец разрешил ему развестись с женщиной, которую он, Мориц, обокрал и вогнал в чухотку. Видишь ты, моя птичка, этот дом? Если бы можно было тебе раскрыть историю этого дома и взглянуть в нее, — ты воскликнула бы: «Скотина человек!» — и ты, не знающая ни одного скверного слова, выбранилась бы так, как бранятся... разве одни только

русские! Помнишь, милая, русских? Их слово так же крепко, как и их холод. Да будут наши инструменты настроены!

Цвибуш настроил скрипку. Илька фартуком отерла с арфы пыль.

— Судьба, делаем тебе вызов! Поднимай несуществующую перчатку!

Цвибуш и Илька вытянулись, приняли веселые физиономии и молодцами вошли в графский двор. Несмотря на жаркое время, двор не был пуст. На нем кипели работы. Человек двадцать рабочих в синих блузах, запыленные, закопченные и вспотевшие, мостили асфальтом двор. Из трех чанов валил сизый дым.

Цвибуш и Илька бойко подошли к самому дому. Окинув взглядом окна, они увидели в самом большом окне большую человеческую физиономию... Физиономия была красна.

— Граф! — пробормотал Цвибуш.— Кажется, он! Сбывается мое пророчество! И пьян к тому же... Начинай!

Илька ударила по арфе. Цвибуш топнул ногой и поднес к подбородку скрипку. Рабочие, услышав музыку, обернулись. Красная физиономия в окне открыла глаза, нахмурилась и поднялась выше. Позади красной рожи мелькнуло женское лицо, мелькнули руки... Окно распахнулось...

— Назад, назад! — послышалось с окна. — Прочь со двора! Вы! Музыканты, чтобы черт вас взял с вашей музыкой!

Красная физиономия высунулась из окна и замахала рукой.

— Играйте, играйте! — закричал женский голос.

Рабочие оставили работу и, почесываясь, подошли к музыкантам. Они стали впереди, чтобы им было видно лицо Ильки.

— «Есть на свете много стран,— запела Илька, перебирая пальцами струны,— прекрасных, и светлых, как солнце, и богатых; и лучше же их всех Венгрия с своими садами, пастбищами, климатом, вином и быками, которые имеют рога в сажень длиною. Илька

любит эту страну. Она любит и людей, которые ее населяют».

Красная физиономия улыбнулась и масляными глазами уставилась на Ильку.

— «Люди ее хороши,— продолжала петь Илька.— Они красивы, храбры, имеют красивых жен. Нет тех людей, которые могли бы победить их на войне или в словесных спорах. Народы завидуют им. Один только и есть у них недостаток: они не знают песни. Песнь их жалка и ничтожна. Она не имеет задора. Звуки ее заставляют жалеть о Венгрии...»

— Господин Пихтерштай, главный управляющий его сиятельства, приказывает вам спеть что-нибудь повеселей! — пробасил подошедший к Ильке лакей в красной куртке.

Голос Ильки умолк. Девочке не удалось высказать до конца свою мысль.

— Повеселей? Гм... Скажите его сиятельству господину Пихтерштай, что его желание будет тщательно исполнено! Впрочем, я сам буду иметь честь объясняться с ним!

Сказавши это, Цвибуш снял шляпу, подошел к большому окну и шаркнул ногой.

— Вы приказываете,— спросил он, почтительно улыбаясь,— спеть что-нибудь повеселей?

— Да.

— Не прикажете ли спеть песню дипломатическую? Собственного моего сочинения! Эта песня решает один из существеннейших европейских, первой важности, вопросов. Вы имеете честь быть мадьяром, ваша светлость?

Красная физиономия выпустила из себя столб табачного дыма и милостиво кивнула губами.

— Приглашаю господ патриотов внимать! Могу ли я поручиться, господа, за скромность? Нет ли между вами...

Цвибуш окинул глазами рабочих. Те закивали головами и, заинтересованные, подошли ближе.

— «Что такое Австрия? — запел козлиным голосом Цвибуш.— Люди политики, князя земли, скажите мне, что такое Австрия? Не есть ли это винегрет, который

готовы проглотить жадные соседи? Да, они проглотили бы, если бы в этом винограде не было золотого ерша, которым можно подавиться. Этот ерш — Венгрия».

— Bravo, bravo! — забормотал толстяк.

— «Австрия есть птица, выращенная во сто цветов! — продолжал петь Цвибуш. — Она состоит из сотни членов. У нее много ног, много крыльев, много желудков, но голова только одна. Эта голова — Венгрия. Нападет зверь на птицу, проглотит все члены, но не раскусить ему черепа! Череп плотен, как слоновая кость».

— Bravo, bravo!

— «Есть язык французский, есть немецкий, есть русский, есть венгерский. Богатству венгерского языка удивляются все мудрецы. Поезжайте же, пожалуйста, в Вену и спросите, где живет тот сфинкс, который говорит по-австрийски?»

— Bravo, bravo! На тебе!

Крупная серебряная монета, сверкая, слетела с окна и со звоном покатила к ногам Цвибуша. Другая такая же монета ударила о башмак Ильки. Цвибуш поднял монету и закричал:

— Тысячу благодарностей! Пойду и выпью за здоровье вашей чести! Буду пить и, клянусь своей толстой мордой, не буду дышать! За ваше здоровье я буду пить двумя горлами: обыкновенным и дыхательным! Не до дыхания будет!

Цвибуш взмахнул шляпой. В это время в окне случилось нечто неожиданное. Красная физиономия побавровела, девушка вскрикнула, и окно внезапно захлопнулось. Рабочие попятились назад и вытянулись в струнку. Цвибуш махнул шляпой назад и почувствовал за шляпой некоторое препятствие. Он оглянулся и присел. Около него стояла на дыбах, испуганная неделikatной шляпой, красивая вороная лошадь. На лошади сидела высокая, стройная, известная всей Венгрии красавица, жена графа Гольдауген, урожденная баронесса фон Гейленштраль. Цвибуш увидел перед собой красивейшую женщину, полную красоты, молодости, достоинства и... гнева. Она усмирила лошадь и,

бледная, дрожащая от гнева, пускающая глазами молнии, взмахнула хлыстом.

— Негодяй! — прошептала она и чуть не слетела с седла, когда Цвибуш, оглушенный ударом, покачнулся и, падая на землю, своим большим, плотным телом ударился о передние ноги вороной лошади. Он не мог не упасть.

Удар пришелся по виску, щеке и верхней губе. Графиня била изо всей силы.

Другое женское лицо, лицо гетевской Гретхен и Ильки, окаймленное миллиардами белокурых волос, прекрасное и молодое, исказилось гневом и невыразимым отчаянием. Оно побледнело, искривилось... По нем пробежали судороги. Илька оскалила по-собачьи свои белые зубы, сделала шаг вперед и, не найдя на земле камня, пустила в графиню Гольдауген серебряной монетой. Монета коснулась только выющейся по ветру вуали и полетела к дому. Наступило странное, тяжелое молчание. Графиня и белокурая головка впились друг в друга глазами. Молчание длилось минуту. Графиня подняла хлыст, но, увидев бледное, несчастное, искаженное лицо, опустила медленно руку и медленно поехала к дому. Подъехав к крыльцу, она два раза оглянулась.

— Пусть они уйдут! — крикнула она.

Цвибуш поднялся, отряхнул пыль и, улыбаясь сквозь кровь, струившуюся по лицу, подошел к окаменевшей Ильке.

— Ты удивляешься, мой друг? — заговорил он.— Хо-хо! Твоего отца побили? Не удивляйся! Его побили не в первый, а в сорок первый раз! Пора привыкнуть!

Илька схватила отца за руку и, дрожа всем телом, припала к нему.

— О, как я счастлив! — заговорил Цвибуш, стараясь, чтобы кровь с его лица не капала на голову Ильки.— Как я счастлив! Как мне благодарить ее сиятельство! Моя скрипка цела! Я не раздавил своей скрипки!

И, схватив в одну руку арфу, а другой обхватив плечи Ильки, Цвибуш быстро зашагал обратно к аллее.

В ту самую минуту, когда покажется конец аллеи, выходящий в степь, нужно начать считать на левой стороне буковые деревья. Между восьмым и девятым букком опытный глаз может заметить следы когда-то существовавшей, а теперь заброшенной тропинки. Эта тропинка вьется змейкой к часовне, около которой можно найти воду. Цвибуш знал о существовании этой тропинки. Он сосчитал восемь и повернул влево. Илька последовала за ним. Им пришлось продираться сквозь густую чащу репейника, дикой конопли, болиголова и крапивы. Крапива безжалостно кусала им руки, шею и лица, а тяжелый запах конопли и болиголова не давал им дышать. Плечи Цвибуша и Ильки покрылись паутиной. В паутине карабкались и путались паучки, большие мухи и кузнечики. Большие пауки делали непривычные *salto mortale* с их плеч на траву. Нашим путникам пришлось нарушить покой тысячам жизней.

Часовня стояла на поляне, поросшей высокой травой, на четвертичасовом расстоянии от аллеи. Это была робко высившаяся над травой, облупившаяся, поросшая мохом, лебедой и плющом церковочка. На порыве от солнца, конусообразной гладкой крыше стоял высокий бронзовый крест. Этот крест и служил путеводной звездой для Цвибуша.

— Если ручей высох,— сказал Цвибуш,— то подарок судьбы будет много злее подарка, который поднесла нам ее сиятельство. Мои внутренности сухи, как пергамент.

Но ручей не высох. Когда Цвибуш и Илька подошли к часовне и сняли с своих плеч паутину, на них пахнуло свежестью и послышалось журчанье. Цвибуш широко улыбнулся, положил арфу и скрипку на ступени часовни и быстро зашагал вокруг часовни, описывая своими короткими ногами спираль.

— Журчит... но в какой стороне, черт возьми? — захохотал он.— Ручей, где ты? Куда идти к тебе? О, память дурацкая! Пил из тебя раза два, ручей, и, неблагодарный, забыл, где ты! Узнаю в себе человека!

Мы не забываем ничего, кроме наших благодетелей! О, люди! Ха-ха...

Илька, обладавшая более тонким слухом, могла бы указать, в какой стороне шумит ручей, если бы не то страшное оскорбление, которое так недавно нанесли ее старому и, по ее мнению, больному отцу. Она машинально следовала за шагавшим отцом, ничего не видя, не слыша и не понимая. Ей было не до утомления и не до жажды. Все уступало место сильному, молодому, справедливому гневу. Она шла, глядела в землю и кусала верхнюю губу.

Глухой на одно ухо, Цвибуш описывал спираль до тех пор, пока не набрел на такое место, где уже ясно слышалось сердитое ворчанье и где под ногами чувствовалась мягкая, влажная земля.

— Ручей должен быть под липами! — сказал Цвибуш. — Вот она, одна липа! А где же еще две? Их было ровно три, когда я, десять лет назад, пил здесь воду... Вырубили! Бедные липочки! И они понадобились кому-то. А вот оно и искомое... Мое почтение! Пьем, Илька, за твое здоровье!

Цвибуш опустил на колени, бросил в сторону шляпу и прильнул пылающим лицом к холодной сверкающей поверхности... Илька машинально опустилась на одно колено и последовала примеру отца. Цвибуш пил ртом и глазами. Он видел в воде свою, покрытую кровью, физиономию и, глядя на кровоподтеки и ссадины, готовил подходящую остроуту. Но остроута вылетела из головы, и вода полилась изо рта обратно, когда он на зеркальной поверхности, рядом со своим лицом, увидел лицо Ильки. Он перестал пить и поднял голову.

— Илька! — сказал он, хмурясь. — Слышишь, девочка? Перестань скалить зубы! Ты не собака! Я этого не люблю! Не будь дурой!

Илька подняла голову и влажной ладонью провела себе по лбу.

— Я не люблю этого! — продолжал Цвибуш. — Оставь свою глупую привычку скалить зубы от всякого пустяка! Будь умницей! Зачем сердиться? Ты бледна, как мертвец, и дрожишь! Смотри, глупая, как умрешь от злости, так будешь знать! Перестань! Ну!..

— Не могу... Никто не имеет права, папа Цвибуш, бить тебя по лицу. Никто!

— Неужели? А я этого не знал? И без тебя знаю! Ни по лицу, ни по спине, ни по животу... Но что же ты хочешь?

Илька провела еще раз ладонью по лбу и прошептала:

— Я хочу, чтобы никто не смел бить тебя. Я хочу... я хочу ей отомстить.

Цвибуш издал свистящий звук, нагнулся к воде и начал мыть свое лицо. Умывшись, он утерся руками и сказал:

— Нелепость, Илька! Пей, если еще не напилась, и пойдем к нашим инструментам. Довольно болтать глупости!

Цвибуш поднял за руку Ильку и, поглаживая живот, направился к часовне.

— Давай-ка лучше, чем сердиться, часовню посмотрим! — предложил Цвибуш.

Множество зеленых и серых ящериц бросилось к щелям и в траву, когда Цвибуш и Илька подошли к часовне. Дверь часовни с заржавленными крючьями была наглухо забита досками. Над дверью, на гладкой деревянной доске, были прибиты медные буквы. Буквы были, разумеется, латинские. Цвибуш прочел и перевел Ильке следующее: «Франциск Гольдауген — 1806. Прохожий, молись, чтобы святые ангелы сохранили его душу для рая!» Стекла в двух окнах были разбиты. Осколки их, торчавшие в полусгнивших рамах, отливали радужные цвета. Третье окно было заткнуто ячменным снопом. Окна были царством паутины и пыли.

— Франциск Гольдауген! — крикнул в окно Цвибуш.

— Гольдауген! — ответило эхо.

— Франциск Гольдауген — это брат дедушки нынешнего графа, — сказал Цвибуш, обращаясь к Ильке. — В тысяча восемьсот шестом году он, возвращаясь со свидания, на этом самом месте был убит своим старым камердинером, который мстил за свою дочь. Так говорят одни; а другие говорят, что он подрался с

своим племянником из-за какой-то девчонки и был убит. Как бы там ни было, а камердинер был повешен на этом месте. «Не убивай», говорит заповедь господня, в домах же, лесах и садах Гольдаугенов не знали заповедей божиих. Погляди-ка, Илька, в окно... Видишь святого Франциска? Лицо желто-зеленое, страшное... Теперь это изображение погасло, во время же оно оно было отлично видно и на глупых людей и женщин наводило ужас. В особенности страшно было это лицо, когда перед ним горела, как теперь помню, синяя лампада... И меня мороз драл по спине, когда я смотрел на это лицо. Суть в том, моя девочка, что художник, писавший этот образ, бежал, не окончивши своей работы. Он не дописал левого глаза, а потому правый глаз и выделялся так сильно и резал наши суеверные глаза. Лицо было тоже не окончено. Была одна только подмалевка, как говорят художники. Художник бежал, потому что влюбился в графиню. Чудак видел в ней неприступную крепость. Болван! Стоило бы ему только дать ей понять, и она повисла бы на его шее. Женщины всегда были хрупки. Они не отступают от мужчин там, где дело касается того, чего тебе не следует знать, моя невинность.

Цвибуш умолк и посмотрел на Ильку. Илька его не слушала. Она глядела в землю, шептала что-то губами и шевелила пальцами, как бы рассуждая с собой. Цвибуш издал свистящий звук и задумался.

— Послушай, рыжая! — сказал он, нахмутив брови. — Не люблю я этого! Ты опять начинаешь скалить зубы! Пойдем сядем!

Цвибуш и Илька сели на горячие ступени часовни.

— Где у тебя голова, девочка? — продолжал Цвибуш, глядя на бледное лицо дочери. — Отчего ты не рассуждаешь логично? Из дерева нельзя сделать стали, из тряпок не выльешь колокола. Крыса не может родить лебедя. От той женщины, родившейся от известного рода людей, нельзя ожидать ангельских поступков. Ее деды и отцы волки; может ли же она, вопреки законам природы, родиться ягненком? И она волк! Волк от головы до пяток! Будучи же волком, она не могла иначе поступить... Что же ты еще хочешь? А волков

учить кушать сено — не наше дело... Рассуждай логично! Она урожденная баронесса Гейленштраль; а кто такие Гейленштралы? Это те же Гольдаугены. Первый Гейленштраль был побочным сыном Артура Гольдаугена. Баронство получил он во время тридцатилетней войны только благодаря своему родству с Гольдаугенами. Потом Гольдаугены женились на Гейленштралях, вторые выходили замуж за первых и так далее. В результате получились два рода, ничем не отличающиеся один от другого. Что же ты хочешь? Не хочешь ли ты, чтобы в то время, когда Гольдауген дерется, Гейленштраль полез к тебе целоваться? Гм... нет, моя милая! Сердиться на волков за то, что им природа дала острые зубы, могут только такие малознайки, как ты.

Цвибуш помолчал и продолжал:

— А что здесь важную роль играет природа, прекрасно видно из истории Гольдаугенов. Первый Гольдауген появился в исходе Крестовых походов. Звали его Золотоглазым вампиром. Волосы на его голове и бороде были черны, как уголь, а брови и ресницы были белокуры. Благодаря этой игре природы его и прозвали Гольдаугеном¹. В его золотых глазах, говорит история, рядом с замечательным умом светилась смесь лукавства и ловкости рыси с кровожадностью голодного барса. Это была бешеная собака в самом худшем смысле этого слова. Он жрал человеческую кровь так же легко, как мы воду, покупал и продавал людей с беззастенчивостью Иуды. Сжечь деревню для него было много легче, чем для нас выкурить сигару. Он жег и с восторгом глядел на пламя. Когда победители, с Готфридом Бульонским во главе, молились впервые у гроба господня, он рыскал по окрестностям Иерусалима и нанизывал на пики головы сарацин. И в эту великую минуту он не изменил себе! Ему, говорит архив, страстно хотелось помолиться, но инстинкт бешеной собаки потянул его в другую сторону, к разрушению, к крови. Это страшное уродство, моя милая! Нельзя думать, чтобы золотоокий человек был виноват в своем урод-

¹ Гольдауген в переводе на русский язык значит — «Золотые глаза». (Прим. А. П. Чехова.)

стве. Человеку не дойти самому до таких ужасающих мерзостей, как не додуматься ему до шестого пальца на руке. Природа виновата. Она дала ему волчий мозг. От золотоокого родился сын, отличавшийся от отца только тем, что не имел золотых глаз... уродство перешло и к нему: внук имел золотые глаза и то же уродство. И так далее. Нынешний граф не имеет золотых глаз. В прошлом году умер его сын, мальчишка, который имел золотые глаза. И так золотые глаза передаются через человека, а уродство стало уделом каждого. Гольдаугенам, как видишь, моя милая, так же трудно отделаться от волчьих мозгов, как и от золотых глаз. Ну, теперь и посуди, моя милая, в силах ли была та красавица не хлестануть меня по губам? Природа взяла верх над рассудком, и ей иначе поступить было нельзя!

— Все это ты врешь, отец! — взвизгнула Илька, топнув ногой. — Ты врешь! Твоим губам нет дела до ее уродства, до ее природы! Нам нет дела! Ты все это говоришь только потому, что мне вредно сердиться. Но я ей покажу! Я ей не... не прощу! Пусть меня бог накажет, если я прощу ей эту обиду!

— Кому бы другому, а не тебе, ягненок, так храбриться! Ягненку храбриться против волка — значит только терять напрасно слова... Замолчим лучше!

Илька поднялась, накинула на плечо ремень арфы и подбородком указала на тропинку.

— Отдохнуть разве не хочешь? — спросил отец.

Илька промолчала. Цвибуш встал, взял под мышку скрипку, крикнул и зашагал к аллее. Он привык слушаться Ильку.

Час спустя они шли уже, едва волоча свои утомленные ноги по пыльной, горячей дороге. Впереди их, за полосой синевших рощ и садов, белели колокольни и ратуша маленького венгерского городка. По левую руку пестрела красивая деревушка Гольдауген.

— Где есть суд? Здесь или там? — спросила Илька, указывая на город и деревню.

— Суд? Гм... Суд есть и в городе и в деревне. В городе судят, мое золото, городских, а в деревне гольдаугенских...

Илька остановилась и, после некоторого размышления, пошла по дороге, ведущей к деревне.

— Куда? Зачем ты? — спросил Цвибуш. — Что тебе там делать? Храни тебя бог ходить к этим мужикам!

— Я, папа Цвибуш, иду туда, где судят гольдаугенских.

— Для чего же? Ради бога! Ты сумасбродка, душа моя! В городе мы можем пообедать и выпить пива, а здесь же что мы будем делать?

— Что делать? Очень просто! Мы будем судиться с той бессовестной негодяйкой!

— Да ты дура, дочка! Ты с ума сошла! Ты потеряла всякое уменье соображать, голубушка! Или ты, может быть, шутишь?

— Не шучу я, отец! Я удивляюсь даже, как это ты, при всем своем самолюбии, можешь относиться так хладнокровно к этой обиде! Коли хочешь, ступай в город! Я сама пойду в суд и потребую, чтобы ее наказали!

Цвибуш взглянул на лицо Ильки, пожал плечами и пошел за непослушной дочкой, бормоча, жестикулируя руками и издавая свистящие звуки.

— Дура ты, Илька! — сказал он, вздыхая, когда они переходили мост, переброшенный через реку. — Дура! Назови меня лысым чертом, если только ты не выйдешь из этой деревни с носом! Извини меня, дочка, но, честное слово, ты сегодня глупа, как пескары!

Они прошли мост и вступили в деревню. На улицах не было ни души. Все было занято полевыми и садовыми работами. Долго пришлось им колесить по деревне и водить вокруг глазами, пока им не попалась навстречу маленькая, сморщенная, как высохшая дынная корка, старуха.

— Позвольте спросить, — обратилась Илька к старухе, — где живет здесь судья?

— Судья? У нас, барышня, три судьи, — отвечала старуха. — Один из них давно уж никого не судит. Он лежит, разбитый параличом, десять лет. Другой не занимается теперь делом, а живет помещиком. Он женился на богатой, взял в приданое землю, — до суда

ли ему теперь? Но и он уже старик... Женился лет пятнадцать тому назад, когда у меня помер мой старший сын, помяни, господи, его душу...

— А третий? Где живет третий?

— Третий? Третий еще судит... Но тоже уже никуда не годится... Старичок! Ему бы спать теперь в могиле, а не драки разбирать... Живет он... Видите зеленое крыльцо? Видите? Ну, там он и живет...

Цвибуш и Илька поблагодарили старуху и направились к зеленому крыльцу. Судью они застали дома. Он стоял у себя на дворе под старой развесистой шелковицей и палкой сбивал черные, переспелые ягоды. Губы его и подбородок были выкрашены в лиловый, синий и бакановый цвета. Рот был полон. Судья жевал ленивее быков, которым надоело жевать свою жвачку.

Цвибуш снял шляпу и поклонился судье.

— Осмеливаюсь беспокоить вашу честь единственным вопросом,— сказал он.— Вы изволите быть судьей?

Судья обвел глазами своих непрощенных гостей и, проглотив жвачку, сказал:

— Я судья, но только до обеда.

— А вы изволили уже покушать?

— Ну, да... Я обедаю в полдвине третьего... Это вам должно быть известно. По праздникам я обедаю в половине второго.

— *Plenus venter non studet libenter*¹, ваша честь! Хе-хе-хе... Вы изволите говорить истину. Но, ваша честь, нет правил без исключений!

— У меня есть... Я не признаю в данном случае исключений... Я сужу людей только натошак, старина, когда я менее всего расположен сентиментальничать. Десять лет тому назад я пробовал судить после обеда... И что же выходило? Знаешь, что выходило, старина? Я приговаривал к наказанию одной степенью ниже... А это не всегда справедливо! Однако ты толст, как стоведерная бочка! Ты, вероятно, ешь много? И тебе не жарко носить на себе столько лишнего мяса? А это что за девочка?

¹ Сытое брюхо к учению глухо (*лат.*).

— Это, ваша честь, моя дочь... Она-то и является к вам просительницей.

— Гм... Так... Подойти поближе, красавица! Что тебе нужно?

Илька подошла к судье и дрожащим голосом рассказала ему все то, что произошло во дворе графов Гольдаугенов. Судья выслушал ее, посмотрел на губы Цвибуша, улыбнулся и спросил:

— Так что же тебе, красавица, нужно?

— Я хочу, чтобы вы наказали эту женщину!..

— Так... Хорошо... С большим удовольствием! Сейчас же мы засадим ее в тюрьму... Послушай, старина, — обратился судья к Цвибушу. — Ты где породил эту красотку, на луне или на земле?

— На земле, ваша честь! На луне нет женщин, ваша честь, а потому там едва ли возможно выпить стакан вина за здоровье роженицы!

— Если на земле, то почему же она не знает, что... Какие же вы дураки, господа! Ах, какие дураки! Вы и дураки и чудаки!

— Почему же? — спросила Илька.

— Вероятно, потому, что мозгов нет... Гольдаугены меня кормят и поят, а я их судить стану?! Ха-ха-ха! Гольдаугены графы, а она дочь цыгана, плохого скрипача, которого следует высечь за то, что он плохо играет на скрипке! Чудаки! Нет, не на земле вы родились! Да захочет ли она с тобой судиться? Она нарисует на повестке, которую я ей пошлю, рожу с большим носом и бросит ее под стол! А где твои свидетели? Рабочие? Держи карман! Они не такие миллионеры, чтобы отказываться от куска хлеба! Ха-ха-ха! Нашла с кем судиться! Чудачка! Нет, не ерунди, красавица! Обидно, это правда... но что же поделаешь? Света белого не переделаешь!

— Но что же мне делать?

— Дать тряпку своему отцу, чтобы он завязал себе губу. От мух ранка может прикиннуться... Свинцовой примочки купи... Только это я и могу посоветовать... Дать тебе еще совет, красавица? Изволь! Возьми своего толстого папашу под ручку и уходи... Не могу видеть дураков! Избавьте себя от присутствия судьи

неправедного, а мне дайте возможность не беседовать с вами.

— Но что же мне делать? — опять спросила Илька, ломая пальцы.

— Гм... Третьего совета хочешь? Изволь! Сделайся такой же графиней, как она. Тогда ты будешь иметь полное право судиться с ней! Полное право! Ха-ха-ха! Сделайся графиней! Честное слово! Ты тогда будешь судиться с ней, сколько твоей душе угодно! Никто и ничто не помешает! Впрочем... прощайте! Мне некогда! Оставьте меня. Пока ты не графиня, я имею еще право гнать тебя так неделикатно подальше от моего полного желудка и ленивого языка! Марш, старина! Свинцовой примочки не забудь купить!

Судья отвернулся и принялся за ягоды. Цвибуш и Илька вышли со двора и пошли к мосту. Цвибушу хотелось остаться отдохнуть в деревне, но не хотелось действовать наперекор Ильке... Он поплелся за ней, проклиная голод, щемивший его желудок. Голод мешал ему соображать...

— Мы, дочка, в город? — спросил он.

Илька не отвечала. Когда они вошли в рощу, принадлежавшую гольдаугенским крестьянам, Цвибуш спросил:

— Ты, Илька, сердисься? Отчего ты не отвечаешь на мой вопрос?

Вместо ответа Илька зашаталась и схватила себя за голову.

— Что с тобой, дочка?

Дочка остановилась и повернула к отцу свое лицо. Лицо было искажено скверной, злой улыбкой. Зубы были оскалены по-собачьи...

— Ради бога, что с тобой?

Илька подняла вверх руки, откинула назад голову и широко раскрыла рот... Резкий грудной крик понесся по роще. Крупные слезы ручьем полились из голубых глаз дочери оскорбленного отца... Илька зарыдала и захохотала.

— Что с тобой? Можно ли так сердиться?

Цвибуш заплакал и принялся целовать свою дочь.

— Можно ли так? Сядь, Илька! Ради бога, сядь! Ну, да садись же!

Цвибуш положил свои большие потные руки на ее прыгающие плечи и подавил вниз.

— Сядь! Мы посидим в тени, и ты успокоишься! Идем под эту вербу! А вот и ручей! Хочешь водицы? Вербы всегда растут у воды. Где есть вербы, там следует искать воду! Сядем!

Цвибуш понес Ильку к вербе, согнул ее колена и посадил на траву. Рыдания становились все сильнее и сильнее...

— Полно, дочь моя! Имеем ли мы право так оскорбляться? Разве мы никого не оскорбляем? Можешь ли ты поручиться, что твой отец никого никогда не оскорблял безнаказанно? Оскорблял я! Мне сегодня только заплатили.

Раздался выстрел. Цепляясь за ветви, шелестя и хлопая крыльями, слетела с вербы птица и упала на фартук Ильки. То была молодая орлица. Одна дробина попала ей в глаз, а другая раздробила клюв...

— Посмотри, моя милая! В лице этой птицы сильно оскорблена природа... Это оскорбление много выше нашего. Терпит природа... Не наказывает же, не мстит...

Затрещали кусты, и Цвибуш увидел перед собой высокого, статного, в высшей степени красивого человека с большой окладистой бородой и смуглым лицом. Он держал в одной руке ружье, а в другой соломенную шляпу с широкими полями. Увидев свою дичь на коленях хорошенькой рыдающей девушки, он остановился как вкопанный.

— Впрочем, этот человек уже наказан! — сказал Цвибуш. — Сильно наказан! Его грехи бледнеют перед той карой, какую он несет! Рекомендую тебе, Илька, графа Вунича, барона Зайниц. Здравствуйте, граф и барон! Чего в вас больше, графства или баронства? В вашей чертовски красивой фигуре много того и другого... Вот она, ваша дичь! Моя дочь отпевает ее.

Барон Артур фон Зайниц, мужчина лет двадцати восьми — не более, но на вид ему за тридцать. Лицо его еще красиво, свежо, но на этом лице, у глаз и в углах рта, вы найдете морщинки, которые встречаются

у людей уже поживших и многое перенесших. По прекрасному смуглому лицу бороздой проехала молодость с ее неудачами, радостями, горем, попойками, развратом. В глазах сытость, скука... Губы сложены в покорную и в то же время насмешливую улыбку, которая сделалась привычной... Черные волосы барона фон Зайниц длинны и вьются кудрями. Они напоминают собой волосы молоденькой институтки, еще не завивавшей своих волос в косы. Артур редко купается, а поэтому и волосы его и шея грязны и лоснятся на солнце. Одет он небогато и просто... Костюм его незатейлив и крайне неопределенен... Воротнички грязной сорочки выдают, что барон не следует моде. Такие воротнички носили четыре года тому назад. Галстук черный, потертый и ленточкой; его узел, связанный некрасиво и наскоро, сполз на сторону и грозит развязаться... Куртка и жилет роскошны: они покрыты пятнами, но они новы. Сшиты они из дорогой серой материи, приготовленной из лучшего козьего пуха. Потертые, давно уже отживающие свой век шелковые панталоны плотно облекают его мускулистые бедра и очень красиво теряются выше колен в складках высоких блестящих голенищ. Каблуки на сапогах искривлены и наполовину стерты. На жилетке из козьего пуха покоится цепочка из нового металла. К цепочке прицеплено шесть золотых медальонов, золотой аист с бриллиантовыми глазами и маленькое, очень искусно сделанное ружье с золотым дулом и платиновым прикладом. На прикладе этого ружья можно прочесть следующее: «Барону Артуру фон Зайниц. Общество вайстафских и солонгорских охотников». Не спрашивайте у барона, который час? к карманному концу цепочки прицеплены не часы, а ключ и оловянный свисток.

Род баронов Зайниц не может похвалиться своею древностью. Он ведет свое начало с первого десятилетия настоящего столетия, только. У Артура хранится «История баронов фон Зайниц», маленькая брошюрка, заказанная во время бно отцом Артура, Карлом, одному заезжему ученому шведскому пастору. Услужливый пастор взял большие деньги и, сочиняя родословное дерево милостивых баронов, не щадил ни бумаги,

ни правды. Родословную повел он с одиннадцатого столетия. Брошюрке этой, разумеется, многие поверили; поверили в особенности те, которым не было надобности контролировать пастора. Но Зайницам пришлось покраснеть за свою брошюру, когда одна очень услужливая иллюстрированная газета, желая прислужиться, напечатала их герб и родословную, более похожую на правду, чем та, за которую было заплачено пастору. Первый барон Зайниц был простой дворянин, женатый на дочери банкира, выкрестившегося еврея. Это была личность, ничтожная во всех отношениях, пресмыкающаяся, вечно голодная и любящая деньги больше всего на свете. Она невидимо прожила бы свой век и навсегда стусевалась бы в памяти людской, если бы не фортуна, которая улыбалась ей и милостиво и постоянно... У первого Зайница было два брата. Один из них был иезуитом, читал в каком-то университете физику и собственными руками пробил себе путь к кардинальству. Другой брат был придворным поэтом и зятем лейб-медика. Благодаря сильной протекции этих двух братьев и деньгам тестя-банкира, имевшего крупные денежные связи, грамота на баронство фон Зайниц досталась не так трудно, как тому первому Зайницу, о котором врал шведский пастор. Второй Зайниц, дед Артура, дрался под Аустерлицем и умер профессором военной академии. Этот Зайниц был портретом своего дяди-кардинала и, подобно ему, был более кабинетным человеком, чем солдатом или помещиком. Отец Артура напоминал собой первого Зайница. Это тоже ничтожная, невзрачная, ничего не стоящая личность. Малообразованный, ограниченный, слабый физически и нравственно, он задался целью расточить в пух и прах все то, что улыбающаяся фортуна дала его деду и отцу. Задача, однако, оказалась не легкой. Баронство Зайниц занимает не малое пространство. Железная дорога пересекает его в двух местах. Оно считается благодаря своим садам, виноградникам и почве одним из богатейших и роскошнейших поместий. Находящиеся на нем конский завод и суконная фабрика, вместе взятые, давали баронам две тысячи четыреста франков в день, а об остальном и говорить нечего. Расточить такое богатство — не лег-

кая задача, но у Карла фон Зайниц были отличные помощники. Помогали ему его сластолюбие, неумение рассуждать, доброта и его... сын. Он до конца дней своих не переставал любить женщин. Любил он отчаянно, бешено, не рассуждая и не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Женщины были его главной расходной статьёй, без которой ему едва ли бы удалось расточить *все*. В Вене у него было некоторое время любовница. К этой любовнице ездил он на экстренном поезде с многочисленной толпой сластолюбивых прихлебателей, пивших одно только шампанское. С каждым поездом любовнице привозились подарки, которые поражали своею роскошью и слишком красноречиво говорили о безумстве барона. Подарки состояли из фамильных драгоценностей, дорогих лошадей, векселей... Горничная его венской любви получала тысячу франков в месяц и имела на всякий случай своих лошадей. По приходе и перед уходом экстренных поездов давались лукулловские обеды. В Праге была другая любовница, в Будапеште третья и т. д. Женщины обожали его и, разумеется, за щедрость больше, чем за что-либо другое. Та масса анекдотов, которые рассказываются еще до сих пор о Карле фон Зайниц, как нельзя лучше характеризует это обожание. Из массы анекдотов приведем один.

В одном из лучших немецких театров дебютировала молоденькая, только что выпущенная из театрального училища актриса. (Ныне она очень известная актриса на роли драматических и трагических матерей-старух.) Она была молода, хороша собой и играла великолепно. Театр дрожал от рукоплесканий. После первого же действия ей был поднесен букет, украшенный драгоценнейшим ожерельем покойной баронессы фон Зайниц, матери Карла. Барон отдал это ожерелье, потому что оно лежало в его боковом кармане и острым концом медальона кололо его в бок. После второго действия несколько высокопоставленных лиц, которые находились на этот раз в театре, отправились за кулисы выразить дебютантке свое удивление. Между высокопоставленными находился и фон Зайниц. За кулисами он чувствовал себя, как дома. Выпив в уборной первого лю-

бовника стакан шампанского, он направился к уборной восходящего светила. Дверь уборной была заперта. Он постучал.

— Что вы делаете?! — изумились высокопоставленные... — Вы забываетесь! Вы забываете, что здесь не цирк, не оперетка... *Ne salon madame Deleaux!* Вы чертовски дерзки, барон!

— Вы думаете? Я только нетерпелив... — отвечал барон.

— Но она сейчас выйдет! Неужели у вас не хватит терпения на две, на три минуты?

— Не хватит.

— Но ведь это неприлично! Она, может быть, теперь одевается!

— Может быть, — отвечал нетерпеливый барон и постучал в дверь еще раз.

— Кто там? — послышался из уборной молодой женский голос.

— Я! — отвечал барон.

— Кто вы?

— Один из почитателей вашего таланта. Я, собственно говоря, в вашем таланте ни бельмеса не смыслю, но мне говорят, что вы прекрасно играете, а я привык верить на слово. Отоприте!

— Странно... Я в уборной! В уборную нельзя входить. Да вы кто такой?

— Я барон фон Зайниц. Имею к вам дело.

Голос из уборной заговорил потише и не так смело:

— Очень приятно, барон... Но я не одета... Подождите пять минут.

— Мне ждать некогда. Через две минуты я уезжаю. Сейчас или никогда!

— Нельзя!

— Ваше дело... Прощайте! Кто это, черт возьми, меня за рукав дергает?

Возле барона собралась толпа почитателей дебютантки. Толпа была крайне возмущена дерзким поведением барона. Она потребовала от барона, чтобы он отошел от двери. Жених дебютантки, находившийся тут же в толпе, дернул его за рукав.

— Извольте отойти от двери! — крикнули почитатели.

— А если я не отойду, то что будет? — спросил барон и уже не пальцем, а кулаком постучал в дверь.

— Вы, mademoiselle, вероятно, хотите, чтобы эти господа сделали со мной скандал! — сказал он сквозь дверь дебютантке. — Отворите! Через полторы минуты я уезжаю... Сейчас или никогда! Я, барон фон Зайниц, люблю все делать сейчас или никогда! Угодно вам поговорить с бароном Зайниц, который имеет к вам дело?

Дебютантка, видимо, колебалась.

— Что вам угодно? — спросила она.

— Ах, черт возьми! Что может быть мне угодно! Некогда мне разговаривать! Ну, я буду считать до трех раз. Если вы не отопрете, когда я скажу «три», то я уйду, и вы меня никогда не увидите... Как много, однако, у вас поклонников! Это я замечаю по тем щипкам, которые они задают мне сзади и с боков... Ну, я начинаю... раз... два... Ну... ну...

В уборной около двери послышались легкие шаги.

— Три! — сказал барон.

Щелкнул замок. Дверь тихо отворилась. Перед носом барона прошмыгнула из уборной хорошенькая, улыбающаяся горничная. Барон сделал шаг вперед, и его обоняние утонуло в тонких запахах уборной. Она стояла у темного окна, закутавшись в шаль. Около нее лежало платье, которое ей предстояло надеть... Щеки ее были красны. Она сторала со стыда...

«Боже мой, как она еще невинна!» — подумал барон и, поклонившись, сказал:

— Прошу прощения! Я через минуту уезжаю, а потому...

Дебютантка подняла глаза на барона. Глаза ее были полны любопытства. Она видела его в первый раз, но она так много слышала о нем, находясь еще в театральном училище! Она его давно уже обожала понаслышке.

— Что вам угодно, барон? — спросила она после тяжелого минутного молчания.

— Вы извините, mademoiselle, что я так настойчив, но... честное слово, вы мне нравитесь!

Дебютантка потупилась. Щеки ее еще больше покраснели.

— Я не люблю комплиментов, — сказала она.

«Боже, как она невинна!» — подумал барон и сказал:

— Сколько жалованья назначило вам ваше начальство?

— Еще не назначало, а назначит... Сколько — не знаю... На первых порах, вероятно, не более двух тысяч талеров...

— Гм... Цена хорошая... На первых порах достаточно.

Барон умолк и впился глазами в дебютантку. Дебютантка готова была провалиться сквозь землю от стыда и ожидания.

— Если вы ко мне приедете, — сказал, помолчав, фон Зайниц, — то вы получите в сто пятьдесят раз больше.

Розовые щеки дебютантки стали белы, как полотно сорочки барона... Дебютантка вскрикнула, всплеснула руками и, как оглушенная выстрелом из сотни пушек, сразу упала на обитое бархатом кресло. С ней сделался истерический припадок. Фон Зайниц поклонился и вышел. Когда в уборную вошла горничная, дебютантка рыдала. Рыдания были отрывистые, смешанные со смехом. Горничная испугалась, выбежала из уборной, и чрез минуту вся сцена разделилась на кучки. Кучки шептались, искоса поглядывали на дверь уборной и не знали, что им делать: возмущаться дерзким поступком барона или же... завидовать счастью рыдающей дебютантки? Жених, как сумасшедший, вломился в уборную, пал к ее ногам и завопил:

— Не плачьте, моя милая! Это оскорбление не пройдет ему даром! Но... зачем, черт возьми, вы отперли дверь этому демону?

Дебютантка положила свое заплаканное лицо на белую манишку жениха, положила свои руки на его плечи и прошептала:

— О Жорж! Как я счастлива! Как мы с тобой счастливы! Он пообещал в сто пятьдесят раз больше, а мы учили в театральном училище, что барон фон Зай-

ниц умеет держать свое слово! Жаль только, что он некрасив! Но... В сто пятьдесят раз больше!! Пойди, мой друг, попроси, чтобы объявили публике, что я по болезни продолжать игру не могу!

На следующий день дебютантка получила от «обожаемого» фон Зайниц жалование вперед за три месяца...

Этот анекдот правдоподобен, но, насколько он правдив, я не знаю.

Второй расходной статьей барона были карты. Зайниц играл очень редко. Он скучал за картами. Но раз севши, от скуки проигрывал он громаднейшие куши. От скуки же он изобрел и свою собственную карточную игру. Его игра слишком проста. Она называлась «Черные и красные».

— Красная или черная? — спрашивал Зайниц своего партнера, показывая ему сорочку карты. — Если угадаете, то вы выиграли, а если не угадаете, то я выиграл.

Умней этой игры едва ли мог изобрести что-нибудь Зайниц. Однако он сумел проиграть на ней в два вечера графство Вунич, купленное когда-то дедом Артура в Галиции. Графство Вунич было его первой чувствительной потерей.

Второй потерей была его жена, баронесса фон Зайниц, которую он убил своим поведением. Третьей потерей была дочь, ханжа и идиотка, которую, чтобы поправить расстроившиеся дела, пришлось выдать замуж за лезшего в дворяне банкира-жида. Баронство же Зайниц постигла самая плачевная участь. Оно было заложено за бесценнок зятю-банкиру, который на торгах и оставил его за собой. Карл кончил тем, что неудачно застрелился (пуля засела в плече), и умер на руках дочери и патеров, оставив банкиру «на всякий случай» несколько векселей на солидную сумму.

Сын его Артур после смерти матери, когда ему было двенадцать лет, был отправлен в Вену, где и отдан в пансион. Вышедши из пансиона, где он выучился говорить на трех языках, он поступил в университет на филологический факультет. Вскоре Артур оставил филологию и поступил на математический факультет. На

этом факультете ему повезло. Он получил премию за лучшее студенческое сочинение по дифференциальному вычислению. Кончив курс на математическом факультете, он опять занялся филологическими науками. Это блуждание от одной пристани к другой, пожалуй, и кончилось бы чем-нибудь хорошим, если бы не те тысячи, которые ежемесячно приходилось ему получать на почте и от поверенных отца. Тысячи вскружили ему голову. Когда ему надоело собирать библиотеку, на которую он тратил большие деньги со дня своего поступления в университет, он потерял под собой почву и пошел по стопам отца... Он поехал в Париж. Тысячи писем полетело из Парижа в баронство Зайниц с требованием денег. Карл был добр, а потому ни одно письмо не осталось без ответа; каждый ответ состоял из чеков. К счастью Артура, денежные пакеты, которые он получал с родины, с каждым месяцем становились все меньше и меньше, приходили в Париж все реже и реже... Сотни постепенно вытесняли собой тысячи. Вместе с известием о смерти отца Артур получил тысячу франков и письмо зятя-банкира. Банкир писал, что посылаемая тысяча составляет *все* состояние барона Артура фон Зайниц и что ему, Артуру, надеяться не на что... Артур прочитал письмо и густо покраснел.

Ему стало ужасно стыдно и за себя и за своего отца. Он серьезно задумался, и ему стало страшно за свою будущность, которую он так любил и жалел, когда сидел на университетской скамье. Он разорвал в клочки письмо зятя и изо всей силы ударил себя кулаком по лицу... Тысячу хотел он бросить в окно, но... не бросил. И хорошо сделал. Эта тысяча пригодилась ему. Она была потрачена на бегство из Парижа от долгов. Кредиторами его были держатели отелей, ростовщики и, что постыднее всего, кокотки... Последние дни в Париже ему пришлось прожить на счет кокоток... Бежал он на родину испившийся, истаскавшийся и изовравшийся, но, к счастью, не до конца. Здоровье его еще не было надломлено, и заведомо подлецом он еще ни разу не был. К счастью, у Артура была упругая натура. В Вене он опять принялся за науку и с большим рвением, чем прежде. Чтобы иметь кусок хлеба и не лезть

к родным за деньгами, он сделался преподавателем алгебры в одном из военных училищ и корреспондентом двух больших парижских газет. Зарабатывал он также немного и писанием стихов, которые помещал во французских журналах. (Подобно Фридриху Великому, он немецкого языка терпеть не мог.) Жизнь пошла тихая, скромная, сносная, диаметрально противоположная парижской, но недолго она была такой... Она была испорчена на самом интересном месте, именно в тот самый золотой год, когда Артур сделался доктором философии и магистром математических наук. На широкой дороге судьба подставила ему ножку. Он, сам того не замечая, наделал долгов. Кто раньше был богат, а теперь беден, тот поймет это «не замечая». Артур к тому же еще женился на одной хорошенькой, влюбившейся в него бедной дворяночке. Женился он и по любви и из сострадания. Женильба увеличила его расходы. Волей-неволей нужно было обратиться к сестре. Артур написал сестре письмо, в котором просил ее сообщить ему, какая участь постигла имение их матери, и если оно не было продано за долги, то уделить ему частицу получаемых с него доходов. Тут же, между прочим, он попросил сестру прислать к нему в Вену его библиотеку, взятую ею когда-то на сохранение. В ответ на это письмо Артур получил от зятя телеграмму, в которой просили Артура немедленно приехать в Зайниц. Артур поехал. Когда он въехал в Зайниц, его попросили идти пешком.

— Госпожа Пельцер,— сказали ему,— не любит стука колес. Потрудитесь дойти до дома пешком.

Артура встретили в гостинной зять и сестра. Сестра сидела в кресле и плакала. Зять при входе его уткнул нос в газету...

— Это я! — сказал им Артур.— Не узнаете?..

— Видим,— отвечал банкир.— Недурно сделали, что нас послушали и приехали... Мы очень рады, барон, что вы еще не утратили способности послушания... От слова «послушный» пахнет чем-то рабским, но вы извините... Для таких господ, как вы, послушание необходимо...

— Я вас не понимаю,— сказал недоумевающий барон.— Сестра, о чем ты плачешь? Брат Артур приехал, а ты плачешь... Ответь же чем-нибудь на мое «здравствуй»! Полно плакать!

— Она, милостивый государь,— сказал банкир,— заплакала, как только нам доложили, что вы едете... Сядьте... У вашей сестры, слава богу, есть еще кресла. Не всё расточили вы с вашим отцом. Она, моя жена, плачет, потому что еще любит вас...

Артур сделал большие глаза и ладонью провел себе по лбу. Он не понимал.

— Да,— продолжал банкир, не спуская глаз с газеты,— она не может так скоро покончить с чувством, которое, надо сознаться, неестественно, потому что фактически она перестала уже быть вашей сестрой... Гм... Вы ей не брат. Она неизмеримо выше вас. Вы низки для того, чтобы быть братом этой женщины... Милостивый государь! Благодарите эту женщину! Если бы не она, вы не осмелились бы переступить порог этого дома!

— Объясни мне, сестра,— обратился побледневший Артур,— что я должен понимать под словами твоего мужа... Пельцера? Я решительно ничего не понимаю! Потом, твои слезы... Не понимаю!

Банкирша отняла от лица платок, вскочила и, шурша своим тяжелым платьем, заходила по гостиной. Слезы, самые настоящие, крупные, капали из ее глаз на пол.

— Не понимаешь? — закричала она визжащим голосом.— Пойми же наконец, что ты убиваешь нас своим поведением! Твоя безнравственность возмущает нас! Я возмущена, как сестра и христианка!..

— Объяснись, сестра! — сказал Артур.— Я не пойму никак, что вы хотите мне сказать?

— Молчи! Я не хочу слышать твоего голоса! На какой это дряни ты там женился?

— Да, барон! — подхватил банкир высоким, дребезжащим тенором.— Женюсь на этой ничтожной женщине, вы опозорили имя баронов фон Зайниц и тех, которые считают себя их родственниками!

Ручка кресла, за которую держался барон, затрещала. Артур задрожал от гнева.

— Сильвия! — сказал он, повернувшись к сестре.— Я тебе ни слова не сказал, когда ты выходила замуж за негодяя Пельцера. Я уважал твою волю, а ты? Ты позволяешь себе под диктовку Пельцера наносить мне тяжкие оскорбления! Не забывайся!

— Я негодяй? — крикнул Пельцер.— Прощаю вам это слово, барон! Прощаю!

Сильвия топнула ногой и сделала шаг к брату.

— Я все про тебя знаю! — зашипела она, глотая слезы.— Все! Мало того, что ты женился на бульварной дряни, оборвыше, мало того! Ты еще безбожник! Ты никогда не ходишь в церковь! Ты забыл бога! Ты забыл, что во всякую минуту душа твоя готова расстаться с телом и отдаться в руки дьявола!

— Дай бог, чтобы все были такими негодяями, как я! — кричал между тем Пельцер.— О! Тогда бы на земле иначе было! Тогда бы не было на земле людей, которым все нипочем: и имя и честь... Не было бы тех женщин, бульварных потаскушек, которые...

Пельцер вдруг замолчал. Он посмотрел на лицо Артура, и ему сделалось страшно.

— Так не поступают даже лютеране, как ты поступаешь! — кричала Сильвия.— Мы позвали тебя для того, чтобы дать тебе понять, как ты низок! Ты должен покаяться! Разойдись с ней и... перемени свой образ жизни! Не медля! Слышишь? Понимаешь?

— Коли вы придерживаетесь сословных традиций,— сказал глухим голосом Артур,— так знайте же, что барону Артуру фон Зайниц не к лицу входить в какие бы то ни было препирательства с еврейским выходцем из русской Польши и с его женой! Но... снисхожу к вам и задаю один вопрос. Задаю его и ухожу. Что вы скажете мне относительно имения моей покойной матери?

— Оно принадлежит Сильвии,— сказал Пельцер.— Ей только одной.

— По какому праву?

— А разве вам неизвестно завещание вашей матушки?

— Что вы лжете? Не было никакого завещания! Я знаю это!

— Оно есть!

— А если есть, так оно подложное! Моя библиотека где?

— Она продана за тысячу франков, которые были посланы вам в Париж...

— Она стоит не тысячу, а двести тысяч франков!

Пельцер пожал плечами и усмехнулся.

— Несмотря на все мое желание, я не мог продать ее дороже.

— Кто ее купил?

— Я, Борис Пельцер...

Артур почувствовал, что задыхается. Он схватил себя за голову и побежал из гостиной.

— Воротись, брат! Воротись! — закричала ему вслед Сильвия.

Артур хотел не ворочаться, но не смог. Он любил еще сестру.

— Покайся, Артур! — сказала Сильвия воротившемуся брату. — Покайся, пока еще есть время!

Артур выбежал из гостиной и через минуту, задыхаясь и дрожа от гнева, мчался к вокзалу железной дороги.

Запершись в купе второго класса, он лег на софу лицом вниз и доехал в таком положении вплоть до самой Вены. В Вене судьба подставила ему другую ножку. Приехав домой, он не застал жены дома. Его горячо любимая жена во время его отсутствия бежала к любовнику... Она оставила письмо, в котором просила прощения. Артур был поражен этой изменой, как громом...

Через неделю жена его, прогнанная любовником, вернулась к нему, чтобы отравиться и умереть у порога его квартиры... Когда Артур, похоронив жену, воротился с кладбища домой, его встретил лакей с письмом. Письмо было от сестры Сильвии и содержало в себе следующее: «Мой дорогой брат! Мы всё знаем... Тайное убийство, которое ты совершил, чтобы сгладить с лица земли следы преступления, опозорившего наше имя, противно богу... Мы требовали только покаяния, но она, твоя жена, могла бы жить. Смерть ее не нужна. Нужно было только ее удаление. Но не отчаивайся. Мы

молимся за тебя, и, поверь, наши молитвы не напрасны. Молись и ты. Твоя Сильвия».

Артур разорвал это письмо на мелкие клочки. Ноги его заходили по клочьям, на которых святотатственной рукой было написано божие имя. Артур зарыдал и упал на землю без чувств...

Учительство, философия, математика, французские стихи — все было брошено и забыто Артуром. Наконец, придя в себя, он напился страшно пьян и с тех пор, перекинув через плечо двустволку, застранствовал «диким Зайницем» по окрестностям Зайниц, Гольдауген и других деревень, выпивая баснословные количества вина и уничтожая дичь. Он зажил странную жизнью... Люди видели его только в трактирах и кабаках, которые украшают своею затейливою пестротой перекрестки дорог. Его видели и знали все лесничие и большая часть пастухов.

Где он жил, чем питался, никому не было известно. Его считали бы сумасшедшим, если бы он так умно не заговаривал с теми людьми, с которыми ему приходилось встречаться. Не знали, как и что о нем думать. Называли его «диким Зайницем», странствующим отшельником и «несчастливым бароном Артуром». Бульварная пресса заговорила о нем, — о каком-то громаднейшем процессе, который намерен повести Зайниц против Пельцеров, о сестре, которая легально ограбила брата; начали печататься ни с того ни с сего анекдоты и маленькие романы из жизни Артура фон Зайниц или его отца. Нашлась даже газетка, которая пожалела об исчезании рода Зайниц...

Артур блуждал большею частью по садам и рощам. В садах и рощах было больше дичи, чем в поле и у рек. Хозяева садов не запрещали ему охотиться. Они ненавидели его сестру и в нем видели злейшего врага Пельцера. Хозяйки даже радовались тому, что их сады и рощи посещает фон Зайниц.

— Нельзя сказать, — говорили они, — чтобы он был лесным царем, нет! Он слишком молод для этого... Он скорее лесной кронпринц!

Встречаясь с людьми, лесной кронпринц обыкновенно очень вежливо раскланивался. Наткнувшись же на

Цвибуша и Ильку, он остолбенел. Его, как художника, поразила красота и реальность группы, составленной из Цвибуша, Ильки, арфы, скрипки и птицы. Услышав рыдания, Артур нахмурился и сердито кашлянул.

— Чего она плачет? — спросил он.

Цвибуш усмехнулся и пожал плечами.

— Плачет, — сказал он, — вероятно, потому, что она женщина. — Будь она мужчиной, она не плакала бы.

— Это ты ее обидел?

— Я, барон! Каюсь...

Барон с негодованием посмотрел на жирную, лоснящуюся физиономию Цвибуша и сжал правый кулак.

— Чем же ты ее обидел, старая скотина?

— Я обидел ее тем, ваше сиятельство, что имею морду, по которой можно безнаказанно бить хлыстом... Она моя дочь, барон, а при дочерях благовоспитанные люди не позволяют себе бранить отцов...

— За что ты ее обидел, каналья? Не плачь, девушка! Я сейчас его проэкзаменую, мерзавца! Ты ее бил, что ли?

— Вы угадали, барон, но только отчасти... Да, били, только не ее и не я... Ваше участие к моей дочери трогает меня, граф! Благодарю!

— Шут! — проговорил барон, махнул рукой и нагнулся к Ильке.

— Что с тобой, милая? — спросил он. — О чем ты плачешь? Кто тебя обидел? Скажи мне, кто тебя обидел, и я... обижу его, обижу сильно!

Барон большой загорелой рукой провел по волосам Ильки. Глаза его затеплились хорошим огоньком.

— Мы, мужчины, должны заступаться за женщин, потому что сильные обязаны защищать слабых. Чего же ты плачешь?

И, засматривая в лицо, покрытое влажными пальчиками и распустившимися волосами, фон Зайниц опустился на колени и осторожно уселся около Ильки. Он заговорил голосом, каким давно не говорил. Илька услышала голос нежный, вытекавший прямо из души, — голос, которому смело можно было довериться...

— Чего плачешь? Поведай мне свое горе! Возле тебя сидит теперь не глупый шут, старик, а сильный

мужчина. Можешь положиться на меня... Я силен и все могу сделать... О чем же ты плачешь? Ну?

Дети, которых спрашивают о причине их плача, начинают плакать сильнее. То же самое случается и с женщинами. Илька заплакала сильнее...

— Судя по тому, как ты сильно плачешь, у тебя должно быть большое горе... Ты расскажешь мне... Ведь расскажешь? Со мной можешь быть откровенна. Я спрашиваю тебя не из простого любопытства. Я хочу помочь тебе... Честное слово, девушка!

Артур нагнулся и поцеловал Ильку в темя.

— Не будешь плакать? Да? Да ну же, милая! Чтобы облегчить несколько свое горе, стоит только высказаться...

— Едва ли она скоро перестанет плакать,— сказал Цвибуш.— Нервы ее слабы, как ниточки на рубахе, которую носили пять лет. Дадим ей, барон, выплакаться... Нехорошо, Илька. Много слез прольешь — скоро пить захочешь.

— Ах, да! Воды ей нужно дать! — сказал барон.— Вода здесь близко...— Барон встал и скрылся за густой листвой; сухие сучья и ветви затрещали под напором его тяжелого тела.

— Каков барон! — захихикал Цвибуш.— Нежен, вежлив, предупредителен! Ха-ха-ха! Можно подумать, что он и в самом-таки деле такой добряк. Верь ему, Илька, но слегка. Он славный малый, но палец в рот ему нельзя класть. Откусит руку до самого локтя. Про историю у Гольдаугенов не рассказывай ему. Он родня этим живодерам Гольдаугенам и посмеется над тобой, как над последней дурой. Скоро ты кончишь плакать?

Затрещали вновь сучья, и из-за листьев показался Артур с охотничьим серебряным стаканом в руках. Стакан был полон воды.

— Пей... Как тебя зовут? Илькой? Пей, Илька!

Барон опустил на колени и поднес к губам Ильки холодный стакан. Илька отняла от лица руки и отпила полстакана...

— Как я несчастна! Ах, как я несчастна! — пробормотала она.

— Верю, охотно верю! — сказал барон и помочил ей виски холодной водой.— Я назвал бы тебя, моя милая, лгуньей, если бы ты сказала, что ты счастлива. Пей еще!

— Ради бога, умоляю вас, не браните моего отца! — прошептала Илька.— Он тоже очень, очень несчастлив!

— Не буду бранить... Я побранил его, потому что погорячился. Я на первых порах думал, что он тебя обидел. Беру свои нехорошие слова назад. Но он так хладнокровно относится к твоему горю, как не подобает относиться порядочному отцу.

— Недоставало еще, чтоб вы и мне помочили водой виски! — засмеялся Цвибуш.— Я разучился реветь еще тогда, когда привык к отцовским розгам. Какой вы, однако, сегодня неженка, барон! Не узнаю в вас сегодня того барона Артура фон Зайниц, который шесть лет тому назад выбил два зуба маркёру в ресторане «Воронного коня» в Праге... Помните, ваше сиятельство? Один зуб изволили вы выбить кием, а другой кулаком...

— Мало ли чего не было шесть лет тому назад! — пробормотал фон Зайниц.— Много было, и было такое, о чем неприлично упоминать теперь. Ну, Илька! Рассказывай! Ты теперь успокоилась немножко, а чтобы прийти в себя окончательно, тебе стоит только высказаться... Ну? Кто тебя обидел?

— Обидели не меня, а моего отца!

— Вот как! Так ты за отца плачешь?

— Его ужасно оскорбили! Вы ужаснулись бы, если бы увидели, как его, бедного, оскорбили!

— Так вот что! Гм... Какая же ты, однако, хорошая девочка! У тебя, старина, хорошая дочь! Редкость! Ну, все одно, рассказывай... И за него я так же охотно заступлюсь, как и за тебя.

— Не заступитесь, барон! — сказал Цвибуш.

— Почему?

— Потому что это невозможно... Я имел честь получить пощечину не от маленького человека, а от очень большого. Никакое ядро не в состоянии долететь до этого человека! Да и не следует заступаться! Моя дочь капризничает!

— Что за пустяки! Для меня одинаково, кто бы ни оскорбил! Мое ядро, если только нужно, долетит до всякого... Рассказывай, Илька. Я помогу тебе.

Заикаясь, глубоко вздыхая и то и дело повторяясь, Илька поведала Артуру фон Зайниц свое горе. Когда она, рассказывая, дошла до графини Гольдауген, поднявшей хлыст, барон нахмурился.

— Так это... была женщина? — спросил он.

— Да, графиня Гольдауген...

— Гм... Дальше...

Барон страшно побледнел и почесал себе лоб.

— Дальше, дальше... я слушаю... Так женщина ударила его! Не мужчина?

— Женщина, барон!

— Гм... Так... Отчего же ты не продолжаешь?

Когда Илька рассказала о том, как упал под ноги лошади ее отец, как он потом обливался кровью, барон взглянул на Цвибуша...

— Губу это она тебе рассекла? — спросил он.

— Ну, стоит ли об этом говорить? Поговоримте лучше, господа, о политике!

— Я тебя, старый дурак, спрашиваю, она рассекла тебе губу или не она? — крикнул барон и ударил кулаком по траве.— Дочь страдает из-за него, а он шутит! Не люблю шутов!

— Она, она! — сказала Илька.

— Облекаю старого дурака в молодую шкуру и возвращаю его по принадлежности! — проворчал Цвибуш.— Я не шучу, а говорю правду! Политика много лучше разговоров, из которых не выйдет решительно ничего путного...

Илька показала руками, сколько приблизительно крови пролил ее отец, как он хромал, когда плелся к часовне. Когда она рассказала о судьбе и передала все до единого его слова, барон презрительно усмехнулся и плюнул в сторону. Плевков отлетел на две сажени.

— Скоты! — проворчал он.— Да, он прав! Эта каналья права! Он не мог ничего сделать! Этот гольдаугенский Аристид такой же раб Гольдаугенов, как и та лошадь, которая чуть было не раздавила этого шекспировского шута, твоего отца!

— Мне не бывает так досадно,— кончила Илька,— когда моего отца бьют пьяные мужики или полицейские. Полиция, барон, не позволяет нам играть в больших городах. Но мне досадно, обидно, оскорбительно... обидно, когда женщина, образованная, знатная, с нежным лицом... И какое она имеет право смотреть на нас так надменно, так презрительно? Никто не имеет права так смотреть на нас!

Илька поднесла пальцы к лицу и заплакала...

— Неужели ей это так и пройдет даром?.. Ах, боже мой, боже мой!! Если эта обида останется безнаказанной, то я умру... умру! Пусть тогда отец один играет! Пусть он тогда продаст мою арфу!

Илька уткнула лицо в фартук и продолжала тихо плакать. Цвибуш глядел на землю и издавал свистящие звуки. Барон задумался...

— Обида сильная,— сказал он после продолжительного раздумья.— Но... нужно сперва выслушать, в чем дело, а потом уже и обещать. Я солгал, моя милая. Я не так силен, как я час тому назад хвастал. Ничего я не могу для тебя сделать...

— Почему?

— Потому что она женщина... Не драться же мне с ней на дуэли! Дело скверное, моя милая. Следует покориться...

— Не могу я покориться! Откуда вы взяли, что я могу покориться?

— Твое бессилие заставит тебя покориться. Ты бессильна, потому что ты дочь музыканта-нищего, а я силен, потому что она, черт ее побери, женщина...

— Что же мне делать? — спросила Илька.— Вы не верьте, ради бога, моему отцу! Он и сам не перенесет этого оскорбления! Он показывает вид, что он хладнокровен, а в сущности... Я пойду в Будапешт или в Вену!.. Я найду суд.

— Не найдешь...

Илька вскочила и заходила вокруг барона и Цвибуша.

— Найду! — закричала Илька.— Ну, наконец, вы же барон, знатный, умный человек, всех знаете, все знатные люди вас знают... Вы не какой-нибудь простой че-

ловек! Отчего бы вам не написать письма к какому-нибудь судье, чтобы он осудил ее по законам? Вам стоит только сказать или написать, и все будет сделано!

— Перестань, Илька! — сказал внушительно Цвибуш.— Господину барону скучно слушать твою непросветную чепуху! Ты злоупотребляешь его вниманием.

— Ты, Илька, рассуждаешь так, — сказал барон, — только потому, что ты не знаешь жизни. Ты недавно толковала мне, что ты несчастна, а между тем взгляд на жизнь у тебя точно у сибаритки, которая не умеет отличить меди от железа. Сколько тебе лет? Семнадцать? Пора жизнь знать, красавица! Жизнь — это такая отвратительная, мерзкая, тягучая ерунда, такая пошлая, бесцельная, необъяснимая чушь, которая не выносит сравнения даже с помойной ямой, которая выкопана для того, чтобы быть наполненной всякой гадостью. Пора знать! Что же ты хочешь от жизни? Хочешь, чтобы она улыбалась, сыпала тебе цветы, червонцы? Да? Так ты хочешь?

Фон Зайниц покраснел и запустил руку в свою большую охотничью сумку.

— Если так, то ты хочешь невозможного! Жизнь на земле возможна только невыносимая... Хочешь невыносимой жизни — живи, не хочешь — проваливай на тот свет. Отрава всегда к твоим услугам... Дитя ты, вот что! Глупа ты!

Из сумки показалась плетеная бутылка. Барон быстро поднес ее к губам и с жадностью сделал несколько глотков.

— Жизнь отвратительна! — продолжал он.— Мерзость ее есть ее закон, непоколебимый, постоянный!.. Она дана человеку в наказание за его пошлость... Милая красотка! Если бы я так глубоко не сознавал своей пошлости, я давно бы отправился на тот свет. Хватило бы пуль... Мучься, говорю себе, Артур! Ты достоин этих мучений! Получи, Артур, должное! Научись и ты, девочка, философствовать сама с собой в таком роде... Легче жить при таком уменьше...

Артур сделал еще два глотка.

— Есть во вселенной одна стихия, примиряющая несколько человека с его жизнью. Эта стихия, говорят,

создана дьяволом, но... пусть так! Она снимает с души моей шипы... на время, разумеется. Эта стихия — в моей бутылке... Выпей, Илька! Сделай один глоток! Это хорошая водка...

Илька замотала головой. Цвибуш взглянул на бутылку, облизнулся и застенчиво опустил глаза.

— Да ну же, выпей, чудачка! — продолжал фон Зайниц. — Легче станет. Попробуй-ка!..

— Выпей, Илька! — посоветовал Цвибуш.

Илька взяла в руки бытылку, сделала маленький глоток и поморщилась.

— Теперь ты выпей, — обратился Артур к Цвибушу. — Пей и ты, старый окорок!

Улыбаясь и гримасничая, Цвибуш засиял, как будто увидал давно невиданного друга... Он взял в обе руки бутылку и торжественно поднес ее к своим жирным губам. Сделав осторожно два-три глотка, он поставил бутылку на траву.

— Пей до дна! — сказал барон. — Не церемонься. У меня другая бутылка есть.

Толстяк в одну секунду исполнил это приказание.

— Где-то, когда-то я видел тебя, старина! — сказал фон Зайниц. — Физиономия твоя мне как будто знакома... Где я тебя видел?..

— Я, барон, тот несчастный маркёр, которого вы, ваше сиятельство, в Праге изволили лишить двух зубов.

— Может быть, может быть... Так... Я был мастер на эти дела... Жалею, что я не могу тебе теперь их вставить...

Барон вытащил из своей сумки другую бутылку и бумажный сверток. В свертке были пирожки, сыр и колбаса. Фон Зайниц разрезал колбасу пополам; одну половину подал он Цвибушу, а другую разделил на две части, из которых одну подал Ильке, а другую оставил себе.

— Прошу, господа! — сказал он. — Ешьте и не церемоньтесь. Ешь, девочка! Сыр всецело принадлежит твоему желудку. Мы до него не коснемся.

Голодные Цвибуш и Илька не заставили долго просить себя. Они с жадностью голодных, неблаговоспитанных детей набросились на закуску и чрез пять минут

уничтожили все, кроме небольшого кусочка колбасы. Этот кусочек был пощажён Цвибушем для закусывания после водки.

Выпитая водка подействовала на Артура моментально. Лицо его покраснело и просветлело. Глаза забежали, как пойманные мыши, и заблестели. Он протянул ноги по земле, положил кулаки под голову и заулыбался. На Цвибуша водка не повлияла. Его голова осталась в таком же состоянии, как и была. На Ильку водка подействовала угнетающим образом. Она села особняком, в стороне, подперла голову ладонями и задумалась.

— Пей, старина! — угощал Артур. — Лучше быть пьяным и веселым, чем трезвым и скучным. Хорошая водка наше спасение... Не будь ее, пропал бы человек! Пьем за ее существование! За что я тебе зубы выбил? Ты не помнишь?

— Как не помнить? Помню.. Вы были немножко под хмельком и потребовали от меня, чтобы я поймал ртом подброшенный бильярдный шар. Когда я не изъявил желаний исполнить ваше приказание, вы и приняли строгие меры...

— Скотина! — проворчал Артур...

— Кто?

— Послушай, красавица! — вдруг обратился фон Зайниц к Ильке. — Ты мне ужасно напоминаешь одну девушку, в которую я был влюблен в детстве. Девочки этой не было, она не существовала, но мне про нее каждый вечер рассказывала моя няня. Я ее воображал себе именно такой, как ты. Эта девочка, по словам моей няньки, жила в некотором царстве, в некотором государстве, в большом тюльпане. Она сидела на пестике и поглядывала из-за листьев тюльпана на мир божий. Занятия у нее были самые разнообразные. Она ухаживала за цветами, разливала в бутылки росу, которую употребляла для ванн и питья, пела песни. Девочка эта, забыл я тебе сказать, была ростом не более твоего мизинца. Ела она один только мед, который носили пчелы. Одевалась в пурпуровые листья маковых цветов. Специальность ее была медицина. Она заговаривала зубы, перевязывала раны, приготовляла капли и т. д. Одному кузнечiku, который в схватке с пауком сломал

себе ногу, она сделала операцию с такою ловкостью и с таким знанием, какому может позавидовать даже Бильрот. Занимаясь медициной, она не брезговала и другими ремеслами. Она обшивала бедных насекомых, починяла камергерские мундиры золотых жуков, душегрейки божьих коровок. Насекомые уважали ее, как мать родную, и любили ее больше всего на свете. Еще бы! Она совсем разорилась на нищих-червей, которые со всех сторон ползли к ней за подаяньем; она потеряла голос, читая проповеди насекомым. Проповеди ее были верхом ораторского искусства. Из достоверных источников известно, что десять трутней, прослушав ее проповедь «о лениности», заплакали от угрызения совести и принялись собирать мед. Она выдавала бабочек замуж, причем в приданое давала им прекраснейшие кисейные платья. Она женила сверчков, строго-настрого приказывая им, чтобы они по ночам не беспокоили жен своим криком... Настоящая была мать! Является однажды к этой девочке тарантул и просит ее, чтобы она заговорила ему зубы. Девочка заговорила ему зубы, и у паука моментально исчез с лица флюс. «Ладно,— сказал паук.— Спасибо. Я тебе за твою работу когда-нибудь соуса из мухи пришлю... Послушай, гениальная мысль пришла мне сейчас в голову! Выходи за меня замуж! А? Выйдешь?» Девочка засмеялась и сказала, что она ни в каком случае не может быть женой паука. «Я не люблю тебя,— сказал паук,— ты мне не нравишься, но я хочу брать дань с тех насекомых, которых ты лечишь, одеваешь и учишь читать... Мне нужны деньги. Не хочешь? Хорошо же! Если через три дня ты не дашь мне своего согласия, то я тебя убью вот этими самыми зубами!» Паук показал девочке свои страшные зубы и пошел домой. Девочка сообщила об угрозе паука всем своим протеже. Те слетелись, напоззли к ней со всех сторон и стали вокруг нее в оборонительную позицию: «Умрем, но не выдадим!» — воскликнули они. Явился паук. «Согласна?» — спросил он девочку. «Не согласна. Не заводи, паук, неудовольствий! Посмотри, сколько у меня защитников!» Паук посмотрел и увидел не защитников, а трусов, которые были бледны и дрожали всем телом. Он громко засмеялся и на глазах

всего насекомого мира зарезал своими скверными зубами бедную девочку. Убив ее, он покойно отправился домой. Пчелы сделали из воска гроб и положили в него девочку... Муравьи взялись выкопать могилу. За гробом шли комары, которые превосходно пели и играли на трубах. Золотой жук прочел надгробное слово... Одним словом, похороны вышли шикарные. Поминки были еще лучше. Ели и пили все насекомые до боли в животах. После поминок насекомые выпались, поручили сороконожке собирать на памятник и разлетелись по домам...

— И конец? — спросил Цвибуш.

— Что же тебе еще нужно? — спросил барон.— Хочешь, чтобы паука в тюрьму посадили? Держи карман! Нянька моя была отличный педагог. Она мне не лгала даже в сказках. У нее не торжествовала добродетель. Паук и до сих пор сидит у себя в норе и кушает соус из мух, а подлые насекомые, больные и изорванные, небось чаще вспоминают о вкусных поминках, чем о девочке. Царство тебе небесное, няня! Ты отлично знала природу! Выпьем, старина! Ну, что, Илька? Нравится тебе моя сказка? Ты почему-то ужасно напоминаешь мне девочку... Неужели и тебя тарантул съест? Ха-ха-ха!.. Очень может быть... Отчего же и не съесть, если можно? Зубы есть, и жрите... Однако ты меня не слушаешь, Илька! У тебя лицо такое, точно нас здесь нет!

Илька встрепенулась и умоляющими, вопросительными глазами поглядела на Артура.

— Не могу о ней забыть! — прошептала она.

— Ты все о том же? Покориться нужно, дитя! Советы канальи судьи остаются во всей своей силе. Лучшего ничего не выдумаешь. Купи отцу свинцовой прищипки и сделайся графиней...

— Вы все шутите! Боже мой! Графиней... Разве это возможно?

— Возможно, если сумеешь выйти замуж за какого-нибудь графа, и невозможно, если не сумеешь. Но ты едва ли сумеешь... Вот ежели бы к твоей рожице да прибавить презренного металла побольше,— ну, тогда и сомневаться не было б надобности. И я бы, черт возьми, женился. Вышла бы за меня, Илька?

— Вы барон? Вышла бы... Я и за барона пошла бы...

— Я и граф... Ха-ха-ха... Не выкинуть ли мне разве штуки? Стой, стой... Штука вышла бы удивительная!

Барон на минуту задумался.

— Нет... — сказал он. — Это было бы уж слишком... Не стоит. Я люблю девочку в тюльпане, но уввы! — женитьба должна дать мне не менее миллиона франков.

— Некрасиво жениться на деньгах, доктор! — сказал Цвибуш, на которого уже начинала действовать водка. — Женитьба на деньгах считается, доктор, низким поступком.

— Что ж делать! Я решусь на подлость. Мне миллион нужен во что бы то ни стало. С миллионом в руках... Впрочем, вам не следует этого знать. Я показал бы им!

— И на старухе женились бы?..

— Хоть на черте... За миллион все! Миллион — это рычаг, которым я переверну ад с его чертями и огнем. Я говорю не про будущий ад, а про тот, в котором я теперь нахожусь. Если я не сделаю подлости, то этим самым дам возможность другим натворить тысячу подлостей. Девочка в тюльпане, — обратился Артур к Ильке, — отчего у тебя нет миллиона? Будь у тебя миллион, у меня была бы хорошенькая жена, а ты была бы графиней, исполнила бы один из советов судьи...

— Вы все шутите! — вздохнула Илька.

— Нисколько не шучу... Достань-ка миллион, попробуй! Непременно баронессой сделаю! Достань-ка!

— Не выпить ли нам, доктор? — предложил Цвибуш. — В вашу беседу начинает вкрадываться фантастический элемент... Бог с ней, с фантазией! Нам ли толковать о миллионах? Легче мне проглотить собственную голову, чем увидеть когда-нибудь миллион... Не будем же говорить о деньгах! Разговоры порождают зависть...

— Молчи, пожалуйста! Отчего же не помечтать, если делать нечего? А я тебе, старый окорок, повторяю, что, будь у тебя миллион, я отнял бы у тебя девочку и посадил бы ее в тюльпан... Я пьян? Хорошо! Она мне, ей-богу, нравится! Посмотри, какой у нее носик! Ах, черт возьми! Достань, Илька, миллион!

— А как достать миллион? — спросила Илька.

— О, наивность! *Sancta simplicitas!*¹ Как достать миллион? Достать его можно различными способами. Способы бывают тяжелые и легкие... Тяжелый способ заключается в бесконечном труде, труде свободном и разумном, при котором ночей не спят, недоедают и болеют. При таком способе миллион приходит только в старости, когда не стоит выходить замуж. Ты — женщина, не имеешь достаточно разума и хочешь замуж, а потому этот способ для тебя не годится. Второй способ, легкий по существу и иногда тяжелый по последствиям, состоит в забвении одной всем мешающей вещи — совести. Вору и грабь. Чем ты умней и беззащитнее, тем раньше ты сделаешься баронессой фон Зайниц. Воровать и грабить можно не на одних только дорогах. Можно воровать и душить, сидя у себя в кабинете. Этот способ я тебе не рекомендую. Если ты недостаточно умна, то он чреват последствиями: можешь угодить к черту. Третий способ — получи наследство... Какой же четвертый способ? Четвертый способ, наиболее употребляемый женщинами и не всегда пренебрегаемый мужчинами, заключается в умении пользоваться своим телом. Чем лучше у субъекта тело, тем ближе он к миллиону. Этот способ к тебе наиболее подходит, Илька!

— Наименее! — сказал Цвибуш. — Он не годится! Оставим его в покое, барон! От этого пикантного способа пахнет салом, а Илька...

— Молода? Ничего, пусть знает! Для чего скрывать от нее то, чего ей следует остерегаться? Итак, я продолжаю... Умей, Илька, со вкусом одеваться, вовремя показывать из-под платья свою хорошенькую ножку, лукавить, кокетничать. За каждый поцелуй ты возьмешь *tipitipit* тысячу франков... При твоей тепершней обстановке тебе едва ли много дадут; но если бы ты сидела в ложе или в карете, то...

— Ну-ну... довольно! — забормотал Цвибуш. — Бог знает чем пичкаете вы голову этой девчонки!.. Оставим этот разговор! Прошу вас, доктор! Я переменяю раз-

¹ Святая простота! (лат.)

говор... Так... Правду ли говорят, что вы на прошлой неделе приняли лютеранство?

— Правда... Последний способ — самый легкий и не самый безобразный. Приблуди, Илька, великосветские манеры, научись болтать и, верь моему знанию, ты будешь иметь миллион. Этот способ употребляется слишком часто. Пользовались бы им семь восьмых женщин, если бы семь восьмых были красивы и имели цену на рынке. Попадись ты мне семь, восемь лет тому назад, я непременно купил бы тебя... Хорошенькая бестия.

— Тише, барон, ради бога тише! — проговорил Цвибуш. — Не будем языку давать волю! — Цвибуш с боязнью поглядел на дочь: Илька сидела и со вниманием слушала барона, по-видимому, нисколько не стесняясь содержанием и формой его речи.

— Я понимаю, — сказала она. — Но неужели вы в состоянии жениться на женщине, которая продала себя?

— В состоянии. Ведь я, женись на приданом, тоже продаю себя! И так далее и так далее... У меня к тебе есть просьба, Илька...

Барон приподнялся и из жилетного кармана вынул золотую монету.

— Возьми, милая моя, эти деньги и в первом попавшемся городе сними с себя фотографический портрет. Понимаешь? Портрет ты пришлешь мне... вот по этому адресу...

Барон подал Ильке золотую монету и карточку, на которой был написан адрес.

— Мне хочется почаще видеть девочку в тюльпане... Я хочу носить ее постоянно в своем боковом кармане... Пришлешь?

— Да.

— Ну и отлично. А теперь, друзья, adieu! ¹ Я спать хочу.

Барон растянулся на траве и положил охотничью сумку себе под голову.

— Прощайте. Очень рад знакомству. Буду ожидать портрет и женюсь, если достанешь миллион...

¹ прощайте! (франц.)

Цвибуш встал и поклонился.

— Благодарю вас, барон, — сказал он. — Вы нас покормили, не позволите ли вы нам поиграть вам за это? Под нашу скучную музыку отлично спится!

— Сделайте одолжение!

Цвибуш настроил скрипку и заиграл из «Боккачио» под аккомпанемент Илькиной арфы. Барон кивнул головой в знак своего удовольствия и закрыл глаза... Когда музыканты кончили играть и хотели отойти от него, он открыл глаза и остановил свой мутный взгляд на Ильке.

— Так... так... Понимаю, — пробормотал он. — Это ты, Илька? На тебе на память!

Барон отстегнул от своей цепочки один из медальонов, подал его Ильке, упал головой на сумку и заснул как убитый.

III

Когда проснулся фон Зайниц, был уже вечер. Верхушки деревьев и каменные постройки маленького, стоящего на возвышенности городка купались в золоте заходившего светила. Золото это, слегка окрашенное в пурпур, парчой стлалось по небу от солнца к востоку и заволакивало собой добрую треть неба... Около солнца и над ним не было ни одного облачка; последнее обстоятельно обещало прекрасную ночь. Далеко за лесом играла свирель возвращавшегося пастуха. Она играла простую песенку, не имевшую имени: музыка машинальная, беспорядочная, но под эту незатейливую музыку каждый вечер богатырским сном засыпают и леса графов Гольдаугенов, и рожь, и ковыль, и река...

Артур увидел возле себя на траве две валявшиеся бутылки и газетную бумагу, оставшуюся после свертка. Старого толстяка и хорошенькой белокурой девочки возле него уже не было. Он вспомнил их, свою беседу с ними — и улыбнулся, даже засмеялся, когда, посмотрев себе на грудь, увидел прицепленную к одной из пуговиц бумажку. На этой бумажке карандашом было написано следующее: «Милый барон! Вы первый чело-

век, который обошелся с нами по-человечески. До вас о человеческом обращении мы знали только понаслышке... Зато — вы первый человек, о котором я буду вспоминать не с горьким чувством, а с наслаждением. Ваше внимание нас тронуло до глубины души. Прощайте! Дай бог вам счастья! Карточку вышлю. Ваша слуга — Илька».

— Ни одной грамматической ошибки! — произнес вслух фон Зайниц, прочитав дважды это письмо, написанное симпатичным женским почерком. — Это удивительно! Ай да Илька!

Барон вынул из записной книжки оловянный карандаш и написал: «Получено от девочки в тюльпане 13-го июня». Сложив это письмо вдвое, он спрятал его в карман записной книжки.

— В путь! Обедать пора! — и, перекинув ружье через плечо, барон пошел по лесу, направляясь к городку, с которого уже начала сходить позолота, на короткое время наложенная солнцем.

Ему пришлось идти длинной и неширокой просекой, усыпанной щебнем. Просека тянулась почти до самого городка. На середине она пересекалась железной дорогой. Недалеко от перекрестка, образуемого просекой и полотном железной дороги, стоит дом лесничего Блаухера.

Подойдя к перекрестку, Артур повернул, снял шляпу и поклонился: на террасе домика сидела старая мадам Блаухер и вышивала скатерть. На ее крошечной голове сидел большой чепчик с широчайшими бантами, а из-под чепчика выглядывали стариннейшие, дедовские очки: они сидели на длинном тупом носу, напоминая большой палец ноги... На поклон Артура она ответила слащавой улыбкой.

— Добрый вечер, фрау Марта! — сказал барон. — Писем мне нет?

— Есть, но только одно. С гербом, барон...

— Адрес написан рукой Пельцера?

— Да...

— Ну, так бросьте его, Марта, в печь. Я знаю его содержание. Жид, под диктовку моей сестрицы, проклинает меня за принятие лютеранства... И так знаю,

без чтения. Муж ваш здоров? И фрейлейн Амалия, надеюсь, тоже?

— Благодарю вас... Мне придется, значит, сжечь шестое уже письмо... Занятие не особенно приятное, если знаешь, что над этим письмом трудились, чувствовали... Как вы жестоки! Теперь вы куда идете?

— Обедать... куда-нибудь...

— И к кому-нибудь?

— Да...

Старушка вздохнула и покачала головой.

— Не будь мой Блаухер так осторожен, — сказала она, — и я дала бы вам пообедать. Мой муж рвет на своей голове волосы, когда к нам ходят знатные господа. К нам ездит генерал Фрехтельзак; но ведь он старик, — его нельзя бояться... За него и не боится мой Блаухер... Для него *вы* страшны. Вы пообедаете у нас, а соседи скажут, что вы ухаживаете за нашей дочерью, и бог знает чего не наговорят. Знатный человек ходит ведь не затем, чтобы жениться, а известно зачем... Ну, Блаухер и боится... А генерал Фрехтельзак — совсем другое дело!

— Не беспокойтесь, Марта! Я пообедаю и в другом месте.

— Да по правде сказать, у нас сегодня и обед никуда не годится. Беда в теперешнее время с прислугой — ничего с ней не поделаешь!

— Прощайте, Марта! Поклон вашим!

— Прощайте, барон!

Барон поклонился и пошел к просеке. Темные вечерние тени уже ложились на землю. В лесном воздухе становилось свежо. Позади Артура с шумом промчался вечерний дачный поезд, развозивший горожан по полям и лесам... В лесу вечер начинается раньше, чем в поле. В поле можно было продеть нитку в иглу... Когда стих шум от дачного поезда, Зайниц услышал позади себя конский топот. Он оглянулся и остановился: на прекрасном вороном коне неслась к нему амазонка. Она пронеслась мимо, взглянула на Артура и, проехав несколько сажен, осадилась лошадь.

— Фон Зайниц? — спросила громко всадница.

— Он самый...

Артур подошел к амазонке и поклонился. В лесу стемнело, но еще не настолько, чтобы нельзя было увидеть, как хороша была всадница. От всей ее фигуры так и веяло воистину герцогским величием.

Будь здесь Цвибуш и Илька, они узнали бы в ней ту самую всадницу, которую мы, в первой главе нашего рассказа, вместе с Цвибушем, назвали графиней Гольдауген, урожденной Гейленштраль. В ее руках был тот самый хлыст, который в полдень рассек губу Цвибуша.

— Я узнала вас при первом взгляде, — сказала она, подавая Артуру руку. — Вы немного изменились... Впрочем... с вами можно говорить или нет? Последнее письмо ваше ко мне было полно ненависти, негодования, самого отчаянного презрения... Вы еще так же сильно ненавидите, как и ненавидели?

Барон пожал ее красивую руку и улыбнулся.

— Мое письмо, — сказал он, — преступление, которое можно простить мне за давностью лет. Оно писалось четыре года назад. В этом письме я ненавидел вас за ваше корыстолюбие, которое не позволило вам выйти замуж за любимого, влюбленного, но разорившегося человека. В настоящее время я менее всего склонен сердиться на вас за ваше корыстолюбие. Три часа назад я беседовал о своей будущей женитьбе на деньгах... Я еще живу на этом свете и не отправляю себя на тот только потому, что имею цель в жизни... Эта цель — женитьба на миллионе...

— Вот как! За последние четыре года убеждения ваши, значит, сильно изменились. Однако я рада... Я встретила вас так неожиданно! Очень приятно, барон, ей-богу приятно! Спасибо хоть за то, что встретились!

— Ни в каком случае я не мог ожидать, что когда-либо встречу вас в этих местах. Вы как сюда попали?

— Я... Разве вы не знаете? Я здешняя обитательница... И уже давно...

— Вы, баронесса? Каким образом?

— Я теперь уже не баронесса Гейленштраль, а графиня фон Гольдауген. Два года назад я вышла за вашего соседа, графа Гольдауген...

— Не слышал... Скажите какие новости! За графа... Я его не знаю... Он красив?

— Нет...

— Странно... Вы любительница красивых мужчин, насколько я вас знаю. Любили вы меня потому, что я, как говорят, был чертовски красив. А он: молод, богат?

— Ему под сорок... Он очень богат...

— Счастливы, разумеется?

— Нисколько. Я тоже вышла замуж за миллион. Двухлетний опыт показал мне, что я сделала страшную ошибку. Счастье не в миллионе, как оказалось... Я теперь занимаюсь только тем, что изобретаю способ, как бы удрать от миллиона!

Графиня засмеялась, и ее взгляд на некоторое время остановился на темнеющем небе. Помолчав немного, она со смехом продолжала:

— Значит, мы с вами теперь поменялись ролями, барон. Я теперь ненавижу то, что прежде любила, а вы — наоборот... Как, однако, странно меняются обстоятельства на этом скучном свете!

— Вы хотите бежать миллиона для счастья, а я ищу миллион не для того, чтобы записаться в счастливики... Цели, как видите, разные...

— Вам решительно ничего неизвестно о моей новой жизни?

— Ничего...

— Значит, толки ходят не особенно сильные... Я затеяла развод со своим мужем...

— Затея веселая... А живете — у него теперь?

— Ну да... Странно немножко, это правда... Но мы, во избежание лишних сплетен, уедем друг от друга только тогда, когда наш разрыв окрасится в казенный сургуч... Я улечу отсюда, когда я буду официально свободна... Впрочем, все это вам неинтересно... Я так обрадовалась встрече со старым знакомым и... другом, что готова бессовестно выболтать все свои тайны и не тайны... Поговорим о вас лучше... Вы как живете?

— Как видите. Живу где придется...

— Науки бросили? Совершенно?

— Бросил и, по всей вероятности, совершенно...

— И совесть ученого человека покойна?

— Ну... Наука во мне потеряла немного больше нуля... Невелика потеря...

Графиня пожала плечами и покачала головой.

— Вы, Зайниц, оправдываетесь, как школьник, — сказала она. — Немного больше нуля... Молодые ученые не имеют настоящего, у них есть будущее. Кто знает: быть может, если бы вы продолжали ваши занятия науками, то вы были бы для науки в тысячу раз больше нуля!

— Вы неправильно выражаетесь, — засмеялся фон Зайниц, — нуль, помноженный на тысячу, равен нулю.

— Вы окончательно разорены? — спросила графиня, как бы не слушая фон Зайница.

— Окончательно. У вас есть с собой деньги?

— Немного есть. А что?

— Отдайте мне их.

Графиня быстро вынула из кармана маленький портмоне и подала его Артуру. Артур высыпал деньги себе в кулак, а портмоне подал графине.

— Мерси, — сказал он. — Беру взаймы. Отдам на другой день после свадьбы. Вы удивляетесь? Какие у вас удивленные глаза! Я не только прошу и беру, но даже еще жалею, что в вашем портмоне было так мало.

Графиня посмотрела в его глаза и подумала: «Он лжет».

— Я несколько не удивляюсь, — сказала она. — Что странного и удивительного в том, что Артур фон Зайниц занимает немного денег у своего друга? Это дело житейское, обыкновенное...

— А кто вам сказал, что вы мой друг?

— Вы странны... Прощайте! С вами тяжело говорить.

Графиня кивнула головой, подняла хлыст и помчалась по просеке.

IV

Когда она проехала всю просеку и выехала в поле, было уже темно... Город, горы были еще видны, но потеряли свои очертания. Бродящие люди и лошади

имели вид силуэтов самой неопределенной формы. Кое-где зажглись огни. Графиня остановилась возле шалаша, построенного из камыша и соломы на одном из гольдаугенских огородов. Гольдаугены для своих огородов арендовали часть городской земли с незапамятных времен. Арендовали ради тщеславия. «Чем меньше вокруг моей земли чужих владений, — сказал когда-то один из Гольдаугенов, — тем более у меня причин держать высоко голову».

У шалаша стояли огородник и его сын. Увидав мчавшуюся к ним графиню, они сняли шапки.

— Здравствуйте, старый Фриц и молодой Фриц! — обратилась графиня к огороднику и его сыну. — Очень рада, что застаю вас здесь. Если мне когда-нибудь скажут, что вы плохо исполняете свои обязанности, я буду иметь основание не поверить.

— Мы всегда находимся при своих обязанностях, — сказал старый Фриц, вытянувшись в струнку. — Ни на шаг не отходим от огорода. Но если, ваше сиятельство, господину управляющему или его холопам не понравится почему-либо моя рожка, то меня прогонят без ведома вашего сиятельства. Мы люди маленькие, и ради нас едва ли кто-нибудь станет беспокоить ваше сиятельство...

— Ты думаешь, Фриц? Нет, ты сильно ошибаешься... Я знаю всех наших слуг и, поверь, умею различить — кто хорош, кто плох, кого рассчитали. Я знаю, например, что старый Фриц порядочный слуга, и знаю, что молодой Фриц лентяй и зимой у пастора украл перчатки и трость... Мне все известно.

— Вам известно, что у бедного пастора украли перчатки и трость, а неизвестно...

Старый Фриц замолчал и усмехнулся.

— Что неизвестно? — спросила графиня.

— Вашему сиятельству неизвестно, что собаки камердинера его сиятельства графа три недели назад искусали мою дочь и жену. Вашему сиятельству неизвестно, несмотря на то что вся деревня из кожи вон лезла, чтобы сделать это известным. Собаки камердинера терпеть не могут простой одежды и рвут всякого, одетого по-мужицки. Господину камердинеру достав-

ляет это удовольствие. Еще бы! Собаки валят женщину на землю, рвут ее одежду и... нагое тело, ваше сиятельство... Господин камердинер большой любитель бабьего мяса!

— Хорошо, хорошо... Ну, что ж ты хочешь?.. Этого я не знаю...

— Моя жена больна, а дочь стыдится показаться на улицу, потому что мужчины, по милости собак, видели ее в костюме Евы.

— Хорошо, хорошо... Разберу. Мне нужно вас спросить об одной вещи. Вы не видели сегодня по дороге к городу музыкантов, толстого старика и молодую девушку с арфой? Не проходили мимо?

— Не видел, ваше сиятельство! — сказал старый Фриц. — Может быть, проходили, а может быть, и не проходили. Много всякого народа проходит. Всех не увидишь и не запомнишь...

Графиня задумалась и впиалась глазами в темную даль.

— Это не они? — спросила она, указав хлыстом на два черневшиеся вдаль человеческие силуэта.

— То оба мужчины, — сказал молодой Фриц.

— Очень возможно, что они остановились ночевать в деревне, — сказала графиня. — Они будут проходить здесь завтра, в таком случае... Если вы их увидите, то немедленно пришлите их ко мне.

— Слушаю, — сказал старый Фриц. — Толстый старик и молодая девушка. Понимаю. А на что они вам, ваше сиятельство? Вероятно, украли что-нибудь?

— Почему же непременно украли?

— Да так, ваше сиятельство, в графстве Гольдауген только и занимаются тем, что воров ищут. Мода такая. В графстве Гольдауген воруют только главные, а ворами считаются все.

— Вот как! Гм... Завтра можешь искать себе другое место. Чтобы завтра в этом графстве не было ни одного Фрица!

Сказав это, графиня повернула лошадь и поскакала назад к просеке.

— Как она красива! — сказал молодой Фриц. — Как хороша!

— Да, очень красива! — сказал старый Фриц. — Но нам какое до этого дело?

— Чрезвычайно хороша! Клянусь тебе истинным богом, отец, что не я уворовал у пастора перчатки и трость! Я никогда не был вором! Если я лгу тебе, то пусть я ослепну сию же секунду. Меня оклеветали ни за что ни про что... И она поверила этой клевете! Подлые люди!

Молодой Фриц помолчал и продолжал:

— Но пусть же недаром клеветают эти подлые люди! Пусть недаром смеются они над нами... Я уверую. Когда она говорила с тобой, а я глядел на ее красивое лицо, я дал себе честное слово уворовать... И я украду! Я украду у графа Гольдаугена то, чего не сумею уворовать ни одному из его управляющих. И я сдержу честное слово.

Молодой Фриц сел и задумался. Новые, в высшей степени сладкие, не крестьянские, а бальзаковские мечты охватили его мозг и сердце. Грандиознейший воздушный замок в несколько минут был построен его разгоревшимся юношеским воображением... То, что час назад показалось бы ему безумным, несбыточным и моментально было бы изгнано из головы, как нечто детски-сказочное, — теперь вдруг приняло образ задачи, которую явилось настоящее желание решить во что бы то ни стало. Воздушный замок понадобилось вдруг обратить в более прочный...

Когда у молодого Фрица закружилась его разгоряченная мечтами голова, он вскочил, протер пальцами глаза и с хохотом закричал отцу:

— Наверное украду! Пусть тогда обыскивают!

Графиня ехала домой. На пути попался ей навстречу барон фон Зайниц, который все еще шел обедать.

— Мы, полагаю, еще увидимся? — крикнула ему графиня.

— Если хотите, то да.

— Мы найдем, о чем нам говорить. При той скуке, которую я теперь переживаю, вы для меня находка. Мне пришла в голову одна маленькая идейка. Не хотите ли отпраздновать вместе со мной день вашего рож-

дения, который будет в четверг на будущей неделе? Видите, как я еще помню вас? Я не забыла даже день вашего рождения... Хотите?

— Извольте...

— Нам нужно сойтись где-нибудь... Вот что... Вам знакомо то место, где стоит «Бронзовый олень»?

— Да.

— Там нам никто не помешает вспомнить старину. Быть там в семь часов вечера.

— Вино мое.

— Отлично. Adieu! Кстати, барон. Будем вперед беседовать на французском языке. Я не забыла, что вы не любите немецкого. А насчет «шарлатана» и умных людей — подумайте. Adieu!

Графиня ударила по лошади и через минуту исчезла в темнеющем все больше и больше лесном воздухе.

Баронесса Тереза фон Гейленштраль была тем «чистым, неземным существом», на котором впервые отдохнули глаза и чувства Артура после отвратительной парижской жизни. Артур сделал слишком резкий поворот от разгула к труду благодаря не одному только уважению к науке: этому повороту много способствовала и баронесса. Без нее не было бы полного обновления.

По приезде из Парижа в Вену Артур зажил отшельником. В одиночестве он мечтал об успокаивающем труде, проклинал этот свет с его людьми и, сам того не желая, вздыхал... о парижских кокетках. Известно, чем бы кончилось это одиночество, если бы Артуру, вскоре после своего приезда, не пришлось попасть в число постоянных посетителей дома баронов Гейленштраль. В бытность Артура в Вене дом Гейленштралей мог посещать всякий желающий. Собственно говоря, никого они и не приглашали, а ходили к ним все любители ходить в дома великих мира сего без приглашений, если только двери не заперты.

В последние годы дом этот напоминал благочестивого человека, который, узнав о приближении своей смерти, махнул на все рукой и пустился во все тяжкие, чтобы хотя денек пожить по-человечески.

Бароны Гейленштраль, истаскавшиеся и разорившиеся, ищущие спасения и не находящие его, предчув-

ствуя предсмертную агонию, махнули на все рукой и потеряли всякую способность обращать на что-либо внимание. Все было забыто, кроме приближающегося ужасного финала. Ужас пред приближающеюся развязкой был с успехом заглушаем вином, любовью и мечтами. Гейленштрали еще мечтали о возможности спасения. Спасение, они думали, было в руках Терезы, которая может выйти за очень богатого человека и замужеством поправить плохие дела своей семьи. Но и эта надежда была только мечтой. Тереза была в ссоре с отцом и клялась, что она, выйдя замуж за богатого человека, не даст своим родственникам ни гроша.

Гейленштрали махнули рукой и начали доедать то, что еще не было съедено. Доедали они не просто, а отчаянно, торжественно, с шумом и треском, точно раньше никогда не едали. Двери их дома отперлись сами собой, и в них хлынула полуголодная толпа пожирателей объедков. Пожиратели явились в образе разорившихся аристократов, писателей, художников, артистов, музыкантов, с их великолепными костюмами, эффектными лицами, тонкими запахами, замечательными инструментами и голодными желудками. Пожиратели мигом завладели домом баронов, и Гейленштрали, беднеющие и жаждущие спасения, вдруг увидели себя на высоте меценатства. Дом их украсился кулисами, картинами, редкими акварелями. Квартал по вечерам оглашался звуками симфоний, ноктюрнов, вальсов и полек. Музыкально-литературные вечера, на которых играли и читали, приобрели себе известность, а за известностью и массу посетителей из всех слоев общества. На всех этих вечерах и спектаклях присутствовала и Тереза. Красивая, точно из мрамора высеченная, вся в черном, она елонялась в пестрой толпе пожирателей, от одного артиста к другому, всеми силами стараясь отделаться от своей томительной скуки. Люди, которые составляли толпу, были для нее новы. Они заинтересовывали ее. От скуки она принялась за их изучение. Она впивалась глазами в эффектные лица, слушала, говорила, читала сочинения в подносимых ей рукописях и путем долгого изучения пришла только к одному заключению: между ними есть порядочные малые, есть и шарлатаны. Это за-

ключение было единственным результатом ее изучения. Не обладающая более тонким анализом, она не сумела отделить порядочных малых от шарлатанов. Она приблизила к себе некоторых, но и между этими некоторыми было много и светлых личностей, были и шарлатаны. В числе избранных находился и фон Зайниц.

Попал он в дом Гейленштралей нечаянно. Его затащил туда один приятель-автор, желавший показать ему свою комедию, которая давалась на сцене баронов. Вскоре, не довольствуясь спектаклями и литературными вечерами, он начал посещать дом Гейленштралей и днем. Тереза, ездившая по вечерам верхом обыкновенно в сопровождении грума, вскоре начала делать свои вечерние прогулки в сообществе Артура. Каждый вечер Артур с увлечением рассказывал ей о том, что сделал он в истекший день, что прочитал, что написал. За отчетом следовали неизбежные мечты, надежды, предположения. Тереза слушала его и сама говорила. Она так и сыпала фамилиями известных ученых, которых она знала... понаслышке, от Артура. Они стали друзьями. Говорят, что от дружбы до любви один лишь шаг. Артур не думал о любви. Ему достаточно было только одного общества умной, свежей женщины. О любви заговорил он лишь тогда, когда Тереза в одну из вечерних прогулок призналась ему, что любит его... Она первая заговорила о любви. После этого признания потекли дни, которые, как говорят, бывают раз только в жизни. Никогда в другое время не был так счастлив и доволен жизнью Артур, как в эти дни, проведенные с любимой женщиной. Это счастье, однако, тянулось недолго. Оно было разрушено Терезой. Когда он потребовал от любимой и несомненно любящей девушки, чтобы она стала его женой, баронессой и «докторшей» фон Зайниц, она отказала ему наотрез.

«Я не могу выйти за вас замуж, — писала она ему. — Вы бедны, и я бедна. Бедность уже отравила одну половину моей жизни. Не отравить ли мне и другую? Вы мужчина, а мужчинам не так понятны все ужасы нищеты, как женщинам. Нищая женщина — самое несчастное существо... Вы, Артур, напрасно заговорили о замужестве... Вы этим самым вызываете на объясне-

ния, которые не могут пройти бесследно для наших теперешних отношений. Прекратим же эти тяжелые объяснения и будем жить по-прежнему».

Артур в клочки изорвал это письмо и написал ответ, в котором призывал на голову Терезы громы небесные. Он погорячился и написал «неземному существу» крупнейшее письмо, в котором проклинал «дух времени» и воспитание... Трогательные письма, которые потом присылались в оправдание отказа, не читались и бросались в печь. Артур до того возненавидел Терезу, что все, напоминающее ему ее, потеряло в его глазах всякую цену. Он возненавидел все величественное, строгое, гордое и всей душой привязался ко всему мизерному, забитому, бедному...

Идя обедать, Артур припомнил все это... Ему смешон был теперь его трактат «о духе времени», но старинная ненависть зашевелилась в нем. Он не успел еще расстаться с этою ненавистью.

В четверг, в день своего рождения, Артур вспомнил обещание, данное Терезе, пообедать с нею вместе: он отправился к «Бронзовому оленю». Так называлась маленькая поляна, на которой был убит когда-то королем олень с шерстью бронзового цвета. Другие же говорят, что здесь во время оно стояла статуя «Охоты» — олень, вылитый из бронзы, заменявший собой Диану. Говорят, что король, по приказанию которого ставилась эта статуя, был целомудрен и на статуи классических женщин смотрел с отвращением.

Когда Артур пришел на поляну, Тереза уже была там. Она нетерпеливо шагала по траве и хлыстом сбивала головки цветов. Лошадь ее была привязана в стороне к дереву и лениво ела траву.

— Хорошо же вы принимаете своих гостей! — сказала графиня, идя навстречу Артуру. — Хорош вы хозяин! Вы гуляете, а гостья ожидает вас уже более часа...

— Я ходил за вином, — оправдывался Артур. — Прошу садиться! Нам с вами не впервые приходится сидеть на траве. Помните былое время?

Графиня и Артур сели на траву и принялись вспоминать былое... Они вспоминали, но не касались ни

любви, ни разрыва... Разговор вертелся около венского житья-бытья, дома Гейленштралей, артистов, вечерних прогулок... Барон говорил и пил. Графиня отказалась от вина. Выпив бутылку, Артур слегка опьянел; он начал хохотать, острить, говорить колкости.

— Вы чем теперь питаетесь? — спросил он между прочим.

— Чем? Гм... Известно, чем... Гольдаугены не бедны...

— Вы едите и пьете, значит, графское?

— Не понимаю, для чего эти вопросы?!

— Но умоляю вас, ответьте, Тереза. Вы графское едите и пьете?

— Ну да!

— Странно. Вы терпеть не можете графа и в то же время живете у него на хлебах... Ха-ха-ха... Каково? Каковы, черт возьми, правила? Меня ваши мудрые люди считают шарлатаном; какого же они мнения о вас? Ха-ха-ха!

По лицу графини пробежала туча.

— Не пейте больше, барон, — сказала она строго. — Вы делаетесь пьяны и начинаете говорить дерзости. Вы знаете, что обстоятельства заставляют меня жить еще у Гольдаугена.

— Какие обстоятельства? Боязнь злых языков? Стара песня! А скажите мне, пожалуйста, графиня, сколько обязуется давать вам ежегодно граф после развода?

— Ничего...

— А зачем вы говорите неправду? Да вы не сердитесь... Я по-дружески. Не теревите хлыста. Он не виноват. Ба!

Барон ударил себя по лбу и приподнялся.

— Позвольте... Как же это я раньше-то не обратил внимания?

— Что такое?

Глаза барона забегали. Они перебежали с лица графини на хлыст, с хлыста на ее лицо. Он нервно задвигался.

— Как же это я раньше не вспомнил! — забормотал он. — Так это вы изволили угостить старого толстяка и мою девочку в тюльпане?

Графиня сделала большие глаза и пожала плечами.

— В тюльпане... Толстяка... Что вы бормочете, фон Зайниц? Вы стали заговариваться. Пить не нужно!

— Драться не нужно, милостивая государыня!

Барон побледнел и ударил себя кулаком по груди.

— Драться не нужно, чтобы черт вас взял с вашими аристократическими замашками! Слышите?

Графиня вскочила. Ее глаза расширились и заблестали гневом.

— Не забывайте, барон! — сказала она. — Не угодно ли вам взять вашего черта обратно? Я не понимаю вас!

— Не угодно! К черту! Не думаете ли еще отказаться от вашего низкого поступка?

Глаза графини сделались еще больше. Она не понимала.

— Какого поступка? От чего мне отказываться? Я не понимаю вас, барон!

— А кто во дворе графа Гольдаугена вот этим самым хлыстом ударил по лицу старого скрипача? Кто повалил его под ноги вот этой самой лошади? Мне называли графиню Гольдауген, а графиня Гольдауген только одна!

Яркий, как зарево пожара, румянец выступил на лице графини. Начиная от висков, он разлился до самого кружевного воротничка. Графиня страшно смутилась. Она закашлялась.

— Я не понимаю вас, — забормотала она. — Какого скрипача? Что вы... болтаете? Образумьтесь, барон!

— Полноте! К чему лгать? В былые годы вы умели лгать, но не ради таких мелочей! За что вы его ударили?

— Кого? Про кого вы говорите?

Голос графини был тих и дрожал. Глаза бегали, точно пойманные мыши. Ей было ужасно стыдно. А барон опять уже полулежал на траве, упорно глядя в ее прекрасные глаза и злобно, пьяно ухмыляясь. Губы его подергивались нехорошей улыбкой.

— За что вы его ударили? Вы видели, как плакала его дочь?

— Чья дочь? Объяснитесь, барон!

— Еще бы! Вы умеете давать волю своим белым рукам и длинному языку, но не умеете видеть слез! Она до сих пор плачет... Хорошенькая белокурая девочка до сих пор плачет... Она, слабая, нищая, не может отомстить графине за своего отца. Я просидел с ними три часа, и она в продолжение трех часов не отнимала рук от глаз... Бедная девочка! Она не выходит у меня из головы со своим плачущим благородным личиком. О, жестокие, сытые, не битые и никогда не оскорбляемые черти!

— Объяснитесь, барон! Кого я била?

— Ну да! Вы думаете, по вашему лицу я не узнаю, где кошка, которая съела мышку? Стыдно!

Барон приподнялся и протянул руку к хлысту.

— Покажите!

Графиня покорно подала ему хлыст.

— Стыдно! — повторил он и, согнув спиралью хлыст, сломал его на три части и швырнул в сторону.

Графиня окончательно смешалась. Пристыженная, слушающая дерзкое слово первый раз в своей жизни, красная и не знающая, куда спрятать от судейских глаз барона лицо и руки, она не находила слов. Из этого неловкого положения несколько вывело ее одно маленькое обстоятельство. В то время когда Артур ломал хлыст, в стороне, за деревьями, послышались шаги. Через минуту графиня увидала Фрицев. Они вышли из-за деревьев и, с любопытством глядя на графиню и Артура, пошли через поляну. Впереди шел молодой Фриц с длинным удилищем через плечо. За ним, еле-еле передвигая ноги, тащился старый Фриц. В правой руке старого Фрица на веревочке болталась молодая щука.

— Господин Фриц, отчего же вы не в перчатках? — обратилась графиня к молодому Фрицу.

Фриц опустил глаза и, искоса поглядывая на графиню, зашевелил губами.

— Где ваша трость? Отчего вы не с тростью?

Молодой Фриц побледнел и зашагал быстро к деревьям. У деревьев он раз оглянулся и скрылся. Старый Фриц, молча и ни на кого не глядя, поплелся за ним.

— Вы извините меня,—заговорил барон после того, как скрылись за деревьями Фрицы.— Я не хочу вас оскорбить... Но, клянусь честью, я сумел бы отомстить за скрипача, если бы вы не были женщиной... Стыдно, Тереза! Мне было стыдно за вас пред девочкой!

Барон поднялся и надел шляпу.

— Вы не находите слов для оправдания... И отлично! К чему лгать? Ваше оправдание — ложь.

— Я еще продолжаю не понимать вас, барон! — сказала графиня.

— Честное слово?

— Да... честное слово...

— Гм... Прощайте! Ваши красивые глаза полны лжи! Слава богу, что вы еще умеете краснеть, когда лжете.

Артур потянулся, кивнул головой и пошел через поляну к лесной тропинке.

Лоб графини Гольдауген покрылся морщинами. Она мучительно думала, искала в своем мозгу слов и не находила... Ей страстно хотелось оправдать перед Артуром свой поступок, в котором стыдно было сознаться. Пока она думала, кусая свои розовые губы и ломая пальцы, Артур зашел за деревья.

— Барон! — крикнула Тереза.— Пойдите!

Вместо ответа графиня услышала только шум шагов удалявшегося Артура.

— Барон! — крикнула еще раз графиня, и ее голос задрожал от боязни, что барон уйдет. Шум от шагов затих.

Графиня постояла немного и опустила в раздумье на землю. Около нее валялись две пустые бутылки. Третья, содержащая в себе еще немного вина, стояла косо на траве и готова была упасть. Тереза допила вино из этой бутылки, поднялась и пошла к лошади.

Когда она выехала из поляны, она увидела в двух-трех шагах от деревьев, окружавших поляну, всадника, который садился на лошадь. Лошадь этого всадника, увидев графиню, весело заржала. Всадник был мужчина лет сорока пяти, высокий, тощий, бледный, с тще-

душной бородкой. Севши на лошадь, он погнался за графиней.

— Пойдите! — сказал он тихим голосом. По тембру этого слабого, не мужского голоса можно было судить, что он вытекал из больной груди. — Пойдите! Я хочу сказать вам два слова! Только два слова!

Графиня не оглянулась...

— Вы шпионили? — сказала она. — Подсматривали?

— Но я люблю тебя! Я не могу прожить ни минуты, чтобы не видеть тебя. Два слова, только!..

V

Графиня взглянула на своего мужа, графа Гольдаугена (это был он) и поехала тише.

— Вам доктор запретил быстро ездить, — сказала она. — Поезжайте тише... Что вам нужно?

— Два слова, только.

— Ну?

— Кто он?

— Барон фон Зайниц.

— Фон Зайниц? Он? Так это фон Зайниц? Это тот человек, которого вы когда-то... любили?

— Может быть... Ну да, он. Так что же?

— Гм... Он и теперь красив... Зачем вы позволили ему кричать на себя? Какое он имеет право?

Граф помолчал, кашлянул и спросил:

— Пожалуй, вы его... можете и теперь полюбить? Ведь старая любовь может возвратиться?

— Дайте мне ваш хлыст! — сказала графиня и, взяв у мужа хлыст, сильно дернула за повод и помчалась по просеке. Граф тоже изо всей силы дернул за повод. Лошадь побежала, и он бессильно заболтался на седле. Бедрa его ослабели, он поморщился от боли и осадил лошадь. Она пошла тише. Граф проводил глазами свою жену, опустил на грудь голову и задумался.

Дня через три Артур недалеко от домика лесничего Блаухер встретил Терезу. На этот раз она встретилась

ему не амазонкой. Она гуляла в крестьянском платье. Платье имело вид обыкновенного, только что сшитого крестьянского платья, но было много дороже черной шелковой амазонки. Вместо разноцветных грушевых гранат на шее ее висели бирюза, изумруды, кораллы и жемчуг. На каждой руке было по массивному браслету. Платье и венгерская куртка были сшиты из дорогой материи.

— Барон! — крикнула она, увидев Артура. — На минутку!

Когда он подошел к ней, она сказала ему:

— Вы вашими словами и уходом — помните? — задали мне задачу. Я вас поняла только после долгого размышления. Теперь я понимаю... Вы намекали на того старика... которого я ударила хлыстом! Да?

— Ну да... В чем же задача?

— Ну, вот! Понимаю теперь, про кого вы говорили... Мне нет надобности оправдываться перед вами, барон, но ради... ради удовлетворения нашего обоюдного чувства справедливости... Я его ударила за дело. Меня, по милости его, сбросила с седла лошадь... Я чуть не сломала себе ногу. И потом... он позволил себе смеяться...

Артур посмотрел в лицо графини и весело засмеялся.

— Полно лгать, ваше сиятельство! — сказал он. — К чему нам кормить друг друга ложью? Не нужно мне ваших оправданий... Да и к чему они? Я вижу первый раз в жизни ваши хорошенькие ножки, и для меня этого совершенно достаточно... Ножки ваши выше всякой критики! Пойдемте погуляем. Прошу прощения за те дерзости, которыми я угостил вас около «Бронзового оленя». Пьян был...

Артур и Тереза гуляли долго. Беседовали они о самых обыкновенных вещах, много шутили, много смеялись... О старике музыканте, его дочери, мудрых людях и «шарлатане» не было и помину. Барон не сказал ни одной колкости... Он был любезен, как в былые годы, в Вене, в доме Гейленштралей. Когда он проводил Терезу к ее кабриолету, стоявшему недалеко от домика Блаухер, было уже совершенно темно.

— Вы меня поучите стрелять? — спросила Тереза, садясь в кабриолет.

— Сколько хотите...

— Пожалуйста, барон. Я ужасно скучаю. Если вы уменьшите хоть немного мою скуку — вы мне сделаете благодеяние... Честное слово. Поможем друг другу.

Тереза пожала Артуру руку и уехала.

Через четыре дня они опять встретились, а через полмесяца не было уже ни одного дня, в который они не встречались бы. Барон научил Терезу стрелять, и Тереза приезжала на охоту каждый вечер, а иногда и рано утром. Отношения их были самые неопределенные. Трезвый фон Зайниц поражал Терезу своею любезностью. Трезвый он говорил тихо, ласково, видимо избегая жестких слов, ласково улыбался, предупредительно подавал свою большую руку и говорил не как «дикий», а как истый дамский кавалер. Пьяный же фон Зайниц поражал своею грубостью, цинизмом, нехорошим смехом... Когда он был пьян, Терезе приходилось выслушивать от него самые невозможные вещи. Он смеялся над ней, посылал ее ко всем чертям, говорил, что презирает, ненавидит.

— Извиняю вам, фон Зайниц, — сказала ему однажды Тереза, — только потому, что вы пьяны. Лежачих, сумасшедших и пьяных не бьют...

— А-а-а... Вот как! Так знайте же, — ответил со смехом фон Зайниц, — что я говорю вам правду только тогда, когда я пьян. Когда я трезвый, я держу себя по отношению к вам подлым фарисеем. Не верьте мне трезвому.

— Нам не следует встречаться...

— Почему не следует? Встречайтесь! Вам скучно и мне скучно... В ссорах и в войнах время быстрее течет, чем в мирное время. Ха-ха! Судьба хорошо сделала, что пустила между нами черную кошку и поселила в нас неуважение к добродетелям друг друга. Вы не уважаете меня, потому что видите во мне шарлатана, я не уважаю вас, потому что вижу в вас только кусок хорошего женского мяса! Ха-ха!

Тереза пустила из глаз молнию, не сказала ни одного слова и уехала. После этой беседы Артур не видал

ее целую неделю. На восьмой день он встретил ее и извинился.

Артур был пьян нередко. Тереза то и дело уезжала от него оскорбленной. Она уезжала, давая себе честное слово не встречаться с ним более, но...

Прошло лето, и наступила осень. С деревьев посыпались на влажную, холодную землю пожелтевшие, отжившие свой короткий век листья. Начались дожди. Осенняя грязь — не летняя: она не высыхает, а если и высыхает, то не по часам, а по дням и неделям... Подул ветер, напоминающий о зиме. Почерневший от непогоды лес нахмурился и уже перестал манить под свою листву.

Куртку из козьего пуха фон Зайниц заменил коротким драповым пальто на вате. Его сапоги потеряли свой блеск и покрылись грязью... На бледном лице его появился румянец от свежего, влажного ветра. Отношения его и Терезы не вылились еще в определенную форму. Беседы еще не окончились... Тереза чувствовала, что еще «не досказала», и ездила в лес по-прежнему.

Нужно было бежать от лесного холода, сырости и грязи... Судьба дала им убежище. Они стали встречаться в забытой, поросшей мохом и крапивой часовне, в саду графов Гольдаугенов. Страшные глаза недописанного святого Франциска каждый осенний вечер видели Артура и Терезу. При слабом мерцании фонаря они сидели на полусгнившей скамье и беседовали. Он, обыкновенно пьяный, сидел, зевал и злословил... Она, бледная как мрамор, с высоко поднятой головой, уже успевшая привыкнуть к его языку, терпеливо выслушивала его и сама злословила. Когда он был трезв, пауки, приютившиеся по углам часовни, слушали сказания о былом, недалеком счастье и видели счастливую женщину. Он, как старик, любил говорить о прошлом. В его голосе звучала старческая струнка: он ни о чем не жалел и был доволен одними только воспоминаниями. Она же, полная сил, молодости и желаний, сожалела о минувшем, и голос ее звучал надеждой. Она еще страстно любила барона фон Зайниц...

В один из самых ненастных осенних дней Артур зашел к мадам Блаухер переждать дождь. Мадам Блаухер с улыбочкой подала ему пакет.

Когда он распечатал пакет, он засмеялся, как дитя, которому показали новую игрушку. В пакете была фотографическая карточка и письмо.

То и другое было от Ильки. Барон взглянул на карточку и сделал большие глаза. На карточке была изображена Илька, но не та Илька, которую он видел несколько месяцев назад — нет: на карточке не было и намека на то бедное платьишко, которое когда-то обливалось горячими слезами оскорбленной Ильки. Не было видно и той грошовой бархатной ленточки, которая придерживала белокурые волосы. Артур увидел на карточке молодую аристократку, одетую в роскошное модное платье. Волосы, причесанные умелой рукой, были украшены соломенной шляпой. На шляпе были цветы, и, насколько это можно видеть в фотографии, не дешевые; улыбка на хорошеньком личике была гордая, надменная, но деланная...

— Дурочка! — сказал со смехом Артур и поцеловал портрет Ильки. — Дурочка ты! Ворона в павлиньих перьях. Ты надела богатое платье и глядишь победительницей! Поноси-ка это платье подольше! Увидим, что ты запоешь!

Письмо было написано уже знакомым почерком.

«Милый барон! — писала Илька. — Посылаю вам карточку и уведомляю вас, что мы с отцом Цвибушем живы и здоровы. Еще уведомляю вас, что я непременно буду иметь миллион. Буду иметь его очень скоро. Мы живем теперь очень хорошо. При свидании расскажу вам, что с нами случилось. Вы меня, наверное, уже забыли. Этим письмом я напоминаю вам о себе и прошу не забывать, что вы мне обещали. Я вас очень люблю. Я здесь вижу много баронов и графов, но вы лучше всех. Папа вам кланяется. Пишите мне по следующему адресу (следует длинный адрес). Пишите: надеяться мне или нет? Ваша И.»

Барон, смеясь и не спуская глаз с карточки, попросил у мадам Блаухер бумаги и написал следующее: «Здравствуй, Илька. Спасибо. Жду тебя с твоим миллионом. Не делай глупости. Будь умна и здорова. Поклон твоему старому, сто раз битому толстяку, которому выдай из твоего большого миллиона две-три зо-

лотые монетки на пропивку. Твой жених — барон фон Зайниц».

Отдав это письмо мадам Блаухер для отсылки на почту, Артур сел за стол и принялся карандашом рисовать на портрете большой тюльпан. Карандаш был зачищен с обоих концов. Один конец был красный, другой синий. Ни тот ни другой цвет не ложились на эмаль карточки. Ильку не удалось посадить в тюльпане, несмотря на то, что Артур просидел за рисованием до тех пор, пока стало темно.

VI

С Илькой же и ее отцом произошло нечто особенное...

Через неделю после встречи с бароном фон Зайниц, в один из самых жарких полудней они сидели под навесом железнодорожной станции. Несмотря на сильный жар и духоту, на станционной платформе было много публики: дачники, дачницы, помещики и пассажиры стоявшего на запасном пути поезда шныряли взад и вперед по платформе и наполняли собой все станционные постройки. Поезд, стоявший на запасном пути, был военный, а военные поезда стоят на станциях часа по два, по три. Зал первого класса был наполнен пьющими офицерами. В зале третьего класса гремел оркестр военной музыки, которая и привлекла на станцию массу публики.

Цвибуш и Илька сидели на площадке больших десятичных весов, отдыхали и поглядывали на публику: Цвибуш на солдат, пивших пиво, Илька рассматривала наряды. Возле них прохаживались пьяные офицеры и поглядывали на Ильку. Хорошенькая девочка им понравилась... Сначала вертелись возле нее младшие офицеры, после же попойки Илька увидела вблизи себя и старших... За полчаса до отхода поезда старшие и младшие офицеры сбились в кучу и, пуская в нее пьяные взоры, зашептались.

— Говорят о тебе, Илька! — сказал Цвибуш. — Давай сыграем им что-нибудь. Денег дадут. Кстати молчит тот скверный оркестр.

Цвибуш и Илька поднялись, настроили свои инструменты и заиграли. Илька запела. Офицерство заулыбалось... Илька пела, что нет никого на этом свете красивее и храбрее австрийских военных, которые в минуту сумеют завоевать весь свет.

— Прекрасно! Бесподобно! — забормотали офицеры. — Старик, ты не пой! Ты только мешаешь своим козлиным голосом! Бесподобно!

— Идея! — крикнул офицер с большими седыми усами и хлопнул себя по кепи. — Клянусь честью, что это идея!

И, обратясь к своим товарищам, он начал шептать им что-то... Товарищи утвердительно закивали головами. Заручившись согласием товарищей, офицер с седыми усами подошел, покачиваясь, к Ильке, взял ее за загоревшую руку и сказал:

— Послушай, птичка! Мы хотим взять тебя с собою в поезд... Ты будешь нам петь и играть всю дорогу. Мы дадим тебе за это много денег. Согласна? — И, не дожидаясь ответа, офицер потянул ее за руку и повел к товарищам.

— Да, да... — заговорили пьяные офицеры. — Мы дадим много денег... Ну да...

— А куда вы едете? — спросила Илька.

— В Боснию, кажется... Мы сами хорошо не знаем.

— Нельзя! — сказал Цвибуш улыбаясь...

Но офицеры не слушали Цвибуша. Они отвели в сторону улыбающуюся Ильку и принялись уверять ее, доказывать... Один взял ее за подбородок.

Цвибуш, уверенный, что Илька не согласится, стоял в стороне и улыбался. Илька не согласится! На все подобные предложения она всегда отвечала до сих пор отказом. Она нравственная девушка. Но каковы были его испуг и удивление, когда Илька, звонко захохотав, вошла в вагон первого класса; она вошла и из окошка кивнула отцу... Отец побежал к ней.

— Я еду, отец! — сказала она. — Садись...

— Ты сумасшедшая! — сказал бледный Цвибуш, не решаясь войти в богатый вагон.

— Входи! — сказали ему офицеры.

Он, кланяясь и конфузясь, вошел в вагон и принялся убеждать Ильку. Но упрямая девчонка была неумолима.

— Я хочу иметь миллион! — шепнула она ему. — Если у меня не будет миллиона, я умру.

— Ты не получишь миллиона, сумасшедшая, но честь потеряешь! Ты потеряешь честь! Это безнравственно!..

— Не бойся, папа Цвибуш. Мужчины не увидят и не услышат от меня ничего, кроме музыки. Я решила.

Поезд двинулся с места, а старик все убеждал ее, просил, умолял. Он даже заплакал раз.

— Это скучно, отец! — сказала она и отошла к офицерам.

Отец, бледный, вспотевший, с дрожащими пальцами и губами, забился в дальний угол вагона и, закрыв глаза, молился богу. Он не узнавал в этой веселой, слушающей офицерские пошлости Ильке свою кроткую, часто плачущую Ильку. Он не верил своим глазам и ушам. Непонятны, загадочны эти глупые! девчонки!

Ильке отвели отдельное купе. Ей и ее отцу предложили роскошный завтрак, но они не дотронулись до него. В ближайшем городе, в котором поезд стоял два часа, один из офицеров съездил в магазин и купил Ильке новое платье, браслет и ботинки...

— За здоровье дочери полка! — крикнули офицеры, когда она вышла из купе в своем новом наряде. — У-р-ра-а!

Офицеры выпили и заставили Ильку петь. Она запела и пела до тех пор, пока полк не доехал до границы...

Таков был шаг на новом поприще, от которого глупая Илька ждала миллион. Этот шаг был удачен. Когда Илька, месяц спустя, бежала с Цвибушем от полка, она была одета в платье, которое обошлось офицерам в полторы тысячи франков. Она бежала в вагоне первого класса в обществе пяти молодых девушек, старухи с большим орлиным носом и толстого немца с большой

лысиной. На пути немец раздавал свои визитные карточки, на которых было написано: «Иосиф Кельтер, содержатель оркестра и венгерского хора в Триесте». Старуха с орлиным носом была его компаньонка.

VII

Упрямая девчонка бежала и еще раз, и этот «раз» был последним.

Была теплая апрельская ночь... Двенадцать часов давно уже пробило, а в летнем помещении театра m-me Бланшар представление еще не кончилось. На сцене m-lle Тюрьи, профессор черной магии, показывала фокусы... Она из женской ботинки выпустила стаю голубей и вытащила, при громе аплодисментов, большое женское платье... Из-под платья, когда оно было опущено на землю и приподнято, вышел маленький мальчик в костюме Мефистофеля. Фокусы были всё старые, но их можно было смотреть «между прочим». В театре m-me Бланшар представления даются только для того, чтобы за рестораном сохранить название театра. Публика более ест и пьет, чем смотрит на сцену. За колоннами и в ложах стоят столики. Публика первого ряда сидит задом к сцене, потому что она лорнирует кокоток, которые занимают весь второй ряд. Вся публика скорее снует, чем сидит на месте... Она слишком подвижна, и никакое шипенье не в состоянии остановить ее хоть на секунду... Она двигается из партера в залу ресторана, из залы в сад... Сцену m-me Бланшар держит также и для того, чтобы показывать публике «новеньких». После фокусов m-lle Тюрьи должны были петь эти «новенькие». Публика, в ожидании, пока кончатся фокусы, занимала места, волновалась и от нечего делать аплодировала женщине-фокуснику. В одной из лож сидела сама толстая Бланшар и, улыбаясь, играла букетом. Она убеждала «некоторых из публики», которые вертелись возле нее, что ожидаемые «новенькие» восхитительны... Ее толстый супруг, сидевший vis-à-vis¹, читал газету, улыбался и утвердительно кивал головой.

¹ напротив (франц.).

— О да! — бормотал он. — Недаром нам так дорого стоит этот хор! Есть что послушать и есть на кого посмотреть...

— Послушайте, — обратился к толстой Бланшар полный седой господин, — отчего это у вас сегодня в афише нет венгерских песен?

Толстая Бланшар кокетливо погрозила вопрошающему пальцем.

— Знаю, виконт, для чего вам понадобились эти венгерские песни, — сказала она. — Та, которую вам хочется видеть, больна сегодня и не может петь...

— Бедняжка! — вздохнул виконт. — Чем же больна m-lle Илька?

Бланшар пожала плечами.

— Не знаю... Как, однако, хороша моя Илька! Вы сотый человек, который сегодня за вечер спрашивает меня о ней. Больна, виконт! Болезни не щадят и красавиц...

— Наша венгерская красавица страдает очень благородным недугом! — сказал стоящий тут же в ложе молодой человек в драгунском мундире. — Вчера она говорила этому шуту, д'Омарену, что она больна тоской по родине. Фи! Посмотрите, виконт Сези! Какая... какая... какая... прелесть!

И драгун указал виконту Сези на сцену, где в это время становился на место хор «новеньких». Сези взглянул на секунду, отвел от сцены глаза и заговорил опять с Бланшар об Ильке...

— Она смеется! — шептал он ей через четверть часа. — Она глупа! Вы знаете, что она требует с каждого за один миг любви? Знаете? Сто тысяч франков! Ха-ха-ха! Посмотрим, какой сумасшедший даст ей эти деньги! За сто тысяч я буду иметь таких десятков! Гм... Дочь вашей кузины, мадам, была красивее ее в тысячу раз и стояла мне сто тысяч, но стояла в продолжение трех лет! А эта? Капризная девчонка! Сто тысяч... Ваше дело, madame, объяснить ей, что это ужасно глупо с ее стороны... Она шутит, но... не всегда же можно шутить.

— А что скажет красавчик Альфред Дезире? — обратилась, смеясь, толстая Бланшар к драгуну.

— Девочка дразнит, — сказал Дезире. — Ей хочется

подороже продать себя... Она расстроит наши нервы и вместо тысячи возьмет две тысячи франков. Девочка знает, что ничто так не напрягает и не расстраивает эти скверные нервы, как ожидание... Сто тысяч — это милая шуточка.

В разговор вмешалось четвертое лицо, затем пятое, и скоро заговорила об Ильке вся ложа. В ложе было человек десять...

Во время этого разговора в одной из множества комнаток, на которые разделено закулисное пространство, сидела Илька. Комната, пропитанная запахами духов, пудры и светильного газа, носила сразу три названия: уборной, приемной и комнаты m-lle такой-то... У Ильки была самая лучшая комната. Она сидела на диване, обитом свежим, пунцовым, режущим глаза бархатом. Под ее ногами был разостлан прекрасный цветистый ковер. Вся комната была залита розовым светом, исходившим от лампы с розовым абажуром...

Перед Илькой стоял молодой человек лет двадцати пяти, красивый брюнет, в чистенькой черной паре. Это был репортер газеты «Фигаро», Андре д'Омарен. Он по службе был постоянным посетителем мест, подобных театру Бланшар. Его визитная карточка давала ему бесплатный вход во все подобные места, желающие, чтоб о их скандалах печатались репортички... Скандал, описанный в «Фигаро», — лучшая реклама.

Андре д'Омарен стоял перед Илькой, покусывая свои усики и бородку, и не отрывал глаз от хорошенькой девочки.

— Нет, Андре, — говорила Илька на ломаном французском языке, — не могу я быть вашей... Ни за что! Не клянитесь, не ходите за мной, не унижайтесь... Все напрасно!

— Почему же?

— Почему же? Ха-ха-ха! Вы наивны, Андре... Значит, есть причина, если вам отказывают... Во-первых, вы бедны, а я вам уже тысячу раз говорила, что я стою сто тысяч... Есть у вас сто тысяч?

— В настоящую минуту у меня нет и ста франков... Послушайте, Илька... Ведь вы все лжете... Зачем вы так безжалостно клеветеете на себя?

— А если я люблю другого?

— А этот другой знает, что вы его любите, и любит вас?

— Знает и любит...

— Гм... Каким же он должен быть скотиной, чтобы допустить вас до театра жирной Бланшар!

— Он не знает, что я в Париже. Не браните, Андре... Илька поднялась и заходила по комнате.

— Вы, Андре, — сказала она, — не раз говорили, что готовы сделать для меня все что угодно... Ведь говорили? Ну, так сделайте вот что... Сделайте так, чтобы ко мне не приставали мои поклонники... Они не дают мне покоя... Их сто, а я одна. Судите сами... И каждому я должна отказывать... А разве мне приятно видеть людей, огорченных моим отказом? Устройте, пожалуйста... Мне все эти ухаживанья, просьбы и объяснения ужасно надоели.

— Я устрою так, — сказал д'Омарен, — что никто не будет надоедать вам, кроме меня... Кроме меня?

Илька отрицательно покачала головой.

Андре побледнел и, следя глазами за ходившей Илькой, стал на колени.

— Но я люблю ведь, — сказал он умоляющим голосом, — я люблю вас, Илька!

Илька вдруг вскрикнула. Медальон, которым она играла, вдруг каким-то образом открылся. Ранее он, несмотря на все ее усилия, не мог быть открыт. Фон Зайниц, даря этот медальон, забыл сказать, что он имеет секретный замочек.

— Наконец таки! — крикнула Илька, и лицо ее просияло радостью.

Теперь она может узнать, что в нем находится! Быть может, эта золотая вещичка украшается *его* портретом? И, надеясь увидеть благородное лицо с большой черной бородой, она подскочила к лампе, взглянула в медальон и побледнела: вместо бородатого лица она увидела женское, надменное, с величественной улыбкой. Илька узнала это лицо! На золотой рамочке, в которую был вделан портрет, было вырезано: «Тереза Гейленштраль любит тебя».

— Так вот как!?

Илька вспыхнула и бросила в сторону медальон.

— Так вот как?! Она любит его? Гм... Хорошо...

Илька упала на диван и нервно задвигалась.

— Она смеет его любить? — забормотала она. — Так нет же! Андре! Ради бога!

Репортер поднялся, похлопал рукой по коленям и подошел к ней.

— Андре... Хорошо, я буду вас любить, только исполните одну мою просьбу...

— Какую хотите! Тысячу просьб, моя дорогая!

— Я не хотела до сих пор делать это, но... теперь вынуждена... Выбираю вас своим мстителем... Вы были хоть раз на моей родине?

И Илька, облокотившись о плечо репортера, принялась шептать ему на ухо. Шептала она очень долго, с жаром, жестикулируя руками. Он записал кое-что в свою репортерскую книжку.

— Исполните? — спросила она.

— Да... Я ее ненавижу после того, что услышал от вас...

— Поезжайте сейчас же...

— Как же вы узнаете, исполнил я поручение или нет?

— Я поверю вашему честному слову, — сказала Илька.

— В свою очередь, Илька, дайте мне честное слово, что вы... не обманете меня.

Илька на секунду задумалась. Еще бы! Ей пришлось низко солгать, солгать человеку преданному, честному и... первый раз в жизни.

— Честное слово, — сказала она.

Репортер поцеловал ее руку и вышел. Через час он уже сидел в вагоне, а на другой день был вне Франции.

Выпроводив репортера, Илька вышла из уборной в фойе, уставленное столиками. Бледная, встревоженная, забывшая, что она в этот вечер объявлена больной, она заходила по всем комнатам. Ей не хотелось думать, но самые ужасные, беспокойные думы сменяли одна другую в ее горячей головке. Мысль, что *ее* барон любит или любил *эту* женщину, терзала ее. Когда она вошла в партер, взоры публики обратились к ней и к ложе

мадам Бланшар, которая сейчас только утверждала, что Илька больна и лежит в постели. «Новенькие», подвизавшиеся в это время на сцене, вдруг услышали шипенье, свист, аплодисменты и принялись кланяться... но публика не им шикала и аплодировала...

— На сцену! Венгерские песни! — закричала неистовствовавшая публика. — Марш на сцену! Илька! Браво!

Илька улыбнулась, показала рукой на горло и вышла, предоставив толстой Бланшар самой ведаться с обманутой публикой. Она пошла в один из кабинетов ресторана, где обыкновенно ужинала с «друзьями». За ней последовали ее поклонники.

Ужин на этот раз вышел невеселый. Илька молчала и ничего не кушала. Вместо веселого смеха и ломаного французского языка «друзьям» пришлось слушать одни только глубокие вздохи. Сези, главный заправила ужинов, тоже был угрюм.

— Черт бы побрал эти невинности с их невинными рожицами! — бормотал он, пожирая глазами Ильку. Дезире пил и молчал. В последнее время несчастный драгун стал задумываться... Ильке, которая требовала ста тысяч, он не мог предложить и двух. Его отец на днях умер, и имение поступило в распоряжение кредиторов. На бескорыстную любовь он не рассчитывал: он знал, что он некрасив и что *эти* девчонки корыстолюбивы...

Сын банкира Баха, Адольф, на обязанности которого лежало напаять всех шампанским, сидел рядом с Илькой и фамильярничал. Он, как самый богатый, имел на это право... Он пил из Илькиной рюмки, шептал Ильке на ухо и т. п. Это фамильярничанье навело еще большую тоску на ужинавших, которые терпеть не могли Адольфа Баха за его богатство...

В нескольких шагах от стола, за которым пили, у окна сидели два старичка. Один из них фабрикант из Лиона, Марк Луврер, другой... В другом вы не узнаете нашего старого знакомого, скрипача Цвибуша, хотя это и он. Он сильно изменился. Он похудел, побледнел, и лоб не блестит уже от пота. В глазах апатия, покор-

ность судьбе... Старый Цвибуш махнул на все рукой... Все пропало для него с его Илькой. На нем уже нет рубища. Белая сорочка с золотыми запонками и черный фрак облакают его все более и более худеющее тело... С Луврером, одним из самых яростных поклонников Ильки, он беседовал... о литературе.

К трем часам все, за исключением Цвибуша, его дочери и Луврера, были уже пьяны. Хмель несколько расшевелил невеселых, угрюмых кутил. Безнадежная любовь разгорячила их пьяные головы. Языки развязались...

В четыре Илька уходила с отцом домой. До ее ухода каждый старался на прощанье сказать ей наедине несколько слов...

— Я вас люблю! — говорил ей каждый, и каждый сулил ей рай.

— Сто тысяч! — коротко говорила она.

В мае, в один из тихих вечеров, нашелся-таки наконец человек, который отдал ей сто тысяч и положил конец всей этой комедии. Человеком этим был драгун Дезире.

В три часа ночи, когда все были уже пьяны, в кабинет вошел драгун. Он был бледен и возбужден. Ни с кем не здороваясь, он подошел к Ильке, взял ее за руку и отвел в сторону.

— Я принес, — сказал он глухим голосом. — Бери... Знаешь, что сделал? Я ограбил своего дядю... Завтра же меня отдадут под суд... Возьми! Согласен!

Из груди Ильки вырвался крик радости. У нее было уже сто тысяч! И в то же время лицо ее покрылось мертвенной бледностью: настала пора заплатить за сто тысяч...

Адольф Бах, который следил за движением Дезире, подошел к Ильке и, услышав слово «согласен», побледнел.

— И я согласен! — быстро сказал он и схватился за свой карман... — И я дам сто тысяч!

Дезире насмешливо улыбнулся. В мальчишке Бахе он не видел теперь достойного соперника.

— Я первый согласился... Вам, Бах, не мешало бы идти спать. Вас няня ждет.

— Я не сплю с нянями. Мне, Дезире, ваше лицо не слишком нравится! Оно слишком напрашивается на пощечину! Даю сто десять тысяч!

— Даю сто двадцать!..

Дезире украл у дяди ровно сто двадцать тысяч.

Сези, пьяный, пожирающий своими глазами Ильку, как змея — кролика, вдруг встал и подошел к Баху и Дезире.

— Вы... вы... соглашаетесь? — забормотал он. — Вы с ума сошли! Вы... вы... с ума сошли, мальчишки! Сто тысяч! Ха-ха-ха! Pardon, mademoiselle, но все-таки... согласитесь сами...

— Даю сто двадцать! — повторил Дезире.

— Даю сто двадцать! — сказал мальчишка Бах и захохотал. — Даю сию минуту наличными деньгами!

Сези пошатнулся. Он не хотел верить своим ушам. Неужели найдутся такие дураки, которые купят за сто тысяч женщину, которую он во всякое время мог бы купить за пять тысяч? И неужели ее купит... не он?

— Это невозможно! — закричал он.

— Даю и я сто двадцать! — сказал подошедший четвертый мужчина. Это был рослый, здоровый помещик Арко из окрестностей Марселя, очень богатый человек. Ему ничего не стоило бросить к ногам девчонки сотню тысяч. Недавно он лишился жены и единственного сына и теперь заливает свое горе вином и покупною любовью.

— И я согласен! — сказал серб Ботич, выдававший себя за секретаря какого-то посольства и прокучивавший ежедневно массу денег.

Сези принялся перелистывать свою записную книжку, записывать что-то, высчитывать. Карандаш так и ходил по бумаге.

— С какой же стати, господа? — бормотал он. — Неужели у вас деньги так дешевы? Почему же непременно сто двадцать, а не ровно сто? Тридцать... шестьсот... Почему же не ровно сто?

— Сто двадцать пять! — крикнул Бах, победоносно глядя на соперников.

— Согласен! — крикнул Сези. — Согласен! И я согласен, говорят вам!

— Я не хочу вашей прибавки,— сказала Илька Баху.— Возьмите свои пять тысяч назад. Я согласна и на сто двадцать... Только, господа, не всех... Один кто-нибудь... А кто же именно?

— Я,— сказал драгун.— Я первый дал свое согласие...

— Это пустяки! — заговорили другие.— Пустяки! Не все ли равно, первый или второй?

— Это пустяки,— сказала Илька.— Как же быть, господа? Все вы одинаково мне нравиться... Все вы милы, любезны... Все вы одинаково меня любите... Как быть?

— Бросить жребий! — предложил молодой человек, не принимавший участия в купле и с завистью поглядывавший на покупателей...

— Хорошо, бросим жребий,— согласилась Илька.— Согласны, господа?

— Согласны! — сказали все, кроме драгуна, который сидел на подоконнике и безжалостно грыз свою большую нижнюю губу.

— Итак, господа, пишем билетики... Тот, которому попадется билет с моим именем, тот получает меня. Папа Цвибуш, пиши билеты!

Послушный, как всегда, папа Цвибуш полез в карман своего нового фрака и достал оттуда лист бумаги. Бумага была изрезана на квадратики и на одном из квадратиков было написано «Илька».

— Кладите, господа, на стол деньги! — предложила Илька.— Билеты готовы!

— По сколько нам класть? — спросил Бах.— Сколько нас? Восемь? Сто двадцать, деленные на восемь, будет... будет...

— Кладите каждый по сто двадцать тысяч! — сказала Илька.

— По сколько?

— По сто двадцать тысяч!

— Вы плохо знаете арифметику, моя дорогая! — сказал серб.— Или вы шутите?

— По сто двадцать тысяч... Иначе я не могу,— сказала Илька.

Мужчины молча отошли от Ильки и сели за стол. Они были возмущены. Сези начал браниться и искать шляпу.

— Это уж будет надувательство! — сказал он. — Это называется шулерничеством! Пользоваться тем, что у нас, дураков, пьяных ослов, взбудоражена кровь?!

— Я не даю ни одного сантима! — сказал Бах.

— Я не требую, — сказала Илька. — Однако же пора ехать домой... Ты готов, папа Цвибуш? Едем! Спрячь на память билеты.

— Прощайте! — сказали мужчины. — Поезжайте к себе в Венгрию и ищите там себе дураков, которые дадут вам миллион. Ведь вы хотите миллион? Поймите вы это, чудачка! За миллион можно купить весь Париж! Прощайте!

Но всесильная страсть взяла свое... Когда Илька подала каждому свою горячую руку, когда она сумела сказать каждому на прощанье несколько теплых слов и спела «последнюю» песню, страсть достигла апогея...

В пять часов первый попавшийся навстречу официант вынимал из шляпы Баха бумажные квадратики... Когда взяты были все квадраты и развернуты, из всех мужских грудей вырвался смех. Этот смех был смехом отчаяния, смехом над безумством и сумасшествием судьбы.

Билет с именем «Илька» попался лионскому фабриканту, старому Марку Луврер. Марк Луврер положил свои сто двадцать тысяч «шутя» и мог бы довольствоваться одним только поцелуем!

VIII

Был морозный декабрьский вечер. На небе мерцали первые звездочки и плавала холодная луна. В воздухе было тихо — ни одного движения, ни одного звука.

Артур фон Зайниц шел по большой просеке «обедасть». Шел он из часовни св. Франциска, где полчаса тому назад простился до следующего дня с Терезой Гольдауген. Зайдя, по обыкновению, в домик лесничего,

он спросил письма. Блаухер дала ему два конверта: один очень большой, другой очень маленький. Маленький был из Парижа от Ильки. Зайниц не стал читать это письмо и сунул его в карман. Он знал его содержание: «Я люблю вас!» Новее и умнее этого Илька ничего не могла бы придумать. Адрес на большом был написан рукою Пельцера. Зайниц сунул бы и это письмо, если бы ему не бросилась в глаза надпись: «ценные бумаги». Артур подумал и распечатал этот конверт. В нем нашел он завещание матери. Он начал читать это завещание. Чем более он углублялся в чтение бумаги, внизу которой когда-то подписалась дорогая, лелеявшая барона рука, тем удивленнее делалось его лицо. Мать завещала в его пользу *все* и ничего в пользу сестры... Но к чему же Пельцеры прислали ему это завещание?

«Ага! — подумал он. — Покаялись! Давно бы так...»

Имение матери было невелико. Оно давало дохода не более десяти тысяч талеров в год. Но и такой сумме рад был Артур. И такую сумму ему приятно было вырвать из когтей скряги Пельцера, который готов из-за талера сделать какую угодно подлость.

Артур попросил у Блаухер бумаги и, сев за стол, написал Пельцеру письмо. Он написал, что завещание получено и что желательно было бы знать, какая судьба постигла те деньги, которые получались до сих пор с имения, завещанного ему матерью? Письмо было отдано фрау Блаухер, которая на другой день и отслала его на почтовую станцию. Через неделю был получен от Пельцера ответ. Ответ был довольно странный и загадочный: «Ничего я не знаю, — писал Пельцер. — Не знаю ни завещания, ни денег. Оставьте нас в покое...»

— Что это значит? — спросил себя Артур, прочитав ответ. — Довольно странно! Или он раскаивается, что прислал мне завещание? Гм... Постой же, коли так!

И Артур на другой день после получения ответа отправился в город и протестовал там завещание. Загорелся процесс.

Артур стал часто отлучаться в город. Он ездил сначала в суд, а потом к своему адвокату. Терезе часто приходилось сидеть одной в часовне св. Франциска и томиться ожиданием и скукой. Она сидела в часовне,

глядела на страшные глаза св. Франциска и прислушивалась к шуму ветра... Какое счастье начинало светиться в ее глазах, когда в шуме вне часовни можно было различить шаги барона, и как мертвенно-бледна была она, когда поздно вечером выходила из часовни, не повидавшись с ним. Он приходил в часовню только подразнить ее, посквернословить, похохотать... Тереза с нетерпением ждала весны, когда опять можно будет сходиться под открытым небом.

Но весна принесла ей с собой несчастье...

Было тихое, теплое, весеннее «послеобед».

Тереза сидела у «Бронзового оленя» и ожидала Артура. Она сидела на молодой, только что показавшейся травке и прислушивалась к шуму ручейка, который журчал недалеко от нее... Солнце приятно грело ей красивые плечи.

«Придет или не придет?»— думала она. Артур весь отдался тяжбе и неохотно ходил к «Бронзовому оленю». Но в это «послеобед» он пришел. Пришел он, по обыкновению, слегка пьяный, нахмуренный, недовольный.

— Вы здесь?— спросил он обрадовавшуюся при виде его Терезу.— Мое почтение! Хорошо не иметь никакого дела! Честное слово, хорошо! Бездельники всегда гуляют и посиживают на зеленой травке...

Сев рядом с Терезой, он принялся с остервенением плевать в сторону.

— Вы сердитесь?— спросила графиня.

— На подлецов Пельцеров. Вы знаете, что они со мной сделали? То завещание, которое они мне прислали, фальшиво, как женщина. Оно подложное. Я протестовал его, и меня будут судить за подлог... Пельцеры смастерили ехидную штуку! Они пожимают плечами при виде этого завещания и знать его не хотят. Они сделали подлог, а я буду под судом! Черт возьми! Взяли с меня подписку о невыезде, и скоро начнет мне надоедать судебный следователь. Каково? Ха-ха! Барон фон Зайниц подделал завещание! Нужно быть мошенником Пельцером, чтобы изобрести такую ловушку! Ну, ваше сиятельство,— а вы? Я вчера слышал, что вы разведены с графом. Между вами все уже кончено. Чего же ради вы сидите здесь? Отчего не уходите от мужа и тех мест,

которые напоминают вам этого ненавистного человека?

— Я не хочу уехать отсюда,— сказала Тереза.

— Гм... Можно узнать, почему?

— Вы не знаете?

— Почем я знаю!

Наступило минутное молчание. Оба знали, зачем она еще здесь, зачем не оставляет этих мест, но Артуру нужно было помучить...

— Я... Вам неизвестно?.. Я люблю вас! — сказала графиня, и по ее гордому, строгому лицу разлился румянец.— Люблю вас, Артур... Не будь этой любви, я далеко была бы теперь от «Бронзового оленя».

Графиня подняла глаза на лицо Артура. Это лицо, пьяное, насмешливое, сказало ей истину. Молчание подтвердило ту же истину. Он не любил ее.

— Зачем же вы приходили сюда? — спросила она тихо, ломая пальцы.— Отчего вы не ушли от меня еще тогда, когда начинались эти свидания?

— Вам скучно было,— сказал Артур.— Я еще не перестал быть дамским кавалером и делаю все, что угодно милым дамам. Ха-ха!

— Как это неумно!

— Очень жаль, что не могу отвечать любовью на любовь. Я люблю другую...

Артур полез, смеясь, в боковой карман, достал оттуда карточку Ильки и поднес ее к самым глазам Терезы.

— Вот она, моя любовь. Узнаете?

— Это дочь того старика? Но отчего она так одета?

— Одета очень прилично... Прелестное личико!

— Она где теперь?

Артур промолчал. Эффект, на который он рассчитывал, не удался. Графиня при виде карточки не побледнела и не покраснела... Она только вздохнула и — странно! — в ее глазах засветилось доброе чувство при виде хорошенького, почти детского личика.

— Прощайте! — сказал Артур.— Adieu! Пойду читать законы. О Пельцер, Пельцер! Скажи я на суде, что завещание получил от него, надо мной захохочут!

Артур повернулся к Терезе спиной и, жестикулируя руками, зашагал в чащу леса.

Тереза пошла к своей лошади, которая стояла в стороне и лениво щипала молодую травку.

— Уедем и не будем сюда более приезжать,— сказала Тереза, глядя лошадь по лбу.— Нас не любят. Не будем просить милостыни.

И, вскочив на лошадь, Тереза помчалась к опушке леса. В ее глазах светилась решимость. Когда она въехала в калитку, ведущую к длинной аллее, о которой мы говорили в первой главе нашего рассказа, она услышала за собой шаги. Она оглянулась. За ее лошадью бежал какой-то незнакомый молодой человек с хлыстом в руке.

— На минуту! — крикнул он ей по-французски.

Графиня осадилла лошадь и кивнула головой молодому человеку.

«Проситель, должно быть»,— подумала она.

Репортер д'Омарен, улыбающийся и сияющий, подбежал к ней и, любуясь ее красотой, поднял хлыст.

— Вы так же жестоки, как и прекрасны! — сказал он...— Ничто не должно оставаться безнаказанным. Вспомните музыканта старика и его дочь!

И графиня почувствовала на лице своем жгучую боль...

— Пусть будет так! — сказала она и дернула за повод.

Д'Омарен долго смотрел вслед прекрасной графине. Французу страстно захотелось поговорить с женщиной, которую он ударил и которая на удар ответила фразой: «Пусть будет так»; но, когда она скрылась с его глаз, он повернул назад и быстро зашагал к железнодорожной станции. Он исполнил данное ему поручение и ехал теперь за наградой...

IX

— Вас ищет какая-то дама! — сказала однажды вечером фрау Блаухер Артуру, который зашел за письмами.— Она оставила записочку!

«Я остановилась в отеле «Большого якоря»,— прочел Артур в записке.— Скорее приходите. Илька».

Артур отправился в город и ровно в полночь увидел с Илькой. Он захохотал, когда увидел ее. Как изящно она была одета и как непохожа на ту певунью, которую он когда-то встретил в лесу, всю в слезах!

— Есть миллион? — спросил он смеясь.

— Есть. Вот он!

Артур вдруг перестал хохотать. Перед ним на столе разложили миллион, настоящий миллион.

— Черт возьми! — сказал он, не веря своим глазам. — Ты считаешь, дитя мое, на франки? Я забыл сказать тебе, чтобы ты считала на талеры... Но ничего... И эти деньги хороши! Где ты их взяла?

Илька села рядом с ним и рассказала ему все, что произошло с ней после того, как она с ним рассталась.

— Ну? А что же ты сделала со стариком? — спросил Артур.

— Я напоила его морфием и в ту же ночь бежала без оглядки.

— Честно! — сказал Артур. — Ха-ха-ха! В другое время я высек бы тебя, но теперь будь баронессой фон Зайниц. Вот тебе моя рука! Завтра же идем к мэру!

На другой день фон Зайниц и Илька были у мэра. Илька сделалась баронессой фон Зайниц 2 июня в половине десятого утра.

В два часа того же дня барон Артур фон Зайниц был лишен баронского достоинства: присяжные заседатели нашли его виновным в совершении подложного завещания... Пельцеры достигли своей цели.

На суде Илька увидела графиню Гольдауген.

Графиня сидела на одном из задних кресел в отделении для зрителей и не отрывала глаз от подсудимого. С черной шляпы ее спускался темный вуаль. Она, по-видимому, хотела сохранить инкогнито. И только тогда, когда она, выслушав речь прокурора, проговорила вслух: «Как это глупо!» — Илька узнала ее по ее мелодическому голосу.

«Какое она имеет право смотреть на моего мужа?» — подумала Илька, бледнея от ненависти и в то же время торжествуя свою победу. Она теперь верила в эту победу: у графини был отнят любимый человек.

Подсудимый держал себя на суде очень странно. Он был слегка пьян, — злые остроты так и сыпались с его языка. Игнорируя судей и присяжных, он молчал, когда следовало говорить, и говорил, когда следовало молчать. Прокурор был его университетским товарищем, но не пощадил его в своей речи. Он беззастенчиво копался в его прошлом, которое знал, как товарищ, описал парижскую жизнь, банкротство, безденежье, тягость, которую испытывал барон фон Зайниц благодаря этому безденежью, и кончил хвалебной песней госпоже Пельцер, которая пожертвовала чувством братской любви в пользу чувства справедливости, возмездия за проступок...

— Она поступила, как примерная гражданка! — сказал он.

— Стыдно тебе, — сказал Артур. — Прежде, когда ты курил в университете мои сигары, ты не умел так лгать! Только это и было сказано серьезно и искренно, остальное же, что говорил Артур, вызывало смех и председательские звонки.

Публика обвинительный приговор встретила аплодисментами. Она почти вся состояла из холопов Пельцера. Людям, которые симпатизировали Артуру, не нашлось места в суде. Все места были заняты приверженцами банкира еще рано утром. Артур выслушал приговор хладнокровно.

— Я знаю дорогу к императору, — сказал он, — и когда мне вновь понадобится баронство, я побываю у него. Вена, знающая меня, посмеется над этим приговором!

Горькое чувство, чувство стыда за людей и омерзение наполняло душу графини, когда она, оставив залу суда, садилась в коляску. При ней обвиняли в мошенничестве и осудили неповинного человека. Как легко обмануть этих простоватых толстых присяжных и как мало нужно для того, чтобы погубить человека!

— Я возвращу ему имя! — решила она, негодуя. — Он сказал им, что знает дорогу в Вену, но он не станет хлопотать из-за такого, по его мнению, пустяка, как доброе имя... И к тому же он лентяй, тяжел на подъем... Я похлопочу за него...

«Я подам ему милостыню,— добавила она мысленно,— и он, против желания, должен будет принять ее!»

На другой день она была уже в городском клубе на благотворительном балу и продавала билеты. В саду под навесом, устроенным из флагов, вьющегося винограда и живых цветов, стояло несколько столиков. На столиках стояли колеса с лотерейными билетами... Восемь очень красивых и очень нарядных аристократок сидели за этими столиками и продавали билеты. Лучше всех торговала графиня Гольдауген. Она, не отдыхая, вращала колесо и сдавала сдачу. Пельцер, который был на балу, купил у нее две тысячи билетов.

— Как поживает брат вашей супруги? — спросила Пельцера графиня, получая с него деньги.

Пельцер вздохнул.

— С ним, бедняжкой, случилось два несчастья,— сказал он.— Он женился и... сегодня он уже не барон...

— Слышала... Где теперь его жена?

— Она здесь. Вы и не видели? Смешно! Ха-ха... Она баронесса... Повенчайся они несколькими часами позже, она была бы теперь только бургерша Зайниц...

Графиня, взглядываясь в лица всех проходящих, начала искать глазами Ильку.

Илька была на балу. Она с высоко поднятой головой и гордой, надменной улыбкой уже прошла раз мимо графини. Графиня была занята торговлей и не заметила ее. Она прошла в другой раз, окруженная толпой любопытных, засматривавших ей прямо в хорошенькое лицо. Графиня вскинула на нее глаза и, по-видимому, не узнала ее. Когда она проходила третий раз, глаза их встретились.

Графиня смутилась и, к великому удовольствию Ильки, уронила на пол деньги. Несколько монет соскользнуло с ее задрожавших рук и со звоном покатилося по полу.

Илька подошла к столу графини и, глядя ей прямо в лицо, взяла несколько билетов.

— Я хочу пожертвовать в пользу школы одну маленькую вещь,— сказала она и, не дожидаясь ответа, сунула в руки графини золотой медальон. Графиня взяла в руки знакомый ей медальон, раскрыла его и улыбнулась. Ее лицо было поцарапано булавкой.

— Обратитесь с этой вещью к администрации клуба,— сказала она, подавая Ильке медальон.— Наше дело только продавать билеты...

И, мило улыбаясь, графиня добавила:

— Pardou, мне некогда!

Улыбка и хладнокровие графини смутили Ильку. Она, не привыкшая к подобного рода стычкам, сконфузилась и отошла от столика. Ей стало досадно и стыдно: стоящие около столика графини заметили ее смущение, переглянулись и улыбнулись. Эти недоумевающие улыбки кольнули Ильку в самое сердце.

— Позвольте пройти,— сказала она молодым людям, которые стеной остановились перед ней и с любопытством смотрели на нее.

Молодые люди почему-то вдруг засмеялись. Послышался такой же смех и сзади. Илька оглянулась и увидела такую же толпу молодежи.

— Позвольте пройти,— повторила Илька.

Послышался вновь смех, и большая пивная пробка ударилась о розовый лоб Ильки. Другая пробка ударилась об ее плечо...

— Ха-ха... Ура! Баронесса фон Зайниц, супруга разжалованного мошенника! — крикнул кто-то, и слышалось шиканье...

Третья и четвертая пробки, обе вместе, ударили ее по лицу. Она, униженная и оскорбленная, готовая упасть в обморок, посмотрела на графиню, и ей показалось, что графиня смеется... У Ильки помутилось в глазах. Закружившуюся голову сильно потянуло вниз.

— Артур! — крикнула она.

Никто не откликнулся на этот зов. Разжалованный барон был далеко. Он, пьяный, лежал под кустом, недалеко от домика Блаухер, и видел во сне свой миллион...

Графиня, которую не узнали помутившиеся глаза оскорбленной девушки, подошла к Ильке и, обхватив ее плечи, вывела ее из толпы.

— Пустите меня! Я хочу ее убить! — крикнула Илька и лишилась чувств.

Когда она очнулась, она увидела себя в маленькой комнате, обитой малиновым бархатом. Она лежала на диване. Возле нее сидела девушка с флаконом в руках...

— Где мы? — спросила Илька.

— В клубе, сударыня, — ответила девушка.

Звуки мазурки, донесшиеся до ушей Ильки, подтвердили слова девушки. Илька подняла свою отяжелевшую голову и, немного подумав, вспомнила все происшедшее.

— Принесите мне маленькую рюмку рейнвейна, — сказала она девушке.

Девушка вышла. Илька быстро достала из кармана портмоне. Из портмоне Илька вынула маленький флакончик, в котором был морфий. Этим морфием она так недавно еще угостила старика Луврера! Теперь она угостит им себя за то, что так близко к сердцу принимает оскорбления, которые наносят ей люди... Морфий весь, сколько его было во флаконе, был принят. В ожидании вечного сна Илька склонилась на бархатную подушку и принялась думать... Ей не жалко было бесцветной жизни. Ей жаль было оставлять папу Цвибуша — только его одного! Артура, который любил вино больше, чем свою молодую жену, ей не жаль.

— Как вы себя чувствуете? — услышала она мелодический голос.

К ней наклонилась вошедшая графиня, ее злейший враг... Илька увидела пред своим лицом блестящие глаза и два розовых пятна на щеках.

— Д'Омарен! — прошептала она, увидев на левой щеке чуть заметную красную полосу.

— Те, которые вас обидели, будут наказаны, — сказала графиня. — Их нанял Пельцер, который ненавидит Артура... Я накажу негодяя Пельцера... Я сильна... Вы еще сердитесь на меня?

Илька отвернула в сторону свое лицо.

— Ты еще сердисься, Илька? Ну... прости меня... Я виновата... Я оскорбила и твоего отца и тебя... Каюсь в этом и прошу прощения.

И Илька почувствовала на голове своей поцелуй.

— Я тебя долго искала... Я не знала покоя ни днем, ни ночью, встретившись с твоим взглядом в тот несчастный день... Твои глаза жгли меня во сне...

Илька вдруг заплакала.

— Я умираю,— прошептала она, засыпая под звуки нежного голоса своей кающейся соперницы.

— Прости же меня, Илька, как я простила тебя...

Илька протянула руку и коснулась шеи графини... Графиня нагнулась к ней и поцеловала ее в губы.

— Я умираю,— прошептала Илька.— Я приняла... мор... На ковре...

Графиня нагнулась и увидела на ковре флакон. Она поняла все. Через минуту в клубе был отыскан врач и приведен к Ильке. Врачу удалось только благодаря присутствию флакона констатировать отравление, поднять же на ноги уснувшую Ильку не удалось...

Репортер д'Омарен прибыл из Венгрии в Париж как раз в ту ночь, когда была разыграна Илька. Не найдя в номере, в котором жила певица, никого, кроме крепко спавшего в кресле Луврера, он побежал к Баху. Бах рассказал ему все, что произошло во время его отсутствия.

— Она бежала! — решил репортер и на другой день поехал опять в Венгрию, где надеялся получить плату за свою службу.

В Венгрии он узнал о смерти любимой женщины. Весть об этой смерти была жестокой платой, свалившей его в постель. Провалившись в горячке, он поселился в гольдаугенском лесу и, собирая со всех сторон сведения, написал повесть о красавице Ильке. Проезжая в прошлом году чрез гольдаугенский лес, я познакомился с д'Омареном и читал его повесть.

Переведенная на русский язык, она и предлагается нашим читателям.

ПРОПАЩЕЕ ДЕЛО

Водовильное происшествие

Ужасно плакать хочется! Зареву я, так, кажется, легче бы стало.

Был восхитительный вечер. Я нарядился, причесался, надушился и Дон Жуаном покатил к ней. Живет она на даче в Сокольниках. Она молода, прекрасна, получает в приданое 30 000, немножко образованна и любит меня, автора, как кошка.

Приехав в Сокольники, я нашел ее сидящей на нашей любимой скамье под высокими, стройными елями. Увидев меня, она быстро поднялась и, сияющая, пошла мне навстречу.

— Как вы жестоки! — заговорила она. — Можно ли так опаздывать? Ведь вы знаете, как я скучаю! Экой вы!

Я поцеловал ее хорошенькую ручку и, трепещущий, пошел вместе с ней к скамье. Я трепетал, ныл и чувствовал, что мое сердце воспалено и близко к разрыву. Пульс был горячий.

И не мудрено! Я приехал решить окончательно свою судьбу. Пан, мол, или пропал... Все зависело от этого вечера.

Погода была чудесная, но не до погоды мне было. Я не слушал даже певшего над нашими головами соловья, несмотря на то, что соловья обязательно слушать на всяком мало-мальски порядочном rendez-vous ¹.

¹ любовном свидании (франц.).

— Чего вы молчите? — спросила она, глядя мне в лицо.

— Так... Чудный вечер такой... Матап ваша здорова?

— Здорова.

— Гм... Так... Я, видите ли, Варвара Петровна, хочу с вами поговорить... Для того только я и приехал... Я молчал, молчал, но теперь... слуга покорный! Я не в состоянии молчать.

Варя нагнула голову и дрожащими пальчиками затерзала цветок. Она знала, о чем я хотел говорить. Я помолчал и продолжал:

— Для чего молчать? Как ни молчи, как ни робей, а рано или поздно придется дать волю... чувству и языку. Вы, может быть, оскорбитесь... может быть, не поймете, но... что ж?

Я умолк. Нужно было составить подходящую фразу.

«Да говори же! — протестовали ее глазки.— Мямля! Чего мучаешь?»

— Вы, конечно, давно уже догадались,— продолжал я, помолчав,— зачем я каждый день хожу сюда и своим присутствием мозолю ваши глаза. Как не догадаться? Вы, наверное, давно уже, со свойственной вам проницательностью, угадали во мне то чувство, которое... (Пауза.) Варвара Петровна!

Варя еще ниже нагнулась. Пальчики ее заплясали.

— Варвара Петровна!

— Ну?

— Я... Да что говорить?! Понятно и без того... Люблю, вот и все... Чего ж тут еще говорить? (Пауза.) Ужасно люблю! Я вас так люблю, как... Одним словом, соберите все на этом свете существующие романы, вычитайте все находящиеся в них объяснения в любви, клятвы, жертвы и... вы получите то, что... теперь в моей груди того... Варвара Петровна! (Пауза.) Варвара Петровна!! Чего же вы-то молчите?!

— Чтó вам?

— Неужели... нет?

Варя подняла головку и улыбнулась.

«Ах, черт возьми!» — подумал я. Она улыбнулась, шевельнула губками и чуть слышно проговорила: «Почему же нет?»

Я схватил отчаянно руку, отчаянно поцеловал, бешено схватил за другую руку... Она молодец! Пока я возился с ее руками, она положила свою головку мне на грудь, причем я в первый только раз уразумел, какою роскошью были ее чудные волосы.

Я поцеловал ее в голову, и в моей груди стало так тепло, как будто бы в ней поставили самовар. Варя подняла лицо, и мне ничего не оставалось, как только поцеловать ее в губки.

И вот, когда Варя была уже окончательно в моих руках, когда решение о выдаче мне тридцати тысяч готово уже было к подписанию, когда, одним словом, хорошенькая жена, хорошие деньги и хорошая карьера были для меня почти обеспечены, черту нужно было дернуть меня за язык...

Мне захотелось перед моей суженой порисоваться, блеснуть своими принципами и похвастать. Впрочем, сам не знаю, чего мне захотелось... Вышло страсть как скверно!

— Варвара Петровна! — начал я после первого поцелуя. — Прежде чем взять с вас слово быть моею женою, считаю священнейшим долгом, во избежание могущих произойти недоразумений, сказать вам несколько слов. Я буду короток... Знаете ли вы, Варвара Петровна, кто я и что я? Да, я честен! Я труженик! Я... я горд! Мало того... У меня есть будущее... Но я беден... Я ничего не имею.

— Я это знаю, — сказала Варя. — Не в деньгах счастье.

— Да... Кто же говорит о деньгах? Я... я горд своею бедностью. Копейки, которые я получаю за свои литературные работы, я не променяю на те тысячи, которые... которыми...

— Понятно. Ну-с...

— Я привык к бедности. Мне она ничего. Я в состоянии неделю не обедать... Но вы! Вы! Неужели вы, которая не в состоянии пройти двух шагов, чтобы не нанять извозчика, надевающая каждый день новое платье, бросающая в стороны деньги, не знавшая никогда нужды, вы, для которой немодный цветок есть уже большое несчастье, неужели вы согласитесь расстаться для меня с земными благами? Гм...

— У меня есть деньги. У меня приданое!

— Пустое! Для того чтобы прожить десяток, другой тысяч, достаточно только несколько лет... А потом? Нужда? Слезы? Верьте, дорогая моя, моему опыту! Знаю-с! Знаю, что говорю! Для того чтобы бороться с нуждой, нужно иметь сильную волю, нечеловеческий характер!

«Да и чепуху же я мелю!» — подумал я и продолжал:

— Подумайте, Варвара Петровна! Подумайте, на какой шаг вы решаетесь! Шаг бесповоротный! Есть у вас силы — идите за мной, нет сил бороться — откажите мне! О! Лучше пусть я буду лишен вас, чем... вы вашего покоя. Те сто рублей, которые дает мне ежемесячно литература, ничто! Их не хватит! Подумайте же, пока не поздно!

Я вскочил.

— Подумайте! Где бессилие — там слезы, упреки, ранние седины... Предупреждаю вас, потому что я честный человек. Чувствуете ли вы себя настолько сильной, чтобы разделить со мной жизнь, которая своею внешнею стороною не похожа на вашу, чужда вам? (Пауза.)

— У меня же есть приданое!

— Сколько? Двадцать, тридцать тысяч! Ха-ха! Миллион? И потом, кроме этого, позволю ли я себе присваивать то, что... Нет! Никогда! Я горд!

Я прошелся несколько раз около скамьи. Варя задумалась. Я торжествовал. Меня, значит, уважали, коли задумались.

— Итак, жизнь со мной и лишения или же жизнь без меня и богатство... Выбирайте... Есть силы? У моей Вари есть силы?

И говорил в таком роде очень долго. Я незаметно увлекся. Говорил я и в то же время чувствовал в себе раздвоение. Одна половина моя увлекалась тем, что я говорил, а другая мечтала: «А вот подожди, матушка! Заживем на твои тридцать тысяч так, что небу жарко станет! Надолго хватит!»

Варя слушала, слушала... Наконец она поднялась и протянула мне руку.

— Благодарю вас! — сказала она и сказала таким голосом, который заставил меня вздрогнуть и взглянуть на ее глаза. На ее глазах и щеках сверкали слезы...

— Благодарю вас! Вы хорошо сделали, что были со мной откровенны... Я неженка... Я не могу... Не пара вам...

И зарыдала. Я опростоволосился... Всегда теряюсь, когда вижу плачущих женщин, а тут и подавно. Пока я думал, что предпринять, она заглушила рыдания и утерла слезы.

— Вы правы,— сказала она.— Если я пойду за вами, обману вас. Не мне быть вашей женой. Я богачка, неженка, езжу на извозчиках, кушаю бекасов и дорогие пирожки. Я никогда за обедом не ем супа и шей. Меня и мама стыдит постоянно... А не могу я без этого! Я не могу ходить пешком... Я утомляюсь... И потом платья... Все это вам придется на свой счет шить... Нет! Прощайте!

И, сделав трагический жест рукой, она ни к селу ни к городу произнесла:

— Я недостойна вас! Прощайте!

Она произнесла, повернулась и пошла восвояси. А я? Я стоял, как дурак, ничего не думал, глядел ей вслед и чувствовал, что земля колеблется подо мной. Когда я пришел в себя и вспомнил, где я и какую грандиозную пакость соорудил мне мой язык, я взвыл. Ее уже и след простыл, когда я захотел крикнуть ей: «Воротитесь!!»

Посрамленный, несолоно хлебавший, отправился я домой. У заставы конки уже не было. Денег на извозчика у меня тоже не было. Пришлось домой отправляться пешком.

Дня через три поехал я в Сокольники. На даче мне сказали, что Варя чем-то больна и собирается с отцом в Петербург, к бабушке. Толку никакого не добился...

Теперь лежу я на кровати, кусаю подушку и бью себя по затылку. За душу скребут кошки... Читатель, как поправить дело? Как воротить свои слова назад? Что ей сказать или написать? Уму непостижимо! Пропало дело — и как глупо пропало!

СБВЕРНАЯ ИСТОРИЯ

Нечто романоподобное

Дело завязалось еще зимой.

Был бал. Гремела музыка, горели люстры, не унывали кавалеры и наслаждались жизнью барышни. В залах были танцы, в кабинетах картеж, в буфете выпивка, в читальне отчаянные объяснения в любви.

Леля Асловская, кругленькая розовенькая блондинка, с большими голубыми глазами, с длинейшими волосами и с цифрой 26 в паспорте, назло всем, всему свету и себе, сидела особняком и злилась. Душу ее скребли кошки. Дело в том, что мужчины вели себя по отношению к ней больше чем по-свински. В последние два года в особенности поведение их было ужасное. Она заметила, что они перестали обращать на нее внимание. Они стали неохотно плясать с ней. Мало того. Идет, каналья, мимо — и не посмотрит даже, как будто бы она перестала уже быть красавицей. А если и взглянет какой-нибудь нечаянно, невзначай, то взглянет не с удивлением, не платонически, а так, как глядят перед обедом на сдобный расстегай или поросенка.

А между тем в былые годы...

— И этак каждый вечер, каждый бал!! — злилась Леля, кусая губы.— Я знаю, почему они не замечают меня, знаю! Они мстят! Мстят мне за то, что я их презираю! Но... но когда же наконец замуж? Разве так выйдешь замуж? Время не ждет ведь, не ждет! Негодяи вы этикие!

В описываемый вечер судьбе угодно было сжалиться над Лелей. Когда поручик Набрядлов, вместо того

чтобы плясать с нею обещанную третью кадрили, напился как стелька пьян и, проходя мимо нее, как-то глупо чмокнул губами и тем показал свое полное пренебрежение, она не вынесла... Злоба ее достигла апогея. Голубые глаза обволоклись влагой, губы задрожали. Слезы готовы были брызнуть... Чтобы не показать профанам своих слез, она отвернулась к темным вспотевшим окнам, и — о чудный миг, это ты! — у одного из окон увидела прекрасного юношу, который не спускал с нее глаз. Юноша изображал из себя картину умильную, колющую как раз в самое сердце. Поза его была — шик, глаза полны любви, удивления, вопросов, ответов; лицо грустное. Леля моментально ожила. Она приняла надлежащую позу и принялась за надлежащее наблюдение. Последнее показало, что юноша глядел не случайно, не так себе, а не спуская глаз, упиваясь и восхищаясь.

«Боже! — подумала Леля. — Хоть бы кто-нибудь догадался его представить! Что значит свежий мужчина! Сейчас заметил!»

Вскоре юноша завертелся, заходил по залам и начал приставать к мужчинам.

«Хочет познакомиться! Просит, чтоб представили!» — подумала, захлебываясь, Леля.

И подлинно. Минуток через десять актерик-любитель, с бритой шалопайской физиономией, внял просьбам юноши и, сильно шаркая ногами, представил его Леле. Юноша оказался «нашим», до чертиков талантливым художником, Ногтевым. Ногтев — юноша лет двадцати четырех, брюнет, с страстными грузинскими глазами, с красивыми усиками и с бледными щеками. Он никогда ничего не пишет, но он художник. У него длинные волосы, эспаньолка, есть золотая палитра на часовой цепочке, золотые палитры вместо запонок, перчатки до локтей и неимоверно высокие каблуки. Малый добрый, но глупый, как гусь. Имеет благородного папашу, таковую же мамашу и богатую бабушку. Холост. Он несмело пожал Лелину руку, несмело сел и, севши, начал пожирать Лелю своими большими глазами. Заговорил он нескоро и несмело. Леля тарыхтела, а он говорил только: «Да... нет... я, знаете ли...», гово-

рил чуть дыша, отвечая невпопад и то и дело в смущении почесывая (свой, а не Лелин) левый глаз. Леля духовно аплодировала. Она порешила, что художник втюрился, и торжествовала.

На другой день после бала Леля сидела в своей комнате у окна и, торжествуя, глядела на улицу. По улице, перед ее окнами, взад и вперед блуждал Ногтев. Ногтев блуждал и запускал глазенапа на ее окна. Он глядел, точно помирать собирался: грустно, томно, нежно, огненно. На третий день — то же самое. На четвертый был дождь, и его под окнами не было (Ногтева убедил кто-то, что к его фигуре не идет зонтик). На пятый день было сделано так, что он явился в дом Лелиных родителей с визитом. Знакомство затянулось гордыевым узлом: связалось до невозможности развязать.

Недели через четыре был опять бал. (Зри начало.)

Ногтев стоял у дверей, опершись плечами о косяк, и пожирал Лелю глазами. Леля, желая возбудить в нем ревность, кокетничала вдали с поручиком Набрыдловым, который был пьян, но не как стелька, а так, чуть-чуть, на первом взводе.

К Ногтеву боком подошел ее рарá.

— Все рисуете-с? — спросил рара. — Художеством занимаетесь?

— Да.

— Тэк-с... Хорошее дело... Дай бог, дай бог... гм... Бог талант, значит, такой послал. Тэк... У всякого свой талант...

Рара помолчал и продолжал:

— А вот вы, молодой человек, знаете ли, вот что вы сделайте, коли вы того... все рисуете. Вы весной к нам пожалуйте, в деревню. Презанимательные места там есть! Виды, я вам скажу, страсть! Рахваелю таких не доводилось рисовать. Очень рады будем. Да и дочка с вами так... сдружилась... Э-э-хмее... хмее... Ммолодые люди, ммолодые люди! Хе-хе-хе...

Художник поклонился и первого мая сего года вместе со своими пожитками покатыл в имение Асловских. Его пожитки состояли из ненужного ящичка с красками, жилетки-пике, пустого портсигара и двух сорочек. При-

нят он был с объятиями самыми расprostертыми. Дали в его распоряжение две комнаты, двух холуев, лошадь и все, что пожелает, лишь бы только надежды подавал. Он воспользовался своим новым положением как нельзя лучше: ужасно много ел, много пил, долго спал, восхищался природой и не отрывал глаз от Лели. Леля была больше чем счастлива. Ее он был близок, был молод, хорош, был так робок... так любил! Он был так робок, что не умел подходить к ней, а глядел на нее все больше издали, из-за портьеры или из-за кустика.

«Робкая любовь!» — думала Леля, вздыхая...

В одно прекрасное утро ее рара и Ногтев сидели в саду на скамье и беседовали. Рара прохаживался насчет прелестей семейного счастья, а Ногтев терпеливо внимал и глазами искал Лелиного торса.

— Вы у отца один сын? — спросил, между прочим, рара.

— Нет... У меня есть брат, Иван... Славный мальчик! Прелесть что за человек! Вы не знакомы с ним?

— Не имею чести...

— Жаль, что вы не знакомы. Он остряк такой, знаете ли, весельчак, душа человек! Литературой занимается. Все редакции его приглашают. В «Шуте» сотрудничает. Жаль, что не знакомы. Он рад был бы познакомиться... Вот что! Хотите, я напишу, чтоб он сюда приехал? А? Ей-богу! Веселей будет!

Сердце рара от этого предложения точно дверью прищемило, но — нечего делать! — нужно было сказать: «Очень рад!»

Ногтев подпрыгнул в знак своего хорошего расположения и немедленно написал брату приглашение.

Брат Иван не замедлил явиться. Явился он не один, а вкуче со своим другом, поручиком Набрыдловым, и огромнейшим беззубым, старым псом Туркой. Прихватил он их с собой для того, чтобы, как он выражался, дорогой разбойники не напали и выпить было бы с кем. Им отведены были три комнаты, два холуя и одна лошадь на двоих.

— Вы, господа, — сказал Иван хозяевам, — не беспокойтесь о нас! Нам ваших беспокойств не нужно! Нам ни перин, ни соусов, ни фортепианов — ничего не нужно!

А вот ежели помилосердствуете насчет пивка и водочки, ну... тогда другое дело!

Если вы вообразите себе огромнейшего тридцатилетнего мордастого малого, в парусинной блузе, с паршивенькой бородкой, опухшими глазами и с галстуком в сторону, то вы избавите меня от описания Ивана. Это был несноснейший в мире человек.

Когда он был трезв, он был еще сносен: на кровати лежал и молчал. Пьяный же был он невыносим, как репейник на голом теле. Когда он пьян, он говорит не умолкая, причем сквернословит, не стесняясь ни женским, ни детским присутствием. Говорит он о вшах, клопах, штанах и черт знает о чем. Других тем, более новых, у него не водится. Рара, патап и Леля недоумевали и краснели, когда Иван, сидя за обедом, начинал острить.

К несчастью, во все свое пребывание в имении Асловских ему ни разу не удалось быть трезвым. Набрыдлов же, маленький куценький поручик, во все лопатки старался походить на Ивана.

— Мы с ним не художники! — говорил он. — Куды нам! Мы мужички!

Иван и Набрыдлов первым делом из барских хором, где им показалось душно, перебрались во флигель к управляющему, который не прочь был выпить с порядочными людьми. Вторым делом, они поснимали сюртуки и защеголяли по двору и по саду без сюртуков. Леле то и дело приходилось в саду наталкиваться на валявшегося под деревом в дезабилье брата или поручика. Брат и поручик пили, ели, кормили пса печенкой, острили над хозяевами, гонялись по двору за кухарками, громко купались, мертвецки спали и благословляли судьбу, случайно загнавшую их в те места, где можно á la сыр в масле кататься.

— Послушай, ты! — сказал однажды Иван художнику, подмигивая пьяным глазом в сторону Лели. — Ежели ты за ней... то черт с тобой! Мы не тронем. Ты первый начал, тебе и книги в руки. Честь и место! Мы благородно... Желаем успеха!

— Отбивать не станем, нет! — подтвердил Набрыдлов. — Было бы свинством с нашей стороны.

Ногтев пожал плечами и устремил свои жадные очи на Лелю.

Когда надоедает тишина, хочется бури; когда надоедает сидеть чинно и благородно, хочется дебош устроить. Когда Леле надоела робкая любовь, она начала злиться. Робкая любовь — это басня для соловья. К великой досаде, в июне художник был так же робок, как и в мае. В хоромаш шили приданое; рара денно и нощно мечтал о займе денег для свадьбы, а между тем их отношения не вылились еще в определенную форму. Леля заставляла художника по целым дням удить с собой рыбу. Но это не помогло. Он стоял возле нее с удочкой, молчал, заикался, пожирал ее глазами — и только. Ни одного сладко-ужасного слова! Ни одного признания.

— Называй меня... — сказал ему однажды рара. — Называй меня... Ты извини... что я говорю тебе «ты»... Я люблю, знаешь... Называй меня папой... Это я люблю.

Художник стал сдуру величать рара папой, но и это не помогло. Он по-прежнему был нем там, где следовало возроптать на богов за то, что они дали человеку один только язык, а не десять. Иван и Набрывлов скоро подметили тактику Ногтева.

— Черт тебя знает! — возроптали они. — Сам сена не жрешь и другим не даешь! Этакая скотина! Трескай же, дуб, коли кусок сам тебе в рот лезет! Не хочешь, так мы возьмем! То-то!

Но всему на этом свете бывает конец. Будет конец и этой повести. Кончилась и неопределенность отношений художника с Лелей.

Завязка романа произошла в середине июня.

Был тихий вечер. В воздухе пахло. Соловей пел во всю ивановскую. Деревья шептались. В воздухе, выражаясь длинным языком российских беллетристов, висела нега... Луна, разумеется, тоже была. Для полноты райской поэзии не хватало только г. Фета, который, стоя за кустом, во всеуслышание читал бы свои пленительные стихи.

Леля сидела на скамье, куталась в шаль и задумчиво глядела сквозь деревья на речку.

«Неужели я так неприступна?» — думала она, и воображению ее представлялась она сама, величествен-

ная, гордая, надменная... Размышления ее прервал подошедший рара.

— Ну, что? — спросил рара. — Все то же?

— То же.

— Гм... Черрт... Когда же все это кончится? Ведь мне, матушка, прокормить этих лодырей дорого стоит! Пятьсот в месяц! Не шутка! На одного пса три гривеника в день на печенку сходит! Коли свататься, так сватайся, а нет, так и к черту и с братцем и с псом! Что же он говорит по крайней мере? Говорил он с тобой? Объяснялся?

— Нет. Он, папа, такой застенчивый!

— Застенчивый... Знаем мы их застенчивость! Глаза отводит. Подожди, я его сейчас пришлю сюда. Покончи с ним, матушка! Нечего церемониться... Пора. Изволь-ка, матушка, того... Не молоденькая... Фокусы небось все уже знаешь!

Рара исчез. Минут через десять, робко пробираясь кустами сирени, показался художник.

— Вы меня звали? — спросил он Лелю.

— Звала. Подойдите сюда! Полно вам меня бегать! Садитесь!

Художник тихохонько подошел к Леле и тихохонько сел на краешек скамьи.

«Какой он хорошенький в темноте!» — подумала Леля и, обратясь к нему, сказала:

— Расскажите-ка что-нибудь! Отчего вы такой скрытный, Федор Пантелеич? Отчего вы все молчите? Отчего вы никогда не откроете предо мной свою душу? Чем я заслужила у вас такое недоверие? Мне обидно, право... Можно подумать, что мы с вами не друзья... Начинайте же говорить!

Художник откашлялся, прерывисто вздохнул и сказал:

— Мне вам многое нужно сказать, очень многое!

— В чем же дело стало?

— Боюсь, чтоб вы не обиделись. Елена Тимофеевна, вы не обидитесь?

Леля захихикала.

«Настала минута! — подумала она. — Как дрожит! Как он дрожит! Поймался, голубчик?»

У Лели самой затряслись поджилки. Ее охватил столь любезный каждому романисту трепет.

«Минут через десять начнутся объятия, поцелуи, клятвы... Ах!..» — замечтала она и, чтобы подлить масла в огонь, своим обнаженным горячим локтем коснулась художника.

— Ну? В чем же дело? — спросила она. — Я не такая недотрога, как вы думаете... (Пауза.) Говорите же!.. (Пауза.) Скорей!!

— Видите ли... Я, Елена Тимофеевна, ничего в жизни так не люблю, как художество... искусство, так сказать. Товарищи находят, что у меня талант и что из меня выйдет неплохой художник...

— О, это наверное! *Sans doute!*¹

— Ну да... Так вот... Люблю я свое искусство... Значит... Я предпочитаю жанр, Елена Тимофеевна! Искусство... Искусство, знаете ли... Чудная ночь!

— Да, редкая ночь! — сказала Леля и, извиваясь змеей, съежилась в шали и полузакрыла глаза. (Молодцы женщины по части амурных деталей, страсть какие молодцы!)

— Я, знаете ли, — продолжал Ногтев, ломая свои белые пальцы, — давно уже собирался поговорить с вами, да все... боялся. Думал, что вы рассердитесь... Но вы, если поймете меня, то... не рассердитесь. Вы тоже любите искусство!

— О... Ну да... Как же! Искусство ведь!

— Елена Тимофеевна! Вы знаете, зачем я здесь? Вы не можете догадаться?

Леля сильно сконфузилась и, якобы нечаянно, положила свою руку на его локоть...

— Это правда, — продолжал, помолчав, Ногтев, — есть между художниками свиньи... Это правда... Они ни в грош не ставят женскую стыдливость... Но ведь я... я ведь не такой! У меня есть чувство деликатности. Женская стыдливость есть такая... такая стыдливость, которой неглижировать нельзя!

«Для чего он говорит мне это?» — подумала Леля и спрятала в шаль свои локти.

¹ Без сомнения! (франц.)

— Я не похож на тех... Для меня женщина — святая! Так что вам бояться нечего... Я не такой, я такой, что не позволю себе чепуху выдвигать... Елена Тимофеевна! Вы позволите? Да послушайте, я, ей-богу, ведь искренно, потому что я не для себя, а для искусства! У меня на первом плане искусство, а не удовлетворение скотских инстинктов!

Ногтев схватил ее за руку. Она подалась чуточку в его сторону.

— Елена Тимофеевна! Ангел мой! Счастье мое!

— Н... ну?

— Можно вас попросить?

Леля захихикала. Губы ее уже сложились для первого поцелуя.

— Можно вас попросить? Умоляю! Ей-богу, для искусства! Вы мне так понравились, так понравились! Вы та, которую именно мне и нужно! К черту других! Елена Тимофеевна! Друг мой! Будьте моей...

Леля вытянулась, готовая пасть в объятия. Сердце ее застучало.

— Будьте моей...

Художник схватил ее за другую руку. Она покорно склонила головку на его плечо. Слезы счастья блеснули на ее ресницах...

— Дорогая моя! Будьте моей... натурщицей!

Леля подняла голову.

— Что?!

— Будьте моей натурщицей!

Леля поднялась.

— Как? Кем?

— Натурщицей... Будьте!

— Гм... Только-то?

— Вы меня премного обяжете! Вы дадите мне возможность написать картину, и... какую картину!

Леля побледнела. Слезы любви вдруг обратились в слезы отчаяния, злобы и других нехороших чувств.

— Так вот... что? — проговорила она, трясаясь всем телом.

Бедный художник! Ярко-красное зарево окрасило одну из его белых щек, когда звуки звонкой пощечины понеслись, мешаясь с собственным эхом, по темному

саду. Ногтев почесал щеку и остолбенел. С ним приключился столбняк. Он почувствовал, что он проваливается сквозь всю вселенную... Из глаз посыпались молнии...

Леля, трепещущая, бледная как смерть, ошалевшая, сделала шаг вперед, покачнулась. По ней точно колесом проехали. Собравшись с силами, она неверной, больной походкой направилась к дому. Ноги ее подгибались, из глаз сыпались искры, руки тянулись к волосам с явным намерением вцепиться в оные...

До дома оставалось только несколько сажен, когда ей еще раз пришлось побледнеть. На ее пути, около беседки, увитой диким виноградом, стоял, широко растопырив руки, пьяный мордастый Иван, непричесанный, с расстегнутой жилеткой. Он глядел в Лелино лицо, сардонически ухмылялся и осквернял воздух мэфистофелевским «ха-ха». Он схватил Лелю за руку.

— Подите прочь! — прошипела Леля и отдернула руку...

Скверная история!

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ИЮНЯ

*Рассказ охотника,
никогда в цель не попадающего*

Было четыре часа утра...

Степь обливалась золотом первых солнечных лучей и, покрытая росой, сверкала, точно усыпанная брильянтовой пылью. Туман прогнало утренним ветром, и он остановился за рекой свинцовой стеной. Ржаные колосья, головки репейника и шиповника стояли тихо, смиренно, только изредка покланиваясь друг другу и пошептывая. Над травой и над нашими головами, плавно помахивая крыльями, носились коршуны, кобчики и совы. Они охотились...

Аким Петрович Отлетаев, мировой судья, земский врач, я, зять Отлетаева Предположенский и волостной старшина Козоедов ехали все шестеро на отлетаевской коляске-розвальне на охоту. За коляской, вывалив языки, бежали четыре пса. Я и земский врач народ худенький, остальные же толсты, как стоведерные бочки, а потому, несмотря на то что дедовская коляска была и широка и глубока, нам было до чертиков тесно. Я то и дело толкал локтем и ружейным прикладом в живот Козоедова. Все мы толкались, пыхтели, морщились, всей душой ненавидели друг друга и с нетерпением ждали того времени, когда нам можно будет вылезть из коляски. Ехали мы подальше в степь пострелять куропаток, стрепетов, перепелов, болотной дичи и, если фортуна оглянется на нас, дрохв. Предводительствовал нами хозяин коляски и коней Отлетаев, по мило-

сти которого мы и ехали на охоту. Тела наши были сдавлены, но зато души были преисполнены радостями самого высшего качества!

Кто никогда не ездил и не шлялся на охоту, тому не понять этих радостей. Мы держали наши ружья и глядели на них так любовно, как маменьки глядят на своих сыночков, подающих большие надежды.

— А каков наш будет маршрут? — спросил я, когда мы отъехали от Отлетаева верст десять.

— Сейчас едем на Еланчик, — отвечал Отлетаев, — бекасов стрелять... Отсюда это верст восемь будет. Там же и перепелов на просе постреляем... Пострелявши перепелов, ночевать станем, а уж завтра чуть свет у нас самая-то настоящая стрельба начнется...

— А что, господа, как думаете, — спросил я, показывая пальцем на коршуна, который купался далеко в небесной синеве, — можно ли попасть отсюда? Попадете?

— Не попадешь! — сказал Отлетаев. — Далек очень! Впрочем, из моего ружья попадешь...

— И из вашего ружья не попадешь, — заметил Предположенский.

— Попадешь. Дробью не попадешь, не достанешь, а пульей наверно...

— И пульей не попадешь.

— Уж это позвольте мне знать, попаду я или не попаду! Вы ружья моего не знаете, а я знаю... Вы отродясь не видали хороших ружей, а потому это вам и кажется таким странным... Я и дальше попадал...

Предположенский откинул назад голову и засмеялся.

— Чего же смеешься? — продолжал Отлетаев. — Не веришь небось?

— Разумеется, не верю.

— Гм... Ружья моего, значит, не знаешь... Ружье замечательное! Недаром шестьсот целковых стоит...

— Сколь...ко?? — спросил Предположенский и вытянул шею... — Сколько? Повторите, папаша!

— Шестьсот рублей... Чего же ты смеешься? Ты погляди на ружье, да потом и скаль зубы!

— Я вижу... Чьей фабрики?

— Марсельское... Фабрики Лепелье...

— Лепелье? Не слышал что-то такой фабрики... Ружье как ружье... Рублей сто сто́ит... Не люблю, тещь, когда вы врите! Зачем врать? Я не понимаю, зачем врать?

— Ружье хорошее, — заметил мировой, — но шестисот не стоит. Вы переплатили, Аким Петрович!

— Он вовсе не переплачивал! — горячился Предположенский. — Он врет! Врет, как школяр!

Отлетаев завертелся и покраснел.

— Не таковский, чтоб врать, — сказал он. — Так-то-с! Ты вот... ты вот так врешь! Ну да! Ты вот так и норовишь уколоть! С тобой ездить не следует. Я не знаю, зачем я с тобой поехал!..

— И не ездил бы... Зачем врать, не понимаю! Врет как свинья!

— Сам свинья! Свинья и дурак вместе с тем.

Мы начали усовещивать Предположенского.

— Пусть он не врет! — оправдывался непокорный зять. — Моя душа возмущается, ежели кто врет... И свиньей пусть не бранится. Сам он свинья, вот что! А если ему неприятно, что я еду, так... шут с ним! Я могу и не ехать.

— Ну, полноте! Аким Петрович и не думал вас оскорблять! Стоит ли поднимать бурю из-за пустяков?

Предположенский надулся, как объевшийся индюк, и умолк.

— Нельзя-с! — обратился, немного погодя, к Предположенскому Козоедов. — Нельзя-с! Он вам теперь, можно сказать, заместо родителей, тещь он вам, а вы грубости наносите... А грешно!

Зять взглянул презрительно на старшину и сардонически усмехнулся.

— Тебя спрашивают нешто? — спросил он. — Спрашивают? Молчи, коли... Сиди, ежели сидишь!.. Заместо родителей... Говорить еще не умеешь, а тоже лезешь... Гм... Суконное ры... Мужлан!

— Вот видите-с, какие вы! Не любите, коли люди покойно сидят. Я хотя и из простого звания произошел, хотя, могу сказать, и никакого образования не проходил, но могу сказать, что имею в груди, и в сердце, и в

душе всякие чувства, а вы вот так нет, хоть вы и науки проходили по всем степеням... Так-то-с!

— Перестаньте, господа! — вмешался я. — Полно вам друг другу мораль читать! Давайте молчать...

Отлетаев с сопеньем вытащил из бокового кармана объемистый, сильно потертый портсигар и запустил в него свои толстые пальцы. Доктор и мировой протянули руки к его портсигару.

— Нет-с, извините-с! — сказал внушительно Отлетаев. — Дружба дружбой, а табачок врозь. Мне самому не хватит... Дорога велика, а у меня папирос-то с собой только четыре десятка...

Доктор и мировой сильно сконфузились и, чтобы скрыть подальше от света белого свой конфуз, засвистали из «Мадам Анго».

Отлетаев был глуп, как сорок тысяч братьев, и невежа страшная...

Мы его терпеть не могли. Сконфуженный доктор закурил собственную папиросу и начал рассказывать анекдоты. Рассказал он их штук двадцать; из них только один не был сальным, остальные же так и таяли в наших ушах.

— А вы, батенька, мастер! — похвалил я доктора. — Не знал я, что вы такой юморист!

— Да-с... Кое-что знаем, — сказал доктор. — Ежели бы я захотел в журналах сотрудничать, то миллионы бы имел. Больше вашего зарабатывал бы.

— Не сомневаюсь... Чего же не сотрудничаете?

— Не хочу!

— Почему же?

— Не хочу, вот и все! Совесть есть! Нешто человек с совестью может в ваших журналах писать? Никогда! Я даже не читаю никогда газет! Считаю болванами тех, кто выписывает их, тратит деньги...

— А я наоборот, — заметил мировой, — считаю тех болванами, кто не тратит деньги на газеты...

— Доктор не в духе сегодня, — сказал я. — Не будем его трогать...

— Кто вам сказал, что я не в духе? Я в духе... Вы потому так застываетесь за газеты, что в них пишете, а по-моему, они... тьфу! Яйца выеденного не стоят.

Врут, врут, врут. Первые вруны и сплетники! Газетчики — те же адвокаты... Врут и не имеют совести!

— Я был адвокатом, — сказал мировой, — а совесть имел.

Предположенский и Козоедов переглянулись и ехидно улыбнулись.

— Я не про вас говорю... Я вообще... Вообще все мошенники... И газетчики, и адвокаты, и все...

Я, вместо того чтобы молчать, продолжал заступаться за газетчиков. Мировой продолжал заступаться за адвокатов... В коляске поднялся спор.

— А медицина-то ваша? — ухватился я. — Медицина? Что она стбит? Небось не врете? Только денешки берете! Чтó такое доктор? Доктор есть предисловие гробокопателя... вот что-с! Впрочем, я не знаю, для чего я с вами спорю? Разве у вас есть логика? Вы кончили университет, но рассуждаете, как банщик...

— Говорите хладнокровно! Можно, полагаю, и без оскорблений!

— Газетчиков и адвокатов ругаем, — забасил Предположенский, — а самой настоящей-то врали и не видим... Потолкуйте-ка с тестюшкой, он любого адвоката по брехательной части за пояс заткнет...

И так далее... Слово за слово, гримаса за гримасой, сплетня за сплетней, и дело зашло черт знает куда...

Мы начали рассказывать все, что за зиму накопилось в наших душах друг против друга. Мы перещеголяли старых девок.

Между тем пока мы, невыспавшиеся, полупьяные, каверзили друг против друга, солнце поднималось все выше и выше... Туман исчез окончательно, и начался летний день... Было кругом тихо, славно...

Только мы одни нарушали тишину...

Подъехав к первому попавшемуся болотцу, мы вылезли из коляски и, сердитые, надутые, побрели в разные стороны. Водворять среди нас согласие взялся Козоедов. Он подбросил высоко вверх трехкопеечную монету, выстрелил в нее и попал. Мы все вместе подняли монету, сосчитали на ней число следов от дроби и кое-как разговорились.

Предположенный сигнал коростеля и убил. Мы его поздравили и крикнули «ура». Согласие было бы окончательно водворено, если бы не доктор. Доктор, пока мы поздравляли Предположенного с первым успехом, подошел к коляске, развязал кулек и принялся ублажать себя водочкой и закуской.

— Доктор! Что это вы там делаете? — крикнул Отлетаев.

— Ем и пью.

— Какое же вы имеете право распоряжаться?

— А что?

— Это для вас положено? Не понимаю этого, извините, свинства! Не мог подождать! Что это вы раскупорили? Батюшки! Это моя настойка! Какое вы имеете право, милостивый государь?

— Не кричите, пожалуйста! Потихе!

— Ведь эту настойку я для себя взял! Слаб здоровьем, взял настойки, и... на поди! Раскупорили! Просили его! Заверните балык!

— Не заверну! Вам, неприличный и неделикатный человек, должно быть известно, что на охоте все общее... Какой вы, извините, невежа!

Доктор выпил рюмку настойки и назло Отлетаеву отрезал себе огромнейший кусок балыка. Предположенный подскочил к коляске и, чтоб насолить тестю, выпил из горлышка половину настойки... У Отлетаева навернулись слезы.

— Это вы назло? — зашептал он. — Хорошо же! Хорошо! Вот вы как... Мерси боку...¹

Мировой, не знавший, в чем дело, подошел к коляске.

— А-а-а?.. Закусываете? — спросил он. — А не рано ли? Впрочем, одну пропустить не мешает... За ваше здоровье!

Мировой налил себе рюмку настойки и выпил.

— Очень хорошо-с! Прекрасно-с! — крикнул уже Отлетаев.

— Что прекрасно? — спросил мировой.

¹ Очень благодарен (от франц. — merci beaucoup).

— Ничего...

Отлетаев сел в коляску, бросил в траву кулек, иронически нам поклонился и ударил кучера Петра по спине.

— Поезжай! — крикнул он.

— Куда это вы? — удивились мы...

— Ежели я вам противен... необразован... Козоедов! Иди садись, голубчик! Где нам, мужикам, с господами учеными охотиться? Освободим их от своего присутствия! Иди, милый!

— Куда же вы? Что вы дурака корчите?

— Ежели я дурак, то зачем вам беспокоиться?.. Пушай! Я и есть дурак... Прощайте-с... я домой...

— А мы же на чем поедем?

— На чем знаете... коляска моя.

— Да ты, тестюшка, белены, что ли, объелся? — крикнул Предположенский.

Козоедов сел рядом с Отлетаевым и смиренно снял шляпу.

— Ты с ума сошел? — продолжал Предположенский. — Вылезай из коляски!

— Не вылезу. Прощай, зять! Ты человек образованный, гуманный, цивилизованный... А я... Что я?

— А ты — дурак! Господа, что же это такое? Кто его раздражил? Вы, доктор? Вы, черт вас возьми, вечно лезете со своим ученым носом не в свое дело!

— Я для вас не тещь... Прошу не орать, — обиделся доктор. — Коли будете орать, так и я уеду...

— И уезжайте! Велика потеря! Скажите пожалуйста!

Доктор пожал плечами, вздохнул и полез в коляску. Мировой махнул рукой и тоже полез в коляску.

— Мы вечно так, — вздохнул он. — Никогда у нас ничего не выходит...

— Погоняй! — крикнул Отлетаев.

Петр чмокнул губами, дернул вожжи, и коляска тронулась с места.

Я и Предположенский переглянулись.

— Стой! — крикнул я и побежал за коляской. — Стой!

— Стой! — заорал Предположенский. — Стой, скоты!

Коляска остановилась, и мы уселись.

— Я тебе все это припомню! — сказал, сверкая глазами, Предположенский и погрозил тестю кулаком. — Все! До смерти будешь помнить этот день!

До самого дома мы ехали молча. В душах наших радости высшего качества сменились самыми скверными чувствами. Мы готовы были слопать друг друга и не слопали только потому, что не знали, с какого конца начать лопать... Когда мы подъехали к отлетаевскому дому, на террасе сидела мадам Отлетаева и пила кофе.

— Вы приехали? — удивилась она. — Что так рано?

Мы вылезли из коляски и молча направились к воротам.

— Куда же вы, господа? — закричала мадам Отлетаева. — А кофе пить? А обедать? Куда вы?

Мы повернулись к крыльцу и молча, внушительно погрозили нашими огромными кулаками. Предположенский плюнул по направлению к крыльцу, выругался и отправился спать в конюшню.

Дня через два Отлетаев, Предположенский, Козоедов, мировой, земский врач и я сидели в доме Отлетаева и играли в стуколку. Мы играли в стуколку и, по обыкновению, грызли друг друга...

Дня через три мы поругались насмерть, а через пять пускали вместе фейерверк...

Мы ссоримся, сплетничаем, ненавидим, презираем друг друга, но разойтись мы не можем. Не удивляйтесь и не смейтесь, читатель! Поезжайте в Отлетаевку, поживите в ней зиму и лето, и вы узнаете, в чем дело...

Глушь — не столица... В Отлетаевке рак — рыба, Фома — человек и ссора — живое слово...

КОТОРЫЙ ИЗ ТРЕХ

Старая, но вечно новая история

На террасе роскошной старинной дачи статской советницы Марьи Ивановны Лангер стояли дочь Марьи Ивановны — Надя и сынок известного московского коммерсанта — Иван Гаврилович.

Вечер был великолепный. Будь я мастер описывать природу, — я описал бы и луну, которая ласково глядела из-за тучек и обливала своим хорошим светом лес, дачу, Надино личико... Описал бы и тихий шепот деревьев, и песни соловья, и чуть слышный плеск фонтанчика... Надя стояла, опершись коленом о край кресла и держась рукой за перила. Глаза ее, темные, бархатные, глубокие, глядели неподвижно в темную зеленую чашу... На бледном, освещенном луной личике играли темные тени — пятнышки: это румянец... Иван Гаврилович стоял позади нее и нервно, дрожащей рукой пощипывал свою жидкую бородку. Когда ему надоело щипать бородку, он начинал поглаживать и трепать другой рукой свое высокое, некрасивое жабо. Иван Гаврилович некрасив. Он похож на свою маменьку, напоминающую собой деревенскую кухарку. Лоб у него маленький, узенький, точно приплюснутый; нос вздернутый, тупой, с заметной выемкой вместо горбины, волос щетиной. Глаза его, маленькие, узкие, точно у молодого котенка, вопросительно глядели на Надю.

— Вы извините меня, — говорил он, заикаясь, судорожно вздыхая и повторяясь, — извините меня, что я

рассказываю вам... про свои чувства... Но я вас так полюбил, что даже не знаю, в своем ли я уме нахожусь, или нет... В груди моей такие чувства к вам, что и выразить это невозможно! Я, Надежда Петровна, как только вас увидел, так сразу и влюбился, полюбил то есть. Вы извините меня, конечно, но... ведь... (Пауза.) Приятная нонче природа!

— Да... Погода великолепная...

— И при такой самой природе как прия но, знаете ли-с, любить такую приятную особу, как вы... Но я несчастлив!

Иван Гаврилович вздохнул и дернул себя за бородку.

— Очень несчастлив-с! Я вас люблю, страдаю, а... вы? Нешто вы можете чувствовать ко мне чувства? Вы образованная, ученая... все по-благородному... А я? Я купеческого звания и... больше ничего! Как есть ничего! Денег-то много, но что толку с тех денег, если нет настоящего счастья? Без счастья с этими самыми деньгами одно только окаянство да... пустоцвет. Ешь хорошо, ну... пешком не ходишь... пустая жизнь... Надежда Петровна!

— Ну?

— Ни... ничего-с! Я хотел, собственно говоря, вас побеспокоить...

— Что вам?

— Можете ли вы меня любить? (Пауза.) Я предлагал вашей маменьке... мамаше то есть, свое сердце и руку относительно вас, и они сказали, что все от вас зависит... Вы можете, говорит, и без родительской воли... Как вы мне ответите?

Надя молчала. Она взглянула в темную зеленую чашу, где еле-еле вырисовывались стволы и узорчатая листва... Ее занимали движущиеся черные тени от деревьев, которые слегка покачивались от ветерка своими верхушками. Молчание ее душило Ивана Гавриловича. На глазах его выступили слезы. Он страдал. «Ну что — ежели она откажет?» — думалось ему, и эта невеселая дума морозом резала по его широкой спине...

— Сделайте же милость, Надежда Петровна,— проговорил он,— не терзайте мою душу... Ведь я, ежели

лезу к вам, то от любви... Потому... (Пауза.) Ежели... (Пауза.) Ежели вы не ответите мне, то хоть умирай.

Надя повернула свое лицо к Ивану Гавриловичу и улыбнулась... Она протянула ему свою руку и заговорила голосом, который прозвучал в ушах московского коммерсанта песнью сирены:

— Очень вам благодарна, Иван Гаврилович... Я уже давно знаю, что вы меня любите, и знаю, как вы любите... Но я... я... Я вас тоже люблю. Жан... Вас нельзя не полюбить за ваше доброе сердце, за вашу преданность...

Иван Гаврилович раскрыл широко рот, засмеялся и, счастливый, провел себя ладонью по лицу: не сон ли, мол?

— Я знаю, что если я выйду за вас замуж,—продолжала Надя,—то я буду самая счастливая... Но знаете что, Иван Гаврилович? Подождите немножко ответа... Ответить положительно сейчас я не могу... Я должна этот шаг обдумать хорошенько... Подумать надо... Потерпите немного.

— А долго ждать?

— Нет, немного... День, много два...

— Это можно-с...

— Вы сейчас уедете, а ответ я дам письмом... Уезжайте сейчас домой, а я пойду думать... Прощайте... Через день...

Надя протянула руку. Иван Гаврилович схватил ее и поцеловал. Надя кивнула головой, поцеловала воздух, спорхнула с крыльца и исчезла... Иван Гаврилович постоял минуты две-три, подумал и отправился через маленький цветник и рощу к своим лошадям, которые стояли на просеке. Он раскис и ослабел от счастья, точно его целый день продержали в горячей ванне. Он шел и смеялся от счастья.

— Трофим! — разбудил он спавшего кучера.— Вставай! Едем! На чай пять желтеньких! Понял? Ха-ха!

Между тем Надя прошмыгнула сквозь все комнаты на другую террасу, спустилась с этой террасы и, пробираясь сквозь деревья, кусты и кустики, побежала на другую просеку. На этой просеке ожидал ее друг ее

детства, молодой человек лет двадцати шести, барон Владимир Штраль. Штраль — маленький, толстенький немец-карапузик, с уже заметной плешью на голове. Он в этом году кончил курс в университете, едет в свое харьковское имение и пришел в последний раз — проститься. Он был слегка пьян и, полулежа на скамье, насвистывал «Стрелочка».

Надя подбежала к нему и, тяжело дышащая, утомленная бегом, повисла на его шее. Звонко хохоча и теребя его за шею, за волосы и воротник, она осыпала его жирное, потное лицо поцелуями...

— Я тебя уже целый час жду,— сказал барон, обнимая ее за талию.

— Ну что — здоров?

— Здоров...

— Едешь завтра?

— Еду...

— Противный... Возвратишься скоро?

— Не знаю...

Барон поцеловал Надю в щеку и ссадил ее с колен на скамью.

— Ну, будет целоваться,— сказала Надя.— После... Впереди еще много времени. Теперь потолкуем о деле. (Пауза.) Ты, Воля, подумал?

— Подумал...

— Ну что ж, как? Когда... свадьба?

Барон поморщился.

— Ты опять о том же! — сказал он.— Ведь я тебе еще вчера дал... положительный ответ... Ни о какой свадьбе не может быть и речи! Я тебе еще вчера сказал... Зачем заводить разговор о том, что уже тысячу раз было пересказано?..

— Но, Воля, должны наши отношения чем-нибудь кончиться? Как ты это не поймешь? Ведь должны?

— Должны, но не свадьбой... Ты, Nadine, повторяю я в сотый раз, наивна, как трехлетнее дитя... Наивность к лицу хорошеньким женщинам, но не в данном случае, душа моя...

— Не хочешь жениться, значит! Не хочешь? Ты говори прямо, бессовестная твоя душа, говори прямо: не хочешь?

— Не хочу... С какой стати я буду себе портить карьеру? Я люблю тебя, но ведь ты сгубишь меня, если я на тебе женюсь... Ты мне не дашь ни состояния, ни имени... Женитьба должна, мой друг, быть половиной карьеры, а ты... Плакать нечего... Надо рассуждать здраво... Браки по любви никогда не бывают счастливы и оканчиваются обыкновенно пуфом...

— Лжешь... Ты лжешь! Вот что!

— Женись, а потом с голоду умирай... Нищих плоди... Рассуждать нужно...

— А отчего ты тогда не рассуждал... помнишь? Ты тогда дал мне честное слово, что ты на мне женишься... Ведь дал?

— Дал... Но теперь изменились мои планы... Ведь ты не выйдешь за бедного человека? Зачем же ты заставляешь меня жениться на бедной? Я не имею желания поступить с собой по-свински. У меня есть будущее, за которое я должен ответить пред своею совестью.

Надя утерла платком глаза и вдруг неожиданно, нечаянно бросилась опять на шею к православному немцу. Она припала к нему и принялась осыпать его лицо поцелуями.

— Женись! — залепетала она. — Женись, голубчик! Ведь я люблю тебя! Ведь я жить без тебя не могу, моя прелесть! Ты меня убьешь, если расстанешься со мной! Женишься? Да?

Немец подумал и решительным тоном сказал:

— Не могу! Любовь хорошая вещь, но на этом свете она не прежде всего...

— Так не хочешь?

— Нет... Не могу...

— Не хочешь? Верно, что не хочешь?

— Не могу, Nadine!

— Подлец, негодяй... вот что! Мошенник! Немчур! Я тебя терпеть не могу, ненавижу, презираю! Ты гадок! Я тебя и не любила никогда! Если я в тот вечер и поддалась тебе, то только потому, что считала тебя честным человеком, думала, что ты женишься на мне... Я тебя и тогда терпеть не могла! Хотела выйти за тебя, потому что ты барон и богач!

Надя замахала руками и, отступив на несколько шагов от Штраля, пустила в него еще несколько колкостей и отправилась домой. «Напрасно я ходила сейчас к нему,— думала она, идя домой.— Ведь знала же я, что он не захочет жениться. Вот негодяй! Дура была я в тот вечер! Не поддайся я ему тогда, теперь бы не было надобности унижаться перед этой... немчурой».

Придя во двор дачи, Надя не пошла в комнаты. Она походила по двору и остановилась у одного слабо освещенного окна. Окно это выходило из комнаты, в которой обитала на летнем положении молодая, только что выпущенная из консерватории, первая скрипка, Митя Гусев. Надя начала глядеть в окно. Митя, плечистый, курчавый блондин, недурной собой, был дома. Он без сюртука и жилетки лежал на кровати и читал роман. Надя постояла, подумала и постучала в окно. Первая скрипка подняла голову.

— Кто там?

— Это я, Дмитрий Иванович... Отворите-ка окно на минутку!..

Митя быстро надел сюртук и отворил окно.

— Идите сюда... Лезьте ко мне...— сказала Надя.

Митя показался на окне и через секунду был уже возле Нади.

— Что вам угодно?

— Пойдемте! — сказала Надя и взяла Митю под руку.

— Вот что, Дмитрий Иванович,— сказала она.— Не пишите мне, голубчик, любовных писем! Пожалуйста, не пишите! Не любите меня и не говорите мне, что вы меня любите!

Слезы сверкнули на глазах Нади и полились струей по щекам, по рукам.

Слезы были самые настоящие, горючие, крупные...

— Не любите меня, Дмитрий! Не играйте для меня на скрипке! Я гадкая, противная, нехорошая... Я такая, которую нужно презирать, ненавидеть, бить...

Надя зарыдала и положила свою головку на грудь Мити.

— И я самая гадкая, и мысли мои гадкие, и сердце...

Митя растерялся, забормотал какую-то ерунду и поцеловал Надю в голову...

— Вы добрый, хороший... Я, честное слово, люблю вас... Ну, а вы не любите меня! Я люблю больше всего на свете деньги, наряды, коляски... Я умираю, когда думаю, что у меня нет денег... Я мерзкая, эгоистка... Не любите, душечка, Дмитрий Иванович! Не пишите мне писем! Я выхожу замуж... за Гаврилыча... Видите — какая я! А вы еще... любите меня! Прощайте! Я вас буду любить и замужем... Прощай, Митя!

Надя быстро обняла Гусева, быстро поцеловала его в шею и побежала к воротам.

Придя к себе в комнату, Надя села за стол и, горько плача, написала следующее письмо: «Дорогой Иван Гаврилыч! Я ваша. Я вас люблю и хочу быть вашей женою... Ваша Н.».

Письмо было запечатано и сдано горничной для отправки по адресу.

«Завтра... что-нибудь привезет...» — подумала Надя и глубоко вздохнула.

Этот вздох был финалом ее плача. Посидев немного у окна и успокоившись, Надя быстро разделась, и ровно в полночь дорогое пуховое одеяло, с вышивками и вензелями, уже грело спящее, изредка вздрагивающее тело молодой, хорошенькой, развратной гадины.

В полночь Иван Гаврилович шагал у себя по кабинету и мечтал вслух.

В кабинете сидели его родители и слушали его мечтания... Они радовались и были счастливы за счастливого сына...

— Девица-то она хорошая, благородная,— говорил отец.— Советника дочь, да и красавица. Одна только беда: фамилия у нее немецкая! Подумают люди, что ты на немке женился...

Они кочуют. Одному только Парижу дарят они месяцы, для Берлина же, Вены, Неаполя, Мадрида, Петербурга и других столиц они скупы. В Париже чувствуют они себя quasi¹ дома; для них Париж — столица, резиденция, остальная же Европа — скучная, бестолковая провинция, на которую можно смотреть только сквозь опущенные сторы grand-hôtel'ей² или с авансены. Они не стары, но успели уже побывать по два, по три раза во всех европейских столицах. Им уже надоела Европа, и они стали поговаривать о поездке в Америку и будут поговаривать до тех пор, пока их не убедят, что у нее не такой уж замечательный голос, чтобы стоило показывать его обоим полушариям.

Увидеть их трудно. На улицах их видеть нельзя, потому что они ездят в каретах, ездят, когда темно, — вечером и ночью. До обеда они спят. Просыпаются же обыкновенно в плохом расположении духа и никого не принимают. Принимают они только иногда, в неопределенное время, за кулисами или садясь за ужин.

Ее можно видеть на карточках, которые продаются. Но на карточках она — красавица, а красавицей она никогда не была. Карточкам ее не верьте: она урод. Большинство видит ее, глядя на сцену. Но на сцене она

¹ Здесь: как бы (лат.).

² гостиниц (франц.).

неузнаваема. Белила, румяна, тушь и чужие волосы покрывают ее лицо, как маска. На концертах то же самое.

Играя Маргариту, она, двадцатисемилетняя, морщинистая, неповоротливая, с носом, покрытым веснушками, выглядит стройной, хорошенькой, семнадцатилетней девочкой. На сцене она менее всего напоминает самое себя.

Коли хотите их видеть, приобретите право присутствовать на обедах, которые даются ей и которые иногда она сама дает перед отъездом из одной столицы в другую. Приобрести это право легко только на первый взгляд, добраться же до обеденного стола могут только люди избранные... К последним относятся гг. рецензенты, пролазы, выдающие себя за рецензентов, туземные певцы, дирижеры и капельмейстеры, любители и ценители с залезанными лысынами, попавшие в театральные завсегдатаи и блюдолизы благодаря злату, серебру и родству. Обеды эти выходят не скучные, для человека наблюдающего — интересные... Раза два стоит пообедать.

Известные (между обедающими много таких) едят и говорят. Поза их вольная: шея на один бок, голова на другой, один локоть — на столе. Старички даже ковыряют в зубах.

Газетчики занимают стулья, ближайšie к ее стулу. Они почти все пьяны и держат себя весьма развязно, как будто бы они знакомы с ней уже сто лет. Возьми они градусом выше, дело дошло бы до фамильярности. Они громко остряют, пьют, перебивают друг друга (причем не забывают сказать: «pardon!»), произносят трескучие тосты и, видимо, не боятся сглупить; некоторые, джентльменски переваливаясь через угол стола, целуют ее ручку.

Выдающие себя за рецензентов менторски беседуют с любителями и ценителями. Любители и ценители молчат. Они завидуют газетчикам, блаженно улыбаются и пьют одно только красное, которое на этих обедах бывает особенно хорошо.

Она, царица обеда, одета простенько, но ужасно дорого. Крупный бриллиант выглядывает на шею из-под

кружевной оборочки. На обеих руках — по массивному гладкому браслету. Прическа в высшей степени неопределенная: дамам — нравится, мужчинам — не нравится. Лицо ее сияет и льет на всю обедающую братию широчайшую улыбку. Она умеет улыбаться всем сразу, говорить сразу со всеми, мило кивать головой; кивок головы достается каждому обедающему. Посмотрите на ее лицо, и вам покажется, что вокруг нее сидят одни только друзья и что она к этим друзьям питает самое дружеское расположение. В конце обеда она кое-кому дарит свои карточки; сзади карточки она пишет тут же за столом имя и фамилию счастливчика-получателя и автограф. Говорит она, разумеется, по-французски, в конце же обеда и на других языках. По-английски и по-немецки она говорит плохо до смешного, но и эта плохость выходит у нее милой. Вообще, она так мила, что вы надолго забываете, что она — урод.

А он? Он, *le mari d'elle*¹, сидит от нее за пять стульев, много пьет, много ест, много молчит, катает из хлеба шарики и перечитывает ярлыки на бутылках. Глядя на его фигуру, чувствуется, что ему нечего делать, скучно, лень, надоело...

Он белокур, с плешью, которая дорожками пробегает по его голове. Женщины, вино, бессонные ночи и таскание по белу свету бороздой проехали по его лицу и оставили глубокие морщины. Ему лет тридцать пять, не больше, но он старше на вид. Лицо, как бы вымоченное в квасу. Глаза — хорошие, но ленивые... Он когда-то не был уродом, но теперь урод. Ноги дугой, руки землистого цвета, шея волосистая. Благодаря этим кривым ногам и особенной странной походке его дразнят в Европе почему-то «коляской». В своем фраке напоминает он мокрую галку с сухим хвостом. Обедающие его не замечают. Он платит тем же.

Попадите вы на обед, глядите на них, на этих супругов, наблюдайте и скажите мне, что связало и что связывает этих двух людей.

Глядя на них, вы ответите (разумеется, приблизительно) так:

¹ ее муж (франц.).

— Она — известная певица, он — только муж известной певицы или, выражаясь закулисным термином, муж своей жены. Она зарабатывает до восьмидесяти тысяч в год на русские деньги, он ничего не делает, стало быть у него есть время быть ее слугой. Ей нужен кассир и человек, который возился бы с антрепренерами, контрактами, договорами... Она знается с одной только аплодирующей публикой, до кассы же, до прозаической стороны своей деятельности она не снисходит, ей нет до нее дела. Следовательно, он ей нужен, нужен как прихвостень, слуга... Она прогнала бы его, если бы умела управляться сама. Он же, получая от нее солидное жалованье (она не знает цены деньгам!), как дважды два — четыре, обкрадывает ее заодно с горничными, сорит ее деньгами, кутит напропалую, быть может даже прячет про черный день — и доволен своим положением, как червяк, забравшийся в хорошее яблоко. Он ушел бы от нее, если бы у нее не было денег.

Так думают и говорят все те, которые рассматривают их во время обедов. Думают так и говорят, потому что, не имея возможности проникнуть в глубь дела, могут судить только поверхностно. На нее глядят, как на диву, от него же сторонятся, как от пигмея, покрытого лягушечьею слизью; а между тем эта европейская дива связана с этим лягушонком завиднейшей, благороднейшей связью.

Вот что пишет он:

«Спрашивают меня, за что я люблю эту мегеру? Правда, эта женщина не стоит любви. Она не стоит и ненависти. Стоит она только того, чтобы на нее не обращали внимания, игнорировали ее существование. Чтобы любить ее, нужно быть или мной, или сумасшедшим, что, впрочем, одно и то же.

Она некрасива. Когда я женился на ней, она была уродом, а теперь и подавно. У нее нет лба; вместо бровей над глазами лежат две едва заметные полоски; вместо глаз у нее две неглубокие щели. В этих щелях ничего не светится: ни ума, ни желаний, ни страсти. Нос — картофелью. Рот мал, красив, зато зубы ужасны. У нее нет груди и талии. Последний недостаток скрашивается, впрочем, ее чертовским уменьем как-то сверхь-

естественно искусно затягиваться в корсет. Она коротка и полна. Полнота ее обрюзглая. Еп masse ¹ во всем ее теле есть недостаток, который я считаю наиважнейшим,— это полное отсутствие женственности. Бледность кожи и мышечное бессилие я не считаю за женственность и в этом отношении расхожусь во взгляде с очень многими. Она не дама, не барыня, а лавочница с угловатыми манерами: ходит — руками машет, сидит положив ногу на ногу, покачиваясь взад и вперед всем корпусом, лежит подняв ноги, и т. д.

Она неряшлива. Особенно характерны в этом отношении ее чемоданы. В них чистое белье перемешано с грязным, манжеты с туфлями и моими сапогами, новые корсеты с изломанными. Мы никогда никого не принимаем, потому что в наших номерах вечно присутствует грязный беспорядок... Ах, да что говорить? Посмотрите на нее в полдень, когда она просыпается и лениво выползает из-под своего одеяла, и вы не узнаете в ней женщину с соловьиным голосом. Непричесанная, с перепутавшимися волосами, с заспанными, заплывшими глазами, в сорочке с продранными плечами, босая, косая, окутанная облаком вчерашнего табачного дыма — похожа ли она на соловья?

Она пьет. Пьет она, как гусар, когда угодно и что угодно. Пьет уже давно. Если бы она не пила, она была бы выше Патти и во всяком случае не ниже. Она пропила половину своей карьеры и очень скоро пропьет другую. Негодяи немцы научили ее пить пиво, и она теперь не ложится спать, не выпив на сон грядущий двух-трех бутылок. Если бы она не пила, у нее не было бы катара желудка.

Она невежлива, чему свидетели студенты, которые иногда приглашают ее на свои концерты.

Она любит рекламу. Реклама обходится нам ежегодно в несколько тысяч франков. Я всей душой презираю рекламу. Как бы ни была дорога эта глупая реклама, она всегда будет дешевле ее голоса. Жена любит, чтобы ее гладили по головке, не любит, чтобы о ней говорили правду, не похожую на похвалу. Для нее куп-

¹ Вообще (франц.).

ленный иудин поцелуй милее некупленной критики. Полное отсутствие сознания собственного достоинства!

Она умна, но ум ее недовоспитан. Мозги ее давно уже потеряли свою эластичность; они покрылись жиром и спят.

Она капризна, непостоянна, не имеет ни одного прочного убеждения. Вчера она говорила, что деньги — ерунда, что вся суть не в них, сегодня же она дает концерты в четырех местах, потому что пришла к убеждению, что на этом свете нет ничего выше денег. Завтра она скажет то, что говорила вчера. Она не хочет знать отечества, у нее нет политических героев, нет любимой газеты, любимых авторов.

Она богата, но не помогает бедным. Мало того, она часто не доплачивает модисткам и парикмахерам. У нее нет сердца.

Тысячу раз испорченная женщина!

Но поглядите вы на эту мегеру, когда она, намазанная, зализанная, стянутая, приближается к рампе, чтобы начать соперничать с соловьями и жаворонком, приветствующим майскую зарю. Сколько достоинства и сколько прелести в этой лебединой походке! Приглядитесь и будьте, умоляю вас, внимательны. Когда она впервые поднимает руку и раскрывает рот, ее щелочки превращаются в большие глаза и наполняются блеском и страстью. Нигде в другом месте вы не найдете таких чудных глаз. Когда она, моя жена, начинает петь, когда по воздуху пробегают первые трели, когда я начинаю чувствовать, что под влиянием этих чудных звуков стихает моя взбаламученная душа, тогда поглядите на мое лицо — и вам откроется тайна моей любви.

— Не правда ли, она прекрасна? — спрашиваю я тогда своих соседей.

Они говорят: «Да», но мне мало этого. Мне хочется уничтожить того, кто мог бы подумать, что эта необыкновенная женщина не моя жена. Я все забываю, что было раньше, и живу только одним настоящим.

Посмотрите, какая она актриса! Сколько глубокого смысла кроется в каждом ее движении! Она понимает все: и любовь, и ненависть, и человеческую душу... Недаром театр дрожит от аплодисментов.

По окончании последнего акта я веду ее из театра, бледную, изнеможенную, в один вечер пережившую целую жизнь. Я тоже бледен и изнурен. Мы садимся в карету и едем в отель. В отеле она, молча, не раздеваясь, бросается в постель. Я, молча, сажусь на край кровати и целую ее руку. В этот вечер она не гонит меня от себя. Вместе мы и засыпаем, спим до утра и просыпаемся, чтобы послать к черту друг друга и...

Знаете, еще когда я люблю ее? Когда она присутствует на балах или обедах. И здесь я люблю в ней замечательную актрису. Какой, в самом деле, нужно быть актрисой, чтобы уметь перехитрить и пересилить свою природу так, как она умеет... Я не узнаю ее на этих глупых обедах... Из ошипанной утки она делает павлина...»

Это письмо написано пьяным, едва разборчивым почерком. Писано оно по-немецки и испещрено орфографическими ошибками.

Вот что пишет она:

«Вы спрашиваете меня, люблю ли я этого мальчика? Да, иногда... За что? Бог знает...»

Правда, он некрасив и несимпатичен. Такие, как он, не рождены для того, чтобы иметь право на взаимную любовь. Такие, как он, могут только покупать любовь, даром же она им не дается. Судите сами.

Он день и ночь пьян как сапожник. Руки его трясутся, что очень некрасиво. Когда он пьян, он брюзжит и дерется. Он бьет и меня. Когда он трезв, он лежит на чем попало и молчит.

Он вечно оборван, хотя и не имеет недостатка в деньгах на платье. Половина моих сборов проскальзывает, неизвестно куда, сквозь его руки.

Никак не соберусь проконтролировать его. У несчастных замужних артисток ужасно дороги кассиры. Мужья получают за свои труды полкассы.

Тратит он не на женщин, я это знаю. Он презирает женщин.

Он — лентяй. Я не видала, чтобы он делал когда-нибудь что-нибудь. Он пьет, ест, спит — и только.

Он нигде не кончил курса. Его исключили из первого курса университета за дерзости.

Он не дворянин и, что ужаснее всего, немец.

Я не люблю господ немцев. На сто немцев приходится девяносто девять идиотов и один гений. Последнее я узнала от одного принца, немца на французской подкладке.

Он курит отвратительный табак.

Но у него есть хорошие стороны. Он более меня любит мое благородное искусство. Когда перед началом спектакля объявляют, что я по болезни петь не могу, то есть капризничаю, он ходит как убитый и сжимает кулаки.

Он не трус и не боится людей. Это я люблю в людях больше всего. Я расскажу вам маленький эпизодик из моей жизни. Дело было в Париже, год спустя по выходе моем из консерватории. Я была тогда еще очень молода и училась пить. Кутила я каждый вечер, насколько хватало у меня моих молодых сил. Кутила я, разумеется, в компании. В один из таких кутежей, когда я чокалась со своими знатными почитателями, к столу подошел очень некрасивый и не знакомый мне мальчик и, глядя мне прямо в глаза, спросил:

— Для чего вы пьете?

Мы захохотали. Мой мальчик не смутился.

Второй вопрос был более дерзок и вылетал прямо из души:

— Чего вы смеетесь? Негодяи, которые спаивают вас теперь вином, не дадут вам ни гроша, когда вы пропьете голос и станете нищей!

Какова дерзость? Компания моя зашумела. Я же посадила мальчика возле себя и приказала подать ему вина. Оказалось, что поборник трезвости прекрасно пьет вино. А прогос: ¹ мальчиком я называю его только потому, что у него очень маленькие усы.

За его дерзость я заплатила браком с ним.

Он больше молчит. Чаще всего говорит он одно слово. Это слово говорит он грудным голосом, с дрожью в горле, с судорогой на лице. Это слово случается произносить ему, когда он сидит среди людей, на обеде, на балу... Когда кто-нибудь (кто бы то ни было) скажет

¹ кстати (франц.).

ложь, он поднимает голову и, не глядя ни на что, не смущаясь, говорит:

— Неправда!

Это его любимое слово. Какая женщина устоит против блеска глаз, с которым произносится это слово? Я люблю это слово, и этот блеск, и эту судорогу на лице. Не всякий умеет сказать это хорошее, смелое слово, а муж мой произносит его везде и всегда. Я люблю его иногда, и это «иногда», насколько я помню, совпадает с произнесением этого хорошего слова. Впрочем, бог знает, за что я его люблю. Я плохой психолог, а в данном случае затронут, кажется, психологический вопрос...»

Это письмо писано по-французски, прекрасным, почти мужским почерком. В нем вы не найдете ни одной грамматической ошибки.

Маленький, еле видимый городишко. Называется городом, но на город столько же похож, сколько плохая деревня на город. Если вы хромой человек и ходите на костылях, то вы обойдете его кругом, взад и вперед, в десять — пятнадцать минут — и того менее. Домики всё плохонькие, ветхие. Любой дом купите за пятиалтынный с рассрочкой по третям. Жителей его можно по пальцам пересчитать: голова, надзиратель, батюшка, учитель, дьякон, человек, ходящий на каланче, дьячок, два-три обывателя, два жандарма — и больше, кажется, никого... Женского пола много, но ведь женский пол статистами в большинстве случаев во внимание не принимается. (Статисты знают, что курица — не птица, кобыла — не лошадь, офицерская жена — не барыня...) Приезжих ужасно много: помещики-соседи, дачники, поручики временно прохлаждающейся здесь батарее, волосатый дьякон из соседнего села в лиловой рясе, с бегемотовой октавой, et cetera ¹. Погода — так себе. То и дело дождь, что наводит на купующих и куплю деющих некоторое уныние. Воздух великолепен. Московские запахи отсутствуют. Пахнет лесом, ландышами, дегтем и как будто бы чуточку хлебом. Из всех закоулочков, щелочек и уголков веет меркантильным духом. Что ни шаг — то балаган. Два ряда балаганов тянутся по главной улице от начала до конца и загро-

¹ и так далее (лат.).

мождают собой всю площадь, в которую вливается главная улица. В церковной ограде продают бабы семена. Яблоку негде упасть. Обозов, лошадей, коров, телят, поросят ужас сколько! Мужиков мало, но баб... баб!! Все наполнено бабами. Все они в красных платьях и черных плисовых кофтах. Их так много, и стоят они так тесно, что по головам их может смело проскакать на пожар «сбор всех частей».

Пьяных — увы! — почему-то мало. В воздухе стоит непрерывный гам, писк, визг, скрип, бляенье, мычанье. Шум такой, как будто строится вторая вавилонская башня.

Все окна обывательские настезь. Сквозь них виднеются самовары, чайники с отбитыми носиками и обывательские физиы с красными носами. Под окнами торчат знакомые с покупками и жалуются на погоду. Дьякон в лиловой рясе, с соломой в волосах, пожимает всем руки и возглашает во всеуслышание: «Ммое почтение! С праздником честь имею! А... кгм?!!»

Мужеский пол группируется около лошадей и коров. Тут торговля производится на десятки и даже на сотни рублей. Главные воротилы по лошадиной части, разумеется, цыгане. Божатся, клянутся и желают себе всяких напастей во все лопатки. Проданная лошадь передается при помощи полы, из чего явствует, что бесполоый человек лошадей ни продавать, ни покупать не может. Лошади всё больше чернорабочие, плебеи.

Женский пол кружится вокруг красного товара и балаганов с пряниками. Неумолимое время наложило печать на эти пряники. Они покрыты сладкой ржавчиной и плесенью. Покупайте эти пряники, но держите их, пожалуйста, подальше ото рта, не то быть беде! То же можно сказать и о сушеных грушах, о карамели. Несчастные баранки покрыты рогожей, покрыты также и пылью. Бабам все нипочем. Брюхо не зеркало.

Мухи не могут облепить так меда, как мальчишки облепили балаган с игрушками. Денег у них — ни-ни... Они стоят и только пожирают глазами лошадок, солдатиков и оловянные пистолетики. Видит око, да зуб неймет. Иной смельчак возьмет в руки пищик, подержит его, повертит, попищит, положит на место — и,

довольный, вытрет нос. Нет того балагана, около которого не торчало бы десятка два-три мальчишек. Стоят и глядят часа по два, по три, поистине с адским терпением. Купите вы какому-нибудь Федюшке, Пётре, Васютке пистолетик или льва с коровьей мордой и черными полосами на спине — и вы наполните его сердце безграничайшею радостью.

Из-за локтей мальчиков выглядывают девочки. Внимание их приковано теми же лошадками и куклами в марлевых юбочках. Детей вы увидите около мороженщиков, которые продают «сахарное» и очень плохое мороженое. У кого есть копейка, тот ест из зеленой рюмочки, ест долго, с чувством, толком, расстановкою, боясь не уловить минуты блаженства, чавкая, облизываясь, облизывая пальцы. Один ест, а десятка два неимущих копейки стоят «руки по швам» и с завистью заглядывают в рот счастливчика. А тот ест — и ломается...

— Пётра, дай... ложечку! — стонет девочка, следя за правой рукой счастливчика.

— Отстань! — говорит счастливчик и крепче сжимает в кулаке зеленую рюмочку.

— Пётра! — стонет мальчик в большом отцовском картузе. — Одолжи!

— Чего?

— Сахарного морожена. Немножко. (Пауза.) Дашь? Ты ложечку. Я тебе пять бабок дам.

— Отстань! — говорит счастливчик.

Счастливчик съедает свою порцию, долго облизывает губы и долго-долго живет воспоминаниями о сахарном мороженом.

Эх, кабы деньги!! Где вы, пятаки и пятиалтынные? Нет ничего хуже, томительнее и мучительнее, как ходить в отцовском картузе по ярмарке, видеть и слышать, осязать и обонять и в то же время не иметь за душой ни копейки. Сколь же счастлив тот Федюшка или Егорка, который может съесть на копейку мороженого, выстрелить во всеуслышание из пистолетика и купить за пятак лошадку! Маленькое счастье, еле видимое, а и того нет!

Зубоскалов, пьяных и шатающихся по ярмарке без дела тянет к балаганам с артистами. Театров два.

Воздвигнуты они среди площади, стоят рядом и глядят серо. Состряпаны они из дрючьев, плохих, мокрых, склизких досок и лохмотьев. На крышах латка на латке, шов на шве. Бедность страшная. На перекладинах и досках, изображающих наружную террасу, стоят человека два-три паяцов и потешают стоящую внизу публику. Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит. Паяцы подмигивают, корчат рожи, ломают комедь, но... увы! Прародители всех наших пушкинских и не пушкинских сцен давно уже отжили свой век и давным-давно уже сослужили свою службу. Во время оно головы их были носителями едкой сатиры и заморских истин, теперь же остроумие их приводит в недоумение, а бедность таланта соперничает с бедностью балаганной обстановки. Вы слушаете, и вам становится тошно. Не странствующие артисты перед вами, а голодные двуногие волки. Голодуха загнала их к музе, а не что-либо другое... Есть страшно хочется! Голодные, оборванные, истаскавшиеся, с болезненными, тощими физиономиями, они корчатся на террасе, стараются скорчить идиотскую рожу, чтобы завзвать в свой балаган лишнего зубоскала, получить лишний гривенник... Получается не идиотская рожа, а пошлая: смесь апатии с деланной, привычной, ничего не выражающей гримасой. Подмигивание глазом, пощечины, удары друг друга по спине, фамильярные заговаривания с толпой, заговаривания свысока... и больше ничего. Слов их не слушайте. Артисты по принуждению говорят не по вдохновению и не по заранее обдуманной, цель имеющей программе. Речь их не имеет смысла. Произносится она с кривляньем, а потому, вероятно, и вознаграждается смехом.

— Стой ровно!

— Я не Марья Петрова, а Иван Федосеев.

Это образец их остроумия. «Шуты и дети говорят иногда правду», но, надо полагать, и шутлом нужно быть по призванию, чтобы не всегда говорить чепуху, а иногда и правду...

А публика почтенная глазеет и заливается. Ей простиительно, впрочем: лучшего не видала, да и позубо-

скалить хочется. К плохим пряникам, свободному времени, легкому «под шеф» недостает только смеха. Дайте толчок, и произойдет смех.

Балаганов числом два. В обоих каждые четверть часа даются блистательные представления. По вечерам даются особенные представления, выходящие из ряда вон. Я опишу одно из этих представлений.

Самое блистательное представление было дано перед отъездом артистов из города, в первое воскресенье после ярмарочного дня. За сутки до спектакля клоуны разносили по городу афиши (писанные). Принесли афишу и мне. Вот она эта афиша:

«В Города NN.

С дозволением начальства на N...ской площади там будет большое Приставление имнастическое и акрабатическое Приставление Трубой Артистов Подуправление Н. Г. Б. состоящи из имнастических и акрабатических Искуств Куплетов таблиц и понтомин в двух оделениях

1-е. Разные удивительные И увеселительные фокусы из белой Магий или Проворства и ловкость рук исполнено будет до 20 Предметов Клоуном уробертом.

2-е. Прыжки и скачки сортале морталей воздух исполнет Клоун Доберт и малолетные Андрияс ивансон.

3-е. Английский человек бескостей или Каучук Мин у которава все члены гибки подобны резинки.

4-е. Камический куплет ивансон Тороха исполнит малолетний. (Далее в том же роде.)

9 часов вечера цена

Местам

1 мест — 50 к.

2 место — 40 к.

3 место — 30 к.

4 место — 20 к.

Гелдарея — 10 к.»

Я укоротил афишу, но ничего не прибавил.

На описываемом спектакле присутствовала вся местная знать (становой с семьей, мировой с семьей, док-

тор, учитель — всего семнадцать человек). Интеллигенция поторговалась и заплатила за первые места только по четвертаку. Билеты продает сам хозяин, личность довольно типичная. Хозяин — тип во вкусе Грачевки и Дюковки. Мы заплатили, вошли и заняли первые места. Публика ломит, балаган полнехонек. Внутренность балагана самая нероскошная. Вместо занавеси, служащей в то же время и кулисой, ситцевая тряпочка в квадратный сажень. Вместо люстры четыре свечи. Артисты благосклонно исполняют должность артистов, и капельдинеров, и полицейских. На все руки мастера. Лучше всего оркестр, который заседает направо на лавочке. Музыкантов четыре. Один пилит на скрипке, другой на гармонии, третий на виолончели (с тремя контрабасовыми струнами), четвертый на бубнах. Играют все больше «Стрелочка», играют машинально, фальшивя на чем свет стоит. Игрок на бубнах восхитителен. Он бьет рукой, локтем, коленом и чуть ли не пяткой. Бьет, по-видимому, с наслаждением, с чувством, занимаясь собой. Рука его ходит по бубну как-то неестественно ловко, вытанцовывая пальцами такие нотки, какие не взять в толк и скрипачу. Кажется, что его рука движется вокруг продольной и поперечной оси.

Перед началом спектакля входит чуйка, крестится и садится на первое место. К нему подходит клоун.

— Извольте сесть в галерею,— просит клоун.— Здесь первые места.

— Отстань!

— И чиво вы уселись, как медведь какой-нибудь? Уходите. Это не ваше место!

Чуйка неумолима. Она надвигает на глаза фуражку и не хочет уступить своего места.

Начинаются фокусы. Клоун просит у публики шляпы. Публика отказывает.

— Ну, так и фокусов не будет! — говорит клоун.— Господа, нет ли у кого-нибудь пятака?

Чуйка предлагает свой пятак. Клоун проделывает фокус и, возвращая пятак, скрадывает его себе в рукав. Чуйка пугается.

— Да ты того... Пстой! Фокусов ты, брат, не представляй! Ты пятак давай!

— Не желает ли кто-нибудь побриться, господа?— возглашает клоун.

Из толпы выходят два мальчика. Их покрывают грязным одеялом и измазывают их физиономии, одному сажей, другому клейстером. Не церемонятся с публикой!

— Да разве это публика? — кричит хозяйка. — Это окаянные!

После фокусов — акробатия с неизвестными «сарталями-морталями» и девицей-геркулесом, поднимающей на косах чертову пропасть пудов. На середине спектакля происходит крушение одной стены балагана, а в конце — крушение всего балагана.

В общем впечатление неказистое. Купующие и куплю деющие немного потеряли бы, если бы не было на ярмарке балагана. Странствующий артист перестал быть артистом. Ныне он шарлатанит.

Возле балаганов с артистами — качели. За пяточок вас раз пять поднимут выше всех домов и раз пять опустят. С барышнями делается дурно, а девки вкушают блаженство. *Sunt suique!*¹

¹ Каждому свое! (лат.)

БАРЫНЯ

I

К избе Максима Журкина, шурша и шелестя по высохшей, пыльной траве, подкатила коляска, запряженная парой хорошеньких вятских лошадок. В коляске сидели барыня Елена Егоровна Стрелкова и ее управляющий Феликс Адамович Ржевецкий. Управляющий ловко выскочил из коляски, подошел к избе и указательным пальцем постучал по стеклу. В избе замелькал огонек.

— Кто там? — спросил старушечий голос, и в окне показалась голова Максимовой жены.

— Выйди, бабушка, на улицу! — крикнула барыня.

Через минуту из избы вышли Максим и его жена. Они остановились у ворот и молча поклонились барыне, а потом управляющему.

— Скажи на милость, — обратилась Елена Егоровна к старику, — что все это значит?

— Что такое-с?

— Как что? Разве не знаешь? Степан дома?

— Никак нет. На мельницу уехал.

— Что он строит из себя? Я решительно не понимаю этого человека! Зачем он ушел от меня?

— Не знаем, барыня. Нешто мы знаем?

— Ужасно некрасиво с его стороны! Он оставил меня без кучера! По его милости Феликсу Адамовичу приходится самому запрягать лошадей и править. Ужасно глупо! Вы поймите, что это, наконец, глупо! Жалованья ему показалось мало, что ли?

— А Христос его знает! — отвечал старик, косясь на управляющего, который засматривал в окна.— Нам не говорит, а в голову к нему не залезешь. Ушел, говорит, да и шабаш! Своя воля! Должно полагать, жалованья мало показалось!

— А это кто под образами на лавке лежит? — спросил Феликс Адамович, глядя в окно.

— Семен, батюшка! А Степана нету.

— Дерзко с его стороны! — продолжала барыня, закуривая папиросу.— Мсье Ржевецкий, сколько получал он у нас жалованья?

— Десять рублей в месяц.

— Если ему показалось мало десяти, то я могла бы дать пятнадцать! Не сказал ни слова и ушел! Честно это? Добросовестно?

— Говорил ведь я, что никогда не следует церемониться с этим народом! — заговорил Ржевецкий, отчеканивая каждый слог и стараясь не делать ударения на предпоследнем слоге.— Вы разбаловали этих дармоедов! Никогда не следует заразом отдавать всего жалованья! К чему это? Да и зачем вы хотите прибавить жалованья? И так придет! Он договорился, нанялся! Скажи ему,— обратился поляк к Максиму,— что он свинья и больше ничего.

— Finissez, donc! ¹

— Слышишь, мужик? Нанялся — так и служи, а не уходи когда тебе вздумается, черт! Пусть только не придет завтра! Я покажу ему не слушаться! И вам достанется! Слышишь, старуха?

— Finissez, Ржевецкий!

— Всем достанется! Не являйся тогда ко мне в контору, старый собака! С вами церемониться?! Вы разве люди? Разве вы понимаете хорошие слова? Вы только тогда понимаете, ежели вас по шеям бьют и делают вам неприятности! Чтoб ходил завтра!

— Я скажу ему. Отчего не сказать? Сказать можно...

— Скажи ему, что прибавлю ему жалованья,— сказала Елена Егоровна.— Не могу же я быть без ку-

¹ Кончайте же! (франц.)

чера. Когда найду другого, пусть тогда и уходит, если ему угодно. Завтра утром чтобы опять был у меня! Скажите ему, что я глубоко оскорблена его невежливым поступком! И вы, бабушка, скажите! Надеюсь, что он будет у меня и не заставит посылать за собой. Подойди сюда, бабушка! На тебе, милая! Что, небось трудно управляться с такими большими детьми? Бери, милая!

Барыня вынула из кармана хорошенький портсигар, потянула из-под папирос желтую бумажку и подала ее старухе.

— Если же не придет,—прибавила барыня,—то нам придется поссориться, что было бы крайне нежелательно. Но я надеюсь... Вы ему посоветуете. Едемте, Феликс Адамыч! Прощайте!

Ржевецкий вскочил в коляску, взял в руки вожжи, и коляска покатила по мягкой дороге.

— Сколько дала? — спросил старик.

— Рупь.

— Дай сюда!

Старик взял рубль, погладил его обеими ладонями, бережно сложил и спрятал в карман.

— Степан, уехала! — сказал он, входя в избу.— Я ей сбрежал, что ты на мельницу уехал. Перепугалась, страсть как!..

Как только отъехала коляска и скрылась из вида, в окне показался Степан. Бледный как смерть, дрожащий, он выполз наполовину из окна и погрозил своим большим кулаком темневшему вдали саду. Сад был барский. Погрозив раз шесть, он проворчал что-то, потянулся назад в избу и с шумом опустил раму.

Через полчаса после того, как уехала барыня, в избе Журкина ужинали. В кухне возле самой печи за засаленным столом сидели Журкин и его жена. Против них сидел старший сын Максима — Семен, временно-отпускной, с красным испитым лицом, длинным рябым носом и масляными глазами. Семен был похож лицом на отца, он не был только сед, лыс и не имел таких хитрых, цыганских глаз, какими обладал его отец. Рядом с Семеном сидел второй сын Максима, Степан. Степан не ел, а, подперевши кулаком свою

красивую белокурую голову, смотрел на закопченный потолок и о чем-то усердно мыслил. Ужин подавала жена Степана, Марья. Щи съели молча.

— Принимай! — сказал Максим, когда были съедены щи, Марья взяла со стола пустую чашку, но не донесла ее благополучно до печи, хотя и была печь близко. Она зашаталась и упала на скамью. Чашка выпала из ее рук и сползла с колен на пол. Послышались всхлипывания.

— Никак кто плачет? — спросил Максим.

Марья зарыдала громче. Прошло минуты две. Старуха поднялась и сама подала на стол кашу. Степан крякнул и встал.

— Замолчи! — пробормотал он.

Марья продолжала плакать.

— Замолчи, тебе говорят! — крикнул Степан.

— Смерть не люблю бабьего крику! — смело забормотал Семен, почесывая свой жесткий затылок. — Ревет и сама не знает, чего ревет! Сказано — баба! Ревела бы себе на дворе, коли угодно!

— Бабья слеза — капля воды! — сказал Максим. — Благо — слез не покупать, даром дадены. Ну, чего реवेशь? Эка! Перестань! Не возьмут у тебя твоего Степку! Избаловалась! Нежная! Поди кашу трескай!

Степан нагнулся к Марье и слегка ударил ее по локтю.

— Ну чего? Замолчи! Тебе говорят! Э-э-э...сволочь!

Степан размахнулся и ударил кулаком по скамье, на которой лежала Марья. По его щеке поползла крупная сверкающая слеза. Он смахнул с лица слезу, сел за стол и принялся за кашу. Марья поднялась и, всхлиывая, села за печью, подальше от людей. Съели и кашу.

— Марья, кваску! Знай свое дело, молодуха! Стыдно сопли распускать! — крикнул старик. — Не маленькая!

Марья с бледным, заплаканным лицом вышла и, ни на кого не глядя, подала старику ковш. Ковш заходил по рукам. Семен взял в руки ковш, перекрестился, хлебнул и поперхнулся.

— Чего смеешься?

— Ничего... Это я так. Смешное вспомнил.

Семен закинул назад голову, раскрыл свой большой рот и захихикал.

— Барыня приезжала? — спросил он, глядя искоса на Степана.— А? Что она говорила? А? Ха-ха!

Степан взглянул на Семена и густо покраснел.

— Пятнадцать целковых дает,— сказал старик.

— Ишь ты! И сто даст, лишь бы только захотел! Побей бог, даст!

Семен мигнул глазом и потянулся.

— Эх, кабы мне такую бабу! — продолжал он.— Высосал бы, чертовку! Сок выжал! Ввв...

Семен съежился, ударил по плечу Степана и захотал.

— Так-то, душа! Больно ты комфузлив! Нашему брату комфузиться не рука! Дурак ты, Степка! Ух, какой дурак!

— Вестимо, дурак! — сказал отец.

Послышались опять всхлипывания.

— Опять твоя баба ревет! Знать, ревнива, щекотки боится! Не люблю бабьего визгу. Как ножом режет! Эх, бабы, бабы! И на какой предмет вас бог создал? Для какой такой стати? Мерси за ужин, господа почтенные! Теперь бы винца выпить, чтоб прекрасные сны снились! У барыни твоей, должно полагать, вина того тьма тьмуца! Пей — не хочу!

— Скот ты бесчувственный, Сенька!

Сказавши это, Степан вздохнул, взял в охапку полсть и вышел из избы на двор. За ним следом отправился и Семен.

На дворе тихо, безмятежно наступала летняя русская ночь. Из-за далеких курганов всходила луна. Ей навстречу плыли растрепанные облачки с серебрившимися краями. Небосклон побледнел, и во всю ширь его разлилась бледная, приятная зелень. Звезды слабей замелькали и, как бы испугавшись луны, втянули в себя свои маленькие лучи. С реки во все стороны потянуло ночной, щеки ласкающей влагой. В избе отца Григория на всю деревню продребезжали часы девять. Жид-кабатчик с шумом запер окна и над дверью вывесил засаленный фонарик. На улице и во дворах ни

души, ни звука... Степан разостлал на траве полсти, перекрестился и лег, подложив под голову локоть. Семен крикнул и сел у его ног.

— М-да...— проговорил он.

Помолчав немного, Семен сел поудобней; закурил маленькую трубочку и заговорил:

— Был сегодня у Трофима... Пиво пил. Три бутылки выпил. Хочешь покурить, Степа?

— Не желаю.

— Табак хороший. Чаю бы теперь выпить! Ты у барыни пивал чай? Хороший? Должно, очень хороший? Рублей пять за фунт сто́ит, должно быть. А есть такой чай, что за фунт сто рублей сто́ит. Ей-богу, есть. Хоть не пил, а знаю. Когда в городе в приказчиках служил, я видал... Одна барыня пила. Один запах чего сто́ит! Нюхал. Пойдем к барыне завтра?

— Отстань!

— Чего ж ты сердиться? Я не ругаюсь, говорю только. Сердиться не след. Только отчего же тебе не идти, чудак? Не понимаю! И денег много, и еда хорошая, и пей сколько душа хочет... Цигарки ее курить станешь, чаю хорошего попьешь...

Семен помолчал немного и продолжал:

— И красивая она. Со старухой связаться беда, а с этой — счастье! (Семен сплюнул и помолчал.) Огонь баба! Огненный огонь! Шея у ней славная, пухлая такая...

— А ежели душе грех? — спросил вдруг Степан, повернувшись к Семену.

— Гре-ех? Откудова грех? Бедному человеку ничего не грех.

— В пекло к черту и бедный пойдет, ежели... А нешто я бедный? Я не бедный.

— Да какой тут грех? Ведь не ты к ней, а она к тебе! Пугало ты!

— Разбойник, и рассуждение разбойничье...

— Глупый ты человек! — сказал, вздыхая, Семен.— Глупый! Счастья своего не понимаешь! Не чувствуешь! Денег, должно быть, у тебя много... Не нужны, знать, тебе деньги.

— Нужны, да не чужие.

— Ты не украдешь, а она сама, собственной ручкой тебе даст. Да что с тобой, дураком, толковать! Как об стену горохом... Мантифолию на уксусе разводить с тобой только.

Семен встал и потянулся.

— Будешь каяться, да поздно будет! Я с тобой апопсия этого и знаться не хочу. Не брат ты мне. Черт с тобою... Возись с своей дурой коровой...

— Марья-то корова?

— Марья.

— Гм... Ты этой самой корове и под башмак не годишься. Ступай!

— И тебе было бы хорошо, и... нам хорошо. Дуурак!!

— Ступай!

— И уйду... Бить тебя некому!

Семен повернулся и, посвистывая, поплелся к избе. Минут через пять около Степана зашуршала трава. Степан поднял голову. К нему шла Марья. Марья подошла, постояла и легла рядом с Степаном.

— Не ходи, Степа! — зашептала она. — Не ходи, мой родной! Загубит тебя! Мало ей, окаянной, поляка, ты еще понадобился. Не ходи к ней, Степунька.

— Не лезь!

На лицо Степана мелким горячим дождем закапали Марьины слезы.

— Не губи ты меня, Степан! Не бери греха на душу. Люби меня одну, не ходи к другим! Со мной повенчал бог, со мной и живи. Сирота я... Только один ты у меня и есть.

— Отстань! Аа... ссатана! Сказал — не пойду!

— То-то... И не ходи, миленькой! В тягости я, Степушка... Детки скоро будут... Не бросай нас, бог накажет! Отец-то с Семкой так и норовят, чтобы ты пошел к ней, а ты не ходи... Не гляди на них. Звери, а не люди.

— Спи!

— Сплю, Степа... Сплю.

— Марья! — послышался голос Максима. — Где ты? Поди, мать зовет!

Марья вскочила, поправила волосы и побежала в избу. К Степану медленно подошел Максим. Он уже

разделся и в нижнем платье был похож на мертвеца. Луна играла на его лысине и светилась в его цыганских глазах.

— Идешь к барыне завтра аль послезавтра? — спросил он Степана.

Степан не отвечал.

— Коли идти, так идти завтра, да пораньше. Небось лошади не чищены. Да не забудь, что пятнадцать обещала. За десять не иди.

— Я никак не пойду, — сказал Степан.

— Чего так?

— Да так... Не желаю...

— Отчего же?

— Сами знаете.

— Так... Смотри, Степа, как бы мне не пришлось драть тебя на старости лет!

— Дерите.

— Можешь ли так родителям отвечать? Кому отвечаешь? Смотри ты! Молоко еще на губах не высохло, а грубости отцу говоришь.

— Не пойду, вот и все! В церковь ходите, а греха не боитесь.

— Тебя же, глупого, отделить хочу! Избу новую надоть строить аль нет? Как по-твоему? К кому за лесом пойдешь? К Стрельчихе небось? У кого денег займы взять? У ней или не у ней? Она и лесу даст и денег даст. Наградит!

— Пушай других награждает. Мне не нужно.

— Отдеру!

— Ну и дерите! Дерите!

Максим улыбнулся и протянул вперед руку. В его руке была плеть.

— Отдеру, Степан.

Степан повернулся на другой бок и сделал вид, что ему мешают спать.

— Так не пойдешь? Ты это верно говоришь?

— Верно. Побей бог мою душу, ежели пойду.

Максим поднял руку, и Степан почувствовал на плече и щеке сильную боль. Степан вскочил как сумасшедший.

— Не дерись, тятка!— закричал он.— Не дерись! Слышишь? Ты не дерись!

— А что?

Максим подумал и еще раз ударил Степана. Ударил и в третий раз.

— Слушай отца, коли он велит! Пойдешь, прохвост!

— Не дерись! Слышишь?

Степан заревел и быстро опустился на полсть.

— Я пойду! Хорошо! Пойду... Только помни! Жизни рад не будешь! Проклянешь!

— Ладно. Для себя пойдешь, а не для меня. Не мне новая изба нужна, а тебе. Говорил — отдеру, ну и отодрал.

— По... пойду! Только... только помянешь эту плеть!

— Ладно. Стражай. Поговори ты мне еще!

— Хорошо... Пойду...

Степан перестал реветь, повернулся на живот и заплакал тише.

— Плечами задергал! Расхныкался! Ревь больше! Завтра пораньше пойдешь. За месяц вперед возьми. Да и за четыре дня, что прослужил, возьми. Твоей же кобыле на платок сгодится. А за плеть не серчай. Отец я... Хочу бью, хочу милую. Так-то-ся... Спи!

Максим погладил бороду и повернул к избе. Степану показалось, что Максим, вошедши в избу, сказал: «Отодрал!» Послышался смех Семена.

В избе отца Григория жалобно заиграло расстроенное фортепиано: в девятом часу поповна обыкновенно занималась музыкой. По деревне понеслись тихие странные звуки. Степан встал, перелез через плетень и пошел вдоль по улице. Он шел к реке. Река блестела, как ртуть, и отражала в себе небо с луной и со звездами. Тишина царила кругом гробовая. Ничто не шевелилось. Лишь изредка вскрикивал сверчок... Степан сел на берегу, над самой водой, и подпер голову кулаком. Мрачные думы, сменяя одна другую, закопошились в его голове.

На другой стороне реки высились высокие, стройные тополи, окружавшие барский сад. Сквозь деревья просвечивал огонек из барского окна. Барыня, должно быть, не спала. Думал Степан, сидя на берегу, до тех

пор, пока ласточки не залетали над рекой. Он поднялся, когда уже светилась в реке не луна, а взошедшее солнце. Поднявшись, он умылся, помолился на восток и быстро, решительным шагом зашагал вдоль берега к броду. Перешедши неглубокий брод, он направился к барскому двору...

II

— Степан пришел? — спросила, проснувшись на другой день, Елена Егоровна.

— Пришел! — отвечала горничная.

Стрелкова улыбнулась.

— А-а-а... Хорошо. Где он теперь?

— На конюшне.

Барыня вскочила с кровати, быстро оделась и пошла в столовую пить кофе.

Стрелкова была на вид еще молода, моложе своих лет. Только глаза одни выдавали, что она успела уже прожить большую часть бабьего века, что ей уже за тридцать. Глаза у нее карие, глубокие, недоверчивые, скорей мужские, чем женские. Красива она не была, но нравиться могла. Лицо было полное, симпатичное, здоровое, а шея, о которой говорил Семен, и бюст были великолепны. Если бы Семен знал цену красивым ножкам и ручкам, то он, наверное, не умолчал бы и о ножках и ручках помещицы. Одета она была во все простенькое, легкое, летнее. Прическа самая незатейливая. Стрелкова была ленива и не любила возиться с туалетом. Имение, в котором она жила, принадлежало ее брату холостяку, который жил в Петербурге и очень редко думал о своем имении. Жила она в нем с тех пор, как разошлась с мужем. Муж ее, полковник Стрелков, очень порядочный человек, жил тоже в Петербурге и думал о своей жене менее, чем ее брат о своем имении. Она разошлась с мужем, не проживши с ним и года. Она изменила ему на двадцатый день после свадьбы.

Севши пить кофе, Стрелкова приказала позвать Степана. Степан явился и стал у двери. Он был бледен, не причесан и глядел, как глядит пойманный волк: зло

и мрачно. Барыня взглянула на него и слегка покраснела.

— Здравствуй, Степан! — сказала она, наливая себе кофе. — Скажи, пожалуйста, что это ты за фокусы строишь? С какой стати ты ушел? Пожил четыре дня и ушел! Ушел не спросясь. Ты должен был спроситься!

— Я спрашивался, — промычал Степан.

— У кого ты спрашивался?

— У Феликса Адамыча.

Стрелкова помолчала и спросила:

— Ты рассердился, что ли? Степан, отвечай! Я спрашиваю! Ты рассердился?

— Ежели бы вы не говорили таких слов, то я не ушел бы. Я для лошадей поставлен, а не для...

— Об этом не будем говорить... Ты меня не понял, вот и все. Сердиться не следует. Я ничего не сказала такого особенного. А если и сказала что-нибудь такое, что ты находишь для себя обидным, то ты... то ты... Ведь я все-таки... Я имею право и сказать лишнее... Гм... Я тебе прибавляю жалованья. Надеюсь, что у нас с тобой теперь недоразумений никаких не будет.

Степан повернулся и шагнул назад.

— Пстой, пстой! — остановила его Стрелкова. — Я еще не все сказала. Вот что, Степан... У меня есть новая кучерская одежда. Возьмешь ее и наденешь, а та, что на тебе, никуда не годится. Одежа у меня есть красивая. Я пришлю тебе ее с Федором.

— Слушаю.

— Какое у тебя лицо... Все еще дуешься? Неужто так обидно? Ну, полно... Я ведь ничего... У меня тебе хорошо будет жить... Всем будешь доволен. Не сердись... Не сердись?

— Да нешто нам можно сердиться?

Степан махнул рукой, замигал глазами и отвернулся.

— Что с тобой, Степан?

— Ничего... Нешто нам можно сердиться? Нам нельзя сердиться...

Барыня поднялась, сделала озабоченное лицо и подошла к Степану.

— Степан, ты... ты плачешь?

Барыня взяла Степана за рукав.

— Что с тобой, Степан? Что с тобой? Говори же наконец? Тебя кто обидел?

У барыни навернулись на глазах слезы.

— Да ну же!

Степан махнул рукой, усиленно замигал глазами и заревел.

— Барыня! — забормотал он. — Буду тебя любить... Буду все, что хочешь! Согласен! Только не давай ты им, окаянным, ничего! Ни копейки, ни щепки! На все согласен! Продам душу нечистому, не давай им только ничего!

— Кому им?

— Отцу и брату. Ни щепки! Пусть подохнут, окаянные, от злости!

Барыня улыбнулась, вытерла глаза и громко засмеялась.

— Хорошо, — сказала она. — Ну, ступай! Я тебе сейчас твою одежду пришлю.

Степан вышел.

«Как хорошо, что он глуп! — подумала барыня, глядя ему вслед и любуясь его широчайшими плечами. — Он избавил меня от объяснения... Он первый заговорил о «любви».

Под вечер, когда заходящее солнце обливало пурпуром небо, а золотом землю, по бесконечной степной дороге от села к далекому горизонту мчались, как бешеные, стрелковские кони... Коляска подпрыгивала, как мячик, и безжалостно рвала на своем пути рожь, склонившую к дороге свои отяжелевшие колосья. На козлах сидел Степан, неистово стегал по лошадям и, казалось, старался перервать на тысячу частей вожжи. Он был одет с большим вкусом. Видно было, что на его туалет потрачено было не мало времени и денег. Недешевый бархат и кумач плотно сидели на его крепкой фигуре. На груди его висела цепочка с брелочками. Сапоги гармоникой были вычищены самой настоящей ваксой. Кучерская шляпа с павлиньим пером едва касалась его завитых белокурых волос. На лице его были написаны тупая покорность и в то же время ярое бешенство, жертвою которого были лошади... В коляске, развалиясь

всеми членами, сидела барыня и широкой грудью вдыхала в себя здоровый воздух. На щеках ее играл молодой румянец... Она чувствовала, что она наслаждается жизнью...

— Важно, Степа! Важно! — покрикивала она. — Так его! Погоняй! Ветром!

Будь под колесами камни, камни б рассыпались в искры... Село удалялось от них все более и более... Скрылись избы, скрылись барские амбары... Скоро не стало видно и колокольни... Наконец село обратилось в дымчатую полосу и потонуло вдали. А Степан все гнал и гнал. Хотелось ему подальше умчаться от греха, которого он так боялся. Но нет, грех сидел за его плечами, в коляске. Не пришлось Степану улепетнуть. В этот вечер степь и небо были свидетелями, как он продавал свою душу.

Часу в одиннадцатом кони мчались обратно. Пристяжная хромала, а коренной был покрыт пеной. Барыня сидела в углу коляски и с полузакрытыми глазами ежилась в своей тальме. На губах ее играла довольная улыбка. Дышалось ей так легко, спокойно! Степан ехал и думал, что он умирает. В голове его было пусто, туманно, а в груди грызла тоска.

Каждый день под вечер из конюшни выводились свежие лошади. Степан впрягал их в коляску и ехал к садовой калитке. Из калитки выходила сияющая барыня, садилась в коляску, и начиналась бешеная езда. Ни один день не был свободен от этой езды. К несчастью Степана, на его долю не выпало ни одного дождливого вечера, в который он мог бы не ехать.

После одной из таких поездок Степан, воротившись со степи, вышел со двора и пошел походить по берегу. В голове у него, по обыкновению, стоял туман, не было ни одной мысли, а в груди страшная тоска. Ночь была хорошая, тихая. Тонкие ароматы носились по воздуху и нежно заигрывали с его лицом. Вспомнил Степан деревню, которая темнела за рекой, перед его глазами. Вспомнил избу, огород, свою лошадь, скамью, на которой он спал с своей Марьей и был так доволен... Ему стало невыносимо больно...

— Степа! — услышал он слабый голос.

Степан оглянулся. К нему шла Марья. Она только что перешла брод и в руках держала башмаки.

— Степа, зачем ты ушел?

Степан тупо посмотрел на нее и отвернулся.

— Степушка, на кого же ты меня, сироту, оставил?

— Отстань!

— Ведь бог накажет, Степушка! Тебя же накажет! Пошлет тебе лютую смерть, без покаяния. Помянешь мое слово! Дядя Трофим жил с солдаткой — помнишь? — и как помер? И не дай господи!

— Чего пристала? Эх...

Степан сделал два шага вперед. Марья ухватилась обеими руками за кафтан.

— Жена ведь я твоя, Степан! Не можешь ты меня так бросить! Степушка!

Марья заголосила.

— Миленькой! Буду ноги мыть и воду пить! Пойдем домой!

Степан рванулся и ударил Марью кулаком; ударил так, с горя. Удар пришелся как раз по животу. Марья ёкнула, ухватилась за живот и села на землю.

— Ох! — простонала она.

Степан замигал глазами, хватил себя по виску кулаком и, не оглядываясь, пошел ко двору.

Пришедши к себе в конюшню, он упал на скамью, положил подушку на голову и больно укусил себя за руку.

В это время барыня сидела у себя в спальне и гадала: будет ли завтра вечером хорошая погода, или нет? Карты говорили, что будет хорошая.

III

Рано утром Ржевецкий ехал домой от соседа, у которого он был в гостях. Солнце еще не всходило. Было часа четыре утра, не больше. В голове Ржевецкого шумело. Он правил лошадью и слегка покачивался. Половину дороги пришлось ему ехать лесом.

«Что за черт? — подумал он, подъезжая к имению, в котором он был управляющим. — Никак кто лес рубит!»

Из чаши леса доносились до ушей Ржевецкого стук и треск ветвей. Ржевецкий наострил уши, подумал, выбранился, неловко слез с беговых дрожек и пошел в чашу.

Семен Журкин сидел на земле и топором обрубывал зеленые ветви. Около него лежали три срубленные ольхи. В стороне стояла лошадь, впряженная в дроги, и ела траву. Ржевецкий увидел Семена. Вмиг с него слетели и хмель и дремота. Он побледнел и подскочил к Семену.

— Ты что же это делаешь? а? — закричал он.

— Ты что же это делаешь? а? — ответило эхо.

Но Семен ничего не отвечал. Он закурил трубку и продолжал свою работу.

— Что ты делаешь, подлец, я тебя спрашиваю?

— Не видишь разве? Повылазило у тебя нечто?

— Что-о-о? Что ты сказал? Повтори!

— То сказал, что ступай мимо!

— Что, что, что?

— Мимо ступай! Кричать нечего...

Ржевецкий покраснел и пожал плечами.

— Каков? Да как ты смеешь?

— Так вот и смею. Да ты-то что? Не испужался! Много вас! Ежели каждого ублажать, так на это много нужно...

— Как ты смеешь лес рубить? Он твой?

— И не твой.

Ржевецкий поднял нагайку и не ударил Семена только потому, что тот указал ему на топор.

— Да знаешь ли ты, негодяй, чей это лес?

— Знаю, пане! Стрельчихин лес, с Стрельчихой и говорить буду. Ее лес, ей и отвечать стану. А ты-то что? Лакей! Фициант! Тебя не знаю. Проходи, прохожий! Марш!

Семен постучал трубкой о топор и язвительно улыбнулся.

Ржевецкий побежал к дрожкам, ударил вожжами и стрелой полетел к селу. В селе набрал он понятых и с ними помчался к месту преступления. Понятые застали Семена за его работой. Вмиг закипело дело. Явились староста, подстароста, писарь, сотские. Написали не-

сколько бумаг. Расписался Ржевецкий, заставили расписаться и Семена. Семен только посмеивался...

Перед обедом Семен явился к барыне. Барыня уже знала о порубке. Не поздоровавшись, он начал с того, что жить нельзя, что поляк дерется, что он только три деревца и т. д.

— Как же ты смеешь чужой лес рубить?— вскипела барыня.

— Мучение от него одно только,— промычал Семен, любуясь вспышкой барыни и желая во что бы то ни стало донять поляка.— Что ни слово — то тресь! Разве так возможно? Да норовит все по лицу! Этак нельзя... Ведь и мы тоже люди.

— Как ты смеешь мой лес рубить, я тебя спрашиваю? Негодяй!

— Да он вам наврал, барыня! Я, подлинно... рубил... Сознаю... Да зачем он дерется!

В барыне разыгралась барская кровь. Она забыла, что Семен брат Степана, забыла свою благовоспитанность, все на свете и ударила по щеке Семена.

— Убери сейчас же свою мужицкую харю! — закричала она.— Вон! Сию минуту!

Семен сконфузился. Он ни в каком случае не ожидал такого скандала.

— Прощайте-с! — сказал он и глубоко вздохнул.— Что ж делать-с! Что ж!

Семен забормотал и вышел. Даже шапку забыл надеть, когда вышел на двор.

Часа через два к барыне явился Максим. Лицо его было вытянуто, глаза пасмурны. По лицу видно было, что он пришел наговорить или натворить что-нибудь дерзкое.

— Что тебе? — спросила барыня.

— Здравствуйте! Я, барыня, больше насчет того, чтоб вас попросить. Леску бы, барыня. Степану избу хочу строить, а лесу нету. Досочек бы дали.

— Что ж? Изволь.

Лицо Максима просияло.

— Избу строить нужно, а лесу нету. Последнее дело! Сел щи хлебать, а щей нету. Хе-хе... Досочек, тесу... Тут Семка дерзостей наговорил... Вы уж не сер-

чайте, барыня. Дурак дураком. Дурь еще из головы не вышла. Не чувствует. Народ такой. Так прикажете, барыня, за лесом приезжать?

— Приезжай.

— Так вы Феликсу Адамычу извольте сказать. Дай бог вам здоровья! Теперь у Степки изба будет.

— Только я дорого возьму, Журкин! Я леса, сам знаешь, не продаю, самой нужен, а если продаю, то дорого.

Лицо Максима вытянулось.

— То есть как?

— Да так. Во-первых, деньги сейчас же, а во-вторых...

— За деньги я не желаю.

— А как желаешь?

— Известно как... Сами знаете. Нонче какие у мужика деньги? Грош, да и того нет.

— Даром я не дам.

Максим сжал в кулаке шапку и начал глядеть в потолок.

— Вы это верно говорите? — спросил он помолчав.

— Верно. Еще имеешь что сказать?

— Что мне говорить? Лесу не даете, так зачем я с вами говорить стану? Прощайте. Только напрасно вы лесу не даете... Жалеть будете... Мне наплевать, а вы пожалеете... Степан на конюшне?

— Не знаю.

Максим значительно поглядел на барыню, кашлянул, помялся и вышел. Его передернуло от злости.

«Так вот ты какая, шельма!» — подумал он и отправился в конюшню. В конюшне в это время Степан сидел на скамье и лениво, сидя, чистил бок стоящей перед ним лошади. Максим не вошел в конюшню, а стал у двери.

— Степан! — сказал он.

Степан не отвечал, не взглянул на отца. Лошадь пошатнулась.

— Собирайся домой! — сказал Максим.

— Не желаю.

— Можешь ли ты мне это говорить?

— Значит, могу, коли говорю.

— Я приказываю!

Степан вскочил и захлопнул конюшенную дверь перед носом Максима.

Вечером к Степану прибежал из деревни мальчик и рассказал ему, что Максим выгнал Марью из дома и что Марья не знает, где ей переночевать.

— Она теперь сидит около церкви и плачет, — рассказывал мальчишка, — а вокруг нее народ собрался да тебя ругает.

На другой день рано утром, когда в барском доме еще спали, Степан надел свою старую одежду и пошел в деревню. Звонили к обедне. Утро было воскресное, светлое, веселое: только бы жить да радоваться! Степан прошел мимо церкви, взглянул тупо на колокольню и зашагал к кабаку. Кабак открывается, к несчастью, раньше, чем церковь. Когда он вошел в кабак, у прилавка уже торчали пьющие.

— Водки! — скомандовал Степан. Ему налили водки. Он выпил, посидел и еще выпил. Степан опьянел и стал подносить. Началась шумная попойка.

— Много ты у Стрельчихи жалованья получаешь? — спросил Сидор.

— Сколько следует. Пей, осел!

— Доброе дело. С праздником, Степан Максимыч! С воскресным днем! А вы что же?

— И я... И я пью...

— Очень приятно... Все это, собственно говоря, очень благополучно и обольстительно, Степан Максимыч! Так-с... А позвольте вас спросить, рублей десять получаете?

— Ха-ха! Разве можно барину на десять целковых прожить? Что ты? Он сто получает!

Степан посмотрел на сказавшего это и узнал в нем брата Семена, который сидел в углу на скамье и пил. Из-за Семена выглядывала пьянеющая физиономия дьячка Манафуилова и преехидно улыбалась.

— Позвольте вас спросить, господин, — заговорил Семен, снимая шапку, — у барыни хорошие лошади или нет? Вам ндравятся?

Степан молча налил себе водки и молча выпил.

— Должно быть, очень хорошие, — продолжал Се-

мен.— Только жаль, что кучера нет. Без кучера не того...

Манафуилов подошел к Степану и покачал головой.

— Ты... ты... свинья! — сказал он. — Свинья! И тебе не грех? Православные! Ему не грех! А что в писании сказано, а?

— Отстань! Дурь!

— Дурь... Ты зато умный. Кучер, а не при лошадях. Хе-хе... Она вам и кофию дает?

Степан размахнулся и ударил бутылкой по большой голове Манафуилова. Манафуилов пошатнулся и продолжал:

— Любовь! Какое это чувство... Фф... Жаль, повенчаться нельзя. Баринот был бы! А из него, ребята, славный барин вышел бы! Строгий барин, развитой!

Послышался хохот. Степан размахнулся и в другой раз ударил бутылкой по той же голове. Манафуилов пошатнулся и на этот раз упал.

— Ты чего же это дерешься? — закричал Семен, наступая на брата. — Повенчайся — тогда и дерись! Ребята, чего он дерется? Чего ты дерешься, я спрашиваю?

Семен прищурил глаза, взял Степана за грудь и ударил его под ложечку. Поднялся Манафуилов и замахал своими длинными пальцами перед глазами Степана.

— Ребята! Драка! Ей-богу, драка! Напирай!

В кабаке зашумели. Говор смешался со смехом.

У кабацких дверей столпился народ. Степан схватил Манафуилова за воротник и швырнул его в дверь. Дьячок взвизгнул и шаром покатился по ступеням. Захотали сильнее. Народу набилось в кабак полнехонько. Сидор вмешался не в свое дело и, сам не зная за что, ударил Степана по спине. Степан схватил Семена за плечо и швырнул его в дверь. Семен ударился головой о косяк, сбежал по ступенькам и упал мокрым лицом в пыль. К нему подскочил брат и заплясал на его животе. Он заплясал с остервенением, с наслаждением, высоко подпрыгивая. Прыгал он долго.

Зазвонили «Достойно». Степан посмотрел кругом. Вокруг него торчали смеющиеся рожи: одна другой пьяней и веселей. Множество рож! С земли поднимался

растрепанный, окровавленный Семен с сжатыми кулаками, с зверским лицом. Манафуилов лежал в пыли и плакал. Пыль облепила его глаза. Кругом и сколо было черт знает что!

Степан вострепнулся, побледнел и побежал как сумасшедший. За ним погнались.

— Лови! Лови! — закричали ему вслед. — Держи! Убил!

Степана охватил ужас. Ему показалось, что если его догонят, то непременно убьют. Он побежал быстрее.

— Лови! Держи!

Он, сам того не замечая, добежал до отцовского дома. Ворота были открыты настежь, и обе половинки их покачивались от ветра... Он вбежал во двор.

На куче щепы и стружек в трех шагах от ворот сидела его Марья. Поджав под себя ноги и протянув вперед свои обессилевшие руки, она не отрывала глаз от земли. При виде Марьи в взбудораженных и опьяненных мозгах Степана вдруг мелькнула светлая мысль...

Бежать отсюда, бежать подальше с этой бледной как смерть, забитой, горячо любимой женщиной. Бежать подальше от этих извергов, в Кубань, например... А как хороша Кубань! Если верить письмам дяди Петра, то какое чудное приволье на Кубанских степях! И жизнь там шире, и лето длиннее, и народ удалее... На первых порах они, Степан и Марья, в работниках будут жить, а потом и свою земельку заведут. Там не будет с ними ни лысого Максима с цыганскими глазами, ни ехидно и пьяно улыбающегося Семена...

С этой мыслью он подошел к Марье и остановился перед ней... А голова между тем кружилась от хмеля, в глазах мелькали цветные пятна, во всем теле чувствовалась боль... Он едва стоял на ногах...

— В Кубань... того... — проговорил он, чувствуя, что его язык теряет способность говорить... — В Кубань... К дядьке Петру... Знаешь? Что письма писал...

Но не тут-то было! Разлетелась в пух и прах Кубань... Марья подняла свои умоляющие глаза на его бледное шальное лицо, наполовину закрытое давно уже не чесанными волосами, и поднялась... Губы ее задрожали...

— Это ты, разбойник? — заголосила она. — Ты? Рожу, знать, в кабаке раскроили? Проклятый! Мучитель ты мой! Пущай тебе на том свете так будет, злодею, как ты высосал меня всю! Убил ты меня, сироту!

— Молчи!

— Лютые! Не жалеете вы души христианской! За мучили всю, разбойники... Душегубец ты, Степка! Матьер божия накажет тебя! Постой! Задаром тебе это самое не пройдет! Ты думаешь, что только одна я мучаюсь? И не думай... И ты помучишься...

Степан замигал глазами и пошатнулся.

— Молчи! Ну, Христа ради!

— Пьяница! Знаю, на чьи деньги ты пьян... Знаю, разбойник! От радости пьешь? Знать, весело?

— Молчи! Машка! Ну...

— А пришел чего? Чего надо? Похвастать пришел? И без хвастанья знаем... Весь мир знает... Глаза небось целый день тобой колют, окаянный...

Степан топнул ногой, пошатнулся и, сверкая глазами, толкнул локтем Марью.

— Молчи, говорят! Не хватай за сердце!

— Буду говорить! Ты драться? Ну что ж... Бей... Бей сироту. Один конец... Какой ласки ждатель? Знай бей... Добивай, разбойник! На что я нужна тебе? У тебя барыня есть... Богатая... Красивая... Я хамка, а она дворянка... Чего ж не бьешь, разбойник?

Степан размахнулся и изо всей силы ударил кулаком по искажившемуся от гнева лицу Марьи. Пьяный удар пришелся по виску. Марья пошатнулась и, не издав ни одного звука, повалилась на землю. В то время, когда она падала, Степан ударил ее еще раз по груди.

Муж нагнулся к теплomu, но уже умершему телу жены, поглядел мутными глазами на ее исстрадавшееся лицо и, ничего не понимая, сел возле трупа.

Солнце поднялось уже над избами и жгло. Ветер стал горячим. В знойном воздухе повисла угнетающая тоска, когда дрожащий народ густой толпой окружил Степана и Марью... Видели, понимали, что здесь убийство, и глазам не верили. Степан обводил мутными гла-

зами толпу, скрежетал зубами и бормотал бессвязные слова. Никто не брался связать Степана. Максим, Семен и Манафуилов стояли в толпе и жались друг к другу.

— За что он ее? — спрашивали они, бледные как смерть.

Мать бегала вокруг и голосила.

Доложили о случившемся барыне. Барыня, ахнув, ухватилась за пузырек со спиртом, но без чувств не упала.

— Ужасный народ! — зашептала она. — Ах, какой народ! Негодяи! Хорошо же! Я им покажу! Они узнают теперь, что я за птица.

Утешать явился Ржевецкий. Он утешил барыню и занял опять свое место, отнятое у него капризной барыней для Степана. Место доходное, теплое и самое для него подходящее. Десять раз в год его прогоняли с этого места и десять раз платили ему отступного. Платили немало.

Посвящается Ф. Ф. Попудогло

I

Грохольский обнял Лизу, перецеловал все ее пальчики с огрызенными розовыми ногтями и посадил ее на обитую дешевым бархатом кушетку. Лиза положила ногу на ногу, заложила руки под голову и легла.

Грохольский сел рядом на стул и нагнулся к ней. Он весь обратился в зрение.

Какой хорошенькой казалась она ему, освещенная лучами заходящего солнца!

Заходящее солнце, золотое, подернутое слегка пурпуром, все целиком было видно в окно.

Всю гостиную и в том числе Лизу оно осветило ярким, не режущим глаза светом и положило на короткое время позолоту.

Грохольский залюбовался. Лиза не бог весть какая красавица. Правда, ее маленькое кошачье личико, с карими глазами и с вздернутым носиком, свежо и даже пикантно, ее жидкие волосы черны, как сажа, и кудрявы, маленькое тело грациозно, подвижно и правильно, как тело электрического угря, но в общем... Впрочем, в сторону мой вкус. Грохольский, избалованный женщинами, любивший и разлюбивший на своем веку сотни раз, видел в ней красавицу. Он любил ее, а слепая любовь везде находит идеальную красоту.

— Послушай,— начал он, глядя ей прямо в глаза.— Я пришел потолковать с тобой, моя прелесть. Любовь не терпит ничего неопределенного, бесформенного... Неопределенные отношения, знаешь ли... Я вчера говорил тебе, Лиза... Мы постараемся сегодня покончить под-

пятый вчера вопрос. Ну, давай решать сообща... Что делать?

Лиза зевнула и, сильно морщась, потащила из-под головы правую руку.

— Что делать? — повторила она за Грохольским чуть слышно.

— Ну да, что делать? Решай вот, мудрая головка... Я люблю тебя, а любящий человек не подельчив. Он более чем эгоист. Я не в силах делиться с твоим мужем. Я мысленно рву его на клочки, когда думаю, что и он любит тебя. Во-вторых, ты любишь меня... Для любви необходимым условием является полная свобода... А ты разве свободна? Тебя разве не терзает мысль, что над твоей душой вечно торчит этот человек? Человек, которого ты не любишь, быть может, что очень естественно, ненавидишь... Это во-вторых... В-третьих же... Что же в-третьих? А вот что... Мы обманываем его, а это... нечестно. Прежде всего, Лиза, правда. Прочь ложь!

— Ну, так что же делать?

— Ты можешь догадаться... Я нахожу нужным, обязательным объявить ему о нашей связи и оставить его, зажить на свободе. То и другое нужно сделать по возможности скорей... Например, хоть сегодня вечером ты... объяснишься с ним... Пора покончить... Разве тебе не надоело воровски любить?

— Объясниться? С Ваней?

— Ну да!

— Это невозможно! И вчера я говорила тебе, Мишель, что это невозможно!

— Почему же?

— Он обидится, раскричится, наделает разных неприятностей... Разве ты не знаешь, какой он? Боже сохрани! Не нужно объясняться! Выдумал еще!

Грохольский провел рукой по лбу и вздохнул.

— Да, — сказал он. — Он больше чем обидится... Я ведь отнимаю у него счастье. Он любит тебя?

— Любит. Очень.

— Вот еще комиссия! Не знаешь, с какого конца начать. Скрывать от него — подло, объясниться с ним — значит убить его... Черт знает что! Ну, как быть?

Грохольский задумался. Его бледное лицо нахмурилось.

— Будем всегда так, как теперь, — сказала Лиза. — Пусть сам узнает, если хочет.

— Но ведь это... это и грешно и... Наконец, ты моя, и никто не имеет права думать, что ты принадлежишь не мне, а другому! Ты моя! Никому не уступлю!.. Мне жаль его, видит бог, как жаль, Лиза! Когда я вижу его, мне больно делается! Но... но что ж делать наконец? Ведь ты его не любишь? Чего же ради ты будешь с ним маяться? Объясниться надо! Объяснимся с ним и поедем ко мне. Ты моя жена, а не его. Пусть как знает. Как-нибудь перетерпит свое горе... Не он первый, не он и последний... Хочешь бежать? А? Говори скорей! Хочешь бежать?

Лиза поднялась и вопросительными глазами поглядела на Грохольского.

— Бежать?

— Ну да... В именье ко мне... В Крым потом... Объяснимся с ним письменно... Ночью можно. Поезд в половине второго. А? Хорошо?

Лиза почесала лениво переносье и задумалась.

— Хорошо, — сказала она и... заплакала.

На ее щечках заиграли красные пятнышки, глазки надулись, и по кошачьему личику потекли слезы...

— О чем ты? — встревожился Грохольский. — Лиза! Чего ты? Ну? Чего плачешь? Эка ведь! Ну чего? Голубчик! Мамочка!

Лиза протянула к Грохольскому руки и повисла на его шее. Послышались всхлипывания.

— Мне жаль его... — забормотала Лиза. — Ах, как мне его жаль!

— Кого?

— Ва... Ваню.

— А мне не жаль? Но что же делать? Мы причиним ему страдания... Он будет страдать, проклинать... Но чем же мы виноваты, что мы любим друг друга?

Сказавши это, Грохольский отскочил от Лизы как ужаленный и сел в кресло. Лиза спорхнула с его шеи, и быстро, в мгновение, она опустилась на кушетку.

Оба они страшно покраснели, опустили глаза и за- кашляли.

В гостиную вошел высокий, широкоплечий малый, лет тридцати, в чиновничьем вицмундире. Он вошел незаметно. Только стук стула, за который он зацепился у двери, дал знать любовникам о его приходе и заставил их оглянуться. Это был муж.

Оглянулись они поздно. Он видел, как Грохольский держал за талию Лизу, и видел, как Лиза висела на белой, аристократической шее Грохольского.

«Он видел!» — подумали в одно и то же время Лиза и Грохольский, стараясь спрятать подальше свои отяжелевшие руки и сконфуженные глаза...

Розовое лицо остолбеневшего мужа побелело.

Мучительное, странное, душу возмущающее молчание длилось три минуты. О, эти три минуты! Их и до сих пор вспоминает Грохольский.

Первый задвигался и прервал молчание муж. Он зашагал к Грохольскому и, строя на своем лице бессмысленную гримасу, похожую на улыбку, подал ему руку. Грохольский слегка пожал мягкую потную руку и весь вздрогнул, точно раздавил в кулаке холодную лягушку.

— Здравствуйте, — пробормотал он.

— Здоровы-с? — чуть слышно прохрипел муж и сел против Грохольского, поправляя у себя сзади воротник...

Опять наступило томительное молчание... Но это молчание уже было не так глупо... Первый приступ, самый тяжелый и бесхарактерный, прошел.

Оставалось теперь только кому-нибудь из двух ретироваться за спичками или за другим каким-нибудь пустяком. Обоим сильно хотелось уйти. Они сидели и, не глядя друг на друга, подергивая себя за бородки, искали в своих взбудораженных мозгах выхода из ужасно неловкого положения. Оба были потны. Оба невыносимо страдали, и обоих пожирала ненависть. Хотелось вцепиться, но... как начать и кому первому начинать? Хоть бы она вышла!

— Я вас вчера в собрании видел, — пробормотал Бугров (так звали мужа).

— Я был там... был... Танцевали?

— Гм... да. С той... С Люкоцкой младшей... Тяжело пляшет... Невозможно пляшет. Болтать мастерица. (Пауза.) Болтает неутомимо.

— Да... скучно было. И я вас видел...

Грохольский нечаянно взглянул на Бугрова... Его глаза встретились с блуждающим взглядом обманутого мужа, и он не вынес. Он быстро встал, быстро поймал руку Бугрова, пожал ее, схватил шляпу и пошел к двери, чувствуя за собой свою спину. Ему казалось, что на его спину смотрит тысяча глаз. То же чувствует освищенный актер, удаляясь с авансцены, то же самое чувствует и фат, которому дали подзатыльник и выводят с полицией.

Как только затихли шаги Грохольского и скрипнула дверь в передней, Бугров вскочил и, сделав по гостиной несколько кругов, зашагал к жене. Кошачье личико съежилось и замигало глазками, точно ожидало щелчка. Муж подошел к ней и, наступая ей на платье, толкая ее колени своими коленями, с искаженным, бледным лицом потряс руками, головой и плечами.

— Если ты, дрянь этакая, — заговорил он глухим, плачущим голосом, —пустишь его сюда еще хоть раз, то я тебя... Чтобы шага не смел! Убью! Понимаешь? А-а-а... Тварь негодная! Дрожишь! Мерр...зость!

Бугров схватил ее за локоть, потряс и швырнул ее, как резиновый мячик, к окну.

— Дрянь! Пошлая! Стыда нет!

Она полетела к окну, едва касаясь пола ногами, и ухватилась руками за занавески.

— Молчать! — крикнул супруг, подойдя к ней, и сверкая глазами, топнул ногой.

Она молчала. Она глядела на потолок и всхлипывала, имея на лице выражение кающейся девочки, которую хотят наказать.

— Так ты так? А? С хлыщом? Хорошо! А перед алтарем? Кто? Хороша жена и мать! Молчать!

И он ударил ее по ее хорошенькому, хрупкому плечу.

— Молчать! Дрянь! Я тебя еще и не так! Если этот прохвост посмеет явиться сюда хоть еще раз, если я тебя хоть еще раз... (слушай!!) увижу с этим мерзавцем,

то... не проси милости! В Сибирь пойду, а убью! И его! Ничего мне не стоит! Ступай! Не хочу я тебя видеть!

Бугров утер рукавом лоб и глаза и зашагал по гостинной, Лиза, всхлипывая все громче и громче, подергивая плечами и вздернутым носиком, принялась рассматривать кружева на занавесках.

— Блажишь! — закричал супруг. — Глупостей в голове много у дуры! Прихоти все! Я, брат, Лизавета, этого... не того! У меня ни чичирк! Я не люблю! Хочешь свинством заниматься, так... гайда! В доме моем нет тебе места! Марш, коли... В жены пошла, так забудь, выкинь из дурной головы этих франтов! Глупости все! Другой раз чтоб этого не было! Поговори еще! Мужа люби! Мужу дана, мужа и люби! Так-то! Одного мало? Ступай, пока... М-мучители!

Бугров помолчал и крикнул:

— Ступай, говорят! Иди в детскую! Чего реवेशь? Сама виновата и реवेशь! Эка! В прошлом году на Петьке Точкове висла, теперь на этого, прости господи, дьявола повисла... Тьфу! Пора понимать, кто ты! Жена! Мать! В прошлом году неудовольствия вышли, теперь выйдут неудовольствия... Тьфу!

Бугров громко вздохнул, и в воздухе запахло хересом.. Он возвратился с обеда и был слегка пьян...

— Обязанностей не знаешь? Нет!.. Вас учить надо! Вы еще не учены! И маменьки ваши потаскухи и вы. Реви! Да! Реви вот!

Бугров подошел к жене и потянул из ее рук занавеску.

— Не стой у окна... Людям видно, как ты реवेशь... Другой раз чтобы этого не было. От объятий до беды дойдешь... Влопаешься. Нешто мне приятно рога носить? А наставишь, коли возиться с ними, с хамами, будешь... Ну, полно... В другой раз ты... не того... Я ведь... Лиза... Оставь...

Бугров вздохнул и обдал Лизу хересовыми парами.

— Ты молоденькая, глупенькая, ничего не понимаешь... Меня дома никогда не бывает... Ну, а они и пользуются. Надо быть умной, рассудительной! Надуют! А уж тогда я не вынесу... Тогда я шабаш... Кон-

чено! Тогда хоть и помирай ложись. За измену я... я, матушка, все готов сделать. До смерти избить могу и... прогоню. Иди тогда к своим прохвостам.

И Бугров своей большой мягкой ладонью (*horribile dictu!*¹) вытер мокрое, заплаканное лицо изменницы Лизы. Он обращался со своей двадцатилетней женой, как с ребенком.

— Ну, полно... Извиняю, только чтоб в другой раз... ни боже мой. Извиняю в пятый раз, а уж в шестой не извиню. Это как бог свят. За такие штуки и бог не прощает вашего брата.

Бугров нагнулся и потянулся своими лоснящимися губами к головке Лизы.

Но поцелуй не удался...

В передней, столовой, зале и гостиной захлопали двери, и в гостиную, как вихрь, влетел Грохольский. Он был бледен и дрожал. Руками он махал, мял свою дорогую шляпу. Сюртук болтался на нем, как на вешалке. Он олицетворял собою сильнейшую лихорадку. Увидев его, Бугров отошел от жены и стал смотреть в другое окно. Грохольский подлетел к нему и, махая руками, тяжело дыша и ни на кого не глядя, заговорил дрожащим голосом:

— Иван Петрович! Перестанем играть друг перед другом комедию! Довольно нам обманывать один другого! Довольно! Не в силах я! Что хотите делайте, а я не могу. Противно и подло наконец! Возмутительно! Поймите вы, что возмутительно!

Грохольский захлебывался и задыхался.

— Не в моих правилах. И вы честный человек. Я люблю ее! Люблю ее больше всего на свете! Вы это заметили и... Обязан я это сказать!

«Что ему сказать?» — подумал Иван Петрович.

— Нужно покончить. Комедия эта не может так долго тянуться! Должно это все чем-нибудь разрешиться.

Грохольский вдохнул в себя побольше воздуха и продолжал:

— Я жить без нее не могу. Она тоже. Вы ученый

¹ страшно сказать! (лат.)

человек, вы поймете, что при таких условиях ваша семейная жизнь невозможна. Эта женщина не ваша. Ну да... Одним словом, я прошу взглянуть на это дело с снисходительной... гуманной точки. Иван Петрович! Поймите же наконец, что я люблю ее, люблю больше себя, больше всего на свете, и противиться этой любви выше сил моих!

— А она-с? — спросил угрюмым, несколько насмешливым тоном Бугров.

— Спросите ее! Ну вот, спросите ее! Жить ей с нелюбимым человеком, жить с вами, любя другого, ведь это... это... страдать значит!

— А она? — повторил уже не насмешливым тоном Бугров.

— Она... она любит меня! Мы полюбили друг друга... Иван Петрович! Убивайте нас, презирайте, гонитесь за нами, делайте что хотите... но мы больше не в силах скрывать от вас! Мы оба налицо! Судите нас со всею строгостью человека, у которого мы... судьба отняла счастье!

Бугров покраснел, как переваренный рак, и одним глазом поглядел на Лизу. Он замигал глазами. Пальцы, губы и веки его задрожали. Бедный он! Глаза плачущей Лизы говорили ему, что Грохольский прав, что дело серьезно...

— Ну что ж? — забормотал он. — Ежели вы... В нынешние времена... Вы всё этак...

— Видит бог,— завизжал высоким тенором Грохольский,— что мы понимаем вас! Разве мы не понимаем, не чувствуем? Я знаю, какие страдания я причиняю вам. Видит бог! Но будьте снисходительны! Умоляю вас! Мы не виноваты! Любовь не есть вина. Никакая воля не может ей противиться... Отдайте мне ее, Иван Петрович! Отпустите ее со мной! Возьмите с меня что хотите за ваши муки, жизнь мою возьмите, но отдайте мне Лизу! Я на все готов... Ну, укажите, чем я могу хоть отчасти заменить вам ее? Взамен этого потерянного счастья я могу вам дать другое счастье. Могу, Иван Петрович! Я на все согласен! Подло было бы с моей стороны оставить вас неудовлетворенным... Я понимаю вас в настоящую минуту.

Бугров махнул рукой, как бы говоря: «Уйдите ради самого бога!» Глаза его начали заволакиваться предательской влагой... Сейчас увидят, что он плакса.

— Я понимаю вас, Иван Петрович! Я дам вам другое счастье, которого вы не испытали. Что вы хотите? Я богатый человек, я сын влиятельного человека... Хотите? Ну, сколько хотите?

У Бугрова вдруг заколотило сердце... Он обеими руками взялся за оконные занавески.

— Хотите... пятьдесят тысяч? Иван Петрович, умоляю... Это не подкуп, не купля... Я хочу только жертвой с своей стороны загладить хоть несколько вашу неизмеримую потерю... Хотите сто тысяч? Я готов! Сто тысяч хотите?

Боже мой! Два огромнейших молотка заколотили по вспотевшим вискам несчастного Ивана Петровича... В ушах со звонками и бубенчиками забегали русские тройки...

— Примите от меня эту жертву! — продолжал Грохольский. — Умоляю вас! Вы снимете с моей совести тяжесть. Прошу вас!

Боже мой! Мимо окна, в которое глядели влажные глаза Бугрова, по мостовой, слегка влажной от брызнувшего майского дождичка, прокатила шикарная четырехместная коляска. Кони лихие, лютые, с лоском, с манерой. В коляске сидели люди в соломенных шляпах, с довольными лицами, с длинными удилами, сачками... Гимназист в белой фуражке держал в руках ружье. Они ехали на дачу удить рыбу, охотиться, пить на свежем воздухе чай. Ехали в те благодатные места, где во время оно бегал по полям, лесам и берегам босой, загорелый, но тысячу раз счастливый сын деревенского дьякона, мальчик Бугров. О, как чертовски соблазнителен этот май! Как счастливы те, которые, сняв свои тяжелые вицмундиры, могут сесть в коляску и полететь в поле, где кричат перепела и пахнет молодым сеном. Сердце Бугрова сжалось от приятного, холодящего чувства... Сто тысяч! Вместе с коляской перед ним пролетели все его заветные мечты, которыми он любил угощать себя в продолжение всего своего чиновничьего житья-бытья, сидя в губернском правле-

нии или в своем тщедушном кабинетике... Река, глубокая, с рыбой, широкий сад с узенькими аллеями, фонтанчиками, тенями, цветами, беседками, роскошная дача с террасами и башней, с Эоловой арфой и серебряными колокольчиками... (О существовании Эоловой арфы он узнал из немецких романов.) Небо чистое, голубое; воздух прозрачный, чистый, пропитанный запахами, напоминающими ему его босое, голодное и забитое детство... В пять часов вставать, в девять ложиться; днем ловить рыбу, охотиться, беседовать с мужичьем... Хорошо!

— Иван Петрович! Не мучайте! Хотите сто тысяч?

— Мм... Полтораста тысяч! — промышчал Бугров глухим голосом, голосом охрипшего быка... Промычал и нагнул, стыдясь своих слов и ожидая ответа...

— Хорошо, — сказал Грохольский. — Согласен! Благодарю, Иван Петрович... Я сейчас... Не заставлю ждать...

Грохольский подпрыгнул, надел шляпу и, пятясь задом, выбежал из гостиной.

Бугров крепче ухватился за оконные занавески... Ему было стыдно... На душе было подло, глупо, но зато какие красивые, блестящие надежды закопошились между его стучащими висками! Он богат!

Лиза, ничего не понимающая, боящаяся, чтобы он не подошел к ее окну и не отбросил ее в сторону, трепеща всем телом, шмыгнула в полуотворенную дверь. Она пошла в детскую, легла на нянину кровать и свернулась калачиком. Ее трясла лихорадка.

Бугров остался один. Ему стало душно, и он открыл окно. Каким великолепным воздухом пахнуло на его лицо и шею! Таким воздухом хорошо дышать, разваливаясь на подушках коляски... Там, далеко за городом, около деревень и дач, воздух еще лучше... Бугров даже улыбнулся, мечтая о воздухе, который окутает его, когда он выйдет на террасу своей дачи и zalюбуется видом... Мечтал он долго... Солнце уже зашло, а он все стоял и мечтал, стараясь всеми силами выбросить из своей головы образ Лизы, который неотступно следовал за ним во всех его мечтах.

— Я принес, Иван Петрович! — прошептал над его

ухом зошедший Грохольский. — Я принес... Получите... Тут вот, в этой пачке, сорок тысяч. По этому бланку постарайтесь получить послезавтра у Валентинова двадцать... Вексель вот... Чек... Остальные тридцать на днях... Управляющий мой вам привезет.

Грохольский, розовый, возбужденный, двигая всеми членами, выложил пред Бугровым кучу пачек, бумаг, пакетов. Куча была большая, разноцветная, пестрая. В жизнь свою никогда не видал Бугров такой кучи! Он растопырил свои жирные пальцы и, не глядя на Грохольского, принялся перебирать пачки кредиток и бланки...

Грохольский выложил все деньги и засеменял по комнате, отыскивая купленную и проданную дульцинею.

Наполнив карманы и бумажник, Бугров спрятал бланки в стол и, выпив полграфина воды, выскочил на улицу.

— Извозчик! — крикнул он диким голосом.

Ночью, в половине двенадцатого, он подкатил к подъезду гостиницы «Париж». С шумом вошел он вверх по лестнице и постучался в номер, в котором жил Грохольский. Его впустили. Грохольский укладывал свои вещи в чемоданы. Лиза сидела за столом и примеряла браслеты. Оба они испугались, когда вошел к ним Бугров. Им показалось, что он пришел за Лизой и принес обратно деньги, которые он взял не по убеждению, а сгоряча. Но Бугров пришел не за Лизой. Стыдясь своей новой оболочки, чувствуя себя в ней ужасно неловко, он поклонился и стал у двери в позе лакея... Новая оболочка была восхитительна. Бугров был неузнаваем. Костюм свеженький, прямо с иголочки, из французского трико, самый наимоднейший, облекал его большое тело, ничего доселе не носившее, кроме обыкновенного вицмундира. На ногах блестели полуштилеты с сверкающими пряжками. Он стоял, стыдился своей новой оболочки и правой рукой закрывал брелоки, за которые он, час тому назад, заплатил триста рублей.

— Я пришел насчет вот чего... — начал он. — Уговор лучше денег. Мишутку я не отдам...

— Какого Мишутку? — спросил Грохольский.

— Сына.

Грохольский и Лиза переглянулись. У Лизы надулись глаза, покраснели щеки и запрыгали губы...

— Хорошо,— сказала она.

Она вспомнила теплую постельку Мишутки. Жестко было бы эту теплую постельку променять на холодный номерной диван, и она согласилась.

— Я буду с ним видаться,— сказала она.

Бугров поклонился, вышел и, блестящий, полетел вниз по лестнице, рассекая воздух дорогою тростью.

— Домой! — сказал он извозчику.— Завтра утром, в пять часов, я поеду... Приедешь. Буду спать, разбудить. За город поедем...

II

Был прекрасный августовский вечер. Солнце, окаймленное золотым фоном, слегка подернутое пурпуром, стояло над западным горизонтом, готовое опуститься за далекие курганы. В садах уже исчезли тени и полутени, воздух стал сыр, но на верхушках деревьев играла еще позолота... Было тепло. Недавно шел дождь и еще более освежил и без того свежий, прозрачный, ароматный воздух.

Я описываю не столичный август, туманный, слезливый, темный, с его холодными, донельзя сырыми зорями. Храни бог! Я описываю не наш северный, жесткий август. Я попрошу читателя перенестись в Крым, на один из его берегов, поближе к Феодосии, к тому именно месту, где стоит дача одного из моих героев. Дача хорошенькая, чистенькая, окруженная цветниками и стриженными кустами. Сзади, шагов на сто от нее, синее фруктовое сад, в котором гуляют дачники... Грохольский дорого платит за эту дачу; тысячу рублей в год, кажется... Дача не стоит этой платы, но она хорошенькая... Высокая, тонкая, с тонкими стенами и очень тонкими перилами, хрупкая, нежная, выкрашенная в светло-голубой цвет, увешанная кругом занавесами, портьерами, драпри,— она напоминает собой милостивую, хрупкую кисейную барышню.

В описываемый вечер на террасе этой дачи сидели Грохольский и Лиза. Грохольский читал «Новое время»

и пил из зеленой кружки молоко. Перед ним на столе стоял сифон с сельтерской водой. Грохольский воображал себя больным катаром легких и, по совету доктора Дмитриева, истреблял огромное количество винограда, молока и сельтерской воды. Лиза сидела далеко от стола, на мягком кресле. Облокотившись на перила и подперевши свое маленькое лицо кулачками, она глядела на дачу vis-à-vis...¹ В окнах дачи vis-à-vis играло солнце... Горящие стекла бросали в глаза Лизы ослепительные лучи... Из-за палисадника и редких деревьев, окружавших дачу, глядело море со своими волнами, синевой, бесконечностью, белеющими мачтами... Было так хорошо! Грохольский читал фельетон Незнакомца и после каждых десяти строк взбрасывал свои голубые глаза на Лизину спину... Прежняя любовь, страстная, кипучая, светилась в этих глазах... Он был бесконечно счастлив, несмотря на воображаемый катар легких... Лиза чувствовала на своей спине его глаза, думала о блестящей будущности Мишутки, и ей было так покойно, так славно на душе.

Ее не так занимали море и ослепительное мерцанье стекол дачи vis-à-vis, как те обозы, которые один за другим тянулись к этой даче.

Обозы были полны мебели и разной домашней утвари. Лиза видела, как на даче отворились решетчатые ворота и большие стеклянные двери, как с бесконечной перебранкой закопошились около мебели возницы. В стеклянные двери внесли большие кресла и диван, обитые темно-малиновым бархатом, столы для зала, гостиной и столовой, большую двуспальную кровать, детскую кровать... Внесли также что-то большое, увязанное в рогожи, тяжелое...

«Рояль», — подумала Лиза, и у ней забилося сердце.

Она давно уже не слыхала игры на рояле, а она так любила эту игру. У них на даче не было ни одного музыкального инструмента. Она и Грохольский были музыкантами только в душе, не более.

За роялем внесли много ящиков и тюков, на которых написано «осторожно».

¹ напротив (франц.).

Это были ящики с зеркалами и посудой. В ворота ввезли богатую, блестящую коляску и ввели двух белых лошадей, похожих на лебедей.

«Боже мой! Какое богатство!» — подумала Лиза, припоминая своего старичка пони, купленного Грохольским, не любящим ни езды, ни лошадей, за сто рублей. Ее пони сравнительно с этими конями-лебедями показался ей клопом. Грохольский, боящийся быстрой езды, нарочно купил для Лизы плохую лошадь.

— Какое богатство! — думала и шептала Лиза, глядя на шумевших возниц.

Солнце спряталось за курганы, воздух стал терять свою прозрачность и сухость, а мебель все еще возили и таскали. Стало наконец темно до того, что Грохольский перестал читать газеты, а Лиза все смотрела и смотрела.

— Не зажечь ли лампу? — спросил Грохольский, боявшийся, чтобы в молоко не упала муха и в темноте не была бы проглочена. — Лиза! Не зажечь ли лампу? В темноте посидим, мой ангел?

Лиза не отвечала. Ее занимал шарабан, подъехавший к воротам дачи *vis-à-vis*... Какая миленькая лошадка привезла этот шарабан! Среднего роста, небольшая, грациозная... В шарабане сидел какой-то господин в цилиндре. На коленях его, болтая ручонками, заседал ребенок лет трех, по-видимому мальчишка... Он болтал ручонками и покрикивал от восторга...

Лиза вдруг взвизгнула, поднялась и подалась всем корпусом вперед.

— Что с тобой? — спросил Грохольский...

— Ничего... Это я так... Показалось...

Высокий и широкоплечий господин в цилиндре соскочил с шарабана, взял на руки мальчишку и, подпрыгивая, весело побежал к стеклянной двери.

Дверь с шумом отворилась, и он исчез во мраке дачных апартаментов.

Два холуя подскочили к лошади с шарабаном и почтительнейше повели ее в ворота. Скоро в даче *vis-à-vis* засветились огни и послышался стук тарелок, ножей и вилок. Господин в цилиндре сел ужинать и,

судя по продолжительности звяканья посудой, ужинал долго. Лизе показалось, что запахло щами с курицей и жареной уткой. После ужина из дачи понеслись беспорядочные звуки рояля. По всей вероятности, господин в цилиндре хотел забавить чем-нибудь ребенка и позволил ему побрыцать.

Грохольский подошел к Лизе и взял ее за талию.

— Какая чудная погода! — сказал он. — Какой воздух! Чувствуешь? Я, Лиза, очень счастлив... даже очень. Счастье мое так велико, что я даже боюсь, чтобы оно не рухнуло. Рушатся, обыкновенно, большие предметы... А знаешь ли, Лиза? Несмотря на все мое счастье, я все-таки не абсолютно... покоен... Меня мучает одна неотвязчивая мысль... Ужасно мучает. Она мне не дает покоя ни днем, ни ночью...

— Какая мысль?

— Какая! Ужасная, душа моя. Меня мучает мысль о... твоём муже. Я молчал до сих пор, боялся потревожить твой внутренний покой. Но я не в силах молчать... Где он? Что с ним? Куда он делся со своими деньгами? Ужасно! Каждую ночь мне представляется его лицо, испитое, страдающее, умоляющее... Ну, посуди, мой ангел! Ведь мы отняли у него его счастье! Разрушили, раздробили! Свое счастье мы построили на развалинах его счастья... Разве деньги, которые он великодушно принял, могут ему заменить тебя? Ведь он тебя очень любил?

— Очень!

— Ну, вот видишь! Он или запил теперь, или же... Боюсь за него! Ах, как боюсь! Написать бы ему, что ли? Его утешить нужно... Доброе слово, знаешь ли...

Грохольский глубоко вздохнул, покачал головой и, изнеможенный тяжелой думой, опустил в кресло. Подперев голову кулаками, он принялся думать. Судя по его лицу, дума была мучительная...

— Я пойду спать, — сказала Лиза. — Пора...

Лиза пошла к себе, разделась и порхнула под одеяло. Она ложилась в десять часов и вставала в десять. Сибаритничать она любила.

Морфей скоро принял ее в свои объятия. Сны ей снились в продолжение всей ночи самые обворожи-

тельные... Снились ей целые романы, повести, арабские сказки... Героем всех этих снов был... господин в цилиндре, заставивший ее сегодня вечером взвизгнуть.

Господин в цилиндре отнимал ее у Грохольского, пел, бил Грохольского и ее, сек под окном мальчишку, объяснялся в любви, катал ее на шарабане... О, сны! В одну ночь, с закрытыми глазами и лежа, можно иногда прожить не один десяток счастливых лет... Лиза в эту ночь прожила очень много и очень счастливо, не смотря и на побои.

Проснувшись в восьмом часу, она накинула на себя платье, быстро поправила волосы и, не надев даже своих татарских остроносых туфель, опрометью побежала на террасу. Одной рукой закрывая от солнца глаза, а другой поддерживая спускающееся платье, она поглядела на дачу vis-à-vis... Лицо ее засияло.

Сомневаться более нельзя было. Это был он.

Под террасой дачи vis-à-vis, перед стеклянной дверью, стоял стол. На столе сиял, сверкал и блистал чайный сервиз с серебряным самоварчиком во главе. За столом сидел Иван Петрович. Он держал в руках серебряный подстаканник и пил чай. Пил с большим аппетитом. Последнее можно было заметить по тому чавканью, которое доносилось до ушей Лизы. Он был в коричневом халате с черными цветами. Массивные кисти спускались до самой земли. Лиза первый раз в жизни видела своего мужа в халате, да еще в таком дорогом... На одном колене его сидел Мишутка и мешал ему пить чай. Он подпрыгивал и старался схватить своего папашу за лоснящуюся губу. Папаша, после каждых трех-четырёх глотков, наклонялся к сыну и целовал его в темя. Около одной из ножек стола, подняв высоко хвост, терся серый кот и жалобным мяуканьем изъявлял желание покушать.

Лиза спряталась за портьеру и впилась глазами в членов своей бывшей семьи. На лице ее засветилась радость.

— Мишель! — зашептала она. — Миша! Ты здесь, Миша! Голубчик! А как он любит Ваню! Господи!

И Лиза покатилась со смеху, когда Мишутка помещал ложкой отцовский чай.

— А как Ваня любит Мишеля! Милые мои!

У Лизы от радости и от счастья забилося сердце и закружилась голова. Она опустилась в кресло и с кресла принялась за наблюдения.

«Как они попали сюда? — спрашивала она себя, посылая Мишутке воздушные поцелуи. — Кто надоумил их приехать сюда? Господи! Неужели все это богатство принадлежит им? Неужели те лошади-лебеди, которых ввели вчера в ворота, принадлежат Ивану Петровичу? Ах!»

Напившись чаю, Иван Петрович ушел в дом. Через десять минут он появился на крыльце и... поразил Лизу. Он, юноша, только семь лет тому назад переставший называться Ванькой и Ванюшкой, готовый за двугривенный своротить челюсть, поставить весь дом вверх дном, был одет чертовски хорошо. Он был в соломенной широкополой шляпе, в чудных блестящих ботфортах, жилетке пике... Тысяча больших и малых солнц светилося в его брелоках. В правой руке держал он с шиком перчатки и хлыстик.

А сколько фанаберии и амбиции было в его тяжело-весной фигуре, когда он грациозным манием руки велел лакею подавать лошадь!

Он важно сел в шарабан и велел подать себе Мишутку и удочки, с которыми стояли вокруг шарабана лакеи. Посадив Мишутку рядом и обхватив его левой рукой, он дернул вожжи и покатил.

— Но-о-о-о! — крикнул Мишутка.

Лиза, сама того не замечая, махнула им вслед платком. Если бы она посмотрелась в зеркало, то она увидела бы раскрасневшееся, смеющееся и в то же время плачущее личико. Ей досадно было, что она не около ликующего Мишутки и что ей нельзя *почему-то* сейчас же расцеловать его.

Почему-то!.. Пропадай все вы пропадом, щепетильные чувства!

— Гриша! Гриша! — принялась Лиза будить Грохольского, вбежав в спальную. — Вставай! Приехали! Голубчик!

— Кто приехал? — спросил проснувшийся Грохольский.

— Наши... Ваня и Миша... Приехали! На даче, что напротив... Смотрю я, а они там... Чай пили... И Миша тоже... Какой ангелочек наш Миша стал, если б ты его только видел! Матерь божия!

— Кого? Да ты того... Кто приехал? Куда?

— Ваня с Мишей... Смотрю я на дачу, что напротив, а они сидят и чай пьют. Миша уже умеет сам чай пить... Видел, что вчера перевозились? Это они приехали!

Грохольский нахмурился, потер себе лоб и побледнел.

— Приехал? Муж? — спросил он.

— Ну да...

— Зачем?

— Вероятно, жить здесь будут... Они не знают, что мы здесь. Если бы знали, то смотрели бы на нашу дачу, а то пили чай и... не обращали никакого внимания...

— Где он теперь? Да говори ты, ради бога, толком! Ах! Ну, где он?

— Поехал с Мишей рыбу удить... На шарабане. Видел ты вчера лошадей? Это их лошади... Ванины... Ваня на них ездит. Знаешь что, Гриша? Мы Мишу к себе в гости возьмем... Возьмем ведь? Он такой хорошенький мальчик! Такой чудесный!

Грохольский задумался, а Лиза все говорила, говорила...

— Вот так неожиданная встреча... — сказал Грохольский после долгого и, по обыкновению, мучительного размышления. — Ну, кто мог ожидать, что мы тут встретимся? Ну... так и быть... Пусть. Судьбе, значит, так угодно. Воображаю его неловкое положение, когда он с нами встретится!

— Мишу возьмем к себе в гости?

— Мишу-то возьмем... С ним-то вот неловко встречаться... Ну, что я с ним буду говорить? О чем? И ему неловко, и мне неловко... Встречаться не следует. Будем переговоры вести, если нужно будет, через прислугу... У меня, Лизочка, ужасно голова болит... Руки и ноги... Ломит все. Голова у меня горячая?

Лиза провела ладонью по его лбу и нашла, что голова горячая.

— Всю ночь сны ужасные... Я не встану сегодня с постели, полежу... Надо будет хинину принять. Пришлешь мне чай сюда, мамочка...

Грохольский принял хинину и провалялся на постели целый день. Он пил теплую воду, стонал, переменял белье, хныкал и наводил на все окружающее томительнейшую скуку. Он был невыносим, когда воображал себя простудившимся. Лизе то и дело приходилось прерывать свои любопытные наблюдения и бегать с террасы в его комнату. Во время обеда ей пришлось ставить ему горчичники. Как все это было бы скучно, читатель, если бы к услугам моей героини не было дачи *vis-à-vis*... Лиза целый день глядела на эту дачу и захлебывалась от счастья.

В десять часов Иван Петрович и Мишутка, возвратившиеся с рыбной ловли, завтракали. В два часа они обедали и в четыре уехали куда-то в коляске. Белые лошади понесли их с быстротою молнии. В семь часов к ним приехали гости, мужчины. До самой полночи на террасе играли на двух столах в карты. Один из мужчин играл превосходно на рояле. Гости играли, пили, ели, хохотали. Иван Петрович, хохоча во все горло, рассказал им анекдот из армянского быта, рассказал во всю ивановскую, так, что всем дачам слышно было. Очень было весело! И Мишутка просидел с ними до полночи.

«Миша весел, не плачет, — подумала Лиза, — значит, не помнит свою маму. Забыл он, значит, меня!»

И на душе у Лизы стало ужасно горько. Она проплакала всю ночь. Ее мучила и маленькая совесть, и досада, и тоска, и страстное желание поговорить с Мишуткой, поцеловать его... Утром поднялась она с постели с головной болью и с заплаканными глазами. Слезы эти записал Грохольский на свой счет.

— Не плачь, милая! — сказал он ей. — Сегодня я уж здоров... Грудь немножко побаливает, но это ничего.

Когда они пили чай, на даче *vis-à-vis* завтракали. Иван Петрович смотрел в тарелку и не видел ничего, кроме куска гуся, с которого тек жир.

— Я очень доволен, — шептал Грохольский, искоса поглядывая на Бугрова. — Очень доволен, что он жи-

вет так сносно! Пусть хоть порядочной обстановкой заглушит свое горе. Закройся, Лиза! Увидят... Сейчас я не расположен беседовать с ним... Бог с ним! Зачем нарушать его покой?

Зато обед не прошел так тихо... Во время обеда случилось именно то «неловкое положение», которого так боялся Грохольский. Когда были поданы к столу куропатки, самое любимое кушанье Грохольского, Лиза вдруг сконфузилась, и Грохольский принялся утирать лицо салфеткой. На террасе дачи vis-à-vis они увидели Бугрова. Он стоял, опершись руками о перила, и, выпучив глаза, глядел прямо на них.

— Выйди, Лиза... Выйди... — зашептал Грохольский. — Говорил ведь, чтоб в комнате обедать! Какая, право, ты...

Бугров глядел, глядел и вдруг заорал. Грохольский поглядел на него и увидел очень удивляющееся лицо.

— Это вы?! — заорал Иван Петрович. — Вы?! И вы здесь? Здравствуйте!

Грохольский провел пальцами от одного плеча до другого. Грудь, мол, слаба, а потому кричать на такое расстояние невозможно. У Лизы забилось сердце и помутилось в глазах... Бугров сбежал с своей террасы, перебежал дорогу и через несколько секунд стоял уже под террасой, на которой обедали Грохольский и Лиза. Пропали куропатки!

— Здравствуйте, — заговорил он, краснея и запихивая в карманы свои большие руки. — Вы здесь? И вы здесь?

— Да, и мы здесь...

— Каким образом вы здесь?

— А вы каким образом?

— Я? Целая история! Баллада целая, батенька! Да вы не беспокойтесь, кушайте! Жил я, знаете ли, с тех пор, как... в Орловской губернии. Именьице арендовал. Прекрасное имение! Да вы кушайте! Прожил там с самого конца мая, ну а теперь бросил... Холодно там, ну да и доктор в Крым посоветовал ехать...

— А вы больны разве чем-нибудь? — спросил Грохольский.

— Да так... все тут как будто бы... бурлит что-то...

И Иван Петрович, при слове «тут», провел ладонью от шеи до середины живота.

— Так и вы здесь.. Так-с.... Это очень приятно. Давно вы здесь?

— С июня.

— Ну, а ты, Лиза, как? Здорова?

— Здорова, — ответила Лиза и сконфузилась.

— За Мишуткой небось соскучилась? А? А он здесь, со мной... Я к вам его сейчас с Никифором пришлю. Это очень приятно! Ну, прощайте! Мне ехать сейчас нужно... Вчера я познакомился с князем Тер-Гаймазовым... Душа человек, хоть и армяшка! Так сегодня у него крокет... В крокет будем играть... Прощайте! Лошадь уже подана.

Иван Петрович завертелся на одном месте, замотал головой и, сделав ручкой «adieu»¹, побежал к себе.

— Несчастный! — сказал Грохольский, проводив его глазами и глубоко вздохнув.

— Чем же он несчастный? — спросила Лиза.

— Видеть тебя и не иметь права назвать тебя своей! «Дуррак! — осмелилась подумать Лиза. — Тряпка!»

Перед вечером Лиза обнимала и целовала Мишутку, которого принес Никифор. Мишутка на первых порах разревелся, но когда ему предложили кизилового варенья, он дружелюбно заулыбался.

Три дня Грохольский и Лиза не видали Бугрова. Он где-то пропадал и только ночью бывал дома. На четвертый день он явился к ним опять во время обеда... Он пришел, подал обоим руки и сел за стол. Лицо его было серьезно.

— Я к вам по делу, — сказал он. — Прочтите!

И он подал Грохольскому письмо.

— Прочтите! Читайте вслух!

Грохольский прочел вслух следующее:

— «Любезный и утешительный, незабвенный сын мой Иоанн! Я получил почтительное и любвеобильное письмо твое, в котором ты приглашаешь престарелого отца своего в благорастворенный и благодушный Крым, подышать благоприятным воздухом и повидать неведомые

¹ прощайте (франц.).

мне земли. На сие твое письмо отвечаю, что по взятии отпуска я к тебе прибуду, но ненадолго. Мой сослуживец, отец Герасим, человек хворый, расслабленный и не может один оставаться на долгое время. Мне очень чувствительно, что ты не забываешь родителей твоих, отца и мать твою... Отца ублаговотворяешь лаской, а мать поминаешь в молитвах своих; ибо сие так и подобает. В Феодосии встречай меня. Что это за город Феодосия? Какой? Очень приятно будет повидать. Твою крестную мать, воспринимавшую тебя от купели, зовут Феодосией. Ты пишешь, что бог сподобил тебя выиграть 200 000. Это мне обольстително. Но не хвалю того случая, что ты, дослужившись до немаловажного чина, оставил втуне служение. Служить подобает и богачу. Благословляю тебя всегда, ныне и присно. Кланяется тебе Андронов Илья и Сережка. Ты бы им по десятке прислал. Бедствуют! Твой любящий отец, священник Петр Бугров».

Грохольский прочитал вслух это письмо и вместе с Лизой вопросительно поглядел на Бугрова.

— Видите, в чем дело... — начал, заикаясь, Иван Петрович. — Я просил бы, Лиза, пока он будет здесь, не показываться ему на глаза, спрятаться. Я написал ему, что ты больна и уехала на Кавказ лечиться. Если встретишься ему, то... сама знаешь... Неловко... Гм...

— Хорошо, — сказала Лиза.

«Это можно, — подумал Грохольский. — Если он жертвует, то почему же нам не жертвовать?»

— Пожалуйста... А то, как увидит, беда... Он у меня строгих правил. На семи соборах проклянет. Ты, Лиза, не выходи из комнаты, вот и все... Он недолго здесь пробудет. Не беспокойся...

Отец Петр не заставил себя долго ждать. В одно прекрасное утро прибежал Иван Петрович и таинственным тоном прошипел:

— Приехал! Спит теперь! Так пожалуйста же!

И Лиза засела между четырьмя стенами. Она не позволяла себе выходить ни на двор, ни на террасу. Ей можно было видеть небо только из-за оконной занавески... К ее несчастью, папаша Ивана Петровича все время был под открытым небом и спал даже на

террасе. Обыкновенно отец Петр, маленький попик в коричневой рясе и в цилиндре с поднятыми краями, медленно разгуливал вокруг дач и с любопытством поглядывал сквозь свои дедовские очки на «неведомые земли». Его сопровождал Иван Петрович с Станиславом в петличке. Ордена, обыкновенно, он не носил, но перед родней Иван Петрович любил поломаться. Находясь в обществе родни, он всегда надевал Станислава.

Лиза умирала от скуки. Грохольский тоже страдал. Ему приходилось гулять одному, без пары. Он чуть не плакал, но... нужно было покориться судьбе. А тут еще каждое утро прибегал Бугров и, шипя, сообщал никому не нужный бюллетень о здоровье маленького отца Петра. Надоел он с этими бюллетенями.

— Ночь спал хорошо! — сообщал он. — Вчера обижался, что у меня соленых огурцов нет... Мишутку полюбил. Все по голове гладит...

Наконец, недели через две, маленький отец Петр походил в последний раз вокруг дач и, к великому счастью Грохольского, уехал. Он нагулялся и уехал ужасно довольным... Грохольский и Лиза опять зажили по-старому. Грохольский опять заблагословлял свою судьбу... Но недолго продолжалось его счастье... Явилась новая беда, горшая отца Петра.

К ним повадился каждый день ходить Иван Петрович. Иван Петрович, откровенно говоря, славный малый, но очень тяжелый человек. Он приходил во время обеда, обедал у них и сидел у них очень долго. Это бы еще ничего. Но ему к обеду нужно было покупать водки, которую терпеть не мог Грохольский. Он выпивал рюмок пять и говорил весь обед. И это бы еще ничего... Но он просиживал до двух часов ночи и не давал им спать... А главное, он позволял себе говорить то, о чем следовало бы молчать... Когда он к двум часам ночи напивался водки и шампанского, он брал на руки Мишутку и, плача, говорил ему при Грохольском и Лизе:

— Сын мой! Михаил! Я что такое? Кто? Я... подлец! Продам мать твою! Продам за тридцать серебряников... Накажи меня господь! Михаил Иваныч! Поросяночек! Где твоя мать? Фюить! Нету! Продана в рабство! Ну что ж? Подлец я... значит.

Эти слезы и слова выворачивали всю душу Грохольского. Он робко поглядывал на бледневшую Лизу и ломал себе руки.

— Идите спать, Иван Петрович!— говорил он робко.

— И пойду... Пойдем, Мишутка! Суди нас бог! Не могу я помышлять о сне, когда я знаю, что моя жена раба... Но Грохольский не виноват... Мой товар, его деньги... Вольному воля, спасенному рай...

Днем для Грохольского Иван Петрович был не менее невыносим. Он, к великому ужасу Грохольского, не отходил от Лизы. Удил с ней рыбу, рассказывал ей анекдоты, гулял с ней. И даже раз, воспользовавшись простудю Грохольского, он возил ее на своей коляске бог знает где до самой ночи...

«Это возмутительно! Нечеловечно!» — думал Грохольский, кусая губы.

Грохольский любил ежеминутно целовать Лизу. Без этих слащавых поцелуев он жить не мог, а при Иване Петровиче было как-то неловко целоваться... Мучение! Бедняжка почувствовал себя одиноким. Но судьба скоро сжалилась над ним. Иван Петрович вдруг пропал куда-то на целую неделю. Приехали гости и утащили его с собой. И Мишутку взяли.

В одно прекрасное утро Грохольский пришел к себе на дачу с прогулки веселый, сияющий.

— Приехал,— сказал он Лизе, потирая руки.— Я очень рад, что он приехал... Ха-ха-ха!

— Чего ты смеешься?

— С ним женщины...

— Какие женщины?

— Не знаю.... Это хорошо, что он завел себе женщин... Отлично даже... Он еще так молод, так свеж... Иди-ка сюда! Погляди...

Грохольский повел Лизу на террасу и указал ей на дачу *vis-à-vis*. Оба взялись за животы и захохотали. Смешно было. На террасе дачи *vis-à-vis* стоял Иван Петрович и улыбался. Внизу, под террасой, стояли какие-то две дамы-брюнетки и Мишутка. Дамы о чем-то громко говорили по-французски и хохотали.

— Француженки,— заметил Грохольский.— Та, что ближе к нам, очень недурна. Легкая кавалерия, но

это ничего... И между такими бывают хорошие женщины... Однако как они... нахальны.

Смешно было то, что Иван Петрович переваливался через террасу и опускал вниз свои длинные руки, руками обхватывал плечи одной из француженок и, хохочущую, поднимал и ставил на террасу.

Поднявши обеих дам на террасу, он поднял и Мишутку. Дамы сбежали вниз, и опять началось то же поднятие...

— Здоровые, однако, мускулы! — бормотал Грохольский, глядя на эту сцену.

Поднятие повторялось раз шесть. Дамы были так милы, что нисколько не конфузились, когда сильно дувший ветер во время поднятия как хотел распоряжался их вздувшимися платьями. Грохольский стыдливо опускал глазки, когда дамы, достигши балкона, перекидывали ноги через перила. А Лиза глядела и хохотала! Ей какое было дело? Невежничали не мужчины, которых должна была она, женщина, стыдиться, а дамы!

Вечером прилетел Иван Петрович и, конфузясь, объявил, что он теперь семейный человек.

— Вы не подумайте, что они какие-нибудь, — сказал он. — Правда, они француженки, кричат всё, вино пьют... но известно! Воспитание такое французы получают! Ничего не поделаешь... Мне их, — добавил Иван Петрович, — князь уступил... Почти даром... Возьми да возьми... Надо вас будет когда-нибудь познакомить с князем. Образованный человек! Все пишет, пишет... А знаете, как их зовут? Одну Фанни, другую Изабеллой... Европа! Ха-ха-ха... Запад! Прощайте-с!

Иван Петрович оставил в покое Грохольского и Лизу и прилепился к своим дамам. Целый день слышался из его дачи говор, смех, звон посуды. До глубокой ночи не тушились огни. Грохольский заблагодарствовал. Наконец-таки после долгого мучительного антракта он почувствовал себя опять счастливым и покойным. Иван Петрович с двумя не вкушал такого счастья, какое вкушал он с одной. Но — уву! У судьбы нет сердца. Она играет Грохольскими, Лизами, Иванами, Мишутками, как пешками. Грохольский опять потерял покой.

Однажды (недели полторы спустя), поздно проснувшись, он вышел на террасу и увидел картину, которая его поразила, возмутила и привела в сильнейшее негодование. Под террасой дачи vis-à-vis стояли французенки, и между ними... Лиза. Она беседовала и искоса поглядывала на свою дачу: не проснулся ли, мол, тот тиран, деспот? (Так Грохольский объяснил себе эти взгляды.) Иван Петрович, стоящий на террасе, с засученными рукавами, поднял вверх Изабеллу, потом Фанни и потом... Лизу. Когда он поднимал Лизу, Грохольскому показалось, что он прижимал ее к себе... Лиза тоже перекинула одну ногу через перила... О эти женщины! Они все до единой сфинксы!

Когда Лиза воротилась от мужа домой и как ни в чем не бывало на цыпочках вошла в спальную, Грохольский, бледный, с розовыми пятнами на щеках, лежал в позе совсем обессилевшего человека и стонал.

Увидев Лизу, он прыгнул с кровати и зашагал по спальней.

— Так вот вы как? — завизжал он высоким тенором. — Так вот вы как? Очень вам благодарен! Это возмутительно, милостивая государыня! Безнравственно наконец! Поймите вы это.

Лиза побледнела и, разумеется, заплакала. Женщины, когда чувствуют себя правыми, бранятся и плачут, когда же сознают за собой вину, то только плачут.

— Заодно с этими развратницами?! Оно... Это... это... это ниже всякого неприличия! Да вы знаете, кто они? Это продажные-с! Кокотки! И вы, честная женщина, полезли туда же, куда и они?! А тот... тот! Что ему нужно? Что ему еще нужно от меня? Не понимаю! Я отдал ему половину своего состояния, отдал больше! Вы знаете сами! Я отдал ему то, чего у меня нет... Почти все отдал... А он! Я выносил ваше с ним «ты», на которое он не имеет никакого права, выносил ваши прогулки, поцелуи после обеда... все выносил, но этого не вынесу... Я или он! Пусть он уедет отсюда, или я уеду! Жить я так более не в состоянии... нет! Ты сама это понимаешь... Или я, или он... Полно! Чаша уже полна... Я и так уже многое выстрадал... Сейчас же пойду с ним переговорю... Сию минуту! Что он, в самом

деле? Ишь ведь он какой! Ну, нет-с... Это он напрасно так много думает о себе...

Грохольский наговорил еще очень много храбрых и язвительных вещей, но «сейчас» не пошел: струсил и устыдился. Он пошел к Ивану Петровичу три дня спустя.

Вошедши в его апартаменты, он рот разинул. Его удивили роскошь и богатство, которыми окружил себя Бугров. Обои бархатные, стулья ужасно дорогие... ступить даже страшно. Грохольский видал на своем веку много богатых людей, но ни у одного не видел такой бешеной роскоши. А какую безалаберщину увидел он, когда с непонятным трепетом вошел в зал! На рояле валялись тарелки с кусочками хлеба, на стуле стоял стакан, под столом корзина с каким-то безобразным тряпьем. На окнах была рассыпана ореховая скорлупа. Сам Бугров, когда вошел Грохольский, тоже был не совсем в порядке. Он шагал по зале, розовый, непричесанный, в дезабилье, и говорил сам с собою... Он, видимо, был чем-то сильно встревожен. На диване, тут же в зале, сидел Мишутка и потрясал воздух пронзительным криком.

— Это ужасно, Григорий Васильич! — заговорил Бугров, увидев Грохольского. — Такие беспорядки, такие беспорядки... Садитесь, пожалуйста! Вы извините меня, что я в костюме Адама и Евы... Это ничего... Ужасные беспорядки! Не понимаю, как это люди могут здесь жить? Не понимаю! Прислуга непослушная, климат ужасный, все дорого... Замолчи! — крикнул Бугров, вдруг остановившись перед Мишуткой. — Замолчи! Тебе говорят! Скот! Ты не замолчишь?

И Бугров дернул за ухо Мишутку.

— Это возмутительно, Иван Петрович! — заговорил плачущим голосом Грохольский. — Можно ли бить таких маленьких? Какой же вы, право...

— А пусть он не ревет... Замолчи! Высеку!

— Не плачь, Миша, голубчик... Папа тебя больше не тронет. Не бейте его, Иван Петрович! Ведь он еще дитя... Ну-ну... Хочешь лошадку? Я тебе лошадку пришлю... Какой же вы, право... жестокосердный...

Грохольский помолчал и спросил:

— А как поживают ваши дамы, Иван Петрович?

— Никак... Прогнал... Без церемонии. Я бы их еще подержал, да неловко: мальчишка подрастает... Пример с отца... Будь я один, ну, тогда другое дело... Да и к чему мне их держать? Пф... одна только комедия! Я им по-русски, а они мне по-французски... Ничего не понимают; хоть кол теши на голове.

— Я к вам по делу, Иван Петрович, переговорить... Гм... Дело не особенное, а так... два-три слова... В сущности, я к вам просьбу имею.

— Какую?

— Не найдете ли вы, Иван Петрович, возможным уехать... отсюда? Мы очень рады, что вы здесь, нам очень приятно, но, знаете ли, неудобно... Вы меня поймете. Неловко как-то... Неопределенные отношения какие-то, вечная неловкость по отношению друг к другу... Расстаться нужно... Необходимо даже... Вы извините меня, но... вы сами, конечно, понимаете, что в подобных случаях совместное житье наводит на... размышления... То есть не на размышления, а является какое-то неловкое чувство...

— Да... Это так. Я сам об этом думал. Хорошо, уеду.

— Мы вам будем очень благодарны. Верьте, Иван Петрович, что воспоминание о вас мы сохраним самое лестное! Жертва, которую...

— Хорошо... Только куда же все это я дену? Послушайте, купите у меня эту мебель! Хотите? Она не дорого стоит... Тысяч восемь... десять... Мебель, коляска, рояль...

— Хорошо... Я дам вам десять...

— Ну вот и отлично! Завтра же еду... В Москву поеду. А здесь жить невозможно! Дорого все! Ужасно дорого! Деньги так и сыпятся... Что ни шаг — то и тысяча... Этак я не могу... У меня семья... Ну, слава богу, что вы у меня мебель покупаете. Денег все-таки больше будет, а то я совсем обанкрутился...

Грохольский встал, попрощался с Бугровым и, ликующий, отправился к себе. Вечером он прислал ему десять тысяч.

На другой день, рано утром, Бугров и Мишутка были уже в Феодосии.

III

Прошло несколько месяцев. Наступила весна.

С весной наступили и ясные, светлые дни, когда жизнь не так ненавистна и скучна и земля наиболее благообразна... Повеяло с моря и с поля теплом... Земля покрылась новой травой, на деревьях зазеленели новые листья. Природа воскресла и предстала в новой одежде.

Казалось бы, новые надежды и новые желания должны закопошиться в человеке, когда в природе все обновлено, молодо, свежо. Но человека трудно воскресить.

Грохольский жил все в той же даче. Надежды и желания его, маленькие, нетребовательные, сосредоточивались все на той же Лизе, на одной ей, ни на чем другом! Он по-прежнему не отрывал от нее глаз и услаждал себя мыслью: «Как я счастлив!» Бедняга на самом-таки деле чувствовал себя ужасно счастливым. Лиза по-прежнему сидела на террасе и скучно, непонятно, глядела на дачу *vis-à-vis* и деревья около нее, сквозь которые видно было синее море. Она по-прежнему все больше молчала, часто плакала и изредка ставила горчичники Грохольскому. Впрочем, ее можно поздравить с обновкой. Внутри ее завелся червь. Этот червь — тоска. Она сильно тосковала, тосковала за сыном, за прошлым житьем-бытьем, за весельем. Прежнее житье было не особенно веселое, но все-таки веселее теперешнего... Живя с мужем, она изредка хаживала в театр, в собрание, к знакомым. А здесь, с Грохольским? Здесь пусто, тихо... Возле есть один человек, да и тот, со своими недугами и ежеминутными слащавыми поцелуями, похож на старого, от радости вечно плачущего дедушку-тихоню. Скучно! Здесь нет Михея Сергеича, который любил с нею плясать мазурку, нет и Спиридона Николаича, сына редактора «Губернских ведомостей». Спиридон Николаич прекрасно поет и читает стихи. Нет стола с закуской, ни гостей, нет Герасимовны, няни, которая постоянно бурчала на нее за то, что она ела много варенья... Никого нет! Просто хоть ложись да умирай от тоски. Грохоль-

ский радовался своему одиночеству, но... напрасно он радовался. Он раньше чем следует заплатил за свой эгоизм. В начале мая, когда, казалось, и сам воздух что-то любил и изнывал от счастья, Грохольский потерял все: и любимую женщину, и...

Бугров и в этом году приехал в Крым. Дачи *vis-à-vis* он не нанял, а слонялся с Мишуткой по крымским городам. В городах он пил, ел, спал и в карты играл. К рыбной ловле, охоте, к француженкам, которые, между нами сказать, немножко обокрали его, он потерял всякую охоту. Он похудел, перестал сиять и широко улыбаться, нарядился в парусину. Иван Петрович изредка посещал и дачу Грохольского. Он привозил Лизе варенье, конфект, фрукт и как бы старался разогнать ее скуку. Грохольского не беспокоили эти посещения, тем более что они были редки, кратковременны и, по-видимому, делались ради Мишутки, которого нельзя уже было лишить ни за что ни про что права иметь свидания с матерью. Бугров приезжал, выкладывал гостинцы и, сказав несколько слов, уезжал. И говорил он эти несколько слов не с Лизой, а с Грохольским. С Лизой он молчал. И Грохольский был покоен... Но существует русская пословица, которую не мешало бы помнить Грохольскому: «Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит...» Пословица ехидная, но в практической жизни иногда весьма необходимая.

Однажды, гуляя по саду, Грохольский услышал говор двух голосов. Один был мужской, другой женский. Первый принадлежал Бугрову, второй Лизе. Грохольский прислушался и, побледнев как смерть, тихо зашагал к беседовавшим. Он остановился за сиреневым кустом и принялся наблюдать и слушать. Ноги и руки его похолодели. На лбу выступил холодный пот. Чтобы не шататься и не упасть, он обхватил руками несколько сиреневых ветвей. Все кончено!

Бугров держал Лизу за талию и говорил ей:

— Милая моя! Ну что ж нам делать? Так, значит, богу угодно было. Подлец я... Я продал тебя. Польстился на иродово богатство, чтоб ему пусто было... А что толку с этого богатства? Одно только беспокойство да хвастовство! Ни покоя, ни счастья, ни чинов...

Сидишь, как телепень, на одном месте, и ни шага вперед... Ты слышала? Андрюшка Маркузин в столоначальники вышел... Андрюшка, дурак этот! А я сижу... Господи, господи! Тебя лишился, счастья лишился. Подлец я! Мерзавец! Ты думаешь, хорошо мне будет на Страшном суде?

— Уедем отсюда, Ваня!—заплакала Лиза.— Мне скучно... Я умираю от тоски.

— Нельзя... Деньги взяты.

— Ну, отдай их назад!

— Рад бы отдать, да... тпррр... стой, кобыла! Все прожил! Покориться надо, матушка... Это нас бог наказывает. Меня за корыстолюбие, а тебя за легкомыслие. Что ж? Будем терзаться... На том свете легче будет.

И в наплыве религиозных чувств Бугров поднял глаза к небу.

— Но я жить здесь не могу! Мне скучно!

— Что ж делать? А мне не скучно? Разве мне без тебя весело? Я весь изныл, иссох! И грудь болеть стала!.. Ты мне жена законная, моя плоть от плоти... едина плоть... Живи, терпи! Ну, а я... ездить буду, навещать.

И, нагнувшись к Лизе, Бугров прошептал, однако так громко, что за несколько сажен было слышно:

— Я к тебе, Лизанька, и ночью приду... Не беспокойся... Я в Феодосии, близко... Буду жить здесь около тебя, пока все не профинчу... А профинчу скоро все до копейки! Э-э-эх! И что это за жизнь? Скука, болен весь... и грудь болит, и живот болит...

Бугров умолк. Настала очередь для Лизы... Боже мой, как жестока эта женщина! Она начала плакать, жаловаться, исчислять все недостатки своего любовника, свои мучения... Грохольский, слушая ее, почувствовал себя разбойником, злодеем, губителем...

— Он меня замучил! — кончила Лиза.

Поцеловавшись на прощанье с Лизой и выходя из садовой калитки, Бугров наткнулся на Грохольского, который стоял у калитки и поджидал его.

— Иван Петрович! — сказал Грохольский тоном умирающего. — Я все слышал и видел... Это нечестно с вашей стороны, но я не виню вас... Вы ее тоже любите...

Но поймите, что она моя! Моя! Я жить не могу без нее! Как вы этого не поймете? Ну, положим, вы любите ее, страдаете, но разве я не заплатил вам хотя отчасти за ваши страдания? Уезжайте, ради бога! Уезжайте, ради бога! Уезжайте отсюда навсегда. Умоляю вас! Иначе вы убьете меня...

— Мне некуда ехать, — проговорил глухо Бугров.

— Гм... Вы уже все растратили... Вы увлекающийся человек... Ну, хорошо... Поезжайте в мое имение, в Черниговскую губернию... Хотите? Я вам дарю это имение... Оно маленькое, но хорошее. Честное слово, хорошее!

Бугров широко улыбнулся. Он вдруг почувствовал себя на седьмом небе.

— Я вам дарю... Сегодня же я пишу управляющему и пошлю ему доверенность на совершение купчей. Вы говорите везде, что вы купили... Поезжайте! Умоляю вас!

— Хорошо... Уеду... Я понимаю.

— Едьте к нотариусу... Сейчас, — проговорил повеселевший Грохольский и пошел приказать запрягать лошадей.

На другой день, вечером, когда Лиза сидела на скамье, на которой обыкновенно происходили ее rendez-vous¹ с Иваном Петровичем, к ней тихо подошел Грохольский. Он сел рядом и взял ее за руку.

— Тебе скучно, Лизочка? — заговорил он после непродолжительного молчания. — Ты скучаешь? Отчего это мы не съездим куда-нибудь? Чего ради мы всё дома сидим? Надо ездить, веселиться, знакомиться... Ведь надо?

— Мне ничего не надо, — сказала Лиза и, бледная, худая, поглядела на ту дорожку, по которой приходил к ней Бугров.

Грохольский задумался. Он знал, кого она ждет и кого ей надо.

— Пойдем, Лиза, домой, — сказал он. — Здесь сыро...

— Иди... Я сейчас приду.

¹ любовные свидания (франц.).

Грохольский опять задумался.

— Ты его ждешь? — спросил он и сделал гримасу, точно его схватили за сердце раскаленными щипцами.

— Да... Мне хочется Мише чулочки передать...

— Он не придет.

— Почему ты знаешь?

— Он уехал...

Лиза сделала большие глаза...

— Он уехал... Уехал в Черниговскую губернию. Я подарил ему свое имение...

Лиза страшно побледнела и, чтобы не упасть, ухватилась за плечо Грохольского.

— Я проводил его на пароход... В три часа...

Лиза вдруг схватила себя за голову, задвигалась и, упав на скамью, затряслась всеми членами.

— Ваня! — заголосила она. — Ваня! И я еду, Ваня!.. Голубчик!

С ней приключился истерический припадок...

И с этого вечера, вплоть до самого июля, по саду, в котором гуляли дачники, можно было видеть две тени. Тени ходили с утра до вечера и наводили на дачников уныние. За тенью Лизы неотступно шагала тень Грохольского. Я называю их теньями, потому что они оба потеряли свой прежний образ.

Они похудели, побледнели, съжились и напоминали собой скорее тени, чем живых людей... Оба чахли, как блоха в классическом анекдоте об еврее, продающем порошок от блох.

В начале июля Лиза бежала от Грохольского, оставив записку, в которой она написала, что едет к «сыну» на время. На время! Бежала она ночью, когда спал Грохольский.

Прочитав ее письмо, Грохольский целую неделю слонялся вокруг дачи как безумный, не ел, не спал. В августе он перенес возвратный тиф, а в сентябре укатил за границу. За границей он запил. В вине и разврате думал он найти успокоение. Промотал он все свое состояние, но не удалось ему, бедняге, выкинуть из головы образа любимой женщины с кошачьей мордочкой. От счастья не умирают, не умирают и от несчастья. Грохольский поседел, но не умер. Он жив и

до сих пор. Из-за границы поехал он поглядеть «одним глазком» на Лизу. Бугров встретил его с распростертыми объятиями и оставил его гостить у себя на неопределенное время. Гостит он у Бугрова и до сих пор...

В этом году мне пришлось проезжать чрез Грохольку, именье Бугрова. Хозяев я застал ужинавшими. Иван Петрович ужасно обрадовался мне и принялся угощать меня. Он потолстел и чуточку обрюзг. Лицо его по-прежнему сыто, лоснится и розово. Плечи еще нет. Лиза тоже потолстела. Полнота ей не к лицу. Ее личико начинает терять кошачий образ и, увы! приближается к тюленьему. Ее щеки полнеют и вверх, и вперед, и в стороны. Живут Бугровы превосходно. Всего у них много. Прислуги и съестного полнехонький дом.

Когда мы поужинали, завязалась беседа. Я, забыв, что Лиза не играет, попросил ее сыграть что-нибудь на рояле.

— Она не играет! — сказал Бугров. — Она у меня не игрок... Эй! Кто там? Иван! Позови-ка сюда Григория Васильевича! Что он там делает? — И, обратясь ко мне, Бугров добавил: — Сейчас придет игрок... На гитаре играет. А рояль мы для Мишутки держим, его учим...

Минут через пять в залу вошел Грохольский, зашпанный, нечесанный, небритый... Он вошел, поклонился мне и сел в сторонке.

— Ну, кто же так рано ложится спать? — обратился к нему Бугров. — Какой же ты, братец! Все спит, все спит... Соня! Ну, сыграй-ка нам повеселее что-нибудь...

Грохольский настроил гитару, ударил по струнам и запел:

Вчера ожидала я друга...

Я слушал пение, глядел на сытую физиомордию Бугрова и думал: «Паскудная рожка!» Мне захотелось плакать... Окончив пение, Грохольский поклонился нам и вышел.

— И что мне с ним делать? — обратился ко мне, по уходе его, Бугров. — Беда мне с ним! Днем все думает,

думает... а ночью стонет... Спит, а сам стонет и охает... Болезнь какая-то... Что мне с ним делать, ума не приложу! Спать не дает... Боюсь, чтоб не помешался. Подумают, что ему плохо у меня жить... а чем плохо. И ест с нами и пьет с нами... Денег только не даем... Дай ему, а он их пропьет или разбросает... Вот еще попута на мою голову! Господи, прости меня грешного.

Меня оставили ночевать. Когда я проснулся на другой день утром, в соседней комнате Бугров читал кому-то нотацию:

— Заставь дурандаса богу молиться, а он и лоб разобьет! Ну, кто весла зеленой краской красит? Подумай ты, голова! Рассуди! Чего же молчишь?

— Я... я... ошибся...— оправдывался сиплый тенор.

Этот тенор принадлежал Грохольскому.

На вокзал провожал меня Грохольский.

— Он деспот, тиран, — шептал он мне всю дорогу. — Он благородный человек, но тиран! У него не развиты ни сердце, ни мозг... Мучает! Коли б не эта благородная женщина, я давно бы ушел от него. Мне ее жаль оставлять. Обоим терпеть как-то лучше.

Грохольский вздохнул и продолжал:

— Она беременна... Вы видели? Это, в сущности, мой ребенок... Мой-с... Она скоро сознала свою ошибку и опять отдалась мне. Она его терпеть не может...

— Тряпка вы! — не воздержался я, чтобы не сказать Грохольскому.

— Да, я слабохарактерный человек... Все это верно. Уродился таким. Вы знаете, как я произошел? Мой покойный папаша сильно угнетал одного маленького чиновничка. Страсть как угнетал! Жизнь ему отравлял! Ну-с... И мамаша покойница была сердобольная, из народа она была, мещаночка... Из жалости взяла и приблизила к себе этого чиновничка... Ну-с... Я и произошел... От угнетенного... Где же тут характеру взяться? Откуда? Второй звонок, однако... Прощайте! Заезжайте еще к нам, да не говорите Ивану Петровичу того, что я о нем вам говорил!

Я пожал Грохольскому руку и вскочил в вагон. Он поклонился моему вагону и пошел к кадушке с водой. Пить, знать, захотелось...

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

Посвящается Н. И. Коробову

I

Дело происходило в одно темное, осеннее «послеобеда» в доме князей Приклонских.

Старая княгиня и княжна Маруся стояли в комнате молодого князя, ломали пальцы и умоляли. Умоляли они так, как только могут умолять несчастные, плачущие женщины: Христом-богом, честью, прахом отца.

Княгиня стояла перед ним неподвижно и плакала.

Давши волю слезам и речам, перебивая на каждом слове Марусю, она осыпала князя упреками, жесткими и даже бранными словами, ласками, просьбами... Тысячу раз вспоминала она о купце Фурове, который протестовал их вексель, о покойном отце, кости которого теперь переворачиваются в гробу, и т. д. Напомнила даже и о докторе Топоркове.

Доктор Топорков был спицей в глазу князей Приклонских. Отец его был крепостным, камердинером покойного князя, Сенькой. Никифор, его дядя по матери, еще до сих пор состоит камердинером при особе князя Егорушки. И сам он, доктор Топорков, в раннем детстве получал подзатыльники за плохо вычищенные княжеские ножи, вилки, сапоги и самовары. А теперь он — ну, не глупо ли? — молодой блестящий доктор, живет барином, в чертовски большом доме, ездит на паре, как бы в «пику» Приклонским, которые ходят пешком и долго торгуются при найме экипажа.

— Он всеми уважаем, — сказала княгиня, плача и не утирая слез, — всеми любим, богат, красавец, везде принят... Твой-то слуга бывший, племянник Никифора! Стыдно сказать! А почему? А потому, что он ведет себя хорошо, не кутит, с худыми людьми не знается... Работает от утра до ночи... А ты? Боже мой, господи!

Княжна Маруся, девушка лет двадцати, хорошенькая, как героиня английского романа, с чудными кудрями льняного цвета, с большими умными глазами цвета южного неба, умоляла брата Егорушку с наименьшей энергией.

Она говорила в одно и то же время с матерью и целовала брата в его колючие усы, от которых пахло прокисшим вином, гладила его по плечи, по щекам и жалась к нему, как перепуганная собачонка. Она не говорила ничего, кроме нежных слов. Княжна была не в состоянии говорить брату что-либо даже похожее на колкость. Она так любила брата! По ее мнению, ее развратный брат, отставной гусар, князь Егорушка, был выразителем самой высшей правды и образцом добродетели самого высшего качества! Она была уверена, уверена до фанатизма, что этот пьяный дурандас имеет сердце, которому могли бы позавидовать все сказочные феи. Она видела в нем неудачника, человека непонятого, непризнанного. Его пьяное распутство извиняла она почти с восторгом. Еще бы! Егорушка давно уж убедил ее, что он пьет с горя: вином и водкой заливает он безнадежную любовь, которая жжет его душу, и в объятиях развратных девок он старается вытеснить из своей гусарской головы *ее* чудный образ. А какая Маруся, какая женщина не считает любовь тысячу раз уважительной, все извиняющей причиной? Какая?

— Жорж! — говорила Маруся, прижимаясь к нему и целуя его испитое, красноносое лицо. — Ты с горя пьешь, это правда... Но забудь свое горе, если так! Неужели все несчастные должны пить? Ты терпи, мужайся, борись! Богатырем будь! При таком уме, как у тебя, с такой честной, любящей душой можно сносить удары судьбы! О! Вы, неудачники, все малодушны!..

И Маруся (простите ей, читатель) вспомнила тургеневского Рудина и принялась толковать о нем Егорушке.

Князь Егорушка лежал на кровати и своими красными крошечными глазками глядел в потолок. В голове его слегка шумело, а в области желудка чувствовалась приятная сытость. Он только что пообедал, выпил бутылку красного и теперь, куря трехкопеечную сигарку, кейфствовал. Самые разнокалиберные чувства и помыслы копошились в его отуманенных мозгах и ноющей душонке. Ему было жаль плачущую мать и сестру, и в то же время ему сильно хотелось выгнать их из комнаты: они мешали ему вздремнуть, всхрапнуть. Он сердился за то, что ему осмеливаются читать нотации, и в то же время его мучили маленькие угрызения (вероятно, тоже очень маленькой) совести. Он был глуп, не настолько, чтобы не сознавать, что дом Приклонских действительно погибает и отчасти по его милости.

Княгиня и Маруся умоляли очень долго. В гостиной зажгли огни, и пришла какая-то гостья, а они все умоляли. Наконец Егорушке надоело валяться и не спать. Он с треском потянулся и сказал:

— Ладно, исправлюсь!

— Честное и благородное слово?

— Накажи меня бог!

Мать и сестра ухватились за него руками и заставили еще раз побожиться и поклясться честью. Егорушка еще раз побожился, поклялся честью и сказал, что пусть гром разразит его на этом самом месте, если он не перестанет вести беспорядочную жизнь. Княгиня заставила его поцеловать образ. Он поцеловал и образ, причем перекрестился три раза. Клятва была дана, одним словом, самая настоящая.

— Мы тебе верим! — сказали княгиня и Маруся и бросились обнимать Егорушку. Они ему поверили. Ну, как не поверить честнейшему слову, отчаянной божбе и целованию образа, взятым вместе? И к тому же где любовь, там и бесшабашная вера. Они ожили, и обе, сияющие, подобно иудеям, праздновавшим обновление Иерусалима, пошли праздновать обновление Егорушки. Выпроводив гостью, они сели в уголок и принялись

шептать о том, как исправится их Егорушка, как он поведет новую жизнь... Они порешили, что Егорушка далеко пойдет, что он скоро поправит обстоятельства и им не придется терпеть крайней бедности — этот постылый Рубикон, переход через который приходится переживать всем промотавшимся. Порешили даже, что Егорушка обязательно женится на богачке и красавице. Он так красив, умен и так знатен, что едва ли найдется такая женщина, которая осмелится не полюбить его! В заключение княгиня рассказала биографию предков, которым скоро начнет подражать Егорушка. Дед Приклонский был посланником и говорил на всех европейских языках, отец был командиром одного из известнейших полков, сын же будет... будет... чем он будет?

— Вот вы увидите, чем он будет! — порешила княжна. — Вот вы увидите!

Уложив друг друга в постель, они еще долго толковали о прекрасном будущем. Сны снились им, когда они уснули, самые восхитительные. Спящие, они улыбались от счастья, — так хороши были сны. Этими снами судьба, по всей вероятности, заплатила им за те ужасы, которые они пережили на следующий день. Судьба не всегда скупа: иногда и она платит вперед.

Часа в три ночи, как раз именно в то время, когда княгине снился ее bébé¹ в блестящем генеральском мундире, а Маруся аплодировала во сне брату, сказавшему блестящую речь, к дому князей Приклонских подъехала простая извозчичья пролетка. В пролетке сидел официант из «Шато де Флер» и держал в своих объятиях благородное тело мертвецки пьяного князя Егорушки. Егорушка был в самом бесчувственном состоянии и в объятиях «челаэка» болтался, как гусь, которого только что зарезали и несут в кухню. Извозчик соскочил с козел и позвонил у подъезда. Вышли Никифор и повар, заплатили извозчику и понесли пьяное тело вверх по лестнице. Старый Никифор, не удивляясь и не ужасаясь, привычной рукою раздел неподвижное тело, уложил поглубже в перину и укрыл одеялом.

¹ малютка (франц.).

Прислугой не было сказано ни одного слова. Она давным-давно уже привыкла видеть в своем барине нечто такое, что нужно носить, раздевать, укрывать, а потому она нимало не удивлялась и не ужасалась. Пьяный Егорушка был для нее нормой.

На другой день, утром, пришлось ужаснуться.

Часов в одиннадцать, когда княгиня и Маруся пили кофе, вошел в столовую Никифор и доложил их сиятельствам, что с князем Егорушкой творится что-то неладное.

— Должно полагать, помирают-с! — сказал Никифор. — Извольте посмотреть!

Лица княгини и Маруси стали белы, как полотно. Из рта княгини выпал кусочек бисквита. Маруся опрокинула чашку и обеими руками ухватилась за грудь, в которую застучало врасплох застигнутое, встревоженное сердце.

— В три часа ночи приехали навеселе, стало быть, — докладывал Никифор дрожащим голосом. — Как обнаковенно... Ну, а теперь, господь их знает, от чего это, мечутся и стонут...

Княгиня и Маруся ухватились друг за друга и побежали в спальню Егорушки.

Егорушка, бледно-зеленый, растрепанный, сильно похудевший, лежал под тяжелым байковым одеялом, тяжело дышал, дрожал и метался. Голова и руки его ни на минуту не оставались в покое, двигались и вздрагивали. Из груди вырывались стоны. На усах висел маленький кусочек чего-то красного, по-видимому крови. Если бы Маруся нагнулась к его лицу, она увидела бы ранку на верхней губе и отсутствие двух зубов на верхней челюсти. От всего тела веяло жаром и спиртным запахом.

Княгиня и Маруся пали на колени и зарыдали.

— Это мы виноваты в его смерти! — сказала Маруся, хватая себя за голову. — Мы вчера огорчили его своими упреками, и... он не перенес этого! У него нежная душа! Мы виноваты, татап!

И в сознании своей виновности они обе широко раскрыли глаза и, дрожа всем телом, прижались друг к другу. Так дрожат и жмутся друг к другу видящие,

что над ними сейчас, с шумом и страшным треском, обвалится потолок и раздавит их под своею тяжестью.

Повар догадался сбежать за доктором. Пришел доктор, Иван Адольфович, маленький человечек, весь состоящий из очень большой лысины, глупых свиных глазок и круглого животика. Ему обрадовались, как отцу родному. Он понюхал воздух в спальне Егорушки, пощупал пульс, глубоко вздохнул и поморщился.

— Вы не беспокойтесь, ваше сиятельство! — сказал он княгине умоляющим голосом. — Я не знаю, но, по моему мнению, ваше сиятельство, я не нахожу, чтобы ваш сын был в большой, так сказать, опасности... Ничво!

Марусе же он сказал совершенно другое:

— Я не знаю, княжна, но, по моему мнению... У всякого свой мнение, княжна. По моему мнению, его сиятельство... пфф!.. швах, как говорит немец... Но все зависит... зависит, так сказать, от кризис.

— Опасно? — тихо спросила Маруся.

Иван Адольфович наморщил лоб и принялся доказывать, что у всякого свое мнение... Ему дали трехрублевку. Он поблагодарил, сконфузился, покашлял и улетучился.

Придя в себя, княгиня и Маруся решили послать за знаменитостью. Дóроги знаменитости, но... что ж делать? Жизнь близкого человека дороже денег. Повар побежал к Топоркову. Дома, разумеется, он его не застал. Пришлось оставить записку. Топорков не скоро отозвался на приглашение. Ждали его, с замиранием сердца, с тревогой, день, ждали всю ночь, утро... Хотели даже послать за другим доктором и порешили назвать Топоркова невежей, когда он приедет, назвать прямо в лицо, чтобы он не смел в другой раз заставлять других ожидать себя так долго. Обитатели дома князей Приклонских, несмотря на свое горе, были возмущены до глубины души. Наконец в два часа другого дня к подъезду подкатила коляска. Никифор стремительно засеменил к двери и через несколько секунд наипочтительнейше стаскивал с плеч своего племянника драповое пальто. Топорков кашлем дал знать о своем приходе и, никому не кланяясь, пошел в комнату боль-

ного. Прошел он через залу, гостиную и столовую, ни на кого не глядя, важно, по-генеральски, на весь дом скрипя своими сияющими сапогами. Его огромная фигура внушала уважение. Он был статен, важен, представительен и чертовски правилен, точно из слоновой кости выточен. Золотые очки и до крайности серьезное, неподвижное лицо дополняли его горделивую осанку. По происхождению — он плебей, но плебейского в нем, кроме сильно развитой мускулатуры, почти ничего нет. Все — барское и даже джентльменское. Лицо розовое, красивое и даже, если верить его пациенткам, очень красивое. Шея белая, как у женщины. Волосы мягки, как шелк, и красивы, но, к сожалению, подстрижены. Занимайся Топорков своею наружностью, он не стриг бы этих волос, а дал бы им виться до самого воротника. Лицо красивое, но слишком сухое и слишком серьезное для того, чтобы казаться приятным. Оно, сухое, серьезное и неподвижное, ничего не выражало, кроме сильного утомления целодневным тяжелым трудом.

Маруся пошла навстречу Топоркову и, ломая перед ним руки, начала просить. Ранее она никогда и ни у кого не просила.

— Спасите его, доктор! — сказала она, поднимая на него свои большие глаза. — Умоляю вас! На вас вся надежда!

Топорков обошел Марусю и направился к Егорушке.

— Открыть вентиляцию! — скомандовал он, войдя к больному. — Почему не открыты вентиляционные отверстия? Дышать чем же?

Княгиня, Маруся и Никифор бросились к окнам и печи. В окнах, в которые уже были вставлены двойные рамы, вентиляции не оказалось. Печь не топилась.

— Вентиляций нет, — робко сказала княгиня.

— Странно... Гм... Лечи вот при таких условиях! Я лечить не стану!

И, чутьчку возвысив голос, Топорков прибавил:

— Несите его в зал! Там не так душно. Позовите людей!

Никифор бросился к кровати и стал у изголовья. Княгиня, краснея, что у нее, кроме Никифора, повара и полуслепой горничной, нет более прислуги, взялась

за кровать. Маруся тоже взялась за кровать и потянула из всех сил. Дряхлый старик и две слабые женщины с кряхтением подняли кровать и, не веря своим силам, спотыкаясь и боясь уронить, понесли. У княгини порвалось на плечах платье и что-то оторвалось в животе, у Маруси позеленело в глазах и страшно заболели руки, — так был тяжел Егорушка! А он, доктор медицины Топорков, важно шагал за кроватью и сердито морщился, что у него отнимают время на такие пустяки. И даже пальца не протянул, чтобы помочь дамам! Этакая скотина!..

Кровать поставили рядом с роялем. Топорков сбросил одеяло и, задавая княгине вопросы, принялся раздевать мечущегося Егорушку. Сорочка была сдернута в одну секунду.

— Вы покороче, пожалуйста! Это к делу не относится! — отчеканивал Топорков, слушая княгиню. — Лишние могут уйти отсюда!

Постучав молоточком по Егорушкиной груди, он перевернул больного на живот и опять постучал; с сопеньем выслушал (доктора всегда сопят, когда выслушивают) и констатировал неосложненную пьянственную горячку.

— Не мешает надеть горячечную рубаху, — сказал он своим ровным, отчеканивающим каждое слово голосом.

Давши еще несколько советов, он написал рецепт и быстро пошел к двери. Когда он писал рецепт, он спросил, между прочим, фамилию Егорушки.

— Князь Приклонский, — сказала княгиня.

— Приклонский? — переспросил Топорков.

«Как же скоро ты забыл фамилию своих бывших... помещиков!» — подумала княгиня.

Слово «господ» княгиня не смела подумать: фигура бывшего крепостного была слишком внушительна!

В передней она подошла к нему и с замиранием сердца спросила:

— Доктор, он не опасен?

— Я думаю.

— По вашему мнению, выздоровеет?

— Полагаю, — ответил холодно доктор и, слегка

кивнув головой, пошел вниз по лестнице к своим лошадям, таким же статным и важным, как и он сам.

По уходе доктора княгиня и Маруся, впервые после суточного томления, свободно вздохнули. Знаменитость Топорков подал им надежду.

— Как он внимателен, как мил! — сказала княгиня, в душе благословляя всех докторов на свете. Матери любят медицину и верят в нее, когда больны их дети!

— Ва-а-жный господин! — заметил Никифор, давно уже не выдавший в барском доме никого, кроме забулдыг-кутил, товарищей Егорушки. Старикашке и не снилось, что этот важный господин был не кто иной, как тот самый запачканный Колька, которого ему не раз приходилось во время бно вытаскивать за ноги из-под водовозни и сечь.

Княгиня скрывала от него, что его племянник доктор.

Вечером, по заходе солнца, с изнемогавшей от горя и усталости Марусей приключился вдруг сильный озноб; этот озноб свалил ее в постель. За ознобом последовали сильный жар и боль в боку. Всю ночь она пробредила и простонала:

— Я умираю, тамап!

И Топоркову, приехавшему в десятом часу утра, пришлось лечить вместо одного двух: князя Егорушку и Марусю. У Маруси нашел он воспаление легкого.

В доме князей Приклонских запахло смертью. Она, невидимая, но страшная, замелькала у изголовья двух кроватей, грозя ежеминутно старухе княгине отнять у нее ее детей. Княгиня обезумела от отчаяния.

— Не знаю-с! — говорил ей Топорков. — Не могу я знать-с, я не пророк. Ясно будет через несколько дней.

Говорил он эти слова сухо, холодно и резал ими несчастную старуху. Хоть бы одно слово надежды! К довершению ее несчастья, Топорков почти ничего не прописывал больным, а занимался одними только постукиваниями, выслушиваниями и выговорами за то, что воздух не чист, компресс поставлен не на месте и не вовремя. А все эти новомодные штуки считала старуха ни к чему не ведущими пустяками. День и ночь

не переставая слонялась она от одной кровати к другой, забыв все на свете, давая обеты и молясь.

Горячку и воспаление легких считала она самыми смертельными болезнями, и когда в мокроте Маруси показалась кровь, она вообразила, что у княжны «последний градус чахотки», и упала в обморок.

Можете же вообразить себе ее радость, когда княжна на седьмой день болезни улыбнулась и сказала:

— Я здорова.

На седьмой день очнулся и Егорушка. Молясь, как на полубога, смеясь от счастья и плача, княгиня подошла к приехавшему Топоркову и сказала:

— Я обязана вам, доктор, спасением моих детей. Благодарю!

— Что-с?

— Я обязана вам многим! Вы спасли моих детей!

— А... Седьмые сутки! Я ожидал на пятые. Впрочем, все равно. Давать этот порошок утром и вечером. Компресс продолжать. Это тяжелое одеяло можно заменить более легким. Сыну давайте кислое питье. Завтра, вечером, заеду.

И знаменитость, кивнув головой, мерным, генеральским шагом зашагала к лестнице.

II

День ясный, прозрачный, слегка морозный, один из тех осенних дней, в которые охотно миришься и с холодом, и с сыростью, и с тяжелыми калошами. Воздух прозрачен до того, что виден клюв у галки, сидящей на самой высокой колокольне; он весь пропитан запахом осени. Выйдите вы на улицу, и ваши щеки покроются здоровым широким румянцем, напоминающим хорошее крымское яблоко. Давно опавшие желтые листья, терпеливо ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, как червонцы. Природа засыпает тихо, смиренно. Ни ветра, ни звука. Она, неподвижная и немая, точно утомленная за весну и лето, нежится под греющими, ласкающими лучами солнца, и, глядя на этот начинающийся покой, вам самим хочется успокоиться...

Таков был день, когда Маруся и Егорушка сидели у окна и в последний раз поджидали Топоркова. Свет, греющий, ласкающий, бил и в окна Приклонских; он играл на коврах, стульях, рояле. Все было залито этим светом. Маруся и Егорушка глядели в окно на улицу и праздновали свое выздоровление. Выздоровливающие, в особенности если они молоды, всегда очень счастливы. Они чувствуют и понимают здоровье, чего не чувствует и не понимает обыкновенный здоровый человек. Здоровье есть свобода, а кто, кроме отпущенников, наслаждается сознанием свободы? Маруся и Егорушка каждую минуту чувствовали себя отпущенниками. Как им было хорошо! Им хотелось дышать, глядеть в окна, двигаться, жить, одним словом, и все эти желания исполнялись каждую секунду. Фуров, протестовавший векселя, сплетни, Егорушкино поведение, бедность — все было забыто. Не забыты были одни только приятные, не волнующие вещи: хорошая погода, предстоящие балы, добрая татап и... доктор. Маруся смеялась и говорила без умолку. Главной темой разговора был доктор, которого ожидали каждую минуту.

— Удивительный человек, всемогущий человек! — говорила она. — Как всемогуще его искусство! Посуди, Жорж, какой высокий подвиг: бороться с природой и побороть!

И говорила она, ставя руками и глазами после каждой напыщенной, но искренно сказанной фразы большой восклицательный знак.

Егорушка слушал восторженную речь сестры, мигал глазками и поддакивал. Он сам уважал строгое лицо Топоркова и был уверен, что своим выздоровлением обязан одному только ему. Матап сидела возле и, сияющая, ликующая, разделяла восторги детей.

Ей нравилось в Топоркове не только уметь лечить, но и «положительность», которую она успела прочесть на лице доктора.

Старым людям почему-то сильно нравится эта «положительность».

— Жаль только, что он... он такого низкого происхождения, — сказала княгиня, робко взглянув на дочь. —

И ремесло его... не особенно чистое. Вечно в разной разности копаются... Фи!

Княжна вспыхнула и пересела на другое кресло, подальше от матери. Егорушка тоже покоробило.

Он терпеть не мог барской спеси и важничанья.

Бедность хоть кого научит! Ему не раз приходилось испытать на самом себе важничанье людей, которые были богаче его.

— В нынешние времена, мутер ¹, — сказал он, презрительно подергивая плечами, — у кого есть голова на плечах и большой карман в панталонах, тот и хорошего происхождения, а у кого вместо головы седалище тела человеческого, а вместо кармана мыльный пузырь, тот... нуль, вот что-с!

Говоря это, Егорушка попугайничал. Эти самые слова слышал он два месяца тому назад от одного семинариста, с которым подрался в биллиардной.

— Я с удовольствием променял бы свое княжество на его голову и карман, — добавил Егорушка.

Маруся подняла на брата глаза, полные благодарности.

— Я сказала бы вам многое, татап, но вы не поймете, — вздохнула она. — Вас ничем не разубедишь... Очень жаль!

Княгиня, уличенная в рутинерстве, сконфузилась и принялась оправдываться.

— Впрочем, в Петербурге я знавала одного доктора — барона, — сказала она. — Да, да... И за границей тоже... Это правда... Образование много значит. Ну, да...

В первом часу приехал Топорков. Он вошел так же, как и в первый раз: вошел важно, ни на кого не глядя.

— Не употреблять спиртных напитков и избегать, по возможности, излишеств, — обратился он к Егорушке, положив шляпу. — Следить за печенью. Она у вас уже значительно увеличена. Увеличение ее следует всецело отнести на счет употребления напитков. Пить прописанные воды.

¹ мамаша (нем.).

И, повернувшись к Марусе, он преподал и ей несколько заключительных советов.

Маруся выслушала со вниманием, точно интересную сказку, глядя прямо в глаза ученому человеку.

— Ну-с? Вы, полагаю, поняли? — спросил ее Топорков.

— О да! Мерсі.

Визит продолжался ровно четыре минуты.

Топорков кашлянул, взялся за шляпу и кивнул головой. Маруся и Егорушка впились глазами в мать. Маруся даже покраснела.

Княгиня, покачиваясь, как утка, и краснея, подошла к доктору и неловко всунула свою руку в его белый кулак.

— Позвольте вас поблагодарить! — сказала она.

Егорушка и Маруся опустили глаза. Топорков поднес кулак к очкам и узрел сверток. Не конфузясь и не опуская глаз, он помочил во рту палец и чуть слышно сосчитал кредитные билеты. Он насчитал двенадцать двадцатипятирублевков. Недаром Никифор бегал куда-то вчера с ее браслетами и серьгами! По лицу Топоркова пробежала светлая тучка, нечто вроде сияния, с которым пишут святых; рот слегка передернула улыбка. По-видимому, он остался очень доволен вознаграждением. Сосчитав деньги и положив их в карман, он еще раз кивнул головой и повернул к двери.

Княгиня, Маруся и Егорушка впились глазами в докторскую спину, и все трое разом почувствовали, что у них сжимается сердце. Глаза их затеплились хорошим чувством: этот человек уходил и больше не придет, а они уже привыкли к его мерным шагам, отчеканивающему голосу и серьезному лицу. В голове матери мелькнула маленькая идейка. Ей вдруг захотелось приласкать этого деревянного человека.

«Сирота он, бедный, — подумала она. — Одинокий».

— Доктор, — сказала она мягким, старушечьим голосом.

Доктор оглянулся.

— Что-с?

— Не выпьете ли вы с нами стакан кофе? Будьте так добры!

Топорков наморщил лоб и медленно потянул из кармана часы. Взглянув на часы и немного подумав, он сказал:

— Я выпью чаю.

— Садитесь, пожалуйста! Вот сюда!

Топорков положил шляпу и сел; сел прямо, как манекен, которому согнули колени и выпрямили плечи и шею. Княгиня и Маруся засуетились. У Маруси сделались большие глаза, озабоченные, точно ей задали неразрешимую задачу. Никифор, в черном поношенном фраке и серых перчатках, забегал по всем комнатам. Во всех концах дома застучала чайная посуда и посыпались со звоном чайные ложки. Егорушку зачем-то вызвали на минуту из зала, вызвали потихоньку, таинственно.

Топорков в ожидании чая просидел минут десять. Сидел он и глядел на педаль рояля, не двигаясь ни одним членом и не издавая ни звука. Наконец отворилась из гостиной дверь. Показался сияющий Никифор с большим подносом в руках. На подносе, в серебряных подстаканниках, стояли два стакана: один для доктора, другой для Егорушки. Вокруг стаканов, соблюдая строгую симметрию, стояли молочники с сырыми и топлеными сливками, сахар с щипчиками, кружки лимона с вилочкой и бисквиты.

За Никифором шел с притупленной от важности физиономией Егорушка.

Шествие замыкали княгиня, с вспотевшим лбом, и Маруся, с большими глазами.

— Кушайте, пожалуйста! — обратилась княгиня к Топоркову.

Егорушка взял стакан, отошел в сторону и осторожно отхлебнул. Топорков взял стакан и тоже отхлебнул. Княгиня и княжна сели в стороне и занялись изучением докторской физиономии.

— Вам, может быть, не сладко? — спросила княгиня.

— Нет, достаточно сладко.

И, как и следовало ожидать, наступило молчание — жуткое, противное, во время которого почему-то чувствуется ужасно неловкое положение и желание скон-

фузиться. Доктор пил и молчал. Видимо, он игнорировал окружающих и не видел пред собой ничего, кроме чая.

Княгиня и Маруся, которым ужасно хотелось поговорить с умным человеком, не знали, с чего начать; обе боялись показаться глупыми. Егорушка смотрел на доктора, и по глазам его видно было, что он собирается что-то спросить и никак не соберется. Тишина воцарилась гробовая, изредка нарушаемая глотательными звуками. Топорков глотал очень громко. Он, видимо, не стеснялся и пил, как хотел. Глотая, он издавал звуки, очень похожие на звук «глы». Глоток, казалось, изо рта падал в какую-то пропасть и там шлепался обо что-то большое, гладкое. Тишину нарушал изредка и Никифор; он то и дело чамкал губами и жевал, точно на вкус пробовал доктора-гостя.

— Правду говорят, что курить вредно? — собрался наконец спросить Егорушка.

— Никотин, алколоид табака, действует на организм как один из сильных ядов. Яд, который вводится в организм каждой папиросой, ничтожен количеством, но зато введение его продолжительно. Количество яда, как и энергия его, находится в обратном отношении с продолжительностью потребления.

Княгиня и Маруся переглянулись: какой он умница! Егорушка замигал глазами и вытянул свою рыбью физиономию. Он, бедняга, не понял доктора.

— У нас в полку,— начал он, желая ученый разговор свести на обыкновенный,— был один офицер. Некто Кошечкин, очень порядочный малый. Ужасно на вас похож! Ужасно! Как две капли воды. Отличить даже невозможно! Он вам не родственник?

Доктор вместо ответа издал громкий глотательный звук, и углы его губ слегка приподнялись и поморщились в презрительную улыбку. Он заметно презирал Егорушку.

— Скажите мне, доктор, я окончательно выздоровела? — спросила Маруся.— Могу я рассчитывать на полное выздоровление?

— Полагаю. Я рассчитываю на полное выздоровление, на основании...

И доктор, высоко держа голову и в упор глядя на Марусю, начал толковать об исходах воспаления легких. Говорил он мерно, отчеканивая каждое слово, не возвышая и не понижая голоса. Его слушали более чем охотно, с наслаждением, но, к сожалению, этот сухой человек не умел популяризировать и не считал нужным подтасовываться под чужие мозги. Он упомянул несколько раз слово «абсцесс», «творожистое перерождение» и вообще говорил очень хорошо и красиво, но очень непонятно. Прочел целую лекцию, пересыпанную медицинскими терминами, и не сказал ни одной фразы, которую поняли бы слушатели. Однако это не помешало слушателям сидеть разинув рты и глядеть на ученого почти с благоговением. Маруся не отрывала глаз от его рта и ловила каждое слово. Она глядела на него и сравнивала его лицо с теми лицами, которые ей приходилось каждый день видеть.

Как не похожи были на это ученое, утомленное лицо испытые, тупые лица ее ухаживателей, друзей Егорушки, которые ежедневно надоедают ей своими визитами! Лица кутил и забулдыг, от которых она, Маруся, ни разу не слыхала ни одного доброго, порядочного слова, и в подметки не годились этому холодному, бесстрастному, но умному, надменному лицу.

«Прелестное лицо! — думала Маруся, восхищаясь и лицом, и голосом, и словами. — Какой ум и сколько знаний! Зачем Жорж военный? И ему бы быть ученым».

Егорушка смотрел с умилением на доктора и думал:

«Если он говорит об умных вещах, то, значит, считает нас умными. Это хорошо, что мы поставили себя так в обществе. Ужасно, однако, глупо я сделал, что соврал про Кошечкина».

Когда доктор кончил свою лекцию, слушатели глубоко вздохнули, точно совершили какой-нибудь славный подвиг.

— Как хорошо все знать! — вздохнула княгиня.

Маруся поднялась и, как бы желая отблагодарить доктора за лекцию, села за рояль и ударила по клавишам. Ей сильно захотелось втянуть доктора в разговор, втянуть поглубже, почувствительней, а музыка всегда наводит на разговоры. Да и похвастать своими способ-

ностями захотелось перед умным, понимающим человеком.

— Это из Шопена,— заговорила княгиня, томно улыбаясь и держа руки, как институтка.— Прелестная вещь! Она у меня, доктор, смею похвастать, и певица прелестная. Моя ученица... Я в былые времена была обладательницей роскошного голоса. А вот эта... Вы ее знаете?

И княгиня назвала фамилию одной известной русской певицы.

— Она мне обязана... Да-с... Я давала ей уроки. Милая была девушка! Она была отчасти родственницей моего покойного князя... Вы любите пение? Впрочем, зачем я это спрашиваю? Кто не любит пения?

Маруся начала играть лучшее место в вальсе и обернулась с улыбкой. Ей нужно было прочесть на лице доктора, какое впечатление произвела на него ее игра?

Но не удалось ей ничего прочесть. Лицо доктора было по-прежнему безмятежно и сухо. Он быстро допивал чай.

— Я влюблена в это место,— сказала Маруся.

— Благодарствую,— сказал доктор.— Больше не хочу.

Он сделал последний глоток, поднялся и взялся за шляпу, не выражая ни малейшего желания дослушать вальс до конца. Княгиня вскочила. Маруся сконфузилась и, обиженная, закрыла рояль.

— Вы уже уходите,— заговорила княгиня, сильно хмурясь.— Не хотите ли еще чего? Надеюсь, доктор... Дорогу вы теперь знаете. Вечерком, когда-нибудь... Не забывайте нас...

Доктор кивнул два раза головой, неловко пожал протянутую княжной руку и молча пошел к своей шубе.

— Лед! Дерево! — заговорила княгиня по уходе доктора.— Это ужасно! Смеяться не умеет, деревяшка такая! Напрасно ты для него играла, Мари! Точно для чая одного остался! Выпил и ушел!

— Но как он умен, тапан! Очень умен! С кем же ему говорить у нас? Я неуч, Жорж скрытен и все мол-

чит... Разве мы можем поддерживать умный разговор? Нет!

— Вот вам и плебей! Вот вам и племянник Никифора! — сказал Егорушка, выпивая из молочников сливки. — Каков? Рационально, индифферентно, субъективно... Так и сыпет, шельма! Каков плебей? А коляска-то какая! Посмотрите! Шик!

И все трое посмотрели в окно на коляску, в которую садилась знаменитость в большой медвежьей шубе. Княгиня покраснела от зависти, а Егорушка значительно подмигнул глазом и свистнул. Маруся не видела коляски. Ей некогда было видеть ее: она рассматривала доктора, который произвел на нее сильное впечатление. На кого не действует новизна?

А Топорков для Маруси был слишком нов...

Выпал первый снег, за ним второй, третий, и затянулась надолго зима со своими трескучими морозами, сугробами и сосульками. Не люблю я зимы и не верю тому, кто говорит, что любит ее. Холодно на улице, дымно в комнатах, мокро в калошах. То суровая, как свекровь, то плаксивая, как старая дева, со своими волшебными лунными ночами, тройками, охотой, концертами и балами, зима надоедает очень быстро и слишком долго тянется, для того чтобы отравить не одну бесприютную чахоточную жизнь.

Жизнь в доме князей Приклонских потекла своим чередом. Егорушка и Маруся совершенно уже выздоровели, и даже мать перестала считать их больными. Обстоятельства, как и прежде, не думали поправляться. Дела становились все хуже и хуже, денег становилось все меньше и меньше. Княгиня заложила и перезаложила все свои драгоценности, фамильные и благоприобретенные. Никифор по-прежнему болтал в лавочке, куда посылали его брать в кредит разную мелочь, что господа должны ему триста рублей и не думают платить. То же самое болтал и повар, которому, из сострадания, подарил лавочник свои старые сапоги. Фуров стал еще настойчивее. Ни на какие отсрочки он более не соглашался и говорил княгине дерзости, когда та умоляла его подождать протестовать вексель. С легкой руки Фурова загалдели и другие кредиторы. Каждое утро княгине

приходилось принимать нотариусов, судебных приставов и кредиторов. Затевался, кажется, конкурс по делам о несостоятельности.

Подушка княгини по-прежнему не высыхала от слез. Днем княгиня крепилась, ночью же давала полную свободу слезам и плакала всю ночь, вплоть до утра. Не нужно было ходить далеко, чтобы отыскать причину для такого плача. Причины были под самым носом: они резали глаза своею рельефностью и яркостью. Бедность, ежеминутно оскорбляемое самолюбие, оскорбляемое... кем?— ничтожными людишками, разными Фуровыми, поварами, купчишками. Любимые вещи шли в заклад, разлука с ними резала княгиню в самое сердце. Егорушка по-прежнему вел беспорядочную жизнь, Маруся не была еще пристроена... Мало ли причин для того, чтобы плакать? Будущее было туманно, но и сквозь туман княгиня усматривала зловещие призраки. Плохая надежда была на это будущее. На него не надеялись, а его боялись...

Денег становилось все меньше и меньше, а Егорушка кутил все больше и больше, кутил он настойчиво, с ожесточением, как бы желая наверстать время, утраченное во время болезни. Он пропивал все, что имел и чего не имел, свое и чужое. В своем распутстве он был дерзок и нахален до чертиков. Занять денег у первого встречного ему ничего не стоило. Садиться играть в карты, не имея в кармане ни гроша, было у него обыкновением, а попить и пожрать на чужой счет, прокатиться с шиком на чужом извозчике и не заплатить извозчику не считалось грехом. Изменился он очень мало: прежде он сердился, когда над ним смеялись, теперь же он только слегка конфузился, когда его выталкивали или выводили.

Изменилась одна только Маруся. У нее была новость, и новость самая ужасная. Она стала разочаровываться в брате. Ей почему-то вдруг стало казаться, что он не похож на человека непризнанного, непонятого, что он просто-напросто самый обыкновенный человек, такой же человек, как и все, даже еще хуже... Она перестала верить в его безнадежную любовь. Ужасная новость! Просиживая по целым часам у окна и глядя

бесцельно на улицу, она воображала себе лицо брата и силилась прочесть на нем что-нибудь стройное, не допускающее разочарования, но ничего не удавалось прочесть ей на этом бесцветном лице, кроме: пустой человек! дрянь человек! Рядом с этим лицом мелькали в ее воображении лица его товарищей, гостей, старушек-утешительниц, женихов и плаксивое, тупое от горя лицо самой княгини,— и тоска сжимала бедное сердце Маруси. Как пошло, бесцветно и тупо, как глупо, скучно и лениво около этих родных, любимых, но ничтожных людей!

Тоска сжимала ее сердце, и дух захватывало от одного страстного, еретического желанья... Бывали минутки, когда ей страстно хотелось уйти, но куда? Туда, разумеется, где живут люди, которые не дрожат перед бедностью, не развратничают, работают, не беседуют по целым дням с глупыми старухами и пьяными дураками... И в воображении Маруси торчало гвоздем одно порядочное, разумное лицо; на этом лице она читала и ум, и массу знаний, и утомление. Лица этого нельзя было забыть. Она видела его каждый день и в самой счастливой обстановке, именно в то время, когда владелец его работал или делал вид, что работает.

Доктор Топорков каждый день пролетал мимо дома Приклонских на своих роскошных санках с медвежьим пологом и толстым кучером. Пациентов у него было очень много. Делал визиты он от раннего утра до позднего вечера и успевал за день изъездить все улицы и переулки. Сидел он в санях так же, как и в кресле, важно, держа прямо голову и плечи, не глядя по сторонам. Из-за пушистого воротника его медвежьей шубы ничего не было видно, кроме белого гладкого лба и золотых очков, но Марусе достаточно было и этого. Ей казалось, что из глаз этого благодетеля человечества идут сквозь очки лучи холодные, гордые, презирающие.

«Этот человек имеет право презирать! — думала она. — Он мудр! И какие, однако, роскошные санки, какие чудные лошадки! И это бывший крепостной! Каким нужно быть силачом, чтобы родиться лакеем, а сделаться таким, как он, неприступным!»

Одна только Маруся помнила доктора, остальные же начали забывать его и скоро совершенно забыли бы, если бы он не напомнил о себе. Напомнил о себе он слишком чувствительно.

На второй день рождества, в полдень, когда Приклонские были дома, в передней робко звякнул звонок. Никифор отворил дверь.

— Княгинюшка до-о-о-ма? — услышался из передней старушечий голос, и, не дожидаясь ответа, в гостиную вползла маленькая старушонка.— Здравствуйте, княгинюшка, ваше сиятельство... благодетельница! Как поживать изволите?

— Что вам угодно? — спросила княгиня, с любопытством глядя на старуху. Егорушка прыснул в кулак. Ему показалось, что голова старухи похожа на маленькую переспелую дыню, хвостиком вверх.

— Не признаете, матушка? Неужто не помните? А Прохоровну забыли? Князьенку вашего принимала!

И старушонка подползла к Егорушке и быстро чмокнула его в грудь и руку.

— Я не понимаю,— забормотал сердито Егорушка, утирая руку о скюртук.— Этот старый черт, Никифор, впускает всякую дрянь...

— Что вам угодно? — повторила княгиня, и ей показалось, что от старухи сильно пахнет деревянным маслом.

Старуха уселась в кресло и после длиннейших предисловий, ухмыляясь и кокетничая (свахи всегда кокетничают), заявила, что у княгини есть товар, а у нее, старухи, купец. Маруся вспыхнула. Егорушка фыркнул и, заинтересованный, подошел к старухе.

— Странно,— сказала княгиня.— Сватать, значит, пришли? Поздравляю тебя, Мари, с женихом! А кто он? Можно узнать?

Старуха запыхтела, полезла за пазуху и вытащила оттуда красный ситцевый платок. Развязав на платке узелки, она потрясла его над столом, и вместе с наперстком упала фотографическая карточка.

Все покрутили носом: от красного платка с желтыми цветами понесло табачным запахом.

Княгиня взяла карточку и лениво поднесла ее к глазам.

— Красавец, матушка! — принялась сваха пояснять изображение.— Богат, благородный... Чудесный человек, тверезый...

Княгиня вспыхнула и подала карточку Марусе. Та побледнела.

— Странно,— сказала княгиня.— Если доктору угодно, то, полагаю, сам бы он мог... Посредничество тут менее всего нужно!.. Образованный человек, и вдруг... Он вас послал? Сам?

— Сами... Уж больно ему понравились вы... Семейство хорошее.

Маруся вдруг взвизгнула и, сжав в руках карточку, опрометью побежала из гостиной.

— Странно,— продолжала княгиня.— Удивительно... Не знаю даже, что и сказать вам... Я никак не ожидала этого от доктора... К чему было вам беспокоиться? Он и сам мог бы пожаловать... обидно даже... За кого он нас принимает? Мы не купцы какие-нибудь... Да и купцы теперь стали иначе жить.

— Тип! — промычал Егорушка, с презрением поглядывая на старухину головку.

Дорого дал бы отставной гусар, если бы ему позволено было хоть раз «щелкнуть» по этой головке! Он не любил старух, как большая собака не любит кошек, и приходил чисто в собачий восторг, когда видел голову, похожую на дыньку.

— Что ж, матушка? — сказала сваха, вздыхая.— Хоть он и не князевского достоинства, а могу сказать, что, матушка-княгинюшка... Благодетели ведь вы наши. Ох, грехи, грехи! А нешто он не благородный? И образование всякое получил, и богатый, и роскошью всякою господь его наделил, царица небесная... А ежели желаете, чтобы к вам пришел, то извольте... Препожалует. Отчего не прийти? Прийти можно...

И, взявши княгиню за плечо, старуха потянула ее к себе и прошептала ей на ухо:

— Шестьдесят тысяч просит... Известное дело! Жена женой, а деньги деньгами. Сами извольте знать... Я, говорит, жены не возьму без денег, потому она дол-

жна у меня всякие удовольствия получать... Чтоб свой капитал имела...

Княгиня побагровела и, шурша своим тяжелым платьем, поднялась с кресла.

— Потрудитесь передать доктору, что мы крайне удивлены,— сказала она. — Обижены... Так нельзя. Больше я вам ничего не могу сказать... Чего же ты молчишь, Жорж? Пусть она уйдет! Всякое терпение может лопнуть!

По уходе свахи княгиня схватила себя за голову, упала на диван и застонала:

— Вот до чего мы дожили! — заголосила она.— Боже мой! Какой-нибудь лекаришка, дрянь, вчерашний лакей, делает нам предложение! Благородный!.. Благородный! Ха! Ха! Скажите пожалуйста, какое благородство! Сваху прислал! Нет вашего отца! Он не оставил бы этого даром! Пошлый дурак! Хам!

Но не так обидно было княгине, что за ее дочь сватается плебей, как то, что у нее попросили шестьдесят тысяч, которых у нее нет. Ее оскорблял малейший намек на ее бедность. Проголосила она до позднего вечера и ночью просыпалась два раза, чтобы поплакать.

Но ни на кого не произвело такого впечатления посещение свахи, как на Марусю. Бедную девочку бросило в сильнейшую лихорадку. Дрожа всеми членами, она упала в постель, спрятала пылающую голову под подушку и начала, насколько хватало сил, решать вопрос:

«Неужели?!»

Вопрос головоломный. Маруся и не знала, что ответить себе на него. Он выражал и ее удивление, и смущение, и тайную радость, в которой почему-то ей стыдно было сознаться и которую хотелось скрыть от себя самой.

«Неужели?! Он, Топорков... Не может быть! Что-нибудь да не так! Переверала старуха!»

И в то же время мечты, сладчайшие, заветные, волшебные мечты, от которых замирает душа и горит голова, закопошились в ее мозгах, и всем ее маленьким существом овладел неизъяснимый восторг. Он, Топорков, хочет ее сделать своей женой, а ведь он так ста-

тен, красив, умен! Он посвятил жизнь свою человечеству и... ездит в таких роскошных санях!

«Неужели?!»

«Его можно любить! — порешила Маруся к вечеру.— О, я согласна! Я свободна от всяких предрассудков и пойду за этим крепостным на край света! Пусть мать скажет хоть одно слово — и я уйду от нее! Я согласна!»

Другие вопросы, второстепенные и третьестепенные, ей некогда было решать. Не до них было! При чем тут сваха? За что и когда он полюбил ее? Почему сам не является, если любит? Какое ей было дело до этих и до многих других вопросов? Она была поражена, удивлена... счастлива... достаточно было с нее и этого.

— Я согласна! — шептала она, стараясь нарисовать в своем воображении его лицо с золотыми очками, сквозь которые глядят разумные, солидные, утомленные глаза.— Пусть приходит! Я согласна.

И когда, таким образом, Маруся металась в постели и чувствовала всем своим существом, как жгло ее счастье, сваха ходила по купеческим домам и щедро рукою рассыпала докторские фотографии. Ходя из одного богатого дома в другой, она искала товара, которому могла бы порекомендовать «благородного» купца. Топорков не посылал ее специально к Приклонским. Он послал ее «куда хочешь». К своему браку, в котором он почувствовал необходимость, он относился безразлично: для него было решительно все одно, куда бы ни пошла сваха... Ему нужны были... шестьдесят тысяч. Шестьдесят тысяч, не менее! Дом, который он собирался купить, не уступали ему дешевле этой суммы. Занять же эту сумму было негде, на рассрочку платежа не соглашались. Оставалось только одно: жениться на деньгах, что он и делал. Маруся же в его желании опутать себя узами Гименея была, ей-богу, нисколько не виновата!

В первом часу ночи в спальную Маруси тихо вошел Егорушка. Маруся была уже раздета и старалась уснуть. Ее утомило ее неожиданное счастье: ей хотелось хоть чем-нибудь успокоить без умолку и, как ей казалось, на весь дом стучавшее сердце. В каждой мор-

щинке Егорушкиного лица сидела тысяча тайн. Он таинственно кашлянул, значительно поглядел на Марусю и, как бы желая сообщить ей нечто ужасно важное и секретное, сел на ее ноги и нагнулся слегка к ее уху.

— Знаешь, что я скажу тебе, Маша? — начал он тихо. — Я откровенно скажу... Взгляд свой, того... Потому что ведь я для твоего же счастья. Ты спишь? Я для твоего же счастья... Выходи за того... за Топоркова! Не ломайся, а выходи себе, да и... шабаш! Человек он во всех отношениях... И богат. Это ничего, что он низкого происхождения. Наплюй.

Маруся крепче закрыла глаза. Ей было стыдно. В то же время ей было очень приятно, что ее брат симпатизирует Топоркову.

— Зато он богат! Без хлеба сидеть не будешь по крайней мере. А покудова князя или графа поджидать будешь, так и с голоду подохнешь чего доброго... У нас ведь нет ни копейки! Фюйть! Пусто! Да ты спишь, что ли? А? Молчанье — знак согласия?

Маруся улыбнулась. Егорушка засмеялся и крепко, первый раз в жизни, поцеловал ее руку.

— И выходи... Он образованный человек. А как нам хорошо будет! Старуха выть перестанет!

И Егорушка погрузился в мечты. Помечтав, он мотнул головой и сказал:

— Только вот что мне непонятно... За каким чертом он эту сваху присылал? Отчего сам не пришел? Тут что-нибудь да не так... Он не такой человек, чтобы сваху присылать.

«Это правда,— подумала Маруся, почему-то вздрогнув.— Тут что-нибудь да не так... Сваху глупо посылать. В самом деле, что это значит?»

Егорушка, обыкновенно не обладавший умением соображать, на этот раз сообразил:

— Впрочем, ведь ему самому некогда шляться. Целый день занят. Как угорелый по больным бегаёт.

Маруся успокоилась, но ненадолго. Егорушка помолчал немного и сказал:

— И вот что еще для меня непонятно: он велел сказать этой ведьме, чтобы приданого было не меньше

шестидесяти тысяч. Ты слышала? «Иначе, говорит, нельзя».

Маруся вдруг открыла глаза, вздрогнула всем телом, быстро поднялась и села, забыв даже прикрыть свои плечи одеялом. Глаза ее заискрились, и щеки запылали.

— Это старуха говорит? — сказала она, дернув Егорушку за руку.— Скажи ей, что это ложь! Эти люди, такие, то есть, как он... не могут говорить этого. Он и... деньги?! Ха-ха! Эту низость могут подозревать только те, которые не знают, как он горд, как честен, неко-рыстолюбив! Да! Это прекраснейший человек! Его не хотят понять!

— И я так думаю,— сказал Егорушка.— Старуха наврала. Прислужиться ему, должно быть, захотела. Привыкла там у купцов!

Марусина головка утвердительно кивнула и юркнула под подушку. Егорушка поднялся и потянулся.

— Мать ревет,— сказал он.— Ну, да мы на нее не посмотрим. Итак, значит, того? Согласна? И отлично. Ломаться нечего. Докторша... Ха-ха! Докторша!

Егорушка похлопал Марусю по подошве и, очень довольный, вышел из ее спальни. Ложась спать, он составил в своей голове длинный список гостей, которых он пригласит на свадьбу.

«Шампанского нужно будет взять у Аболтухова,— думал он, засыпая.— Закуски брать у Корчатова... У него икра свежая. Ну, и омары...»

На другой день, утром, Маруся, одетая просто, но изысканно и не без кокетства, сидела у окна и поджидала. В одиннадцать часов Топорков промчался мимо, но не заехал. После обеда он еще раз промчался на своих воронях перед самыми окнами, но не только не заехал, но даже и не поглядел на окно, около которого сидела Маруся с розовой ленточкой в волосах.

«Ему некогда,— думала Маруся, любуясь им.— В воскресенье приедет...»

Но не приехал он и в воскресенье. Не приехал и через месяц, и через два, через три... Он, разумеется, и не думал о Приклонских, а Маруся ждала и худела от

ожидания... Кошки, не обыкновенные, а с длинными желтыми когтями, скребли ее за сердце.

«Отчего же он не едет? — спрашивала она себя.— Отчего? А... знаю... Он обижен за то, что... За что он обижен? За то, что мама так неделикатно обошлась со старушкой свахой. Он думает теперь, что я не могу полюбить его...»

— С-с-с-скотина! — бормотал Егорушка, который уже раз десять заходил к Аболтухову и спрашивал его, не может ли он выписать шампанского самого высшего сорта.

После пасхи, которая была в конце марта, Маруся перестала ожидать.

Однажды Егорушка вошел к ней в спальную и, злобно хохоча, сообщил ей, что ее «жених» женился на купчихе...

— Честь имеем поздравить-с! Честь имеем! Ха-ха-ха!

Это известие поступило слишком жестоко с моей маленькой героиней.

Она пала духом и не день, а месяцы олицетворяла собой невыразимую тоску и отчаяние. Она выдернула из своих волос розовую ленточку и возненавидела жизнь. Но как пристрастно и несправедливо чувство! Маруся и тут нашла оправдание *его* поступку. Она недаром начиталась романов, в которых женятся и выходят замуж назло любимым людям, назло, чтобы дать понять, уколоть, уязвить.

«Он назло женился на этой дуре,— думала Маруся.— О, как мы нехорошо сделали, что так оскорбительно отнеслись к его сватовству! Такие люди, как он, не забывают оскорблений!»

На щеках исчез здоровый румянец, губы разучились складываться в улыбку, мозги отказались мечтать о будущем — задурила Маруся! Ей казалось, что с Топорковым погибла для нее и цель ее жизни. На что ей теперь жизнь, если на ее долю остались одни только глупцы, тунейдцы, кутилы! Она захандрила. Ничего не замечая, не обращая ни на что внимания, ни к чему не прислушиваясь, затянула она скучную, бесцветную жизнь, на которую так способны наци девы, старые и

молодые... Она не замечала женихов, которых у нее было много, родных, знакомых. На плохие обстоятельства глядела она равнодушно, с апатией. Не заметила она даже, как банк продал дом князей Приклонских, со всем его историческим, родным для нее скарбом, и как ей пришлось перебираться на новую квартиру, скромную, дешевую, в мещанском вкусе. Это был длинный, тяжелый сон, не лишенный все-таки сновидений. Снился ей Топорков во всех своих видах: в санях, в шубе, без шубы, сидящий, важно шагающий. Вся жизнь заключалась во сне.

Но грянул гром — и слетел сон с голубых глаз с льяными ресницами... Княгиня-мать, не сумевшая перенести разорения, заболела на новой квартире и умерла, не оставив своим детям ничего, кроме благословения и нескольких платьев. Ее смерть была страшным несчастьем для княжны. Сон слетел для того, чтобы уступить свое место печали.

III

Наступила осень, такая же сырая и грязная, как и прошлогодняя.

На дворе стояло серое, слезливое утро. Темно-серые, точно грязью вымазанные, облака сплошную завлакивали небо и своею неподвижностью наводили тоску. Казалось, не существовало солнца; оно в продолжение целой недели ни разу не взглянуло на землю, как бы боясь опачкать свои лучи в жидкой грязи...

Дождевые капли барабанили в окна с особенной силой, ветер плакал в трубах и выл, как собака, потерявшая хозяина... Не видно было ни одной физиономии, на которой нельзя было бы не прочесть отчаянной скуки.

Лучше самая отчаянная скука, чем та непроходимая печаль, которая светилась в это утро на лице Маруси. Шлепая по жидкой грязи, моя героиня плелась к доктору Топоркову. Зачем она шла к нему?

«Я иду лечиться!» — думала она.

Но не верьте ей, читатель! На ее лице недаром читается борьба.

Княжна подошла к дому Топоркова и робко, с замиранием сердца дернула за звонок. Через минуту за дверью слышались шаги. Маруся почувствовала, что у нее леденеют и подгибаются ноги. В двери щелкнул замок, и Маруся увидела перед собой вопросительное лицо смазливой горничной.

— Доктор дома?

— Мы сегодня не принимаем. Завтра! — ответила горничная и, задрожав от пахнувшей на нее сырости, шагнула назад. Дверь хлопнула перед самым носом Маруси, задрожала и с шумом заперлась.

Княжна сконфузилась и лениво поплелась домой. Дома ожидал ее даровой, но давно уже надоевший ей спектакль. Спектакль далеко не княжеский!

В маленькой гостиной, на диване, обитом новым, лоснящимся ситцем, сидел князь Егорушка. Сидел он по-турецки, поджав под себя ноги. Около него, на полу, лежала его приятельница Калерия Ивановна. Оба играли в «носки» и пили. Князь пил пиво, его дульцинея мадеру. Выигравший, вместе с правом ударить противника по носу, получал и двугривенный. Калерии Ивановне, как даме, делалась маленькая уступка: вместо двугривенного она могла платить поцелуем. Эта игра доставляла обоим невыразимое наслаждение. Они покатывались со смеха, щипались, ежеминутно вскакивали со своих мест и гонялись друг за другом. Егорушка приходил в телячий восторг, когда выигрывал. Его восхищало то ломанье, с которым Калерия Ивановна отдавала проигранный поцелуй.

Калерия Ивановна, длинная и тонкая брюнетка, с ужасно черными бровями и выпуклыми рачьими глазами, ходила к Егорушке каждый день. Она приходила к Приклонским в десятом часу утра, у них пила чай, обедала, ужинала и в первом часу ночи уходила. Егорушка уверял свою сестру, что Калерия Ивановна певица, что она очень почтенная дама и т. д.

— Ты поговори-ка с ней! — убеждал сестру Егорушка. — Умница! Страсть!

Никифор, по моему мнению, был более прав, величая Калерию Ивановну шлюхой и Кавалерией Ивановной. Он ее ненавидел всей душой и выходил из себя,

когда ему приходилось прислуживать ей. Он чуял правду, и инстинкт старого преданного слуги говорил ему, что этой женщине не место около его господ... Калерия Ивановна глупа и пуста, но это не мешало ей уходить каждый день от Приклонских с полным желудком, с выгрышем в кармане и с уверенностью, что без нее жить не могут. Она — жена клубного маркёра, только всего, но это ей не мешало быть полной хозяйкой в доме Приклонских. Этой свинье нравилось класть ноги на стол.

Маруся жила на пенсию, которую она получала после отца. Пенсия отца была больше, чем обыкновенная генеральская. Марусина же доля была ничтожна. Но и этой доли было бы достаточно для безбедного житья, если бы Егорушка не имел столько прихотей.

Он, не хотевший и не умевший работать, не хотел верить тому, что он беден, и выходил из себя, если его заставляли мириться с обстоятельствами и по возможности умерять свои прихоти.

— Калерия Ивановна не любит телятины, — говорил он нередко Марусе. — Нужно для нее цыплят жарить. Черт вас знает! Беретесь хозяйничать, а не умеете! Чтоб не было завтра этой ерундистой телятины! Мы уморим с голоду эту женщину!

Маруся слегка противоречила и, чтобы не заводить неудовольствий, покупала цыпленка.

— Отчего сегодня жаркого не было? — кричал иногда Егорушка.

— Оттого, что мы вчера цыплят ели, — отвечала Маруся.

Но Егорушка плохо знал хозяйственную арифметику и знать ничего не хотел. За обедом он настойчиво требовал для себя пива, для Калерии Ивановны — вина.

— Может ли порядочный обед быть без вина? — спрашивал он Марусю, пожимая плечами и удивляясь человеческой глупости. — Никифор! Чтоб было вино! Твое дело смотреть за этим! А тебе, Маша, стыдно! Не браться же мне самому за хозяйство! Как вам нравится выводить меня из терпения!

Это был необузданный сибарит! Скоро Калерия Ивановна явилась ему на помощь.

— Вино для князя есть? — спрашивала она, когда накрывали стол для обеда.— А где пиво? Нужно сходить за пивом! Княжна, выдайте человеку на пиво! У вас есть мелкие?

Княжна говорила, что есть мелкие, и отдавала последнее. Егорушка и Калерия ели и пили и не видели, как часы, кольца и серьги Маруси, вещь за вещь, уходили в ссуду, как продавались старьевщикам ее дорогие платья.

Они не видели и не слышали, с каким кряхтеньем и бормотаньем старый Никифор отпирал свой сундучок, когда Маруся занимала у него денег на завтрашний обед. Этим пошлым и тупым людям, князю и его мещанке, никакого дела не было до всего этого!

На другой день, в десятом часу утра, Маруся отправилась к Топоркову. Дверь отперла ей та же смазливая горничная. Введя княжну в переднюю и снимая с нее пальто, горничная вздохнула и сказала:

— Вы ведь знаете, барышня? Доктор меньше пяти рублей за совет не берет-с. Это вы знайте-с.

«Для чего это она мне говорит? — подумала Маруся.— Какое нахальство! Он, бедный, и не знает, что у него такая нахальная прислуга!»

И в то же время у Маруси екнуло около сердца: у нее в кармане было только три рубля, но не станет же он гнать ее из-за каких-нибудь двух рублей.

Из передней Маруся вошла в присмную, где уже сидело множество больных. Большинство жаждущих исцеления составляли, разумеется, дамы. Они заняли всю находящуюся в приемном зале мебель, расселись группами и беседовали. Беседы велись самые оживленные о всем и обо всех: о погоде, о болезнях, о докторе, о детях... Говорили все вслух и хохотали, как у себя дома. Некоторые, в ожидании очереди, вязали и вышивали. Людей, просто и плохо одетых, в приемной не было. В соседней комнате принимал Топорков. Входили к нему по очереди. Входили с бледными лицами, серьезные, слегка дрожащие, выходили же от него красные, вспотевшие, как после исповеди, точно снявшие с себя

какое-то непосильное бремя, осчастливленные. Каждую больной Топорков занимался не более десяти минут. Болезни, должно быть, были неважные.

«Как все это похоже на шарлатанство!» — подумала бы Маруся, если бы не была занята своей думой.

Маруся вошла в докторский кабинет последней. Входя в этот кабинет, заваленный книгами с немецкими и французскими надписями на переплетах, она дрожала, как дрожит курица, которую окунули в холодную воду. Он стоял посреди комнаты, опершись левой рукой о письменный стол.

«Как он красив!» — прежде всего мелькнуло в голове его пациентки.

Топорков никогда не рисовался, да и едва ли он умел когда-нибудь рисоваться, но все позы, которые он когда-либо принимал, выходили у него как-то особенно величественны. Поза, в которой его застала Маруся, напоминала те позы величественных натурщиков, с которых художники пишут великих полководцев. Около руки его, упирившейся о стол, валялись десяти- и пятирублевки, только что полученные от пациенток. Тут же лежали, в строгом порядке, инструменты, машинки, трубки — все крайне непонятное, крайне «ученое» для Маруси. Это и кабинет с роскошной обстановкой, все вместе взятое, дополняли величественную картину. Маруся затворила за собою дверь и остановилась... Топорков указал рукой на кресло. Моя героиня тихо подошла к креслу и села. Топорков величественно покачнулся, сел на другое кресло, *vis-à-vis*¹, и впился своими вопрошительными глазами в лицо Маруси.

«Он не узнал меня! — подумала Маруся. — Иначе бы он не молчал... Боже мой, зачем он молчит? Ну, как мне начать?»

— Ну-с? — промычал Топорков.

— Кашель, — прошептала Маруся и, как бы в подтверждение своих слов, два раза кашлянула.

— Давно?

— Два месяца уж есть... По ночам больше.

¹ напротив (франц.).

— Угм... Лихорадка?

— Нет, лихорадки, кажется, нет...

— Вы лечились, кажется, у меня? Что у вас было раньше?

— Воспаление легких.

— Угм... Да, помню... Вы, кажется, Приклонская?

— Да... У меня и брат тогда же был нездоров.

— Будете принимать этот порошок... перед сном... избегать простуды...

Топорков быстро написал рецепт, поднялся и принял прежнюю позу. Маруся тоже поднялась.

— Больше ничего?

— Ничего.

Топорков уставил на нее глаза. Глядел он на нее и на дверь. Ему было некогда, и он ждал, что она уйдет. А она стояла и глядела на него, любовалась и ждала, что он скажет ей что-нибудь. Как он был хорош! Прошла минута в молчании. Наконец она встрепенулась, прочла на его губах зевок и в глазах ожидание, подала ему трехрублевку и повернула к двери. Доктор бросил деньги на стол и запер за ней дверь.

Идя от доктора домой, Маруся страшно злилась:

«Ну, отчего я не поговорила с ним? Отчего? Трусиха я, вот что! Глупо как-то все вышло... Только обеспокоила. Зачем я держала эти подлые деньги в руках, точно на показ? Деньги — это такая шекотливая вещь... Храни бог! Обидеть можно человека! Нужно платить так, чтоб незаметно это было. Ну, зачем я молчала?.. Он рассказал бы мне, объяснил... Видно было бы, для чего сваха приходила...»

Придя домой, Маруся легла в постель и спрятала голову под подушку, что она делала всегда, когда была возбуждена. Но не удалось ей успокоиться. В ее комнату вошел Егорушка и начал шагать из угла в угол, стуча и скрипя своими сапогами.

Лицо его было таинственно...

— Чего тебе? — спросила Маруся.

— А-а-а... А я думал, что ты спишь, не хотел беспокоить. Я хочу тебе кое-что сообщить... очень приятное. Калерия Ивановна хочет у нас жить. Я ее упрощил.

— Это невозможно! C'est impossible!¹ Кого ты просил?

— Отчего же невозможно? Она очень хорошая... Помогать тебе в хозяйстве будет. Мы ее в угольную комнату поместим.

— В угольной татап умерла! Это невозможно!

Маруся задвигалась, затряслась, точно ее укололи. Красные пятна выступили на ее щеках.

— Это невозможно! Ты убьешь меня, Жорж, если заставишь жить с этой женщиной! Голубчик, Жорж, не нужно! Не нужно! Милый мой! Ну, я прошу!

— Ну, чем она тебе не нравится? Не понимаю! Баба как баба... Умная, веселая.

— Я ее не люблю...

— Ну, а я люблю. Я люблю эту женщину и хочу, чтобы она жила со мной!

Маруся заплакала... Ее бледное лицо исказилось отчаянием...

— Я умру, если она будет жить здесь...

Егорушка засвистал что-то себе под нос и, пошагав немного, вышел из Марусиной комнаты. Через минуту он опять вошел.

— Займи мне рубль,— сказал он.

Маруся дала ему рубль. Надо же чем-нибудь смягчить печаль Егорушки, в котором, по ее мнению, происходила теперь ужасная борьба: любовь к Калерии боролась с чувством долга!

Вечером к княжне зашла Калерия.

— За что вы меня не любите? — спросила Калерия, обнимая княжну.— Ведь я несчастная!

Маруся освободилась от ее объятий и сказала:

— Мне не за что вас любить!

Дорого же она заплатила за ту фразу! Калерия, поместившись через неделю в комнате, в которой умерла татап, нашла нужным прежде всего отомстить за эту фразу. Мечь выбрала она самую топорную.

— И чего вы так ломаетесь? — спрашивала она княжну за каждым обедом.— При этакой бедности, как у вас, нужно не ломаться, а добрым людям кланяться,

¹ Это невозможно! (франц.)

Если б я знала, что у вас такие недостатки, то не пошла бы к вам жить. И зачем я полюбила вашего брата?! — прибавила она со вздохом.

Упреки, намеки и улыбки оканчивались хохотом над бедностью Маруси. Егорушке нипочем был этот смех. Он считал себя должным Калерии и смирялся. Марусю же отравлял идиотский хохот супруги маркёра и содержанки Егорушки.

По целым вечерам просиживала Маруся в кухне и, беспомощная, слабая, нерешительная, проливала слезы на широкие ладони Никифора. Никифор хныкал вместе с ней и разъедал Марусины раны воспоминаниями о прошлом.

— Бог их накажет! — утешал он ее.— А вы не плачьте.

Зимой Маруся еще раз пошла к Топоркову.

Когда она вошла к нему в кабинет, он сидел в кресле, по-прежнему красивый и величественный... На этот раз лицо его было сильно утомлено... Глаза мигали, как у человека, которому не дают спать. Он, не глядя на Марусю, указал подбородком на кресло *vis-à-vis*. Она села.

«У него печаль на лице,— подумала Маруся, глядя на него.— Он, должно быть, очень несчастлив со своей купчихой!»

Минуту присидели они молча. О, с каким наслаждением она пожаловалась бы ему на свою жизнь! Она поведала бы ему такое, чего он не мог бы вычитать ни из одной книги с французскими и немецкими надписями.

— Кашель,— прошептала она.

Доктор мельком взглянул на нее.

— Гм... Лихорадка?

— Да, по вечерам...

— Ночью потеете?

— Да...

— Разденьтесь...

— То есть как?..

Топорков нетерпеливым жестом указал себе на грудь. Маруся, краснея, медленно расстегнула на груди пуговицы.

— Разденьтесь. Поскорей, пожалуйста!..— сказал Топорков и взял в руки молоточек.

Маруся потянула одну руку из рукава. Топорков быстро подошел к ней и в мгновение ока привычной рукой спустил до пояса ее платье.

— Расстегните сорочку! — сказал он и, не дожидаясь, пока это сделает сама Маруся, расстегнул у шеи сорочку и, к великому ужасу своей пациентки, принялся стучать молотком по белой исхудалой груди...

— Пустите руки... Не мешайте. Я вас не съем, — бормотал Топорков, а она краснела и страстно желала провалиться сквозь землю.

Постукав, Топорков начал выслушивать. Звук у верхушки левого легкого оказался сильно притупленным. Ясно слышались трескучие хрипы и жесткое дыхание.

— Оденьтесь, — сказал Топорков и начал задавать ей вопросы: хороша ли квартира, правилен ли образ жизни и т. д.

— Вам нужно ехать в Самару, — сказал он, прочитав ей целую лекцию о правильном образе жизни. — Будете там кумыс пить. Я кончил. Вы свободны...

Маруся кое-как застегнула свои пуговики, неловко подала ему пять рублей и, немного постояв, вышла из ученого кабинета.

«Он держал меня целых полчаса, — думала она, идя домой, — а я молчала! Молчала! Отчего я не поговорила с ним?»

Она шла домой и думала не о Самаре, а о докторе Топоркове. К чему ей Самара? Там, правда, нет Калерии Ивановны, но зато же там нет и Топоркова!

Бог с ней, с этой Самарой! Она шла, злилась и в то же время торжествовала: он признал ее больной, и теперь она может ходить к нему без церемоний, сколько ей угодно, хоть каждую неделю! У него в кабинете так хорошо, так уютно! Особенно хорош диван, который стоит в глубине кабинета. На этом диване она желала бы посидеть с ним и потолковать о разных разностях, пожаловаться, посоветовать ему не брать так дорого с больных. С богатых, разумеется, можно и должно брать дорого, но бедным больным нужно делать уступку.

«Он не понимает жизни, не может отличить богатого от бедного, — думала Маруся. — Я научила бы его!»

И на этот раз дома ожидал ее даровой спектакль. Егорушка валялся на диване в истерическом припадке. Он рыдал, бранился, дрожал, как в лихорадке. По его пьяному лицу текли слезы.

— Калерия ушла! — голосил он. — Уже две ночи дома не ночевала! Она рассердилась!

Но напрасно ревел Егорушка. Вечером пришла Калерия, простила его и увезла с собой в клуб.

Распутство Егорушки достигло апогея... Ему мало было Марусиной пенсии, и он начал «работать». Он занимал деньги у прислуги, шулерничал в картах, воровал у Маруси деньги и вещи. Однажды, идя рядом с Марусей, он вытащил из ее кармана два рубля, которые она скопила для того, чтобы купить себе башмаки. Один рубль он оставил себе, а на другой купил Калерии груш. Знакомые оставили его. Прежние посетители дома Приклонских, знакомые Маруси, теперь в глаза величали его «сиятельным шулером». Даже «девицы» в «Шато де Флер» недоверчиво глядели на него и смеялись, когда он, заняв у какого-нибудь нового знакомого денег, приглашал их с собою ужинать.

Маруся видела и понимала этот апогей распутства...

Бесцеремонность Калерии тоже шла crescendo¹.

— Не ройтесь, пожалуйста, в моих платьях,— сказала ей однажды Маруся.

— Ничего от этого вашим платьям не сделается,— ответила Калерия.— А ежели вы меня считаете воровкой, то... извольте. Я уйду.

И Егорушка, проклиная сестру, целую неделю провалялся у ног Калерии, прося ее не уходить.

Но недолго может продолжаться такая жизнь. Всякая повесть имеет конец, кончился и этот маленький роман.

Наступила масленица, и с нею наступили дни, предвестники весны. Дни стали больше, полилось с крыш, с полей повеяло свежестью, вдыхая которую, вы почувствуете весну...

В один из масленичных вечеров Никифор сидел у постели Маруси... Егорушки и Калерии не было дома.

¹ возраста (итал.).

— Я горю, Никифор,— говорила Маруся.

А Никифор хныкал и разьедал ее раны воспоминаниями о прошлом... Он говорил о князе, о княгине, их житье-бытье... Описывал леса, в которых охотился покойный князь, поля, по которым он скакал за зайцами, Севастополь. В Севастополе покойный был ранен. Много рассказал Никифор. Марусе в особенности понравилось описание усадьбы, пять лет тому назад проданной за долги.

— Выйдешь, бывало, на террасу... Весна это зачинается. И боже мой! Глаз бы не отрывал от света божьего! Лес еще черный, а от него так и пышет удовольствием-с! Речка славная, глубокая... Маменька ваша во младости изволила рыбку ловить удочкой... Стоят над водой, бывалыча, по целым дням... Любили-с на воздухе быть... Природа!

Охрип Никифор, рассказывая. Маруся слушала его и не отпускала от себя. На лице старого лакея она читала все то, что он ей говорил про отца, про мать, про усадьбу. Она слушала, всматривалась в его лицо, и ей хотелось жить, быть счастливой, ловить рыбу в той самой реке, в какой ловила ее мать... Река, за рекой поле, за полем синеют леса, и над всем этим ласково сияет и греет солнце... Хорошо жить!

— Голубчик, Никифор,— проговорила Маруся, сжав его сухую руку,— миленький... Займи мне завтра пять рублей... В последний раз... Можно?

— Можно-с... У меня только и есть пять. Возьмите-с, а там бог пошлет...

— Я отдам, голубчик. Ты займи.

На другой день, утром, Маруся оделась в лучшее платье, завязала волосы розовой ленточкой и пошла к Топоркову. Прежде чем выйти из дому, она десять раз взглянула на себя в зеркало. В передней Топоркова встретила ее новая горничная.

— Вы знаете? — спросила Марусю новая горничная, стаскивая с нее пальто.— Доктор меньше пяти рублей не берет за совет...

Пациенток на этот раз в приемной было особенно много. Вся мебель была занята. Один мужчина сидел даже на роале. Прием больных начался в десять часов.

В двенадцать доктор сделал перерыв для операции и начал снова прием в два. Марусина очередь настала только тогда, когда было четыре часа.

Не пившая чаю, утомленная ожиданием, дрожа от лихорадки и волнения, она и не заметила, как очутилась в кресле, против доктора. В голове ее была какая-то пустота, во рту сухо, в глазах стоял туман. Сквозь этот туман она видела одни только мельканья... Мелькала его голова, мелькали руки, молоточек...

— Вы ездили в Самару? — спросил ее доктор. — Почему вы не ездили?

Она ничего не отвечала. Он постукал по ее груди и выслушал. Притупление на левой стороне захватывало уже область почти всего легкого. Тупой звук слышался и в верхушке правого легкого.

— Вам не нужно ехать в Самару. Не уезжайте, — сказал Топорков.

И Маруся сквозь туман прочла на сухом, серьезном лице нечто похожее на сострадание.

— Не поеду, — прошептала она.

— Скажите вашим родителям, чтобы они не пускали вас на воздух. Избегайте грубой, трудно варимой пищи...

Топорков начал советовать, увлекся и прочел целую лекцию.

Она сидела, ничего не слушала и сквозь туман глядела на его двигающиеся губы. Ей показалось, что он говорил слишком долго. Наконец он умолк, поднялся и, ожидая ее ухода, устал на нее свои очки.

Она не уходила. Ей нравилось сидеть в этом хорошем кресле и страшно было идти домой, к Калерии.

— Я кончил, — сказал доктор. — Вы свободны.

Она повернула к нему свое лицо и посмотрела на него.

«Не гоните меня!» — прочел бы доктор в ее глазах, если бы был хоть маленьким физиономистом.

Из глаз ее брызнули крупные слезы, руки бессильно опустились по сторонам кресла.

— Я люблю вас, доктор! — прошептала она.

И красное зарево, как следствие сильного душевного пожара, разлилось по ее лицу и шее.

— Я люблю вас! — прошептала она еще раз, и голова ее покачнулась два раза, бессильно опустилась и коснулась лбом стола.

А доктор? Доктор... покраснел первый раз за все время своей практики. Глаза его замигали, как у мальчишки, которого ставят на колени. Ни от одной пациентки ни разу не слышал он таких слов и в такой форме! Ни от одной женщины! Не ослышался ли он?

Сердце беспокойно заворочалось и застучало... Он конфузливо закашлялся.

— Миколаша! — послышался голос из соседней комнаты, и в полуотворенной двери показались две розовые щеки его купчихи.

Доктор воспользовался этим зовом и быстро вышел из кабинета. Он рад был придрататься хоть к чему-нибудь, лишь бы только выйти из неловкого положения.

Когда, через десять минут, он вошел в свой кабинет, Маруся лежала на диване. Лежала она на спине, лицом вверх. Одна рука спускалась до пола вместе с прядью волос. Маруся была без чувств. Топорков, красный, с стучащим сердцем, тихо подошел к ней и расстегнул ее шнуровку. Он оторвал один крючок и, сам того не замечая, порвал ее платье. Из всех оборочек, щелочек и закоулочков платья посыпались на диван его рецепты, его карточки, визитные и фотографические...

Доктор брызнул водой в ее лицо... Она открыла глаза, приподнялась на локоть и, глядя на доктора, задумалась. Ее занимал вопрос: где я?

— Люблю вас! — простонала она, узнав доктора.

И глаза, полные любви и мольбы, остановились на его лице. Она глядела, как подстреленный зверек.

— Что же я могу сделать? — спросил он, не зная, что делать... Спросил он голосом, который не узнала Маруся, не мерным, не отчеканивающим, а мягким, почти нежным...

Локоть ее подогнулся, и голова опустилась на диван, но глаза все еще продолжали смотреть на него...

Он стоял перед ней, читал в ее глазах мольбу и чувствовал себя в ужаснейшем положении. В груди стучало сердце, а в голове творилось нечто небывалое, незнакомое... Тысяча непрошенных воспоминаний закопоши-

лись в его горячей голове. Откуда взялись эти воспоминания? Неужели их вызвали эти глаза, с любовью и мольбой?

Он вспомнил раннее детство с чисткой барских самоваров. За самоварами и подзатыльниками замелькали в его памяти благодетели, благодетельницы в тяжелых салопах, духовное училище, куда отдали его за «голос». Духовное училище с розгами и кашей с песком уступило место семинарии. В семинарии латынь, голод, мечты, чтение, любовь с дочерью отца-эконома. Вспомнилось ему, как он, вопреки желаниям благодетелей, бежал из семинарии в университет. Бежал без гроша в кармане, в истоптанных сапогах. Сколько прелести в этом бегстве! В университете голод и холод ради труда... Трудная дорога!

Наконец он победил, лбом своим пробил туннель к жизни, прошел этот туннель и... что же? Он знает превосходно свое дело, много читает, много работает и готов работать день и ночь...

Топорков искоса поглядел на десяти- и пятирублевки, которые валялись у него на столе, вспомнил барынь, от которых только что взял эти деньги, и покраснел... Неужели только для пятирублевок и барынь он прошел ту трудовую дорогу? Да, только для них...

И под напором воспоминаний осунулась его величественная фигура, исчезла гордая осанка и поморщилось гладкое лицо.

— Что же я могу сделать? — прошептал он еще раз, глядя на Марусины глаза.

Ему стало стыдно этих глаз.

А что, если она спросит: что ты сделал и что приобрел за все время своей практики?

Пятирублевки и десятирублевки, и ничего больше! Наука, жизнь, покой, все отдано им. А они дали ему княжескую квартиру, изысканный стол, лошадей, все то, одним словом, что называется комфортом.

Вспомнил Топорков свои семинарские «идеалы» и университетские мечты, и страшную, невылазную грязью показались ему эти кресла и диван, обитые дорогим бархатом, пол, устланный сплошным ковром, эти бра, эти трехсотрублевые часы!

Он подался вперед и поднял Марусю с грязи, на которой она лежала, поднял высоко, с руками и ногами...

— Не лежи здесь! — сказал он и отвернулся от дивана.

И, как бы в благодарность за это, целый водопад чудных льняных волос полился на его грудь... Около его золотых очков заблестали чужие глаза. И что за глаза! Так и хочется дотронуться до них пальцем!

— Дай мне чаю! — прошептала она.

.....

На другой день Топорков сидел с ней в купе первого класса. Он вез ее в Южную Францию. Станный человек! Он знал, что нет надежды на выздоровление, знал отлично, как свои пять пальцев, но вез ее... Всю дорогу постукивал, выслушивал, расспрашивал. Не хотел он верить своим знаниям и всеми силами старался выстукивать и выслушать на ее груди хоть маленькую надежду!

Деньги, которые еще вчера он так усердно копил, в огромнейших дозах рассыпались теперь на пути.

Он все отдал бы теперь, если бы хоть в одном легком этой девушки не слышались проклятые хрипы! Ему и ей так хотелось жить! Для них взошло солнце, и они ожидали дня... Но не спасло солнце от мрака и... не цвести цветам поздней осенью!

Княжна Маруся умерла, не прожив в Южной Франции и трех дней.

Топорков, по приезде из Франции, зажил по-прежнему. По-прежнему лечит барынь и копит пятирублевки. Впрочем, можно заметить в нем и перемену. Он, говоря с женщиной, глядит в сторону, в пространство... Почему-то ему страшно делается, когда он глядит на женское лицо...

Егорушка жив и здоров. Он бросил Калерию и живет теперь у Топоркова. Доктор взял его к себе в дом и души в нем не чает. Егорушкин подбородок напоминает ему подбородок Маруси, и за это позволяет он Егорушке прокучивать свои пятирублевки.

Егорушка очень доволен.

НАРВАЛСЯ

Из летописи

Лиговско-Чернореченского банка

«Спать хочется! — думал я, сидя в банке.— Приду домой и завалюсь спать».

— Какое блаженство! — шептал я, наскоро пообедав и стоя перед своей кроватью.— Хорошо жить на этом свете! Важно!

Бесконечно улыбаясь, потягиваясь и нежась на кровати, как кот на солнце, я закрыл глаза и принялся засыпать. В закрытых глазах забегали мурашки; в голове завертелся туман, замахали крылья, полетели к небу из головы какие-то меха... с неба поползла в голову вата... Все такое большое, мягкое, пушистое, туманное... В тумане забегали маленькие человечки. Они побегали, покрутились и скрылись за туманом... Когда исчез последний человечек и дело Морфея было уже в шляпе, я вздрогнул.

— Иван Осипыч, сюда! — гаркнули где-то.

Я открыл глаза. В соседнем номере стукнули и откупорили бутылку. Я повернулся на другой бок и укрыл голову одеялом.

— «Я вас любил, любовь еще, быть может...» — затянул баритон в соседнем номере.

— Отчего вы не заведете себе пианино? — спросил другой голос.

— Черрти,— проворчал я.— Не дадут уснуть!

Откупорили другую бутылку и зазвонили посудой. Зашагал кто-то, звеня шпорами. Хлопнули дверью.

— Тимофей, скоро же ты самовар? Живей, брат! Тарелочек еще! Ну-с, господа? По христианскому обычаю. По маленькой... Мадемуазель-стриказель, бараньи ножки, же у при!¹

В соседнем номере начался кутеж. Я спрятал голову под подушку.

— Тимофей! Если придет высокий блондин в медвежьей шубе, то скажешь ему, что мы здесь...

Я плюнул, вскочил и постучал в стену. В соседнем номере притихли. Я опять закрыл глаза. Забегали мурашки, меха, вата... Но — увы! — через минуту опять заорали.

— Господа! — крикнул я умоляющим голосом.— Ведь это, наконец, свинство! Ведь вас просят! Я болен и спать хочу.

— Спите, вам никто не мешает; а если вы больны, так отправляйтесь к доктору! «У рыцарей любовь и честь...» — запел баритон.

— Как это глупо! — сказал я.— Очень глупо! Даже подло.

— Прошу не рассуждать! — послышался за стеной старческий голос.

— Удивительно! Повелитель какой нашелся! Птица важная! Да вы кто такой?

— Не рассуж-дать!!!

— Мужичье! Надулись водки и орут!

— Не рас-суж-дать!!! — раз десять повторил старческий охрипший голос.

Я ворочался на кровати. Мысль, что я не сплю по милости праздных гуляк, приводила меня мало-помалу в ярость... Поднялась пляска...

— Если вы не замолчите,— крикнул я, захлебываясь от злости,— то я пошлю за полицией! Человек!! Тимофей!

— Не рассуждать!!! — еще раз крикнул старческий голосок.

Я вскочил и как сумасшедший побежал к соседям. Мне захотелось во что бы то ни стало настоять на своем.

¹ прошу вас! (от франц.— je vous prie!).

Там кутили... На столе стояли бутылки. За столом сидели какие-то личности с выпуклыми, рачьими глазами. В глубине номера на диване полулежал лысый старичок... На его груди покоилась головка известной коротки-блондинки. Он глядел на мою стену и дребезжал:

— Не рассуждать!!

Я раскрыл рот, чтобы начать ругаться, и... о ужас!!! В старичке я узнал директора того банка, где я служу. Мигом слетели с меня и сон, и злость, и фанаберия... Я выбежал от соседей.

Целый месяц директор не глядел на меня и не сказал мне ни единого слова... Мы избегали друг друга. Через месяц он боком подошел к моему столу и, нагнув голову, глядя на пол, проговорил:

— Я полагал... надеялся, что вы сами догадаетесь... Но вижу, что вы не намерены... Гм... Вы не волнуйтесь. Даже можете сесть... Я полагал, что... Нам двоим служить невозможно... Ваше поведение в номерах Бултыхина... Вы так испугали мою племянницу... Вы понимаете... Сдадите дела Ивану Никитичу...

И, подняв голову, он отошел от меня...

А я погиб.

НЕУДАЧНЫЙ ВИЗИТ

Франт влетает в дом, в котором ранее никогда еще не был. С визитом приехал... В передней встречается ему девочка лет шестнадцати, в ситцевом платье и белом фартучке.

— Ваши дома? — обращается он развязно к девочке.

— Дома.

— Мм... Персик! И барыня дома?

— Дома,— говорит девочка и почему-то краснеет.

— Мм... Штучка! Шшшельмочка! Куда шапку положить?

— Куда угодно. Пустите! Странно...

— Ну, чего краснеешь? Эка! Не слопаю...

И франт бьет девочку перчаткой по талии.

— Эка! А ничего! Недурна! Поди доложи!

Девочка краснеет, как мак, и убегает.

— Молода еще! — заключает франт и идет в гостиную.

В гостиной встреча с хозяйкой. Садятся, болтают...

Минут через пять через гостиную проходит девочка в фартучке.

— Моя старшая дочь! — говорит хозяйка и указывает на ситцевое платье.

Картина.

ДВА СКАНДАЛА

— Стойте, черт вас возьми! Если эти козлы-тенора не перестанут рознить, то я уйду! Глядеть в ноты, рыжая! Вы, рыжая, третья с правой стороны! Я с вами говорю! Если не умеете петь, то за каким чертом вы лезете на сцену со своим вороньим карканьем? Начинайте сначала!

Так кричал он и трещал по партитуре своей дирижерской палочкой. Этим косматым господам дирижерам многое прощается. Да иначе и нельзя. Ведь если он посылает к черту, бранится и рвет на себе волосы, то этим самым он заступает за святое искусство, с которым никто не смеет шутить. Он стоит настороже, а не будь его, кто бы не пускал в воздух этих отвратительных полутонов, которые то и дело расстраивают и убивают гармонию? Он бережет эту гармонию и за нее готов повесить весь свет и сам повеситься. На него нельзя сердиться. Заступайся он за себя, ну тогда другое дело!

Большая часть его желчи, горькой, пенящейся, доставалась на долю рыжей девочки, стоявшей третьей с правого фланга. Он готов был проглотить ее, провалить сквозь землю, поломать и выбросить в окно. Она рознила больше всех, и он ненавидел и презирал ее, рыжую, больше всех на свете. Если б она провалилась сквозь землю, умерла тут же на его глазах, если бы запачканный ламповщик зажег ее вместо лампы или побил ее публично, он захохотал бы от счастья.

— А, черт вас возьми! Поймите же наконец, что вы столько же смыслите в пении и музыке, как я в китоловстве! Я с вами говорю, рыжая! Растолкуйте ей, что там не «фа дизз», а просто «фа»! Поучите этого неуча нотам! Ну, пойте одна! Начинайте! Вторая скрипка, убирайтесь вы к черту с вашим неподмазанным смычком!

Она, восемнадцатилетняя девочка, стояла, глядела в ноты и дрожала, как струна, которую сильно дернули пальцем. Ее маленькое лицо то и дело вспыхивало, как зарево. На глазах блестели слезы, готовые каждую минуту закапать на музыкальные значки с черными булабочными головками. Если бы шелковые золотистые волосы, которые водопадом падали на ее плечи и спину, скрыли ее лицо от людей, она была бы счастлива.

Ее грудь вздымалась под корсажем, как волна. Там, под корсажем и грудью, происходила страшная возня: тоска, угрызения совести, презрение к самой себе, страх... Бедная девочка чувствовала себя виноватой, и совесть исцарапала все ее внутренности. Она виновата перед искусством, дирижером, товарищами, оркестром и, наверное, будет виновата и перед публикой... Если ее ошибают, то будут тысячу раз правы. Глаза ее боялись глядеть на людей, но она чувствовала, что на нее глядят все с ненавистью и презрением... В особенности он! Он готов швырнуть ее на край света, подальше от своих музыкальных ушей.

«Боже, прикажи мне петь как следует!» — думала она, и в ее сильном дрожащем сопрано слышалась отчаянная нотка.

Он не хотел понять этой нотки, а бранился и хватал себя за длинные волосы. Плевать ему на страдания, если вечером спектакль!

— Это из рук вон! Эта девчонка готова сегодня зарезать меня своим козлиным голосом! Вы не примадонна, а прачка! Возьмите у рыжей ноты!

Она рада бы петь хорошо, не фальшивить... Она и умела не фальшивить, была мастером своего дела. Но разве виновата она была, что ее глаза не повиновались ей? Они, эти красивые, но недобросовестные глаза, которые она будет проклинать до самой смерти, они, вме-

сто того чтобы глядеть в ноты и следить за движениями его палочки, смотрели в волосы и в глаза дирижера... Ее глазам нравились всклокоченные волосы и дирижерские глаза, из которых сыпались на нее искры и в которые страшно смотреть. Бедная девочка без памяти любила лицо, по которому бегали тучи и молнии. Разве виновата она была, что ее маленький ум, вместо того чтобы утонуть в репетиции, думал о посторонних вещах, которые мешают дело делать, жить, быть покойной...

Глаза ее устремлялись в ноты, с нот они перебегали на его палочку, с палочки на его белый галстук, подбородок, усики и так далее...

— Возьмите у нее ноты! Она больна! — крикнул наконец он.— Я не продолжаю!

— Да, я больна,— прошептала покорно она, готовая просить тысячу извинений...

Ее отпустили домой, и ее место в спектакле было занято другой, у которой хуже голос, но которая умеет критически относиться к своему делу, работать честно, добросовестно, не думая о белом галстуке и усиках.

И дома он не давал ей покоя. Приехав из театра, она упала на постель. Спрятав голову под подушку, она видела во мраке своих закрытых глаз его физиономию, искаженную гневом, и ей казалось, что он бьет ее по вискам своей палочкой. Этот дерзкий был ее первую любовью!

И первый блин вышел комом.

На другой день после репетиции к ней приезжали ее товарищи по искусству, чтобы осведомиться об ее здоровье. В газетах и на афишах было напечатано, что она заболела. Приезжал директор театра, режиссер, и каждый засвидетельствовал ей свое почтительное участие. Приезжал и он.

Когда он не стоит во главе оркестра и не глядит на свою партитуру, он совсем другой человек. Тогда он вежлив, любезен и почтителен, как мальчик. По лицу его разлита почтительная, сладенькая улыбочка. Он не только не посылает к черту, но даже боится в присутствии дам курить и класть ногу на ногу. Тогда добрей и порядочней его трудно найти человека.

Он приехал с очень озабоченным лицом и сказал ей, что ее болезнь — большое несчастье для искусства, что все ее товарищи и он сам готовы все отдать для того только, чтобы «notre petit rossignol»¹ был здоров и покоен. О, эти болезни! Они многое отняли у искусства. Нужно сказать директору, что если на сцене будет по-прежнему сквозной ветер, то никто не согласится служить, всякий уйдет. Здоровье дороже всего на свете! Он с чувством пожал ее ручку, искренно вздохнул, попросил позволения побывать у нее еще раз и уехал, проклиная болезни.

Славный мальчик! Но зато, когда она сказалась здоровой и пожаловала на сцену, он опять послал ее к «самому черному» черту и опять по лицу его забегали молнии.

В сущности он очень порядочный человек. Она стояла однажды за кулисами и, опершись о розовый куст с деревянными цветами, следила за его движениями. Дух ее захватывало от восторга при виде этого человека. Он стоял за кулисами и, громко хохоча, пил с Мефистофелем и Валентином шампанское. Остроты так и сыпались из его рта, привыкшего посылать к черту. Выпивши три стакана, он отошел от певцов и направился к выходу в оркестр, где уже настраивались скрипки и виолончели. Он прошел мимо нее, улыбаясь, сияя и махая руками. Лицо его горело довольством. Кто осмелится сказать, что он плохой дирижер? Никто! Она покраснела и улыбнулась ему. Он, пьяный, остановился около нее и заговорил:

— Я раскис, — сказал он, — боже мой! Мне так хорошо сегодня! Ха-ха! Вы сегодня все такие хорошие! У вас чудные волосы! Боже мой, неужели я до сих пор не замечал, что у этого соловья такая чудная грива?

Он нагнулся и поцеловал ее плечо, на котором лежали волосы.

— Я раскис через это проклятое вино... Мой милый соловей, ведь мы не будем больше ошибаться? Будем со вниманием петь? Зачем вы так часто фальшивите? С вами этого не было прежде, золотая головка!

¹ наш маленький соловей (франц.).

Дирижер совсем раскис и поцеловал ее руку. Она тоже заговорила:

— Не браните меня... Ведь я... я... Вы меня убиваете своей бранью... Я не перенесу... Клянусь вам!

И слезы навернулись на ее глазах. Она, сама того не замечая, оперлась о его локоть и почти повисла на нем.

— Ведь вы не знаете... Вы такой злой. Клянусь вам...

Он сел на куст и чуть не свалился с него... Чтобы не свалиться, он ухватился за ее талию.

— Звонок, моя крошка. До следующего антракта!

После спектакля она ехала домой не одна. С ней ехал пьяный, хохочущий от счастья, раскисший *он*! Как она счастлива! Боже мой! Она ехала, чувствовала его объятия и не верила своему счастью. Ей казалось, что лжет судьба! Но как бы там ни было, а целую неделю публика читала в афише, что дирижер и его *она* больны... Он не выходил от нее целую неделю, и эта неделя показалась обоим минутой. Девочка отпустила его от себя только тогда, когда уж неловко было скрываться от людей и ничего не делать.

— Нужно проветрить нашу любовь, — сказал дирижер на седьмой день. — Я соскучился без своего оркестра.

На восьмой день он уже махал палочкой и посылал к черту всех, не исключая даже и «рыжей».

Эти женщины любят, как кошки. Моя героиня, сошедшись и начавши жить со своим пугалом, не отказалась от своих глупых привычек. Она по-прежнему, вместо того чтобы глядеть в ноты и на палочку, глядела на его галстук и лицо... На репетициях и во время спектакля она то и дело фальшивила и еще в большей степени, чем прежде. Зато же и бранил он ее! Прежде бранил он ее только на репетициях, теперь же мог это делать и дома, после спектакля, стоя перед ее постелью. Сентиментальная девчонка! Достаточно ей было, когда она пела, взглянуть на любимое лицо, чтобы отстать на целых четверть такта или вздрогнуть голосом. Когда она пела, она глядела на него со сцены, когда же не пела, она стояла за кулисами и не отрывала глаз от его длинной фигуры. Во время антракта они сходились в

уборной, где оба пили шампанское и смеялись над ее поклонниками. Когда оркестр играл увертюру, она стояла на сцене и глядела на него в маленькое отверстие в занавесе. В это отверстие актеры смеются над плешью первого ряда и по количеству видимых голов определяют величину сбора.

Отверстие в занавесе погубило ее счастье. Случился скандал.

В одну масленицу, когда театр бывает наименее пуст, давали «Гугенотов». Когда дирижер перед началом пробирался между пюпитрами к своему месту, она стояла уже у занавеса и с жадностью, с замиранием сердца глядела в отверстие.

Он построил кисло-серьезную физиономию и замахал во все стороны своей палочкой. Заиграли увертюру. Красивое лицо его сначала было относительно покойно... Потом же, когда увертюра близилась к середине, по его правой щеке забегали молнии и правый глаз прищурился. Беспорядок слышался справа: там сфальшивила флейта и не вовремя закашлял фагот. Кашель может помешать начать вовремя. Потом покраснела и задвигалась левая щека. Сколько движения и сгня в этом лице! Она глядела на него и чувствовала себя на седьмом небе, на верху блаженства.

— Виолончель к чертям! — пробормотал он сквозь зубы быстро, чуть слышно.

Эта виолончель знает ноты, но не хочет знать души! Можно ли поручать этот нежный и мягкозвучный инструмент людям, не умеющим чувствовать? По всему лицу дирижера забегали судороги, и свободная рука вцепилась в пюпитр, точно пюпитр виноват в том, что толстый виолончелист играет только ради денег, а не потому, что этого хочется его душе!

— Долой со сцены! — послышалось где-то вблизи...

Вдруг лицо дирижера просияло и засветилось счастьем. Губы его улыбнулись. Одно из трудных мест было пройдено первыми скрипками более чем блистательно. Это приятно дирижерскому сердцу. У моей рыжеволосой героини стало на душе тоже приятно, как будто бы она играла на первых скрипках или имела дирижерское

сердце. Но это сердце было не дирижерское, хотя и сидел в нем дирижер. «Рыжая чертовка», глядя на улыбающееся лицо, сама заулыбалась... но не время было улыбаться. Случилось нечто сверхъестественное и ужасно глупое...

Отверстие вдруг исчезло перед ее глазом. Куда оно девалось? Наверху что-то зашумело, точно подул ровный ветер... По ее лицу что-то поползло вверх... Что случилось? Она начала глазом искать отверстие, чтобы увидеть любимое лицо, но вместо отверстия она увидела вдруг целую массу света, высокую и глубокую... В массе света замелькало бесчисленное множество огней и голов, и между этими разнообразными головами она увидела дирижерскую голову... Дирижерская голова посмотрела на нее и замерла от изумления... Потом изумление уступило место невыразимому ужасу и отчаянию... Она, сама того не замечая, сделала полшага к рампе... Из второго яруса послышался смех, и скоро весь театр утонул в нескончаемом смехе и шиканье. Черт возьми! На «Гугенотах» будет петь барыня в перчатках, шляпе и платье самого новейшего времени!..

— Ха-ха-ха!

В первом ряду задвигались смеющиеся плечи... Поднялся шум... А его лицо стало старо и морщинисто, как лицо Эзопа! Оно дышало ненавистью, проклятиями... Он топнул ногой и бросил под ноги свою дирижерскую палочку, которую он не променяет на фельдмаршальский жезл. Оркестр секунду понес чепуху и умолк... Она отступила назад и, пошатываясь, поглядела в сторону... В стороне были кулисы, из-за которых смотрели на нее бледные, злобные рыла... Эти звериные рыла шипели...

— Вы губите нас! — шипел антрепренер...

Занавес пополз вниз медленно, волнуясь, нерешительно, точно его спускали не туда, куда нужно... Она зашаталась и оперлась о кулису...

— Вы губите меня, развратная, сумасшедшая... о, чтобы черт тебя забрал, отвратительнейшая гадина!

Это говорил голос, который час тому назад, когда она собиралась в театр, шептал ей: «Тебя нельзя не любить, моя крошка! Ты мой добрый гений! Твой поце-

луй стоит Магометова рая!» А теперь? Она погибла, честное слово погибла!

Когда порядок в театре был водворен и взбешенный дирижер принялся во второй раз за увертюру, она была уже у себя дома. Она быстро разделась и прыгнула под одеяло. Лежа не так страшно умирать, как стоя или сидя, а она была уверена, что угрызения совести и тоска убьют ее... Она спрятала голову под подушку и, дрожа, боясь думать и задыхаясь от стыда, завертелась под одеялом... От одеяла пахло сигарами, которые курил он... Что-то он скажет, когда придет?

В третьем часу ночи пришел он. Дирижер был пьян. Он напился с горя и от бешенства. Ноги его подгибались, а руки и губы дрожали, как листья при слабом ветре. Он, не скидая шубы и шапки, подошел к постели и постоял минуту молча. Она притаила дыхание.

— Мы можем спать покойно после того, как осрамилась на весь свет! — прошипел он. — Мы, истинные артисты, умеем мириться со своею совестью! Истинная артистка! Ха! Ха! Ведьма!

Он сдернул с нее одеяло и швырнул его к камину.

— Знаешь, что ты сделала? Ты посмеялась надо мной, чтоб черт забрал тебя! Ты знаешь это? Или ты не знаешь? Вставай!

Он рванул ее за руку. Она села на край кровати и спрятала свое лицо за спутавшимися волосами. Плечи ее дрожали.

— Прости меня!

— Ха! Ха! Рыжая!

Он рванул ее за сорочку и увидел белое, как снег, чуждое плечо. Но ему было не до плеч.

— Вон из моего дома! Одевайся! Ты отравила мою жизнь, ничтожная!

Она пошла к стулу, на котором беспорядочной кучей лежало ее платье, и начала одеваться. Она отравила его жизнь! Подло и гнусно с ее стороны отравлять жизнь этого великого человека! Она уйдет, чтобы не продолжать этой подлости. И без нее есть кому отравлять жизни...

— Вон отсюда! Сейчас же!

Он бросил ей в лицо кофточку и заскрежетал зубами.

Она оделась и встала около двери. Он замолчал. Но недолго продолжалось молчание. Дирижер, покачиваясь, указал ей на дверь. Она вышла в переднюю. Он отворил дверь на улицу.

— Прочь, мерзкая!

И, взяв ее за маленькую спину, он вытолкнул ее...

— Прощай! — прошептала она кающимся голосом и исчезла в темноте.

А было туманно и холодно... С неба моросил мелкий дождь...

— К черту! — крикнул ей вослед дирижер и, не прислушиваясь к ее шлепанью по грязи, запер дверь. Выгнав подругу в холодный туман, он улегся в теплую постель и захрапел.

— Так ей и следует! — сказал он утром, проснувшись, но... он лгал! Кошки скребли его музыкальную душу, и тоска по рыжей защемила его сердце. Неделю ходил он как полупьяный, страдая, поджидая ее и терзаясь неизвестностью. Он думал, что она придет, верил в это... Но она не пришла. Отравление человека, которого она любит больше жизни, не входит в ее программу. Ее вычеркнули из списка артисток театра за «неприличное поведение». Ей не простили скандала. Об отставке ей не было сообщено, потому что никто не знал, куда она исчезла. Не знали ничего, но предполагали многое...

— Она замерзла или утопилась! — предполагал дирижер.

Через полгода забыли о ней. Забыл о ней и дирижер. На совести каждого красивого артиста много женщин, и, чтобы помнить каждую, нужно иметь слишком большую память.

Все наказывается на этом свете, если верить добродетельным и благочестивым людям. Был ли наказан дирижер?

Да, был.

Пять лет спустя дирижер проезжал через город X. В X. прекрасная опера, и он остался в нем на день, чтобы познакомиться с ее составом. Остановился он в лучшем Hôtel'e и в первое же утро после приезда получил письмо, которое ясно показывает, какую популярность пользовался мой длинноволосый герой. В письме просили

его продирижировать «Фауста». Дирижер Н. внезапно заболел, и дирижерская палочка вакантна. Не пожелает ли он, мой герой (просили его в письме), взять на себя труд воспользоваться случаем и угостить своим искусством музыкальнейших обывателей города X.? Мой герой согласился.

Он взялся за палочку, и «чужие» музыканты увидели лицо с молниями и тучами. Молний было много. И не мудрено: репетиций не было, и пришлось начинать блистать своим искусством прямо со спектакля.

Первое действие прошло благополучно. То же случилось и со вторым. Но во время третьего произошел маленький скандал. Дирижер не имеет привычки смотреть на сцену или куда бы то ни было. Все его внимание обращено на партитуру.

Когда в третьем действии Маргарита, прекрасное, сильное сопрано, запела за прялкой свою песню, он улыбнулся от удовольствия: барыня пела прелестно. Но когда же эта самая барыня опоздала на осьмую такта, по лицу его пробежали молнии, и он с ненавистью поглядел на сцену. Но шах и мат молниям! Рот широко раскрылся от изумления, и глаза стали большими, как у теленка.

На сцене за прялкой сидела та рыжая, которую он когда-то выгнал из теплой постели и толкнул в темный, холодный туман. За прялкой сидела она, рыжая, но уже совсем не такая, какую он выгнал, а другая. Лицо было прежнее, но голос и тело не те. Тот и другое были изящнее, грациознее и смелее в своих движениях.

Дирижер разинул рот и побледнел. Палочка его нервно задвигалась, беспорядочно заболталась на одном месте и замерла в одном положении...

— Это она! — сказал он вслух и засмеялся.

Удивление, восторг и беспредельная радость овладели его душой. Его рыжая, которую он выгнал, не пропала, а стала великаном. Это приятно для его дирижерского сердца. Одним светилом больше, и искусство в его лице захлебывается от радости!

— Это она! Она!

Палочка замерла в одном положении, и когда он, желая поправить дело, махнул ею, она выпала из его

рук и застучала по полу... Первая скрипка с удивлением поглядела на него и нагнулась за палочкой. Виолончель подумала, что с дирижером дурно, замолкла и опять начала, но невпопад... Звуки завертелись, закружились в воздухе и, ища выхода из беспорядка, затагнули возмутительную резь...

Она, рыжая Маргарита, вскочила и гневным взором измерила «этих пьяниц», которые... Она побледнела, и глаза ее забегали по дирижеру...

А публика, которой нет ни до чего дела, которая заплатила свои деньги, затрещала и засвистала...

К довершению скандала Маргарита взвизгнула на весь театр и, подняв вверх руки, подалась всем телом к рампе... Она узнала его и теперь ничего не видела, кроме молний и туч, опять появившихся на его лице.

— А, проклятая гадина! — крикнул он и ударил кулаком по партитуре.

Что сказал бы Гуно, если бы видел, как издеваются над его творением! О, Гуно убил бы его и был бы прав!

Он ошибся первый раз в жизни, и той ошибки, того скандала не простил он себе.

Он выбежал из театра с окровавленной нижней губой и, прибежав к себе в отель, заперся. Запершись, просидел он три дня и три ночи, занимаясь, вероятно, самосозерцанием и самобичеванием.

Музыканты рассказывают, что он поседел за эти трое суток и выдернул из своей головы половину волос...

— Я оскорбил ее! — плачет он теперь, когда бывает пьян. — Я испортил ее партию! Я — не дирижер!

Отчего же он не говорил ничего подобного после того, как выгнал ее?

— Дядя мой прекраснейший человек! — говорил мне не раз бедный племянник и единственный наследник капитана Насечкина, Гриша. — Я люблю его всей душой. Зайдемте к нему, голубчик! Он будет очень рад!

И слезы навертывались на глазах Гриши, когда он говорил о дядюшке. К чести его сказать, он не стыдился этих хороших слез и плакал публично! Я внял его просьбам и неделю тому назад зашел к капитану. Когда я вошел в переднюю и заглянул в залу, я увидел умиленную картину. В большом кресле среди залы сидел старенький худенький капитан и кушал чай. Перед ним на одном колене стоял Гриша и с умилением мешал ложечкой его чай.

Вокруг коричневой шеи старичка обвивалась хорошенькая ручка Гришиной невесты... Бедный племянник и невеста спорили о том, кто из них скорей поцелует дядюшку, и не жалели поцелуев для старичка.

— А теперь вы сами поцелуйтесь, наследники! — лепетал Насечкин, захлебываясь от счастья...

Между этими тремя созданиями существовала завиднейшая связь. Я, жестокий человек, замирал от счастья и зависти, глядя на них...

— Да-с! — говорил Насечкин. — Могу сказать: пожил на своем веку! Дай бог всякому. Одних осетров сколько поел! Страсть! Например, взять бы хоть того осетра, что в Скопине съели... Гм! И теперь слюнки текут...

— Расскажите, расскажите! — говорит невеста.

— Приезжаю это я в Скопин со своими тысячами, детки, и прямо... гм... к Рыкову... господину Рыкову. Человек... уу! Золотой господин! Джентльмен! Как родного принял... Какая, кажись бы, надобность ему, а... как с родным! Ей-богу! Кофеем потчевал... После кофе закуска... Стол... На столе распивночно и навынос... Осетр... от угла до угла... Омары... икорка. Ресторант!

Я вошел в залу и прервал Насечкина. Это было аккурат в тот день, когда в Москве было получено первое телеграфическое известие о том, что скопинский банк лопнул.

— Детками наслаждаюсь! — сказал мне Насечкин после первых приветствий и, обратясь к деткам, продолжал хвастливым тоном: — И общество благородное... Чинопачальники, духовенство... иеромонахи, иереи... После каждой рюмочки под благословление подходишь... Сам весь в орденах... Генералу нос утрет... Скушали осетра... Подали другого... Съели... Потом уха с стерлядкой... фазаны...

— На вашем месте я теперь икал и страдал бы изжогой от этих осетров, а вы хвастаетесь... — сказал я. — Много у вас пропало за Рыковым?

— Зачем пропало?

— Как зачем? Да ведь банк лопнул!

— Шутки! Стара песня... И прежде пугали...

— Так вам еще неизвестно? Батенька! Серапион Егорыч! Да ведь это... это... это... Читайте!

Я полез в карман и вытащил оттуда газетину. Насечкин надел очки и, недоверчиво улыбаясь, принялся читать. Чем более он читал, тем бледнее и длиннее делалась его физиономия.

— Ло... ло... лллопнул! — заголосил он и затрясся всеми членами. — Бедная моя головушка!

Гриша покраснел, прочитал газету, побледнел... Дрожащая рука его потянулась за шапкой... Невеста зашаталась...

— Господа! Да неужели вы только теперь об этом узнали? Ведь уж об этом вся Москва говорит. Господа! Успокойтесь!

Час спустя стоял я один-одинешенек перед капитаном и утешал его:

— Полно, Серапион Егорыч! Ну что ж? Деньги пропали, зато детки остались.

— Это правда... Деньги суета... Детки... Это точно. Но, увы! Через неделю я встретился с Гришей.

— Сходите, батенька, к дядюшке! — обратился я к нему. — Отчего вы к нему не сходите? Совсем бросили старика!

— А ну его к черту! Очень он мне нужен, старый черт! Дурак! Не мог найти другого банка!

— Все-таки сходите. Ведь он ваш дядя!

— Он? Ха-ха!.. Вы смеетесь? Откуда вы это взяли? Он троюродный брат моей мачехи! Десятая вода на киселе! Нашему слесарю двоюродный кузнец!

— Ну, хоть невесту пошлите к нему!

— Да! Черт вас дернул показывать газету до свадьбы! До свадьбы не могли подождать со своими новостями!.. Теперь она рожу воротит. Тоже ведь на дядюшкин каравай рот развала! Дура чертова... Разочарована теперь.

Так, сам того не желая, разрушил я теснейшее трио... завиднейшее трио!

БАРОН

Барон — маленький, худенький старикашка лет шестидесяти. Его шея дает с позвоночником тупой угол, который скоро станет прямым. У него большая угловатая голова, кислые глаза, нос шишкой и лиловатый подбородок. По всему лицу его разлита слабая синюха, вероятно потому, что спирт стоит в том шкафу, который редко запирается бутафором. Впрочем, кроме казенного спирта, барон употребляет иногда и шампанское, которое можно найти очень часто в уборных, на донышках бутылок и стаканов. Его щеки и мешочки под глазами висят и дрожат, как тряпочки, повешенные для просушки. На лысине зеленоватый налет от зеленой подкладки ушастой меховой шапки, которую барон, когда не носит на голове, вешает на испортившийся газовый рожок за третьей кулисой. Голос его дребезжит, как треснувшая кастрюля. А костюм? Если вы смеетесь над этим костюмом, то вы, значит, не признаете авторитетов, что не делает вам чести. Коричневый сюртук без пуговиц, с лоснящимися локтями и подкладкой, обратившейся в бахрому, — замечательный сюртук. Он болтается на узких плечах барона, как на поломанной вешалке, но... что ж из этого следует? Зато он облакал когда-то гениальное тело величайшего из комиков. Бархатная жилетка с голубыми цветами имеет двадцать прорех и бесчисленное множество пятен, но нельзя же бросить ее, если она найдена в том номере, в котором

жил могучий Сальвини! Кто может поручиться, что этой жилетки не носил сам трагик? А найдена она была на другой день после отъезда великана-артиста, следовательно, можно поклясться, что она не фальшивая. Галстук, греющий шею барона, не менее замечательный галстук. Им можно похвастать, хотя и следовало бы его в чисто гигиенических и эстетических видах заменить другим, более прочным и менее засаленным. Он выкроен из останков того великого плаща, которым покрывал когда-то свои плечи Эрнесто Росси, беседуя в «Макбете» с ведьмами.

— От моего галстука пахнет кровью короля Дункана! — говорит часто барон, ища в своем галстуке паразитов.

Над пестренькими, полосатыми брючками барона можете смеяться сколько вам угодно. Их не носило ранее ни одно авторитетное лицо, хотя актеры и шутят, что эти брючки сшиты из паруса парохода, на котором Сара Бернар ездила в Америку. Они куплены у капельдинера № 16.

Зиму и лето барон ходит в больших калошах, чтобы сапоги были целей и чтобы не простудить своих ревматических ног на сквозном ветру, гуляющем по полу его суфлерской будки.

Барона можно видеть только в трех местах: в кассе, в суфлерской будке и за сценой в мужской уборной. Вне этих мест он не существует и едва ли мыслим. В кассе он ночью ночует, а днем записывает фамилии покупающих ложи и играет с кассиром в шашки. Старый и золотушный кассир — единственный человек, который слушает барона и отвечает на его вопросы. В суфлерской будке барон исполняет свои священные обязанности; там он зарабатывает себе кусок насущного хлеба. Эта будка выкрашена в блестящий, белый цвет только снаружи; внутри же стенки ее покрыты паутиной, щелями и занозами. В ней пахнет сыростью, копченой рыбой и спиртом. В антрактах барон торчит в мужской уборной. Новички, первый раз входящие в эту уборную, увидев барона, хохочут и аплодируют. Они принимают его за актера.

— Bravo, bravo! — говорят они. — Вы прелестно за-

гримировались! Какая у вас смешная рожица! А где вы достали такой оригинальный костюм?

Бедный барон! Люди не могут допустить, что он имеет собственную физиономию!

В уборной он наслаждается созерцанием светил или же, если нет светил, осмеливается вставлять в чужие речи свои замечания, которых у него очень много. Замечаний его никто не слушает, потому что они всем надоели и пахивают рутинной; их пускают мимо ушей без всяких церемоний. С бароном вообще не любят церемониться. Если он вертится перед носом и мешает, ему говорят: уберите! Если он шепчет из своей будки слишком тихо или слишком громко, его посылают к черту и грозят ему штрафом или отставкой. Он служит мишенью для большинства закулисных остроумцев и каламбуров. На нем смело можно пробовать свое остроумие: он не ответит.

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как его начали дразнить «бароном», но за все эти двадцать лет он ни разу не протестовал против этого прозвища.

Заставить его переписать роль и не заплатить ему — тоже можно. Все можно! Он улыбается, извиняется и конфузится, когда наступают ему на ногу. Побейте его публично по морщинистым щекам, и, ручаюсь вам честным словом, он не пойдет с жалобой к мировому. Оторвите от его замечательного, горячо любимого сюртука кусок подкладки, как это сделал недавно *jeune premier*¹, он только замигает глазками и покраснеет. Такова сила его забитости и смирения! Его никто не уважает. Пока он жив, его выносят, когда же умрет, его забудут немедленно. Жалкое он создание!

А между тем было когда-то время, когда он чуть было не сделался товарищем и братом людей, которым он поклонялся и которых любил больше жизни. (Он не мог не любить людей, которые бывают иногда Гамлетами и Францами Моор!) Он сам едва не стал артистом и, наверное, стал бы им, если бы не помешал ему один смешной пустяк. Таланта было много, желания — тоже, была на первых порах и протекция, но не хватило пу-

¹ Актер, играющий роли первого любовника (франц.).

стяка: смелости. Ему вечно казалось, что *они*, эти головы, которыми усеяны все пять ярусов, низ и верх, захохочут и зашикают, если он позволит себе показаться на сцене. Он бледнел, краснел и немел от ужаса, когда предлагали ему подебютировать.

— Я подожду немного, — говорил он.

И он ждал до тех пор, пока не состарился, не разорился и не попал, по протекции, в суфлерскую будку.

Он стал суфлером, но это не беда. Теперь уже его не выгонят из театра за неимение билета: он должностное лицо. Он сидит впереди первого ряда, видит лучше всех и не платит за свое место ни копейки. Это хорошо. Он счастлив и доволен.

Обязанность свою исполняет он прекрасно. Перед спектаклем он несколько раз прочитывает пьесу, чтобы не ошибиться, а когда бьет первый звонок, он уже сидит в будке и перелистывает свою книжку. Усердней его трудно найти кого-либо во всем театре.

Но все-таки нужно выгнать его из театра.

Беспорядки не должны быть терпимы в театре, а барон производит иногда страшные беспорядки. Он скандалист.

Когда на сцене играют особенно хорошо, он отрывает глаза от своей книжки и перестает шептать. Очень часто он прерывает свое чтение криками: браво! превосходно! и позволяет себе аплодировать в то время, когда не аплодирует публика. Раз даже он шикал, за что чуть было не потерял места.

Вообще поглядите на него, когда он сидит в своей вонючей будке и шепчет. Он краснеет, бледнеет, жестикулирует руками, шепчет громче, чем следует, задыхается. Иногда бывает его слышно даже в коридорах, где около платья зевают капельдинеры. Он позволяет себе даже браниться из будки и подавать актеру советы.

— Правую руку вверх! — шепчет он часто. — У вас горячие слова, но лицо — лед! Это не ваша роль! Вы молокосос для этой роли! Вы бы поглядели в этой роли Эрнесто Росси! К чему же шарж? О боже мой! Он все испортил своей мещанской манерой!

И подобные вещи шепчет он, вместо того чтобы шептать по книжке. Напрасно терпят этого чудака. Если бы

его выгнали, то публике не пришлось бы быть свидетельницей скандала, который произошел на этих днях.

Скандал состоял в следующем.

Давали «Гамлета». Театр был полон. В наши дни Шекспир слушается так же охотно, как и сто лет тому назад. Когда дают Шекспира, барон находится в самом возбужденном состоянии. Он много пьет, много говорит и не переставая трет кулаками свои виски. За висками кипит жестокая работа. Старческие мозги взбудораживаются бешеной завистью, отчаянием, ненавистью, мечтами... Ему самому следовало бы поиграть Гамлета, хоть Гамлет и плохо вяжется с горбом и со спиртом, который забывает запирать бутяфор. Ему, а не этим пигмеям, играющим сегодня лакеев, завтра сводников, послезавтра Гамлета! Сорок лет штудирует он этого датского принца, о котором мечтают все порядочные артисты и который дал лавровый венец не одному только Шекспиру. Сорок лет он штудирует, страдает, сгорает от мечты... Смерть не за горами. Она скоро придет и навсегда возьмет его из театра... Хоть бы раз в жизни ему посчастливилось пройти по сцене в принцевой куртке, вблизи моря, около скал, где одна пустыня места

Сама собой готова довести

К отчаянью, когда посмотришь в бездну

И слышишь в ней далекий плеск волны.

Если даже мечты заставляют таять не по дням, а по часам, то каким огнем сгорел бы лысый барон, если бы мечта приняла форму действительности!

В описываемый вечер он готов был проглотить весь свет от зависти и злости. Гамлета дали играть мальчишке, говорящему жидким тенором, а главное — рыжему. Неужели Гамлет был рыж?

Барон сидел в своей будке, как на горячих угольях. Когда Гамлета не было на сцене, он был еще относительно покоен, когда же на сцену появлялся жидкий рыжеволосый тенор, он начинал вертеться, метаться, нить. Шепот его походил больше на стон, чем на чтение. Руки его тряслись, страницы путались, подсвечники ставились то ближе, то дальше... Он впивался в лицо Гамлета и переставал шептать... Ему страстно хотелось повыщипать из рыжей головы все волосы до еди-

ного. Пусть Гамлет будет лучше лыс, чем рыж! Шарж— так шарж, черт возьми!

Во втором действии он уже вовсе не шептал, а злобно хихикал, бранился и шикал. К его счастью, актеры хорошо знали свои роли и не замечали его молчания.

— Хорош Гамлет! — бранился он. — Нечего сказать! Ха-ха! Господа юнкера не знают своего места! Им следует за швейками бегать, а не на сцене играть. Если бы у Гамлета было такое глупое лицо, то едва ли Шекспир написал бы свою трагедию!

Когда ему надоело браниться, он начал учить рыжего актера. Жестикуюлируя руками и лицом, читая и стуча кулаками о книжку, он потребовал, чтобы актер следовал его советам. Ему нужно было спасти Шекспира от поругания, а для Шекспира он на все готов: хоть на сто тысяч скандалов!

Беседуя с актерами, рыжий Гамлет был ужасен. Он ломался, как тот «дюжий длиноволосяый молодец» — актер, о котором сам Гамлет говорит: «Такого актера я в состоянии бы высечь». Когда он начал декламировать, барон не вынес. Задыхаясь и стуча лысиной по потолку будки, он положил левую руку на грудь, а правой зажектикулировал. Старческий, надорванный голос прервал рыжего актера и заставил его оглянуться на будку:

Распаленный гневом,
В крови, засохшей на его доспехах,
С огнем в очах, свирепый ищет Пирр
Огца Пряма.

И, высунувшись наполовину из будки, барон кивнул головой первому актеру и прибавил уже не декламирующим, а небрежным, потухшим голосом:

— Продолжай!

Первый актер продолжал, но не тотчас. Минуту он промедлил, и минуту в театре царило глубокое молчание. Это молчание нарушил сам барон, когда, потянувшись назад, стукнулся головой о край будки. Послышался смех.

— Bravo, барабанщик! — крикнули из райка.

Думали, что прервал Гамлета не суфлер, а старый барабанщик, дремавший в оркестре. Барабанщик шутов-

ски раскланялся с райком, и весь театр огласился смехом. Публика любит театральные недоразумения, и если бы вместо пьес давали недоразумения, она платила бы вдвое больше.

Первый актер продолжал, и тишина была мало-помалу водворена.

Чудак же барон, услышавши смех, побагровел от стыда и схватил себя за лысину, забыв, вероятно, что на ней уже нет тех волос, в которые влюблялись когда-то красивые женщины. Теперь мало того, что над ним будет смеяться весь город и все юмористические журналы, его еще выгонят из театра! Он горел от стыда, злился на себя, а между тем все члены его дрожали от восторга: он сейчас декламировал!

«Не твое дело, старая, заржавленная щеколда! — думал он. — Твое дело быть только суфлером, если не хочешь, чтобы тебе дали по шее, как последнему лакею. Но это возмутительно однако! Рыжий мальчишка решительно не хочет играть по-человечески! Разве это место так ведется?»

И, впившись глазами в актера, барон опять начал бормотать советы. Он еще раз не вынес и еще раз заставил смеяться публику. Этот чудак был слишком нервен. Когда актер, читая последний монолог второго действия, сделал маленькую передышку, чтобы молча покачать головой, из будки опять понесся голос, полный желчи, презрения, ненависти, но, увы! уже разбитый временем и бессильный:

Кровавый сластолюбец! Лицемер!
Бесчувственный, продажный, подлый изверг!

Помолчав секунд десять, барон глубоко вздохнул и прибавил уже не так громко:

Глупец, глупец! Куда как я отважен!

Этот голос был бы голосом Гамлета настоящего, не рыжего Гамлета, если бы на земле не было старости. Многие портит и многому мешает старость.

Бедный барон! Впрочем, не он первый, не он и последний.

Теперь его выгонят из театра. Согласитесь, что эта мера необходима.

ДОВРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

По зеркальному льду скользят мужские ботфорты и женские ботинки с меховой опушкой. Скользящих ног так много, что, будь они в Китае, для них не хватило бы бамбуковых палок. Солнце светит особенно ярко, воздух особенно прозрачен, щечки горят ярче обыкновенного, глазки обещают больше, чем следует... Живи и наслаждайся, человек, одним словом! Но...

«Дудки», — говорит судьба в лице моего... доброго знакомого.

Я вдали от катка сижу на скамье под голым деревом и беседую с «ней». Я готов ее скушать вместе с ее шляпкой, шубкой и ножками, на которых блещут коньки — так хороша! Страдаю и в то же время наслаждаюсь! О любовь! Но... дудки...

Мимо нас проходит наш департаментский «отворяйло и запирайло», наш Аргус и Меркурий, пирожник и рассыльный, Спевсип Макаров. В руках его чьи-то калоши, мужские и женские, должно быть превосходительные. Спевсип делает мне под козырек и, глядя на меня с умилением и любовью, останавливается около самой скамьи.

— Холодно, ваше высокобл... бл... На чайшко бы! Хе-хе-с.

Я даю ему двугривенный. Эта любезность трогает его донельзя. Он усиленно мигает глазками, оглядывается и говорит шепотом:

— Очень мне жалко вас, обидно, ваше благородие!.. Страсть как жалко! Точно вы мне сынок... Человек вы

золотой! Душа! Доброта! Смиреник наш! Когда на-медни он, превосходительство то есть, накинулся на вас — тоска взяла! Ей-богу! Думаю, за что он его? Ты и лентяй, и молокосос, и тебя выгоню, то да се... За что? Когда вы вышли от него, так на вас лица вашего не было. Ей-богу... А я гляжу, и мне жалко... Ох, у меня всегда сердечность к чиновникам!

И, обратясь к моей соседке, Спевсип, прибавляет:

— Уж больно они плохи у нас насчет бумаг-то. Не ихнее это дело в умственных бумагах... Шли бы по тор-говой части или... по духовной... Ей-богу! Ни одна бу-мага у них толком не выходит... Всё зря! Ну и достается на орехи... Сам заел его совсем. Турнуть хочет... А мне жалко. Их благородие добрые...

Она смотрит мне в глаза с самым обидным сострада-нием!

— Ступай! — говорю я Спевсипу задыхаясь.

Я чувствую, что у меня даже калоши покраснели. Осрамил, каналья! А в стороне, за голыми кустами, си-дит ее папенька, слушает и глазеет на нас, чтобы я впредь до «титулярного» не смел и думать о... На дру-гой стороне, за другими кустами, прохаживается ее ма-менька и наблюдает за «ней». Я чувствую эти четыре глаза... и готов подохнуть...

Был день бенефиса нашей ingénue¹.

В десятом часу утра у ее двери стоял комик. Он прислушивался и стучал по обеим половинкам двери своими большими кулаками. Ему необходимо было видеть ingénue. Она должна была вылезть из-под своего одеяла во что бы то ни стало, как бы ей ни хотелось спать...

— Отворите же, черт возьми! Долго ли еще мне придется коченеть на этом сквозном ветру? Если б вы знали, что в вашем коридоре двадцать градусов мороза, вы не заставили бы меня ждать так долго! Или, быть может, у вас нет сердца?

В четверть одиннадцатого комик услышал глубокий вздох. За вздохом последовал скачок с кровати, а за скачком шлепанье туфель.

— Что вам угодно? Кто вы?

— Это я...

Комику не нужно было называть себя. Его легко можно было узнать по голосу, шипящему и дребезжащему, как у больного дифтеритом.

— Подождите, я оденусь...

Через три минуты его впустили. Он вошел, поцеловал у ingénue руку и сел на кровать.

— Я к вам по делу, — начал он, закуривая сигару. — Я хожу к людям только по делу, ходить же в гости я

¹ Актриса, играющая роль наивной молодой девушки (франц.).

предоставляю господам бездельникам. Но к делу... Сегодня я играю в вашей пьесе графа... Вы, конечно, это знаете?

— Да.

— Старого графа. Во втором действии я появляюсь на сцену в халате. Вы, надеюсь, и это знаете... Знаете?

— Да.

— Отлично. Если я буду не в халате, то я согрешу против истины. На сцене же, как и везде, прежде всего — истина! Впрочем, mademoiselle, к чему я говорю это? Ведь, в сущности говоря, человек и создан для того только, чтобы стремиться к истине...

— Да, это правда...

— Итак, после всего сказанного вы видите, что халат мне необходим. Но у меня нет халата, приличного графу. Если я покажусь публике в своем ситцевом халате, то вы много потеряете. На вашем бенефисе будет лежать пятно.

— Я могу вам помочь?

— Да. После *вашего* у вас остался прекрасный голубой халат с бархатным воротником и красными кистями. Прекрасный, чудный халат!

Наша *ingénue* вспыхнула... Глазки ее покраснели, замигали и заискрились, как стеклянные бусы, вынесенные на солнце.

— Вы мне одолжите этот халат на сегодняшний спектакль...

Ingénue заходила по комнате. Нечесанные волосы ее попадали беспорядочно на лицо и плечи.. Она шевелила губами и пальцами...

— Нет, не могу! — сказала она.

— Это странно... Гм... Можно узнать почему?

— Почему? Ах, боже мой, да ведь это так понятно! Могу ли я? Нет!.. Нет! Никогда! Он нехорошо поступил со мной, он неправ... Это правда! Он поступил со мной, как последний негодяй... Я согласна с этим! Он бросил меня только потому, что я получаю мало жалованья и не умею обирать мужчин! Он хотел, чтобы я брала у этих господ деньги и носила эти подлые деньги к нему, — он хотел этого! Подло, гадко! На подобные притязания способны одни только бессовестные пошляки!

Ingénue повалилась в кресло, на котором лежала свежевыглаженная сорочка, и закрыла руками лицо. Сквозь ее маленькие пальчики комик увидел блестящие точки: то окно отражалось в слезинках...

— Он ограбил меня! — продолжала она, всхлипывая. — Грабь, если хочешь, но зачем же бросать? За чем? Что я ему сделала? Что я тебе сделала? Что?

Комик встал и подошел к ней.

— Не будем плакать, — сказал он. — Слезы есть малодушие. И к тому же мы можем найти утешение во всякую минуту... Утешьтесь!.. Искусство — самый радикальный утешитель!

Но ничего не поделал радикальный утешитель.

За всхлипыванием последовала истерика.

— Это пройдет! — сказал комик. — Я подожду.

Он в ожидании, пока она придет в себя, походил по комнате, зевнул и лег на кровать. Ее постель женская, но она не так мягка, как те постели, на которых спят ingénues порядочных театров. Комика заколола в бок какая-то пружина, и его лысину зачесали перья, кончики которых робко выглядывали из подушки, сквозь розовую наволочку. Края кровати были холодны, как лед. Но все это не мешало нахалу сладко потянуться. Черт возьми, от этих бабьих кроватей так хорошо пахнет!

Он лежал и потягивался, а плечи ingénue прыгали, из груди ее вылетали отрывистые стоны, пальцы корчились и рвали на груди фланелевую кофточку... Комик напомнил ей самую несчастную страницу одного из несчастнейших романов! Истерика продолжалась минут десять. Очнувшись, ingénue откинула назад волосы, обвела комнату глазами и продолжала говорить.

Когда дама говорит с вами, неловко лежать на кровати. Вежливость прежде всего. Комик крикнул, поднялся и сел.

— Он поступил со мной нечестно, — продолжала она, — но из этого не следует, что я должна отдавать вам халат. Несмотря на его подлый поступок, я еще продолжаю любить его, и халат единственная вещь, оставшаяся у меня после него! Когда я вижу халат, я думаю о нем и... плачу...

— Я ничего не имею против этих похвальных чувств,—сказал комик,—напротив, в наш реальный, чертовски практический век приятно встретить человека с таким сердцем и с такой душой. Если вы дадите мне на один вечер халат, то вы принесете жертву, согласен... Но, подумайте, как приятно жертвовать для искусства!

И, подумав немного, комик вздохнул и прибавил:

— Тем более что я вам завтра же возвращу его...

— Ни за что!

— Но почему же? Ведь я же не съем его, возвращу! Какая вы, право...

— Нет, нет! Ни за что!

Ингéние забегала по комнате и замахала руками.

— Ни за что! Вы хотите лишить меня единственной дорогой для меня вещи! Я скорей умру, но не отдам! Я еще люблю этого человека!

— Вполне понимаю, но не постигаю только одного, сударыня: как можете вы менять халат на искусство?.. Вы — артистка!

— Ни за что! И не говорите!

Комик покраснел и поцарапал себя по лысине. Он помолчал немного и спросил:

— Не дадите?

— Ни за что!

— Гм... Тэксс... Это по-товарищески... Так поступают только товарищи!

Комик вздохнул и продолжал:

— Жалко, черт возьми! Очень жаль, что мы товарищи только на словах, а не на деле. Впрочем, несогласие слова с делом очень характерно для нашего времени. Взгляните, например, на литературу! Очень жаль! В частности же нас, артистов, губит отсутствие солидарности, истинного товарищества... Ах, как нас губит это! Впрочем, нет! Это только показывает, что мы не артисты, не художники. Мы лакеи, а не артисты! Сцена дана нам только для того, чтобы показывать публике свои голые локти и плечи... чтобы глазки делать... щекотать инстинкты райка... Не дадите?

— Ни за какие деньги!

— Это последнее слово?

— Да...

— Прелестно...

Комик надел шапку, церемонно раскланялся и вышел из комнаты ingénue. Красный, как рак, дрожащий от гнева, шипящий ругательствами, пошел он по улице, прямо к театру. Он шел и стучал палкой по мерзлой мостовой. С каким наслаждением нанизал бы он своих подлых товарищей на эту сучковатую палку! Еще лучше, если бы он мог проколоть этой артистической палкой насквозь всю землю! Будь он астрономом, он сумел бы доказать, что это худшая из планет!

Театр стоит на конце улицы, в трехстах шагах от острога. Он выкрашен в краску кирпичного цвета. Краска все замазала, кроме зияющих щелей, показывающих, что театр деревянный. Когда-то театр был амбаром, в котором складывались кули с мукой. Амбар был произведен в театр не за какие-либо заслуги, а за то, что он самый высокий сарай в городе.

Комик пошел в кассу. Там, за грязным липовым столом, сидел его друг и приятель, кассир Штамм, немец, выдававший себя за англичанина. Кассир подслеповат, глуп и глух, но все это, однако, не мешает ему с должным вниманием выслушивать своих товарищей.

Комик вошел в кассу, нахмурил брови и остановился перед кассиром в позе боксера, скрестившего на груди руки. Он помолчал немного, покачал головой и воскликнул:

— Как прикажете назвать этих людей, мистер Штамм?!

Комик стукнул кулаком по столу и, негодующий, опустил на деревянную скамью. Не поток, а океан ядовитых, отчаянных, бешеных слов полился из его рта, окруженного давно уже не бритым пространством. Пусть посочувствует ему хоть кассир! Девчонка, сентиментальная кислятина, не уважила просьбы того, без которого рухнул бы этот дрянной сарай! Не сделать одолжения (не говорю уж, оказать услугу) первому комику, которого десять лет тому назад приглашали в столичный театр! Возмутительно!

Но, однако, в этом бедняжке-театре более чем холодно. В собачьей конуре не холодней. Старый кассир умно делает, что сидит в шубе и валеных калошах. На окне — лед, а по полу гуляет ветер, которому позавидовал бы даже северный полюс. Дверь плохо притворяется, и края ее белы от инея. Черт знает что! И сердиться даже холодно.

— Она будет меня помнить! — закончил свою филлипику комик.

Он положил свои ноги на скамью и прикрыл их полкой своей шубы, оставшейся ему в наследство двенадцать лет тому назад от одного приятеля-актера, умершего от чахотки. Он плотнее завернулся в шубу, умолк и начал дышать в шубу себе на грудь.

Язык молчал, но зато действовали мозги. Эти мозги искали способа. Нужно же отомстить этой дерзкой, неуважительной девчонке!

Комик не завернул глаз в шубу, а пустил их на волю: гляди, коли хочешь... Они же, кстати, и не мерзнут. В кассе нет ничего интересного для глаз. У деревянной перегородки стол, перед столом скамья, на скамье — старый кассир в собачьей шубе и валенках. Все серо, обыденно, старо. И грязь даже старая. На столе лежит еще не початая книга билетов. Покупатели не идут. Они начнут ходить во время обеда. Кроме стола, скамьи, билетов и кучи бумаг в углу — больше ничего нет. Ужасная бедность и ужасная скука!

Впрочем, виноват: в кассе есть один предмет роскоши. Этот предмет валяется под столом вместе с ненужной бумагой, которую не выметают вон только потому, что холодно. Да и веник куда-то запропал.

Под столом валяется большой картонный лист, запыленный и оборванный. Кассир топчет его своими валенками и плюет на него без всякой церемонии. Этот-то лист и есть предмет роскоши. На нем крупными буквами написано: *«На сегодняшний спектакль все билеты распроданы»*. Ему за все время своего существования ни разу еще не приходилось висеть над окошком кассы, и никто из публики не может похвастать тем, что видел его. Хороший, но ехидный лист! Жаль, что он не на-

ходит себе употребления. Публика не любит его, но зато в него влюблены все артисты!

Глаза комика, гулявшие по стенам и по полу, не могли не натолкнуться на эту драгоценность. Комик не мастер соображать, но на этот раз он сообразил. Увидев картонный лист, он ударил себя по лбу и воскликнул:

— Идея! Прелестно!

Он нагнулся и потянул к себе повесть о распроданных билетах.

— Прекрасно! Бесподобно! Это обойдется ей дороже голубого халата с красными кистями!

Через десять минут картонный лист первый и последний раз за все время своего существования висел над окошечком и... лгал.

Он лгал, но ему поверили. Вечером наша ingénue лежала у себя в номере и рыдала на всю гостиницу.

— Меня не любит публика! — говорила она.

Один только ветер взял на себя труд посочувствовать ей. Он, этот добрый ветер, плакал в трубе и в вентиляциях, плакал на разные голоса и, вероятно, искренно. Вечером же в портерной сидел комик и пил пиво. Пил пиво и — больше ничего.

ПЕРЕЖИТОЕ

Психологический этюд

Был Новый год. Я вышел в переднюю.

Там, кроме швейцара, стояло еще несколько наших: Иван Иваныч, Петр Кузьмич, Егор Сидорыч... Все пришли расписаться на листе, который величаво возлегал на столе. (Бумага, впрочем, была из дешевых, № 8.)

Я взглянул на лист. Подписей слишком много и... о лицемерие! О двуличие! Где вы, росчерки, подчерки, закорючки, хвостики? Все буквы кругленькие, ровненькие, гладенькие, точно розовые щечки. Вижу знакомые имена, но не узнаю их. Не переменяли ли эти господа свои почерки?

Я осторожно умакнул перо в чернильницу, неизвестно чего ради сконфузился, притаил дыхание и осторожно начертил свою фамилию. Обыкновенно я никогда в своей подписи не употреблял конечного «ера», теперь же употребил: начал его и закончил.

— Хочешь, я тебя погублю? — услышал я около своего уха голос и дыхание Петра Кузьмича.

— Каким образом?

— Возьму и погублю. Да. Хочешь? Хе-хе-хе.

— Здесь нельзя смеяться, Петр Кузьмич. Не забывайте, где вы находитесь. Улыбки менее чем уместны. Извините, но я полагаю... Это профанация, неуважение, так сказать...

— Хочешь, я тебя погублю?

— Каким образом? — спросил я.

— А таким... Как меня пять лет тому назад фон Кляузен погубил... Хе-хе-хе. Очень просто... Возьму около твоей фамилии и поставлю закорючку. Росчерк сделаю. Хе-хе-хе. Твою подпись неуважительной сделаю. Хочешь?

Я побледнел. Действительно, жизнь моя была в руках этого человека с сизым носом. Я поглядел с боязнью и с некоторым уважением на его зловещие глаза...

Как мало нужно для того, чтобы сковырнуть человека!

— Или капну чернилами около твоей подписи. Кляксу сделаю... Хочешь?

Наступило молчание... Он с сознанием своей силы, величавый, гордый, с губительным ядом в руке, я с сознанием своего бессилия, жалкий, готовый погибнуть — оба молчали... Он впился в мое бледное лицо своими буркалами, я избегал его взгляда.

— Я пошутил, — сказал он наконец. — Не бойся.

— О, благодарю вас! — сказал я и, полный благодарности, пожал ему руку.

— Пошутил... А все-таки могу... Помни... Ступай... Покедова пошутил... А там, что бог даст...

МОШЕННИКИ ПОНЕВОЛЕ

Новогодняя побрежушка

У Захара Кузьмича Дядечкина вечер. Встречают Новый год и поздравляют с днем ангела хозяйку Меланью Тихоновну.

Гостей много. Народ все почтенный, солидный, трезвый и положительный. Прохвоста ни одного. На лицах умиление, приятность и чувство собственного достоинства. В зале на большом клеенчатом диване сидят: квартирный хозяин Гусев и лавочник Размахалов, у которого Дядечкины забирают по книжке. Толкуют они о женихах и дочерях.

— Нонче трудно найти человека, — говорит Гусев. — Который непьющий и обстоятельный... человек, который работающий... Трудно!

— Главное в доме — порядок, Алексей Васильич! Этого не будет, когда в доме не будет того... который... в доме порядок...

— Порядка коли нет в доме, тогда... все этак... Глупостей много развелось на этом свете... где быть тут порядку? Гм...

Около них на стульях сидят три старушки и с умилением глядят на их рты. В глазах у них написано удивление «уму-разуму». В углу стоит кум Гурий Маркович и рассматривает образа. В хозяйской спальне шум. Там барышни и кавалеры играют в лото. Ставка — копейка. Около стола стоит гимназист первого класса Коля и плачет. Ему хочется поиграть в лото, а его не пу-

скают за стол. Разве он виноват, что он маленький и что у него нет копейки?

— Не реви, дурак! — увещевают его. — Ну, что ре-
вешь? Хочешь, чтоб мамаша высекла?

— Это кто ревет? Колька? — слышится из кухни
голос маменьки. — Мало я его порола, пострела... Вар-
вара Гурьевна, дерните его за ухо!

На хозяйской постели, покрытой полинялым ситце-
вым одеялом, сидят две барышни в розовых платьях.
Перед ними стоит малый лет двадцати трех, служащий
в страховом обществе, Копайский, en face¹ очень по-
хожий на кота. Он ухаживает.

— Я не намерен жениться, — говорит он, рисуясь
и оттягивая пальцами от шеи высокие, режущие ворот-
нички. — Женщина есть лучезарная точка в уме челове-
ческом, но она может погубить человека. Злостное
существо!

— А мужчины? Мужчина не может любить. Гру-
бости всякие делает.

— Как вы наивны! Я не циник и не скептик, а все-
таки понимаю, что мужчина завсегда будет стоять на
высшей точке относительно чувств.

Из угла в угол, как волки в клетке, снуют сам Дя-
дечкин и его первенец Гриша. У них души горят. За
обедом они сильно выпили и теперь страстно желают
опохмелиться... Дядечкин идет на кухню. Там хозяйка
посыпает пирог толченым сахаром.

— Малаша, — говорит Дядечкин. — Закуску бы по-
дать. Гостям закусить бы...

— Подождут... Сейчас выпьете и съедите все, а что
я подам в двенадцать часов? Не помрете. Уходи... Не
вертись перед носом.

— По рюмочке бы только, Малаша... Никакого тебе
от этого дефицита не будет... Можно?

— Наказание! Уйди, тебе говорят! Ступай с гостями
посиди! Чего на кухне толчешься?

Дядечкин глубоко вздыхает и выходит из кухни.
Он идет поглядеть на часы. Стрелки показывают восемь
минут двенадцатого. До желанного мига остается еще

¹ спереди (франц.).

пятьдесят две минуты. Это ужасно! Ожидание выпивки самое тяжелое из ожиданий. Лучше пять часов прождать на морозе поезд, чем пять минут ожидать выпивки... Дядечкин с ненавистью глядит на часы и, походив немного, подвигает большую стрелку дальше на пять минут... А Гриша? Если Грише не дадут сейчас выпить, то он уйдет в трактир и там выпьет. Умирать от тоски он не согласен...

— Маменька, — говорит он, — гости сердятся, что вы закуски не подаете! Свинство одно только... Голодом морить!.. Дали бы по рюмке!

— Подождите... Мало отсталось... Скоро уж... Не толчись в кухне.

Гриша хлопает дверью и идет в сотый раз поглядеть на часы. Большая стрелка безжалостна! Она почти на прежнем месте.

— Отстают! — утешает себя Гриша и указательным пальцем подвигает стрелку вперед на семь минут.

Мимо часов бежит Коля. Он останавливается перед ними и начинает считать время... Ему ужасно хочется поскорей дожить до того момента, когда крикнут «ура!». Стрелка своею неподвижностью колет его в самое сердце. Он взбирается на стул, робко оглядывается и похищает у вечности пять минут.

— Подите поглядите, келер-етиль?¹ — посылает одна из барышень Копайского. — Я умираю от нетерпения. Новый год ведь! Новое счастье!

Копайский шаркает обеими ногами и мчится к часам.

— Черт подери! — бормочет он, глядя на стрелки. — Как еще долго! А жрать страсть как хочется... Катку непременно поцелую, когда «ура» крикнут.

Копайский отходит от часов, останавливается... Подумав немного, он ворочается и укорачивает старый год на шесть минут. Дядечкин выпивает два стакана воды, но... горит душа! Он ходит, ходит, ходит... Жена то и дело гонит его из кухни. Бутылки, стоящие на окне, рвут его за душу. Что делать! Нет сил терпеть! Он опять хватается за последнее средство. Часы к его услугам.

¹ который час? (от франц.— quel heur est-il?)

Он идет в детскую, где висят часы, и наталкивается на картину, неприятную его родительскому сердцу: перед часами стоит Гриша и двигает стрелку.

— Ты... ты... ты что это делаешь? А? Зачем ты стрелку подвинул? Дурак ты этакий! А? Зачем это? А?

Дядечкин кашляет, мнетя, страшно морщится и машет рукой.

— Зачем? А-а-а... Да двигай же ее, чтоб она сдохла, подлая! — говорит он и, оттолкнув сына от часов, подвигает стрелку.

До Нового года остается одиннадцать минут. Папаша и Гриша идут в залу и начинают готовить стол.

— Малаша! — кричит Дядечкин. — Сейчас Новый год!

Маланья Тихоновна выбегает из кухни и идет проверить супруга... Она долго глядит на часы: муж не врет.

— Ну как тут быть? — шепчет она. — А ведь у меня еще горошек для ветчины не сварился! Гм. Наказание. Как я им подам?

И, подумав немного, Маланья Тихоновна дрожащей рукой двигает большую стрелку назад. Старый год обратно получает двадцать минут.

— Подождут! — говорит хозяйка и бежит в кухню.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

Святоточный рассказ

Я и жена вошли в гостиную. Там пахло мохом и сыростью. Миллионы крыс и мышей бросились в стороны, когда мы осветили стены, не выдавшие света в продолжение целого столетия. Когда мы затворили за собой дверь, пахнул ветер и зашевелил бумагу, стопами лежавшую в углах. Свет упал на эту бумагу, и мы увидели старинные письма и средневековые изображения. На позеленевших от времени стенах висели портреты предков. Предки глядели надменно, сурово, как будто хотели сказать:

«Выпороть бы тебя, братец!»

Шаги наши раздавались по всему дому. Моему кашлю отвечало эхо, то самое эхо, которое когда-то отвечало моим предкам...

А ветер выл и стонал. В каминной трубе кто-то плакал, и в этом плаче слышалось отчаяние. Крупные капли дождя стучали в темные, тусклые окна, и их стук наводил тоску.

— О, предки, предки!— сказал я, вздыхая значительно.— Если бы я был писателем, то, глядя на портреты, написал бы длинный роман. Ведь каждый из этих старцев был когда-то молод и у каждого, или у каждой, был роман... и какой роман! Взгляни, например, на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая женщина имеет свою, в высшей степени интересную повесть. Видишь ли ты,— спросил я у жены,— видишь ли зеркало, которое висит там в углу?

И я указал жене на большое зеркало в черной бронзовой оправе, висевшее в углу около портрета моей прабабушки.

— Это зеркало обладает волшебными свойствами: оно погубило мою прабабушку. Она заплатила за него громадные деньги и не расставалась с ним до самой смерти. Она смотрелась в него дни и ночи не переставая, смотрелась, даже когда пила и ела. Ложась спать, она всякий раз клала его с собой в постель и, умирая, просила положить его с ней вместе в гроб. Не исполнили ее желания только потому, что зеркало не влезло в гроб.

— Она была кокетка? — спросила жена.

— Положим. Но разве у нее не было других зеркал? Почему она так полюбила именно это зеркало, а не другое какое-нибудь? И разве у нее не было зеркал получше? Нет, тут, милая, кроется какая-то ужасная тайна. Не иначе. Предание говорит, что в зеркале сидит черт и что у прабабушки-де была слабость к чертям. Конечно, это вздор, но несомненно, что зеркало в бронзовой оправе обладает таинственной силой.

Я смахнул с зеркала пыль, поглядел в него и захохотал. Хохоту моему глухо ответило эхо. Зеркало было криво, и физиономию мою скривило во все стороны: нос очутился на левой щеке, а подбородок раздвоился и полез в сторону.

— Странный вкус у моей прабабушки! — сказал я.

Жена нерешительно подошла к зеркалу, тоже взглянула в него — и тотчас же произошло нечто ужасное. Она побледнела, затряслась всеми членами и вскрикнула. Подсвечник выпал у нее из рук, покатился по полу, и свеча потухла. Нас окутал мрак. Тотчас же я услышал падение на пол чего-то тяжелого: то упала без чувств моя жена.

Ветер застонал еще жалобней, забегали крысы, в бумагах зашуршали мыши. Волосы мои стали дыбом и зашевелились, когда с окна сорвалась ставня и полетела вниз. В окне показалась луна...

Я схватил жену, обнял и вынес ее из жилища предков. Очнулась она только на другой день вечером.

— Зеркало! Дайте мне зеркало! — сказала она, приходя в себя. — Где зеркало?

Целую неделю потом она не пила, не ела, не спала, а все просила, чтобы ей принесли зеркало. Она рыдала, рвала волосы на голове, металась, и наконец, когда доктор объявил, что она может умереть от истощения и что положение ее в высшей степени опасно, я, пересиливая свой страх, опять спустился вниз и принес ей оттуда прабабушкино зеркало. Увидев его, она захохотала от счастья, потом схватила его, поцеловала и впилась в него глазами.

И вот прошло уже более десяти лет, а она все еще глядится в зеркало и не отрывается ни на одно мгновение.

— Неужели это я? — шепчет она, и на лице ее вместе с румянцем вспыхивает выражение блаженства и восторга. — Да, это я! Все лжет, кроме этого зеркала! Лгут люди, лжет муж! О, если бы я раньше увидела себя, если бы я знала, какая я на самом деле, то не вышла бы за этого человека! Он недостойн меня! У ног моих должны лежать самые прекрасные, самые благородные рыцари!..

Однажды, стоя позади жены, я нечаянно поглядел в зеркало и — открыл страшную тайну. В зеркале я увидел женщину ослепительной красоты, какой я не встречал никогда в жизни. Это было чудо природы, гармония красоты, изящества и любви. Но в чем же дело? Что случилось? Отчего моя некрасивая, неуклюжая жена в зеркале казалась такою прекрасной? Отчего?

А оттого, что кривое зеркало покривило некрасивое лицо моей жены во все стороны, и от такого перемещения его черт оно стало случайно прекрасным. Минус на минус дало плюс.

И теперь мы оба, я и жена, сидим перед зеркалом и, не отрываясь ни на одну минуту, смотрим в него: нос мой лезет на левую щеку, подбородок раздвоился и сдвинулся в сторону, но лицо жены очаровательно — и бешеная, безумная страсть овладевает мною,

— Ха-ха-ха! — дико хохочу я.

А жена шепчет едва слышно:

— Как я прекрасна!

Вечер. По улице идет пестрая толпа, состоящая из пьяных тулупов и кацавеек. Смех, говор и приплясыванье. Впереди толпы прыгает маленький солдатик в старой шинелишке и с шапкой набекрень.

Навстречу толпе идет «унтер».

— Ты отчего же мне чести не отдаешь? — набрасывается унтер на маленького солдатика.— А? Почему? Постой! Который ты это? Зачем?

— Миленький, да ведь мы ряженные! — говорит бабьим голосом солдатик, и толпа вместе с унтером закатывается громким смехом...

В ложе сидит красивая, полная барыня; лета ее определить трудно, но она еще молода и долго еще будет молодой... Одета она роскошно. На белых руках ее по массивному браслету, на груди бриллиантовая брошь. Около нее лежит тысячная шубка. В коридоре ожидает ее лакей с галунами, а на улице пара вороных и сани с медвежьей полостью... Сытое, красивое лицо и обстановка говорят: «Я счастлива и богата». Но не верьте, читатель!

«Я ряженная,— думает она.— Завтра или послезавтра барон сойдется с Nadine и снимет с меня все это...»

За карточным столом сидит толстяк во фраке, с трехэтажным подбородком и белыми руками. Около его рукав куча денег. Он проигрывает, но не унывает. Напротив,

он улыбается. Ему ведь ничего не стоит проиграть тысячу, другую. В столовой несколько слуг готовят для него устриц, шампанское и фазанов. Он любит хорошо поужинать. После ужина он поедет в карете к ней. Она ждет его. Не правда ли, ему хорошо живется? Он счастлив! Но посмотрите, какая чепуха шевелится в его ожиревших мозгах!

«Я ряженный. Наедет ревизия, и все узнают, что я только ряженный!..»

На суде адвокат защищает подсудимую... Это хорошенькая женщина с донельзя печальным лицом, невинная! Видит бог, что она невинна! Глаза адвоката горят, щеки его пылают, в голосе слышны слезы... Он страдает за подсудимую, и, если ее обвинят, он умрет с горя!.. Публика слушает его, замирает от наслаждения и боится, чтоб он не кончил. «Он поэт», — шепчут слушатели. Но он только нарядился поэтом!

«Дай мне истец сотней больше, я упек бы ее! — думает он. — В роли обвинителя я был бы эффективней!»

По деревне идет пьяный мужичонка, поет и визжит на гармонике. На лице его пьяное умиление. Он хихикает и подплясывает. Ему весело живется, не правда ли? Нет, он ряженный!

«Жрать хочется», — думает он.

Молодой профессор-врач читает вступительную лекцию. Он уверяет, что нет больше счастья, как служить науке. «Наука — все! — говорит он, — она жизнь!» И ему верят... Но его назвали бы ряженным, если бы слышали, что он сказал своей жене после лекции. Он сказал ей:

— Теперь я, матушка, профессор. У профессора практика вдесятеро больше, чем у обыкновенного врача. Теперь я рассчитываю на двадцать пять тысяч в год.

Шесть подъездов, тысяча огней, толпа, жандармы, барышники. Это театр. Над его дверями, как в Эрмитаже у Лентовского, написано: «Сатира и мораль». Здесь платят большие деньги, пишут длинные рецензии, много аплодируют и редко шикают... Храм!

Но этот храм ряженный. Если вы снимете «Сатиру и мораль», то вам нетрудно будет прочесть:

— Канкан и зубоскальство.

РАДОСТЬ

Было двенадцать часов ночи.

Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.

— Откуда ты? — удивились родители.— Что с тобой?

— Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это... это даже невероятно!

Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.

— Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!

Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.

— Что с тобой? На тебе лица нет!

— Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! Мамаша! О господи!

Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.

— Да что такое случилось? Говори толком!

— Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!

— Что ты? Где?

Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.

— Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память! Будем читать иногда. Поглядите!

Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.

— Читайте!

Отец надел очки.

— Читайте же!

Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать:

— «29 декабря, в 11 часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров...

— Видите, видите? Дальше!

— ...коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии...

— Это я с Семеном Петровичем... Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!

— ...и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протаскив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку...

— Это я об оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!

— ...который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь...»

— Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!

Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.

— Побегу к Макаровым, им покажу... Надо еще Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильичу... Побегу! Прощайте!

Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу.

Не верьте этим иудам, хамелеонам! В наше время легче потерять веру, чем старую перчатку,— и я потерял!

Был вечер. Я ехал на конке. Мне, как лицу высокопоставленному, не подобает ездить на конке, но на этот раз я был в большой шубе и мог спрятаться в куний воротник. Да и дешевле, знаете... Несмотря на позднее и холодное время, вагон был битком набит. Меня никто не узнал. Куний воротник делал из меня *incognito*. Я ехал, дремал и рассматривал сих малых...

«Нет, это не он! — думал я, глядя на одного маленького человечка в заячьей шубенке.— Это не он! Нет, это он! Он!»

Думал я, верил и не верил своим глазам...

Человечек в заячьей шубенке ужасно походил на Ивана Капитоныча, одного из моих канцелярских... Иван Капитоныч — маленькое, пришибленное, приплюснутое создание, живущее для того только, чтобы поднимать уроненные платки и поздравлять с праздником. Он молод, но спина его согнута в дугу, колени вечно подогнуты, руки запачканы и по швам... Лицо его точно дверью прищемлено или мокрой тряпкой побито. Оно кисло и жалко; глядя на него, хочется петь «Лучинушку» и ныть. При виде меня он дрожит, бледнеет и краснеет, точно я съест его хочу или зарезать,

а когда я его распекаю, он зябнет и трясется всеми членами.

Приниженнее, молчаливее и ничтожнее его я не знаю никого другого. Даже и животных таких не знаю, которые были бы тише его...

Человечек в заячьей шубенке сильно напоминал мне этого Ивана Капитоныча: совсем он! Только человечек не был так согнут, как тот, не казался пришибленным, держал себя развязно и, что возмутительнее всего, говорил с соседом о политике. Его слушал весь вагон.

— Гамбетта помер! — говорил он, вертясь и махая руками. — Это Бисмарку на руку. Гамбетта ведь был себе на уме! Он воевал бы с немцем и взял бы контрибуцию, Иван Матвеич! Потому что это был гений! Он был француз, но у него была русская душа. Талант!

Ах ты дрянь этакая!

Когда кондуктор подошел к нему с билетами, он оставил Бисмарка в покое.

— Отчего это у вас в вагоне так темно? — набросился он на кондуктора. — У вас свечей нет, что ли? Что это за беспорядки? Проучить вас некому! За границей вам задали бы! Не публика для вас, а вы для публики! Черт возьми! Не понимаю, чего это начальство смотрит!

Через минуту он требовал от нас, чтобы мы все подвинулись.

— Подвиньтесь! Вам говорят! Дайте мадаме место! Будьте повежливей! Кондуктор! Подите сюда, кондуктор! Вы деньги берете, дайте же место! Это подло!

— Здесь курить не велено! — крикнул ему кондуктор.

— Кто это не велел? Кто имеет право? Это посягательство на свободу! Я никому не позволю посягать на свою свободу! Я свободный человек!

Ах ты тварь этакая! — Я глядел на его рожицу и глазам не верил. — Нет, это не он! Не может быть! Тот не знает таких слов, как «свобода» и «Гамбетта».

— Нечего сказать, хороши порядки! — сказал он, бросая папиросу. — Живи вот с такими господами! Они помешаны на форме, на букве! Формалисты, филистеры! Душут!

Я не выдержал и захохотал. Услышав мой смех, он мельком взглянул на меня, и голос его дрогнул. Он узнал мой смех и, должно быть, узнал мою шубу. Спина его мгновенно согнулась, лицо его моментально прокисло, голос замер, руки опустились по швам, ноги подогнулись. Моментально изменился! Я уже более не сомневался: это был Иван Капитоныч, мой канцелярский. Он сел и спрятал свой носик в заячьем меху.

Теперь я посмотрел на его лицо.

«Неужели,— подумал я, — эта пришибленная, приплюснутая фигурка умеет говорить такие слова, как «филистер» и «свобода»? А? Неужели? Да, умеет. Это невероятно, но верно... Ах ты дрянь этакая!»

Верь после этого жалким физиономиям этих хамелеонов!

Я уж больше не верю. Шабаш, не надуешь!

ИСПОВЕДЬ

День был ясный, морозный... На душе было вольготно, хорошо, как у извозчика, которому по ошибке вместо двугривенного золотой дали. Хотелось и плакать, и смеяться, и молиться... Я чувствовал себя на шестнадцатом небе: меня, человека, переделали в кассира! Радовался я не потому, что хапать уже можно было. Я тогда еще не был вором и искрошил бы того, кто сказал бы мне, что я со временем цапну... Радовался я другому: повышению по службе и ничтожной прибавке жалованья — только всего.

Меня, впрочем, радовало и другое обстоятельство. Ставши кассиром, я тотчас же почувствовал на своем носу нечто вроде розовых очков. Мне вдруг стало казаться, что люди изменились. Честное слово! Все стали как будто бы лучше. Уроды стали красавцами, злые добрыми, гордые смиренными, мизантропы филантропами. Я как будто бы просветлел. Я увидел в человеке такие чудные качества, каких ранее и не подозревал. «Странно! — говорил я, глядя на людей и протирая глаза. — Или с ними что-нибудь поделалось, или же я ранее был глуп и не замечал всех этих качеств. Прелесть что за люди!»

В день моего назначения изменился и З. Н. Казусов, один из членов нашего правления, человек гордый, надменный, игнорирующий мелкую рыбицу. Он подошел ко мне и — что с ним поделалось? — ласково улыбаясь, начал хлопать меня по плечу.

— Горды вы, батенька, не по летам,— сказал он мне. — Нехорошо! Отчего никогда не зайдете? Грешно, сударь! А у меня собирается молодежь, весело так бывает. Дочки всё спрашивают: «Отчего это вы, папаша, не позовете Григория Кузьмича? Ведь он такой милый!» Да разве затащишь его? Впрочем, говорю, попробую, приглашу... Не ломайтесь же, батенька, приходите!

Удивительно! Что с ним? Не спятил ли он с ума? Был человек людоедом и вдруг... на тебе!

Придя в тот день домой, я был поражен. Моя мамаша подала за обедом не два блюда, как всегда, а четыре. Вечером подала к чаю варенье и сдобный хлеб. На другой день опять четыре блюда, опять варенье. Гости были и шоколад пили. На третий день тоже.

— Мамаша! — сказал я. — Что с вами? Чего ради вы так расщедрились, милая? Ведь жалованье мое не удвоили. Надбавка пустяшная.

Мамаша взглянула на меня с удивлением.

— Гм. Куда же тебе деньги девать? — спросила она. — Копить будешь, что ли?

Черт их разберет! Папаша заказал себе шубу, купил новую шапку, стал лечиться минеральными водами и виноградом (зимой?!). А дней через пять я получил письмо от брата. Этот брат терпеть не мог меня. Мы разошлись с ним из-за убеждений: ему казалось, что я эгоист, дармоед, не умею жертвовать собой, и он ненавидел меня за это. В письме я прочел следующее: «Милый брат! Я люблю тебя, и ты не можешь себе представить, какие адские муки доставляет мне наша ссора. Давай помиримся! Протянем друг другу руки, и да восторжествует мир! Умоляю тебя! В ожидании ответа остаюсь любящий, целующий и обнимающий Евлампий». О, милый брат! Я ответил ему, что я лобызаю его и радуюсь. Через неделю я получил от него телеграмму: «Благодарю, счастлив. Вышли сто рублей. Весьма нужны. Обнимающий Е.». Выслал ему сто рублей.

Изменилась даже и она! Она не любила меня. Когда я однажды дерзнул намекнуть ей, что в моем сердце что-то неладно, она назвала меня нахалом и фыркнула мне в лицо. Встретив же меня через неделю после моего

назначения, она улыбнулась, сделала на лице ямочки, сконфузилась...

— Что это с вами? — спросила она, глядя на меня. — Вы так похорошили. Когда это вы успели? Пойдемте плясать...

Душечка! Через месяц ее маменька была уже моей тещей: так я похорошел! К свадьбе нужны был деньги, и я взял из кассы триста рублей. Отчего не взять, если знаешь, что положишь обратно, когда получишь жалованье? Взял, кстати, и для Казусова сто рублей... Просил займы... Ему нельзя не дать. Он у нас воротила и может каждую минуту спихнуть с места... *(Редактор, найдя, что рассказ несколько длинен, вычеркнул, в ущерб авторскому дивиденду, на этом самом месте восемьдесят три строки.)*

За неделю до ареста по их просьбе я давал им вечер. Черт с ними, пусть полопают и пожрут, коли им этого так хочется! Я не считал, сколько человек было у меня на этом вечере, но помню, что все мои девять комнат были запружены народом. Были старшие и младшие... Были и такие, пред которыми гнулся в дугу даже сам Казусов. Дочери Казусова (старшая — моя обже) ослепляли своими нарядами... Одни цветы, покрывавшие их, стоили мне более тысячи рублей! Было очень весело... Гремела музыка, сверкали люстры, лилось шампанское... Произносились длинные речи и короткие тосты... Один газетчик поднес мне оду, а другой балладу...

— У нас в России не умеют ценить таких людей, как Григорий Кузьмич! — прокричал за ужином Казусов. — Очень жаль! жаль Россию!

И все эти кричавшие, подносявшие, лобызавшие шептались и показывали мне кукиш, когда я отворачивался... Я видел улыбки, кукиши, слышал вздохи...

— Украл, подлец! — шептали они, злорадно ухмыляясь.

Ни кукиши, ни вздохи не помешали им, однако, есть, пить и наслаждаться.

Волки и страдающие диабетом не едят так, как они ели... Жена, сверкавшая бриллиантами и золотом, подошла ко мне и шепнула:

— Там говорят, что ты... украл. Если это правда, то... берегись! Я не могу жить с вором! Я уйду!

Говорила она это и поправляла свое пятитысячное платье... Черт их разберет! В этот же вечер Казусов взял с меня пять тысяч... Столько же взял займы и Евлампий...

— Если там шепчут правду,— сказал мне брат-принципист, кладя в карман деньги, — то... берегись! Я не могу быть братом вора!

После бала всех их я повез на тройках за город...

Был шестой час утра, когда мы кончили... Обессиленный от вина и женщин, они легли в сани, чтобы ехать обратно... Когда сани тронулись, они крикнули мне на прощанье:

— Завтра ревизия!.. Merci!

Милостивые государи и милостивые государыни! Я попался... Попался, или, выражаясь длиннее: вчера я был порядочен, честен, лобызаем во все части, сегодня же я жулик, мошенник, вор... Кричите же теперь, бранитесь, трезвоньте, изумляйтесь, судите, высылайте, строчите передовые, бросайте камни, но только... пожалуйте, не все! Не все!

ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

*А р г о р о в ¹ процесса Петерб. общества
взаимного кредита*

Было время, когда кассиры грабили и наше Общество. Страшно вспомнить! Они не обкрадывали, а буквально вылизывали нашу бедную кассу. Нутро нашей кассы было обито зеленым бархатом — и бархат украли. А один так увлекся, что вместе с деньгами утащил замок и крышку. За последние пять лет у нас перебывало девять кассиров, и все девять шлют нам теперь в большие праздники из Красноярска свои визитные карточки. Все девять!

— Это ужасно! Что делать? — вздыхали мы, когда отдавали под суд девятого. — Стыд, срам! Все девять подлецы!

И стали мы судить и рядить: кого взять в кассиры? Кто не мерзавец? Кто не вор? Выбор наш пал на Ивана Петровича, помощника бухгалтера: тихоня, богомольный и живет по-свински, не комфортабельно. Мы его выбрали, благословили на борьбу с искушениями и успокоились, но... ненадолго!

На другой же день Иван Петрович явился в новом галстуке. На третий он приехал в правление на извозчике, чего раньше с ним никогда не было.

— Вы заметили? — шептались мы через неделю. — Новый галстук... Пенсне... Вчера на именины приглашал. Что-то есть... Богу стал чаще молиться... Надо полагать, совесть нечиста...

¹ Здесь: по поводу (франц.).

Сообщили свои сомнения его превосходительству.

— Неужели и десятый окажется канальей? — вздохнул наш директор. — Нет, это невозможно... Человек такой нравственный, тихий... Впрочем... пойдете к нему!

Подошли к Ивану Петровичу и окружили его кассу.

— Извините, Иван Петрович, — обратился к нему директор умоляющим голосом. — Мы доверяем вам... Верим! Мда... Но, знаете ли... Позвольте обревизовать кассу! Уж вы позвольте!

— Извольте-с! Очень хорошо-с! — бойко ответил кассир. — Сколько угодно-с!

Начали считать. Считали, считали и недосчитались четырехсот рублей... И этот?! И десятый?! Ужасно! Это, во-первых; а во-вторых, если он в неделю прожрал столько денег, то сколько же украдет он в год, в два! Мы остолбенели от ужаса, изумления, отчаяния... Что делать? Ну, что? Под суд его? Нет, это старо и бесполезно. Одиннадцатый тоже украдет, двенадцатый тоже... Всех не отдашь под суд. Вздуть его? Нельзя, обидится... Изгнать и позвать вместо него другого? Но ведь одиннадцатый тоже украдет! Как быть? Красный директор и бледные мы глядели в упор на Ивана Петровича и, опершись о желтую решетку, думали... Мы думали, напрягали мозги и страдали... А он сидел и невозмутимо пощелкивал на счетах, точно не он украл... Мы долго молчали.

— Ты куда девал эти деньги? — обратился к нему наконец наш директор со слезами и дрожью в голосе.

— На нужды, ваше превосходительство!

— Гм... На нужды... Очень рад! Молчать! Я тттебе...

Директор прошелся по комнате и продолжал:

— Что же делать? Как уберечься от подобных... идиолов?.. Господа, чего же вы молчите? Что делать? Не пороть же его, каналью! (Директор задумался.) Послушай, Иван Петрович... Мы внесем эти деньги, не станем срамиться оглаской, черт с тобой, только ты откровенно, без экивок... Женский пол любишь, что ли?

Иван Петрович улыбнулся и сконфузился.

— Ну, понятно, — сказал директор. — Кто их не любит? Это понятно... Все грешны. Все мы жаждем любви, сказал какой-то... философ... Мы тебя пони-

маем... Вот что... Ежели ты так уж любишь, то изволь: я дам тебе письмо к одной... Она хорошенькая... Езди к ней на мой счет. Хочешь? И к другой дам письмо... И к третьей дам письмо! Все три хорошенькие, говорят по-французски... пухленькие... Вино тоже любишь?

— Вина разные бывают, ваше превосходительство... Лиссабонского, например, я и в рот не возьму... Каждый напиток, ваше превосходительство, имеет, так сказать, свое значение...

— Не рассуждай... Каждую неделю буду присылать тебе дюжину шампанского. Жри, но не трать ты денег, не конфузуй ты нас! Не приказываю, а умоляю! Театр тоже небось любишь?

И так далее... В конце концов мы порешили, помимо шампанского, абонировать для него кресло в театре, утроить жалованье, купить ему вороных, еженедельно отправлять его за город на тройках — все это в счет Общества. Портной, сигары, фотография, букеты бенефицианткам, мебелировка — тоже общественные... Пусть наслаждается, только, пожалуйста, пусть не ворует! Пусть что хочет делает, только не ворует!

И что же? Прошел уже год, как Иван Петрович сидит за кассой, и мы не можем нахвалиться нашим кассиром. Все честно и благородно... Не ворует... Впрочем, во время каждой еженедельной ревизии недосчитываются 10—15 рублей, но ведь это не деньги, а пустяки. Что-нибудь да надо же отдавать в жертву кассирскому инстинкту. Пусть лопают, лишь бы тысяч не трогал.

И мы теперь благоденствуем... Касса наша всегда полна. Правда, кассир обходится нам очень дорого, но зато он в десять раз дешевле каждого из девяти его предшественников. И могу вам ручаться, что редкое Общество и редкий банк имеют такого дешевого кассира! Мы в выигрыше, а посему странные чудачки будете вы, власть имущие, если не последуете нашему примеру!

СЛУЧАИ «MANIA GRANDIOSA»¹

Внимание газет «Врач»

Что цивилизация, помимо пользы, принесла человечеству и страшный вред, никто не станет сомневаться. Особенно настаивают на этом медики, не без основания видящие в прогрессе причину нервных расстройств, так часто наблюдаемых в последние десятки лет. В Америке и Европе на каждом шагу вы встретите все виды нервных страданий, начиная с простой невралгии и кончая тяжелым психозом. Мне самому приходилось наблюдать случаи тяжелого психоза, причины которого нужно искать только в цивилизации.

Я знаю одного отставного капитана, бывшего станового. Этот человек помешан на тему: «сборища воспрещены». И только потому, что сборища воспрещены, он вырубил свой лес, не обедает с семьей, не пускает на свою землю крестьянское стадо и т. п. Когда его пригласили однажды на выборы, он воскликнул:

— А вы разве не знаете, что сборища воспрещены?

Один отставной урядник, изгнанный, кажется, за правду или за лихоимство (не помню, за что именно), помешан на тему: «а посиди-ка, братец!» Он сажает в сундук кошек, собак, кур и держит их взаперти определенные сроки. В бутылках сидят у него тараканы, клопы, пауки. А когда у него бывают деньги, он ходит по селу и нанимает желающих сесть под арест.

¹ мания величия (лат.).

— Посиди, голубчик! — умоляет он.— Ну, что тебе стоит? Ведь выпущу! Уважь характеру!

Найдя охотника, он запирает его, сторожит день и ночь и выпускает на волю не ранее определенного срока.

Мой дядя, интендант, кушает гнилые сухари и носит бумажные подметки. Он щедро награждает тех из домашних, которые подражают ему.

Мой зять, акцизный, помешан на идее: «гласность — фря!» Когда-то его отщелкали в газетах за вымогательство, и это послужило поводом к его умопомешательству. Он выписывает почти все столичные газеты, но не для того, чтобы читать их. В каждом полученном номере он ищет «предосудительное»; найдя таковое, он вооружается цветным карандашом и марает. Измарав весь номер, он отдает его кучерам на папиросы и чувствует себя здоровым впредь до получения нового номера.

ТЕМНОЮ НОЧЬЮ

Ни луны, ни звезд... Ни контуров, ни силуэтов, ни одной мало-мальски светлой точки... Все утонуло в сплошном, непроницаемом мраке. Глядишь, глядишь и ничего не видишь, точно тебе глаза выкололи... Дождь жарит как из ведра... Грязь страшная...

По проселочной дороге плетется пара почтовых кляч. В таратайке сидит мужчина в шинели инженера-путейца. Рядом с ним его жена. Оба промокли. Ямщик пьян как стелька. Коренной хромает, фыркает, вздрагивает и плетется еле-еле... Пугливая пристяжная то и дело спотыкается, останавливается и бросается в сторону. Дорога ужасная... Что ни шаг, то колдобина, бугор, размытый мостик. Налево воеет волк; направо, говорят, овраг.

— Не сбились ли мы с дороги? — вздыхает инженерша. — Ужасная дорога! Не выврати нас.

— Зачем выворачивать? Ээ...т! Какая мне надомность вас выворачивать? Эх, по... подлая! Дрожи! Ми...лая!

— Мы, кажется, сбились с дороги, — говорит инженер. — Куда ты везешь, дьявол? Не видишь, что ли? Разве это дорога?

— Стало быть дорога!..

— Грунт не тот, пьяная морда! Сворачивай! Поворачивай вправо! Ну, погоняй! Где кнут?

— По... потерял, ваше высоко...

— Убью, коли что... Помни! Погоняй, подлец! Стой, куда едешь? Разве там дорога?

Лошади останавливаются. Инженер вскакивает, нависает на ямщицкие плечи, натягивает вожжи и тянет за правую. Коренной шлепает по грязи, круто поворачивает и вдруг ни с того ни с сего начинает как-то странно барахтаться... Ямщик сваливается и исчезает, пристяжная цепляется за какой-то утес, и инженер чувствует, что таратайка вместе с пассажирами летит куда-то к черту...

Овраг не глубок. Инженер поднимается, берет в охапку жену и выкарабкивается наверх. Наверху, на краю оврага, сидит ямщик и стонет. Путеец подскакивает к нему и, подняв вверх кулаки, готов растерзать, уничтожить, раздавить...

— Убью, рразбойник! — кричит он.

Кулак размахнулся и уже на половине дороги к ямщицкой физии... Еще секунда и...

— Миша, вспомни кукуевку! — говорит жена.

Миша вздрагивает, и его грозный кулак останавливается на полпути. Ямщик спасен.

Большая зала светилась огнями и кишела народом. В ней царил магнетизер. Он, несмотря на свою физическую мизерность и несолидность, сиял, блистал и сверкал. Ему улыбались, аплодировали, повиновались... Перед ним бледнели.

Делал он буквально чудеса. Одного усыпил, другого окоченил, третьего положил затылком на один стул, а пятками на другой... Одного тонкого и высокого журналиста согнул в спираль. Делал, одним словом, черт знает что. Особенно сильное влияние имел он на дам.

Они падали от его взгляда, как мухи. О, женские нервы! Не будь их, скучно жилось бы на этом свете! Испытав свое чертовское искусство на всех, магнетизер подошел и ко мне.

— Мне кажется, что у вас очень податливая натура, — сказал он мне. — Вы так нервны, экспрессивны... Не угодно ли вам уснуть?

Отчего не уснуть? Изволь, любезный, пробуй. Я сел на стул среди залы. Магнетизер сел на стул vis-à-vis¹, взял меня за руки и своими страшными змеиными глазами впился в мои бедные глаза.

Нас окружила публика.

— Тсс... Господа! Тсс... Тише!

Утихомирились... Сидим, смотрим в зрачки друг дру-

¹ напротив (франц.).

га... Проходит минута, две... Мурашки забегали по спине, сердце застучало, но спать не хотелось...

Сидим... Проходит пять минут, семь...

— Он не поддается! — сказал кто-то. — Bravo! Молодец мужчина!

Сидим, смотрим... Спать не хочется и даже не дремлет... От думского или земского протокола я давно бы уже спал... Публика начинает шептаться, хихикать... Магнетизер конфузится и начинает мигать глазами... Бедняжка! Кому приятно потерпеть фиаско? Спасите его, духи, пошлите на мои веки Морфея!

— Не поддается! — говорит тот же голос. — Довольно, бросьте! Говорил же я, что все это фокусы!

И вот, в то время, когда я, вняв голосу приятеля, сделал движение, чтобы подняться, моя рука нащупала на своей ладони посторонний предмет... Пустив в ход осязание, я узнал в этом предмете бумажку. Мой папаша был доктором, а доктора одним осязанием узнают качество бумажки. По теории Дарвина, я со многими другими способностями унаследовал от папаша и эту милую способность. В бумажке узнал я пятирублевку. Узнав, я моментально уснул.

— Bravo, магнетизер!

Доктора, бывшие в зале, подошли ко мне, повернулись, понохали и сказали:

— Н-да... усыплен...

Магнетизер, довольный успехом, помахал над моей головой руками, и я, спящий, зашагал по зале.

— Тетанируйте его руку! — предложил кто-то.

— Можете? Пусть его рука окоченеет...

Магнетизер (не робкий человек!) вытянул мою правую руку и начал производить над ней свои манипуляции: потрет, подует, похлопает. Моя рука не повиновалась. Она болталась, как тряпка, и не думала коченеть.

— Нет тетануса! Разбудите его, а то ведь вредно... Он слабенький, нервный...

Тогда моя левая рука почувствовала на своей ладони пятирублевку... Раздражение путем рефлекса передалось с левой на правую, и моментально окоченела рука.

— Bravo! Поглядите, какая твердая и холодная! Как у мертвеца!

— Полная анестезия, понижение температуры и ослабление пульса,— доложил магнетизер.

Доктора начали щупать мою руку.

— Да, пульс слабее,— заметил один из них.

— Полный тетанус. Температура много ниже...

— Чем же это объяснить? — спросила одна из дамочек.

Доктор значительно пожал плечами, вздохнул и сказал:

— Мы имеем только факты! Объяснений, увы!— нет...

Вы имеете факты, а я две пятирублевки. Мои дорожке... Спасибо магнетизму и за это, а объяснений мне не нужно...

Бедный магнетизер! И зачем ты со мной, с аспидом, связался?

Р. S. Ну, не проклятие ли? Не свинство ли?

Сейчас только узнал, что пятирублевки вкладывал в мой кулак не магнетизер, а Петр Федорыч, мой начальник...

— Это, говорит, я тебе для того сделал, чтобы узнать твою честность...

Ах, черт возьми!

— Стыдно, брат... Нехорошо... Не ожидал...

— Но ведь у меня дети, ваше превосходительство... Жена... Мать... При нонешней дороговизне...

— Нехорошо... А еще тоже газету свою издавать хочешь... Плачешь, когда на обедах речи читаешь... Стыдно... Думал, что ты честный человек, а выходит, что ты... хапен зи гевезен...

Пришлось возратить ему две пятирублевки. Что ж делать? Реноме дороже денег.

— На тебя я не сержусь! — говорит начальник.— Черт с тобой, натура уж у тебя такая... Но она! Она! У-ди-вительно! Она! кротость, невинность, бламанже и прочее! А? Ведь и она польстилась на деньги! Тоже уснула!

Под словом *она* мой начальник подразумевает свою супругу, Матрену Николаевну...

Пообедали. В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство, рты позевывали, глаза начали суживаться от сладкой дремоты. Муж закурил сигару, потянулся и развалился на кушетке. Жена села у изголовья и замурлыкала... Оба были счастливы.

— Расскажи что-нибудь...— зевнул муж.

— Что же тебе рассказать? Мм... Ах да! Ты слышал? Софи Окуркова вышла замуж за этого... как его... за фон Трамба! Вот скандал!

— В чем же тут скандал?

— Да ведь Трамб подлец! Это такой негодяй... такой бессовестный человек! Без всяких принципов! Урод нравственный! Был у графа управляющим — нажился, теперь служит на железной дороге и ворует... Сестру ограбил... Негодяй и вор, одним словом. И за этакое человека выходить замуж?! Жить с ним?! Удивляюсь! Такая нравственная девушка и... на тебе! Ни за что бы не вышла за такого субъекта! Будь он хоть миллионер! Будь красив, как не знаю что, я плюнула бы на него! И представить себе не могу мужа-подлеца!

Жена вскочила и, покрасневшая, негодующая, прошлась по комнате. Глазки загорелись гневом... Искренность ее была очевидна...

— Этот Трамб такая тварь! И тысячу раз глупы и пошлы те женщины, которые выходят за таких господ!

— Тэк-с... Ты, разумеется, не вышла бы... Нда... Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже... негодяй?.. Что бы ты сделала?

— Я? Бросила бы тебя! Не осталась бы с тобой ни на одну секунду! Я могу любить только честного человека! Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамб, я... мигом! Adieu ¹ тогда!

— Тэк... Гм... Какая ты у меня... А я и не знал... хе-хе-хе... Врет бабенка и не краснеет!

— Я никогда не лгу! Попробуй-ка сделать подлость, тогда и увидишь!

— К чему мне пробовать? Сама знаешь... Я еще почище твоего фон Трамба буду!.. Трамб — комашка сравнительно. Ты делаешь большие глаза? Это странно... (Пауза.) Сколько я получаю жалованья?

— Три тысячи в год.

— А сколько стоит колье, которое я купил тебе неделю тому назад? Две тысячи... Не так ли? Да вчерашнее платье пятьсот... Дача две тысячи... Хе-хе-хе. Вчера твой рарá выклянчил у меня тысячу...

— Но, Пьер, побочные доходы ведь...

— Лошади... Домашний доктор... Счеты от модисток. Третьего дня ты проиграла в стуколку сто рублей...

Муж приподнялся, подпер голову кулаками и прочел целый обвинительный акт. Подойдя к письменному столу, он показал жене несколько вещественных доказательств...

— Теперь ты видишь, матушка, что твой фон Трамб — ерунда, карманный воришка в сравнении со мной... Adieu! Иди и впредь не осуждай!

Я кончил. Быть может, читатель еще спросит:

— И она ушла от мужа?

Да, ушла... в другую комнату.

¹ Прощай (франц.).

По Невскому плелась со службы компания коллежских регистраторов и губернских секретарей. Их вел к себе на именины именинник Стручков.

— Да и пожрем же мы сейчас, братцы! — мечтал вслух именинник. — Страсть, как пожрем! Женка пирог приготовила. Сам вчера вечером за мукой бегал. Коньяк есть... воронцовская... Жена небось заждалась!

Стручков обитал у черта на куличках. Шли, шли к нему и наконец пришли. Вошли в переднюю. Носы почувствовали запах пирога и жареного гуся.

— Чувствуете? — спросил Стручков и захихикал от удовольствия. — Раздевайтесь, господа! Кладите шубы на сундук! А где Катя? Эй, Катя! Сбор всех частей прикатил! Акулина, поди помоги господам раздеться!

— А это что такое? — спросил один из компании, указывая на стену.

На стене торчал большой гвоздь, а на гвозде висела новая фуражка с сияющим козырьком и кокардой. Чиновники поглядели друг на друга и побледнели.

— Это его фуражка! — прошептали они. — Он... здесь!?!

— Да, он здесь, — пробормотал Стручков. — У Кати... Выйдемте, господа! Посидим где-нибудь в трактире, подождем, пока он уйдет.

Компания застегнула шубы, вышла и лениво поплелась к трактиру.

— Гусем у тебя пахнет, потому что гусь у тебя сидит! — слиберальничал помощник архивариуса. — Черти его принесли! Он скоро уйдет?

— Скоро. Больше двух часов никогда не сидит. Есть хочется! Перво-наперво мы водки выпьем и килечкой закусим... Потом повторим, братцы... После второй сейчас же пирог. Иначе аппетит пропадет... Моя женка хорошо пироги делает. Щи будут...

— А сардин купил?

— Две коробки. Колбаса четырех сортов... Жене, должно быть, тоже есть хочется... Ввалился, черт!

Часа полтора посидели в трактире, выпили для близиру по стакану чаю и опять пошли к Стручкову. Вошли в переднюю. Пахло сильнее прежнего. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели гуся и чашку с огурцами. Акулина что-то вынимала из печи.

— Опять неблагополучно, братцы!

— Что такое?

Чиновные желудки сжались от горя: голод не тетка, а на подлом гвозде висела кунья шапка.

— Это Прокатилова шапка,— сказал Стручков.— Выйдемте, господа! Переждем где-нибудь... Этот недолго сидит...

— И у этакого сквернавца такая хорошенькая жена! — послышался сиплый бас из гостиной.

— Дуракам счастье, ваше превосходительство! — аккомпанировал женский голос.

— Выйдемте! — простонал Стручков.

Пошли опять в трактир. Потребовали пива.

— Прокатилов — сила! — начала компания утешать Стручкова.— Час у твоей посидит, да зато тебе... десять лет блаженства. Фортуна, брат! Зачем огорчаться? Огорчаться не надо.

— Я и без вас знаю, что не надо. Не в том дело! Мне обидно, что есть хочется!

Через полтора часа опять пошли к Стручкову. Кунья шапка продолжала еще висеть на гвозде. Пришлось опять ретироваться.

Только в восьмом часу вечера гвоздь был свободен от постоя и можно было приняться за пирог! Пирог был сух, щи теплы, гусь пережарен — все перепортила карьера Стручкова! Ели, впрочем, с аппетитом.

В ЦИРУЛЬНЕ

Утро. Еще нет и семи часов, а цирульня Макара Кузьмича Блесткина уже отперта. Хозяин, малый лет двадцати трех, неумытый, засаленный, но франтовато одетый, занят уборкой. Убирать, в сущности, нечего, но он вспотел, работая. Там тряпочкой вытрет, там пальцем сколупнет, там клопа найдет и смахнет его со стены.

Цирульня маленькая, узенькая, поганенькая. Бревенчатые стены оклеены обоями, напоминающими полинялую ямщицкую рубаху. Между двумя тусклыми, слезоточивыми окнами — тонкая, скрипучая, тщедушная дверца, над нею позеленевший от сырости колокольчик, который вздрагивает и болезненно звенит сам, без всякой причины. А поглядите вы в зеркало, которое висит на одной из стен, и вашу физиономию перекосит во все стороны самым безжалостным образом! Перед этим зеркалом стригут и бреют. На столике, таком же неумытом и засаленном, как сам Макар Кузьмич, все есть: гребенки, ножницы, бритвы, фиксатуара на копейку, пудры на копейку, сильно разведенного одеколону на копейку. Да и вся цирульня не стóит больше пятиалтынного.

Над дверью раздается взвизгиванье больного колокольчика, и в цирульню входит пожилой мужчина в дубленом полушубке и валенках. Его голова и шея окутаны женской шалью.

Это Эраст Иванович Ягодов, крестный отец Макара Кузьмича. Когда-то он служил в консистории в сторожах, теперь же живет около Красного пруда и занимается слесарством.

— Макарушка, здравствуй, свет! — говорит он Макару Кузьмичу, увлекшемуся уборкой.

Целуются. Ягодов стаскивает с головы шаль, крестится и садится.

— Даль-то какая! — говорит он, кряхтя. — Шутка ли? От Красного пруда до Калужских ворот.

— Как поживаете-с?

— Плохо, брат. Горячка была.

— Что вы? Горячка!

— Горячка. Месяц лежал, думал, что помру. Собо-ровался. Теперь волос лезет. Доктор постричься приказал. Волос, говорит, новый пойдет, крепкий. Вот я и думаю в уме: пойду-ка к Макару. Чем к кому другому, так лучше уж к родному. И сделает лучше, и денег не возьмет. Далеконько немножко, оно правда, да ведь это что ж? Та же прогулка.

— Я с удовольствием. Пожалуйста-с!

Макар Кузьмич, шаркнув ногой, указывает на стул. Ягодов садится и глядит на себя в зеркало и, видимо, доволен зрелищем: в зеркале получается кривая рожа с калмыцкими губами, тупым, широким носом и с глазами на лбу. Макар Кузьмич покрывает плечи своего клиента белой простыней с желтыми пятнами и начинает визжать ножницами.

— Я вас начисто, догола! — говорит он.

— Натурально. На татарина чтоб похож был, на бомбу. Волос гуще пойдет.

— Тетенька как поживают-с?

— Ничего, живет себе. Намедни к майорше принимать ходила. Рубль дали.

— Так-с. Рубль. Придержите ухо-с!

— Держу... Не обрежь, смотри. Ой, больно! Ты меня за волосья дергаешь.

— Это ничего-с. Без этого в нашем деле невозможно. А как поживают Анна Эрастовна?

— Дочка? Ничего, прыгает. На прошлой неделе, в среду, за Шейкина просватали. Отчего не приходил?

Ножницы перестают визжать. Макар Кузьмич опускает руки и спрашивает испуганно:

— Кого просватали?

— Анну.

— Это как же-с? За кого?

— За Шейкина, Прокофия Петрова. В Златоустенском переулке его тетка в экономах. Хорошая женщина. Натурально, все мы рады, слава богу. Через неделю свадьба. Приходи, погуляем.

— Да как же это так, Эраст Иваныч? — говорит Макар Кузьмич, бледный, удивленный, и пожимает плечами. — Как же это возможно? Это... это никак не возможно! Ведь Анна Эрастовна... ведь я... ведь я чувства к ней питал, я намерение имел. Как же так?

— Да так. Взяли и просватали. Человек хороший.

На лице у Макара Кузьмича выступает холодный пот. Он кладет на стол ножницы и начинает тереть себе кулаком нос.

— Я намерение имел.— говорит он. — Это невозможно, Эраст Иваныч! Я... я влюблен и предложение сердца делал... И тетенька обещали. Я всегда уважал вас, все равно как родителя... стригу вас всегда задаром. Всегда вы от меня одолжение имели, и когда мой папаша скончался, вы взяли диван и десять рублей денег и назад мне не вернули. Помните?

— Как не помнить! Помню. Только какой же ты жених, Макар? Нешто ты жених? Ни денег, ни звания, ремесло пустяшное...

— А Шейкин богатый?

— Шейкин в артельщиках. У него в залоге лежит полторы тысячи. Так-то, брат... Толкуй не толкуй, а дело уж сделано. Назад не воротишь, Макарушка. Другую себе ищи невесту... Свет не клином сошелся. Ну, стриги! Что же стоишь?

Макар Кузьмич молчит и стоит недвижим, потом достает из кармана платочек и начинает плакать.

— Ну, чего! — утешает его Эраст Иваныч. — Брось! Эка, ревет, словно баба! Ты оканчивай мою голову да тогда и плачь. Бери ножницы!

Макар Кузьмич берет ножницы, минуту глядит на них бессмысленно и роняет на стол. Руки у него трясутся.

— Не могу! — говорит он. — Не могу сейчас, силы моей нет! Несчастный я человек! И она несчастная! Любили мы друг друга, обещались, и разлучили нас люди недобрые, без всякой жалости. Уходите, Эраст Иваныч! Не могу я вас видеть.

— Так я завтра приду, Макарушка. Завтра дострижешь.

— Ладно.

— Поуспокойся, а я к тебе завтра, пораньше утром.

У Эраста Ивановича половина головы выстрижена до гола, и он похож на каторжника. Неловко оставаться с такой головой, но делать нечего. Он окутывает голову и шею шалью и выходит из цирюльни. Оставшись один, Макар Кузьмич садится и продолжает плакать потихоньку.

На другой день рано утром опять приходит Эраст Иваныч.

— Вам что угодно-с? — спрашивает его холодно Макар Кузьмич.

— Достриги, Макарушка. Полголовы еще осталось.

— Пожалуйста деньги вперед. Задаром не стригу-с.

Эраст Иваныч, не говоря ни слова, уходит, и до сих пор еще у него на одной половине головы волосы длинные, а на другой — короткие. Стрижку за деньги он считает роскошью и ждет, когда на остриженной половине волосы сами вырастут. Так и на свадьбе гулял.

ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ

Р о м а н

Максим Кузьмич Салюттов высок, широкоплеч, осанист. Телосложение его смело можно назвать атлетическим. Сила его чрезвычайна. Он гнет двугривенные, вырывает с корнем молодые деревца, поднимает зубами гири и клянется, что нет на земле человека, который осмелился бы побороться с ним. Он храбр и смел. Не видели, чтобы он когда-нибудь чего-нибудь боялся. Напротив, его самого боятся и бледнеют перед ним, когда он бывает сердит. Мужчины и женщины визжат и краснеют, когда он пожимает их руки: больно! Его прекрасный баритон невозможно слушать, потому что он заглушает... Сила-человек! Другого подобного я не знаю.

И эта чудовищная, нечеловеческая, воловья сила походила на ничто, на раздавленную крысу, когда Максим Кузьмич объяснялся в любви Елене Гавриловне! Максим Кузьмич бледнел, краснел, дрожал и не был в состоянии поднять стула, когда ему приходилось выжимать из своего большого рта: «Я вас люблю!» Сила ступшеывалась, и большое тело обращалось в большой пустопорожний сосуд.

Он объяснялся в любви на катке. Она порхала по льду с легкостью перышка, а он, гоняясь за ней, дрожал, млел и шептал. На лице его были написаны страдания... Ловкие, поворотливые ноги подгибались и пугались, когда приходилось вырезывать на льду какой-

нибудь прихотливый вензель... Вы думаете, он боялся отказа? Нет. Елена Гавриловна любила его и жаждала предложения руки и сердца... Она, маленькая, хорошенькая брюнеточка, готова была каждую минуту сгореть от нетерпения... Ему уже тридцать, чин его невелик, денег у него не особенно много, но зато он так красив, остроумен, ловок! Он отлично пляшет, прекрасно стреляет... Лучше его никто не ездит верхом. Раз он, гуляя с нею, перепрыгнул через такую канаву, перепрыгнуть через которую затруднился бы любой английский скакун!..

Нельзя не любить такого человека!

И он сам знал, что его любят. Он был уверен в этом. Страдал же он от одной мысли... Эта мысль душила его мозг, заставляла его бесноваться, плакать, не давала ему пить, есть, спать... Она отравляла его жизнь. Он клялся в любви, а она в это время копошилась в его мозгу и стучала в его виски.

— Будьте моей женой! — говорил он Елене Гавриловне. — Я вас люблю! бешено, страшно!

И сам в то же время думал:

«Имею ли я право быть ее мужем? Нет, не имею! Если бы она знала, какого я происхождения, если бы кто-нибудь рассказал ей мое прошлое, она дала бы мне пощечину! Позорное, несчастное прошлое! Она, знатная, богатая, образованная, плюнула бы на меня, если бы знала, что я за птица!»

Когда Елена Гавриловна бросилась ему на шею и поклялась ему в любви, он не чувствовал себя счастливым.

Мысль отравила всё... Возвращаясь с катка домой, он кусал себе губы и думал:

«Подлец я! Если бы я был честным человеком, я рассказал бы ей все... все! Я должен был, прежде чем объясняться в любви, посвятить ее в свою тайну! Но я этого не сделал, и я, значит, негодяй, подлец!»

Родители Елены Гавриловны согласились на брак ее с Максимом Кузьмичом. Атлет нравился им: он был почителен и, как чиновник, подавал большие надежды. Елена Гавриловна чувствовала себя на эмпиреях. Она была счастлива. Зато бедный атлет был далеко не

счастлив! До самой свадьбы его терзала та же мысль, что и во время объяснения...

Терзал его и один приятель, который как свои пять пальцев знал его прошлое... Приходилось отдавать приятелю почти все свое жалованье.

— Угости обедом в «Эрмитаже»! — говорил приятель. — А то всем расскажу... Да двадцать пять рублей дай взаймы!

Бедный Максим Кузьмич похудел, осунулся... Щеки его впали, кулаки стали жилистыми. Он заболел от мысли. Если бы не любимая женщина, он застрелился бы...

«Я подлец, негодяй! — думал он. — Я должен объясниться с ней до свадьбы! Пусть плюнет на меня!»

Но до свадьбы он не объяснился: не хватило храбрости.

Да и мысль, что после объяснения ему придется расстаться с любимой женщиной, была для него ужаснее всех мыслей!..

Наступил свадебный вечер. Молодых повенчали, поздравили, и все удивлялись их счастью. Бедный Максим Кузьмич принимал поздравления, пил, плясал, смеялся, но был страшно несчастлив. «Я себя, скота, заставлю объяснить! Нас повенчали, но еще не поздно! Мы можем еще расстаться!»

И он объяснился...

Когда наступил вожделенный час и молодых проводили в спальню, совесть и честность взяли свое... Максим Кузьмич, бледный, дрожащий, не помнящий родства, еле дышащий, робко подошел к ней и, взяв ее за руку, сказал:

— Прежде чем мы будем принадлежать... друг другу, я должен... должен объясниться...

— Что с тобой, Макс?! Ты... бледен! Ты все эти дни бледен, молчалив... Ты болен?

— Я... должен тебе все рассказать, Леля... Сядем... Я должен тебя поразить, отравить твоё счастье... но что ж делать? Долг прежде всего... Я расскажу тебе свое прошлое...

Леля сделала большие глаза и ухмыльнулась...

— Ну, рассказывай... Только скорей, пожалуйста. И не дрожи так.

— Ро...родился я в Там... там... бове... Родители мои были незнатны и страшно бедны... Я тебе расскажу, что я за птица. Ты ужаснешься. Постой... Увидишь... Я был нищим... Будучи мальчиком, я продавал яблоки... груши...

— Ты?!

— Ты ужасаешься? Но, милая, это еще не так ужасно. О я несчастный! Вы проклянете меня, если узнаете!

— Но что же?

— Двадцати лет... я был... был... простите меня! Не гоните меня! Я был... клоуном в цирке!

— Ты?! Клоуном?

Салютов в ожидании пощечины закрыл руками свое бледное лицо... Он был близок к обмороку...

— Ты... клоуном?

И Леля повалилась с кушетки... вскочила, забегала...

Что с ней? Ухватилась за живот... По спальне понесся и посыпался смех, похожий на истерический...

— Ха-ха-ха... Ты был клоуном? Ты? Максинька... Голубчик! Представь что-нибудь! Докажи, что ты был им! Ха-ха-ха! Голубчик!

Она подскочила к Салютову и обняла его...

— Представь что-нибудь! Милый! Голубчик!

— Ты смеешься, несчастная? Презираешь?

— Сделай что-нибудь! И на канате умеешь ходить?

Да ну же!

Она осыпала лицо мужа поцелуями, прижалась к нему, залебезила... Незаметно было, чтобы она сердилась... Он, ничего не понимающий, счастливый, уступил просьбе жены.

Подойдя к кровати, он сосчитал три и стал вверх ногами, опираясь лбом о край кровати...

— Bravo, Макс! Бис! Ха-ха! Голубчик! Еще!

Макс покачнулся, прыгнул, как был, на пол и заходил на руках...

Утром родители Лели были страшно удивлены.

— Кто это там стучит наверху? — спрашивали они

друг друга.— Молодые еще спят... Должно быть, прислуга шалит... Возьмется-то как! Экие мерзавцы!

Папаша пошел наверх, но прислуги не нашел там.

Шумели, к великому его удивлению, в комнате молодых... Он постоял около двери, пожал плечами и слегка приотворил ее... Заглянув в спальную, он съжился и чуть не умер от удивления: среди спальни стоял Максим Кузьмич и выделял в воздухе отчаяннейшие *salto mortale*; возле него стояла Леля и аплодировала. Лица обоих светились счастьем.

КРЕСТ

В гостиную, наполненную народом, входит поэт.

— Ну что, как ваша миленькая поэма? — обращается к нему хозяйка.— Напечатали? Гонорар получили?

— И не спрашивайте... Крест получил.

— Вы получили крест? Вы, поэт?! Разве поэты получают кресты?

— От души поздравляю! — жмет ему руку хозяин.— Станислав или Анна? Очень рад... рад очень... Станислав?

— Нет, красный крест...

— Стало быть, вы гонорар пожертвовали в пользу общества Красного Креста?

— Ничего не пожертвовал.

— А вам к лицу будет орден... А ну-ка, покажите!

Поэт лезет в боковой карман и достает оттуда рукопись...

— Вот он...

Публика глядит в рукопись и видит красный крест... но такой крест, который не прицепишь к сюртуку.

БЛАГОДАРНЫЙ

Психологический этюд

— Вот тебе триста рублей! — сказал Иван Петрович, подавая пачку кредиток своему секретарю и дальнему родственнику Мише Бобову. — Так и быть, возьми... Не хотел давать, но... что делать? Бери... В последний раз... Мою жену благодари. Если бы не она, я тебе не дал бы... Упросила.

Миша взял деньги и замигал глазками. Он не находил слов для благодарности. Глаза его покраснели и подернулись влагой. Он обнял бы Ивана Петровича, но... начальников обнимать так неловко!

— Жену благодари, — сказал еще раз Иван Петрович. — Она упросила... Ты ее так разжалобил своей слезливой рожицей... Ее и благодари.

Миша попятился назад и вышел из кабинета. Он пошел благодарить свою дальнюю родственницу, супругу Ивана Петровича. Она, маленькая, хорошенькая блондиночка, сидела у себя в кабинете на маленькой кушеточке и читала роман. Миша остановился перед ней и произнес:

— Не знаю, как и благодарить вас!

Она снисходительно улыбнулась, бросила книжку и милостиво указала ему на место около себя. Миша сел.

— Как мне благодарить вас? Как? Чем? Научите меня! Марья Семеновна! Вы мне сделали более чем благодеяние! Ведь на эти деньги я справлю свою свадьбу с моей милой, дорогой Катей!

По Мишиной щеке поползла слеза. Голос его дрожал.
— О, благодарю вас!

Он нагнулся и чмокнул в пухленькую ручку Марьи Семеновны.

— Вы так добры! А как добр ваш Иван Петрович! Как он добр, снисходителен! У него золотое сердце! Вы должны благодарить небо за то, что оно послало вам такого мужа! Моя дорогая, любите его! Умоляю вас, любите его!

Миша нагнулся и чмокнул в обе ручки разом. Слезка поползла и по другой щеке. Один глаз стал меньше.

— Он стар, некрасив, но зато какая у него душа! Найдите мне где-нибудь другую такую душу! Не найдете! Любите же его! Вы, молодые жены, так легкомысленны! Вы в мужчине ищете прежде всего внешности... эффекта... Умоляю вас!

Миша схватил ее локти и судорожно сжал их между своими ладонями. В голосе его слышались рыдания.

— Не изменяйте ему! Изменить этому человеку, значит изменить ангелу! Оцените его, полюбите! Любить такого чудного человека, принадлежать ему... да ведь это блаженство! Вы, женщины, не хотите понимать многое... многое... Я вас люблю страшно, бешено за то, что вы принадлежите ему! Целую святыню, принадлежащую ему... Это святой поцелуй... Не бойтесь, я жених... Ничего...

Миша, трепещущий, захлебывающийся, потянулся от ее уха к щеке и прикоснулся к ней своими усами.

— Не изменяйте ему, моя дорогая! Ведь вы его любите? Да? Любите?

— Да.

— О, чудная!

Минуту Миша восторженно и умиленно глядел в ее глаза. В них он прочел благородную душу...

— Чудная вы...— продолжал он, протянув руку к ее талии.— Вы его любите... Этого чудного... ангела... Это золотое сердце... сердце...

Она хотела освободить свою талию от его руки, завертелась, но еще более завязла... Головка ее — неудобно сидеть на этих кушетках! — нечаянно упала на Мишину грудь.

— Его душа... сердце... Где найти другого такого человека? Любить его... Слышать биение его сердца... Идти с ним рука об руку... Страдать... делить радости... Поймите меня! Поймите меня!..

Из Мишиных глаз брызнули слезы... Голова судорожно замоталась и склонилась к ее груди. Он зарыдал и сжал Марью Семеновну в своих объятиях...

Ужасно неудобно сидеть на этих кушетках! Она хотела освободиться из его объятий, утешить его, успокоить... Он так нервен! Она поблагодарит его за то, что он так расположен к ее мужу... Но никак не встанешь!

— Любите его... Не изменяйте ему... Умоляю вас! Вы... женщины... так легкомысленны... не понимаете...

Миша не сказал более ни слова... Язык его заболтался и замер...

Через пять минут в ее кабинет зачем-то вошел Иван Петрович... Несчастный! Зачем он не пришел ранее? Когда они увидели багровое лицо начальника, его сжатые кулаки, когда услышали его глухой, задушенный голос, они вскочили...

— Что с тобой? — спросила бледная Марья Семеновна.

Спросила, потому что надо же было говорить!

— Но... но ведь я искренно, ваше превосходительство! — пробормотал Миша.— Честное слово, искренно!

Дверь самая обыкновенная, комнатная. Сделана она из дерева, выкрашена обыкновенной белой краской, висит на простых крючьях, но... отчего она так внушительна? Так и дышит олимпийством! По ту сторону двери сидит... впрочем, это не наше дело.

По сию сторону стоят два человека и рассуждают:

— Мерси-с!

— Это вам-с, детишкам на молочишко. За труды ваши, Максим Иванович. Ведь дело три года тянется, не шутка... Извините, что мало... Старайтесь только, батюшка! (Пауза.) Хочется мне, благодетель, благодарить Порфирия Семеныча... Они мой главный благодетель, и от них всего больше мое дело зависит... Поднести бы им в презент не мешало... сотенки две-три...

— Ему... сотенки?! Что вы? Да вы угорели, родной! Перекреститесь! Порфирий Семеныч не таковский, чтоб...

— Не берут? Жаль-с... Я ведь от души, Максим Иванович... Это не какая-нибудь взятка... Это приношение от чистоты души... за труды непосильные... Я ведь не бесчувственный, понимаю их труд... Кто нонче из-за одного жалованья такую тяготу на себя берет? Гм... Так-то-с... Это не взятка-с, а законное, так сказать, взятие...

— Нет, это невозможно! Он такой человек... такой человек!

— Знаю я их, Максим Иванович! Прекрасный они человек! И сердце у них предоброе, душа филантропная...

гуманическая... Ласковость такая... Глядит на тебя и всю твою психологию воротит... Молюсь за них денно и ночью... Только дело вот слишком долго тянется! Ну, да это ничего... И за все добродетели эти хочется мне благодарить их... Рубликов триста примерно...

— Не возьмет... Натура у него другая! Строгость! И не суйтесь к нему... Трудится, беспокоится, ночей не спит, а касательно благодарности или чего прочего — ни-ни... Правила такие. И то сказать, на что ему ваши деньги? Сам миллионщик!

— Жалость какая... А мне так хотелось обнаружить им свои чувства! (Тихо.) Да и дело бы мое подвинулось... Ведь три года тянется, батюшка! Три года! (Громко.) Не знаю, как и поступить... В уныние впал я, благодетель мой... Выручьте, батюшка! (Пауза.) Сотни три я могу... Это точно... Хоть сию минуту...

— Гм... Да-с... Как же быть? (Пауза.) Я вам вот что посоветую. Коли уж желаете благодарить его за благодеяния и беспокойства, то... извольте, я ему скажу... Доложу... Я ему посоветовать могу...

— Пожалуйста, батюшка! (Продолжительная пауза.)

— Мерси-с... Он уважит... Только вы не триста рублей... С этими паршивыми деньгами и не суйтесь... Для него это нуль, ничтожество... газ... Вы ему тысячу...

— Две тысячи! — говорит кто-то по ту сторону двери.

Занавес падает. Да не подумает о сем кто-либо худо!

РЕВНИТЕЛЬ

Двадцать лет собирался директор З.-Б.-Х. железной дороги сесть за свой письменный стол и наконец два дня тому назад собрался. Полжизни мысль, жгучая, острая, беспокойная, вертелась у него в голове, выливалась в благоприличную форму, округлялась, детализировалась, росла и наконец выросла до величины грандиознейшего проекта... Он сел за стол, взял в руки перо и... вступил на тернистый путь авторства.

Утро было тихое, светлое, морозное... В комнатах было тепло, уютно... На столе стоял стакан чаю и слегка дымил... Не стучали, не кричали, не лезли с разговорами... Отлично писать при такой обстановке! Бери перо в руки, да и валяй себе!

Директору не нужно было много думать, чтобы начать... В голове у него давно уже было все начато и окончено: знай себе списывай с мозгов на бумагу!

Он нахмурился, стиснул губы, потянул в себя струю воздуха и написал заглавие: *«Несколько слов в защиту печати»*. Директор любил печать. Он был предан ей всей душой, всем сердцем и всеми своими помышлениями. Написать в защиту *ее* свое слово, сказать это слово громко, во всеуслышание, было для него любимейшей двадцатилетней мечтой! Он *ей* обязан весьма многим: своим развитием, открытием злоупотреблений, местом... многим! Нужно отблагодарить *ее*... Да и автором хочется побыть хоть денек... Писателей хоть и ругают, а все-таки почитают... В особенности женщины... Гм...

Написав заглавие, директор выпустил струю воздуха и в минуту написал четырнадцать строк. Хорошо вышло, гладко... Он начал вообще о печати и, исписав пол-листа, заговорил о свободе печати... Он потребо-

вал... Протесты, исторические данные, цитаты, изречения, упреки, насмешки так и посыпались из-под его острого пера.

«Мы либералы,— писал он.— Смейтесь над этим термином! Скальте зубы! Но мы гордимся и будем гордиться этим прозвищем, покедова...»

— Газеты принесли! — доложил лакей.

В десять часов директор обыкновенно читал газеты. И на этот раз он не изменил своей привычке. Оставив писание, он встал, потянулся, разлегся на кушетке и принялся за газеты. Взяв в руки «Новое время», он презрительно усмехнулся, пробежал глазами по передовой и, не дочитав до конца, бросил.

— Краса Демидрона, — проворчал он.— Я вам пррропишу!

Швырнув на кресло «Новое время», директор взялся за «Голос». Глазки его затеплились хорошим чувством, на щеках заиграл румянец. Он любил «Голос» и сам когда-то в него пописывал.

Прочитал передовую и мелкие известия... Пробежал фельетон... Чем более он читал, тем маслянистее делались его глазки. Прочитал «среди газет и журналов»... Перевалился на третью страницу...

— Да, да. Так... И я об этом упомянул... Верно, совершенно верно! Гм. А это о чем?

Директор прищурил глаза...

«На З.-Б.-Х. железной дороге,— начал он читать,— приступлено на днях к разработке одного довольно странного проекта... Творец этого проекта сам директор дороги, бывший...»

Через полчаса после чтения «Голоса» директор, красный, потный, дрожащий, сидел за своим письменным столом и писал. Писал он «приказ по линии»... В этом приказе рекомендовалось не выписывать «некоторых» газет и журналов...

Возле сердитого директора лежали бумажные клочки. Эти клочки полчаса тому назад составляли собой «несколько слов в защиту печати»...

Sic transit gloria mundi!¹

¹ Так проходит мирская слава! (лат.)

БАРАН И БАРЫШНЯ

Эпизодик из жизни «Милостивых государей»

На сытой лоснящейся физиономии милостивого государя была написана смертельной скука. Он только что вышел из объятий послеобеденного Морфея и не знал, что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать... Читать надоело еще в незапамятные времена, в театр еще рано, кататься лень ехать... Что делать? Чем бы развлечься?

— Барышня какая-то пришла! — доложил Егор. — Вас спрашивает!

— Барышня? Гм... Кто же это? Все одно, впрочем, — проси...

В кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, одетая просто... даже очень просто. Она вошла и поклонилась.

— Извините, — начала она дрожащим дискантом. — Я, знаете ли... Мне сказали, что вас... вас можно застать только в шесть часов... Я... я.. дочь надворного советника Пальцева...

— Очень приятно! Ссадитесь! Чем могу быть полезен? Садитесь, не стесняйтесь!

— Я пришла к вам с просьбой... — продолжала барышня, неловко садясь и теребя дрожащими руками свои пуговки. — Я пришла... попросить у вас билет для бесплатного проезда на родину. Вы, я слышала, даете... Я хочу ехать, а у меня... я небогата... Мне от Петербурга до Курска...

— Гм... Так-с... А для чего вам в Курск ехать? Здесь нешто не нравится?

— Нет, здесь нравится, но, знаете ли... родители. Я к родителям. Давно уж у них не была... Мама, пишут, больна...

— Гм... Вы здесь служите или учитесь?

Барышня рассказала, где и у кого она служила, сколько получала жалованья, много ли было работы...

— Тэк... Служили... Да-с, нельзя сказать, чтоб ваше жалованье было велико... Нельзя сказать... Негуманно было бы не давать вам бесплатного билета... Гм... К родителям едете, значит... Ну, а небось в Курске и амуриччик есть, а? Амурашка? Хе-хе-хо... Женишок? Покраснели? Ну, что ж! Дело хорошее. Езжайте себе. Вам уже пора замуж... А кто он?

— В чиновниках...

— Дело хорошее. Езжайте в Курск... Говорят, что уже в ста верстах от Курска пахнет щами и ползают тараканы... Хе-хе-хо... Небось скука в этом Курске? Да вы скидайте шляпу! Вот так, не стесняйтесь! Егор, дай нам чаю! Небось скучно в этом... ммм... как его... Курске?

Барышня, не ожидавшая такого ласкового приема, просияла и описала милостивому государю все курские развлечения... Она рассказала, что у нее есть брат-чиновник, дядя-учитель, кузены-гимназисты... Егор подал чай... Барышня робко потянулась за стаканом и, боясь чамкать, начала бесшумно глотать... Милостивый государь глядел на нее и ухмылялся... Он уже не чувствовал скуки...

— Ваш жених хорош собой? — спросил он. — А как вы с ним сошлись?

Барышня конфузливо ответила на оба вопроса. Она доверчиво подвинулась к милостивому государю и, улыбаясь, рассказала, как здесь, в Питере, сватались к ней женихи и как она им отказала... Говорила она долго. Кончила тем, что вынула из кармана письмо от родителей и прочла его милостивому государю. Прошло восемь часов.

— А у вашего отца не плохой почерк... С какими он закорючками пишет! Хе-хе... Но, однако, мне пора... В театре уж началось... Прощайте, Марья Ефимовна!

— Так я могу надеяться? — спросила барышня, поднимаясь.

— На что-с?

— На то, что вы мне дадите бесплатный билет...

— Билет?.. Гм... У меня нет билетов! Вы, должно быть, ошиблись, сударыня... Хе-хе-хе... Вы не туда попали, не на тот подъезд... рядом со мной, подлинно, живет какой-то железнодорожник, а я в банке служу-с! Егор, вели заложить! Прощайте, та chère¹ Марья Семеновна! Очень рад... рад очень...

Барышня оделась и вышла... У другого подъезда ей сказали, что он уехал в половине восьмого в Москву.

¹ дорогая (франц.).

РАЗМАЗНЯ

На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться.

— Садитесь, Юлия Васильевна! — сказал я ей. — Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите... Ну-с... Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц...

— По сорока...

— Нет, по тридцати... У меня записано... Я всегда платил гувернанткам по тридцати... Ну-с, прожили вы два месяца...

— Два месяца и пять дней...

— Ровно два месяца... У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят рублей... Вычтешь девять воскресений... вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только... да три праздника...

Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но... ни слова!..

— Три праздника... Долой, следовательно, двенадцать рублей... Четыре дня Коля был болен и не было занятий... Вы занимались с одной только Варей... Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда... Двенадцать и семь — девятна-

дцать. Вычесть... останется... гм... сорок один рубль. Верно?

Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но — ни слова!..

— Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля... Чашка стоит дороже, она фамильная, но... бог с вами! Где наше не пропадало! Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок... Долой десять... Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять... Десятого января вы взяли у меня десять рублей...

— Я не брала! — шепнула Юлия Васильевна.

— Но у меня записано!

— Ну, пусть... хорошо.

— Из сорока одного вычесть двадцать семь — останется четырнадцать...

Оба глаза наполнились слезами... На длинном, хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!

— Я раз только брала, — сказала она дрожащим голосом. — Я у вашей супруги взяла три рубля... Больше не брала...

— Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать... Вот вам ваши деньги, милейшая! Три... три, три... один и один... Получите-с!

И я подал ей одиннадцать рублей... Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.

— Мерсі, — прошептала она.

Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.

— За что же мерсі? — спросил я.

— За деньги...

— Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же мерсі?

— В других местах мне и вовсе не давали...

— Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам... Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но

разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?

Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»

Я попросил у нее прощения за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла... Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!

РЕПКА

Перевод с детского

Жили-были себе дед да баба. Жили-были и породили Сержа. У Сержа уши длинные и вместо головы репка. Вырос Серж большой-пребольшой... Потянул дед за уши; тянет-потянет, вытянуть в люди не может. Кликнул дед бабку.

Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянуть не могут. Кликнула бабка тетку-княгиню.

Тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть в люди не могут. Кликнула княгиня кума-генерала.

Кум за тетку, тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Не вытерпел дед. Выдал он дочку за богатого купца. Кликнул он купца с сторублевками.

Купец за кума, кум за тетку, тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянули голову-репку в люди.

И Серж стал статским советником.

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЯ

Р а с с к а з

с т а т а в н о г о к о л л е ж с к о г о р е г и с т р а т о р а

В пятницу на масленой все отправились есть блины к Алексею Иванычу Козулину. Козулина вы не знаете; для вас, быть может, он ничтожество, нуль, для нашего же брата, не парящего высоко под небесами, он велик, всемогущ, высокомудр. Отправились к нему все, составляющие его, так сказать, подножие. Пошел и я с папашей.

Блины были такие великолепные, что выразить вам не могу, милостивый государь: пухленькие, рыхленькие, румяньенькие. Возьмешь один, черт его знает, обмакнешь его в горячее масло, съешь — другой сам в рот лезет. Детальями, орнаментами и комментариями были: сметана, свежая икра, семга, тертый сыр. Вин и водок целое море. После блинов осетровую уху ели, а после ухи куропаток с подливкой. Так укомплектовались, что папаша мой тайком расстегнул пуговицы на животе и, чтобы кто не заметил сего либерализма, накрылся салфеткой. Алексей Иваныч, на правах нашего начальника, которому все позволено, расстегнул жилетку и сорочку. После обеда, не вставая из-за стола, закурили, с дозволения начальства, сигары и повели беседу. Мы слушали, а его превосходительство, Алексей Иваныч, говорил. Сюжетцы были все больше юмористического характера, масленичного... Начальник рассказывал и, видимо, желал казаться остроумным. Не знаю, сказал ли он что-нибудь смешное, но только помню, что папаша ежеминутно толкал меня в бок и говорил:

— Смейся!

Я раскрывал широко рот и смеялся. Раз даже взвизнул от смеха, чем обратил на себя всеобщее внимание.

— Так, так! — зашептал папаша. — Молодец! Он глядит на тебя и смеется... Это хорошо; может, в самом деле даст тебе место помощника письмоводителя!

— Нда-с! — сказал, между прочим, Козулин, начальник наш, пыхтя и отдуваясь. — Теперь мы блины кушаем, наисвежайшую икру употребляем, жену белотелую ласкаем. А дочки у меня такие красавицы, что не только ваша братия смиренная, а даже князя и графы засматриваются и вздыхают. А квартира? Хе-хе-хе... То-то вот! Не ропщите, не сегуйте и вы, покуда до конца не доживете! Все бывает, ну и всякие перемены бывают... Ты теперь, положим, ничтожество, нуль, соринка... изюминка — а кто знает? Может быть, со временем и того... судьбы человеческие за вихор возьмешь! Всякое бывает!

Алексей Иваныч помолчал, покачал головой и продолжал:

— А прежде-то, прежде что было! А? Боже ты мой! Памяти своей не веришь. Без сапог, в рваных штанишках, со страхом и трепетом... За целковый, бывало, две недели работаешь. Да не дадут тебе этот целковый, нет! а скомкают да в лицо бросят: лопай! И всякий тебя раздавить может, уколоть, обухом хватить... Всякий оконфузить может... Идешь с докладом, глядишь, а у дверей собачонка сидит. Подойдешь ты к этой собачонке, да за лапочку, за лапочку. Извините, мол, что мимо прошел. С добрым утром-с! А собачонка на тебя: рррр... Швейцар тебя локтем — толк! а ты ему: «Мелких нет, Иван Потапыч!.. извините-с!» А больше всего я натерпелся и поношений разных вынес от этого вот сига копченого, от этого вот... крокодила! Вот от этого самого смиренного, от Курицына!

И Алексей Иваныч указал на маленького, сгорбленного старичка, сидевшего рядом с моим папашей. Старичок мигал утомленными глазками и с отвращением курил сигару. Обыкновенно он никогда не курит, но если начальство предлагает ему сигару, то он считает неприличным отказаться. Увидев устремленный на него

палец, он страшно сконфузился и завертелся на стуле.

— Много я претерпел по милости этого смиренного! — продолжал Козулин. — Я ведь к нему к первому под начало попал. Привели меня к нему смиренного, серенького, ничтожненького и посадили за его стол. И стал он меня есть... Что ни слово — то нож острый, что ни взгляд — то пуля в грудь. Теперь-то он червячком глядит, убогеньким, а прежде что было! Нептун! Небеса разверзся! Долго он меня терзал! Я и писал ему, и за пирожками бегал, перья чинил, тещу его старую по театрам водил. Всякие угождения ему делал. Табак нюхать выучился! Нда... А все для него... Нельзя, думаю, надо, чтоб табакерка при мне постоянно была на случай, ежели спросит. Курицын, помнишь? Приходит к нему однажды моя матушка покойница и просит его, старушечка, чтоб он сынка, меня то есть, на два дня к тетушке отпустил, наследство делить. Как накинется на нее, как вытаращит бельмы, как закричит: «Да он у тебя лентяй, да он у тебя дармоед, да чего ты, дура, смотришь!.. Под суд, говорит, попадет!» Пошла старушечка домой, да и слегла, заболела от перепугу, чуть не померла в ту пору...

Алексей Иванович вытер глаза платочком и залпом выпил стакан вина.

— Женить меня на своей собирался, да я на ту пору... к счастью, горячкой заболел, полгода в больнице пролежал. Вот что прежде было! Вот как живали! А теперь? Пфи! А теперь я... я над ним... Он мою тещу в театры водит, он мне табакерку подает и вот сигару курит. Хе-хе-хе... Я ему в жизнь перчику... перчику! Курицын!!

— Чего изволите-с? — спросил Курицын, вставая и вытягиваясь в струнку.

— Трагедию представы!

— Слушаю!

Курицын вытянулся, нахмурился, поднял вверх руку, скорчил рожу и пропел сиплым, дребезжащим голосом:

— Умри, вероломная! Крррови жажду!!

Мы покатались со смеху.

— Курицын! Съешь этот самый кусок хлеба с перчиком!

Сытый Курицын взял большой кусок ржаного хлеба, посыпал его перцем и сжевал при громком смехе.

— Всякие перемены бывают,— продолжал Козулин.— Сядь, Курицын! Когда встанем, пропоешь что-нибудь... Тогда ты, а теперь я... Да... Так и померла старушечка... Да...

Козулин поднялся и покачнулся...

— А я — молчок, потому что маленький, серенький... Мучители... Варвары... А теперь зато я... Хе-хе-хе... А ну-ка ты! Ты! Тебе говорят, безусый!

И Козулин ткнул пальцем в сторону папаша.

— Бегай вокруг стола и пой петушком!

Папаша мой улыбнулся, приятно покраснел и засеменял вокруг стола. Я за ним.

— Ку-ку-реку! — заголосили мы оба и побежали быстрее.

Я бегал и думал:

«Быть мне помощником письмоводителя!»

**В НАШ ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЕК,
КОГДА, И Т. Д.**

Человек с сизым носом подошел к колоколу и нехотя позвонил. Публика, дотоле покойная, беспокойно забегала, засуетилась... По платформе затарахтели тележки с багажом. Над вагонами начали с шумом протягивать веревку. Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили. Кто-то, где-то, суетясь, разбил бутылку... Послышались прощания, громкие всхлипывания, женские голоса...

Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек и молодая девушка. Оба прощались и плакали.

— Прощай, моя прелесть! — говорил молодой человек, целуя девицу в белокурую головку. — Прощай! Я так несчастлив! Ты оставляешь меня на целую неделю! Для любящего сердца ведь это целая вечность! Про...щай... Утри свои слезки... Не плачь...

Из глаз девушки брызнули слезы; одна слезинка упала на губу молодого человека.

— Прощай, Варя! Кланяйся всем... Ах, да! Кстати... Если увидишь там Мракова, то отдай ему вот эти... вот эти... Не плачь, душечка... Отдай ему вот эти двадцать пять рублей...

Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал ее Варе.

— Потрудись отдать... Я ему должен... Ах, как тяжело!

— Не плачь. Петя. В субботу я непременно... приеду... Ты же не забывай меня...

Белокурая головка склонилась на грудь Пети.

— Тебя? Тебя забыть?! Разве это возможно?

Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю, замигал глазами и заревел, как мальчишка. Варя повисла на его шее и застонала. Вошли в вагон.

— Прощай! Милая! Прелесть! Через неделю!

Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел из вагона. Он стал у окна и вынул из кармана платок, чтобы начать махать... Варя впилась в его лицо своими мокрыми глазами...

— Айдите в вагон! — скомандовал кондуктор. — Третий звонок! Праашу вас!

Ударил третий звонок. Петя замахал платком. Но вдруг лицо его вытянулось... Он ударил себя по лбу и как сумасшедший вбежал в вагон.

— Варя! — сказал он, задыхаясь. — Я дал тебе для Мракова двадцать пять рублей... Голубчик... Расписочку дай! Скорей! Расписочку, милая! И как это я забыл?

— Поздно, Петя! Ах! Поезд тронулся!

Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько заплакал и замахал платком.

— Пришли хоть по почте расписочку! — крикнул он кивавшей ему белокурой головке.

«Ведь этакий я дурак! — подумал он, когда поезд исчез из вида. — Даю деньги без расписки! А? Какая оплошность, мальчишество! (Вздых.) К станции, должно быть, подъезжает теперь... Голубушка!»

УМНЫЙ ДВОРНИК

Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставление. Его слушали лакеи, кучер, две горничные, повар, кухарка и два мальчика-поваренка, его родные дети. Каждое утро он что-нибудь да проповедовал, в это же утро предметом речи его было просвещение.

— И живете вы все как какой-нибудь свинячий народ, — говорил он, держа в руках шапку с бляхой. — Сидите вы тут сиднем и, кроме невежества, не видать в вас никакой цивилизации. Мишка в шашки играет, Матрена орешки щелкает, Никифор зубы скалит. Нешто это ум? Это не от ума, а от глупости. Нисколько нет в вас умственных способностей! А почему?

— Оно действительно, Филипп Никандрыч, — заметил повар. — Известно, какой в нас ум? Мужичкий. Нешто мы понимаем?

— А почему в вас нет умственных способностей? — продолжал дворник. — Потому что нет у вашего брата настоящей точки. И книжек вы не читаете, и насчет писаний нет у вас никакого смысла. Взяли бы книжечку, сели бы себе да почитали. Грамотны небось, разбираете печатное. Вот ты, Миша, взял бы книжечку да прочел бы тут. Тебе польза, да и другим приятность. А в книжках обо всех предметах распространение. Там и об естестве найдешь, и о божестве, о странах земных. Что из чего делается, как разный народ на всех языках. И идолопоклонство тоже. Обо всем в книжках найдешь, была бы охота. А то сидит себе около печи, жрет да пьет. Чисто как скоты неподобные! Тьфу!

— Вам, Никандрыч, на часы пора,—заметила кухарка.

— Знаю. Не твое дело мне указывать. Вот, к примеру скажем, хоть меня взять. Какое мое занятие при моем старческом возрасте? Чем душу свою удовлетворить? Лучше нет, как книжка или ведомости. Сейчас вот пойду на часы. Просижу у ворот часа три. И вы думаете, зевать буду или пустяки с бабами болтать? Не-ет, не таковский! Возьму с собой книжечку, сяду и буду читать себе в полное удовольствие. Так-то.

Филипп достал из шкафа истрепанную книжку и сунул ее за пазуху.

— Вот оно мое занятие. Сызмальства привык. Ученье свет, неученье тьма — слышали, чай? То-то...

Филипп надел шапку, крикнул и, бормоча, вышел из кухни. Он пошел за ворота, сел на скамью и нахмурился, как туча.

— Это не народ, а какие-то химики свинячие,— пробормотал он, все еще думая о кухонном населении.

Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздохнул и принялся за чтение.

«Так написано, что лучше и не надо,— подумал он, прочитав первую страницу и покрутив головой.— Умудрит же господь!»

Книжка была хорошая, московского издания: «Разведение корнеплодов. Нужна ли нам брюква». Прочитав первые две страницы, дворник значительно покачал головой и кашлянул.

— Правильно написано!

Прочитав третью страничку, Филипп задумался. Ему хотелось думать об образовании и почему-то о французах. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись в колена. Глаза прищурились.

И видел Филипп сон. Все, видел он, изменилось: земля та же самая, дома такие же, ворота прежние, но люди совсем не те стали. Все люди мудрые, нет ни одного дурака, и по улицам ходят всё французы и французы. Водовоз, и тот рассуждает: «Я, признаться, климатом очень недоволен и желаю на градусник поглядеть»,— а у самого в руках толстая книга.

— А ты почитай календарь,— говорит ему Филипп.

Кухарка глупа, но и она вмешивается в умные разговоры и вставляет свои замечания. Филипп идет в участок, чтобы прописать жильцов, — и странно, даже в этом суровом месте говорят только об умном и везде на столах лежат книжки. А вот кто-то подходит к лакею Мише, толкает его и кричит: «Ты спишь? Я тебя спрашиваю: ты спишь?»

— На часах спишь, болван? — слышит Филипп чей-то громовый голос. — Спишь, негодяй, скотина?

Филипп вскочил и протер глаза; перед ним стоял помощник участкового пристава.

— А? Спишь? Я оштрафую тебя, бестия! Я покажу тебе, как на часах спать, моррда!

Через два часа дворника потребовали в участок. Потом он опять был в кухне. Тут, тронутые его наставлениями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, который читал что-то по складам.

Филипп, нахмуренный, красный, подошел к Мише, ударил рукавицей по книге и сказал мрачно:

— Брось!

ДУРАК

Рассказ холостяка

Прохор Петрович почесал затылок, понюхал табак и продолжал:

— Две бутылки хересу в меня вылили. Сижу, пью и чувствую: ходят вокруг меня, улыбки ехидные строят и поздравляют. Около меня хозяйская дочка сидит, а я, пьяный дурак, чувствую, что мелю ерунду. Про семейную жизнь мелю, про утюги да горшки... После каждого слова поцелуй горячий... Тьфу! И вспоминать тошно. Просыпаюсь наутро, головешка трещит, во рту хлев свиной, а чувствую и понимаю, что я уже не прохвост, не мелюзга, а жених, самый настоящий — с кольцом на пальце! Иду к отцу-покойнику: так и так, мол, папаша милый, слово дал... венчаться хочу. Отец — известно, в смех... Не верит.

— Куда, говорит, тебе, молокососу, жениться? Ведь тебе и двадцати лет еще нет!

А подлинно молод я тогда был. Моложе снега первого... На голове кудри русые, в груди сердце пылкое, вместо живота этого шаровидного — талия тоненькая, женственная.

— Поживи еще, да тогда и женись, — говорит отец.

Я на дыбы... Известно, своя воля, балованный был. На своем стою.

— На ком же ты жениться хочешь? — спрашивает.

— На Марьяшке Крыткиной...

Отец в ужас.

— На этой прощелыге! Да ты с ума сошел! Ведь ее отец мазурик, весь в долгу, как в шелку... Дурачат тебя! В сети свои тебя замануть хотят! Дурак!

А действительно, что я дураком был. Баран бараном... Бывало, постучишь себя по голове — в другой комнате слышно. Звонко! До тридцати лет ни одного умного слова не сказал. А дурак, как сами знаете, вечно в беде. Так и я... Никогда, бывало, из беды не выхожу: то одно, то другое... И поделом, не будь дураком... То бьют меня, то из домов и трактиров гонят... Семь раз из гимназии выгоняли... То женят... Ну-с... Отец бранится, кричит, чуть не дерется, а я на своем стою.

— Жениться хочу, да и шабаш! Кому какое дело? Никакой отец не может мне препятствовать, ежели у меня свое уозрение есть! Не маленький!

Прибежала матушка-покойница. Ушам своим не верит, в обморок падает... Я на своем стою. Можно ли, думаю, мне не жениться, ежели я желаю свое семейство иметь? А ведь Марьяша, думаю, красавица... Она-то не красавица, да мне уж так казалось. Хотелось, чтоб так казалось, в голову себе вбил дурацкую идею... Она горбатенькая, косенькая, худенькая... Да и дура вдобавок... Чучело заморское, одним словом. Крыткины от моей женитьбы интерес видели. Они бедняги были, ну, а я со средствами. У моего отца большое состояние было. Пошел отец к начальству:

— Батюшка, ваше превосходительство! Не велите вы моему аспиду в брак вступать! Сделайте божескую милость! Погибнет мальчик!

На мое несчастье, начальник мой с душком был. Мода тогда либеральная пошла только что, дух этот...

— Не могу, говорит, вмешиваться во внутреннюю жизнь моих подчиненных. И вам не советую посягать на свободу сына.

— Да ведь он дурак, ваше превосходительство!

Начальство стук кулаком по столу!

— Кто бы он ни был, милостивый государь, а он имеет право располагать собой, как ему угодно! Он свободный человек, милостивый государь! Когда вы, варвары, научитесь понимать жизнь?! Пришлите ко мне вашего сына!

Зовут меня. Я застегиваюсь на все пуговицы и иду.

— Чего изволите-с?

— Вот что, молодой человек! Ваши родители препятствуют вам поступить согласно влечениям вашего сердца. Это жестоко и гнусно с их стороны. Верьте, молодой человек, что симпатии порядочных людей всегда будут на вашей стороне. Если любите, то идите туда, куда влечет вас ваше сердце. А ежели ваши родители по невежеству будут препятствовать вам, то скажите мне. Я поступлю с ними по-своему... Я... я им покажу!

И, чтобы показать, что в нем сидит самый настоящий дух этот, он добавил:

— Буду у вас на свадьбе. Даже отцом посаженным могу быть. Завтра же поеду вашу невесту посмотреть.

Кланяюсь и, ликуя, выхожу. Отец стоит тут же, чуть не плачет, а я ему из кармана кукиш показываю.

На другой день поехал он невесту смотреть. Понравилась.

— Худа, говорит, но симпатия есть на лице. Доброта, говорит, какая-то на лице написана. Грации много. Вы счастливы, молодой человек!

Через три дня повез невесте подарки.

— Примите, говорит, от старика, желающего вам счастья.

И прослезился даже... На пятый день сговор был. На сговоре он пунш пил и два бокала шампанского выкушал. Доброта!

— Славная, говорит, у тебя бабенка! Худая, косая, а что-то французистое в ней есть! Огонь какой-то!

За три дня до свадьбы прихожу к невесте. С букетом, знаете ли...

— Где Марьяша?

— Дома нету...

— А где она?

Тесть мой будущий молчит и ухмыляется. Теща тут же сидит и кофий внакладку пьет. (Раньше всегда вприкуску пила.)

— Да где же она? Чего вы молчите?

— А ты что за допросчик такой? Ступай туда, откуда дова пришел! Вороты оглобли.

Приглядываюсь и вижу: мой тестюшка, как зюзя...
Нахлестался, сволочь...

— Нету! — говорит, а сам ухмыляется.— Ищи себе
другую невесту, а Марьяшка... В гору пошла! Хе-хе-хе!
К благодетелю пошла!

— К какому?

— А к тому самому... К твоему пузатому, превосхо-
дительству-то... Хе-хе-хе... Было б не привозить!

Я так и ахнул!

Прохор Петрович громко высморкался, ухмыльнул-
ся и добавил:

— Ахнул и с той поры умней стал...

РАССКАЗ, КОТОРОМУ ТРУДНО ПОДОБРАТЬ НАЗВАНИЕ

Был праздничный полдень. Мы, в количестве двадцати человек, сидели за большим столом и наслаждались жизнью. Наши пьяненькие глазки покоились на прекрасной икре, свежих омарах, чудной семге и на массе бутылок, стоявших рядами почти во всю длину стола. В желудках было жарко, или, выражаясь по-арабски, всходили солнца. Ели и повторяли. Разговоры вели либеральные... Говорили мы о... Могу я, читатель, поручиться за вашу скромность? Говорили не о клубнике, не о лошадях... нет! Мы решали вопросы. Говорили о мужике, уряднике, рубле... (не выдайте, голубчик!). Один вынул из кармана бумажечку и прочел стихи, в которых юмористически советуется брать с обывателей за смотрение двумя глазами десять рублей, а за смотрение одним — пять рублей, со слепых же ничего не брать. Любостяжаев (Федор Андреич), человек обыкновенно смирный и почтительный, на этот раз поддался общему течению. Он сказал: «Его превосходительство Иван Прохорыч такая дылда... такая дылда!» После каждой фразы мы восклицали: «Pereat!»¹ Совратили с пути истины и официантов, заставив их выпить за фратернитэ...² Тосты были шипучие, забористые, самые возмутительные! Я, например, провозгласил тост за процветание ест... — могу я поручиться за вашу скромность?.. — естественных наук.

¹ Да погибнет! (лат.)

² братство (от франц. — fraternité).

Когда подали шампанское, мы попросили губернского секретаря Оттягаева, нашего Ренана и Спинозу, сказать речь. Поломавшись малость, он согласился и, оглянувшись на дверь, сказал:

— Товарищи! Между нами нет ни старших, ни младших! Я, например, губернский секретарь, не чувствую ни малейшего поползновения показывать свою власть над сидящими здесь коллежскими регистраторами и в то же время, надеюсь, здесь сидящие титулярные и надворные не глядят на меня, как на какую-нибудь чепуху. Позвольте же мне... Ммм... Нет, позвольте... Поглядите вокруг! Что мы видим?

Мы поглядели вокруг и увидели почтительно улыбающиеся холуйские физи.

— Мы видим,— продолжал оратор, оглянувшись на дверь,— муки, страдания... Кругом кражи, хищения, воровства, грабительства, лихоимства... Круговое пьянство... Притеснения на каждом шагу... Сколько слез! Сколько страдальцев! Пожалеем их, за... заплачем... (Оратор начинает слезоточить.) Заплачем и выпьем за...

В это время скрипнула дверь. Кто-то вошел. Мы оглянулись и увидели маленького человечка с большой лысиной и с менторской улыбочкой на губах. Этот человек так знаком нам! Он вошел и остановился, чтобы дослушать тост.

— ...заплачем и выпьем,— продолжал оратор, высив голос,— за здоровье нашего начальника, покровителя и благодетеля, Ивана Прохорыча Халчадаева! Урраааа!

— Урраааа! — загорланили все двадцать горл, и по всем двадцати сладкой струйкой потекло шампанское...

Старичок подошел к столу и ласково закивал нам головой. Он, видимо, был в восторге.

БРАТЕЦ

У окна стояла молодая девушка и задумчиво глядела на грязную мостовую. Сзади нее стоял молодой человек в чиновничьем вицмундире. Он теребил свои усики и говорил дрожащим голосом:

— Опомнись, сестра! Еще не поздно! Сделай такую милость! Откажи ты этому пузатому лабазнику, кацапу этому! Плюнь ты на эту анафему толстомордую, чтоб ему ни дна ни покрышки! Ну, сделай ты такую милость!

— Не могу, братец! Я ему слово дала.

— Умоляю! Пожалей ты нашу фамилию! Ты благородная, личная дворянка, с образованием, а ведь он квасник, мужик, хам! Хам! Пойми ты это, неразумная! Вонючим квасом да тухлыми селедками торгует! Жулик ведь! Ты ему вчера слово дала, а он сегодня же утром нашу кухарку на пятак обсчитал! Жилы тянет с бедного народа! Ну, а где твои мечтания? А? Боже ты мой, господи! А? Ты же ведь, послушай, нашего департаментского Мишку Треххвостова любишь, о нем мечтаешь! И он тебя любит...

Сестра вспыхнула. Подбородок ее задрожал, глаза наполнились слезами. Видно было, что братец попал в самую чувствительную «центру».

— И себя губишь и Мишку губишь... Запил малый! Эх, сестра, сестра! Польстилась ты на хамские капиталы, на сережечки да браслетки. Выходишь по расчету за дурмана какого-то... за свинство... За невежду выходишь... Фамилии путем подписать не умеет! «Мит-

рий Неколаев». «Не»... слышишь?.. Неколаев... Сссс-тина! Стар, грубый, сиволапый... Ну, сделай ты милость!

Голос братца дрогнул и засипел. Братец закашлялся и вытер глаза. И его подбородок запрыгал.

— Слово дала, братец... Да и бедность наша опротивела...

— Скажу, коли уж на то пошло! Не хотел пачкать себя в твоём мнении, а скажу... Лучше реноме потерять, чем сестру родную в погибели видеть... Послушай, Катя, я про твоего лабазника тайну одну знаю. Если ты узнаешь эту тайну, то сразу от него откажешься... Вот какая тайна... Ты знаешь, в каком пакостном месте я однажды с ним встретился? Знаешь? А?

— В каком?

Братец раскрыл рот, чтобы ответить, но ему помешали. В комнату вошел парень в поддевке, грязных сапогах и с большим кульком в руках. Он перекрестился и стал у двери.

— Кланялси вам Митрий Терентьич, — обратился он к братцу, — и велели вас с воскресным днем проздравить-с... А вот это самое-с в собственные руки-с.

Братец нахмурился, взял кулек, взглянул в него и презрительно усмехнулся.

— Что тут? Чепуха, должно быть... Гм... Голова сахару какая-то...

Братец вытащил из кулька голову сахару, снял с нее колпак и пощелкал по сахару пальцем.

— Гм... Чьей фабрики сахар? Бобринского? То-то... А это чай? Воняет чем-то... Сардины какие-то... Помада ни к селу ни к городу... изюм с сором... Задобрить хочет, подлизывается... Не-ет-с, милый дружок! Нас не задобришь! А для чего это он цикорного кофею всунул? Я не пью. Кофей вредно пить... На нервы действует... Хорошо, ступай! Кланяйся там!

Парень вышел. Сестра подскочила к брату, схватила его за руку... Брат сильно подействовал на нее своими словами. Еще бы слово, и... несдобровать бы лабазнику!

— Говори же! Говори! Где ты его видел?

— Нигде. Я пошутил... Делай, как знаешь! — сказал братец и еще раз постукал пальцем по сахару.

СЛУЧАЙ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Дело происходило в N...ском окружном суде, в одну из последних его сессий.

На скамье подсудимых заседал N...ский мещанин Сидор Шельмецов, малый лет тридцати, с цыганским подвижным лицом и плутоватыми глазками. Обвиняли его в краже со взломом, мошенничестве и проживательстве по чужому виду. Последнее беззаконие осложнялось еще присвоением не принадлежащих титулов. Обвинял товарищ прокурора. Имя сему товарищу — легион. Особенных примет и качеств, дающих популярность и солидный гонорарий, он за собой ведать не ведет: подобен себе подобным. Говорит в нос, буквы «к» не выговаривает, ежеминутно сморкается.

Защищал же знаменитейший и популярнейший адвокат. Этого адвоката знает весь свет. Чудные речи его цитируются, фамилия его произносится с благоговением...

В плохих романах, оканчивающихся полным оправданием героя и аплодисментами публики, он играет не малую роль. В этих романах фамилию его производят от грома, молнии и других не менее внушительных стихий.

Когда товарищ прокурора сумел доказать, что Шельмецов виновен и не заслуживает снисхождения; когда он уяснил, убедил и сказал: «Я кончил», — поднялся защитник. Все навострили уши. Воцарилась тишина. Адвокат заговорил, и... пошли плясать нервы N...ской

публики! Он вытянул свою смугловатую шею, склонил набок голову, засверкал глазами, поднял вверх руку, и необъяснимая сладость полилась в напряженные уши. Язык его заиграл на нервах, как на балайке... После первых же двух-трех фраз его кто-то из публики громко ахнул, и вынесли из залы заседания какую-то бледную даму. Через три минуты председатель принужден был уже потянуться к звонку и трижды позвонить. Судебный пристав с красным носиком завертелся на своем стуле и стал угрожающе поглядывать на увлеченную публику. Все зрачки расширились, лица побледнели от страстного ожидания последующих фраз, они вытянулись... А что делалось с сердцами?!

— Мы — люди, господа присяжные заседатели, будем же и судить по-человечески! — сказал, между прочим, защитник. — Прежде чем предстать пред вами, этот человек выстрадал шестимесячное предварительное заключение. В продолжение шести месяцев жена лишена была горячо любимого супруга, глаза детей не высыхали от слез при мысли, что около них нет дорогого отца! О, если бы вы посмотрели на этих детей! Они голодны, потому что их некому кормить, они плачут, потому что они глубоко несчастны... Да поглядите же! Они протягивают к вам свои ручонки, прося вас возвратить им их отца! Их здесь нет, но вы можете себе их представить. (Пауза.) Заключение... Гм... Его посадили рядом с ворами и убийцами... Его! (Пауза.) Надо только представить себе его нравственные муки в этом заключении, вдали от жены и детей, чтобы... Да что говорить?!

В публике послышались всхлипывания... Заплакала какая-то девушка с большой брошкой на груди. Вслед за ней захныкала соседка ее, старушонка.

Защитник говорил и говорил... Факты он миновал, а напирал больше на психологию.

— Знать его душу — значит знать особый, отдельный мир, полный движений. Я изучил этот мир... Изучая его, я, признаюсь, впервые изучил человека. Я понял человека... Каждое движение его души говорит за то, что в своем клиенте я имею честь видеть идеального человека...

Судебный пристав перестал глядеть угрожающе и полез в карман за платком. Вынесли из залы еще двух дам. Председатель оставил в покое звонок и надел очки, чтобы не заметили слезинки, наверху в его правом глазу. Все полезли за платками. Прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственнейший из организмов, беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть под стол... Слезы засверкали сквозь его очки.

«Было б мне отказаться от обвинения! — подумал он.— Ведь этакое фиаско потерпеть! А?»

— Взгляните на его глаза! — продолжал защитник (подбородок его дрожал, голос дрожал, и сквозь глаза глядела страдающая душа).— Неужели эти кроткие, пежные глаза могут равнодушно глядеть на преступление? О нет! Они, эти глаза, плачут! Под этими калмыцкими скулами скрываются тонкие нервы! Под этой грубой, уродливой грудью бьется далеко не преступное сердце! И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват?!

Тут не вынес и сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать. Он замигал глазами, заплакал и беспокойно задвигался...

— Виноват! — заговорил он, перебивая защитника.— Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенства строил! Окаянный я человек! Деньги я из сундука взял, а шубу краденую велел свояченице спрятать... Каюсь! Во всем виноват!

И подсудимый рассказал, как было дело. Его осудили.

ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА

Купе первого класса.

На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке, ринсе-pez то и дело спадает с ее хорошенького носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована... Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, «новэллы» — из великосветской жизни... Он глядит ей в лицо, глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает... Душа ее, вся ее психология у него как на ладони.

— О, я постигаю вас! — говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета.— Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта... Да! Борьба страшная, чудовищная, но... не унывайте! Вы будете победительницей! Да!

— Опишите меня, Вольдемар! — говорит дамочка, грустно улыбаясь.— Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра... Но главное — я несчастна! Я страдальца во вкусе Достоевского... Покажите миру мою душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу! Вы — психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!

— Говорите! Умоляю вас, говорите!

— Слушайте. Родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, умный, но... дух времени и среды... vous comprenez¹, я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты... брал взятки... Мать же... Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества... Ах, не заставляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой пробивать себе путь... Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь... А борьба со средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя?.. Ах! Вы писатель и знаете нас, женщин. Вы поймете... К несчастью, я наделена широкой натурой... Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человеком! Да! Быть человеком — в этом я видела свое счастье!

— Чудная! — лепечет писатель, целуя руку около браслета.— Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольников? Он так целовал.

— О Вольдемар! Мне нужна была слава... шум, блеск, как для всякой — к чему скромничать? — недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновенного... не женского! И вот... И вот... подвернулся на моем пути богатый старик генерал... Поймите меня, Вольдемар! Ведь это было самопожертвование, самоотречение, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро... А как я страдала, как невыносимы, низменно пошлы были для меня объятия этого генерала, хотя, надо отдать ему справедливость, в свое время он храбро сражался. Бывали минуты... ужасные минуты! Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня-завтра умрет, что я стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива... А у меня есть такой человек, Вольдемар! Видит бог, есть!

Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение.

— Но вот старик умер... Мне он оставил кое-что, я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо...

¹ вы понимаете (франц.).

Не правда ли, Вольдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но... нет! Вольдемар, слушайте, заклинаю вас! Теперь-то и отдаться любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой... отдохнуть... Но как все пошло, гадко и глупо на этом свете! Как все подло, Вольдемар! Я несчастна, несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ах, сколько мук, если б вы знали! Сколько мук!

— Но что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите! Что же?

— Другой богатый старик...

Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки...

ХИТРЕЦ

Шли два приятеля вечернею порой и дельный разговор вели между собой. Шли они по Невскому. Солнце уже зашло, но не совсем... Кое-где золотились еще домовые трубы и сверкали церковные кресты... В слегка морозном воздухе пахло весной...

— Весна близко! — говорил один приятель другому, стараясь взять его под руку.— Пакостница эта весна! Грязь везде, нездоровье, расходов много... Дачу нанимай, то да се... Ты, Павел Иванович, провинциал и не поймешь этого... Тебе не понять. У вас в провинции, как выразился однажды какой-то писатель, благодущие одно только... Ни горя, ни печалей. Едите, пьете, спите и никаких вопросов не знаете... Не то, что мы... Подмерзать начало... замечаешь? Впрочем, и у вас не без горя... И у вас весной своя печаль. Хе-хе-хе. Теперь у вас, провинциалов, начинает кровь играть... страсти бушуют. Мы, столичные — люди каменные, льядые, нет в нас пламени, и страстей мы не знаем, а вы вулканы, везувии! Пш! пш! Дышит! Хе-хе-хе... Ой, обжгусь! А признайся-ка, Павел Иванович, сильно кровь играет?

— Не к чему ей играть...— угрюмо ответил Павел Иванович.

— Да ну, полно, оставь! Ты холостой, не старый человек, отчего же ей и не поиграть? Пусть себе играет, коли хочет!.. И напрасно ты конфузишься... Ничего тут конфузного нет... Так только! (Пауза.) А какую, брат, я недавно девочку видел, какую девочку! Пальчи-

ки оближешь! Губами сто раз чмокнешь, когда увидишь! Огонь! Формы! Честное слово... Хочешь, познакомлю? Полячка... Созей зовут... Хочешь, сведу к ней?

— Гм... Извини, Семен Петрович, а я тебе скажу, что этак дворянам не надлежит поступать! Не надлежит!! Это бабье дело, кабацкое, а не твое, не дворянское!

— Что такое? Да ты... чего? — струсил Семен Петрович.

— Стыдно, брат! Твой отец-покойник предводителем у нас был, матушка в уважении... Стыдно! Я у тебя уже месяц гощу и одну за тобой черту заметил... Нет у тебя того знакомого, нет того встречного и поперечного, которому бы ты девочки не предлагал!.. То тому, то другому... И разговора у тебя другого нету... Подсватываньем занимаешься. А еще тоже женатый, почтенный, в действительные скоро полезешь, в превосходительные... Стыд, срам!.. Месяц живу у тебя, а ты мне уж десятую предлагаешь... Сваха!..

Семен Петрович сконфузился, завертелся, точно его на карманном воровстве поймали.

— Да я ничего... — залепетал он. — Я это так только... Хе-хе-хе... какой же ты...

Прошли шагов двадцать молча.

— Несчастный я человек! — застонал вдруг Семен Петрович, багровея и мигая глазками. — Несчастный я! Это ты верно, что я сваха! Верно! И был таким и до самой гробовой доски таким буду, ежели хочешь знать! В аду за это самое гореть буду!

Семен Петрович отчаянно махнул правой рукой, а левой провел по глазам. Цилиндр его сполз на затылок, калоши сильнее заскребли по тротуару. Кончик носа налился кровью...

— Пропадом пропаду за свое поведение! И умру не своей смертью! Погибну! Чувствую, брат, свой порок и понимаю, ничего я с собой не подделаю. Ведь для чего я всех женским полом пичкаю? Поневоле, брат! Ей-ей, поневоле! Ревнив я, как собака! Каюсь тебе, как другу моему... Ревность меня одолела! Женился я, сам знаешь, на молоденькой, на красавице... Каждый за ней ухаживает, то есть, может быть, на нее никто и глядеть не хочет, но мне все кажется... Слепой курице, знаешь,

все пшеница. Всякого шага боюсь... Намедни ты после обеда ей руку пожал, только, а мне уж все показалось... ножом пырнуть тебя захотелось... Всего боюсь! Ну, и приходится поневоле хитрость употреблять. Как только замечу, что кто-нибудь начинает увиваться около, я сейчас и подъезжаю с девочкой: не хочешь ли, мол? Отвод, хитрость военная... Дурак я! Что я делаю! Стыд, срам! Каждый день по Невскому бегаю, вербую для приятелей этих шлепохвостых тварей... Вот этих подлянок! А сколько у меня на них денег сходит, ежели бы ты знал! Некоторые, приятели-то, поняли мою слабость и пользуются... На мой счет пробавляются, подлецы... Ах!

Семен Петрович взвизгнул и побледнел. По Невскому, мимо приятелей, прокатила коляска. В ней сидела молодая дамочка; *vis-à-vis* дамочки сидел мужчина.

— Видишь, видишь?! Жена едет. Ну, как тут не ревновать? А? Ведь это он уж третий раз с ней катается! Недаром! Недаром, шельмец! Видал, как он на нее поглядывает? Прощай... Побегу... Так не хочешь Созю? Нет? Не хочешь! Прощай... Так я ему ее... Созю-то...

Семен Петрович нахлобучил поглубже шляпу и, стуча палкой, побежал, стараясь не потерять из виду коляски.

— Отец предводителем был,— вздохнул Павел Иванович.— Матушка в уважении... И фамилия знатная, столбовая... А-а-ах! Измельчал народ!

Особы обоего пола сидели в мягких креслах, кушали фрукты и от нечего делать бранили докторов. Порешили так, что если бы на этом свете вовсе не существовало докторов, то было бы прекрасно; по крайней мере люди не так бы часто болели и умирали.

— Впрочем, господа, иногда... впрочем...— заговорила в конце концов маленькая, тщедушная блондиночка, кушая грушу и краснея.— Иногда доктора бывают полезны... Нельзя отрицать их пользы в некоторых случаях: в семейной жизни, например. Представьте себе, что жена... Мужа моего нет здесь?

Блондинка окинула взглядом собеседников и, убедясь, что в гостиной нет ее мужа, продолжала:

— Представьте себе, что жена, в силу каких бы там ни было причин, не желает, чтобы, положим, он... не смел и подходить к ней... Представьте, что она не может, одним словом... любить мужа, потому что... одним словом, отдалась другому... любимому существу. Ну, что ей прикажете делать? Она отправляется к доктору и просит его, чтобы он... нашел причины... Доктор идет к мужу и говорит ему, что если... одним словом, вы меня понимаете. У Писемского даже есть кое-что в этом роде... Доктор приходит к мужу и во имя здоровья жены приказывает ему отказаться от своих супружеских обязанностей... Vous comprenez?¹

¹ Вы понимаете? (франц.)

— А я ничего не имею против господ докторов,— сказал сидящий в стороне старичок, чиновник.— Милейший и, могу вас уверить, умнейший народ! Благодетели наши они, ежели вникнуть. Рассудите сами, сударыни мои... Вы вот, мадам, сейчас насчет супружеских обязанностей говорили, а я вам скажу насчет наших обязанностей. Мы тоже ведь любим спокойствие и вожделение душевное этакое, чтоб все хорошо было. Службу свою я знаю, но ежели, ваше, положим, превосходительство, вы изволите требовать что поверх службы, то извините-с, это уж атанде. Нам наш покой тоже дорог... Вы знаете нашего генерала? Душа человек! Великодушие! Все поступки, можно сказать, душевные! И не обидит тебя, руку тебе подаст, насчет семейства расспросит... Начальник, а равного с тобой поведения. Шуточки этак, прибауточки всякие, анекдотцы... Как отец, одним словом, короче говоря. Но раза три в год в этом великом человеке переворот бывает. Меняется! Совсем другим делается и... не дай тебе господи! Любит, знаете ли, реформы вводить... Это его струна, идея, как говорят социалисты. И когда вот он — раза три в год с ним это случается — начнет реформы вводить, не подходи к нему тогда! Как тигр или лев какой-нибудь! Красный ходит такой, потный, дрожит, говорит, что у него людей нет. Ходим все мы тогда бледные и... помираем от ужаса. И держит нас на службе до поздней ночи, мы пишем, бегаем, архив роем, справки... и не дай тебе господи, и злomu татарину этого не пожелаю. В аду кромешном лучше. А намедни плакал, что его не понимают, что помощников настоящих у него нет... Плакал-с! А нешто нам приятно видеть, как начальник плачет?

Старичок умолк и отвернулся, чтобы не показать слез, заблестевших на его глазах.

— При чем же тут доктора? — спросила блондинка.

— А вот при чем-с... Постойте-с... Как только мы заприметим, стало быть, что начинается этот самый переворот, мы сейчас к доктору: «Иван Матвеич, голубчик! Благодетель, отец родной, выручи! На тебя только и надежда. Сделай божескую милость, спровадь ты его за границу! Жить нет возможности...» Ну-с... Доктор-то старичок славный такой... Известно, сам в подчинении

был и всю сладость вкусил. Идет к нашему, свидетельствует... Печенки, говорит, не того... Что-то в них там не того, ваше превосходительство... Вы бы, говорит, за границу, водами пользоваться... Ну, напугает печенками, а тот, известно, человек мнительный, болезней страшится... Сейчас за границу, а реформы — тю-тю! Вот-с!

— А вот ежели присяжным заседателем, положим...— начал купец.— К кому идти, ежели...

После купца стала говорить одна пожилая дама, сын которой недавно чуть было не пошел на военную службу.

И докторов стали хвалить; говорили, что без них никак нельзя, что если бы на этом свете не было докторов, то было бы ужасно. И решили в конце концов так, что если бы не было докторов, то люди болели бы и умирали гораздо чаще.

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

На станции Разбейся в апартаментах г. начальника станции заседало большое общество. Тут были начальники станций, начальники дистанций, магазинов, депо и проч., отставные и не отставные, старые и молодые. Между форменными путейскими сюртуками виднелись цвета женских *modes et robes*¹, попадались и детские мордочки... Компания пила чай, играла в карты, музицировала и услаждала себя беседою. Говорили о случаях, случайно случившихся на той или другой линии. Рассказано было много, не написать всего. Один г. Укусилов говорил два часа... Извольте-ка написать! Буду по обычаю краток.

— Три вагона разбило! — кончил свою двухчасовую речь г. Укусилов.— Двое убитых, пять раненых, а что паче сего, то от лукавого: неофициально, то есть... Хе-хе-хмы... Из одной артели было шесть раненых... Призываю их... «Ежели!.. Да кто-нибудь! Да кому-нибудь! Говори, что ушибся!» Двум солдатакам по трешке дадено было для успокоения: молчи и не распространяйся! Предостережений много принято было, а между тем не обошлось без худа. С места меня пугнули и судом пригрозили. Ты-де, мол, спал и телеграммы не дал. Начальнику станций, выходит, и спать нельзя... Народ бессовестный... Из-за пустяков семейного человека места лишили. В одном из вагонов начальнику движения из его

¹ Здесь: модных туалетов (*франц.*).

усадыбы свежих раков везли, да при суматохе растеряли. Начальник мечтал в этот вечер раки а ла бордалез кушать. Воспитания нежного... И не будь этих самых раков подлых, не прилетело бы ко мне на станцию следствие и не потерял бы я места...

— Вы и теперь без места? — спросила поповна из соседнего села. (Она приехала на станцию попросить «по знакомству» для мамашки бесплатного проезда к тете.)

— Какое! Через неделю я служил уж на другой дороге, хоть и под судом числился.

— А вот-с... тоже случай,— начал г. Гарцунов, наливая себе водки.— Вы, конечно, знаете Ивана Михайлыча, что обер-кондуктором ездил. Бестия, я вам скажу! Честнейший человек, благороднейший, но мерзавец в своем роде, архаровец... То есть не мерзавец, а так себе... гений в своем роде, коршун... Приходит он однажды на Живодерево с поездом... С товарным он ездил. В пассажирские его не производили, потому что женщин он не мог видеть равнодушно: припадок с ним делался. Приходит он с поездом... А на ту пору на платформе человек тридцать косарей стояло. Время рабочее, знаете ли, летнее.

— Куда идете, косарики? — спрашивает.— Давайте, говорит, я вас в товарном поезде до следующей станции доведу. По гривеннику, говорит, возьму с человека, только...

Тем это на руку, разумеется, того только и нужно. Получил с них Иван Михайлыч по гривеннику и засадил всех в служебный вагон. Поехали наши косари... От восторга песню запели. Па-атеха! На ту пору я в вагоне ехал, поспеть на крестины хотел, к Илье, вот, Петровичу... Олечку ихнюю крестили...

— Зачем вы, говорю, Иван Михайлыч, их насажали? Ведь на станции контролер!

— Нуте?

— Сейчас помереть...

Иван Михайлыч задумался... Известно, не хотелось оконфузиться. Оно-то ничего, знаете, все даром возят и всем это великолепно известно, но неловко как-то, знаете... Да и контролеры разные бывают... Иной черт

такой попадется, что жизни не рад будешь... Бывает! По злобе больше доносят или отличиться перед начальством хочет...

— Поезд не остановишь,— говорит Иван Михайлыч,— а ссадить их, чертей, надо... Как быть?

А тут еще поезд нам встретился, с тремя фонарями на служебном вагоне. У них, у кондукторов, знак такой: ежели на служебном вагоне три фонаря, положим, два флага или что-нибудь другое условное, то на станции, значит, контролер. Мои слова подтвердились. Иван Михайлыч думал и надумал. Па-атеха! Отворяет в вагоне дверь, берет господ косарей за шиворот и на всем ходу — марш! Прыгай! Запрыгали косари... Хе-хе-хе... Как снопы повалились.

— Прыгай! — кричит. — Прыгай наперед, и ничего тебе не будет! Прыгай, такой, сякой! Черт, дьявол!

Мы глядим и со смеху помираем... Все соскочили. Один только ногу себе сломал, а остальные все благополучно. Так и пропали ихние гривенники... Хе-хе-хе... Через неделю как-то узнали об этом скандале, выцарапали откуда-то косаря со сломанной ногой... Донес кто-то, шут возьми... Злоба людская... Косарю дали пять рублей, а Ивана Михайлыча с места долой... Хе-хе...

— И он без места теперь?

— В оперу, слышал, поступает. Баритон у него славный. Едет, бывало, в поезде, напьется и давай петь. Звери заслушивались, птицы плакали! Талантливый человек, и говорить нечего...

ВЕРБА

Кто ездил по почтовому тракту между Б.и Т.?

Кто ездил, тот, конечно, помнит и Андреевскую мельницу, одиноко стоящую на берегу речки Козьявки. Мельница маленькая, в два постава... Ей больше ста лет, давно уже она не была в работе, и не мудрено поэтому, что она напоминает собой маленькую, сгорбленную, оборванную старушонку, готовую свалиться каждую минуту. И эта старушонка давно бы свалилась, если бы она не облакачивалась о старую, широкую вербу. Верба широкая, не обхватить ее и двоим. Ее лоснящаяся листва спускается на крышу, на плотину; ниже ветви купаются в воде и стелются по земле. Она тоже стара и сгорблена. Ее горбатый ствол обезображен большим темным дуплом. Всуньте руку в дупло, и ваша рука увязнет в черном меду. Дикая пчелы жужжат около вашей головы и жалят. Сколько ей лет? Архип, ее приятель, говорит, что она была старой еще и тогда, когда он служил у барина в «французах», а потом у барыни в «неграх»; а это было слишком давно.

Верба подпирает и другую развалину — старика Архипа, который, сидя у ее корня, от зари до зари удит рыбку. Он стар, горбат, как верба, и беззубый рот его похож на дупло. Днем он удит, а ночью сидит у корня и думает. Оба, старуха верба и Архип, день и ночь шепчут... Оба на своем веку выдывали виды. Послушайте их...

Лет тридцать тому назад, в вербное воскресенье, в день именин старухи вербы, старик сидел на своем месте, глядел на весну и удил. Кругом было тихо, как всегда... Слышался только шепот стариков, да изредка всплескивала гуляющая рыба. Старик удил и ждал полдня. В полдень он начинал варить уху. Когда тень вербы начинала отходить от того берега, наступал полдень. Время Архип узнавал еще и по почтовым звонкам. Ровно в полдень через плотину проезжала т — я почта.

В это воскресенье Архипу послышались звонки. Он оставил удочку и стал глядеть на плотину. Тройка перевалила через бугор, спустилась вниз и шагом поехала к плотине. Почтальон спал. Въехав на плотину, тройка почему-то остановилась. Давно уже не удивлялся Архип, но на этот раз пришлось ему сильно удивиться. Случилось нечто необыкновенное. Ямщик оглянулся, беспокойно задвигался, сдернул с лица почтальона платок и взмахнул кистенем. Почтальон не пошевелился. На его белокурой голове зазияло багровое пятно. Ямщик соскочил с телеги и, размахнувшись, нанес другой удар. Через минуту Архип услышал возле себя шаги: с берега спускался ямщик и шел прямо на него... Его загоревшее лицо было бледно, глаза тупо глядели бог знает куда. Трясаясь всем телом, он подбежал к вербе и, не замечая Архипа, сунул в дупло почтовую сумку; потом побежал вверх, вскочил на телегу и, странно показалось Архипу, нанес себе по виску удар. Окровавив себе лицо, он ударил по лошадям.

— Караул! Режут! — закричал он.

Ему вторило эхо, и долго Архип слышал эхо «караул».

Дней через шесть на мельницу приехало следствие. Сняли план мельницы и плотины, измерили для чего-то глубину реки и, пообедав под вербой, уехали, а Архип во все время следствия сидел под колесом, дрожал и глядел в сумку. Там видел он конверты с пятью печатями. День и ночь глядел он на эти печати и думал, а старуха верба днем молчала, а ночью плакала. «Дура!» — думал Архип, прислушиваясь к ее плачу. Через неделю Архип шел уже с сумкой в город.

— Где здесь присутственное место? — спросил он, войдя за заставу.

Ему указали на большой желтый дом с полосатой будкой у двери. Он вошел и в передней увидел барина со светлыми пуговицами. Барин курил трубку и бранил за что-то сторожа. Архип подошел к нему и, дрожа всем телом, рассказал про эпизод со старухой вербой. Чиновник взял в руки сумку, расстегнул ремешки, побледнел, покраснел.

— Сейчас! — сказал он и побежал в присутствие. Там окружили его чиновники... Забегали, засуетились, зашептали... Через десять минут чиновник вынес Архипу сумку и сказал:

— Ты не туда, братец, пришел. Ты иди на Нижнюю улицу, там тебе укажут, а здесь казначейство, милый мой! Ты иди в полицию.

Архип взял сумку и вышел.

«А сумка полегче стала! — подумал он.— Наполовину меньше стала!»

На Нижней улице ему указали на другой желтый дом, с двумя будками. Архип вошел. Передней тут не было, и присутствие начиналось прямо с лестницы. Старик подошел к одному из столов и рассказал писцам историю сумки. Те вырвали у него из рук сумку, покричали на него и послали за старшим. Явился толстый усач. После короткого допроса он взял сумку и заперся с ней в другой комнате.

— А деньги же где? — слышалось через минуту из этой комнаты.— Сумка пуста! Скажите, впрочем, старику, что он может идти. Или задержать его! Отведите его к Ивану Марковичу! Нет, впрочем, пусть идет!

Архип поклонился и вышел. Через день караси и окуни опять уже видели его седую бороду...

Дело было глубокою осенью. Старик сидел и удил. Лицо его было так же мрачно, как и пожелтевшая верба: он не любил осени. Лицо его стало еще мрачней, когда он увидел возле себя ямщика. Ямщик, не замечая его, подошел к вербе и сунул в дупло руку. Пчелы, мокрые и ленивые, поползли по его рукаву. Пошарив немного, он побледнел, а через час сидел над рекой и бессмысленно глядел в воду.

— Где *она*? — спрашивал он Архипа.

Архип сначала молчал и угрюмо сторонился убийцы, но скоро сжалился над ним.

— Я к начальству снес! — сказал он.— Но ты, дурень, не бойся... Я сказал там, что под вербой нашел...

Ямщик вскочил, взревел и набросился на Архипа. Долго он бил его. Избил его старое лицо, повалил на землю, топтал ногами. Побивши старика, он не ушел от него, а остался жить при мельнице, вместе с Архипом.

Днем он спал и молчал, а ночью ходил по плотине. По плотине гуляла тень почтальона, и он беседовал с ней. Наступила весна, а ямщик продолжал еще молчать и гулять. Однажды ночью подошел к нему старик.

— Будет тебе, дурень, слоняться! — сказал он ему, искоса поглядывая на почтальона.— Уходи.

И почтальон то же самое сказал... И верба прошептала то же...

— Не могу! — сказал ямщик.— Пошел бы, да ноги болят, душа болит!

Старик взял под руку ямщика и повел его в город. Он повел его на Нижнюю улицу, в то самое присутствие, куда отдал сумку. Ямщик упал перед «старшим» на колени и покаялся. Усач удивился.

— Чего на себя клепаешь, дурак! — сказал он.— Пьян? Хочешь, чтоб я тебя в холодную засадил? Перебесились все, мерзавцы! Только путают дело... Преступник не найден,— ну, и шабаш! Что ж тебе еще нужно? Убирайся?

Когда старик напомнил про сумку, усач захохотал, а писцы удивились. Память, видно, у них плоха... Не нашел ямщик искупления на Нижней улице. Пришлось возвращаться к вербе...

И пришлось бежать от совести в воду, возмутить то именно место, где плавают поплавки Архипа. Утопился ямщик. На плотине видят теперь старик и старуха две тени... Не с ними ли они шепчутся?

Пробило двенадцать. Федор Степаныч накинул на себя шубу и вышел на двор. Его охватило сыростью почти... Дул сырой, холодный ветер, с темного неба моросил мелкий дождь. Федор Степаныч перешагнул через полуразрушенный забор и тихо пошел вдоль по улице. А улица широкая, что твоя площадь; редки в Европейской России такие улицы. Ни освещения, ни тротуаров... даже намеков нет на эту роскошь.

У заборов и стен мелькали темные силуэты горожан, спешивших в церковь. Впереди Федора Степаныча шлепали по грязи две фигуры. В одной из них, маленькой и сгорбленной, он узнал здешнего доктора, единственного на весь уезд «образованного человека». Старик доктор не брезговал знакомством с ним и всегда дружелюбно вздыхал, когда глядел на него. На этот раз старик был в форменной, старомодной треуголке, и голова его походила на две утиные головы, склеенные затылками. Из-под фалды его шубенки болталась шпага. Рядом с ним двигался высокий и худой человек, тоже в треуголке.

— Христос воскрес, Гурий Иваныч! — остановил доктора Федор Степаныч.

Доктор молча пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы, чтобы похвастать перед *ссылным* петличкой, в которой болтался «Станислав».

— А я, доктор, после заутрени хочу к вам пробраться, — сказал Федор Степаныч. — Вы уж позвольте мне у вас разговеться... Прошу вас... Я, бывало, там в эту ночь всегда в семье разговлялся. Воспоминанием будет...

— Едва ли это будет удобно...— сконфузился доктор.— У меня семейство, знаете ли... жена... Вы хотя и тово... но все-таки не тово... Все-таки предубеждение! Я, впрочем, ничего... Кгм... Кашель...

— А Барабаев? — проговорил Федор Степаныч, кривя рот и желчно ухмыляясь. — Барабаева со мной вместе судили, вместе нас выслали, а между тем он у вас каждый день обедает и чай пьет. Он больше украл, вот что!..

Федор Степаныч остановился и прислонился к мокрому забору: пусть пройдут. Далеко впереди него мелькали огоньки. Потухая и вспыхивая, они двигались по одному направлению.

«Крестный ход,— подумал ссыльный.— Как и там, у нас...»

От огоньков несясь звон. Колокола-тенора заливались всевозможными голосами и быстро отбивали звуки, точно спешили куда-нибудь.

«Первая пасха здесь, в этом холоде,— подумал Федор Степаныч,— и... не последняя. Скверно! А там теперь небось...»

И он задумался о «там»... Там теперь под ногами не грязный снег, не холодные лужи, а молодая зелень; там ветер не бьет по лицу, как мокрая тряпка, а несет дыхание весны... Небо там темное, но звездное, с белой полосой на востоке... Вместо этого грязного забора зеленый палисадник и его домик с тремя окнами. За окнами светлые, теплые комнаты. В одной из них стол, покрытый белой скатертью, с куличами, закусками, водками...

«Хорошо бы теперь хватить тамошней водки! Здесь дрянная водка, пить нельзя...»

Наутро глубокий, хороший сон, за сном визиты, выпивка... Вспомнил он, разумеется, и Олю с ее кошачьей, плаксивой, хорошенькой рожицей. Теперь она спит, должно быть, и не снится он ей. Эти женщины скоро утешаются. Не будь Оли, не был бы он здесь. Она подкузьмила его, глупца. Ей нужны были деньги, нужны ужасно, до болезни, как и всякой моднице! Без денег она не могла ни жить, ни любить, ни страдать...

— А если меня в Сибирь сошлют? — спросил он ее.— Пойдешь со мной?

— Разумеется! Хоть на край света!

Он украл, попался и пошел в эту Сибирь, а Оля смалодушествовала, не пошла, разумеется. Теперь ее глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, а ноги далеко от грязного снега.

«На суд разодетой явилась и ни разу не взглянула даже... Смеялась, когда защитник острил... Убить мало...»

И эти воспоминания сильно утомили Федора Степаныча. Он утомился, заболел, точно всем телом думал. Ноги его ослабели, подогнулись, и не хватило сил идти в церковь, к родной заутрене... Он воротился домой и, не снимая шубы и сапог, повалился на постель.

Над его кроватью висела клетка с птицей. Та и другая принадлежали хозяину. Птица какая-то странная, с длинным носом, тощая, ему неизвестная. Крылья у нее подрезаны, на голове повyrваны перья. Кормят ее какой-то кислятиной, от которой воняет на всю комнату. Птица беспокойно возилась в клетке, стучала носом о жестянку с водой и пела то скворцом, то иволгой...

«Спать не дает! — подумал Федор Степаныч.— Черт...»

Он поднялся и потряс рукой клетку. Птица замолчала. Ссылный лег и о край кровати стащил с себя сапоги. Через минуту птица опять завозилась. Кусочек кислятины упал на его голову и повис в волосах.

— Ты не перестанешь? Не замолчишь? Тебя еще недоставало!

Федор Степаныч вскочил, рванул с остервенением клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала.

Но минут через десять она, показалось ссыльному, вышла из угла на середину комнаты и завертела носом в глиняном полу... Нос, как буравчик... Вертела, вертела, и нет конца ее носу. Захлопали крылья, и ссыльному показалось, что он лежит на полу и что по его вискам хлопают крылья... Нос наконец поломался, и все ушло в перья... Ссылный забылся...

— Ты за што это тварь убил, душегубец? — услышал он под утро.

Федор Степаныч раскрыл глаза и увидел пред собой хозяина-раскольника, юродивого старца. Лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами.

— За што ты, окаянный, убил мою пташку? Певунью-то мою за што ты убил, сатана чертова? А? Кого это ты? За што такое? Глаза твои бесстыжие, пес лютый! Уходи из моего дома, и чтоб духу твоего здесь не было! Сею минутою уходи! Сичас!

Федор Степаныч надел шубу и вышел на улицу. Утро было серое, пасмурное... Глядя на свинцовое небо, не верилось, чтобы высоко за ним могло сиять солнце. Дождь продолжал еще моросить...

— Бон-жур!¹ С праздником, мон-шер!² — услышал ссыльный, выйдя за ворота.

Мимо ворот на новенькой пролетке катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком.

«Визиты делает! — подумал Федор Степаныч.— И тут, скотина, сумел примазаться... Знакомых имеет... Было б и мне побольше украсть!»

Подходя к церкви, Федор Степаныч услышал другой голос, на этот раз женский. Навстречу ему ехал почтовый тарантас, набитый чемоданами. Из-за чемоданов выглядывала женская головка.

— Где здесь... Батюшки, Федор Степаныч! Вы ли это? — запищала головка.

Ссыльный побежал к тарантасу, впился глазами в головку, узнал, схватил за руку...

— Неужели я не сплю?! Что такое? Ко мне?! Надумала, Оля?

— Где здесь Барабаев живет?

— А на что тебе Барабаев?

— Он меня выписал... Две тысячи, вообрази, прислал... По триста в месяц, кроме того, буду получать. Есть здесь театры?..

До самого вечера шатался ссыльный по городу и искал квартиры. Дождь лил весь день, и не показывалось солнце.

«Неужели эти звери могут жить без солнца? — думал он, меся ногами жидкий снег.— Веселы, довольны без солнца! Впрочем, у них свой вкус».

¹ Здравствуйте! (от франц. — Bonjour)

² дорогой (от франц. — mon cher).

ЛИСТ

Кое-что пасхальное

Передняя. В углу ломберный столик. На столике лист серой казенной бумаги, чернильница с пером и песочница. Из угла в угол шагает швейцар, алчущий и жаждущий. На сытом рыле его написано корыстолюбие, в карманах позванивают плоды лихоимства. В десять часов начинает вползать с улицы в переднюю маленький человек или, как изволит называть его-ство, «субъект». Субъект вползает, подходит на цыпочках к столу, робко берет в дрожащую руку перо и выводит на сером листе свою негромкую фамилию. Выводит он долго, с чувством, с толком, точно чистописанию учится... Набирает чернил на перо чуть-чуть, немножечко, раз пять: капнуть боится. Сделай он кляксу, и... все погребло! (Был однажды такой случай... Впрочем, некогда...) Почерка он не подмахивает: ни-ни... И «ер» вырисовывает. Кончив чистописание, он долго глядит на свою каллиграфию, ищет ошибки и, не найдя таковой, вытирает на лбу пот.

— Христос воскрес! — обращается он к швейцару.

Нафабранные усы приходят в трехкратное соприкосновение с колючими усами... Раздаются звуки поцелуя, и в карман цербера с приятным звоном падает новая «малая толика». За первым субъектом вползает другой, за этим третий... и так до часу. Лист со всех сторон покрывается подписями. В четвертом часу цер-

бер несет его в апартаменты. Старичок берет его в руки и начинает считать.

— Все... Но, однако, что это значит? Пс! Тут, эээ... я не вижу ни одного знакомого почерка! Тут один чей-то почерк! Какой-то каллиграф писал. Наняли каллиграфа, тот и подписался за них! Хороши, нечего сказать! Трудно им было самим прийти и поздравить! А-ах! Что я им худого сделал? За что они меня так не уважают? (Пауза.) Эээ... Максим! Поезжай, братец, к экзекутору и т. д.

Одиннадцать часов. Молодой человек с кокардой на дне фуражки вспотел, тяжело дышит, красен... Он взбирается по бесконечной лестнице на пятый этаж... Взбравшись, он с остервенением дергает за звонок. Ему отворяет молодая женщина.

— Ваш Иван Капитоныч дома? — спрашивает молодой человек, задыхаясь от усталости.— Ох! Скажите ему, чтобы он как можно скорей бежал к его-ству опять расписываться! Украл тот лист! Ох... Нужно теперь новый лист... Скорей!!

— Кто же это украл? Кому он нужен?

— Его чертовка... эта... ффф... Его экономка стянула! Бумагу собирает, на пуды продает... Сквалыжная баба, чтоб ей ни дна ни покрывки! Однако мне к восьмерым еще бежать нужно... Прощайте!

Еще передняя... Стол и лист. В углу на табурете сидит швейцар, старый, как «Сын отечества», и худой, как щепка... В одиннадцать часов открывается дверь из апартаментов. Высовывается лысая голова.

— Что, еще никого не было, Ефимушка? — спрашивает голос.

— Никого-с, ваше-ство...

В первом часу высовывается та же голова.

— Что, еще никого не было, Ефимушка?

— Ни единой души, ваше-ство!

— Гм... Ишь ты... Гм...

Во втором часу то же, в третьем — то же... В четвер-

том — из апартаментов высовывается все туловище, с ногами и руками. Старичок подходит к столику и долго глядит на пустой лист. На лице его написана великая скорбь.

— Гм... не то, что в прошлые годы, Ефимушка! — говорит он, вздыхая.— Так... Гм... И на лбу, значит, роковые слова: «в отставке»!!! У Некрасова, кажется, так... Чтоб моя старуха не смеялась надо мной, давай хоть мы распишемся за них!.. Бери перо....

На большом номерном диване лежал телеграфист Груздев. Подперев кулаками свою белокурую голову, он рассматривал маленькую рыжеволосую девушку и вздыхал.

— Катя, что заставило тебя так пасть? Скажи мне! — вздохнул, между прочим, Груздев.— Как ты озябла, однако!

На дворе был один из самых скверных мартовских вечеров. Тусклые фонарные огни едва освещали грязный, разжиженный снег. Все было мокро, грязно, серо... Ветер напевал тихо, робко, точно боялся, чтобы ему не запретили петь. Слышалось шлепанье по грязи... Тошнило природу!

— Катя, что заставило тебя так пасть? — спросил еще раз Груздев.

Катя робко поглядела в глаза Груздеву. Глаза честные, теплые, искренние — так показалось ей. А эти падшие создания так и лезут на честные глаза, лезут и налетают, как мотыльки на огонь. Кашей их не покорми, а только взгляни на них потеплей. Катя, теребя бахрому от скатерти, конфузливо рассказала Груздеву свою жалкую повесть. Повесть самая обыкновенная, подлая: он, обещание, надувательство и проч.

— Какой же он подлец! — проворчал Груздев, негодуя.— Есть же такие мерзавцы, черт бы их взял со всем! Богат он, что ли?

— Да, богат...

— Так и знал... И вы-то хороши, нечего сказать. Зачем вы, бабы, деньги так любите?! На что они вам?

— Он побожился, что на всю жизнь обеспечит,— прошептала Катя.— А разве это плохо? Я и польстилась... У меня мать старуха.

— Гм... Несчастные вы, несчастные! А всё по глупости, по пустоте... Малодушны все вы, бабы!.. Несчастные, жалкие... Послушай, Катя! Не мое это дело, не люблю вмешиваться в чужие дела, но лицо у тебя такое несчастное, что нет сил не вмешаться! Катя, отчего ты не исправишься? Как тебе не стыдно? По всему ведь видно, что ты еще не совсем погибла, что возврат еще возможен... Отчего же ты не постарайся стать на путь истинный? Могла бы, Катя! Лицо у тебя такое хорошее, глаза добрые, грустные... И улыбаешься ты как-то особенно симпатично...

Груздев взял Катю за обе руки и, заглядывая ей сквозь глаза в самую душу, сказал много хороших слов. Говорил он тихо, дрожащим тенором, со слезами на глазах... Его горячее дыхание обдавало все ее лицо, шею...

— Можно исправиться, Катя! Ты так молода еще... Попробуй!

— Я уже пробовала, но... ничего не вышло. Все было... Раз пошла даже в горничные, хоть... и дворянка я! Думалось исправиться. Лучше самый грязный труд, чем наше дело. Я к купцу поступила... Жила месяц, и ничего, можно жить... Но хозяйка приревновала к хозяину, хотя я и внимания на него не обращала, приревновала, прогнала, места нет, и... опять пошло сначала... Опять!

Катя сделала большие глаза, побледнела и вдруг взвизгнула. В соседнем номере кто-то уронил что-то: испугался, должно быть. Мелкий, истерический плач понесся сквозь все тонкие номерные перегородки. Груздев бросился за водой. Через десять минут Катя лежала на диване и рыдала:

— Подлая я, гадкая! Хуже всех на свете! Никогда я не исправлюсь, никогда не исправлюсь, никогда не сделаюсь порядочной! Разве я могу? Пошлая! Стыдно тебе, больно? Так тебе и следует, мерзкая!

Катя сказала немного, меньше Груздева, но понять можно было многое. Она хотела прочесть целую исповедь, так хорошо знакомую каждому «честному развратнику», но не получилось из ее речи ничего, кроме нравственных самопощечин. Всю душу себе исцарапала!

— Пробовала уже, но ничего не выходит! Ничего! Все одно погибать! — кончила она со вздохом и поправила свои волосы.

Молодой человек взглянул на часы.

— Не быть из меня толку! А вам спасибо... Я первый раз в жизни слышу такие ласковые слова. Вы один только обошлись со мной по-человечески, хоть я и беспорядочная, гадкая...

И Катя вдруг остановилась говорить. Сквозь ее мозг молнией пробежал один маленький роман, который она читала когда-то, где-то... Герой этого романа ведет к себе падшую и, наговорив ей с три короба, обращает ее на путь истины, обратив же, делает ее своей подругой... Катя задумалась. Не герой ли подобного романа этот белокурый Груздев? Что-то похоже... Даже очень похоже. Она с стучащим сердцем стала смотреть на его лицо. Слезы ни к селу ни к городу опять полились из ее глаз.

— Ну, полно, Катя, утешься! — вздохнул Груздев, взглянув на часы.— Исправишься, бог даст, коли захочешь!

Плачущая Катя медленно расстегнула три верхние пуговицы шубки. Роман с красноречивым героем стучался из ее головы...

В вентиляцию отчаянно взвизгнул ветер, точно он первый раз в жизни видел насилие, которое может совершать иногда насущный кусок хлеба. Наверху, где-то далеко за потолком, забренчали на плохой гитаре. Пошлая музыка!

ЗАКУСКА

Приятное воспоминание

Был пасхальный канун. За час до заутрени зашли за мной мои приятели. Они были во фраках и белых галстуках.

— Очень кстати, господа! — сказал я. — Вы можете мне убрать стол... Я человек холостой, бабенции у меня не полагается, а посему... помощь дружеская. Плумбов, давай стол отодвинем!

Приятели двинулись к столу, и через какие-нибудь пять минут мой стол уже изображал собой аппетитнейшую картину. Окорок, колбасы, водки, вина, заливной поросенок... Убрав стол, мы взялись за цилиндры: пора! Но не тут-то было... Кто-то позвонил...

— Дома? — услышали мы чей-то хриплый голос. — Входи, Илья, не бойся!

Вошел Прекрасновкусов. За ним робко шагал маленький, чахлый человечек. У обоих под мышками были портфели...

— Тсс... — сказал я приятелям. — Язык за зубами!

— Рекомендую! — сказал Прекрасновкусов, указывая на чахлого человечка. — Илья Дробискулов! На днях к нам поступил, к нашему лику причислился... Да ты не конфузься, Илюша! Пора привыкнуть! А мы, знаете ли, шли, шли, взяли да и зашли. Дай, думаю, зайдем, праздничные возьмем, чтоб завтра не беспокоить.

Я сунул обоим по синенькой. Дробискулов сконфувился.

— Так-с,— продолжал Прекрасновкусов, заглянув себе в кулак.— Вы уж уходите? А не рано ли? Давайте-ка посидим минуточку... отдохнем. Садись, Илья, не бойся! Привыкай! Закусоч-то сколько, закусок! А? Закусоч-то! Мне окорок напоминает один анекдот...

И Прекрасновкусов, пожирая глазами мои закуски, рассказал нам похабный анекдот. Прошло четверть часа. Чтобы выжить гостей, я послал своего Андриюшку на улицу прокричать «караул». Андриюшка вышел и кричал минут пять, но гости мои — ни гугу... И внимания не обратили, как будто бы «караул» не их дело...

— А долго еще ждать рóзговенья! — сказал Прекрасновкусов.— Теперь еще грешно, а то бы мы, Илюша, того... по единой... А что, господа, не пропустить ли нам по одной? Ведь водка постная! А? Давайте-ка!

Идея пришла моим приятелям по вкусу. Подошли к столу, налили и выпили. Закусили селедочкой, а на скоромное только взглянули. Прекрасновкусов похвалил водку и, желая узнать, какого она завода, выпил другую. Илюша сконфузился и тоже пожелал узнать... Выпили, но не узнали.

— Славная водка! — сказал Прекрасновкусов.— У моего дяди свой винокуренный завод был. Так вот у него, у дяди-то, была, так сказать...

И гость рассказал нам, как он с дядиной «обже» на каланче свидание имел. Мои приятели окружили его и попросили рассказать еще что-нибудь... Еще раз выпили. Дробискулов очень ловко захватил рукавом кусочек колбасы, взял его в носовой платок и, сморкаясь, незаметно положил в рот. Прекрасновкусов съел кусок пасхи из творага.

— А я и забыл, что она скромная! — сказал он, глотая.— Надо ее запить...

Говорят, что в полночь звонили к заутрене, но мы не слышали этого звона. В полночь мы ходили вокруг стола и спрашивали себя: что бы еще выпить... этакое? Дробискулов сидел в углу и, конфузясь, глодал заливного поросенка. Прекрасновкусов бил кулаком по своему портфелю и говорил:

— Вы меня не любите, а я вот вас... ллюблю! Честное и блаародное слово, ллюблю! Я куроцап, волк,

коршун, птица хищная, но во мне все-таки есть настолько чувств и ума, чтоб понимать, что меня не следует любить. Я, например, вот взял праздничные... Ведь взял? А завтра я приду и скажу, что не брал... Разве можно любить меня после этого?

Дробискулов, покончив с поросенком, победил свою робость и сказал:

— А я? Меня еще можно любить... Я образованный человек... Я ведь не своим делом занялся. Не мое это дело! Я к нему и призвания никакого не имею... Так только, пур манже!¹ Я... стихотворец... Нда... В пьяном виде протоколы в стихах составляю. Я и гласность люблю. Не нравятся мне газеты только за то, что в них пристрастия много. Я не разбираю бы там, кто консерватор, кто либерал. Беспристрастие — первое дело! Консерватор нагадил — бей в морду; либерал напакостил — лупи в харю! Всех лупи! Моя мечта — газету издавать. Хе-хе... Сидел бы я себе в редакции, морду бы надувал да конвертики распечатывал. А в конвертиках всякое бывает... всякое... Хе-хе-хе... Я распечатал бы, прочел бы, да и... цап его, сотрудника-то! Нешто не любопытно?

В три часа гости взяли свои портфели и ушли в трактир, беспорядков искать. От закуски моей остались одни только ножи, вилки да две ложки. Остальные шесть ложек исчезли...

¹ ради куска хлеба! (от франц. — *pour manger*)

Это произошло в одно прекрасное утро, ровно через месяц после свадьбы Мишеля Пузырева с Лизой Мамуниной. Когда Мишель выпил свой утренний кофе и стал искать глазами шляпу, чтобы ретироваться на службу, к нему в кабинет вошла теща.

— Я задержу вас, Мишель, минут на пять, — сказала она. — Не хмурьтесь, мой друг... Я знаю, что зятья не любят говорить с тещами, но мы, кажется... сошлись с вами, Мишель. Мы не зять и не теща, а умные люди... У нас много общего... Ведь да?

Теща и зять уселись на диване.

— Чем могу быть полезен, муттерхен?¹

— Вы умный человек, Мишель, очень умный; я тоже... неглупа... Мы пойдем друг друга, надеюсь. Я давно уже собираюсь поговорить с вами, *mon petit*...² Скажите мне откровенно, ради... ради всего святого, что вы хотите сделать с моей дочерью?

Зять сделал большие глаза.

— Я, знаете ли, согласна... Пусть! Почему же? Наука вещь хорошая, без литературы нельзя... Поэзия ведь! Я понимаю! Приятно, если женщина образованна... Я сама воспитывалась, понимаю... Но для чего, *mon ange*³, крайности?

¹ мамаша? (от нем. — Mutterchen)

² дитя мое.. (франц.)

³ ангел мой (франц.).

— То есть? Я не совсем вас понимаю...

— Я не понимаю ваших отношений к моей Лизе! Вы женились на ней, но разве она вам жена, подруга? Она ваша жертва! Науки, книги там, теории разные... Все это очень хорошие вещи, но, мой друг, вы не забывайте, что она моя дочь! Я не позволю! Она моя плоть и кровь! Вы убиваете ее! Не прошло и месяца со дня вашей свадьбы, а она уже похожа у вас на щепку! Целый день сидит она у вас за книгой, читает эти глупые журналы! Бумаги какие-то переписывает! Разве это женское дело? Вы не вывозите ее, не даете ей жить! Она у вас не видит общества, не танцует! Невероятно даже! Ни разу за все время не была на балу! Ни разу!

— Ни разу не была на балу, потому что сама не хотела. Потолкните-ка с ней самой... Вы узнаете, какого она мнения о ваших балах и танцах. Нет, *ma chère!*¹ Ей противно ваше безделье! Если она сидит по целым дням за книгой или за работой, то, верьте, в этом никто не насилует ее убеждений... За это-то я ее и люблю... А за сим честь имею кланяться и прошу впредь в наши отношения не вмешиваться. Лиза сама скажет, если ей понадобится что-нибудь сказать...

— Вы думаете? Неужели вы не видите, как она кротка и нема? Любсвь связала ей язык! Не будь меня, вы бы на нее хомут надели, милостивый государь! Да-с! Вы тиран, деспот! Извольте сегодня же изменить ваше поведение!

— И слушать не хочу...

— Не хотите? И не нужно! Невелика честь! Я и говорить бы с вами не стала, если бы не Лиза! Мне ее жаль! Она умолила меня поговорить с вами!

— Ну, уж это вы лжете... Это уж ложь, сознайтесь...

— Ложь? Так погляди же, грубая душа!

Теща вскочила и рванула за дверную ручку. Дверь распахнулась, и Мишель увидел свою Лизу. Она стояла на пороге, ломала себе руки и всхлипывала. Ее хорошенькая мордочка была вся в слезах. Мишель подскокил к ней...

¹ моя дорогая! (франц.)

— Ты слышала? Так скажи же ей! Пусть поймет свою дочь!

— Мама... мама говорит правду, — заголосила Лиза. — Я не выношу этой жизни... Я страдаю...

— Гм... Вот как! Странно... Но почему же ты сама со мной не поговоришь об этом?

— Я... я... ты рассердишься...

— Но ведь ты же сама постоянно трактовала против безделья! Ты говорила, что любишь меня только за мои убеждения, что тебе противна жизнь твоей среды! Я и полюбил тебя за это! До свадьбы ты презирала, ненавидела эту суетную жизнь! Чем объяснить такую перемену?

— Тогда я боялась, что ты на мне не женишься... Милый Мишель! поедem сегодня на *jour fixe*¹ к Марье Петровне!.. — И Лиза упала на грудь Мишеля.

— Ну, вот видите! Теперь убедились? — сказала теща и торжествующе вышла из кабинета...

— Ах ты дурак! — простонал Мишель.

— Кто дурак? — спросила Лиза.

— Тот, кто ошибся!..

¹ Определенный день в неделю для приема гостей (*франц.*).

СЛУЧАЙ С КЛАССИКОМ

Собираясь идти на экзамен греческого языка, Ваня Оттепелев перецеловал все иконы. В животе у него перекатывало, под сердцем веяло холодом, само сердце стучало и замирало от страха перед неизвестностью. Что-то ему будет сегодня? Тройка или двойка? Раз шесть подходил он к мамаше под благословение, а уходя, просил тетю помолиться за него. Идя в гимназию, он подал нищему две копейки, в расчете, что эти две копейки окупят его незнания и что ему, бог даст, не попадутся числительные с этими тессараконта и октокайдека¹.

Воротился он из гимназии поздно, в пятом часу. Пришел и бесшумно лег. Тощее лицо его было бледно. Около покрасневших глаз темнели круги.

— Ну что? Как? Сколько получил? — спросила мамаша, подойдя к кровати.

Ваня замигал глазами, скривил в сторону рот и заплакал. Мамаша побледнела, разинула рот и всплеснула руками. Штанишки, которые она починяла, выпали у нее из рук.

— Чего же ты плачешь? Не выдержал, стало быть? — спросила она.

— По... порезался... Двойку получил...

¹ Т е с с а р а к о н т а — сорок; о к т о к а й д е к а — восемнадцать.

— Так и знала! И предчувствие мое такое было! — заговорила мамаша. — Ох, господи! Как же ты это не выдержал? Отчего? По какому предмету?

— По греческому... Я, мамочка... Спросили меня, как будет будущее от «феро»¹, а я... я вместо того, чтоб сказать «ойсомай», сказал «опсомай». Потом... потом... обложенное ударение не ставится, если последний слог долгий, а я... я оробел... забыл, что альфа тут долгая... взял да и поставил обложенное. Потом Артаксерксов велел перечислить энклитические частицы...² Я перечислял и нечаянно местоимение впутал... Ошибся... Он и поставил двойку... Несчастный... я человек... Всю ночь занимался... Всю эту неделю в четыре часа вставал...

— Нет, не ты, а я у тебя несчастная, подлый мальчишка! Я у тебя несчастная! Щепку ты из меня сделал, ирод, мучитель, злое мое произволение! Плачú за тебя, за дрянь этакую непутящую, спину гну, мучаюсь и, можно сказать, страдаю, а какое от тебя внимание? Как ты учишься?

— Я... я занимаюсь. Всю ночь... Сами видели...

— Молила бога, чтоб смерть мне послал, не посылает, грешнице... Мучитель ты мой! У других дети как дети, а у меня один-единственный — и никакой точки от него, никакого пути. Бить тебя? Била бы, да где же мне сил взять? Где же, божья мать, сил взять?

Мамаша закрыла лицо полой кофточки и зарыдала. Ваня завертелся от тоски и прижал свой лоб к стене. Вошла тетя.

— Ну, вот... Предчувствие мое... — заговорила она, сразу догадавшись, в чем дело, бледнея и всплескивая руками. — Все утро тоска... Ну-у, думаю, быть беде... Оно вот так и вышло...

— Разбойник мой, мучитель! — проговорила мамаша.

¹ несу.

² Энклитика — безударное слово, примыкающее к предшествующему и образующему с ним одно целое в отношении ударения (напр., частица «то» при слове «кто» — кто-то, и т.п.).

— Чего же ты его ругаешь? — набросилась на нее тетя, нервно стаскивая со своей головки платочек кофейного цвета. — Нешто он виноват? Ты виноватая! Ты! Ну, с какой стати ты его в эту гимназию отдала? Что ты за дворянка такая? В дворяне лезете? А-а-а-а... Как же, беспременно, так вот вас и сделают дворянами! А было бы вот, как я говорила, по торговой бы части... в контору-то, как мой Кузя... Кузя-то, вот, пятьсот в год получает. Пятьсот — шутка ли? И себя ты замучила и мальчишку замучила ученостью этой, чтоб ей пусто было. Худенький, кашляет... погляди: тринадцать лет ему, а вид у него, точно у десятилетнего.

— Нет, Настенька, нет, милая! Мало я его била, мучителя моего! Бить бы нужно, вот что! У-у-у... иезуит, магомет, мучитель мой! — замахнулась она на сына. — Пороть бы тебя, да силы у меня нет. Говорили мне прежде, когда он еще мал был: «Бей, бей». Не послушала, грешница. Вот и мучаюсь теперь. Постой же! Я тебя выдеру! Постой...

Мамаша погрозила мокрым кулаком и, плача, пошла в комнату жильца. Ее жилец, Евтихий Кузьмич Купоросов, сидел у себя за столом и читал «Самоучитель танцев». Евтихий Кузьмич — человек умный и образованный. Он говорит в нос, умывается с мылом, от которого пахнет чем-то таким, от чего чихают все в доме, кушает он в постные дни скоромное и ищет образованную невесту, а потому считается самым умным жильцом. Поет он тенором.

— Батюшка! — обратилась к нему мамаша, заливаясь слезами. — Будьте столь благородны, посеките моего... Сделайте милость! Не выдержал, горе мое! Верите ли, не выдержал! Не могу я наказывать, по слабости моего нездоровья... Посеките его вместо меня, будьте столь благородны и деликатны, Евтихий Кузьмич! Уважьте больную женщину!

Купоросов нахмурился и выпустил сквозь ноздри глубочайший вздох. Он подумал, постучал пальцами по столу и, еще раз вздохнув, пошел к Ване.

— Вас, так сказать, учат! — начал он. — Образовывают, ход дают, возмутительный молодой человек! Вы почему?

Он долго говорил, сказал целую речь. Упомянул о науке, о свете и тьме.

— Н-да-с, молодой человек!

Кончив речь, он снял с себя ремень и потянул Ваню за руку.

— С вами иначе нельзя! — сказал он.

Ваня покорно нагнулся и сунул свою голову в его колени. Розовые, торчащие уши его задвигались по новым триковым брюкам с коричневыми лампасами...

Ваня не издал ни одного звука. Вечером, на семейном совете, решено было отдать его по торговой части.

Варвара Петровна проснулась и стала прислушиваться. Лицо ее побледнело, большие черные глаза стали еще больше и загорелись страхом, когда оказалось, что это не сон... В ужасе закрыла она руками лицо, приподнялась на локоть и стала будить своего мужа. Муж, свернувшись калачиком, тихо похрапывал и дышал на ее плечо.

— Алеша, голубчик... Проснись! Милый!.. Ах... это ужасно!

Алеша перестал храпеть и вытянул ноги. Варвара Петровна дернула его за щеку. Он потянулся, глубоко вздохнул и проснулся.

— Алеша, голубчик... Проснись. Кто-то плачет...

— Кто плачет? Что ты выдумываешь?

— Прислушайся-ка. Слышишь? Стонет кто-то... Это, должно быть, дитя к нам подкинули... Ах, не могу слышать!

Алеша приподнялся и стал слушать. В настезь открытое окно глядела серая ночь. Вместе с запахом сирени и тихим шепотом липы слабый ветерок доносил до кровати странные звуки... Не разберешь сразу, что это за звуки: плач ли то детский, пение ли Лазаря, вой ли... не разберешь! Одно только было ясно: звуки издавались под окном, и не одним горлом, а несколькими... Были тут дисканты, альты, тенора...

— Да это, Варя, коты! — сказал Алеша. — Дурочка!

— Коты? Не может быть! А басы же кто?

— Это свинья хрюкает. Ведь мы, не забывай, на даче... Слышишь? Так и есть, коты... Ну, успокойся; спи себе с богом.

Варя и Алеша легли и потянули к себе одеяло. В окно потянуло утренней свежестью, и стало слегка знобить. Супруги свернулись калачиками и закрыли глаза. Через пять минут Алеша заворочался и повернулся на другой бок.

— Спать не дают, черт бы взял!.. Орут...

Кошачье пение между тем шло *crescendo*¹. К певцам присоединялись, по-видимому, новые певцы, новые силы, и легкий шорох внизу под окном постепенно обращался в шум, гвалт, возню... Нежное, как студень, *riano*² достигало степени *fortissimo*³, и скоро воздух наполнился возмутительными звуками. Одни коты издавали отрывистые звуки, другие выводили залихватские трели, точно по нотам, с восьмыми и шестнадцатыми, третьи тянули длинную, однообразную ноту... А один кот, должно быть самый старей и пылкий, пел каким-то неестественным голосом, не кошачьим, то басом, то тенором.

— Мал... мал... Ту... ту... ту... карррряу...

Если б не пшиканье, то и подумать нельзя было бы, что это коты поют... Варя повернулась на другой бок и проворчала что-то... Алеша вскочил, послал в воздух проклятие и запер окно. Но окно не толстая вещь: пропускает и звук, и свет, и электричество.

— Мне в восемь часов вставать надо, на службу ехать, — выругался Алеша, — а они режут, спать не дают, дьяволы... Да замолчи хоть ты, пожалуйста. Баба! Нюнит над самым ухом! Хныкает тут! Чем же я виноват? Ведь они не мои!

— Прогони их! Голубчик!

Муж выругался, прыгнул с кровати и пошел к окну... Ночь клонилась к утру.

Поглядев на небо, Алеша увидел одну только звездочку, да и та мерцала точно в тумане, еле-еле... В липе заворчали воробьи, испуганные шумом открывающегося

¹ усиливаясь (*итал.*).

² тихо (*итал.*).

³ очень громко, сильно (*итал.*).

окна. Алеша поглядел вниз на землю и увидел штук десять котов. Вытянув хвосты, шипя и нежно ступая по травке, они дромадерами ходили вокруг хорошенькой кошечки, сидевшей на опрокинутой вверх дном лохани, и пели. Трудно было решить, чего в них было больше: любви ли к кошечке, или собственного достоинства? За любовь ли они пришли, или только за тем, чтобы достоинство свое показать? В отношениях друг к другу сквозила самая утонченная ненависть... По ту сторону палисадника терлась о решетку свинья с поросятами и просилась в садик.

— Пшли! — пшикнул Алеша. — Кшш! Вы, черти! Пш!.. Фьють!

Но коты не обратили на него внимания. Одна только кошечка поглядела в его сторону, да и то мельком, нехотя. Она была счастлива, и не до Алеши ей было...

— Пш... пш... анафемы! Тьфу, черт бы вас взял совсем! Варя, дай-ка сюда графин! Мы их окатим! Вот черти!

Варя прыгнула с кровати и подала не графин, а кувшин из рукомойника. Алеша лег грудью на подоконник и нагнул кувшин.

— Ах, господа, господа! — услышал он над своей головой чей-то голос. — Ах, молодежь, молодежь! Ну можно ли так делать, а? Ах-ах-аххх... Молодежь!!

И за сим последовал вздох. Алеша поднял вверх лицо и увидел плечи в ситцевом халате с большими цветами и сухие, жилистые пальцы. На плечах торчала маленькая седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грозили... Старец сидел у окна и не отрывал глаз от котов. Его глазки светились вожделением и были полны масла, точно балет глядели.

Алеша разинул рот, побледнел и улыбнулся...

— Почивать изволите, ваше-ство? — спросил он ни к селу ни к городу.

— Нехорошо-с, милостисдарь! Вы идете против природы, молодой человек! Вы подрываете... эээ... так сказать, законы природы! Нехорошо-с! Какое вам дело? Ведь это... эээ... организм? Как по-вашему? Организм? Надо понимать! Не хвалю, милостисдарь!

Алеша струсил, пошел на цыпочках к кровати и

смирненно лег. Варя прикорнула возле него и притаила дыхание.

— Это наш... — прошептал Алеша. — Сам... И не спит. На котов любитесь. Вот дьявол-то! Неприятно жить вместе с начальником.

— Ммолодой человек! — услышал через минуту Алеша старческий голос. — Где вы? Пожалуйте сюда!

Алеша подошел к окну и обратил свое лицо к старцу.

— Видите вы этого белого кота? Как вы находите? Это мой! Манера-то, манера! Поступь!.. Поглядите-ка! Мяу, мяу... Васька! Васюшка, шельма! Усищи-то какие у паршака! Сибирский, шельма! Из мест отдаленных... хе-хе-хе... А кошечке быть... быть в беде! Хе-хе. Всегда мой кот верх брал. Вы в этом сейчас убедитесь! Манера-то, манера!

Алеша сказал, что ему очень нравится шерсть. Старичок начал описывать образ жизни этого кота, его привычки, увлекся и рассказывал вплоть до солнечного восхода. Рассказывал со всеми подробностями, причмокивая и облизывая свои жилистые пальцы... Так и не удалось соснуть!

В первом часу следующей ночи коты опять затянули свою песню и опять разбудили Варю. Гнать котов прочь Алеша не смел. Среди них был кот его превосходительства, его начальника. Алеша и Варя до утра прослушали кошачий концерт.

БЕНЕФИСО СОЛОВЬЯ

Рецензия

Мы заняли места у берега речки. Впереди нас круто спускался коричневый, глинистый берег, а за нашими спинами темнела широкая роща. Расположились мы животами на молодой, мягкой травке, головы подперли кулаками, а ногам дали полную волю: суйся, куда знаешь. Весенние пальто мы сняли, но двугривенных за хранение их не платили, ибо около нас, слава богу, капельдинеров не было. Роща, небо и поле вплоть до самой глубокой дали были залиты лунным светом, а вдали тихо мерцал красный огонек. Воздух был тих, прозрачен, душист... Все благоприятствовало бенефицианту. Оставалось ему только не злоупотреблять нашим терпением и поскорей начинать. Но он долго не начинал... В ожидании его мы, согласно программе, слушали других исполнителей.

Вечер начался пением кукушки. Она лениво закукукала где-то далеко в роще и, прокукував раз десять, умолкла. Тотчас же над нашими головами с резким писком пронеслись два кобчика. Запела затем контрально иволга, певица известная, серьезно занимающаяся. Мы прослушали ее с удовольствием и слушали бы долго, если бы не грачи, летевшие на ночевку... Вдали показалась черная туча, двинулась к нам и с карканьем опустилась на рощу. Долго не умолкала эта туча.

Когда кричали грачи, загалдели и лягушки, живущие в камышах на казенных квартирах, и целые полчаса концертное пространство было полно разнообразных звуков, слившихся скоро в один звук. Где-то закричал засыпающий дрозд. Ему аккомпанировали лесная курочка и камышевка. За сим последовал антракт, наступила тишина, изредка нарушаемая пением сверчка, сидевшего в траве возле публики. В антракте наше терпение достигло своего апогея: мы начинали уже роптать на бенефицианта. Когда на землю спустилась ночь и луна остановилась среди неба над самой рощей, настала и его очередь. Он показался в молодом кленовнике, порхнул в терновник, повертел хвостом и стал неподвижен. На нем серый пиджак... вообще он игнорирует публику и является перед ней в костюме мужика-воробья. (Стыдно, молодой человек! Не публика для вас, а вы для публики!) Минуты три сидел он молча, не двигаясь... Но вот зашумели верхушки деревьев, задул ветерок, затрещал громче сверчок, и под аккомпанемент этого оркестра бенефициант исполнил свою первую трель. Он запел. Не берусь описывать это пение, скажу только, что сам оркестр умолк от волнения и замер, когда артист, слегка приподняв свой клюв, засвистал и осыпал рощу шелканьем и дробью... И сила и нега в его голосе... Впрочем, не стану отбивать хлеб у поэтов, пусть они пишут. Он пел, а кругом царила внимающая тишина. Раз только сердито заворчали деревья и зашикал ветер, когда вздумала запеть сова, желавшая заглушить артиста...

Когда засерело небо, потухли звезды и голос певца стал слабее и нежнее, на опушке рощи показался повар помещика-графа. Согнувшись и придерживая левой рукой шапку, он тихо крался. В правой руке его было лукошко. Он замелькал между деревьями и скоро исчез в чаще. Певец попел еще немного и вдруг умолк. Мы собрались уходить.

— Вот он, шельма! — услышали мы чей-то голос и скоро увидели повара. Графский повар шел к нам и, весело смеясь, показывал нам свой кулак. Из его кулака торчали головка и хвост только что пойманного им

бенефицианта... Бедный артист! Избавь бог всякого от подобного сбора!

— Зачем вы его поймали? — спросили мы повара.

— А в клетку!

Навстречу утру жалобно закричал коростель и зашумела роща, потерявшая певца. Повар сунул любовника розы в лукошко и весело побежал к деревне. Мы тоже разошлись.

ЛЕТАЮЩИЕ ОСТРОВА

СОЧ. ЖЮЛЯ ВЕРНА

П а р о д и я

Г Л А В А I

Речь

— Я кончил, джентльмены! — сказал мистер Джон Лунд, молодой член королевского географического общества, и, утомленный, опустился в кресло. Зала заседания огласилась яростнейшими аплодисментами, криками «браво» и дрогнула. Джентльмены начали один за другим подходить к Джону Лунду и пожимать его руку. Семнадцать джентльменов в знак своего изумления сломали семнадцать стульев и свихнули восемь длинных шей, принадлежавших восьми джентльменам, из которых один был капитаном «Катавасии», яхты в 100 009 тонн.

— Джентльмены! — проговорил тронутый мистер Лунд. — Считаю священнейшим долгом благодарить вас за то адское терпение, с которым вы прослушали мою речь, продолжавшуюся 40 часов 32 минуты и 14 секунд! Том Бекас, — обратился он к своему старому слуге, — разбудите меня через пять минут. Я буду спать в то время, когда джентльмены будут извинять меня за то, что я осмеливаюсь спать в их присутствии!!

— Слушаю, сэр! — сказал старый Том Бекас.

Джон Лунд закинул назад голову и тотчас же заснул.

Джон Лунд был родом шотландец. Он нигде не воспитывался, ничему никогда не учился, но знал все. Он принадлежал к числу тех счастливых натур, которые до познания всего прекрасного и великого доходят своим умом. Восторг, который произвел он своею речью, был им вполне заслужен. В продолжение 40 часов он пред-

лагал на рассмотрение гг. джентльменов великий проект, исполнение которого стяжало впоследствии великую славу для Англии и показало, как далеко может иногда хватать ум человеческий! «Просверление луны колоссальным буравом» — вот что служило предметом речи мистера Лунда!

Г Л А В А П

Таинственный незнакомец

Сэр Лунд не проспал и трех минут. Чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо, и он проснулся. Перед ним стоял джентльмен 48½ вершков роста, тонкий, как пика, и худой, как засушенная змея. Он был совершенно лыс. Одетый во все черное, он имел на носу четыре пары очков, а на груди и на спине по термометру.

— Идите за мной! — гробовым голосом произнес лысый джентльмен.

— Куда?

— Идите за мной, Джон Лунд!

— А если я не пойду?

— Тогда я буду принужден просверлить луну раньше вас!

— В таком случае, сэр, я к вашим услугам.

— Ваш слуга последует за нами!

Мистер Лунд, лысый джентльмен и Том Бекас оставили залу заседания, и все трое зашагали по освещенным улицам Лондона. Шли они очень долго.

— Сэр, — обратился Бекас к мистеру Лунду, — если наш путь так же длинен, как и этот джентльмен, то на основании законов трения мы лишимся своих подошв!

Джентльмены подумали и, через десять минут нашедши, что слова Бекаса остроумны, громко засмеялись.

— С кем я имею честь смеяться, сэр? — спросил Лунд лысого джентльмена.

— Вы имеете честь идти, смеяться и говорить с членом всех географических, археологических и этнографических обществ, магистром всех существовавших и существующих наук, членом Московского артистиче-

ского кружка, почетным попечителем школы коровьих акушеров в Саутгемптоне, подписчиком «Иллюстрированного беса», профессором желто-зеленой магии и начальной гастрономии в будущем Новозеландском университете, директором Безыменной обсерватории, Вильямом Болваниусом. Я веду вас, сэр, в...

Джон Лунд и Том Бекас преклонили свои колени перед великим человеком, о котором они так много слышали, и почтительно опустили головы...

— Я веду вас, сэр, в свою обсерваторию, находящуюся в двадцати милях отсюда. Сэр! Молчание есть украшение человека. Мне нужен товарищ в моем предприятии, значение которого вы в состоянии постигнуть только двумя полушариями вашего головного мозга. Мой выбор пал на вас... Вы после сорокачасовой речи навряд ли захотите вступать со мной в какие бы то ни было разговоры, а я, сэр, ничего так не люблю, как свой телескоп и продолжительное молчание. Язык вашего слуги, я надеюсь, свяжется вашим, сэр, приказанием. Да здравствует пауза!!! Я веду вас... Вы ничего не имеете против этого?

— Ничего, сэр! Мне остается пожалеть только о том, что мы не скороходы и что мы имеем под ступнями подошвы, которые стоят денег и...

— Я вам куплю новые сапоги.

— Благодарю вас, сэр.

Кто из читателей воспылает желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом Болваниусом, тот пусть прочтет его замечательное сочинение *«Существовала ли луна до потопа? Если существовала, то почему же и она не утонула?»* При этом сочинении приложена и запрещенная брошюра, написанная им за год перед смертью: *«Способ стереть вселенную в порошок и не погибнуть в то же время»*. В этих сочинениях как нельзя лучше характеризуется личность этого замечательнейшего из людей.

Между прочим, там описывается, как он прожил два года в австралийских камышах, где питался раками, тиной, яйцами крокодилов и в эти два года не видел ни разу огня. Будучи в камышах, он изобрел микроскоп, совершенно сходный с нашим обыкновенным

микроскопом, и нашел спинной хребет у рыб вида «Riba». Воротившись из своего долгого, полезного путешествия, он поселился в нескольких милях от Лондона и всецело посвятил себя астрономии. Будучи порядочным женоненавистником (он был три раза женат, а потому и имел три пары прекраснейших, ветвистых рогов) и не желая до поры до времени быть открытым, он жил аскетом. Обладая тонким, дипломатическим умом, он ухитрился сделать так, что обсерватория и труды его по астрономии были известны одному только ему. К сожалению и несчастью всех благомыслящих англичан, этот великий человек не дожил до нашего времени. В прошлом году он тихо скончался: купаясь в Ниле, он был проглочен тремя крокодилами.

Г Л А В А П И

Таинственные пятна

Обсерватория, в которую ввел он Лунда и старого Тома Бекаса... *(следует длиннейшее и скучнейшее описание обсерватории, которое переводчик в видах экономии места и времени нашел нужным не переводить)*... стоял телескоп, усовершенствованный Болваниусом. Мистер Лунд подошел к телескопу и начал смотреть на луну.

— Что вы там видите, сэр?

— Луну, сэр.

— А возле луны что вы видите, мистер Лунд?

— Я имею честь видеть одну только луну.

— А не видите ли вы бледных пятен, движущихся возле луны?

— Черт возьми, сэр! Называйте меня ослом, если я не вижу этих пятен! Что это за пятна?

— Это пятна, которые видны в один только мой телескоп. Довольно! Оставьте телескоп! Мистер Лунд и Том Бекас! Я должен, я хочу знать, что это за пятна! Я буду скоро там! Я иду к этим пятнам. Вы следуйте за мной!

— Ура! Да здравствуют пятна! — крикнули Джон Лунд и Том Бекас.

Скандал на небе

Через полчаса мистер Вильям Болваниус, Джон Лунд и шотландец Том Бекас летели уже к таинственным пятнам на восемнадцати аэростатах. Они сидели в герметически закупоренном кубе, в котором находился сгущенный воздух и препараты для изготовления кислорода¹. Начало этого грандиозного, доселе небывалого полета было совершено в ночь под 13 марта 1870 года. Дул юго-западный ветер. Магнитная стрелка показывала NWW... (*следует скучнейшее описание куба и 18 аэростатов*)... В кубе царило глубокое молчание. Джентльмены кутались в плащи и курили сигары. Том Бекас, растянувшись на полу, спал, как у себя дома. Термометр² показывал ниже 0. В продолжение первых 20 часов не было сказано ни одного слова и особенного ничего не произошло. Шары проникли в область облаков. Несколько молний погнались за шарами, но их не догнали, потому что они принадлежали англичанину. На третий день Джон Лунд заболел дифтеритом, а Тома Бекаса обуял сплин. Куб, столкнувшись с аэролитом, получил страшный толчок. Термометр показывал — 76.

— Как ваше здоровье, сэр? — прервал наконец молчание Болваниус, обратясь на пятый день к сэру Лунду.

— Благодарю вас, сэр, — отвечал тронутый Лунд. — Ваше внимание трогает меня. Я ужасно страдаю! А где мой верный Том?

— Он сидит теперь в углу, жует табак и старается походить на человека, женившегося сразу на десяти-терых.

— Ха, ха, ха, сэр Болваниус!

— Благодарю вас, сэр!

Не успел мистер Болваниус пожать руку молодому Лунду, как произошло нечто ужасное. Раздался страш-

¹ Химиками выдуманный дух. Говорят, что без него жить невозможно. Пустяки. Без денег только жить невозможно.

² Такой инструмент есть. (*Прим. перев.*)

[1 и 2 примечания — А. П. Чехова.]

ный треск. Что-то треснуло, раздалась тысяча пушечных выстрелов, пронесся гул, неистовый свист. Медный куб, попав в среду разреженную, не вынес внутреннего давления, треснул, и клочья его понеслись в бесконечное пространство.

Это была ужасная, единственная в истории вселенной минута!!

Мистер Болваниус ухватился за ноги Тома Бекаса, этот последний ухватился за ноги Джона Лунда, и все трое с быстротою молнии понеслись в неведомую бездну. Шары отделились от них и, освобожденные от тяжести, закружились и с треском полопались.

— Где мы, сэр?

— В эфире.

— Гм... Если в эфире, то чем же мы дышать будем?

— А где сила вашей воли, сэр Лунд?

— Мистеры! — крикнул Бекас. — Честь имею объявить вам, что мы почему-то летим не вниз, а вверх!

— Гм... Сто чертей! Значит, мы уже не находимся в области притяжения земли... Нас тянет к себе наша цель! Ураа! Сэр Лунд, как ваше здоровье?

— Благодарю вас, сэр! Я вижу наверху землю, сэр!

— Это не земля, а одно из наших пятен! Мы сейчас разобьемся о него!

Тррррах!!!!

Г Л А В А V

Остров Иоганна Говффа

Первый пришел в чувство Том Бекас. Он протер глаза и начал обозревать местность, на которой лежали он, Болваниус и Лунд. Он снял чулок и принялся тереть им джентльменов. Джентльмены не замедлили очнуться.

— Где мы? — спросил Лунд.

— Вы на острове, принадлежащем к группе летающих! Ураа!

— Урааа! Посмотрите, сэр, вверх! Мы затмили Колумба!

Над островом летало еще несколько островов... (следует описание картины, понятной одним только англичанам)... Пошли осматривать остров. Он был шириной... длиной... (цифры и цифры... бог с ними!). Тому Бекасу удалось найти дерево, соком своим напоминающее русскую водку. Странно, что деревья были ниже травы (?). Остров был необитаем. Ни одно живое существо не касалось доселе его почвы...

— Сэр, посмотрите, что это такое? — обратился мистер Лунд к сэру Болваниусу, поднимая какой-то сверток.

— Странно... Удивительно... Поразительно... — забормотал Болваниус.

Сверток оказался объявлениями какого-то Иоганна Гоффа, написанными на одном из варварских языков, кажется, русском.

Как попали сюда эти объявления?

— Пррроклятие! — закричал мистер Болваниус. — Здесь были раньше нас?! Кто мог быть здесь?! Пррроклятие! Оооо! Размозжите, грома небесные, мои великие мозги! Дайте мне сюда его! Дайте мне его! Я проглочу его, с его объявлениями.

И мистер Болваниус, подняв вверх руки, страшно захохотал. В глазах его блеснул подозрительный огонек. Он сошел с ума.

ГЛАВА VI

Возвращение

— Урааа!! — кричали жители Гавра, наполняя собою все гаврские набережные. Воздух оглашался радостными криками, звоном и музыкой. Черная масса, грозившая всем смертью, опускалась не на город, а в залив... Корабли поспешили убраться в открытое море. Черная масса, столько дней закрывавшая собой солнце, при торжественных кликах народа и при громе музыки важно (pesamment) шлепнулась в залив и обрызгала всю набережную. Упав на залив, она утонула. Через минуту залив был уже открытым. Волны бороздили его по всем направлениям... На середине залива барах-

тались три человека. То были безумный Болваниус, Джон Лунд и Том Бекас. Их поспешили принять в лодки.

— Мы пятьдесят семь дней не ели! — пробормотал худой, как голодный художник, мистер Лунд и рассказал, в чем дело.

Остров Иоганна Гоффа уже более не существует. Он, приняв на себя трех отважных людей, стал тяжелей и, вышедши из нейтральной полосы, был притянут землей и утонул в Гаврском заливе...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Джон Лунд занят теперь вопросом о просверлении луны. Близко уже то время, когда луна украсится дырой. Дыра будет принадлежать англичанам. Том Бекас живет теперь в Ирландии и занимается сельским хозяйством. Он разводит кур и сечет свою единственную дочь, которую воспитывает по-спартански. Ему не чужды и вопросы науки: он страшно сердится на себя за то, что забыл взять с Летающего острова семян от дерева, соком своим напоминающего русскую водку.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание вошли все произведения, включенные А. П. Чеховым в его собрание сочинений, которое издавалось в 1899 — 1901 годах А. Ф. Марксом, и значительная часть произведений, не включенных, главным образом ранних, опубликованных в свое время в периодической печати.

Тома первый — восьмой содержат рассказы и повести, том девятый — пьесы, том десятый — «Остров Сахалин», статьи, фельетоны, дневники и записные книжки, тома одиннадцатый и двенадцатый — избранные письма.

Все тома снабжены примечаниями. В них даются сведения о первых публикациях произведений и первых постановках пьес, приводятся отзывы современной писателю критики, отмечаются рассказы, повести и пьесы, входившие в прижизненное собрание сочинений, а также произведения, которые Чехов неоднократно перерабатывал; в отдельных, наиболее значительных случаях анализируется характер переработки.

Текст издания печатается по Полному собранию сочинений и писем в 20-ти томах А. П. Чехова (Гослитиздат, М. 1944 — 1951), с уточнениями по прижизненным изданиям.

ПИСЬМО К УЧЕНОМУ СОСЕДУ

Впервые напечатано в журнале «Стрекоза», 1880, № 10, 9 марта, «Архив «Стрекозы», под заглавием «Письмо донского помещика Степана Владимировича N к ученому соседу д-ру Фридриху». Подпись: ...в. В исправленном виде включено Чеховым в сборник своих рассказов, подготовленный им во второй половине 1883 г. Сборник этот, не законченный печатанием, с иллюстрациями брата, художника Н. П. Чехова, автор намеревался издать на собственные средства, но за отсутствием их издание завершено не было и книга не вышла в свет. В первых листах сборника отпечатаны одиннадцать рассказов полностью и начало рассказа «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь» (хранятся в Московском доме-музее А. П. Чехова).

Готовя рассказ для сборника, Чехов изменил заглавие, имена адресата и автора письма (подпись под письмом была «Степан Владимира сын») и сделал ряд стилистических поправок.

Получив рассказ, редакция «Стрекозы» в «Почтовом ящике» журнала ответила Чехову: «Драчевка, г. А. Че — ву. Совсем недурно. Присланное поместим. Благословляем и на дальнейшее подвижничество» («Стрекоза», 1880, № 2, 13 января). Кроме того, редакция журнала послала молодому автору 20 января 1880 г. письмо следующего содержания: «Милостивый государь! Редакция имеет честь известить Вас, что присланный Вами рассказ написан недурно и будет помещен в журнале. Гонорар предлагается редакцией в размере 5 к. со строки. Редактор Ипп. Василевский».

Чехов считал этот рассказ первым своим печатным произведением. В письме Ф. Д. Батюшкову от 19 января 1904 г. он писал: «...первая безделушка в 10—15 строк была напечатана в марте или

в апреле 1880 г. в «Стрекозе»¹. Брат писателя и его биограф, Михаил Павлович, также утверждает, что этот рассказ — первое выступление А. П. Чехова в печати.

М. П. Чехов, вспоминая о Чехове-мальчишке, говорит: «Среди братьев он был тогда самым талантливым на выдумки: он устраивал лекции и сцены, кому-нибудь подражал или кого-нибудь представлял. Так, он изображал старика профессора, читавшего свои лекции, почти слово в слово составившие потом содержание его самого первого рассказа «Письмо к ученому соседу» («Антон Чехов и его сюжеты», М. 1923, стр. 12), то же утверждает Михаил Павлович в своей книге «Вокруг Чехова» (М. 1933, стр. 76), он полагает, что «формой для этого письма послужило письмо его деда Егора Михайловича к его отцу Павлу Егоровичу. Копия с этого письма, переписанная рукою Антона Павловича еще в 1878 г., хранится и по сие время...» («Антон Чехов и его сюжеты», стр. 25).

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ В РОМАНАХ, ПОВЕСТЯХ И Т. П.?

Впервые — в журнале «Стрекоза», 1880, № 10, 9 марта. Подпись: Антоша. Рассказ был перепечатан в сборнике «В мире смеха и шуток», Спб. 1900, без авторской корректуры.

за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь

Впервые — в журнале «Стрекоза», 1880, № 19, 11 мая, с подзаголовком *Роман в одной части без пролога и эпилога*. Подпись: Чехонте. С небольшими исправлениями и без подзаголовка включено автором в его сборник 1883 г. (см. примечание к рассказу «Письмо к ученому соседу»).

Стр. 12. *Карс* — турецкая крепость, взятая русскими войсками во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

МОЙ ЮБИЛЕЙ

Впервые напечатано в журнале «Стрекоза», 1880, № 27, 6 (дозв. ценз. 3-го) июля, стр. 6. Подпись: Прозаический поэт. Принадлежность данного рассказа А. П. Чехову установлена

¹ Здесь и в последующих томах настоящего собрания сочинений ссылки на письма А. П. Чехова даются по изданию: А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем в 20-ти томах, Гослитиздат, М. 1944—1951,

А. Коротавым на основании следующего письма редакции журнала «Стрекоза», хранящегося в архиве писателя (ЛБ) — «Янв. дня 1881 г. № 2546.

Господину А. П. Чехову в Москве.

Милостивый государь!

Редакция «Стрекозы», исполняя Ваше желание, имеет честь препроводить при сем причитающийся Вам гонорар в размере тридцати двух рублей и двадцати пяти коп. (32 р. 25 к.) по нижеследующему счету:

№ 27	32	стр	Мой юбилей
— 30	117	»	Тысяча и одна страсть
— »	12	»	Комары и мухи
— 33	235	»	За яблочки
— 41	183	»	Перед свадьбой
— 49	66	»	По-американски

645 стр. à 5 коп... 32 руб. 25 коп.

17 января.

(См. публикацию А. Коротавы «Неизвестная шутка А. П. Чехова», «Литературный современник», 1938, № 4, апреля, стр. 150—151.)

Стр. 15. «*Нива*» — еженедельный «иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни», издавался в Петербурге с 1870 г.

«*Нева*» — еженедельная иллюстрированная газета-журнал, издававшаяся в Петербурге в 1879—1887 гг., с приложениями для «семейного чтения».

«*Огонек*» — еженедельный иллюстрированный журнал литературы, науки и искусства», издавался в Петербурге в 1879—1883 гг.

«*Стрекоза*» — еженедельный «художественно-юмористический журнал», издавался в Петербурге с 1875 г.

КАНИКУЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ИНСТИТУТКИ НАДЕНЬКИ Н.

Впервые напечатано в журнале «Стрекоза», 1880, № 24, 15 июня. Подпись: Подлинность удостоверяет — Чехонте.

Стр. 18. «*Он ахнуть не успел, как на него медведь насл...*» — из басни И. А. Крылова «Крестьянин и работник» (1815).

Мещерский В. П. (1839—1914) — князь, реакционный беллетрист и публицист, автор многочисленных романов из великосвет-

ской жизни; более известен как редактор-издатель крайне реакционной газеты-журнала «Гражданин» (с 1872 г.).

Майков А. Н. (1821—1897) — поэт, сторонник «чистого искусства».

Дюма — Александр Дюма-отец (1803—1870), французский писатель, автор многочисленных, весьма распространенных в свое время романов («Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера», «Королева Марго» и многих других), переведенных на русский язык.

Ливанов Ф. В. — писатель, выпустивший в конце 60—70-х годов целый ряд «очерков и рассказов» из быта «раскольников и острожников», а также «бытовую хронику из жизни русского духовенства» — «Жизнь сельского священника».

ПАПАША

Впервые напечатано в журнале «Стрекоза», 1880, № 26, 29 июня. Подпись: Ан. Ч. С небольшими исправлениями включено автором в его сборник 1883 г. (см. примечание к рассказу «Письмо к ученому соседу»). Перепечатано в сборнике «В мире смеха и шуток», Спб. 1900.

ТЫСЯЧА ОДНА СТРАСТЬ, ИЛИ СТРАШНАЯ НОЧЬ

*Роман в одной части с эпилогом
Посвящая Виктору Гюго*

Впервые напечатано в журнале «Стрекоза», 1880, № 30, 27 июля. Подпись: Антоша Ч.

Чехов включил рассказ в свой сборник 1883 г.; в сверстаных листах сборника набрано только начало рассказа (см. примечание к рассказу «Письмо к ученому соседу»). Перепечатано в сборнике «В мире смеха и шуток», Спб. 1900. Как видно из начала рассказа, сохранившегося в листах сборника 1883 г., Чехов для этого издания заменил оба подзаголовка одним новым — *Робкое подражание Виктору Гюго* — и исключил в первой фразе текста слова: «св. Ста сорока шести мучеников».

Рассказ — пародия на произведения французского писателя В. Гюго (1802—1885).

Стр. 28. ...*бочка преступных дочерей Даная* — бездонная бочка, которую, по древнегреческим мифам, должны были наполнять водой дочери аргосского царя Даная (Данаиды) в аду в наказание за умерщвление своих мужей.

ЗА ЯБЛОЧКИ

Впервые напечатано в журнале «Стрекоза», 1880, № 33, 17 августа. Подпись: Чехонте. Перепечатано в сборнике «В мире смеха и шуток», Спб. 1900.

Стр. 31. *Понт Эвксинский* — древнее название Черного моря.

Стр. 32. Сю Эжен (1804—1857)— французский писатель, автор многочисленных исторических и бытовых романов («Парижские тайны», «Вечный Жид», «Тайны народа» и др.).

ПЕРЕД СВАДЬБОЙ

Впервые напечатано в журнале «Стрекоза», 1880, № 41, 12 октября, с подзаголовком *Посвящая милой сердцу*. Подпись: Антоша Чехонте. Без подзаголовка и в переработанном виде включено автором в его сборник 1883 г. (см. примечание к рассказу «Письмо к ученому соседу»). Перепечатано в сборнике «В мире смеха и шуток», Спб. 1900. При подготовке рассказа к сборнику 1883 г. Чехов значительно сократил его и стилистически исправил.

Стр. 39. «*Развлечение*»— литературный и юмористический журнал», издававшийся в Москве с 1859 г.

ПЕТРОВ ДЕНЬ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1881, № 26, 29 июня, под заглавием «Двадцать девятое июня», с подзаголовком *Шутка. С удовольствием посвящается гг. охотникам, плохо стреляющим и не умеющим стрелять*. Подпись: Антоша Чехонте. С измененным заглавием и стилистическими исправлениями включено автором в его сборник 1883 г. (см. примечание к рассказу «Письмо к ученому соседу»).

Стр. 43. *Аггелы* — дьяволы, злые духи.

ТЕМПЕРАМЕНТЫ

По последним выводам науки

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1881, № 5 (разр. ценз. 14 сентября)¹. Подпись: Антоша Ч***. С небольшими исправ-

¹ В тех случаях, когда на издании не проставлена дата, приводится дата цензурного разрешения.

лениями и сокращениями включено автором в его сборник 1883 г. (см. примечание к рассказу «Письмо к ученому соседу»).

Стр. 57. *Гуфеланд* Вильгельм (1762—1836) — немецкий медик, автор многочисленных трудов по вопросам медицины.

Стр. 60. *Дебе* и *Жозан* — авторы книг по физиологии и гигиене брака, переводы которых на русском языке были распространены в 60—70-е годы.

Во время ветлянской чумы — возникла в 1878 г. в Ветлянской станице, Астраханской губ.

В ВАГОНЕ

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1881, № 9 (разр. ценз. 29 сентября), под заглавием «Извлечение из путевого журнала». Подпись: Антоша Ч. В исправленном виде, с измененным заглавием, включено автором в его сборник 1883 г. (см. примечание к рассказу «Письмо к ученому соседу»).

Стр. 63. *Поляков* С. С. — железнодорожный делец и концессионер.

СУД

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1881, № 14 (разр. ценз. 23 октября), под общим заглавием «Сельские картинки. а) Суд». Подпись: Антоша Чехонте.

В Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина хранится верстка рассказа. Набор сделан был для собрания сочинений в издании А. Ф. Маркса. Чехов переработал весь текст рассказа, однако в собрание сочинений его не включил, на верстке им сделана надпись: «Рассказ «Суд» — исключить».

ЖЕНЫ АРТИСТОВ

Перевод . . . с португальского

Впервые напечатано в альманахе «Будильник» на 1882 год, М. 1882 (разр. ценз. 5 декабря 1881 г.). Подпись: Антоша Чехонте. С незначительными исправлениями включено автором в его сборник 1883 г. (см. примечание к рассказу «Письмо к ученому соседу»). С новыми стилистическими поправками рассказ вошел в сборник рассказов Чехова «Сказки Мельпомены», М. 1884.

Стр. 75. *Vandic* (правильно: *Vandyck*) — Ван-Дейк (1599—1641) — фламандский живописец.

Петр Амьенский, или Пустынник — французский средневековый монах-аскет, участник крестового похода.

Стр. 78. *Оффенбах* Жак (1819—1880) — композитор, автор многочисленных оперетт, был также виолончелистом и антрепренером.

ГРЕШНИК ИЗ ТОЛЕДО

Перевод с испанского

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1881, № 25—26 (разр. ценз. 23 декабря). Подпись: Антоша Ч. С небольшими исправлениями включено автором в его сборник 1883 г. (см. примечание к рассказу «Письмо к ученому соседу»).

Рассказ — стилизация новелл на темы из средневековой жизни.

ЗАБЫЛИ

Впервые напечатано в журнале «Москва», 1882, № 8 (разр. ценз. 25 февраля). Подпись: Человек без селезенки.

ЖИЗНЬ В ВОПРОСАХ И ВОСКЛИЦАНИЯХ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1882, № 9 (разр. ценз. 26 февраля). Подпись: Антоша Чехонте. Сохранилась черновая авторская рукопись рассказа (Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина).

Стр. 98. *Борн* Георг — бульварный немецкий писатель.

«Стрельна» — московский загородный ресторан.

Salon — «Салон де варьете», увеселительное заведение в Москве.

Стр. 99. *«Шут»* — юмористический журнал с порнографическим оттенком, издавался в Петербурге.

ИСПОВЕДЬ, ИЛИ ОЛЯ, ЖЕНЯ, ЗОЯ

Письмо

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1882, № 12 (разр. ценз. 20 марта), без подзаголовка. С небольшими исправлениями и с подзаголовком включено автором в его сборник 1883 г. (см. примечание к рассказу «Письмо к ученому соседу»).

Стр. 103. *Аристид* — государственный деятель древней Греции, прозванный «Справедливым».

Катон — государственный деятель древнего Рима, ревностно оберегал нравы общества.

Стр. 104. *Хохлов* (баритон), *Кочетова* (колоратурное сопрано), *Барцал* (тенор), *Усатов* (бас), *Корсов* (баритон) — оперные певцы, артисты Московского Большого театра.

Стр. 106. *Братья-писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое!* — из стихотворения Н. А. Некрасова «В больнице» (1855).

ЗЕЛЕНАЯ КОСА

Маленький роман

Впервые напечатано в Литературном приложении журнала «Москва», 1882, к № 15 (разр. ценз. 23 апреля) и к № 16 (разр. ценз. 30 апреля). Подпись: Антоша Чехонте.

Рассказ был иллюстрирован рисунком художника Н. П. Чехова под названием «После свидания».

Некоторые персонажи рассказа носят имена знакомых и родных Чехова.

Стр. 109. *Коробов* — см. стр. 570; *Екатерина Ивановна* — жена Коробова; *художник Чехов* — Н. П. Чехов, брат писателя.

Четы миенеи — сборник «житий святых» православной церкви, расположенных по дням их чествования.

Стр. 111. «*Стрекоза*» — см. стр. 561.

Стр. 114. *Пикет* — старинная карточная игра вдвоем.

«СВИДАНИЕ ХОТЯ И СОСТОЯЛОСЬ, НО...»

Впервые напечатано в журнале «Москва», 1882, № 17 (разр. ценз. 7 мая), под общим названием «Дачные рассказы». Подпись: Антоша Чехонте.

КОРРЕСПОНДЕНТ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1882, № 20 (разр. ценз. 20 мая) и № 21 (разр. ценз. 27 мая). Подпись: Антоша Чехонте.

Стр. 135. «*Голос*» — газета политическая и литературная, издавалась в Петербурге в 1863—1884 гг. А. А. Краевским.

Стр. 136. *Плевна* — город в Болгарии, превращенный турками в крепость во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. После длительной осады взят русскими войсками в конце 1877 г.

«Русский курьер» — либеральная газета, издававшаяся в Москве в 1879—1889 и в 1891 гг.

«Северная пчела» — газета, издававшаяся в Петербурге в 1825—1864 гг. Редакторы-издатели: в 1825—1830 гг. — Ф. В. Булгарин, в 1831—1859 гг. — Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч. Газета являлась главным органом «охранительного направления», субсидируемым III Отделением.

«Сын отечества» — газета, издававшаяся в Петербурге с 1862 по 1868 г.; редактор-издатель — А. В. Старчевский

«Московские» — газета «Московские ведомости», выходившая в Москве с 1756 г. В 1863—1886 гг. редактором-издателем ее был М. Н. Катков, превративший газету в орган крайней реакции.

СЕЛЬСКИЕ ЭСКУЛАПЫ

Впервые напечатано в журнале «Свет и тени», 1882, № 22, 18 июня. Подпись: Антоша.

НЕНУЖНАЯ ПОБЕДА

Рассказ

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1882, начиная с № 24, 18 июня, и кончая № 34, 27 августа. Подпись: А. Чехонте.

Как рассказывают Амфитеатров (Собрание сочинений, т. XIV, Спб. 1912, стр. 163 и 230—231) и М. П. Чехов («Вокруг Чехова», М.—Л. 1933, стр. 105), рассказ «Ненужная победа» возник вследствие спора между редактором «Будильника» А. Д. Курепиным и А. П. Чеховым, который вызвался написать роман из иностранной жизни «не хуже» переводных романов того времени. Рассказ имел большой успех среди читателей «Будильника». По словам М. П. Чехова, в редакцию журнала «поступали письма с запросами, не Мавра ли Иокая этот роман, или не Фридриха ли Шпильгагена?» (в указ. книге, стр. 105). Действительно, рассказ Чехова является блестящей стилизацией романов плодовитого венгерского писателя Мавра Иокая (1825—1904). Ко времени написания рассказа «Ненужная победа» на русском языке вышло несколько его романов («Новый помещик» — 1880, «Двойная смерть» — 1881, «Черные бриллианты» — 1882).

29 июля 1882 г. редактор «Будильника» Н. П. Кичеев писал А. П. Чехову: «Сейчас прочел все, доставленное Вами, из «Победы», и убедился, что пора кончать. Остановились Вы как раз на

удобном пункте: в одном номере — похождения Ильки в Париже, в другом — развязка, и *ripstun*¹. Будем лучше печатать мелкие рассказыки». В следующем письме, от 2 августа, Кичеев опять пишет: «...Дело в «Победе»... Располагайте тремя номерами... На один есть. Парижские похождения Ильки пусть займут другой, в третьем — развязка»².

Рассказ неоднократно (в 1916—1924 гг.) переделывался для кино.

Стр. 160. *Гретхен* — героиня трагедии В. Гете «Фауст».

Стр. 165 *Готфрид Бульонский* (ум. в 1100 г.) — герцог, один из предводителей первого крестового похода, взявший в 1099 г. Иерусалим.

Стр. 188. *Аристид* — см. стр. 588.

Стр. 193. *Бильрот* Теодор (1829—1895) — немецкий хирург.

Стр. 198. «*Боккачио*» — оперетта немецкого композитора Ф. Зуппе (1820—1895).

Стр. 225. «*Фигаро*» — парижская газета реакционного направления.

ПРОПАЩЕЕ ДЕЛО *Водевильное происшествие*

Впервые напечатано в журнале «Спутник», 1882, № 11, 22 июня. Подпись в подзаголовке: Антоша Чехонте.

СКВЕРНАЯ ИСТОРИЯ *Нечто романообразное*

Впервые напечатано в журнале «Свет и тени», 1882, № 179, 23, 26 июня, и № 180, 24, 4 июля. Подпись: Антоша Чехонте.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ИЮНЯ *Рассказ охотника, никогда в цель не попадающего*

Впервые напечатано в журнале «Спутник», 1882, № 12, 29 июня. Подпись: Антоша Чехонте.

¹ Точка (*лат.*).

² Здесь и в последующих томах настоящего Собрания сочинений письма корреспондентов Чехова, как правило, цитируются по материалам архива А. П. Чехова, хранящегося в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. О других местах хранения в каждом случае сообщается отдельно.

КОТОРЫЙ ИЗ ТРЕХ
Старая, но вечно новая история

Впервые напечатано в журнале «Спутник», 1882, № 14, 13 июля.
Подпись: Антоша Чехонте.

ОН И ОНА

Впервые напечатано в журнале «Мирской толк», 1882, № 26, 23 июля. Подпись: А. Чехонте. В стилистически исправленном виде включено автором в сборник его рассказов «Сказки Мельпомены», М. 1884.

Стр. 277. *Патти* Аделина (1843—1919) — итальянская певица.

ЯРМАРКА

Впервые напечатано в журнале «Москва», 1882, № 28 (разр. ценз. 25 июля). Подпись: Антоша Чехонте.

БАРЫНЯ

Впервые напечатано в журнале «Москва», 1882, № 29 (разр. ценз. 30 июля), № 30 (разр. ценз. 7 августа), № 31 (разр. ценз. 17 августа). В № 29 без подписи, в № 30 и 31 подпись: Антоша Чехонте.

Стр. 307. «*Достойно*» — церковное песнопение.

ЖИВОЙ ТОВАР

Посвящается Ф. Ф. Попудогло

Впервые напечатано в журнале «Мирской толк», 1882, № 28, 6 августа; № 29, 14 августа; № 30, 22 августа; № 31, 27 августа. Подпись: А. Чехонте.

Рассказ посвящен Федору Федосеевичу Попудогло (умер 14 октября 1883 г.), другу А. П. Чехова. Попудогло сотрудничал в «Будильнике», «Московском листке» и других органах мелкой прессы, печатал преимущественно сценки из купеческого быта. Вскоре после смерти Попудогло А. П. Чехов писал своему брату Александру (между 14 и 19 октября 1883 г.): «14 октября умер мой друг и приятель Федор Федосеевич Попудогло. Для меня это незаменяемая потеря. Федосееч был не талант, хотя в Будильнике и помещают его портрет. Он был старожил литературный и имел пре-

красный литературный нюх, а такие люди дороги для нашего брата начинающего. Как тать ночной, тайком, хаживал я к нему в Кудрино, и он изливал мне свою душу. Он симпатизировал мне. Я знал вся внутренняя его., Умер он от алкоголя и добрых приятелей *potina* коих *sunt odiosa*¹. Неразумие, небрежность, халатное отношение к жизни своей и чужой — вот отчего он умер 37 лет от роду».

В некрологе «Будильника» (1883, № 42), перечислены небольшие бытовые сценки и рассказы Попудогло преимущественно из купеческого быта, свидетельствующие о его наблюдательности. Редакция отметила: «К сожалению, тяжелые житейские обстоятельства заставили его, как у нас принято теперь говорить, «разменяться» и загубить свой талант в мелочной, но — увы — доставлявшей ему и его семье кусок хлеба, газетной работе... Удел многих газетчиков».

Стр. 322. «Новое время» — реакционная газета, издававшаяся с 1868 г в Петербурге А. С. Сувориным.

Стр. 323. *Незнакомец* — псевдоним А. С. Суворина.

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

Посвящается Н. И. Коробову

Впервые напечатано в журнале «Мирской толк», 1882, № 37, 10 октября; № 38, 17 октября; № 39, 23 октября; № 41, 11 ноября. Подпись: А. Чехонте.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ) хранятся две черновые авторские рукописи: одна, на 1 странице, содержит начало рассказа; другая, на 18 страницах, соответствует первой главе рассказа.

Первая рукопись тождественна с началом второй, за исключением трех незначительных разночтений.

Черновая рукопись первой главы рассказа значительно отличается от печатного текста.

Рассказ посвящен Николаю Ивановичу Коробову, товарищу А. П. Чехова по университету, впоследствии врачу. Коробов, будучи студентом, одно время жил в семье Чеховых в Москве в качестве нахлебника. Чехов сохранил с ним дружеские отношения и переписывался с ним до конца своей жизни.

¹ Имена ненавистны, не будем называть имен (лат.).

НАРВАЛСЯ

Из летописи Лиговско-Чернореченского банка

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1882, № 47, 20 ноября. Подпись: Антоша Чехонте. Сохранилась вырезка из журнала «Осколки» с незаконченной правкой Чехова (Государственная публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина. Ленинград).

В вырезке вычеркнут подзаголовок и сделана вставка. Не закончив начатой правки, Чехов сделал на вырезке надпись: «В полное собрание не войдет. А. Чехов».

С этого рассказа началось многолетнее сотрудничество Чехова в журнале «Осколки». Редактор журнала Н. А. Лейкин 14 ноября 1882 г. писал А. П. Чехову: «Милостивый государь. Имею честь Вас уведомить, что присланные Вами в два приема рассказы я получил и отобрал из них для помещения в журнале «Осколки» три рассказа: «Речь и ремешок», «Неудачный визит» и «Нарвался». За присылку их приношу Вам мою благодарность. Два же рассказа «Выучил» и «Между прочим» спешу Вам при сем возвратить. Мне вообще приятно Ваше сотрудничество. Мелкие Ваши прозаические вещицы я всегда готов помещать, ежели они будут согласны с программой журнала. Ежели у Вас будут мелочишки для отдела «Осколочки» или подписи к рисункам, то прошу присылать и таковые». В следующем письме от 3 декабря Лейкин сообщил Чехову о назначении ему гонорара по 8 копеек за строчку.

НЕУДАЧНЫЙ ВИЗИТ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1882, № 48, 27 ноября. Подпись: Человек без селезенки.

ДВА СКАНДАЛА

Впервые напечатано в журнале «Мирской толк», 1882, № 46, 16 декабря, с посвящением: *Посвящается Ф. О. Шехтель*. Подпись: А. Чехонте. В исправленном виде и без посвящения включено автором в сборник его рассказов «Сказки Мельпомены», М. 1884.

Шехтель Франц (Федор) Осипович (1859—1926) — близкий знакомый семьи Чеховых, товарищ Николая Чехова по Училищу живописи, ваяния и зодчества, впоследствии академик архитектуры. В 80-х годах Шехтель помещал свои рисунки в «Сверчке» и «Будильнике» за своей подписью и за подписями: Ф. Ш. и Фин-

Шампань. Им нарисована обложка для сборника рассказов Чехова «Пестрые рассказы» (1886). Чехов переписывался с Шехтелем до конца своей жизни.

По словам Мих. П. Чехова, прототипом дирижера послужил Чехову музыкант П. А. Шостаковский, с которым братья Антон и Николай Чеховы были знакомы и у которого бывали запросто («Вокруг Чехова», М. 1933, стр. 117—118).

ИДИЛЛИЯ — УВЫ И АХ!

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1882, № 51, 18 декабря. Подпись: Антоша Чехонте. Сохранилась черновая рукопись-автограф (ЦГАЛИ).

Текст черновой рукописи отличается от журнального незначительными разночтениями

Упоминаемый в рассказе *Рыков* известен как один из главных виновников нашумевшего в начале 80-х годов банкротства скопинского банка, во главе которого он стоял. О судебном процессе Рыкова Чехов писал в ноябре — декабре 1884 г. в «Петербургской газете».

БАРОН

Впервые напечатано в журнале «Мирской толк», 1882, № 47, 20 декабря. Подпись: А. Чехонте. В исправленном виде включено автором в сборник его рассказов «Сказки Мельпомены», М. 1884.

При переиздании рассказа Чехов значительно сократил его, особенно историю прошлой жизни барона, и внес многочисленные стилистические исправления.

Стр. 407 *Сальвини* Томмазо (1829—1916) и *Росси* Эрнесто (1829—1896) — итальянские трагики, гастролировавшие в России.

Бернар Сара (1844—1923) — французская драматическая актриса, гастролировавшая в России в конце 1881 г.

О гастрольях Сары Бернар Чехов писал в декабре 1881 г. в журнале «Зритель».

ДОБРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1882, № 52, 25 декабря. Подпись: Человек без селезенки.

МЕСТЬ

Впервые напечатано в журнале «Мирской толк», 1882, № 50, 31 декабря. Подпись: А. Чехонте. В исправленном виде включено автором в сборник его рассказов «Сказки Мельпомены», М. 1884.

Для сборника были сделаны стилистические исправления и переделан конец.

ПЕРЕЖИТОЕ

Психологический этюд

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 1 (разр. ценз. 31 декабря 1882 г.). Подпись: Антоша Чехонте.

МОШЕННИКИ ПОНЕВОЛЕ

Новогодняя побрехушка

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 1 (разр. ценз. 31 декабря 1882 г.). Подпись: Человек без селезенки.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

Святочный рассказ

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 2 (разр. ценз. 5 января), с подзаголовком *Святочный фантастический рассказ*. Подпись: А. Чехонте. В переработанном виде включено автором в том I собрания сочинений¹.

В Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина хранятся две авторские рукописи рассказа — черновая и отличающаяся от нее значительными исправлениями беловая. Для первой публикации рассказ был вновь стилистически выправлен.

Подготавливая рассказ для собрания сочинений, Чехов заново переработал его, положив в основу журнальный текст, из подзаголовка исключил — «Фантастический», снял все слова и фразы, снижающие серьезный тон рассказа, устранил имена современников.

Так, в начале рассказа после слов «и какой роман!» вычеркнута фраза: «Ничего подобного, душенька, не даст тебе ни Заграничный вестник, ни Ахматова, ни Пушкирев в своей «Евро-

¹ Здесь и в последующих томах настоящего издания имеется в виду прижизненное собрание сочинений А. П. Чехова, изданное А. Ф. Марксом в 1899—1901 гг.

пейской библиотеке». «Заграничный вестник» издавался в Петербурге с октября 1881 по март 1883 г. В. Коршем. Ахматова Е. Н. (1820—1904) была переводчицей и издательницей «Собрания иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык» (1856—1883) и других аналогичных изданий. Пушкирев Н. Л. (1841—1906) — изобретатель, поэт, драматург и издатель журналов, в том числе журнала переводных романов «Европейская библиотека».

Писатель углубил детали в обрисовке образов мужа и жены. Например, фраза «Наконец, когда доктора объявили, что она близка к голодной смерти, я пересилил свой страх и принес ей прабабушкино зеркало» переработана так: «Она рыдала, рвала волосы на голове, металась, и наконец, когда доктор объявил, что она может умереть от истощения и что положение ее в высшей степени опасно, я, пересиливая свой страх, опять опустился вниз и принес ей оттуда прабабушкино зеркало». Фраза, имевшаяся в журнальной редакции: «И вот прошло уже десять лет, а она еще ни разу не оторвала глаз от этого зеркала», заменена в тексте собрания сочинений следующей фразой: «И вот прошло уже более десяти лет, а она все еще глядится в зеркало и не отрывается ни на одно мгновение». Небольшая реплика «Прочь муж! Он не стоит меня, не стоит!» переделана в монолог: «Лгут люди, лжет муж! О, если бы я раньше увидела себя, если бы я знала, какая я на самом деле, то не вышла бы за этого человека! Он недостойн меня! У ног моих должны лежать самые прекрасные, самые благородные рыцари!..»

Рассказ заключен новой концовкой, со слов: «И теперь мы оба »

РЯЖЕННЫЕ

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 2 (разр. ценз. 5 января). Подпись. Человек без селезенки.

На эту же тему и под тем же заглавием Чехов напечатал в «Петербургской газете», 1886, № 1, 1 января, рассказ-фельетон за подписью: Рувер.

Стр. 433. *Лентовский* М. В.— московский антрепренер и режиссер, арендатор сада «Эрмитаж».

РАДОСТЬ

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 3 (разр. ценз. 8 января), под заглавием «Велика честь». Подпись: А. Че-

хонте. В исправленном виде включено автором в том I собрания сочинений.

Подготавливая рассказ для собрания сочинений, Чехов изменил заглавие и внес значительные исправления по всему тексту: рассказ был сокращен, устранены внешне комические элементы, внесены более точные слова и обороты. Например, в начале рассказа было: «Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, всклооченный, с быстротою человека, за которым гонится триста чертей, влетел в квартиру своих родителей и забегал по комнатам»; из этой фразы Чехов исключил слово: «всклооченный» и сравнение: «с быстротой человека, за которым гонится триста чертей»; «забегал по комнатам» заменено словами: «быстро заходил по всем комнатам». От фразы «Гимназисты проснулись, потянулись и уставили свои сонные глаза на своего старшего братца» оставлено лишь: «Гимназисты проснулись». Передавая впечатление, произведенное рассказом Мити, писатель внес новые детали. В журнальном тексте было: «Папенька побледнел. Маменька поглядела на папеньку и тоже побледнела. Гимназисты повскакали с постели»; после переработки это место читается так: «Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и как были, в одних коротких ночных сорочках подошли к своему старшему брату». В большей мере передан стиль репортерской заметки: вместо «в нетрезвом виде» стало — «в нетрезвом состоянии»; «остановлена дворником» — «задержана дворником»; «удар не опасен» — «удар, который он получил по затылку, отнесен к легким»; к словам «извозчика Ивана Дротова» добавлено: «крестьянина деревни Дурыкиной, Юхновского уезда»; к фразе, «и, потащив через него сани» добавлено: «с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым».

ДВОЕ В ОДНОМ

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 3 (разр. ценз. 8 января). Подпись: А. Чехонте. Сохранилась черновая рукопись-автограф (ЦГАЛИ).

Журнальный текст содержит незначительные отличия от черновика.

ИСПОВЕДЬ

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 5, 19 января. Подпись: А. Чехонте.

Получив этот рассказ, Лейкин писал Чехову 3 февраля 1883 г.:
«...Это настоящая сатира. Салтыковым пахнет. Я прочел ее с восторгом два раза. Читал и другим — всем нравится».

В ЦИРУЛЬНЕ

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 10, 7 февраля, под заглавием «Драма в циркульне». Подпись: Человек без селезенки. С исправлениями включено автором в том I собрания сочинений.

Для собрания сочинений Чехов изменил заглавие и заново переработал весь рассказ; особенно сильно переделан диалог между Макаром Кузьмичом и Эрастом Ивановичем, речь обоих персонажей очищена от вульгаризмов; устранены: «завсегда», «пушай», «бонба», «волосья» и т. п.

Писатель внес новые детали, изменяющие тон рассказа. Так, в журнальном тексте хозяин циркульни Макар Кузьмич обращался к Эрасту Ивановичу: «— Да, и стригу я вас завсегда даром, мыло кокосовое вам в презент подносил... Анне Эрастовне завсегда куафюру налаживал... — На глазах Макара Ивановича выступают слезы.— Всякое одолжение вы от меня имели... В прошлом годе в Сокольниках на мой счет вы все чай пили... Вы еще тогда апельсина захотели... Помните? Я купил вам апельсин... Помните?» Этот текст Чехов заменил новым: «Я всегда уважал вас все равно как родителя... стригу вас всегда задаром. Всегда вы от меня одолжение имели, и когда мой папаша скончался, вы взяли диван и десять рублей денег и назад мне не вернули. Помните?» В финале фразу «Макар Кузьмич молчит и минуту стоит недвижим... потом лицо его багровеет, он падает на стул, и поганенькая циркульня оглашается рыданиями», Чехов исправляет: «Макар Кузьмич молчит и стоит недвижим, потом достает из кармана платочек и начинает плакать».

ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ

Роман

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 11, 10 февраля. Подпись: А. Чехонте.

КРЕСТ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 7, 12 февраля. Подпись: Человек без селезенки.

БЛАГОДАРНЫЙ

Психологический этюд

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 7, 12 февраля. Подпись: А. Чехонте.

СОВЕТ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 7, 12 февраля. Подпись: Человек без селезенки.

РЕВНИТЕЛЬ

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 12, 15 февраля. Подпись: Человек без селезенки.

Стр. 474. «Новое время», «Голос» — см. прим. на стр. 590 и 594 наст. издания.

БАРАН И БАРЫШНЯ

Эпизодик из жизни «милостивых государей»

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 8, 19 февраля. Подпись: А. Чехонте.

РАЗМАЗНЯ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 8, 19 февраля. Подпись: А. Чехонте. Вошло без изменений в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

РЕПКА

Перевод с детского

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 8, 19 февраля. Подпись: Человек без селезенки.

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЯ

Рассказ отставного коллежского регистратора

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 9, 26 февраля, под заглавием «Торжество победителей», без подзаголовка.

Подпись: А. Чехонте. В исправленном виде включено автором в том II собрания сочинений.

Включая рассказ в собрание сочинений, Чехов подверг его значительной правке, преимущественно стилистического характера. Изменено заглавие, вставлен подзаголовок, фамилия Куроцапова изменена на Курицына.

В НАШ ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЕК, КОГДА, И Т. Д.

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 10, 5 марта. Подпись: А. Чехонте.

В отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина хранятся два списка рассказов, составленные Чеховым, очевидно, при подготовке собрания сочинений. В одном из списков под №154 заглавие «В наш практический век, когда, и т. д.» зачеркнуто и заменено другим, «Жених». Возможно, что Чехов правил рассказ или предполагал исправить; эта правка до нас не дошла.

УМНЫЙ ДВОРНИК

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 16, 3 марта, под заглавием «Мораль». Подпись: А. Чехонте. С исправлениями включено автором в том I собрания сочинений.

При подготовке к собранию сочинений изменено заглавие и рассказ стилистически исправлен. Произведены большие сокращения и переделки в речи дворника, устранены вульгаризмы — «акромья», «зубья», «пушай» и т. п.

ДУРАК

Рассказ холостяка

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 18, 9 марта. Подпись: Человек без селезенки.

РАССКАЗ, КОТОРОМУ ТРУДНО ПОДОБРАТЬ НАЗВАНИЕ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 11, 12 марта. Подпись: А. Чехонте.

БРАТЕЦ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 11, 12 марта. Подпись: А. Чехонте.

СЛУЧАЙ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1883, № 20, 17 марта, с подзаголовком *Уголовный рассказ*. Подпись: А. Чехонте. Без подзаголовка и в сокращенном виде вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 12, 19 марта. Подпись: А. Чехонте. Без изменений вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886. В исправленном виде включено автором в том I собрания сочинений.

При подготовке рассказа для собрания сочинений Чехов стилистически исправил его.

Стр. 503. *Раскольников* — герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866).

ХИТРЕЦ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 13, 26 марта. Подпись: А. Чехонте.

Стр. 505. *Шли два приятеля вечернею порой...* — из басни И А. Крылова «Прохожие и собаки» (1813).

РАЗГОВОР

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 13, 26 марта, под заглавием «Благодетели». Подпись: А. Чехонте. В Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР сохранились набранные для собрания сочинений и сверстанные листы рассказа с измененным заглавием и исправленным текстом (сокращения и стилистическая правка). Однако рассказ в собрание сочинений не вошел.

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 14, 2 апреля. Подпись: А. Чехонте.

ВЕРБА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 15, 9 апреля. Подпись: А. Чехонте. С незначительными исправлениями перепечатано в сборнике Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

ВОР

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 16, 16 апреля. Подпись: А. Чехонте. С небольшими исправлениями вошло в сборник Чехова «Пестрые рассказы», Спб. 1886.

При переиздании рассказа были выброшены в начале его в двух местах фразы: «Все ночью воруют... Я ничего» (после слов: «Я, впрочем, ничего..»); «Вы все скушаете! — усмехнулась высокая фигура. — Вот ежели бы вас сюда побольше насылали, так мы бы здесь клуб соорудили... Пра-аво! Здесь так мало благородного народу!» (после фразы: «Он больше украл, вот что!»).

Редактор «Осколков» Н. А. Лейкин о рассказах «Верба» и «Вор» писал Чехову 16 апреля 1883 г.: «Рассказы Ваши «Верба» и «Вор» прелестные рассказы, но немножко серьезны для «Осколков». Сам я их прочел с наслаждением». На это замечание Лейкина о «серьезности» рассказов для журнала «Осколки» Чехов ответил (апрель, после 17-го): «Вы à propos¹ замечаете, что мои «Верба» и «Вор» несколько серьезны для «Осколков». Пожалуй, но я не посылал бы Вам не смехотворных вещиц, если бы не руководствовался при посылке кое-какими соображениями. Мне думается, что серьезная вещица, маленькая, строк примерно в 100, не будет сильно резать глаз, тем более, что в заголовке «Осколков» нет слов «юмористический и сатирический», нет рамок в пользу безусловного юмора. Вещичка (не моя, а вообще) легенькая, в духе журнала, содержащая в себе фабулу и подобающий протест, насколько я успел подметить, читается охотно, сиречь не делает суши. Да у Вас же изредка, кстати сказать, между вещицами остроумнейшего И. Грэка [В. В. Билибин — сотрудник «Осколков»] попадают вещицы, бьющие на серьез, но тоненькие, грациозные, такие, что хоть после обеда вместо десерта ешь. Они не делают контры, а напротив... Да и Лиодор Иванович [Пальмин] не всегда острит, а между тем едва ли найдется такой читатель «Осколков», который пропускает его стихи не читая. Легкое и маленькое, как

¹ кстати (франц.).

бы оно ни было серьезно (я не говорю про математику и кавказский транзит), не отрицает легкого чтения... Упаси боже от суши, а теплое слово, сказанное на пасху вору, который в то же время и ссыльный, не зарежет номера. (Да и, правду сказать, трудно за юмором угоняться! Иной раз погонишься за юмором да такую штуку сморозишь, что самому тошно станет. Поневоле в область серьеза лезешь)...

ЛИСТ

Кое-что пасхальное

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 16, 16 апреля. Подпись: Человек без селезенки.

СЛОВА, СЛОВА И СЛОВА

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 17, 23 апреля. Подпись: А. Чехонте.

ЗАКУСКА

Приятное воспоминание

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 17, 23 апреля. Подпись: Человек без селезенки.

ТЕЩА-АДВОКАТ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 18, 30 апреля. Подпись: А. Чехонте.

СЛУЧАЙ С КЛАССИКОМ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 19, 7 мая, под заглавием «Ваня, мамаша, тетья и секретарь». Подпись: А. Чехонте. При включении автором в том I собрания сочинений изменено заглавие и произведена стилистическая правка.

КОТ

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 20, 14 мая. Подпись: А. Чехонте.

БЕНЕФИС СОЛОВЬЯ

Рецензия

Впервые напечатано в журнале «Осколки», 1883, № 21, 21 мая.
Подпись: А. Чехонте.

ЛЕТАЮЩИЕ ОСТРОВА

Соч. Жюль Верна

Пародия

Впервые напечатано в журнале «Будильник», 1883, № 19 (разр. ценз. 21 мая). Подпись: А. Чехонте. В исправленном виде включено автором в сборник его рассказов 1883 г. (см. примечание к рассказу «Письмо к ученому соседу»).

При подготовке к сборнику рассказ подвергся незначительной стилистической правке, причем первоначальное название «Остров князя Мецдерского» было изменено на «Остров Иоганна Гоффа». В подзаголовке «Перевод А. Чехонте» заменено на «Пародия».

Рассказ вначале был послан в «Осколки», но Н. А. Лейкин вернул его Чехову и написал ему (в письме от 1 марта 1883 г.): «Мерекал и так и сяк, но все-таки приходится мне возвратить Вам Ваши «Летающие острова». Во-первых, вещица ничего иного не представляет, как пародию на манеру писания Ж. Верна, а во-вторых — и это главное — длинна для «Осколков». Вещица, как пародия, прекрасная, слов нет! Брет-Гарт составил себе славу пародиями, но для «Осколков» длинна. Вы отлично пародируете. Вот ежели бы Вы когда-нибудь попробовали строчках на 200 написать несколько пародий на 4—5 писателей — дело другое. Можно бы взять Боборыкина, Каразина, Данченко, Лескова, Авсеенко, Маркевича — и, разумеется, утрировать до невозможности. Впрочем, это в будущем». Предложением Лейкина Чехов не воспользовался. Лишь в конце января 1884 г. Чехов написал пародию на пьесу Б. Маркевича «Чад жизни», поставленную в Москве в театре Лентовского 30 января, и отослал ее в «Осколки», но уже через несколько дней просил Лейкина не печатать ее,

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. Ермилов. А. П. Чехов. Критико-биографический очерк	V
---	---

РА С С К А З Ы

Письмо к ученому соседу.	3
Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?	8
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь	10
Мой юбилей	15
Каникулярные работы институтки Наденьки Н.	17
Папаша.	20
Тысяча одна страсть, или Страшная ночь. <i>Роман в одной части с эпилогом. Посвящаю Виктору Гюго.</i>	27
За яблочки.	31
Перед свадьбой.	38
Петров день.	43
Темпераменты. <i>По последним выводам науки.</i>	57
В вагоне.	61
Суд.	67
Жены артистов. <i>Перевод... с португальского.</i>	72
Грешник из Толедо. <i>Перевод с испанского.</i>	86
Забыл!!	92
Жизнь в вопросах и восклицаниях.	97
Исповедь, или Оля, Женя, Зоя. <i>Письмо.</i>	100
Зеленая Коса. <i>Маленький роман.</i>	107
«Свидание хотя и состоялось, но...».	122
Корреспондент.	128
Сельские эскулапы.	146

Ненужная победа. <i>Рассказ.</i>	153
Пропащее дело. <i>Водевильное происшествие.</i>	243
Скверная история. <i>Нечто романообразное.</i>	248
Двадцать девятое июня. <i>Рассказ охотника, никогда в цель не попадающего.</i>	258
Который из трех. <i>Старая, но вечно новая история</i>	266
Он и она.	273
Ярмарка.	282
Барыня.	289
Живой товар. <i>Посвящается Ф. Ф. Попудогло.</i>	311
Цветы запоздалые. <i>Посвящается Н. И. Коробову.</i>	346
Нарвался. <i>Из летописи Лиговско-Чернореченского банка</i>	388
Неудачный визит.	391
Два скандала.	392
Идиллия — увы и ах!	403
Барон.	406
Добрый знакомый.	413
Мечь	415
Пережитое. <i>Психологический этюд.</i>	422
Мошенники поневоле. <i>Новогодняя побрехушка</i>	424
Кривое зеркало. <i>Святочный рассказ.</i>	428
Ряженые.	431
Радость.	434
Двое в одном.	437
Исповедь.	440
Единственное средство. <i>A propos процесса Петерб. общества взаимного кредита.</i>	444
Случай «тапіа grandiosa». <i>Вниманию газеты «Врач»</i>	447
Темною ночью.	449
На магнетическом сеансе.	451
Ушла.	454
На гвозде.	456
В циркульне.	458
Женщина без предрассудков. <i>Роман.</i>	462
Крест.	467
Благодарный. <i>Психологический этюд.</i>	468
Совет.	471
Ревнитель.	473
Баран и барышня. <i>Эпизодик из жизни «милостивых государей».</i>	475
Размазня.	478

Репка. <i>Перевод с детского.</i>	481
Торжество победителя. <i>Рассказ отставного коллеж- ского регистратора.</i>	482
В наш практический век, когда, и т. д.	486
Умный дворник	488
Дурак. <i>Рассказ холостяка.</i>	491
Рассказ, которому трудно подобрать название,	495
Братец.	497
Случай из судебной практики.	499
Загадочная натура	502
Хитрец.	505
Разговор	508
Рыцари без страха и упрека	511
Верба	514
Вор	518
Лист. <i>Кое-что пасхальное.</i>	522
Слова, слова и слова	525
Закуска. <i>Приятное воспоминание.</i>	528
Теща-адвокат.	531
Случай с классиком.	534
Кот.	538
Бенефис соловья. <i>Рецензия.</i>	542
Летающие острова. <i>Соч. Жюль Верна. Пародия.</i> . .	545
Примечания.	559

Антон Павлович

ЧЕХОВ

Собрание сочинений, т. I

Редактор *В. Титова*

Художественный редактор *И. Жихарев*

Технический редактор *Ф. Артемьева*

Корректор *А. Иванова*

*

Сдано в набор 11/IX 1959 г. Подпи-

сано к печати 1/XII 1959 г.

Бумага $84 \times 108 \frac{1}{32}$ — 20,25 печ. л.

33,21 усл. печ. л.

29,782 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 29,832 л.

Заказ 3597

Тираж 450 000 экз. Цена 11 р.

Гослитиздат,

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Первая Образцовая типография
им. А. А. Жданова Московского

городского совнархоза.

Москва, Ж-54, Валовая, 28.

